



Ольга
Февралёва



Историческое
воинство

2018

Осень-зима 1822–1823 г. Франция, Англия и загробный мир.

В публикации бережно сохранены (по возможности) особенности орфографии и пунктуации автора. При создании обложки использована тема Яна Брейгеля-старшего «Эней и Сивилла в аду»

Ольга Валерьевна Февралёва

Происхождение боли

Глава I. Крушение одной жизни

«Где я? — подумал Люсьен и остановился, — А, на мосту... Все называют его *новым*, хотя знают, что он самый старый... Сила и пустошь слова... Всё перевёрнуто, всё ложь...»

Он бессмысленно протаскивал названия парижских мостов через свой замёрзший мозг, а Сена, грязная, огромная, чешуйчатая тварь, валялось внизу.

Люсьен глядит на воду и плачет, шагает к самому краю. «О Боже! если бы не надо было падать! Просто лечь! Но дождь не может убить... А нужно только это... Как это будет? Может быть, не очень больно?... Не хочу кричать!.. Как страшно! Господи! Пожалей меня! Пожалей! Смилуйся! Только не кричать!..»

Стиснул зубы и веки и прянул. Холодные цепочки дождя ударили его в запрокинутое лицо... И тут две руки, уверенных и мягких при своей силе, поймали его; одна всем локтем легла в тощий живот, на грудь — другая, и оттянули его от пропасти. Но сознание Люсьена было смертельно ранено. И он, и человек, державший его в объятиях, это знали и ждали, когда оно, пронзённое страхом и горем, вытечет на камни, и дождь унесёт его в реку...

Спаситель тихо заговорил:

— Любуетесь дождём? Сегодня он особенно прекрасен.

— Я его ненавижу! — выдавил сквозь зубы Люсьен, — Он омерзителен, как крокодилы слёзы и акулы слюни!..

— Что вы. Здесь нет чудовищ. Я вам расскажу, что мы видим: перед нами вознесение Сены Она тянется тонкими струйками к облакам; ей трудно, многие капли срываются, не достигнув небес и падают на крыши, на дороги, на нас. Вам их жаль?

— Не жаль. Мне никого не жаль. Я хочу, чтоб ни одна капля не добралась до неба.

— А я хочу, чтоб мир перевернулся, чтобы настоящим наводнением Сена хлынула вверх!

— Она тогда и нас смоеет.

— Неет! Мы стоим на мосту вниз головой, и он нас укрывает. Смотрите.

Люсьен глянул наверх и увидел ту же Сену, бурлящую, ошестинившуюся... У него закружилась голова, и он решил, что наконец-то умирает.

Когда он очнулся, двое безликих людей сняли с него всю одежду и указали идти в тёмный душный коридор, закрыли за ним полупрозрачную дверь.

Люсьен припал плечом к гладкой чёрной стене, попытался напомнить себе, что с его безвозвратно разрушенной жизнью бояться уже нечего. Воздух был влажен, потолок, кажется, низок; на полу какой-то коврик... Люсьен отстранился от стены, сделал шагов шесть вперёд и увидел дверь, сделанную из странного толстого стекла, неровного, всего в волнистых, беспорядочных, друг с дружкой стекающих застывших складок.

Точно такой — вспомнилось Люсьену — песок на прибрежном мелководье Шаранты. Мама не разрешала ему купаться, только побродить, тогда как другие ребята часами плескались и плавали...

За дверью темнота имела багровый оттенок. Узнаваемый голос сказал: «Войди».

Люсьен потянул дверь за ручку, заглянул, вошёл... Первое, что он испытал, это жар, такой, какого никогда в жизни не испытывал. Посреди комнатки, раскалённая докрасна, стояла железная печь, похожая на гигантский бутон тюльпана, единственный источник света. По стенам — ступенчатые деревянные лавки-полки, под ногами — решётчатый

настил из сухих гладко оструганных реек.

— Иди сюда.

Люсьен вздрогнул, заметив в правом углу существо с яркими глазами, изумрудной яркости которых почти не нарушало красное свечение; робко приблизился и пролепетал:

— Пожалуйста, будьте милостивы со мной, господин чёрт. Я настрадался в жизни...

Тот, наверное, улыбнулся и, протянув руку, поманил со словами:

— Ты ещё забавней, чем показался сначала. Не бойся, садись рядом.

Люсьен повиновался.

— Прислонись ко мне, — и незнакомец, обняв своего гостя сзади, точно так же, как на мосту, притянул его к себе, — Здесь нет свечей: они плаваются; нет железа: оно начинает кусаться, а крысёнок мёрзнет и дрожит. Мёртвый жар не заменит живого тепла.

— ... Вы всё равно не сможете мне помочь.

— Почему?

— ... Я не хочу говорить...

— Здесь мои владения, и все происходит по моему желанию. А я желаю добра. Тебе. Давай знакомиться.

— Меня зовут Люсьен...

— Очень красиво. А моё имя просто: John Gray — Серый Жан.

— Вы англичанин?

— Да.

— Вам не подходит это имя.

— Не нам судить... Имя — это судьба. Ты веришь в судьбу?

— Я не хочу в неё верить. Что хорошего, если кто-то за тебя всё решает!

— Ему, например, можно довериться и успокоиться, никогда ни в чём не раскаиваясь, ни чего не страшась, не сомневаясь. Но сейчас слишком много стало людей, хотящих решать участи мира. Ты из таких?

— Я не смог таким стать... Мои мечты разбились... Нет, не так... Мне не удастся объяснить.

— Пытайся.

— Это всё Париж. Когда видишь просто кусочек улицы, или дом — внутри или снаружи — слышишь звуки одного квартала, кажется, что всё обычно... Но если вообразить Париж весь целиком!.. О, сударь, — это же ужасно, это страшно! Такой огромный! такой огромный город! Ему нет конца и края!.. Столько домов! Столько людей! Глаз — злых, хитрых! Ртов — орущих, шипящих, хищных! Столько желаний! И я среди них... Я один... Ну, как я решился? как посмел?! Что я могу? такой огромный город! Я ничто в нём!.. И все — каждый — ничто!.. Я это понял... Но как я ненавижу их — тех самонадеянных, самодовольных тварей, которые считают, что крутят, как брелок, на пальце Солнечную систему. Выродки! Это мир существует только для того, чтоб каждый человек был раздавлен — рано или поздно! Зачем же, зачем и кто построил этот город!? Он не уместается у меня в уме! Моя душа распухла, как утопленник! Она ослепла, увидев Париж, оглохла от всех его шумов!.. Мои глазницы пусты!.. И я проклинаяю тех, у кого они заросли незрячим мясом, которые имеют нахальство думать, будто этот мир ждёт не дожждётся их распорядка — таких, как Растиньяк!..

— Печально.

— Все одинаковы — люди. Все ползают в слепоте своих принципов, летают в слепоте своей беспринципности, предают друг друга и обвиняют преданных в предательстве. Я буду

ненавидеть их вечно! Я всех бы их скормил червям, ничтожества, гниль, мразь!!!

— Тише. Я понимаю. Или — как ты думаешь? — я тоже слеп?

— Если вы считаете, что сможете что-то изменить в моей душе, — да. Возможно, вы богаты, но меня не спасут никакие сокровища... И напрасно вы думаете, что эти деньги, этот дом ваш. На самом деле всё это принадлежит Дьяволу. Если вы не знаете об этом, вы слепы.

— А ты знаешь, маленький пророк, что у слепых расцветают прочие чувства: обоняние, слух, осязание? Природа изворотлива. Заботясь о своих созданиях, она способна на удивительные фокусы. Того, что даётся пальцам слепца, зрячий не ощутит. Слепому ветер опишет все близкие предметы. Тепло чужого дыхания предупреди о встрече. Чужую радость, боязнь или похоть слепой учует по запаху, как пёс.

— Что вы хотите сказать?

— Что хотел — то сказал. Если берёшь метафору, будь готов к тому, что она заполнит весь твой мир. Тем более, что гибелью это грозит только твоим ошибкам. Когда новорождённый муравьишка кричит Вселенной: «Ты мне подчинишься!» — ну, разве это не трогательно?... А ведь он обо многом догадывается...

— Я тоже так делал, а вселенная наступила на меня, и всё, меня нет!.. Ну почему?!!!!

— Чщщ-ч-ч-ч... Тихо.

— Почему!?!... У него всё получается, он — любимец света! А он ведь только болтун и пижон! Но двадцать герцогинь с гордостью называют его своим протеже; блистательные франты и красавицы вырывают его друг у друга из рук; банкиры сдувают с этого хлыща пылинки!.. Чем я хуже!?

— Не завидуй участи того, кого, может быть, украшают и ублажают — перед жертвенным заклинанием. Они любят — они же и убьют его.

— Я хочу его убить! Я сам! Только я!

Незнакомец ((хоть он и представился, назвать так его можно. Он был из тех, в ком всегда самое главное непонятно и неизвестно, чьё каждое имя кажется вымышленным)) погладил безмянны пальцем хрупкую люсьенову ключицу и произнёс примирительно:

— Может, так и случится. Но для такого дела тебе понадобится много сил. Не трать их остатки на крики.

Люсьен уже с трудом отграничивал своё тело от чужого. Он следил за капельками пота, щекочуще ползающими по плечам и бокам. Он был весь мокрый, как и собеседник, которого всё ещё не знал в лицо.

— Так, — сказал тот, — нам пора вставать, а то расплавимся.

Он распустил объятия. Люсьену показалось, что кусочки его кожи отслоились и остались на руках и груди Серого Жана. Он почувствовал это так, как если бы был слеп, но не решился об этом сказать; стыдливо опустил глаза...

— Пойдём. Иди вперёд, за дверь. Направо.

Они вышли в темноту, прохладную теперь. Англичанин подтолкнул Люсьена в глубокую нишу, почти прислонил к стене и повернул к себе, но в крошечной темноте они по-прежнему не могли друг друга рассмотреть.

— В вашем доме нет окон?

— Есть — на тех этажах, что выше тротуара.

— Значит, мы под землёй. Я так и подумал... Сначала я вообще решил, что это преисподняя. Что же дальше? Что это за шум?

— Это к нам бежит вода.

Раньше, чем он договорил, три частых тёплых сотни струек полились с потолка, заплескались на гладком, как зеркало, полу между двумя людьми.

— Снова дождь, — проворчал Люсьен.

— Не бывает двух одинаковых дождей. Вступи под него. Если бы мы стояли на земле, не ней выросли бы грибы... Ты голоден?

— Ещё спрашиваете!

— Это значит *да*? Прекрасно. Пошли.

Он вывел Люсьена из мрака. Они очутились в великолепной комнате с высоким потолком, освещённой хрустальной люстрой. Правая и встречная стены были зеркальными, при чём по отражениям интерьера плавали в нём рыбки, жёлтые в голубую полоску; левая — мраморная, как и пол, украшена ампирическими барельефами; за неё уходила вверх лестница. Стояли друг напротив друга два чёрных огромных дивана, а между ними на ворсистом пастельно-оран-жевом ковре — столик с фруктами, вином, дорогими кушаньями.

На правом диване лежал серый халат, и, пока Люсьен рассматривал убранство, англичанин оделся и сел. Он оказался безупречным красавцем северного типа, золотоволосым, подавляюще грациозным. Для истинного аристократа, впрочем, он был слишком румян и атлетичен, да и кудри его до плеч были жёстки, а улыбался он одними нижними зубами...

— Добро пожаловать к столу.

Люсьен бросился к тартинкам и сразу три запихнул в рот, жмурясь от удовольствия. Серый Жан разлил по трём бокалам белое вино. Гость тут же схватил один из них и запил своё лакомство, перевёл дыхание и спросил:

— А мне найдётся что надеть?

— Конечно, но чуточку позже. Хочу тебя разглядеть.

— Что уж во мне интересного?...

— Эта отметина — от пули?

Люсьен машинально прикрыл рукой шрам на груди.

— Совсем недавней... Но мы не будем говорить об этом сейчас. Не стесняйся. Не думай о себе. Посмотри на меня. Я сказал *посмотри*.

Он говорил не повелительно, но негромко. Среди этой роскоши её хозяин сидит в простом тусклом платье, честно соблюдая своё имя. А на серых складках переливались оттенки золотого, белого, розового, словно для всех чудес комнаты было честью хоть слегка приотразиться в невзрачной одежде.

— Вы меня спасли от смерти, обогрели, накормили... Я не понимаю, зачем я вам нужен.

— Разве я не сказал этого сразу же, на мосту?

— Я не помню, но скорее всего это было что-то утешительное, а значит, неправда. Не надо никаких добрых слов. У вас есть ко мне интерес. Просто скажите, какой... Я нищий, у меня ничего нет, даже репутации порядочного человека. Я не смогу вам помочь ни в интригах, ни в афёрах, ни в мистификациях, ни в чём другом...

— Ты мне можешь пригодиться не для дел, а для забавы.

— Для какой?

— ... Кинь-ка мне персик.

Люсьен исполнил просьбу. Серый Жан повертел плод на ладони, взял со столика обоюдоострый нож и надрезал от череночного углубления по ровной закруглённой бороздке,

осторожно разломил.

— Ответьте мне прямо! — настаивал Люсьен, — Мне уже безразлично всё сущее, ... но тем невыносимее неизвестность...

Англичанин надкусил дольку персика и, раздавив его мякоть языком об нёбо, спросил:

— Ты обязательно хочешь быть мне благодарным?

— Может быть, через час я буду вышвырнут обратно на улицу!?!...

— Нет! Клянусь, ты уйдёшь отсюда, только если этого захотим мы оба — я и ты.

— Вы уже хотите?

— Меньше всего не свете. Я скорее опасаюсь, как бы не захотелось тебе, хотя у меня...

Не договорил: где-то наверху, над лестницей глухо грохнуло, и послышались тихие приближающиеся шаги — вниз по ступеням. В комнату вплыла, словно лебедь, прекрасная дама в белых просторных шелках с длинным шлейфом. Волосам её, волнистым, тёмным в рыжину, позавидовали бы героини полотен Россетти, а лицом она была похожа на леди Гамильтон. Она кивнула Серому Жану, что-то проговорила по-английски, тот встал, приблизился и тоже сказал нечто неразборчивое.

— Простите меня, — подал голос Люсьен, — но это невежливо: шептаться на незнакомом для присутствующих языке!

Дама удивлённо и с любопытством посмотрела на раздетого, исхудавшего человечка и пропела по-французски:

— Просто мы считали, что в Париже воспитанные мальчики знают английский.

— А вот зверьки, живущие на сваях сенских мостов, не знают, — заступился Серый Жан, — Крысёнок, назови миледи твоё имя.

— Люсьен Шардон.

— Маргарита Девере, — в ответ представилась прелестная и, отвернувшись, развязала шнур у шеи; распустившаяся в ворота хламида опала на пол, оставив даму одетой только в тёплый воздух и восхищённые взгляды. Её соотечественник с улыбкой подал ей половинку персика. Маргарита вошла в темноту; нежный силуэт искривился и пропал в морщинах дверного стекла.

— Как она красива! Кто она? — пробормотал Люсьен.

— Моя пожизненная спутница.

— Вам повезло.

— Нам всем повезло. Мы развлечёмся на славу.

— Но она же — ваша!.. При чём тут я!?!... Неужели вы позволите мне наставить вам рога?

— Ага. Но не раньше, чем я приделаю тебе хвостик.

Англичанин положил в рот остаток персика, взял бокал так, что ножка свисла меж его пальцев. Люсьен нерешительно поднял свой и тихонько звякнул его краем о хрустальный диск подставки:

— Я ничего не понимаю, но и терять мне нечего.

Вскоре ему захотелось спать — он пожаловался на это. Хозяин дворца хлопнул в ладоши, и люстра медленно спустилась до уровня его глаз. Он пустым бокалом загасил все свечи, кроме одной. Оскудевшая светом бронзовая медуза снова поднялась по его знаку.

— Но я всё равно не смогу уснуть, если не укроюсь, — капризно предупредил Люсьен, укла-дываясь головой на пухлый подлокотник.

Серый Жан поднял с ковра одежды леди Маргариты и набросил их на приёмыша.

— Спокойной ночи, Крысёнок.

На утро Люсьена отвели на верхние этажи, где назвали уютно мрачную комнату с высоким чёрным потолком, бархатно-малахитовыми стенами, белым полом и большой кроватью его новым жилищем. По желанию Люсьена приносили любую еду, одежду.

Заламаншских господ не было видно весь день, а вечером Люсьен встретился с ними обоими за ужином. Дама была в модном богатом платье, кавалер — во фраке. Всё как надо.

Люсьен не взял в рот ни крошки и, ничего не сказав, вышел из-за стола раньше хозяев.

Он просидел в своих апартаментах полчаса, потом вошёл слуга и велел следовать за ним. Люсьен одновременно боялся и был равнодушен, не позволяя себе забыть, что он — человек конченный.

Его доставили в прежнее роскошное подземелье, где уже ждал Серый Жан. Один. На нём снова его величественная ряса, только волосы, как и за ужином, собраны на затылке в пучок, но уже несколько прядей выбилось и свисало небрежно, левые длиннее правых. Он сидел. Он приказал слуге идти, а Люсьену указал на диван напротив.

— Зверёк рассердился? — спросил непонятым тоном.

— ... Я же говорил вам, что ненавижу... эти белые скатерти, салфетки, ряды этих вилок и ножей, и прочих прибабасов! а уж все эти манжеты и воротнички, галстуки и фраки — подавно!.. Я бы предпочёл всю жизнь есть руками копчёную рыбу, сырые овощи и фрукты, одевался бы в какую-нибудь шкуру... или в такую мантию, как вы,... вы в ней гораздо...

— Что?

— Красивее... То есть я не говорю, что фрак вам не к лицу. Просто я не люблю фраки... Но вам нельзя иначе... Вы настоящий денди!..

— Я свободный человек — благодаря умению маскироваться...

— А я свободным уже никогда не буду!.. Особенно здесь... Я хочу умереть... Я понял, что вы от меня хотите... Что ж, я в вашей власти!..

— Давай поговорим о чём-нибудь другом.

— ... Вы на меня не злитесь?

— Конечно, нет... Спросил меня о чём-нибудь?

— ... Почему вы уехали из Англии?

— В свадебное путешествие. Но нам понравилось на континенте, и мы остались.

— А чем вы занимаетесь? У вас есть рента?

— Бедная Франция помешалась на деньгах.

— Извините. Разумеется, всем богачам есть что скрывать, — Люсьен помолчал, потом встал, подошёл у зеркалу, в котором, безмятежно покачивая хвостиками, плавали яркие рыбки.

— ... Как это сделано?

— Это аквариум с очень чистой водой.

— А, да — я вижу: у них тоже есть отражения... Скоро вы...осуществите свои планы... насчёт меня?

— Это от тебя и будет зависеть.

— Хватит! Ничего от меня не зависит! Я только выброшенная кукла! Когда!??

— Когда я почувствую, что ты становишься настоящим домашним зверьком, доверчивым, послушным...

— Я никогда таким не стану!

— Тогда завтра, — он поднялся, развязал волосы, встряхнул ими, — Ступай к себе и

усни.

— Я хочу остаться здесь.

— Ладно.

Англичанин сбросил халата и ушёл в тёмную комнату. Почти сразу же спустился слуга с несколькими серебряными рюмочками на подносе. Он аккуратно поднял с пола серую одежду, положил на диван и обратился к Люсьену:

— Как вы желаете спать: крепко или чутко, долго или не очень?

— Всегда.

— Этого я вам не устрою. Поговорите с самим господином графом...

Люсьен задремал, как ему показалось, на несколько минут. Проснулся в необъяснимой тревоге. Заглянул в жаркие комнаты, но там было пусто. Он снова стал себе твердить, что всё ужасное в его жизни уже случилось. Лёг на диван, но уснуть не мог.

Через два часа одна за другой погасли, догорев, все свечи в люстре. Люсьен вскочил в кромешной темноте, взгляделся в неё и смог различить синюю рябь на зеркальных стенах. Он понимал, что это светятся чешуйки рыб, но ему неотвязно мерещились чьи-то глаза...

— Эй, ты, а ну, войди ко мне! Давай, если сможешь! выйди из зеркал! — закричал.

Сначала не изменилось ничего — мрак и тишина, плавное перемещение синих пятен, а потом они, просини во тьме, вдруг заметались, диван под Люсьеном будто бы вздрогнул и сжался; пол покосился, как в каюте при шторме, и послышался стук. Он звучал, как шаги, но ритм их повторял биение люсьенова сердца. Он ускорялся и становился громче; кто-то приближался неизвестно откуда. Казалось, отовсюду...

Люсьен знал здесь только одну входную дверь и бросился к ней ощупью, спотыкаясь на ступенях... Шедший был очень близко. Видимо, он нёс какой-то светильник. Дверь тонко очертилась белым. Люсьен приник к замочной скважине, и тут стук оборвался.

Холодно-резкое сияние впилося в зрачок. Люсьен опрокинулся на спину, крича:

— Убирайся! Ненавижу свет!!!

Глава II. В которой два странных человека заключают союз

Эжен бросил учёбу за месяц до выпускного экзамена и окончательно пустился в свет. Те выигранные в карты деньги, что не успевал просадить или отсылать в родной Ангулем, он относил портному и парикмахеру — без каких-либо указаний; они делали с ним всё, что считали нужным, и Эжен слыл элегантным молодым человеком. Дамам нравилось с ним танцевать. Он был трогательно бледен и чудесно строен в их глазах. Они не знали, что он надевает под сорочку стёганный жилет, чтоб выглядеть именно стройным, а не тощим. Эта тайная одежда была нужна ему затем ещё, что он постоянно зяб, наверное, от недоедания. Мучился сначала, но то были знакомые с детства страдания, и он свыкся, научился почти вовсе обходиться без покупной пищи, что стало последней темой его гордости. Он мог быть практичным и благоразумно целеустремлённым, но, как в крови — холод, так в душе его растеклось безразличие. Кланяясь графиням и герцогиням, он так ледовито смотрел сквозь их рукава и подола, груди и ноги, что, ниоткуда не гонимый, он никуда не был и прошен.

Летом он отказался от натальной безрукавки, и платье болталось на нём, как на кресте огородного пугала. На эти месяцы свет покидал Париж, и Эжен без дела скитался по ущельям и пещерам города. У него не было друзей. Пансионный приятель — бедный и бескорыстный медик Орас Бьяншон перестал с ним здороваться. Перекинуться парой слов он мог лишь с журналистом Эмилем Блонде, недавно переехавшим к нему в запотолочные соседи.

К своим благодетелям Нусингенам Эжен заглядывал, но редко, со стыдом...

Чаще всего, одевшись в самое изношенное и мрачное, он подымался на Монмартрское кладбище, находил заброшенный жалкий холмик и по несколько часов неподвижно сидел или лежал возле него на траве. Только тут его покидало нервное оцепенение, и если светило солнце, то было радостно и грустно, а если нависали тучи, — страшно и тоскливо.

Лето прошло, как утомительный, однообразный и непонятный сон, от которого пришлось проснуться в самую угрюмую и грязную осень. Единственная зелень, которую теперь можно было видеть в Париже, наконец приняла и поглотила последний эженов грош, брошенный всё в том же непробудном бесчувствии. Ещё несколько раз Эжен появился на званых обедах, потом его последний фрак пришёл в негодность... Три дня его если кто и видел, то разве что домашние пауки и тараканы. Третья ночь выгнала Эжена на улицу. Он зашёл во двор к чёрному ходу, снял с пожарного щита лопату и пошагал на Монмартр к заветному холмику, но вместо него нашёл яму, над которой трудился кто-то одного с ним роста, одетый так же плохо, правда, в перчатках. Зверски закричав, Эжен замахнулся своим оружием; противник ловко отбил и вовсе вышиб лопату из иссушенных голодом рук.

Глинистые комья сыпались с острого клинка на шею Эжену, опрокинутому навзничь. Человек, стоящий над ним, спросил, тяжело дыша:

— Мы знакомы?

— Я где-то слышал твой голос.

— А. Судя по твоему, ты — Эжен де Растиньяк. Мы увиделись впервые у госпожи де Ресто. Я — Максим де Трай, — говорящий легко отступил, изящно облокотился на воткнутую в землю лопату, — Хочешь, зови меня просто *Макс*...

— Какого чёрта ты здесь делаешь!?

— Ну, а ты?

— Я... я хочу к нему!.. Я больше не могу!.. Мне надо его видеть!!!

Эжен распластался на жухляди и грязи, трясясь от стужи и истерики.

Макс присел к нему, приподнял его за борт сюртука, усадил, лоя его глаза своими.

— Кто он тебе?

— Он — ОТЕЦ!.. — отвечало что-то из Эжена, грозя раскрошить его зубы.

— Там — с ним — что-то ещё есть? Там захоронено какое-то сокровище?

Эжен прокивал подтверждение, потом, отпущенный, приподнялся на локтях и простонал: «Не смей!». Макс обернулся:

— Я имею право. Я ему зять.

— Я тоже...

— Разумеется. Я поделюсь с тобой.

— Это нельзя делить.

— Тогда оно достанется сильнейшему, — спокойно и просто постановил Макс, возвращаясь к своей чёрной работе.

Эжен понемногу опомнился. Теперь под мерный луск железа о землю и гравий он сидел, обнимая колени, и следил за Максом. Рывший думал лишь о том, сколько ещё ударов, трудных рывков и бросков ему осталось. Но вот лопата наткнулась на крышку гроба — глухо стукнуло под землёй — и в груди у того и другого. До этого мгновения Макс считал себя усталым, ждал конца. Теперь ему хотелось любой ценой продлить это жуткое дело. Он расширил яму, утоптал дно вокруг гнилого ящика, выкинул наверх лопату, подскочил, опершись на край ямы, сел там, перевёл дух и глянул на Эжена:

— Предлагаю, — выговорил, — шанс завладеть кладом. Достань его оттуда... Заодно и повидеаешься... Не забудь инструмент.

Он не верил, что это случится, но его непрошенный товарищ безмолвно подполз, волоча свою лопату, свесил ноги в могилу и соскользнул в неё, дрожа, со страхом на лице, но при том поспешно. Макс не хватило сил смотреть, что будет делать этот одержимый.

Эжен же нащупал щель под крышкой гроба и стал просовывать в неё лезвие лопаты. Длинный черенок уткнулся в земляной срез, осыпал его и всячески мешал. Эжен взрычал от злости и одной рукой сорвал с палки железный наконечник, саму её вышвырнул прочь, наложил на оружие вторую руку и, встав на колени, повернул широкий клинок в щели и открыл гроб; поддел дверь уже пальцами, оттолкнул её. Тут его взяла немоощь. Он даже глаз не мог открыть, сидя, упираясь спиной в землю, коленями — в гроб.

Макс подобрал рукоятку эженовой лопаты, осмотрел и изумился, найдя отверстия от двух гвоздей, крепивших наконечник. Меж тем Эжен притих, и Макс пришлось посмотреть в могилу, а там и спуститься в неё, придерживая дыхание.

— Эй, ты в себе? — громко прошептал он. Ответа не было. Макс выругался по-английски, откинул трухлявую крышку к изножью гроба, выпрямился, высунулся наружу за чистым воздухом, потом снова присел и зашипел поверх чёрного ящика, в который не отваживался заглянуть:

— Если ты сейчас же не очнёшься и не сделаешь этого, я сам всё возьму, а тебя закопаю с твоим отцом!..

Вдруг снизу донёсся странный шорох, тихий скрежет и хлюп. Макс умолк, Эжен развёл веки и посмотрел на него, а он смотрел в гроб, и роговицы его глаз словно поседали.

Вскоре его заслонило нечто тёмное, бесформенное, поднявшееся в могиле из её ковчега.

Сердце Эжена уже не било — гудело. Прямо перед собой он разглядел лицо, совсем не такое, какое бывает у живых людей, но очень знакомое и любимое. Казалось, оно улыбалось, и Эжен улыбнулся в ответ; он словно впервые в жизни был счастлив. Он попытался что-то вымолвить, но мертвец опередил его. Это был, конечно, не голос, а звук, похожий на шуршание сырого песка:

— Сы-нок... Возь-ми...

Чёрные истлевшие пальцы зажимали и протягивали блестящую бляшку, вроде монетки.

— Нет!!! — заполнил яму чужой горестный крик, — Отдай мне: я кормлю твоих внуков!

Покойник осел, повалился на своё ложе, выронив медальку под ноги Эжену, испустил долгий страдальческий хрип, и всё смолкло.

Макс, что-то быстро шепча, перешагнул гроб, поднял с земли жалкую драгоценность, сунул её в карман, подхватил подмышки сообщника, вытолкнул его на поверхность, где тот мгновенно опьянел от кислорода, а сам закрыл ящик и принялся заваливать яму...

Сонно-одурманеное сознание Эжена то и дело ныряло из реальности в пустоту, как проваливается нога идущего по нетвёрдому насту на глубоком снегу. Ему чудилась долгая плутающая дорога — улицы, дома, двор, лестница, звон ключей, скрип двери...

В комнате было жарко и душно. Макс поднёс к носу товарища флакон душистой соли, от запаха которой по телу мозга пробежала стая мурашек. Эжен потряс головой и вернулся из полузабытья.

— Где мы?

— В моём теперешнем жилище.

Это была бедная двухкомнатная квартира. В прихожей стоял диван, отгороженный от двери дешёвой занавеской, напротив — окошко, столик, пара табуретов, справа от окна — камин. В утвари крайняя скудость, но вот книги! — заполненные ими стеллажи занимали всю имеющуюся вертикаль, стопки книг стояли под столом, на подоконнике, на каминной полке, и всё то были дорогие, старинные издания, благородно блестящие золотым тиснением по всем оттенкам тёмного сафьяна. Да вот ещё стройные красные свечи горели в большом бронзовом канделябре, на ветках которого висели карманные часы, брелок с хрусталиком, коралловые чётки.

— Хорошо у тебя тут...

— Говори потише: за стенкой спят мои дети.

— Мать которых — Анастази?...

— Разумеется.

— А она где? Что с ней?

— Она овдовела. Муж обошёл ей в завещании, отказал всё старшему сыну... Впрочем, там и отказывать-то уже было нечего... Она ушла в монастырь, Эрнеста забрала тётка, Полину и Жоржа — я.

— Давно вы тут ютитесь?

— Мы всего-то две недели как вернулись из Англии. Там у меня кое-какая недвижимость. Еда там сытная, погода хорошая — летом, но зимовать невозможно...

— Слушай,... Макс, ты в состоянии объяснить, что тебя понесло на Монмартр?... что ты там надеялся откопать — мешок алмазов что ли?... Я, допустим,... ну,... с приветом немного — это же ясно, но по тебе никак не скажешь...

— Мне были сны. Их трудно описать. Это началось ещё в Англии, а здесь стали являться и дневные видения... О тебе... Ты знаешь больше моего.

— Я только знал, что там есть этот медальон — я сам его туда положил.

Макс протёр золотой диск краем платка, рассмотрел у света.

— Но ты ведь не за этим шёл?

Эжен почувствовал испуг перед разоблачением, хотя не понимал, на чём его ловят.

— Я не помню, когда последний раз ел! Мне не на что купить воды и дров! Мне нечего надеть! Всё, что можно, я уже отнёс в ломбард...

— Не то, — непреклонно вёл его к признанию Макс, — У тебя ведь есть богатая любовница.

— Я не могу её больше видеть! Она позволила ему умереть!..

— Так кто он тебе?

— **Он** мне всё!!! **Он** единственный, **кого** я люблю!!!

Макс присел на табурет, прикусил большой сустав указательного пальца...

— За что?

— Я не встречал никого лучше! **Он** был сама доброта и любовь. Как они могли так поступать с **ним**!? По сравнению с **ним** все они — грязь!

— А ты?

— ... Меня **он** называл своим ангелом... Но я тоже виноват...

— ... Ты рад, что встретился сегодня с ним?

— Ты не представляешь, как! **Он** улыбнулся мне. Теперь мне нечего бояться, а ждать совсем недолго, и **он** не прогонит меня...

— О, боюсь, это ошибка. Ты нужен ему здесь и дорог лишь как защита и услада его дочери. Твоё место — возле Дельфины, и если ты от неё отречёшься, **он** проклянёт тебя.

— ... Но она... глупая эгоистка!.. у неё... белые ресницы...

— У неё могут быть зубы в три ряда и ежовая шкура на животе, но ты принадлежишь ей. Так распорядился Отец.

— Ну, а сам ты чего заслужил!? Из-за тебя жизнь другой его дочери стала адом! Где твоя любовь и верность!? Как ты смеешь читать мне тут мораль!?

— Не ори: детей разбудишь.

— Покажи мне этих детей! Может, у тебя и нет их! может, это только блеф — ведь ни на что другое ты как будто не способен! А! Ну, ещё лопатой шуруешь недурно!

Макс выдернул одну свечу, кивком позвал за собой и привёл Эжена в соседнюю комнату, где к спине камина жалась кровать. Огонёк в красной юбке полетел над ней и над двумя головками — тёмной и белокурой. Обе были острижены на длину указательного пальца, и нельзя было понять, кто мальчик, а кто девочка. Темноволосое дитя шелохнулось во сне, потёрло ладошкой слипшиеся глаза. Макс перехватил каплю воска, падающую на лоб малыша. Эжен в смущении отошёл, вернулся в прихожую.

Макс догнал его, возвратил свечу в хоровод.

— Убедился?

Эжен сложился на диван и лишь вздохнул. Макс тихо продолжал:

— Большинство людей добрей меня, но Тот, Кто знает всё, знает, как много я люблю, ... как мне плохо без моей Анастаси. Я обязательно найду её. Пусть она ненавидит меня сейчас, пусть — навсегда. Это её право...

— Ты хорошо говоришь, ... — прогрустил Эжен, — Правильно... Я был когда-то добр, но теперь это ничего не значит: для меня здесь всё кончено — всё стёрто...

Макс повернулся, сел на прежнее место.

— У тебя тоже есть семья: родители, братья и сёстры...

— Это у них есть (был, точнее) я. Даже не я, а какие-то надежды. Я был для них средством... обогащения, возвышения, что ли... и всё — под приторное кудактанье и щебет...

— Зато отец, наверное, не слишком церемонился...

— ... Ну, он хотя бы говорил, что думал: я выродок и дармоед... Париж дал ему полное право так меня называть...

Взгляд Эжена задержался на прикрытой двери спальни, откуда сквозил ровный яркий изголуба-белый свет.

Оба вскочили на ноги и смотрели то друг на друга, то на лучи, вырезающие из темноты прямоугольник.

— Пойдём, — шепнул Макс.

Створка отворилась сама собой перед первым их шагом. Чудесное сияние оказалось аурой непонятно откуда возникшего старика, сгорбленного, неопрятного, усталого — точь-в-точь такого, каким он бродил по пансиону мадам Воке в воспоминаниях и снах Эжена. В сухой подрагивающей руке он держал жёлтый блестящий кружок. Макс сунул руку в карман... и только вздохнул, насупился, оглянулся на дочь и сына — те спали: свет им не мешал... Эжен в ликовании метнулся к призраку, но вдруг замер и тоже опустил голову.

Тут господин Горио сказал скрипучим, но живым и приветливым голосом:

— Дети мои, подойдите...

Подступив ближе, Эжен робко глянул в лицо старика, ища примет гнева и не находя их. Макс щурился от света и отводил глаза.

Отец назвал по имени Эжена, попросил его правую руку и на его ладонь, поддерживая её снизу, уложил медальон, затем окликнул и отчаявшегося было Макса, накрыл его левой рукой даримый талисман, а сверху возложил свою. Скрытое, сжатое золото вдруг накалилось, стало жечь и сочиться сквозь пальцы слепящими лучами во все стороны, пока сплетение кистей не потонул вовсе в клубке огня. От нестерпимой боли руки разорвались; свет померк, только фарфор люминисцировал в посудном шкафу и по настенному ковру бегали редкие искры. Из горсти Макса, закусившего губу, вился во тьму сизый дымок, словно церковное курение. Эжен прижимал обожжённую ладонь к сердцу и беззвучно плакал. Медальон исчез — остались круглые клейма, лилии жизни пересеклись именами Анастаси и Дельфины...

— Теперь ты видишь, что я был прав, — говорил Макс, прикладывая руку к оконному стеклу, чтоб хоть на время унять боль, — Придётся тебе оставить свои макаберные затеи.

Эжен разглядывал свою под свечами.

— ... Знаешь, ты никогда мне не нравился...

— А я захотел убить тебя, как только встретил — там, у Нази... Ты голоден? Впрочем, у меня всё равно нет ни крошки... Но, может, выпьешь — красного? оно сытнее.

— Наливай.

Теперь Макса лечила холодная бутылка, скучавшая прежде под столом, и Эжен охотно взял бокал, глотнул немного, подумал и залпом осушил.

— Зачем так быстро? Захмелеешь... Я заварил бы чаю, но питьевой воды тоже нет.

— А есть места, где из земли бьют родники, прозрачные, как ночное небо; где роют колодцы и пруды, чтоб купать и поить младенцев; где текут такие реки, что можно зачерпнуть кружкой и пить; есть озёра, наполненные будто целебным отваром — окупнёшься

раз и чист... Здесь же в одних фонтанах вода похожа на воду, да и та проржавлена.

— Тебе не мешало бы умыться. Для этого найдётся полведра пригодной жидкости. Раздевайся.

Бедный провинциал снял верхнюю подергайку, нагнулся, сгрёб сорочку со спины и стащил наперёд, через затылок, рывками высвободился из рукавов.

— Что за плебейские ухватки!?

— Если б не они, меня бы ещё школьником утопили в родной Шаранте... Что ты так уставился? Я урод, да?

— У тебя — с трудом выговорил Макс, — просто нет тела. Ты бесплотен!

Он был в ужасе: перед ним сидел ладный, стройный скелет, обтянутый жёсткими сухими жилами и крепкой, матовой, как свежая замша, кожей. Всё, что было в нём, было само по себе прекрасно, но существо без мяса казалось Максиму чудовищным, оскорбляло его. Впрочем, он, поражённый созерцателем, быстро нашёл и втолковал себе, что это эстетическое страдание более чем заслуженно: вспомни, что тебе нравится в теле, каким оно нравится тебе, — говорил его праведный ум, — радуйся: тут нет тебе соблазна.

Эжен тем временем избавился от остальной одежды, оттолкнул её, брошенную, пяткой и сидел, одной пятернёй обхватив коленную чашку, другой локоть — весь неуклюжий, ущемлённый, злобно стыдливый:

— От меня, наверное, разит, как от помойной собаки...

— Я бы не идентифицировал это так, — быстро пробормотал Макс с неловкой усмешкой, — У меня чуткий нюх, но не волнуйся: я не делю запахи на приятные и дурные.

Говоря это, он ставил на пол потемневший медный таз, устилал его дно полотенцем, чтобы потом, во время эжена ответа наливать воды и разводить в ней мыло.

— Значит, тебя никогда не били по носу. А мне вот его сломали лет в двенадцать что ли, теперь я могу только догадываться... Зато тебе, видимо, как-то зашибли лоб: нам на спецкурсе по криминалистике говорили, что если у человека повреждены подлобные участки мозга, он перестаёт различать добро и зло.

— Интересная гипотеза, но вообще-то восприятием — любым — занят тот же мозг.

— Ну, по башке мне тоже доставалось...

— Садись сюда.

Щадя неожиданного побратима, а ещё больше самого себя, Макс отвернулся, достал откуда-то новых тряпок и пару шершавых перчаток, предназначенных заменять мочалку. Полотенца он намочил в оставшейся воде, также чуть ароматизированной.

— Холодно, — пожаловался Эжен.

— ... Я знаю место, где из недр течёт горячая вода. Да что течёт! — взмывает выше деревьев. А на поверхности земли почти всегда лежит снег...

— Где ж такие чудеса?

— В Исландии. Я там учился.

— Чему?

— Магии.

— Ого! Ты — дипломированный колдун!?

— Я бакалавр оккультных наук. Читаю на десяти языках, манипулирую предметами, не прикасаясь к ним, владею гипнозом... Всё это ещё считается пустяками, но меня как-то не увлекли ни некромантия, ни экзорцизм, ни реликвистика, ни параантропология...

— Как? Па-ра-ан-тро-по-логия? Что же она изучает?

— Другие разумные формы жизни, близкие и подобные нам. Это молодая наука. Полтора века назад тут речь шла бы об антропоморфных демонах. Сейчас от этого отказались и уверенно считают, например, носфератов и ликантропов разновидностями *hominis sapiens*.

— Я ни о чём таком никогда не слыхивал!

Макс подал ему полотенце:

— Оботрись. С лица!.. Теперь руки и живот...

Он стоял за спиной у Эжена и терпел адову муку, глядя, как от шевелится огромная сколопендра позвоночника, как волнами ходит кожа на торчащих рёбрах. Равносильно хотелось прикоснуться к этому монстру — и было страшно...

— Потереть тебе спину?

— Я сам, — Эжен перекинул назад скрученное в жгут полотенце и принялся полировать. О спинные выступы оно так истрепалось, что нитки отлетали, а после процедуры над ногами эту тряпку осталось разжаловать в половые.

— Вот это — для волос.

Эжен накинуд новое полотенце на голову и растёр волосы, отчего в комнате действительно запахло псиной, а чёрные пряди южанина подтянулись в аккуратные тонкие красивые завитки. «Какая славная порода! — подумал Макс, — И именно таким не живётся...».

— Кстати, откуда ты узнал о моей семье? Особенно об отце...

— Позволь мне не отвечать сейчас на этот (довольно праздный) вопрос.

— Тогда я тоже не отвечу на какой-нибудь твой.

Это прозвучало угрозой, и Максу стало смешно, но едва его взор упал на исполосованную межрёберными бороздами, покрасневшую от растирания спину, всё веселье кануло. Он наклонился и дрожащей одетой рукой стряхнул с неё тёмно-серые катышки. Эжен поёжился от щекотки.

— У меня мало к тебе вопросов. То есть, много, но ты на них вряд ли сможешь вразумительно ответить.

— Вопрос надо правильно построить, а ещё помнить, что молчание тоже что-то значит.

— Заповеди сыщика?

— Ты дашь мне что-нибудь накинуть, или прикажешь до страшного суда щеголять в срамоте?

Подавая ему сверху через правое плечо чистую рубашку, Макс молвил:

— Отгадай загадку: кто в своей жизни слышит больше всех брани; перед кем люди не стесняются ни заголяться, ни испражняться?

— И кто? — спросил Эжен, просовывая голову сквозь дыру в белом льне.

— Это Господь Бог — всевидящий и всеведающий.

— Хоу! Глубины твоих тайных знаний?

Макс чуть принуждённо посмеялся, снял перчатки, повесил полотенца сушиться над камином. Через полторы минуты он увидел побратима шагающим к дивану. Рубашка свисала до эженовых колен, кое-где прилипнув.

— Устал? — заботливо осведомился Макс; Эжен растянулся со словом: «Смертельно!».

— Я сейчас.

Скрывшись за занавеской у изголовья дивана, Макс вскоре вышел в длинном чёрном шёлковом халате с часто посаженными ониксовыми пуговками. Улыбку, которой встретил

его Эжен, он счёл дурацкой, прелестной и таинственной. Погасил все свечи, кроме одной — самой окороченной и подсел к Эжену.

— Нам придётся делить это ложе.

— После того, как мы разделили поровну и без остатка одну мелкую медальку, это не кажется трудным.

— Позволь мне... Странная, конечно, просьба... Позволь связать твои руки.

— Зачем? Ты боишься, что я на тебя нападу?

— Вовсе нет. Это просто... невроз...

— Не во что?

— *Невроз* — цельное слово. Оно называет абсурдное, бесполезное, но навязчивое желание, вспомнить, например, какое-то имя, стащить вещь, которая тебе не нужна; поднять что-то с земли, повторять одну и ту же фразу...

— А, ясно.

Эжен лениво протянул вперёд руки, сблизил тонкие запястья.

Макс вынул из кармана эластичный, гладкий шнур, сплетённый из двух — фиолетового и золотистого. Всё это было трудно разглядеть, но Эжен заметил:

— Пижонская верёвка.

— Прости, пеньки не нашлось.

Макс стоял на коленях и бережно оборачивал шнур вокруг предоставленных рук; с каждым замыканием его сердце зализывала волна нежности. Он сосредоточенно сдвигал подкрашенные брови, разравнивая узы...

— Не туго?

— Нет.

— Если будет мешать, разбуди — я распутаю...

— И снова будешь нервничать? Зачем? Мне ничего...

— Не страшно?

— Тх! Бояться начинают, когда в жизни всё до неприличия хорошо: не решаясь на другие жертвы, люди ударяются в страхи. Это не мой случай.

Закончив, Макс проскользнул между мягкой грудью дивана и твёрдо-неровной, как связка дров, спиной Эжена, кое-как устроился в тесноте.

— Расскажи о своих предках? — попросил после некоторого молчания Эжен.

— Их нет. Я первый в своём роде.

— ... Подозреваю, что это не шутка...

— ... Вся моя семья погибла в революцию — или рассеялась... Я никого из них не помню... Не знаю не только дня, но и года моего рождения. Сколько мне сейчас? Уже за тридцать, должно быть... Меня подобрал один старик-колдун; он и устроил меня в исландский колледж, в свою очередь исчезнув, но оставив неплохое состояние и придумав это имя.

— А прежде тебя звали иначе?

— Наверное... Моё первое в жизни воспоминание:... я сижу на подоконнике, на каком-то высоком этаже. Рядом лежит заряженный пистолет, из которого я должен выстрелить себе в голову, когда войдут люди в кранных шапках... Ожидая их, я читаю и перечитываю рукопись под названием «Сто двадцать дней Содома»...

— Ожидая... Ты хотел, чтоб они пришли?

— В конце концов — да. Я сидел там очень долго. Мне было нечего есть... Правда,

рукопись отбивала аппетит, но и жить больше не хотелось... Они так и не явились — пришёл тот дед...

— Тебе вряд ли было тогда меньше пяти лет, но едва ли — больше десяти. Пистолет казался тебе очень большим или ты свободно держал его одной рукой?

— Это был специальный маленький пистолет — мой собственный, не взрослый...

Эжен вздохнул в сострадании. Огарок погас.

На несколько минут дыхание Макса стало шумным, как ветер в лесу, потом совсем утихло. Его гость уступал дремоте с робостью человека, впервые принимающего наркотик; его лопатки и ключицы облепляло свинцом, темнота вливалась в голову; казалось, вот-вот — и всё, но что-то вновь противилось. Вдруг — глухой удар в ушах, и всё тело дёрнулось, сердце словно поперхнулось адреналином, долго откашливалось и болело. Надо помолиться, подумал Эжен и начал шёпотом читать «Pater noster...», дойдя до самого *amen*, отвлёкся на какие-то импровизации и разбудил Макса.

«...сердца людей преступных облитые кровью лезут сквозь павшую хвою все в белых струпьях державные жилы их белы и налиты ядом им памятни беды безумье всегда с ними рядом собратия помните добрую волю Отца любовью Его все мы живы и сыты свободу душ своих храните умов не травите...» — бормотал Эжен на чистейшей латыни.

Глава III. В которой интерпретируют историю Содома

Люсьен пролежал у двери, свернувшись клубком, дрожа и не засыпая ни на миг. Новые и новые бессонные минуты заваливали его, давили, словно камни...

Когда пришёл Серый Жан и помог Люсьену встать, тот ничего не сказал сначала и не смотрел на хозяина. Они отправились наверх, во вчерашние покои.

Люсьен сразу залез под одеяло и прохныкал:

— Неужели до вас я не знал жестоких людей и страшных ночей!?!... Не делайте сегодня со мной ничего. Я будто разбит и лежу черепками... Хотя, быть может, так, в полусознании, мне легче было бы перенести... позор...

— *Позор!*.. Обычные слова непосвящённых...

— Невинных.

— Несмышлёных маленьких зверьков... Спокойного дня.

Сон пролетел одной секундой.

— Чем мы теперь займёмся? — спросил Люсьен, открывая глаза в темноте.

— Историей, — прозвучал ответ, — Здесь хорошо натопили, так что можешь раскутаться. Лежи, не шевелись, слушай, что я буду говорить, и не обращай внимания на мои руки.

— ... Вам придётся рассказывать что-то очень интересное.

— Постараюсь. После Всемирного Потопа прошло около десятка веков, но люди достаточно расплодились, построили большие города и стали предаваться всяким вольностям. Особенно преуспевали соседи Содом и Гоморра. Они прославились тем, что в жизни плоти творили всё, что запрещено было у других, а к тому, что другие приветствовали, относились с недоверием. Однажды два ангела (они тогда ещё часто бродили по земле), проходя мимо Содома, решили заночевать на улице города, но у самых ворот встретил их некто Лот и упросил зайти к нему в дом. Вечером жители ближних кварталов постучались к Лоту и потребовали, чтоб он познакомил их с гостями. «Знаю я, — отвечал тот, — что у вас на уме: один постыдный блуд! Есть у меня две дочери, не знавшие мужа. Давайте лучше я их к вам выведу». На это содомляне (повернись, пожалуйста) очень разгневались и закричали: «Бесстыдный мерзавец! Как ты смеешь глумиться над нашими обычаями!? Ты и не угадаешь, что мы с тобой за это сделаем!» Тут ангелы пришли на помощь своему приютителю, набросив на него плащ такого цвета, какой не воспринимает человеческий глаз, завели обратно в дом. А там сказали между собой: «Странные здесь люди». Лот же не замедлил рассказать о местных затеях. «Раз у них всё так перевернуто, — решили ангелы, — то пусть и живут они по ту сторону земли. Ты, обычный человек, заberi семью и беги отсюда в горы и не вздумай оглядываться». Лот разбудил дочек и жену и ушёл вместе с ними из обречённого места. Супруга его брела позади. Она знала, что нельзя смотреть назад, но оглянувшись, увидела великий свет и — превратилась в соляной столп... А Лот с дочерьми заночевали в горах. Последние отпрыски Содома, последние капли лукавой крови, — вообрази, что задумали эти девицы (вопреки родительскому мнению, давно уже многоопытные)! Они опоили отца и, по очереди завладев им, похитили его семя и стали матерями. С тех пор по земле рассеялись странные люди, чьё влечение не к противоположному, а к своему полу, или к обоим сразу. В них возрождается прах вольных городов. Они — потомки дочерей

Лота. Но преуспели на земле и те, что продолжили его самого — лжежертвователи, лжеправедники, большая язва на человечестве, чем десять Содомов... Лишь одно может перерасти их пагубу... — наследие... той безымянной женщины — люди, презирующие спасение. Как и она, они останавливаются и зачарованно смотрят на горящие города, что-то говоря про себя и не понимая, что остолбенели... Иногда они...

— ...становятся благодетелями мира — *солью земли*, — проскрипел чужой чей-то голос.

Для Люсьена пропало прикосновение двух горячих ладоней, сквозь веки просветил огонёк. И он открыл глаза, приподнялся.

Посреди комнаты стоял старик в тёмном балахоне. Он держал в руках по одинарному подсвечнику. Один — из левой — он отдал подошедшему Серому Жану.

К удивлению Люсьена, англичанин был одет, на нём отсутствовали только фрак и галстук. Золотистый свет ласкался с бархату его пурпурного жилета, нырял в пену манжет.

— Простите, если помешал, — сказал пришелец.

— Я всегда вам рад, — отвечал хозяин, — Посмотрите, какой хорошенький зверёк.

— Да, — старик почти не глянул в сторону Люсьена, вздохнул, качая головой, — Да, Содом... Люди — что зёрна. Мало кто знает иные цели, кроме плодородства... Высшим подвигом считается погибнуть, чтобы из одного стала дюжина...

— Старая притча! — дерзко подал голос Люсьен, — А кто хоть раз задумался всерьёз о жизни зерна!? Вот вышел сеятель и разбросал пшеницу по полю. Двадцать зерен упало на камень, сорок — на дорогу. Их изжарит солнце; ими прокормятся птицы и мыши. Но большинство же будет взято землёй, разбухнет, разорвётся в ней и расплетётся белым нитяным скелетом корня. Поднимутся миллиарды колосьев... И тут — придёт жница. Она оторвёт от почвы, повалит башни-дома, раздробит... А зёрна, от одного мешка которых стало двадцать — что будет с ними? — А и что обычно: один мешок пустят на новое племя, на захоронение заживо, а остальных засыпят в закрома, потом разотрут в семипудовых жерновах, потопят в дрожжевой воде и изжарят в печах — и сожрут! Мы, люди, как и все другие твари — это один необъятный огород, где хозяйничают Жизнь и Смерть. Первая сеет и поливает, а вторая жнёт и стряпает, и обе питаются нами. И чем больше они жрут, тем сильнее становятся, тем больше им надо!..

Рука Серого Жана была залита воском, одна белокурая прядь подпалилась... Он не поднимал головы. Старик уже смотрел в упор на Люсьена, и не каждый под таким взглядом мог бы говорить, а Люсьен не мог молчать:

— Только одна есть надежда: эти прожоры, может быть, когда-то одряхлеют, у них откроется несварение, у них в брюхах заведутся паразиты. Они сваятся и не смогут больше работать... Крысы поедят все их запасы,... а потом друг дружку, и мир кончится.

— Откуда ты родом, мудрый зверёк? — спросил старик.

— С юга, из Ангулема, что на Шаранте... Я устал. Я уже размолот. Я хотел бы прогоркнуть, оядовитеть, чтоб хозяевам земли кололо в животах, чтоб они корчились от боли!..

— А не хочешь стать волной, вращающей жернова земной обманной благодати; или жаром страстей, или разлагающим грибом для умов? стать серпом или цепом Хозяйки?...

— ... Я сам хочу есть.

— Я распоряджусь об ужине, — промолвил Серый Жан.

Он вышел, а когда вернулся через минуту, сказал:

— Попрошу вас больше не говорить об этом. Если мне написано на роду сойти с ума, я

хочу это принять в тишине.

— Конечно, — старик церемонно кивнул, — Ещё раз извините.

И скрылся, оставив и второй подсвечник.

— Это ваш сосед Лот? — с ухмылкой спросил Люсьен, пока слуги расставляли блюда, — Почему вы не пригласили его перекусить?

— Он не нуждается в пище, — проговорил англичанин, счищая с пальцев воск.

— Что там за жратва? Малина!? в ноябре!? Я не ел её два года... Боже мой!.. Мне не хочется казаться... капризным, но... вы как будто пытаетесь вернуть меня в прошлое... Не делайте этого, пожалуйста! У меня нет хороших воспоминаний. Я ещё не всё попробовал на свете, не всё повидал; я хочу поскорее пресытиться, и тогда мне совсем...

— Ты ещё молод. Тебя нелегко будет пресытить. Потому и спешить не стоит. До завтра.

Глава IV. В которой интерпретируют поэму «Тьма»

Сон стал бегом наперегонки — каждый должен был раньше другого прийти от ирреального старта к прозаическому финишу пробуждения.

Эжен долго плутал по туманному сосняку, заросшему диковинными грибами, потом вышел к широкому озеру, над которым высился старый дом-замок, щедро освещённый, рассыпавший по всей воде золотые фишки огней. Подойти к дому было невозможно, но Эжен знал путь: нужно нырнуть в одно из отражённых окон. Он прыгнул головой вниз, поплыл, озираясь мне покачивающихся на глади ярких мозаичных прямоугольников, дрейфующих, как плёнки пролитого масла, стал выбирать то, что покрупней, нашёл, сильным рывком выскочил из воды, словно дельфин, и упал в оранжевый проём черноты, тут же расслабился, воображая, что плавно опустится на пол комнаты, но ничего такого не происходило — он тонул в той же вязковатой воде, а над головой лениво колыхались и рдели окна. Задача сложнее, — догадался Эжен, — нужно найти одно единственное настоящее из них. Он вплыл на поверхность и повторил свой манёвр над другим светящимся пятном, и снова неудачно. Не повезло и с третьим, и с четвёртым. Сил оставалось всё меньше, время умирало, но делать было больше нечего: берег пропал. Провалившись в шестое — круглое лжеокно, Эжен вдруг обнаружил, что его руки связаны, и он не может грести, более того — не них тяжёлые оковы, они переворачивают его и тянут вниз, в непроглядную тьму на дне, вот уже ничего не видно, кулаки врываются в ил, их засасывает, вот уже и локти погрязли. Эжен упёрся головой, но её сжало сразу до ушей... Он пытался закричать, но у последней рыбы это получилось бы лучше, а через миг песочный кляп лишил его вех надежд на голос. Всё было не так уж скверно — сердце вырвалось на волю и с лёгкостью молодой медузы ((наяву Эжен, конечно, не видел медуз и само это слово считал лишь именем греческой богини)) стало подниматься, взмахивая обрывками сосудов, как китайская танцовщица — руками. Но кто мог его видеть?...

Эжен проснулся — мокрый, взлихораженный, больноголовый.

Ночь сеяла прозрачный рис в лунки парижских улиц, уныло крошила на крыши...

Осознав своё приключение, Эжен растерзал зубами узел на запястьях, потянулся, поворочался и упокоился. В постели было тепло. Рядом лежал другой человек — тот, кого позавчера Эжен меньше всего вообразил бы спящим с ним под одним одеялом.

Теперь сердце стало падшим серафимом, которому отрезали все крылья и волосы — осталась одна жалкая лысая головка, полустёртое лицо, и на нём — жалкая безнадёжная улыбка. Это был новый старт.

Макс всю ночь проскучал в лабиринте богатого особняка, а под утро явились какие-то люди и дали понять, что всё отсюда немедленно будет продано с аукциона. Одни распорядители начали описывать вещи, другие — ловить пауков, третьи — объяснять Макс, как надлежит ему вести себя на торгах. Выслушав их с притворным хладнокровием, он отошёл в уголок и застрелился.

Часы показывали 9.20., небо светлело. Макс чувствовал себя победителем, стоя над спящим ещё Эженом. Натешившись фантазиями, о которых лучше не говорить, он сел к столу и предался планированию. Новый день требовал какого-то особенного шага, и Макс отважно искал подсказку в своём сновидении. В общих чертах: предстояло сбыть (продать) что-то дорогое. Что именно? Он обводил уже бесчувственное кольцо ожога на ладони, сам

себя погружая в средней глубины транс...

Проснулся Эжен.

— Привет, с добрым утром, — окликнул он Макса, — Чего тебе снилось?

— Вопросы задаю только я, — железно-непреклонным тоном отчеканил человек у окна.

— Что!? Да чёрта с три! — полыхнул его побратим, — Не хочешь говорить — молчи, мне наплевать, но помыкать мной ты не будешь!

Макс встрепенулся, отбрасывая забытьё, «Эврика!» — тоскливо вскрикнуло в нём.

— Прости, о чём ты меня спросил?

— Ни о чём... О снах...

— ... Да, конечно... Что ты думаешь о них вообще?

— Что?... Ну, например,... что в них самая настоящая жизнь. Во снах мы никогда не притворяемся, там всё — правда...

Макс встал и зашарил по книгам, но не мог найти того, что хотел.

— Что ты ищешь?

— Ты всё равно не знаешь...

— Потому и спрашиваю.

Раздражённый Макс обернулся, но никакой ответ не шёл ему на ум.

— Опиши её, — дружелюбно и простодушно промолвил Эжен.

— Старая. Чёрная без надписей на корешке. Толщиной в полтора пальца... Ты ничего оттуда не увидишь: свет из окна тебе в лицо...

— А это не она — на самой верхотуре, в предпоследнем до камина столбце третья сверху?

Макс встал на стол, шагнул, закинул голову, вытянул книгу — да, она и была ему нужна.

Быстро выхватил из неё отдельный лист, а книгу отложил; спустился, пригладил волосы...

— Вот она — бумажка стоимостью в полтысячи франков.

— Вексель?

— Почти.

— Можно глянуть?... Стихи?... Не по-французски...

— Это автограф лорда Байрона.

— Того парня, про которого пишут на заборах, что он гений, бог и дьявол?

Макс насупился:

— Тебе не кажется, что после таких трактовок не соеем удобно называть человека парнем?

— Человека нельзя назвать парнем, лишь когда он женщина или годится тебе в отцы.

— Это слово из низкого языка.

— Никакой язык не выше мозга.

— ... На досуге я задумаюсь над тем, как ты умудрился попасть в свет, а сейчас мне нужно найти толкового букиниста.

— На улице Мантихор есть хорошая лавка, только там у тебя ничего не примут без графологической экспертизы.

— Где её производят?

— ... О чем это стихотворение? Переведи его мне.

В совом свете и глухоте раннего часа Макс уловил на лице и в голосе недоотёсанного провинциала мрачную властность. Сам он ещё не знал, что значит подчиняться, но тут задумался и решил почтить союзника и, подсев на кровать, с которой ещё не вставал Эжен,

медленно, безвыразительно, точно ленивый первоклассник — газетную заметку, озвучил «Тьму».

Глаза Эжена углубились, куда-то ушли на минуту, он закусил губы, потом медленно выговорил:

— Ты не должен это продавать.

— Я знаю, что должен.

— Послушай меня...

— Так говори же!

— Это точно его рука? Он сам дал тебе этот лист?

— Нет, прислал по почте, но я знаю его почерк.

— О чём писал ещё?

— Ни о чём. В конверте было только это.

— Ты оказывал ему какие-нибудь услуги?

— Скажем,... да.

— Ты мог бы назвать его склонным к мистицизму?

— Пожалуй... Не без этого...

— Ты не замечаешь в этом стихотворении... сбывшееся пророчество о тебе?

Макс глянул испуганно и покачал головой, как порой делают узнавшие о смерти близких.

— Точней, о нас с тобой... «Последние живые — граждане блистательной столицы, враги во время оно встретились на пепелище поруганного алтаря, где тлели реликвии и драгоценности, раздули пепел — вспыхнул огонёк...»

— И увидав друг друга, пали мёртвыми от ужаса! Это и есть пророчество!?

— Не это — то, что я сказал.

— А как быть с продолжением!?

— Ты никогда не слышал о призраках чертей? Они витают среди нас; наш мир — это их навь, их дурацкий злобный рай, где они радуются каждому нашему страху, питаются нашим отчаянием, празднуют наши горести, а бывает, что подстраивают нечастные судьбы...

— И что?

— Чтобы не привлекать внимания этих духов, надо скрывать и сдерживать веселье, а ещё лучше — чтоб их вовсе облопошить! — притворяться грустным, напуганным, когда всё хорошо, понарошку ругать своё богатство, друзей, рассказывать про себя жуткие и жалостные истории... Тебе несказанно повезло, Макс: про тебя такую сочинил настоящий мастер. Эта поэма — твой оберёг. Грешно её продавать.

— С чего ты взял, что он желал мне добра? Я говорил, что мы с ним подружились!?! Нет, наоборот!.. Эта поэма... — проклятье мне, только не сбывшееся, холостое, неудачное, и я снесу её старьёвщику!..

— А как же я?

— Ты?

— Я — второй последний, тот, кто слева был у алтаря?... Меня-то он не знал. Зачем ему меня губить?... Ещё раз говорю: тут добрый умысел... и даже... самопожертвование. Ты представь себе, что должен чувствовать сочинитель такого... армагеддона!

«Суеверия относятся к эзотерике, как фольклор — к литературе» — вспомнилось Максу скрипучее изречение какого-то исландского лектора. Он поддавался убеждению: тяжело было годы напролёт чувствовать себя ненавистным, теперь — груз таял, но...

— Но как быть с главным — со всемирной тьмой?

— Она уж третий год как затопила землю — с того дня, как умер Отец. Ты не заметил?

— Это твоё субъективное переживание. Байрону оно не может быть известно.

— Сильные чувства разносятся по воздуху...

— Он написал это раньше!..

— А вдруг он провидец?

— Что ты в этом смыслишь!?!... Ну,... предположим, ты прав... Но почему я всё же не могу её продать? Она отработана, как патрон после выстрела. Беда была предсказана, отведена — и теперь это просто исписанная бумага. Чем мне грозит её утрата?

— Нам, может, и ничем,... но вот он может затосковать или увидеть страшный сон...

Макс натужно вздохнул, снова взлез на стол, чтоб спрятать лист, задержался, загляделся на врывающую из тумана улицу и прошептал:

— Ну, и пусть, — рванул белый уголок из-под чёрной ветхой корки, — ... Ему не привыкать.

Эжен покривился. Он видел: первое, чего хочет Макс, — это поквитаться за что-то. Сам же он, Эжен, не хранил обид и считал мстительность уродством. Уследив его мысли, Макс сказал:

— Незлопамятные люди причиняют ближним больше боли: они не помнят как чужого, так и собственного зла... Где производят графологическую экспертизу?

— Я не знаю.

— Кто знает?

— ... Эмиль Блонде. Он с десяти до двух торчит в редакции «Дебатов».

Глава V. Новые страдания Люсьена

— Вы сегодня виделись с тем вчерашним дедом?... Вы обсуждали то, что я вчера наговорил про зёрна?

— ... Ты очень правильно всё сказал.

— Вы со мной согласны?

— ... Уже темнеет...

— Вы согласны??

— Конечно...

— Тогда добавьте что-нибудь от себя..... Расскажите,... что такое *соль земли*?

— Это... величайшее сокровище, воплощённая надменная свобода, для которой нет ни закона ни запрета; вкус жизни, вкус хлеба, вкус крови...; если его не станет, всё потеряет смысл... Мой сосед считает, что она — вкус смерти... Смерти, которая повсюду... в живом... Видишь ли, то, о чём я говорю, это вовсе не *сила*. Она ничего не совершает, она бесплодна, но непобедима. Она чудесна своей безудержностью. Если зерно прорастает и даёт множество себе подобных, то соль растворится и убежит; она неуловима... И есть люди, подобные соли.

— Они — не более чем приправа в земном пироге.

— Есть приправы-излишества, и лишь некоторые — необходимы. Ты видел мою подругу? Она перчинка, пряность. Без неё всё же можно обойтись. А без соли — нельзя.

— А вы — что?

— Я — обычное зерно, выпавшее из клетки хранилища в тёмный угол,... забытое жизнью и смертью... и ждущее... какого-нибудь... крысёнка...

— Вами не всякий не подавится.

— ... Давай об этом забудем... Задуй свечу.

Сначала он делал всё понарошку — только руками, попутно объясняя, как при этом нужно себя вести, как ко всему подготовиться. Он так ловко провёл вступительный этап, что сближение по-настоящему произошло почти незаметно, но через час поле пожелания спокойной ночи его разбудили рыдания Люсьена: тот развспоминался в тишине и темноте о своих похороненных мечтах: о славе, свободе, собственном особняке в центре Парижа, о нарядах, экипажах, ложах в опере и театрах, о знатной любовнице — и тут, пропавший без вести для всего мира, находящий себя рабом заезжего извращенца, он не смог не расплакаться; горе текло в нём вместо крови. Но тьма услышала, коснулась наугад трясущегося тела и спросила мягко:

— Что ты?

Из теста стона стали неуклюже лепиться слова, тут же растекающиеся, слипающиеся: женщина, карета, фрак, шампанское, карманные часы из золота, собрания сочинений в дорогих изданиях, лавры, двор, шелка и бархат, перстни, счастье...

— Ты собирался скрыть за этим что-то очень важное?

— Нееет!!! Я хотел ЯВИТЬ себя!!! Установить себя! Жить! Жить!..

Тьма облепила Люсьена горячей нежностью, таящей неодолимую силу.

— Да кто же так являет!? Глупый мой зверёк! Тебе бы следовало надеть в их театр один длинный плащ, обуться набосо и оставить в гардеробе всё, что не ты, чтобы они увидели ТЕБЯ во всей красе. Никто бы не посмел тогда подумать о твоей семье, о деньгах и занятиях.

Всё заслони́л бы Ты, но ты, когда была возможность, сам себя зашторил именем, нарядом, спутницей — и вот всем захотелось знать об остальном твоём другом...

— Я ничего не понимаю! — проскулил Люсьен, — В общественных местах нельзя быть голым! Там непременно нужен модный фрак!

— Я знал такого одного...: и дюжина фраков не скрывает бы его наготы... Сам я всегда одет, но на то я и конспиратор... Но ты... ты оказался никому не нужным в правде? Это невозможно. Или ты лукавишь мне, или ты мёртв...

— Да!!! Я мёртв! — Люсьен рванулся куда-то прочь, но был придавлен к перине.

— Нет же, ты ещё как жив! Сознайся — ты схитрил? Ты прятал себя?

И Люсьену ничего не осталось, как снова поведать о своём происхождении, знакомствах, делах, падениях, а под занавес снова проклясть какого-то Растиньяка.

Глава VI. Воспоминания Эжена

Эжен не слышал, как Макс ушёл. Его обступили эринии; указывая друг на дружку, они вопили: «О том, что она сделала ради тебя, я расскажу тебе только тогда, когда ты добьёшься полного успеха; если же его не будет, то её деньги будут жечь тебе руки!», потом — ему самому: «О! Да, да, Эжен, добейся успеха: из-за тебя я испытала столько жгучей скорби, что вторично мне не снести её!».

Он окаменел; ему казалось: одно движение, и весь мир разлетится на обломки. Он чувствовал себя окаянным упырём, высасывающим воздух из неба; чудовищем, мозжащим землю своим телом. Слова матери звучали в нём столько раз, что он перестал понимать их значение — его заменила беспросветная ненависть к себе и боль в сердце, от которой перехватывало дыхание.

Так уже повелось у него, что подобные приступы не сами собой проходили, а убегали от какого-то события, пусть маленького, например, рысцы таракана мимо брошенной руки или воробья, порхнувшего за окном. Тут же явился почти ангел — ребёнок, девочка...

От перепада душевных режимов Эжен обесчувствел. С ним вообще это часто случалось, и он даже легче переносил обмороки, чем сны; он только в них и мог немного отдохнуть.

Когда он очнулся, девочки не было. В окно заглядывал просветлённый полдень.

Собрав себя вполне, недоиспечённый криминалист вспомнил об одном загадочном предмете — о книге, в которой Макс хранил драгоценный манускрипт. Эжену не стоило труда найти её и взять. Она оказалась по-настоящему древней, видимо, поменявшей не один переплёт. И рукописной! Пергамент потемнел... Язык старинный... Текст — какая-то поэма... Эжен сел, завязав ноги узлом, достойным йога, на стол левым плечом к окну и взялся за чтение. Сначала было трудно: мешала россыпь незнакомых имён, архаичная грамматика; потом, когда пошли какие-то события и герои обрели лица, тот мир всецело забрал Эжена.

Сухой, холодящий ветер, небо в перламутровой дымке, у подножья — поляна белых цветов, но это не цветы, а палатки и флаги. Над горизонтом застыли синие горы. А в высоте плавно кружат или дремлют на уступах и корягах пернатые питомцы — вороны и грифы...

Глава VII. Знакомство Макса и Эмиля

Звезда столичной прессы, Эмиль Блонде, подходящий к своему имени, как кукушка, сидел за столом и грыз печенье в виде длинной тонкой палочки — одно из десятка, оцетинивших его стакан для перьев. Он никогда ничего не делал на рабочем месте, разве что иногда размышлял над будущей статьёй. Кабинет был рассчитан на пятерых корреспондентов, но те четверо где-то бегали, собирая материал, так что Эмиль мог наслаждаться уединением, теплом и светом, умноженным бумагами, оплотнённым пылью; ему там было хорошо. Раз в полчаса, однако, редактор совал в комнату слепой рыхлый профиль, механически произносил: «Не кури здесь» и исчезал, оставляя молодого, но уже заядлого курильщика с мимолётным желанием поскорей свалить домой. Заходили и другие разные... Не сказать, что появление Макса удивило Эмиля, скорей наоборот:

— Вы господин Блонде? Мне посоветовал к вам обратиться господин де Растиньяк...

— Эжен!? Так вы, должно быть, знаете, куда запропастился этот отвязок!?

— Н... Да, он гостит у меня. Я — граф Максим де Трай. Мне нужна кое-какая ваша помощь.

— Безумно рад. Приказывайте, — спокойно сказал журналист, поднося к улыбке хлебную хворостинку.

Макс объяснил, что ему требуется.

— Возьмёте в долю? — спросил Эмиль.

— Не надейтесь больше, чем не пятьдесят. Эксперту ведь тоже нужно будет что-то дать.

— Если вы хотите озолотить эксперта, я сообщу вам его адрес, и прощайте, но...

— Вы можете заставить его сработать бесплатно?

— Спорим на сотню, что могу?

— Да я не сомневаюсь. Но только пятьдесят.

Эмиль согласился. Они покинули редакцию, прошли два квартала и попали в какую-то конторку, где предприимчивый сотрудник «Дебатов» объявил замшелому бакенбардами архивариусу:

— Мы от Дориа. Ему нынче достался вот такой апокриф. Это ведь Байрон, правда? Вот везуха, да? За публикацию можно сорвать тысячу, а то и не одну! Вы нам только дайте справочку, а Дориа в долгу не останется — вы его знаете!

Эксперт стогфрировал лоб, задумался, пальцами в тёпло-белой перчатке бережно поглаживая автограф по полям, разглядывая буквы. Макс пытался узнать, понятен ли этому человеку текст, и склонялся к положительному ответу. Тут даже не нужно было быть телепатом: лицо эксперта побледнело, осунулось; он протяжно выдохнул, наскоро заглянул в альбом с наклеенными фрагментами рукописей, спросил у Макса (тут же почувствовавшего себя на грани провала) удостоверение личности и составил надлежащую справку с печатью.

— Бедняга, — оглядываясь на его дверь с улицы, как-то совестливо даже промолвил Эмиль.

— ... Почему его не удивил мой титул? Разве курьер от издательства может быть графом?

— Запросто. Есть у нас один фрукт — Фелисьен Верну его зовут. А в паспорте у него написано: «маркиз де ля Верней».

— Безобразие!.. Вы обещали вознаграждение от некоего Дориа, следовательно ему на

днях придёт счёт...

— Да пёс с ним. Выкрутится.

Макс повёл нового знакомого с собой на улицу Мантихор, где Эмиль живо поучаствовал в торге и выбил свой полтинник сверху сразу предложенных букинистом шестисот франков.

Прощаясь, Макс протянул сотенную купюру.

— Спасибо. Привет Эжену, — ответил Эмиль просто и кивнул с весёлой улыбкой.

Вот каких лиц давно, а может и никогда не видел Макс...

Глава VIII. О том, как опасны могут быть книги и дети

В половине шестого было уже темно. Макс спешил домой, надеясь, что ужин детей оправдает продажу бесценной рукописи. Улица же мучила его — фонари напоминали подожжённые леса... Чтоб успокоиться, глубокий интеллеktуал втолковывал себе, что источником света может быть почти любой газ, нефть и её производные, в теории — электричество, так что скармливать огню древесину слишком глупо. Грезя о превращении всех видов энергии в световую, он взошёл на шестой этаж, открыл дверь, шагнул в чёрную комнату и увидел в тускло-сизой раме окна силуэт человека, склонённого над книгой.

— Эй! — окликнул Макс, — Брось — ты же ничего не видишь.

— Буквы горят...

— Не выдумывай.

Эжен вздохнул, закрыл книгу ((Макс сразу понял, какую)) и повернул голову — то ли к вошедшему, то ли на улицу и тяжело молчал.

— Ты, стало быть, действительно так сжился с тьмой, что...

Голос Макса трепетал и глох.

— У тебя, — проговорил наконец Эжен, — бывало так...: читаешь, и кажется, будто это о тебе?

Макс положил на диван куль с едой, вслепую взял с каминной полки спички, чиркнул, поднёс к свечам...

— Всем случается находить свои черты в литературных героях, или черты героев — в себе...

— Я не о том. Я сказал: о тебе — о тебе самом, именно о тебе, и ни о ком больше!

— Хм, какая редкая форма паранойи... Нет, не припомню...

— А у меня постоянно.

— Ловишь себя на том, что копируешь поступки каких-то персонажей?

— Нет! Как ты не понимаешь!? Это же я сам. Я уже совершил эти поступки раньше...

— ...То есть книги повествуют тебе о твоём прошлом?

— Вроде того.

— Это мешает?

— Ещё как!

— Почему?

— Потому что это были преступления! Я никогда бы ничего подобного не сделал сейчас!.. Но прошлого уже не изменить... Все, что я могу — это стараться не повторить... Но возможно ли? Кажется, оно живёт, растёт само по себе... и настигает меня, рвётся в моё настоящее, хочет целиком меня поработить, стать моим будущим... и вечным... Сегодня оно вдруг оказалось очень близко... Может, у меня просто-напросто едет крыша?... Ты не представляешь, как бы я хотел оказаться обычным психом, не знающим, кто он такой!..

Лицо Эжена было всё-таки обращено к стеклу, и он мог рассматривать себя, как в зеркале. Он видел на своей шее ожерелье из язычков пламени, а на щеках — капли нового дождя.

Макс, ничего не говоря, вынул из его рук книгу и спрятал её куда-то под стол, потом осторожно потрепал Эжена по перевернутой ладони:

— Проблема может быть и не в тебе, а в самих книгах. Среди них много порченных, проклятых и запретных. Первые искажают мышление читателя, поражают его душу недугами; вторые обязывают его к каким-то поступкам под угрозой смерти и страшных несчастий; третьи — ... их просто ни в коем случае нельзя открывать, иначе в опасности окажется нечто большее, чем покой, здоровье и жизнь одного человека.

— Каждая книга кем-то написана. И о ком-то. И проклял её тоже кто-то. Твоё содомское чтиво писала чья-то рука. Её владелец жил, как каждый из нас, видел то же небо... Как это понять!?

— Я не хочу об этом говорить. У меня был удачный день: я пообщался с симпатичным малым — этим твоим Эмилем Блонде — и выручил больше пятисот франков, купил еды. Сейчас мы будем ужинать. Ты успел познакомиться с детьми?

— Нет. Они сидели, запершись.

— Тогда я их позову, а ты разложи тут всё. Если не трудно.

Эжен глянул недовольно, но, когда Макс вышел, быстро и красиво подготовил стол к трапезе. Еда была проста: сыр, оливки, яблоки, булка, тубик какого-то соуса, пучок петрушки, небольшой кусок окорока, бутылка портвейна. У Эжена занял живот; в этом ощущении не было ничего похожего на аппетит. Он взял яблоко, задумался о чём-то, отложил его, вообразил, как разламывает хлеб, и тут вернулся Макс, ведущий за собой Полину и Жоржа. У обоих малышей была очень белая кожа и светлые глаза, но девочка унаследовала от матери чёрные волосы и брови, а мальчик, как и отец, казался настоящим альбиносом. Дети поздоровались тихо, без улыбок. Жорж почти не поднимал головы и еле шевелил губами. Эжен боялся, что они напомнят ему его младших сестёр и братьев, но ничего подобного не произошло. Растиньяки были смуглы и бойки, смотрели прямо в лица. Все, кроме самого Эжена.

Полина позволила усадить себя на колени Максу, Жорж достался Эжену.

Макс как-то притих при детях. Он очищал и резал на дольки яблоко, сосредоточенно глядя на свои руки.

— Я не хочу есть с тобой из одной тарелки, — сказал Жорж, — Мне нужна своя.

— Вот она перед тобой. Я обойдусь. Я не голоден.

— Ещё чего, — проворчал Макс, — Ешь. Вот, — протянул две дольки яблока.

— Мне бы лучше горло промочить...

Макс нехотя откупорил бутылку и небрежно плеснул по двум бокалам, бросил, поднимая свой:

— За мёртвых.

Эжен жадно влил вино в рот, надув щёки, и потом с трёх глотков отправил в нутро; откусил яблока, но не зажевал, а просто спрятал у языка.

Макса в тайне выворачивало от таких манер.

Жорж с трудом управлялся большой и тяжёлой для него вилок, ковыряя ломтик мяса. Взрослый сосед по мере сноровки помогал ему ножом. Они немного развлеклись этой вознёй. Мальчик невзначай вскинул на Эжена светлые, как лёд, глаза, усталые и грустные, словно о чём-то просящие. Эжен тихо погладил его по голове и улыбнулся.

Макс видел это, и его руки наливались холодным железом, приборы скользили в них; но он не обнаружил своей ревности и продолжал ухаживать за дочерью.

— Папочка, у тебя появились деньги? — робко и любовно спросила она его.

— Да, правда немного... Но я уже придумал, как добыть их больше, кем когда-либо.

Мне для этого придётся снова съездить в Англию — ненадолго, где-то на неделю...

— А потом — ты вернёшь маму?

— Да, милая.

— Нет, — глухо выговорил Жорж, — Мама умерла.

— Неправда! — закричала на него сестра.

— Я видел, как они её убили. Он и тот другой.

Дрожь маленького тельца расходилась по костям Эжена. Он машинально обнял ребёнка левой рукой, правой, напрягшейся, зашарил по столу. Макс вскочил, ссадил Полину на пустой стул и ринулся к двери.

— Папочка! — заплакала Полина, порываясь вдогонку, но он глянул через плечо и быстро сказал:

— Я сейчас вернусь, — и скрылся.

— Он вернётся, — сыграл роль эха Эжен, — Покурит и придёт. Не бойся.

— Это неправда, что мама умерла, — в сердцах и в слезах спорила Полина, — Этот мальчишка безумен и зол! Он всё врёт!

— Я видел! — яростно защищался Жорж.

— Ты помнишь, как убили маму? Как? — спросил его на ухо Эжен.

— По-разному.

— Так это случилось не один раз?

— Нет.

— Вот и ложь! — обличала Полина, — Смерть бывает в жизни только одна!

— Ясно. Это просто твои сны, малыш, — успокаивал Эжен, — По ночам с тобой веде что-то происходит, а потом вдруг раз — и будто не было. Это сны. Они остаются там. Здесь их нет.

— Я же помню.

— Ты перепутал.

Эжен не говорил того, что думал, а думал он, что одна-то из многих смертей Анастасии вполне могла быть настоящей, но это надо будет выяснить у взрослых.

— Полина, ну, а ты что знаешь о маме?

— У неё был любовник, и она его обворовала. За это её посадили в тюрьму.

— Ей там отрубили голову, — вклинил Жорж.

— Нет! Нет! Она там просто сидит! И если папа найдёт много денег, он заплатит штраф, и её отпустят!

— И никто не умирал?

— Умер дедушка. (- Эжену скрутило сердце —) И тот человек, у которого украла мама.

— Он был нашим папой, а этот всех убил и нас убьёт! — буйствовал Жорж.

Не успел Макс войти в комнату, как дочь громко доложила ему:

— Жорж говорит, что ты нас убьёшь!

Мальчик забился и спрятался под отворот эженова платья.

Ненавидимый отец шатаясь подошёл к столу, сел, проводя ладонью по лицу и волосам, но, не выдержав сурово-пытливого взгляда Эжена, тут же снова встал, оделся для улицы и покинул квартиру.

— Куда ты!? — надрывно закричала ему Полина, но он даже не обернулся на неё. Она стала у перегородки в тёмную прихожую, стиснув у груди руки; простояв так минуты три, медленно вскарабкалась на диван и уткнулась в него. Жорж в своём укрытии заснул,

измученный страхами. Стало очень тихо и спокойно.

Эжен унёс подопечного в спальню, уложил и вернулся к девочке.

— Полина, твой братишка не нарочно врёт. Он принимает свои сны за явь, тут нет его вины — тебе не надо на него злиться. Ты же сама знаешь правду. Ты могла бы ему помочь, а не ругаться.

— Папа любит его больше, чем меня, — прохныкала она.

— Зато ты любишь папу больше, чем Жорж. Макс — умный человек, он всё это понимает и в душе очень тебе благодарен, но то, как ведёт себя этот паренёк...

— Он скоро вернётся?

— Не знаю, но не тревожься: он не пропадёт. А ужин вот пропадает. Неужели же Макс зря старался добыть денег?

— Я поем ещё.

«Лучше его разбудить, — рассудил Эжен о Жорже, — а то опять ему начудится чёрти чего».

Маленький виконт, казалось, ничего не помнил из нынешних неприятностей. Он только вымолвил, глядя на стол:

— Это уже было. И тебя я помню, — обратился он к Эжену, поднимающему его на стул.

— Подожди по себя ноги, дружок, и до всего дотянешься. У вас тут больше не на что присесть?... Ладно, — вытащил из-под стола связку книг, накрыл её подушкой, — Между прочим, еду можно брать руками, а то вы с этими штуками, как гладиаторы вчерашнего набора. Кстати, не желаете по глоточку? Оно не очень крепкое, — и налил детям вина.

Жорж обеими пятернями обнял бокал и пригубил.

— Жжется.

— Пустяки. Полина, вышей. Смотри, как я!

Махом проглотил чуть ли не четверть бутылки.

— Ух, здорово! Согревает! Вы кушайте, а то ворона влетит в окно и всё растащит.

Малыши смотрели на него, как на чудо. Они никогда не встречали сколь-нибудь весёлого человека. Они даже не могли этого эпитета применить. Жорж называл про себя Эжена смелым, Полина — легкомысленным.

После ужина они ещё долго развлекали друг друга рассказами о снах, о любимых легендах. Часов в девять дети отправились в спальню, а Эжен улёгся на прежний диван.

Среди ночи его, качающегося на ветке в кроне сосны под гул ветра и кардиосинхронный долбёж невидимого дятла, отозвали в явь какие-то шорохи. Он приоткрыл глаза и увидел Макса, сидящего у стола и смотрящего в окно на луну.

Макс тяжело дышал; из его рук под его подбородок тянулся ствол пистолета. «Господи...» — прошептал он, взводя курок и прижимая дуло так, чтоб пуля прошла через язык и нёбо в мозг.

Рука Эжена помимо всякой уловимой мысли нащупала ухо подушки и метнула эту штуку. В мгновенном полёте она издала семикратное «уфу» и угодила самоубийце в запястье, точно живая и умная, отогнула его смертоносную руку, так что выстрел разбил оконное стекло.

Проснувшись вполне, Эжен узрел такую картину: его ошарашенный побратим в прозрачном облачке порохового дыма изображает идола с острова Пасхи, а в стремительно холодеющем воздухе кружат, как крупные снежинки, бело-голубые перья из подушки, порванной стеклянным клыком в разъявленной пасти окна; они летят и в комнату, и на

улицу, яркие в лунном свете.

— Макс! Ты чего это!?

Эжен уже стоял возле него. Он выронил пистолет, взялся за край стола — не чтоб подняться, а чтоб не упасть. Товарищ помог ему перебраться на диван.

— Знаешь, что он сказал мне перед расставанием? «Прощенья нет. Спасенье невозможно». Да, вся моя жизнь в этих словах. Она — их доказательство...

— Тебе ли это говорить! Ты только вспомни: чтоб тебя спасти Анастаси отдала всё, что у неё было, Отец (я слышал сам) советовал ей, как тебе помочь, даже я наскрёб деньжат, сколько мог — все о тебе пеклись!.. А сейчас!? Я мог бы не проснуться, не сообразить...

— И было бы прекрасно.

— Что?

— Вы не спасали — вы лишь продлевали мою пытку... Сегодня... моя память сделала ещё один шаг назад... Та рукопись, с которой началась моя жизнь... Одни люди захватили других и забавы ради истязали самыми изысканными способами — не для забавы даже — ради наслаждения. Безобиднейшее из того, что они творили со своими пленниками, самый храбрый и жизнелюбивый человек предпочёл бы смерти. Вряд ли ты сможешь это вообразить... То, что я видел тогда за окном, совпадало с тем, что я читал. Всё было в точности так: людей выволакивали из домов и угоняли, как скот. Из моего — тоже, и я знал, какова будет участь их всех. Я не хотел её с ними делить! Я поклялся сделать все, что угодно, чтоб избежать её. Альтернативой была лишь роль всеторжествующего, безнаказанного мучителя, и я стал готовить себя к ней и... Но Бог послал мне эту счастливую, гениальную мысль! — Умереть от собственной руки, мгновенно! Вот это... и есть моё спасение... Я не просил Нази закладывать бриллианты! Я мечтал, что она — единственный близкий мне человек, всё поймёт и не оставит меня одного в этот час... Карты... то был повод... Жизнь... невыносима, если год за годом ждать палачей в красных шапках... а радость находить лишь...

— Но ты же понимаешь, что всё это — иллюзии? Никакие красные шапки тебе сейчас не грозят...

— Подожди, было что-то ещё... Мне казалось, что раскрыв ту рукопись, я запустил весь сатанинский механизм...

— Не ты её автор!

— Автор создал книгу; я — сделал его вымысел реальностью тем, что стал читать... Поэтому прощенья нет и быть не может.

— Чего ты повторяешь детские фантазии? Ты сам уж вон — отец семейства!

— Это и жутко! Жорж... — он словно я сам в те дни и... Его ненависть! Его обвинения! Его жестокость!.. На прошлой неделе он чуть не прокусил мне руку...

— И что ты ним за это сделал?

— Ничего. Я даже не позволил Полине его ударить... Поверь, мне было очень трудно, но я не причинил ему никакого зла. Только это ничего не меняет. Зло у него в крови. Он как зеркало моей исковерканной души.

— Да он обычный пацан! Дети всегда дерутся, грубят, ломают что-то. Подрастёт — научится с собой справляться. Как и ты.

— ... Какая стужа! Можно как-нибудь заткнуть пробоину?

— Молоток и гвозди есть?

Эжен взял новую и последнюю подушку, прибил её по краям к опустевшей раме,

подбросил в камин щепок и вернулся к Макс, уже накрывшемся одеялом.

— Как вы провели вечер?

— Неплохо. Даже весело.

— Не говорили обо мне?

— Нет. Но думали.

Макс слабо улыбнулся.

— Хочешь спать? — спросил Эжен.

— Да, но и поесть не отказался бы.

Через минуту Макс откусывал в темноте от булки, смазанной соусом. Заморив, он повернулся на бок лицом к стене и глухо попросил:

— Скажи мне что-нибудь ещё.

Что ему сказать? Что Анастаси любила его больше всего на свете? Это прозвучит упрёком и намёком на необратимость прошлого. Педантично внушать, что спасение нужно лишь ввиду действительной опасности?... Но способен ли он сейчас внимать логике?

— ...Я очень люблю, когда падает снег.

— Я тоже... Ещё.

— ... Твои малыши и впрямь очень похожи на вас с Анастаси. Даже слишком...

— Это естественно для второго поколения. Нази ведь тоже первая в своём роду.

— Она знала своих родителей.

— В ней не было ничего от них... Она словно сошла с небес. Словно по прошествии этих миллиардов лет со дней творения Бог проснулся, увидел, как выродился мир, и — создал её,... прекрасную, как надежда,... дал ей это святое имя...

— Но она не смогла исцелить тебя...

— Между нами всегда кто-то стоял... Граф де Ресто — вот кто уж точно был железным прагматиком.

— Он женился из-за приданого?

— Хуже. Их брак был селекционным экспериментом. Как-то граф с воодушевлением объяснял мне свою теорию смешения благородной и плебейской крови ради удачного потомства. В его глазах божественная красота Нази была лишь многообещающей породой, ради которой он изображал доброго, почтительного супруга, хотя считал свою избранницу умственно и нравственно неполноценной. Однажды целый вечер с хохотом рассказывал мне, что застал её читающей книгу... Интересно, чем его сейчас забавляют черти.

— А как она к нему относилась?

— Её чувство к нему большинство женщин называют любовью, а большинство мужчин — страхом.

— По-моему, все женские чувства — это просто разновидности страха.

— Затем и нужно их любить, и совершенствовать свою любовь, чтоб, по словам евангелиста, она уничтожила страх.

Глава IX. В которой наступает зима

Серый Жан привёл Люсьена в свою спальню и уступил своё место рядом с прекрасной Маргаритой. Так и продолжилось. Днём найдёныш почти не вставал с постели, отдыхая. Его хорошо кормили, ни к чему не принуждали, но он стал очень бояться темноты и сам приходил к своим мучителям. Сначала они бывали с ним довольно деликатны, но вскоре, распаляясь от его красоты и податливости, забывались и нередко доводили жертву до бесчувствия, впрочем не наносили ему ран, просто изнуряли.

«Неужели это происходит со мной!?» — было его обычной первой мыслью, когда, проснувшись часу в пятом, он вспоминал, где находится и для чего.

Он выдержал в таком режиме около недели, потом почувствовал, что не в состоянии встать. Испугался не столько самого паралича, сколько того, что грядущую ночь придётся провести в пустоте и холоде... Он недолго проплакал. Пришёл Серый Жан и тихо присел рядом.

— У меня отнялись ноги! — прорыдал Люсьен, — Меня тошнит! Я не могу заснуть! Англичанин заботливо-тревожно ощупал ладони и ступни пленника:
— Жара нет? Спина не болит?
— Не больше, чем всё остальное!
— ... Я же просил тебя сообщать, если что-то будет не так...
— ... Я вас боюсь...
— Перестань наконец говорить мне «вы»... Ты устал. Какое-то время придётся воздержаться.

— Хорошая идея. Только я боюсь оставаться один.
— Я смогу пробыть с тобой всю эту и несколько ближайших ночей.
— А как же леди Маргарита?
— Она сегодня ничего не хочет.
— Странно. Вчера была ненасытнее стаи спрутов...
— С ней такое каждый месяц. Она вдруг запирается в своих покоях и никого не принимает.

— Долго это длится?
— Дней шесть.
— Ты никогда не интересовался, почему она так делает?
— Нет. Какая разница. У всех свои причуды. Многие любят уединение. Я знаю, что она не страдает. Прощаясь со мной перед временной разлукой, она обычно даже весела...
— ... Ты правда ничего со мной не сделаешь?
— Ничего особенного. Мы поужинаем, а потом, если захочешь, я тебе прочитаю или расскажу что-нибудь. Или ты — мне.

Принесли еду.

— Я буду кормить тебя с руки, — сказал Серый Жан, — хорошо?

— Куда как!..

Люсьен взял губами ломтик ананаса и слизнул сладкий сироп с пальцев англичанина, быстро ожил, развеселился:

— Совсем не дурно быть твоей зверюшкой, господин граф. Как там поживает твой мудрёный сосед?

— Он собирался в Ад, чтоб добыть для опытов летейскую воду.

— Ха! Вот, что надо было делать Манфреду, который так хотел забвения.

— Ты читал эту поэму?

— Рецензировал.

— Она тебе понравилась?

— Не знаю. Издатель велел написать, что это чушь... Ну, в самом деле! Для забвения ведь нужно не колдовство, а бутылка коньяка или ложка гашиша. Потом он даже не мог объяснить своим духам, что именно хочет забыть. Огрели бы его по башке, чтоб схлопотал эту, как её — амнезию и ходил бы дурак дураком!..

— А у тебя нет того же желания?

— Какого — того? Он вообще не знал, чего хотел!

Серый Жан не ответил; он задул свечи и заполз под одеяло огромным холодным удавом, но скоро согрелся. Они уснули...

Пробудился Люсьен в пустой кровати.

Рассвело, и что-то преобразило угрюмость высоких тёмных стен. Наверное, музыка — неспешная, простая мелодия, слетающая со второй октавы рояля. Люсьен встал и, закутавшись в простыню, пошёл искать источник звуков и нашёл в смежной комнате большое чёрное однокрылое чудо, приручённое Серым Жаном. Оно, откинув чёрную губу от ряда чёрных и белых зубов, тонко и задумчиво пело, пока хозяин к нему прикасался.

В зале было очень светло, пол блестел, блестело всё — само собой и отражая изнутренние блески окружающих предметов. Отовсюду улыбались искры...

— Это Глюк? — скаламбурил Люсьен.

Музыкант довёл до конца фразу, замедлив её, приглушив и завершив игру самой высокой нотой, обернулся с улыбкой:

— Это реквием дождю.

Люсьен заметил, что перед глазами англичанина не было нотного листа. А ещё он не знал, что такое реквием, иначе бы удивился.

— Я тебя разбудил?

— Я не знаю, почему проснулся.

— Я знаю, почему проснулся я. Подойди к окну. Посмотри... Ну?

— Те же гнусные крыши и мерзкие стены.

— А снег? Он идёт уже второй час! Это первый после лета снег.

Люсьен подошёл к роялю.

— Ты что же, сам сочиняешь эту музыку? или помнишь её наизусть?

— Я нигде не слышал её прежде. Возможно, я исполнил её первый... Но она так проста и мала. Она уместилась бы на четырёх строках... Да я и не смог бы записать её: не умею.

— Как же ты её придумал?

— Этот инструмент — бездонная сокровищница. Я не могу запомнить каждого звука, и каждый раз они для меня как впервые. Они сочетаются друг с другом. Их можно набрать в какой-то последовательности, и получается мелодия. Но для меня и три, и две, и даже одна частица его многоголосия — музыка... Звуки в природе: свист ветра, птичьих крыльев, хруст сухих листьев — часто монотонны. Мне доставляет удовольствие просто нажимать по очереди клавиши...

— Сыграй ещё что-нибудь.

— Что-нибудь другое? Нет. Только когда переменится погода... Хм... Крысёнок мечтал

о золоте и каретах... И у меня была мечта... Ты слышал выражение *рояль в кустах*? Представь: лес, заросли, и в них притаился рояль; я сажусь и играю ним...

Люсьен грустно и зябко завернулся в тонкую ткань, забираясь в белое кресло и становясь в нём различимым лишь склонённой золотой головкой и левой кистью на невидимом белом плече, вздохнул:

— Ты мог бы не только рояль — ты орган из Ремйского собора вытащил бы и поставил в лесу... Если бы я был таким сильным и богатым, как ты!..

— Тебе давно пора считать мои богатство и силу — своими.

— Я даже не знаю, как тебя зовут...

— Я назвал тебе моё имя — моё настоящее имя.

— И что? Кому, кроме нас двоих и ещё твоей куклы, оно известно? Кому что оно скажет? Какой толк от настоящего имени — в мире лжи!? Сила — это положение в обществе! Как тебя зовут **там**???!.. Ты спрашивал, чего я хочу! Так слушай: я хочу вернуться в свет и свести счёты со всеми, кто разрушил мою жизнь! И чтоб ты мне в этом помог!

— Ну, а потом что?

— Не важно! Хоть смерть!

— Достойные слова, и всё же... Ненависть, как и любовь, меняет наше отношение ко всем людям и предметам, но посвящена она кому-то одному. Тут слишком личное. Я был бы лишним... И уверен ли ты, что именно в свете живёт сердце твоего врага?

— Само собой!

— ... Мне нужно время. Я попытаюсь побольше узнать о нём... Рано. Подремли ещё.

Под одеялом Люсьену стало хорошо и даже немного стыдно за свои капризы, поэтому он не уснул, а только притворился. Он слышал, как его покровитель, выходя из комнаты, перебрался словами со слугой:

— Письма есть?

— Нет, ваша светлость. Извольте одеваться?

— Да, и поскорее.

Голоса утихли, и Крысёнок выполз из пухово-атласной норки, подумал, чем же теперь заняться. Он взял оставленную на столе книгу, раскрыл, попробовал читать — и ничего не понял: текст был английский.

Направился к роялю, хотел поиграть, но длинные чёрные губы певучего чуда срослись.

Люсьен зашторил окна; уныло бродил из зала в зал и думал, что если бы здесь был Серый Жан, ему, зверёнышу, бы непременно захотелось попрыгать на кровати, понадрать из книжки бумаги и попревращать её в журавликов, понакричать дурацких грубостей... Но этот господин сейчас поехал в свет. Какой-нибудь изысканный фуршет, где сволочь всех мастей пьёт вина и ликёры, ест виноград и шоколад, мороженое, сливы, груши... Должно быть, он там встретит Растиньяка и скажет: «Бессердечная собака! мы тебя изловим и придушим!»...

Глава X. В которой говорят о любви

— А ты лично был знаком с каким-нибудь писателем или поэтом? — спрашивал Макс, подпиливая ногти.

— Если всякий, кто называет себя поэтом, — поэт, то, пожалуй, да.

— Расскажи.

— Не охота... Ну, ладно... Полукровка, мой земляк, почти ровесник — чуть помладше, ... симпатичный, несколько слащавый — дамам мог бы нравиться гораздо больше моего... Приехал с парой сочинений, поднялся от прессы, дорвался до света. Я вызвался ему немного посоветовать, оставил на ночь у себя. Мы провозились до утра за картами и разговорами. Потом, уже собравшись уходить, он вдруг спросил, не помню ли я, как около года назад в Большой Опере опорочил его перед всем обществом, чем растоптал его мечты, заставил променять талант на грязную газетную подёнщину... и в этом духе... Я и действительно не помнил, попросил подробностей, на кои он не поскупился, объявив в конце концов меня бездушным сплетником. Мы были с ним одни, дуэль меня не привлекала; я ответил: «Сплетня — это ложь, а я не лгал. Ваш отец — действительно аптекарь, мать — повитуха, сестра — прачка». Он обдал меня бранью, грохнул дверью на весь дом. Потом на людях говорил со мной сквозь зубы, сторонился, может быть, злословил за глаза. Потом куда-то сгинул... Вот и вся история.

— Ты не читал его стихов?

— Нет.

— ...Часто ты... такой поборник истины?

— С того утра — да, часто! Первым делом я пошёл к д'Эспарам (маркиза — родственница дамы, на любви которой Люсьен думал делать карьеру. Эспарша, собственно и превратила мой оперный рассказ в повод турнуть парня из света), пришёл, уселся за столом и говорю им: «Знаете, моим родителям едва удаётся не умереть от голода; и мать, и тётушка, и сёстры летом и зимой стирают сами — голыми руками, стирая их до крови; отец рубит дрова, косит траву для скотины и вскапывает огород. Три года назад я сам целыми днями не выпускал из рук лопаты или топора, а ночами меня рвало от усталости...». Маркиза завизжала, забежала, как полоумная, по гостиной, не находя дверей, на третьем круге повалилась в обморок... Её вечно бледно-мрачный дверь задержал меня и рассказал, как им жилось в испанской эмиграции. Однажды единственная служанка испортила, утюжа, последнюю дамскую сорочку, а получив от хозяйки пощёчину, ударила её в живот горячим утюгом, прижгла им её руку, а тряпки выбросила в окно. После этого маркиза едва не сошла с ума и до их пор не может слышать про бельё, его стирку и глажку.

— Я мог бы рассказать, почему она не любит повитух, — флегматично промолвил Макс, рассматривая свои ногти, уподобленные тонким гладким пластинкам из лунного камня, — Как видишь, весь этот glamour, этот радужный глянец — только хрупкая плёнка на толще страшного опыта... Бытие не состоит из одной боли, но она есть, и её невозможно оправдать ни исторической закономерностью, ни юридической справедливостью, ни красотой, ни пользой... Лишь любовь,... но в ней — не оправдание. В ней — ... анестезия...

Вряд ли он мог не произнести этого слова, глядя на свою левую ладонь.

Они замолчали на пару минут, думая о разном и многом, наконец Макс спросил:

— Ты со мной не согласен?

Эжен упёрся прямыми руками в край стола, по-стервятничьи изогнул шею.

— Ты знаешь, что говоришь, но говори за одного себя. Я видел, как любят. Нет. Тут само страдание... Хотя я не могу понять,... как — после всех кошмаров революции — они могут серьёзно относиться к таким пустякам, говорить о разбитых сердцах, называть гибелью срыв какой-то шашни!.. Взять хоть мою кузину Клару или её подругу де Ланже... Можно подумать, их положение — трагично!

— В том и дело, — медленно проговорил Макс, — Любовь — это пытка под наркозом, в эйфории, в упоении... Меня всегда завораживали повести о христианских мучениках, которые как будто не чувствовали, что их заживо жарят или режут; которые видели в своей участи — привилегию, то есть, в конечном счёте, получали удовольствие... и молили Бога за своих мучителей... Вот она — настоящая гармония.

— Только одна сторона по-настоящему заинтересована в том, чтоб это было так, — прокурорски отчеканил Эжен, — Другая же — предоставь ей выбор — предпочла бы любой наркоз обычной доброте.

— С чего ты взял, что у второй стороны есть выбор!?

— Есть он или нет,... но у кого рука поднимается, у того и голова падает. Это закон.

Макс скрылся за занавеской и оттуда заговорил:

— Человек, убивший моих родителей, был сыном, внуком и правнуком главного парижского палача. Его дед осиротел в восемь лет, но, поскольку должность наследуема, ему, ребёнку приходилось присутствовать на всех казнях, по мере сил помогая подручным. Думаешь, если бы в двадцать ему предложили заняться чем-то другим, он смог бы? — предстал одетым для визита в хорошее общество, — Я уйду. Возможно, на целые сутки.

— Тогда скажи, где собираешься ночевать.

— Обойдётся. Держи ключи. Деньги в «Левиафане» — трать хоть все.

И вот Эжен сидит один в комнате и думает, что нанёс новую обиду другому человеку...

Снова спасение ему принесла Полина. Она расспросила его о ночном шуме, о том, куда снова делся отец, а, узнав обо всём, предложила погулять по городу: ей надоело сидеть взаперти.

— Я бы с радостью, но Макс тут мне загадку загадал: деньги, говорит, в Левиафане. Чтс он имел в виду?

— Книгу.

На поиски бумажного тайника угробилось сорок минут, в ходе которых исчезли последние объедки. Затем понадобилась недюжинная находчивость, чтобы одеться достаточно тепло. Обнаружив таковую, Эжен, Полина и Жорж вышли на прогулку. Они провели на улицах всё светлое время, заглядывая в магазины, где обретали всё более цивилизованный вид, в кафе-кондитерские, где одни наслаждались марципаном, а другой — мармеладом, но главной целью Эжена была стекольная мастерская. Они нашли её в пятом часу, когда начало смеркаться. Поскольку адреса никто не знал, работнику пришлось последовать за компанией.

Как бы далеко и петлисто не уходил Эжен от своего пристанища, обратную дорогу он находил безошибочно. В лестницу он нёс усталых детей на обеих руках, а следом, кряхтя, подымался стекольщик.

По улицам уже протянулись янтарные бусы фонарей.

Глава XI. В которой Макс одерживает победу

А Макс наведлся к генералу де Монриво, наполеоновскому дезертиру. Мало кому известное имя того было Арман. Главным своим достоянием он считал коллекцию древнеегипетских артефактов. У ног Великого Сфинкса его жизнь загадочно перевернулась. Он с риском бросил службу, пропал в припильских песках на пять лет и вернулся на родину с караваном добычи, годной для исторического музея. В свете он появлялся исправно, но его костюмы всегда казались пародией на военные мундиры, а его малоподвижное, высоко сидящее смуглое лицо с гладким крутым подбородком, обвешанное прямыми чёрными волосами, и вовсе не сочеталось с парижскими декорациями. Он ходил под титулом маркиза, напоказ гордился воинским прошлым, не умел общаться с женщинами, да и с мужчинами был неласков. Предложение Макса провести время вместе его не слишком воодушевило. Впрочем, он не имел причин отказывать. Разве что репутация гостя его настораживала.

— Наверное, стоит установить логическую преемственность между нашими днём и ночью, — сказал генерал.

— Что ж, способов много.

— Для меня только один, и это не карты.

— Мне самому они осточертели, — усмехнулся Макс.

Через четверть часа маркиз и граф стояли друг против друга в самом большом и светлом зале особняка, оба босые и полураздетые, у каждого левую руку обтягивала до локтя железная перчатка, а в правая держала старинный эсток — помесь шпаги и лома, длинный, увесистый, грозный.

Со стороны и в начале Арман смотрелся лучше противника: он был крепче и смелей, но Макс оборонялся успешно. Жизнь в аскезе сделала его выносливым и ловким. Было у него и нечто непредусмотренное фехтовальным искусством, как его преподают: он предчувствовал каждое движение Армана — не интуитивно и приблизительно, а совершенно точно, и каждый новый выпад не парировал, а пресекал, сам не вполне понимая, что творится.

В Армане работала механика: мощность мышц, тяжесть оружия, сила инерции, сила ударов и их траектории, которые бойцовский гений в Максе мгновенно заранее рассчитывал без малейшей погрешности. С каждым столкновением оружия премудрый змий спинного мозга схватывал данные, за сотую секунды переваривал их и отправлял вовне команды безупречной тактики. Обеспамятший от азарта, Макс спускал противнику ошибку за ошибкой; он не мог вообразить, что схватка, длящаяся уже больше часа, прекратится. В его руки и ноги вплёскивалась без конца сладострастная ярость. Его железное щупалище металось, настигая и кусая близнеца, добывая новые глотки блаженной дрожи до костей.

Но вдруг Арман отшвырнул свой эсток.

У Макса потемнело в глазах, ликование опрокинулось, в спине заняло болью голода.

— Чего вам надо!?! Видеть, как я упаду!?! — прокричал генерал, задыхаясь.

Веки Макса поникли. Он вытянул руки вверх и вперёд и последнюю искру своего счастья бросил, с размаху всадив клинок в паркет. Потом с трёх попыток взглянул на противника.

— Я вот что понял! — продолжал военный, — Сохранить своё достоинство труднее победителю! Видели бы вы себя сейчас! Вы отвратительны!

— Ещё нет, — ответил Макс, стаскивая перчатку-щит.

Арман отдышался, задумался и переменял тон:

— Вы удивляете меня, Максим. Я считал вас человеком... рациональным... Победа ваша, но иначе как пирровой её не назовёшь. Солнце ещё не село, а мы оба уже ни на что не годимся.

— Солнце ещё не село, — недобрым эхом повтори Макс, — Вы мне должны, и в карты не отыграетесь.

Де Монриво досадовал. Он был старше и годами и титулом, да и честь солдата не позволяла уступать, но, коль скоро сил на её защиту не хватило, пришлось дипломатничать:

— Не будем спешить, — миролюбиво произнёс он, обнимая Макса за плечи и уводя его из злополучного зала, — Сейчас самая пора обедать. Нам, конечно, надо умыться и переодеться. Для этого всё готово.

Обедали, сидя или полужёжа на полу, как древние римляне, в просторных белых льнах.

— Я позволил себе пару резкостей. Сожалею, — говорил хозяин дома, — Вы всегда были мне более чем симпатичны. У нас с вами есть что-то общее, чего нет у других.

Макс молча резал и поедая жаркое из печени в баклажане. Правая рука уже подала в отставку и дорабатывала последний час. На ум приходили дети — сыты ли они?...

— А давайте сейчас (или немного погодя) нагрянем к милашке де Рольбон! К ней последнее время зачастил де Марсе. Уверен: они оба будут нам рады.

— Давайте сейчас расстанемся, а дня через три...

— Я подыщу вам кого-нибудь более подходящего...

— Не надейтесь.

Глава XII. В которой Эжен проявляет фантазию, но не привязанность к семье

Проводив стекольщика, Эжен расположился с малышами на кровати — они взяли с него слово, что он переночует здесь с ними. Он согласился и перед сном рассказал им сказку:

Некой бедной девочке подарили красную шапку, и вскоре все вокруг забыли имя этой малютки, а звать её стали Красной Шапочкой. Однажды мать отправила её с гостинцами в соседнюю деревню — к бабушке, а дорога лежала через лес, где жил волк. Он сразу заметил девочку и бросился на неё, но вдруг остановился, словно в ужасе, припал к земле — вот так — и сказал: «Я не имею чести быть знакомым с вами, мадемуазель, но готов служить вам провожатым». Она ответила, что не заблудится. Он спросил, куда она идёт; она сказала: к бабушке. «Откуда у вас этот головной убор?» — спросил волк. «Мама подарила. Всем нравится. А вам?». Волк поднялся, оскалил зубы: «Судите сами, может ли он нравится мне, если люди в таких вот шапках убили всю мою семью! А я ведь сам родился человеком. Это горе превратило меня в зверя. Я ненавижу тебя с твоей шапкой. От неё и от тебя словно пахнет теми руками, что задушили мою сестру! Тебя я не хочу губить: ты слаба и невинна, но ты сейчас же отведёшь меня к бабке твоей или к матери, чтоб я съел ту или другую, а откажешься — поплатишься сама!».

Красная Шапочка сорвалась с места и побежала, а волк погнался за ней. Она стала бросать позади себя пирожки — они превратились в острые камни, и волк поранил ноги, но не остановился. Тогда Шапочка выхватила из корзинки горшок масла и метнула его за спину. Масло растеклось по земле, она стала вязкой, превратилась в болото, и волку пришлось обходить его, но он всё равно снова настиг беглянку. Наконец она бросила корзинку, и там, где та упала, земля провалилась, получилась глубокая-преглубокая яма, а волк...

Тут застучались во входную дверь.

— Это он, — в отчаянии пробормотал Жорж.

— А ты притворись, что уже спишь, — посоветовал ему Эжен, — Мы с Полиной его встретим, а до тебя он не доберётся.

Макс казался сильно пьяным — в глазах у него был тёмный туман.

— Вот, — сказал он, однако, неизменившимся голосом, — уложился в полдня, — вытряхнул из кармана новые деньги, объявил, — Пять тысяч! А в придачу — обед, свежее бельё, купание, интимный массаж... Недурно, правда?

— Где же такое бывает? — усмехнулся Эжен.

Полина смотрела в недоумении: она привыкла видеть отца строгим и собранным...

— Где, по-твоему, я мог раздобыть вот это? — Макс показал крошечную фигурку сидящей кошки, выточенную из тёплого, полупрозрачного камня.

— ... Затрудняюсь...

— А ведь считал себя знатоком света, м?... Полина, это тебе.

Взяла статуэтку, повертела в руках, вздохнула, вместо «спасибо» проронила «доброй ночи» и ушла к себе.

Макс лунатично расхаживал по комнате, снимая с себя одежду.

— Ты не задаром получил то, чем кичишься: правая рука у тебя изрядно перетружена, а левая... ((Левая от кисти до локтя распухла и полиловела из-за отбитых ударов)).

— О! Я и ног под собой не чувствую, и спина одеревенела, и вообще я не знаю, что у меня не болит... Ты хороший фехтовальщик?

— Не выяснял.

— А я, как оказалось, лучший в Париже.

— У тебя был поединок?... Эй! Оставь на себе хоть что-нибудь!

— Мне жарко. А тебе полезно посмотреть, как это делается.

Раздевшись донага, Макс лёг и уставился в потолок тусклым взглядом...

— Мы снова застеклили окно, — сообщил ему Эжен, до того несмущённо, что Макса передёрнуло; ему захотелось укрыться, словно зашёл ребёнок. Он поднялся, нашёл халат...

— Когда мы утром искали деньги, я случайно раскрыл «Монахиню» Дидро...

((Раскрыв «Монахиню», Эжен не нашёл текста — он весь был вырезан. Книгу превратили в шкатулку, а хранились в ней какие-то письма. Надписи на конвертах расплылись от давней сырости, но Эжен узнал почерк матери и своё имя в позиции адресата)).

— Зачем? На обложке же чёткое заглавие.

— Она показалась мне неестественно лёгкой... Ты ведь и сам собирался показать их мне?

— Ничего подобного.

— ... А как они к тебе попали?

— Ими был набит почтовый ящик пансиона Воке, в который я заходил дней десять назад. Там, кажется, никто не живёт, но ни объявлений о продаже...

— Так вот откуда ты узнал о моей семье.

— Ты прочёл их?

— Я их сжёг.

— Не прочитав?

— Да.

Уже не в первый раз, глядя на побратима, Макс думал, каким мог быть в свои двадцать пять Гобсек.

Глава XIII. В которой рассказывается о подвигах Армана

— Письма есть? — спрашивал Серый Жан каждое утро. Слуга отвечал отрицательно.

Люсьен поправлялся: ел с аппетитом, долго спал; в иное время плескался в ванне, валялся на кровати или на полу, или на столе, заставлял читать ему вслух; играл в шахматы — слепо и радостно пожирал чужие фигуры. Но большее удовольствие доставляли разговоры...

— Какие ты ещё языки знаешь, кроме английского и французского?

— Итальянский. Не люблю, когда не понимаю, о чём говорят, потому и выучил его.

— Где же ты слышишь итальянскую речь?

— ... В Опере.

— А кто вчера к тебе приходил?

— Генерал де Монриво. Он принёс мне набор орудий для бальзамирования, вывезенный им из Египта. Он интересный человек. Командовал артиллерийскими частями армии Бонапарта. Его подчинённые самовольно совершили кощунство: выстрелили из пушки в лицо Великому Сфинксу. За это нильские боги наслали чуму на всё войско. Генералу сказал главнокомандующему, что, чтобы умиловить богов, нужно омыть лапы Сфинкса в крови солдат, но Наполеон больше дорожил живыми, чем не чтит мертвых. Тогда Монриво сам расстрелял своих солдат, сложил трупы к ногам идола, а потом бежал в пустыню. Там духи приютили и одарили его...

— Я его знаю. Он дружит с де Марсе и Растиньяком!

— Он общается с ними, но не дружит ни с кем.

— И с тобой?

— Конечно, нет. Ему просто понадобились деньги, и я для него — их источник, правда, небескорыстный...

— Сколько ты ему дал?

— Триста тысяч.

— А!!! Откуда у тебя такие деньги!?!... От неё? от леди Маргариты?

Серый Жан покачал головой и смолчал. Было ненастное холодное утро.

Глава XIV. В которой Макс и Эмиль отправляются в Англию

А комнату Макса заливал яркий тёплый мягкий свет. Открыв глаза, он увидел на стене горящую мозаику из золотистых, лимонных, рубиновых, розовых и голубых стёкол. Вчера на этом месте было жалкое грязное подбитое окно, едва позволявшее обозревать убогую каморку, теперь же это чудо сделало благородной и праздничной всю комнату.

Вчерашний подвиг воспевал себя нитьём половины тела, переходящим от неосторожных движений в вой. Встать? Вряд ли. И всё же он покинул ложе, привычно бросил торфяной брикет в топку камина, осмотрел новоявленный витраж, расхотелся, свыкся с трудностями мускулов и стоически забыл о них, зато вспомнил об Эжене — где он?

...

— Какого чёрта ты залёз в постель к моим детям!?

— Мы с вечера договорились...

— Папочка, он нам ни сколько не мешал. Тут много места, даже тебе ещё хватило бы.

— Нет! Это недопустимо!

— Пожалуй, — согласился Эжен, тотчас переводя взгляд на малышей, — Вчетвером будет тесно. Но нечестно, если здесь: в тепле, в почтенном обществе — только я поважусь ночевать. Думаю (- снова Макс —) нам нужно установить очередность. (- детям —) Вы как?

— Я согласна.

— Я — нет, — сказал Жорж, выглянув из-под одеяла и тут же скрывшись.

— Тогда я вернусь в свою квартиру, — спокойно, без угрозы ответил Эжен.

— Забери нас с собой! — запросился мальчик.

— Ничего этого не нужно, — пресёк тему Макс, — Я сегодня уезжаю в Англию. Вы остаётесь с Эженом здесь.

— Ты вернёшься, и всё наладится? — спросила Полина.

— Прежде всего... мне нужно сделать то, что изменит вашу жизнь. Не исключено, что моя... Впрочем, ничто не исключено. Я постараюсь вернуться.

Усадив детей за горячий шоколад на станции дилижансов, Эжен и Макс вышли поговорить на воздух.

— Не знаю, — вздыхал Эжен, — По мне, любые вещи: мебель, посуда, здания — это просто барахло...

— Ты не признаёшь реликвий?

— Почему? Я верю в мощи; знаю, что с оружием нельзя обращаться как попало, что грешно валить деревья без нужды, а над тем, что ешь, стоит поразмыслить. Но груды камней, тряпки, поделки из песка — в это надо умудриться засадить душу и цену!

— Значит, по-твоему, опасности нет?

— Где страх — там всегда опасность. Чего ты боишься? Продавать этот дом, потому что не считаешь его действительно твоим?

— Да.

— Тогда найди кого-то, у кого больше прав, и пусть он тебе разрешит.

Тут к ним подбежала парочка — Эмиль Блонде ((вчера вечером, возвращаясь от Армана, Макс зашёл в какое-то кафе и написал Эмилю о своих планах, приглашая его в

компаньоны, и отправил в редакцию Дебатов)) с миловидной пышкой в пёстром платье.

— Ага, — сказал Макс, кивая им, — Очень рад, что вы согласились.

— Как же! — воскликнул Эмиль, — Англия — моя давняя мечта! Хэлоу, май крейзи нейбор! — поприветствовал Эжен, — Господа, это Береника. Береника, это Эжен и граф де Трай.

— Барон де Растиньяк и Максим, — уравновесил Макс.

— Береника присмотрит за детишками — за всеми троими, пока мы будем гулять по сможистому Альбиону. Да, моя крошка?

Девушка кивнула, влюблено глядя на спутника.

Макс был удивлён такой доверчивостью Эмиля, но пригляделся к Эжену и подумал, что приобщать в воображении это существо к миру разврата и ревности по меньшей мере глупо.

Глава XV. Разоблачение Серого Жана

Вошёл лакей и сказал: «Вам письма, сэр».

Люсьен, пока его многовластный друг читал послание, стащил конверт:

— Хм-хм! «Полковнику графу Франкессини»! Вот как тебя зовут!.. А кто такой Вотрен?

— Мой эксплуататор, — мрачно ответил англичанин, сжигая письмо, — Он немного помог мне обосноваться во Франции, наладить связи,... и теперь я обязан выполнять его пошлые заказы.

— Заказы?...

— ... Нечастые, но нудные и оскорбительные.

— Поподробнее, пожалуйста! — загорелся Люсьен.

— Убийства, — небрежно бросил Серый Жан.

— Ха! И многих ты уже угробил?

— Здесь — двадцатьчетырёх. Для Вотрена — шестерых. За всю жизнь — примерно сотню, с особой радостью — около тридцати.

— Что!!?... Ты... ты — профессиональный убийца!? — Люсьен был в восторге, — Расскажи же! Когда ты начал?

— Ещё студентом.

— Нужда толкнула? Или месть?

— Да нет. Случайно как-то вышло. Я не собирался... Но мне понравилось. Очень.

— ... Если так,... то чем тебе не по душе заказы этого... Вотрена?

— Во-первых, он даёт мне слишком мало времени, а я люблю хорошо узнать человека, стать ему близким.

— Зачем, если ему всё равно не жить?

— Чтоб он не боялся, а я сумел не причинить ему страданий, чтоб мы оба могли получить удовольствие от такого великого события, как освобождение души от тела.

— Ну, ты мистик!.. А во-вторых что?

Граф призадумался, восстановил последовательность, нашёл ответ:

— Трудно было бы упрекнуть меня в каких-то особенных прихотях, но я всё же предпочитаю сходитья с людьми молодыми, красивыми, благородными. Вотрен же подсовывает мне какую-то шушеру: старых стукачей, нелепых невольных свидетелей, сопливых придурков, не справившихся с какой-то дребеденью... Мне противно к ним прикасаться...

— Почему у тебя итальянский псевдоним? — продолжал интервью Люсьен.

— Я жил в Италии. Мне дорога память о ней.

— Что же, тебя никогда не посещают раскаяния?

— Мне знакомо недовольство собой — если не удаётся всё устроить достойно,... но так бывает редко.

— ... К тому же тебе и платят, и, видимо, щедро...

— Да. Но не наводчики вроде Вотрена. От них я ни гроша не взял и не возьму.

— Хочешь сказать, что тебя вознаграждают сами жертвы?

— Да, многие завещали мне всё своё имущество, другие — большую часть.

— Чёрт возьми! Ты самый изумительный мошенник!

— Все нет. Просто есть люди, которым их смерть дороже их жизни.

— Самоубийцы!.. Вот почему ты меня к себе затащил, — прошептал Люсьен, бледнея и знобясь, — А не прикончил только потому, что я нищий...

— Я не гонюсь за корыстью.

— Тогда почему ты этого не сделал? Я же так хотел умереть!..

— То желание было навязано тебе обстоятельствами. Для меня это не в счёт. Если мне удалось восстановить твоё жизнелюбие, живи...

— В смысле: живи здесь, со мной, будь моей ночной утехой!

— Разве у тебя что-то получалось лучше?

Серый Жан не хотел быть жестоким, но в его глазах Люсьен позволил себе более чем слишком много, и всё же не Люсьен пожалел о своих словах, а его собеседник: юный ангулемец возопил, что, если бы не людская злоба, он мог бы войти в историю, потому что писал стихи не хуже «вашего грёбаного Байрона». Англичанин серьёзно извинился, признал, что забыл, что перед ним поэт.

— Хочешь, я почитаю тебе мои стихи? — успокоившись, предложил Люсьен.

— Не нужно, Крысёнок, — ирония снова подняла голову, — Враждебность к Байрону — достаточное доказательство дружбы с музами.

— Намекаешь, что все поэты — завистники, — опечалился Люсьен, — ... Я вовсе не завидую ему. Просто им зачитывалась та... особа, которой я имел дурость увлечься, ну, и я немного подражал ему. Совсем немного. Только ей в угоду... Не надо было этого делать. Надо хранить верность только самому себе... Тебе нравится убивать женщин?

— Нет.

— Но они красивы.

— С ними трудно. Они всегда слишком привязаны к жизни. Нужно лет тридцать непрерывных мук, чтобы они могли отречься от неё, — не все, конечно. Большинство просто привыкнет. Это невыносимо. Другое дело дети.

— Дети!? Ты убивал детей!?

— В Лондоне — щелкал их, как орешки, без счёта. С ними легче всего. Мой главный враг — страх, а дети больше боятся розги, чем ножа.

— ... Знаешь, чего бы я по-настоящему хотел? Стать твоим учеником и сподвижником. Уж я бы компенсировал твоё невнимание прекрасному полу!

Глава XVI. В которой Эжену моют кости

Эмиль ступил на британскую землю, уже зная о медальоне Отца, сроднившем Эжена и Макса, о семейных печалях побратимов и даже о таинственном лондонском имении, предназначенном к продаже. В гостинице «Адмирал Хендс» настала его очередь отвечать на вопросы.

Вот красавец благородный
В фраке отутюженном.
Он не завтракал сегодня
И вчера не ужинал.

Пальцем этой небезупречной эпиграммы год назад Эмиль попал в небо эженовой жизни — молодой светский волк отыскал его не для более логичной выволочки, но для выражения благодарности.

— С того дня, — говорил Эмиль, — я за ним и присматриваю. Предивный чел! Если он прибыл из Ангулема, то Ангулем — это поэма!

Умолк, гордый своим спонтанным двустипшьем.

— Меня удивляет его сила, — наводил Макс.

— Меня тоже! Я бы ни за что не смог сжечь непрочтённое письмо от матери...

— Я — о физической силе. О способности разорвать гвоздь, как нитку, или сообщить брошенной подушке скорость картечи.

— Такого я ничего за ним не замечал. Но вот то, что лучше него никто не умеет рассказывать и обсуждать истории, это точно. Я тысячу раз говорил ему, чтоб он заделался романистом, а он такое мне ответил!.. Уан-момент, щас ремембну... Литература... — он сказал, — такая штука, в которой разбирается десять человек на сотню, а из той десятки в лучшем случае найдётся пара тех, кому это нравится. Я спросил, а что тебе больше всего не нравится в книгах. Он говорит: представь себе, что буквы на странице не напечатаны, а вырезаны, как трафарет, и ты должна сквозь эти крохотные кривые щёлки смотреть на мир... Жуть! Надо же было такое выдумать!.. А в его логове вы бывали?

— Нет.

— Уу! Большая потеря!..

Глава XVII. В которой царит беспорядок

Эжен дал Беренике ключи от квартиры на д'Артуа с просьбой вытопить там камин, но не пытаться навести порядок. Кто-то мог бы счесть это хитрой провокацией, но Эжен не лукавил. Он знал, что большинство людей (особенно женщин) норовит всякую вещь прикрепить к какому-нибудь месту, на которое она должна вновь и вновь возвращаться, но сам не понимал такой политики, и неумытая орда его утвари вольно кочевала по жилищу: стаканы толпились под кроватью, ложки нежились в карманах, тарелки любовались видами с подоконника, спички прятались под подушкой, расчёска скучала в кухонном шкафу, бритва сверкала на обеденном столе, полотенце болталось на градине, посрамляя задвинутую занавеску; в книжном шкафу хозяйничал чайник, принуждая законных обитателей ((Вообще-то Эжен не собирал библиотеки. Книги давал или дарил ему Эмиль)) к эмиграции, с ними скитались носки, платки, перчатки, служащие закладками. Потом вдруг стаканы выстраивались на каминной полке, из одного торчала расчёска, чайник утыкался носом в оконное стекло, книжный шкаф захватывали пустые бутылки, пепельница попирала поверженную на стол книгу, заложенную спичкой или игральной картой; полотенце висело на спинке стула, плащ — на углу двери, галстук — на её ручке; флакон одеколona соседствовал с коробкой чая, сахарницу наполняли пробки и мельчайшие монетки, ботинки ненавидели друг друга и разбегались как можно дальше. Потом в подоконник вонзался столовый нож; маникюрные ножницы, разинув клюв, загорали на тарелке, пепельница сидела на табурете, полная фисташковой скорлупы ((окурков не было, потому что Эжен, сам того не зная, их съедал)), умерший от голода кошелёк был похоронен в выложенной натуральным камнем нише в гостиной в шкатулке для документов, где копились хурмяные и абрикосовые косточки; плащ простирался по кровати, сахарница пряталась под шляпой на козетке, фосфорная зажигалка — в спичечном коробке, паспорт в подарочном конверте — под половиком, книга — под подушкой, в книге — гребешок и счёт от перчаточника, лампа ((это было глубокое блюдо из гранёного хрусталя. Вечерами Эжен распиливал свечку на пять-шесть цилиндриков, выстраивал их на дне светильника, зажигал и ставил повыше — на край какого-нибудь шкафа, а в гостиной — на подвешенное цепями к потолку железное блюдо, днём, если было не лень, вычищал воск и оставлял лампу там, где делал это)) — под кроватью.

Но не эта сумятица заставила Беренику выбежать из квартиры через три минуты после вхождения, а вечером спрашивать Эжена: «Как вы можете там жить!?! Со всех сторон себя видать ((Она имела в виду знаменитую гостиную Эжена — комнатку маленькую, но фантастическую, поскольку в ней все стены были выложены зеркалами — где позволяла обстановка, монолитными, но вокруг креплений полок, будто бы висящих в пустоте, — мозаичными. Каменная ниша — миниатюрный грот в интерьере — словно взламывала зеркальную гладь, вздымалась из неё, как атолл, а в глубине её таинственно светлел другой слой, отражающий чёрный резной буфет, щедро инкрустированный перламутром и нещадно обклеенный зеркальными осколками. В ветхую потресканную плоть буфета было вбито молотком несколько нарядных пуговиц и одна канцелярская кнопка, а хранились в нём чайник, до крышки заросший плесенью, кофемолка (Эжен иногда варил кофе в умывальном ковше), сахарница, солонка, перечница, мыльница, чернильница, гостевая пепельница, маслёнка, табакерка и фарфоровая статуэтка крестьянки, оседлавшей вислоухого осла))!..

Оно ничего, когда в гримёрке ((Береника работала в театре помощницей костюмера, парикмахера и визажиста)), но в доме ((не только молодые мужчины, но и девушки из провинции наводняли столицу, мечтая о выгодных местах. Береника стала одной из них, но говорила она по-прежнему как у себя в деревне)) — это прям беспутно как-то... И дров я там нигде не нашла. Вы уж завтра сами ходите, похозяйничайте...».

На следующий день, рано-рано утром, притащив от водовоза два ведра для умывания и питья, Эжен навестил свою берлогу, спалил в камине всё, что ему не понравилось, поправил занавески, постель, но ночевать вернулся в максову обжитую квартиру.

Глава XVIII. В которой лорд и леди Байрон встречаются после развода и по ту сторону реальности

Хрупкая молодая дама в сиреневом платье вышла в гостиную загородного дома, смерила посетителей строгим взглядом, чопорно поджала детские губы, указала на кресла и села сама.

— Итак, кто вы и что вам угодно?

— Я — граф Максим де Трай, а это мой друг Эмиль Блонде ((Эмиль во время всего визита не открывал рта, поскольку знал цену своего английского)). Так уж случилось, миледи, что особняк, в котором вы прожили последнее время вашего замужества, сейчас официально принадлежит мне. Но я купил его не для того, чтоб как-либо использовать. Мне хотелось, чтоб никто не смел переступить порог этой обители...

— Лондонские власти не позволяют вам его разрушить? — спросила дама с разыгранным сочувствием, не отнимая пальца от губ.

— Подобной мысли мне не приходило...

— Жаль.

— Я намерен продать этот дом.

— И нашёлся покупатель?

— Лорд Келсо предлагает устраивающую меня сумму.

— Поздравляю. Вам нужно, чтоб я подписала какие-то документы?

— Нет, миледи, с документами нет проблем, но я не решаюсь распорядиться домом без вашего личного разрешения, равно как и без разрешения вашего мужа.

На лице дамы начерталось недовольство; её пальцы переметнулись с губ на ухо.

— Я могу оповестить его светлость письмом, но, боюсь, ответ придёт не раньше февраля. В лучшем случае.

— И вы не знаете способа связаться с ним быстрее?

— Увы.

Макс сосредоточился в минутной паузе.

— Миледи доводилось слышать о спиритуальной телепортации?

— Я обычно не внимаю подобному вздору.

— Но если бы я вдруг попытался...

— Вызвать сюда дух этого невозможного человека?

— Или отправить к нему ваш. Вы согласились бы на свидание с ним?

— Простите, сударь, но это смешнейшая чепуха... Как бы вы сделали это?

— Всё, что мне понадобится, — это ваша добрая воля и последнее письмо, полученное вами от супруга.

— Мне принести письмо сюда, или мы вместе перейдём в мой кабинет?

— Давайте перейдём. Мне кажется, там вы лучше можете сосредоточиться.

Скептическая леди хмыкнула и повела заламаншских чудаков наверх, ворча:

— Вам должно быть стыдно именоваться соотечественниками Декарта и Лавуазье.

— Я и впрямь не могу думать об этих господах без стыда, — передёргивал Макс.

В кабинете он попросил Эмиля зашторить окна, зажечь свечи на столе.

— Садитесь, миледи. Положите перед собой письмо. Так. А теперь послушайте, пожалуйста, меня очень внимательно. На этом листе нарисована дверь. Найдите её и войдите.

— Тут нет рисунков. Тут только буквы.

— Да, но одна из букв — и есть ваша дверь. Ищите. Ищите.

Посланицу клонило в письмо, в вихревое кружево чёрных черт и извивов, в их живой лабиринт; эти мгновения были тяжко маятны для неё: чья-то коварная сила лишала её разума, чей-то голос требовал: «Ищите дверь». Наконец-то — нашлось. Это была неестественно вытянутая вверх арка строчной п. Зачарованная сделала движение, похожее не шаг, схватилась обеими руками за косяки, зажмурилась, замерла, преодолевая головокружение.

Она стояла у входа в тёмный зал с высоким потолком, со спадающими до гладкого каменного пола окнами, в которые смотрела ночь. В скудном свете за на редкость широким столом, притулившимся к самому окну, покрытым сугробами бумаги, сидел человек и смотрел на улицу, подставив руки под подбородок. Он был едва заметен в этой лакированной пещере и вроде выглядел безобидным, но дама, заметив его, впала в панику, словно наткнувшись на дремлющего ядовитого паука. Она опрометью бросилась назад, пересекла ещё один зал, но все другие двери были заперты. Несчастливая застучала в последнюю обманувшую створку с рыдающим криком: «Спасите! Выпустите!».

— Эй! Кто ещё здесь? — отозвался ей из-за спины гулкой мужской голос.

Она обернулась — он стоял там, в проёме.

— Не подходите ко мне! Дайте мне уйти! Я не желаю вас видеть!

— Тогда зачем вы явились?

— Это вовсе не я, а мой дух! Я вам мерещусь! Я снюсь вам спьяну!

— Лучше бы вы спьяну подожгли палату лордов.

— Не я пьяна, а вы! Откройте двери!

— Да куда вы пойдёте в такой час?

— С вами я не останусь!

— Я буду в той комнате, а вы в этой.

Едва силуэт исчез, околдованная леди подбежала к порогу, помедлила у него, потом вошла в зал. Немилый собеседник снова сидел за столом.

— О! — сказал он, — Я было принял вас за одного из миллиона увивающихся за мной суккубов, но теперь вижу, как луну: это настоящая вы, Анна.

— Анна!? Вы никогда не называли меня Анной!

— Вашему духу никакое другое имя не идёт.

— Знайте: я здесь поневоле. Меня подвергли какой-то метафизической процедуре. Может быть, я просто сплю, и вы мне снитесь... Я хочу проснуться!

Ударил что было сил ладонями по столу.

— Успокойтесь, — тёмный собеседник налил и подал ей фарфоровую пиалу, — Поздоровайтесь с духами воды и земли.

— Ым, — глотнула и саркастически — Какими ещё чудесами вы меня порадуете?

— Вот, — чиркнул спичкой, — Это дух огня, — и бросил её на стол. По белыми и исписанным листам побежала, оставляя чёрный след, синяя и розовая позёмка, потом скомканная бумага ярко вспыхнула, сквозь страницы раскрытой книги проросла золотая листва, и стол стал подобен жертвеннику. Чернила закипели в склянке, источая густой дым.

Гусиные перья стали фениксовыми — увы, без возрождения.

— Что вы делаете!? — закричала, отскакивая, Анна, — Ах! Это точно вы!.. Хотя причёска у вас точь-в-точь как у вашего мистера Х...

— Он был тут недавно, а когда мы встречаемся, я прямо так в него и превращаюсь, будто дантов тать — в змею.

— Хорошее сравнение... Где мы? Какой это город?

— Пицца.

— Что?! Пиза, наверное!.. Вы хоть на каком-нибудь языке можете говорить правильно!?

— Самый родной мне язык уже мёртв.

Пламя угасло. На пол слетал серый пух в меркнущих искрах.

— Другого ответа я от вас и не ждала. Позвольте мне сесть.

— Хотите, чтоб я уступил вам мой стул?

— Если тут нет другого — да.

Поджигатель неохотно поднялся, отступил в тень. Анна заняла освободившееся место, а он тем временем из далёкого угла волок второй стул, ножки которого, скользя по полу, нервораздрающе взвизгивали. Анна захлопнула уши ладонями.

— Прекратите этот отвратительный скрип!

— Уже прекратил. Вот вам ваш трон. Кыш с моего.

— Сядьте там сами!

— Нет. Я должен видеть дверь.

Закатив глаза со страдальческим стоном, дама-дух встала, задалёко обошла собеседника, меняясь с ним полюсами, села боком. Долго молчала, тяжело дышала и искала что-то у пояса.

— Веер? — спросил человек и, не дождавшись ответа, раздул пепел (половина полетела в гостью), вытащил из ящика новый лист бумаги и стал складывать его в гармошку, приговаривая, — Вот ведь вроде бы такая никчёмная ерунда, а привыкнешь — и всё... Смотрите, — развернул своё изделие с одного конца, с другого зажимая пальцами, — Сойдёт?... Недостаточно широк?... Ладно. Сам вижу, что дрянь. Но можно нарезать полосок из картона, скрепить гвоздиком, чтоб они могли вращаться...

— Да не нужен мне веер! — оборвала его Анна, маша руками на лицо, — Не мешайте. Дайте мне сосредоточиться.

Если бы она смотрела на него, то увидела бы в глазах тёмного лица холодные хитрые блики.

— О чём же вы думаете, не щадя лба?

— Ищу способа избавиться от вашего общества. Что же мне говорил тот француз?...

— Любовник?

Анна подскочила.

— У меня нет и не будет любовников!!!

— Я не говорю, что ваш...

— Помолчите хоть минутку!

— Но, может быть, я дам вам толковый совет?

— Какой совет!? Вас там не было!

— Как он выглядел?

— ... На вид ваш ровесник, белокожий, белокурый, лицо... п-приятное, серьёзное, намного отрешённое. У него очень светлые глаза, а брови и ресницы чёрные, и ещё тонкие

чёрные усики. Странно, но мне они показались знакомыми... Он просил вам что-то предать...

— Вещь или весть?

— Ве... Ах! Вот! Он купил и продаёт наш... тот дом... на Пикадилли... помните?

— Да. И что?

— Вы не против?

— Нет.

— ... Ну, и почему я ещё здесь? — она выбежала на середину комнаты, голося в потолок, — ... Ээй! Заберите же меня отсюда!.. О, мой Бог! Что мне делать!?

— Очевидно, ваша миссия не окончена. Сядьте... Вы ничего не хотите мне сказать — от себя? У вас нет ко мне никаких вопросов?

— Я вполне удовлетворена нашей перепиской.

— А я — нет. Я хочу вас спросить кое о чём...

— По почте.

— Нашу почту перлюстрируют.

— У меня секретов нет.

— Я тоже откровенен, но...

— Вообще-то при вашем стиле жизни вы обязаны иметь и хранить секреты... Зачем вы сообщили мне, что стали карбонарием? Это же тайная организация.

— Я вам доверяю.

Вдруг он самозабвенно рассмеялся.

— Что такое!?

— Я представил себе орден типа масонского, только женский, а вы там — магистресса. И всё как полагается: высокие задачи; теневая, но великая власть; никому недоступные знания, обряды, собственные мифы,... ну, хоть о Белкис, царице Савской. Или Марии Магдалине. Непременно что-нибудь двусмысленное! Иконы Сафо по углам...

— По истине великой целью было бы обуздать вашу дикую, порочную, праздную фантазию. Вы имеете ко мне вопросы, так задайте их!

— Вопросы... Да... Я помню всё, что вы говорили суду, представляю, что занесли в ваш дневник и разбросали в письмах, но вот что вы можете сказать мне лично, только мне...

— Вопросы!

— Что с нами случилось? Кто мы друг другу?

Анна повернулась к собеседнику, навела на него жестокий прищур:

— У вас нет собственных версий? — выговорился с трудом и не сразу.

— Есть... — прозвучало почти робко.

— Так давайте сверим наши воззрения.

— С чего бы начать?... Я всегда думал о вас, как о... Нет, не так... Вы совсем на неё не похожи, но почему-то внушали... и внушаете мне воспоминание... о матери...

— Не продолжайте. Я знаю, что ваше воображение больно, а сердце — умерло...

— То, что я сказал, очень важно! Что-то во мне искало и находило в вас её!

— Итак, вы возомнили, что я — ваша мать, и вели себя со мной так же, как с ней? То есть с ней вы вели себя так же гнусно, как со мной?

— Она меня ненавидела.

— Так не бывает! Мать не может ненавидеть своего ребёнка!

— Почему?

— Это противно природе!

— Как губная помада и туфли на каблуках?

— Не желаю с вами спорить!

— Значит, я прав? Вот! Именно такой взгляд! Ну! Говорите! Рассказывайте!

— Расскажу, — выдавил Анна, сжимая под столом кулаки, — ... Вам ведь всегда хотелось лишь одного: чтоб я признала вашу правоту, признала господство зла над миром, невозможность счастья и любви. Я противилась, я старалась вас разубедить — из любви к вам, ради вашего счастья, во имя добра, ... но после той пытки, которой вы меня подвергли... я не выдержала — и согласилась с вами — во всём! — и выпустила в сердце ненависть... Не к той несчастной, что стала вашим орудием. К вам — к палачу!.. Тот день... Она не знает его числа... Мы празднуем совсем другой — семнадцатое марта.

— Как? — бестонально шепнул собеседник.

— А вот так!

— Как — вы — празднуете?

Вопрос болезненно отрезвил Анну.

— ... По-разному... В прошлый раз ездили в Озёрный край, устроили пикник, катались на лошадях. Папа заказал и устроил фейерверк...

— Красиво это было — над водой? — спросил человек тьмы, просто и бессильно, как вздыхают в последний раз.

Анна схватила себя за горло, стиснула зубы, всхлипнула...

— Ещё бы, — продолжал собеседник, — Ей было весело. Она смеялась.

Ненавистница уронила голову на протянутые в пепле руки и разрыдалась. Её обидчик уставился в потолок, закусив ноготь на левом указательном пальце.

— Я тоже однажды закатил потеху с огнём... В сущности с горя, да. Задумал вечеринку для местных, еды закупил, выпивки, музыкантов нанял, а никто и не пришёл. Наверное, решили, что я по примеру деда изрыл весь сад волчьими ямами и усыпал медвежьими капканами... Идиоты!.. А над озером стоял огромный сухой дуб. Я велел обвешать его кисетами с порохом, оплести фитилями — дальше включите воображение. Бьюсь об заклад, что на утро французы читали в газетах о новом английском мегамаяке. Кстати, это идея: съездите в будущем году к морю. И вообще не держите взаперти...

— Но она ещё мала, — убито ответила Анна, поднимая заплаканное лицо.

— Ничего в жизни нельзя откладывать, ведь она в любой миг может оборваться.

— О, Иисусе! Истреби этот чёрный язык! — взмолилась женщина.

— Пусть сначала опровергнет, — апломбировав собеседник.

— Да кому нужен мир, в котором вы правы!? Вам же самому противно всё, что вы проповедуете!

— Я обличаю.

— То, что никто не в состоянии исправить? Зачем?

— Реальность — это капля из океана возможностей. Мы не имеем права смиряться ни с чем, и честь и хвала вам за всё, что вы сделали со мной. Видит Бог — мы с вами лучшая пара во всемирной истории супружества! Слава вашей бескомпромиссности! Кому нужен мир, который нельзя уничтожить!.. Как же я с вами не прогадал!

— А вы — смиряетесь с моей к вам ненавистью?

— Я в неё влюблён! Это как раз то, что нужно. Жаль только, что она обречена на дистанционную платоничность, и мне не придётся спасти от вас свою жизнь. Боготворю

угрозу смерти! На твоих глазах всё срывается с мест, рушатся стены, открываются дали... Вселенная на ладонях! И всё по-настоящему!.. Да, я могу принимать и любить жизнь — когда есть выбор. Почему нет... Назло ей самой... Ну, что вы грустите?

— Я одинока... Пятьдесят проклятий я послала вам за те ночи, когда всё моё тело казалось удушающей опухолью, когда каждая клетка болела тупо, а нервы то тлели, то вдруг вспыхивали...

— Очень верное описание того, что творилась с вашим благоверным к восьмому месяцу совместной жизни.

— Зато вы избавлены от этих страданий теперь, когда мне... Не хочу вас обманывать: со временем мне стало легче переносить мои полнолуния. Но те, первые... Смогу ли я простить их вам?...

— Полнолуния, говорите?... Проклятия?... Вы что же, мой главный соавтор?

— Я, — угнетённо вздохнула Анна, — знаю только одно: люди не должны жить в ненависти друг к другу. Надо стараться сделать друг друга добрей, а мы...

Собеседник потянул носом темноту, потёр безмянным пальцем стеклянную пластину на столе — она тоненько сонно пискнула.

— В Венеции, в одном гостеприимном доме я встретил некоего мятежного ирландца. Мрачная девица, наряженная для сказки, в которой от героини требуется предстать ни голой, ни одетой, стегала его кучерским кнутом; её подружка в прозрачно-белой тунике гладила его же по волосам, целовала в затылок...

— Какая мерзость! Вы назвали его мятежным — по иронии?

— Нет. Он был героем борьбы за независимость, что, кстати, изобличалось его эротическим вкусом: мы все такие — в разной степени... Я мысленно занял его место, нашёл положение интересным, но отказался от этого опыта, понаблюдав за девицами: они-то страдали по-настоящему и наверняка незаслуженно. Что ни говори, а парень вводил их в грех.

— Именно!

— Женщинам не к лицу насилие...

— Но вы сказали, что хотели бы испытать нечто подобное? Я не ослышалась!?

— Анна! вы невежественны, как младенец, если вам это странно... Впрочем, тем лучше, — задумчиво глянул, — Это ведь единственное, что я всегда старался скрыть; самое дурное, что во мне есть,... — отвернулся, — ... Как, пожалуй, всякий человек, я вроде и мечтаю быть любимым,... но только никак не могу поверить в возможность чьей-то любви ко мне; единственным вероятным, достойным отношением ко мне я привык считать ненависть. И ничто не берёт: ни доводы ума, ни подарки судьбы, ни ласки людей... Они — словно глумливый мираж, дешёвые фокусы. Реальны лишь страх и боль — моя единственная пристань...

— Это всё... из-за матери? — явила мудрость Анна, — ... Мне так жаль...

— Вот уж избавьте!.. Полно, не плачьте...

— Что я могу для вас сделать?

— Всё, что вы делаете, вы делаете для меня.

Первым порывом Анны было подбежать к нему, обнять, но вдруг какое-то подозрение...

— Я... Мы... заключили мир, не так ли? Мы больше не враги?

— Нет.

— Так позвольте мне вернуться в Англию, в мой дом, в моё тело. Если захотите, я

приеду к вам — куда угодно — по-настоящему, не в виде призрака. Конечно, вы, наверное,... нашли другую женщину,... и мы бы повидались, как друзья... Ну, помогите мне! Ведь вы же тоже что-то знаете о колдовстве. Велите моему духу вновь соединиться с плотью!

— Давайте-ка наведаемся в ту комнату, из которой вы вошли в эту.

Анна побежала вперёд, миновала дверной проём и оказалась в полной темноте. Приблизилась шага, щёлкнул замок, и, словно включился тайный механизм, над головами четы медленно разгорелись лампы из красного стекла и тончайшего белого фарфора, освещающая просторную кровать под пёстрым балдахинном.

— Откуда это? — изумилась невольная гостья, — Здесь же было пусто, и... стены были дальше... Впрочем, я не помню... Что мне делать?

Собеседник прислонился к сошедшимся створкам, заложив руки за спину. Его волосы закружились и казались то ли русыми, то ли рыжими; черты лица как будто изменились, хоть он ничуть не подурнел. Он смиренно смотрел на узорчатый коврик и произносил такое:

— Дух и плоть всегда в разладе. Их, противников извечных, может примирить лишь смерть да ещё одно событие, что считается греховным, и ничтожным, и позорным — у тупиц и у ханжей. Мой намёк вам, верно, ясен. Только я не как развратник, сластолюбец оголтелый, вам об этом говорю. Невзыскательный затворник, узник ваших сновидений, я лишь предлагаю выход, лучший из известных мне.

— Значит, есть ещё другие? Перечислите скорей их!

— Можно выпрыгнуть в окошко или выстрелить в висок и, решив, что смерть настала, дух метнётся к телу, тело будет радо слиться с вечным духом — вот вам и успех. Есть тут риск один, однако: вера в смерть в вас одолеет тела жизненную силу и духовный светлый ум. Смерть — не то, с чем безвозмездно затевают люди игры...

— Это все? Все варианты?

— Можете сидеть и ждать, когда ваш гипнотизёр соизволит снять с вас чары.

— Хорошо. Я подожду.

— Зачем терять Бог знает сколько времени на скуку? Мы женаты...

— Мы разведены! Я чудом не сошла с ума, отучая себя... от вашего общества. Возврата нет!

— Вы не знаете, насколько правы.

— Что?

— Я догадался, кто вас усыпил. Я его знаю. Насколько я безумней вас, настолько он безумнее меня. Он вас не вытащит отсюда.

((«А как же она?» — спросил Эмиль, когда Макс позвал его из кабинета леди Анны. «Она очнётся в положенный час». «А как же ответ, который она должна вам дать?» — «Она его уже дала», — ответил Макс.))

— Но он только просил меня узнать, согласны ли вы на продажу дома!.. Он солгал?

— Полагаю, да.

— Каковы же были его истинные цели?

— Жертвоприношение, месть. Вы, как всякий бунтарь, себе нажили прорву врагов. Может статься, что я — ваш единственный друг... Уже сейчас я должен посоветовать вам быть готовой к любому состоянию, в котором можете по возвращении найти леди Изабеллу — так ведь зовут ваше тело?

— Не тштитеся запугать мне! Терзания и распад — судьба всякой плоти, но подлинным бытием обладает только дух. Моё тело уже давно познало скверну. Я отрекусь от него без

сожаления и останусь тут навек... Но, Боже! Ада!.. Хорошо! Я пойду на это — ради моего ребёнка!

Анна яростно, как напавшего зверя, сбросила с себя платье. Вдруг...:

— Но как же это вообще возможно делать? Я ведь дух, а вы... А... вы?

— И я, — отвечал собеседник, оставаясь у дверей.

— Значит,... ваше тело... тоже сейчас... как бы в обмороке? Это часть колдовского плана? Или совпадение?... Повергнуть его в летаргию — на большом расстоянии? В неизвестной географической точке? Немыслимо! Но рассчитывать на случай и гарантировать... Ах! — Анна всплеснула ладонями, — как я забыла, что вы — сумасшедший! Не собственно **вы**, говорящий со мной (вы-то как раз благоразумны!). Вы, видимо, здравомыслящий дух, постоянно оторванный от вашего полоумного тела! Вот и разгадка!..

— Ага, значит человек, клянущийся несправедливости мира и, в частности, ваше супружеское вероломство — дурак, тогда как тот, кто грезит о заточениях, радуется чужой к себе ненависти и мечтает быть избиваемым — умница?

— ... Ну, тогда я совершенно ничего не понимаю... Впрочем, какая разница...

Обречённо опустила на кровать, отвернувшись и обеими руками вытирая слёзы. Собеседник неслышно подошёл, присел рядом.

— Вам знакомо выражение «жить в чьей-то душе»?

— При чём тут это стёртое словесное клише?

— Что есть ваша душа? Ваш личный вариант вселенского пространства. И это место: дом, комнаты, улица за окном — суть зоны вашей души.

— Но вы же говорили, что это Пиза...

— Вот уж нет! Я ляпнул первое взбредшее слово. Здесь только вы всему даёте имена.

— Но у вас-то имя есть.

— Будет, когда вы его произнесёте.

— ... Кто вы???

— Дух от духа вашего мужа, живущий в вашей душе.

— Что значит *дух от духа*?

— Когда двух людей сближает любовь или ненависть, в предельный миг этой близости, их духи расслаиваются и обмениваются своими копиями...

— Так вы — всего лишь дубликат, слепок!?!...

— Если угодно.

— Но... я... хотела встретиться... с оригиналом...

— Разница меж мной и им лишь в том, что я люблю вас.

Анна сринулась с кровати, описала ступнями петлю по ковру; её духовный супруг откинул одеяло, полуоткрыв простыню, погладил ткань:

— Какое чудо! Тёплая! Последняя работа легендарной Элисон из Бата. Мастерница была бы рада за нас...

— Я — не хочу!!! Во мне нет к вам любви! Её убил тот адский день! Вы только жалки... Впрочем, я даже не верю вам... Я ничему больше не верю!

Глава XIX. В которой Эжен становится миллионером

Триумфаторам осталось пройти полквартила, и они уже еле волочили ноги, особенно Эмиль, тащивший два увесистых саквояжа, тогда как Макс нёс только трость.

— Если бы про вас, — говорил журналист, окружая свой рот и подбородок белым облаком, — писали книгу, то автор непременно сравнил бы вас со странствующим рыцарем...

— Странствующий рыцарь — это плеоназм, — цедил Макс сквозь заочевенные губы, — Слово *кавалер* исторически означает просто всадника, а кто такой всадник, если не странник?

— Но, допустив этот плеоназм, наш автор мог бы одарить меня почётным званием оруженосца. А так — я лишь банальный носильщик.

— То, что вы несёте, — воистину оружие, а коль скоро я дворянин, то сравнивать меня с рыцарем равносмысленно сравнению меня с человеком. Не нужно риторических аналогий. Я и есть рыцарь; вы и есть оруженосец.

Вступив на крыльцо чёрного входа (мало чем отличного от парадного), Макс предложил разделить ношу.

— Разделить уже не удастся: пути осталось слишком мало, но поднявшись только по этой лестнице с этим грузом, вы обнаружите несомненную тенденцию к справедливости, — изрёк Эмиль и поставил сумки наземь.

Макс, ежедневно вносивший на свой шестой этаж два ведра воды, ящик угля и пакет снеди, доставил весь багаж наверх без возмущений и передышек.

В квартире было тепло и уютно. Береника повесила всюду новые весёлые занавески, сменила скатерть, а теперь сидела у камина, где висел на крючке чайник, отчищенный и блестящий, как ёлочная игрушка, и дошивала платье для Полины из театральных обносок. Полина читала вслух талмуд Меллори; Жорж слушал её, попивая что-то из большой цветастой кружки. Эжен лежал на диване, босой, небритый и нечёсанный.

Возвратившихся встретили приветливо, тотчас дали им горячего чаю. Эмиль с Береникой расцеловались. Макса обняла дочь. Сын убежал к Эжену, протирающему глаз и бормочущему спросоня: «Привет-привет. Как всё прошло? Удачно?».

— Вот, — Макс кивнул на саквояжи.

— Бабки! — ликующе объявил Эмиль, облапляя Эжена и подводя его к сумкам.

— Сколько?

— Тысяча тысяч!

— Миллион? — Эжен показался удивлённым; он присел и бережно расстегнул замок одного из саквояжей, набитых пачками банковских билетов, — Франков?

— Да. Мы ещё там перевели в наши.

— Половина твоя, — произнёс Макс небрежно.

— Чья? — чуть не задохнулся Эмиль.

— Эжена.

— Ха! С какой радости!?

— Мы братья. Я ему обязан.

Простая чета и дети восхищённо смотрели на обретенное богатство; старший из

аристократов казался величаво безразличным, младший — задумчивым.

— Что скажешь, Эжен?

— Я не хочу их брать. Во-первых, мне не ловко: я не считаю, что чем-то заслужит такой подарок. Во-вторых, мне не по себе: ты словно подкупаешь меня... В-третьих, даже если тебе ничего от меня за это не понадобится, дня через три ты смертельно оскорбишь меня вопросом, куда я дел весь этот ворох, поскольку, в-четвёртых, я лучше умею воскрешать мёртвых, чем беречь деньги.

— Ты отрекаешься от нашего союза в пользу бесхозных пятисот тысяч франков, или предложишь что-то третье? — сосмутил Макс нервно.

Эжен глянул на Эмиля, словно спрашивая у него, что может означать последняя реплика, но тот лишь развёл руками от вздёрнутых плеч.

— Если, — начал тогда Эжен, — ты предлагаешь, чтоб у нас была общая казна, я на стану спорить, но половинить — не по мне... Миллион — это целый миллион!.. По сравнению с ним пятьсот тысяч — это... это мало.

— Мало!!!?... — вскричал Эмиль. Эжен жестом призвал его к молчанию, продолжил:

— Разумней признать всю сумму нашей совместной и распорядиться ею по-компаньонски.

— Вариант неплох, — устало ответил Макс, обводя пальцем край стакана, — Завтра утром представим и обсудим первоочередные расходы. Эмиль, Береника, ужасно сожалею, что не могу предложить вам ночлег...

— Ничего страшного. Мы и сами бы не остались. Можно я только попрошу у вас мелочи на дорогу? — с этими словами Эмиль выхватил из раскрытого саквояжа пачку банкнот, подкинул, поймал и прихлопнул, сунув в карман, — Собирайся, хани... Честь имеем.

Выходя, они впустили полночь.

Эжен увёл детей в спальню, где пробыл полчаса, давая побратиму спокойно подготовиться ко сну. Сам он, если бы не помешали, провалялся бы до утра там, где его застали. Укладываясь снова на оставшуюся кромку, он сказал негромко:

— Ты мне хоть три миллиона давай, а в свет я не вернусь.

— Если ты разумеешь свет, о котором года три тому назад тебе ввали геройствующий уголовник и недалёкая кисейная львица, то туда ты точно не вернёшься. Забудь о нём навсегда. Его просто не существует... Ты не знаешь о свете ни малейшей доли истины.

— Да что ты! Хочешь втюхнуть мне свою концепцию? Ну, начинай.

— ... Бог сказал: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош.

Глава XX. Воспоминания Серого Жана

То, к чему с вечера готовился Люсьен, произошло поутру. От этого он, дремавший лицом в подушку, пробудился, но не подал вида из какого-то ленивого озорства. Ему было весело и легко. Ему нравилось ощущение скольжения внутри, чередующее пустоту с заполненностью, и запах розового масла... В какой-то миг ему захотелось кричать, но он набрал полный рот белого шёлка и сдержался. По окончании Серый Жан бережно укрыл его, сам оделся — глухо прошуршал серый халат; щёлкнула застёжка пояса — зелёной с серебряной искрой по коже амфисбены, целующей сему себя в губы на животе хозяина.

Люсьен приподнялся и посмотрел — серый денди стоял у оконной рамы, отогнув портьеру, заглядывал на улицу. Узкая размытая полоска неяркого утра высветляла его профиль. На нём нельзя было прочесть никакого чувства.

— Эй, — окликнул Люсьен, — Я люблю тебя, а ты что скажешь?

— ... Можно я ничего не буду говорить?

— Нельзя! Ты должен мне исповедоваться! О чём ты думаешь сейчас? Выкладывай!

— Тебе это может не понравиться... Я вспоминаю о том, кого ты мне заменил...

— Отлично! Я давно хотел тебя об этом спросить! Ну, и кого ты осчастливил до меня?

— ... Осчастливил... Странное существо. Такой худенький, сутулый — точно ему противен был его рост... Исчерна-серые всегда грустные глаза... На коже по всему телу — постоянно прыщи. На копчике пучок тёмных волос... Очень тугое колечко. Я старался не причинять ему боли, но он так всегда стонал... И до встречи со мной он был совершенно девственен...

— Что удивительного — при таком уродстве!

— О нет. Помнишь историю доктора Франкенштейна: он собирал своё создание из красивых черт и членов, но получилось безобразие, а тут всё обстояло иначе: по отдельности его черты — да — привлекательными не назвать, но вместе они составляли прелестный образ...

— И на какой помойке ты откопал это диво?

— Помойка была непозволительной роскошью для сына миллионера. Мы познакомились на каком-то банкете...

— Так он был богат!? Тогда странно... И где он теперь? Почему вы расстались?

— ... Я неосторожно сказал о его матери. У нас была дуэль.

— ... Ты его убил?... Неужели вы не могли помириться? Ты же сам был виноват!.. Ты же любил его!

— ... Все губят тех, кого любят, — англичанин отошёл от окна; занавесь опять скрыла бледное начало ноябрьского дня, — ... Он сам так пожелал... Отдыхай.

— ... А что если я пойду в полицию и расскажу, кто такой полковник граф Франкессини?

— Пойдёшь — в чём? В простыне? босиком?

— Да!!!

— Простудишься.

— ... Ты не боишься смерти?

— Я так часто думаю о ней, вижу, творю её... Нет.

— Не уходи. Расскажи ещё. Ведь у тебя их было много...

Серый Жан отошёл в самый тёмный угол, к обычному предлогу — книжному шкафу, у которого мог полчаса стоять, делая вид, что выбирает, водить пальцами по корешкам, выдвигать и задвигать тома — благовидный повод скрыть лицо.

— Кто тебя интересуется?

— Тот, кто больше всех походил на меня.

— ... Внешне вы почти антиподы. Он был миловиден, но смугл, черноглаз и весь в шерсти. На голове — густейшая грива, брови — как у филина, ресницы — как у жирафа и в три ряда.

— Достойный экземпляр! Что, тоже непорочный?

— О, в свои двадцать с минутами он изумил бы самого отъявленного сладострастника.

Но при своей опытности он не знал пресыщения, любил и страдал, как ребёнок.

— Я до сих пор не услышал о чём-либо роднящим его со мной.

— А. Он тоже был поэтом и писателем.

— И только-то? Ладно, говори дальше, в каких ещё мелочах я схож с твоими знакомцами.

— У одного из них шрам на груди — в точности, как у тебя.

— У кого именно?

— У Вотрена.

— Может это знак, чтоб ты выполнял и мои заказы. Ты нашёл Растиньяка?

— Я ищу его вторую неделю. Странно: его знают все, уверяют, что недавно встречали его, но никто не может сказать, где он обретается. По адресу, который ты мне дал, — пустая, выстывшая квартира.

— Ты заходил внутрь?

— Да, дверь была не заперта.

— И как тебе тамошняя обстановочка?

— То есть, что я могу сказать о её обитателе?... Он видел смерть, очень близко. Часто рисковал жизнью. У него сильные, ловкие руки. Он не боится темноты, не любит гостей, не ведёт никакой переписки, читает случайные книги и газеты — очевидно, без какого-либо интереса... Если бы ты не говорил, что был там с ним, я вообще решил бы, что это фиктивное жилище, причём сделанное с грубой издёвкой над... преследователем,... где возможны даже смертельные ловушки... Ну, допустим, это во мне скребётся карбонарская паранойя... И всё же... ты уверен, что желаешь с ним бороться?

— Тысячу раз да! Я его уничтожу — во что бы то ни стало! Можешь сначала поиграть с ним, но потом — тащи сюда, мне! Покончим с ним — примемся за остальных. Думаю, так мне будет легче. Потом, когда я разберусь со всеми,... если я не буду тебя устраивать в качестве напарника,... пожалуй, пореши меня. Моя жизнь пройдёт не напрасно.

Глава XXI. О событиях морозного утра

— Как тебе удаётся вставать так рано? — спросил с дивана Макс у Эжена, подбрасывающего в камин обломки старых стульев ((в Париже он ни на день не изменил своей детской привычке тащить в дом всё, что можно сжечь. Вечерами навещал свалки, где подбирал всякие щепки, в парках высматривал сухие ветки или шишки, и знал, что он не один так промышляет)).

— Лучше спроси, как мне удаётся так рано сваливаться на пол.

— Огонь очень странно освещает твоё лицо: кажется, будто ты улыбаешься.

— А если так и есть?

— У тебя хорошее настроение?

— Оно и у тебя похорошеет, когда узнаешь, что я уже сгонял за водой... В ней острые льдинки. Мороз. Земля словно железная — так и звенит. А воздух!.. Ноздри сводит, как рот — от крепкого вина. Улицы стали певучими трубами. Я только тихонько свистнул, а зазвучало на полгорода, и так красиво... Как не флейте... или свирели... Я плохо знаю музыку. Меня как-то спросили, люблю ли я итальянскую. Я «да, — говорю, — очень!», а сам думаю: какая разница?...

Максу стало жарко от нежности. Он покинул ложе и подсел к побратиму, не рискуя, однако, к нему прикоснуться.

— Мне странное снилось, — продолжал Эжен, не отрывая глаз от теплинки, — Множество людей... И каждый из них считает себя крошечной частью меня, всю свою кровь — лишь каплей моей. Они готовы сделать всё, что я решу... Они — море любви ко мне... Я был так счастлив,... что мне не грустно даже теперь, когда я знаю,... что все они мертвы...

— Ты недоспал. Ляг. Только гордецы встают прежде солнца... Я сварю кофе.

— Свари, если найдёшь.

Из-под одеяла Эжен спросил:

— Может, нам следует спать по очереди?

Макс, занятый поисками, не ответил. Эжен подумал, что сказал глупость и, как обычно в таких случаях, поспешил с новой фразой:

— Наверное, мне снилось много народу, потому-то у нас теперь много денег... Если только деньги мне тоже не приснились... Ты правда вчера приволок миллион?

— Правда. Спи.

Ни кофе, ни чаю, ни сахару... Часы показали 8.03. Самое время блистательному графу бежать в ближайшую лавку: темно, малоллюдно. Макс надел перчатки ((всякий истинный дворянин знал, что прикосновение к деньгам роняет его достоинство, потому-то и возник такой спрос на перчатки, когда деньги стали повседневной неизбежностью)), выпаковал банковский билет из пачки и вдруг вспомнил, что разжился в Лондоне превосходными сигаретами. Это и обрадовало и озадачило. Когда и где выкурить одну из них? Прямо здесь и сейчас? Нет, для этого отведено особое место — деревянная площадка под самой крышей, возле большого дымохода. Пойти туда и продрогнуть ещё до выхода на улицу? Глупо. Курить по дороге? Пальцы окоченеют. Вернусь и покурю, решил Макс, завязывая шарф. Новый вопрос — какую тару взять для покупок: бумажный пакет, сохранившийся от прошлого раза (экономно); корзинку (вместительно); один из саквояжей (более-менее прилично)?... Вытряхнул сумку и поскорей закрыл за собой дверь. Спеша вниз по лестнице, подумал, что в

такой час продавец не сможет разменять тысячную купюру. Трёхсекундная остановка... Не факт. В крайнем случае можно набрать всего побольше.

Мороз — понятия растяжимое. Эжен наверняка спускался за водой в одной рубашке, вот ему и показалось, что мир оледенел, Макс же, одетому по погоде, было почти совсем не холодно, и он отважился посетить гастрономический бутик в сердце квартала Марэ. Туда он добрался, однако, с уже ярко-малиновыми ушами и усами, исчезнувшим под инеем; выложил на прилавок билет в царство сытости и стал надиктовывать продавцу, малолетний помощник которого проворно совал коробки и банки в рыбью пасть сакvojа. Всё произошло так быстро, что Макс не успел обогреться. Выйдя, он поймал фиакр, где окончательно проморозил ноги.

Небо было ярко-синим, а восточные дома стояли точно в нимбах. День будет солнечным.

«Покурю в прихожей, — подумал Макс, — Тёплые ботинки, редингот with меховым воротом. Two. Эжену гардероб. No more полутора тысяч. Парфюмерия, cut...».

Ступеньки кончились. Макс вошёл в квартиру.

— Здравствуйте! — гаркнул ему от камина Эмиль.

— Ну, как тебе погода? — спросил Эжен, вешающий сушиться полотенце.

— Холодно. Что вы здесь делаете?

— Как же, — ответил Эмиль, — Вы же вчера струбили на утро сбор планов, как потратить миллион. Я готов представить свой проект.

Макс посмотрел на рассыпанные по полу пачки денег, поставил на табурет сумку...

— О! А вы ещё что-то притащили!.. Ух ты! Сколько еды! Жаль, что я уже завтракал.

— Эмиль, — сдержанно произнёс Макс, — никто не помешает вам фантазировать, но вы же понимаете, что деньги мы потратим на наши нужды, а вы уже получили свои десять тысяч...

— Конечно, я всё понимаю и учитываю. Я именно из ваших нужд и исходил.

— Эжен, а ты что скажешь?

— Да пусть предлагает.

— Я спрашиваю, что ты сам хотел бы сделать с деньгами?

— ... Родичам бы отослал...

— Все!?

— Хотя бы сто тысяч.

— А дальше?

— Приоделся бы... Не знаю... Я ещё не думал толком.

— Можно мне сказать? — встретал Эмиль, — Я в редакцию тороплюсь.

— Ну, говорите.

— Вам непременно надо выкупить пансион мадам Воке.

Эжен дрогнул и в волнении шумно плотнул воздух. Макс, уже сидевший на табурете и небрежно, даже неохотно собирающий богатства обратно в сумку, спросил:

— Зачем?

— Это дом. Там можно жить. А, если вспомнить ещё кое-что, то это также определённо святое место, так сказать, мемориал великого отца...

— Макс! Мы сделаем это!

Макс знал, как опасно открывать портсигар при Эмиле, но терпения у него не оставалось.

— Я возьму одну? — скорей предупредил, чем попросил журналист, едва в ползущей из кармана руке графа что-то блеснуло. Макс смирился даже с тем, что и Эжен стянул сигарету, чтоб поджечь её не с того конца и засунуть в рот почти до половины.

— Что ж, я не против, но у кого же мы будем выкупать? Где искать хозяйку? Кто этим займётся?

— Дать в газете объявление — раз плюнуть! «Просим мадам такую-то срочно обратиться туда-то за очень выгодным для неё предложением».

— А я знаю, кому поручить процедуру, — сказал Эжен, — Преподобному Дервилю.

Макс закашлялся. Эмиль сморщился:

— Лоху, что отирается у Гобсека? Тебе, видно, нынче что-то особенно забористое снилось.

— В нём что-то есть. Что-то... наше. Я сегодня же его найду.

— Ладненько... Эх, хорошо у вас, но скоро полночь, а я ещё не был на работе. Бай!

Эмиль умчался. Макс оскалился ему вслед, выпуская сквозь зубы дым. Эжен прощальным взмахнул рукой.

— Кладезь! — словно выплюнул Макс.

— Я возьму твои плащ и шляпу? — спросил Эжен от вешалки.

— Сейчас? А завтракать?... Куда ты??

— Лучше не спрашивай.

Проводив побратима, Макс с ненавистью посмотрел на кофемолку и подумал: «Теа».

Глава XXII. В которой Эжен посещает Гобсека и нанимает компаньона

Выход на студёную улицу в толстосуконной размахайке поверх не самой свежей сорочки, в разных перчатках, в ботинках на босу ногу не причинял Эжену ни физических, ни нравственных страданий. От холода его спасало знание, что под полой болтаются три тысячи, а стеснение перед встречными он оставил в своём первом парижском году. Мудрый теперь, он так рассуждал: «Вот чешет навстречу тип. Что он подумает обо мне? О, — подумает, — ещё один охламон, пытающийся выглядеть лучше картинки из модного журнала, где у людей ступни короче носов, а руки изгибаются наподобие кувшиночных стеблей? Вот, — подумает, — паразит, обчистил семейную кубышку, чтоб вырядиться попугаем? Нет! Эх, — подумает, — горемыка! Ходит полуодетый. Да ещё улыбается. Ну, и молодец!». К каждому прохожему, задерживающему на нём взгляд, Эжен весело обращался с просьбой указать дорогу на улицу де-Гре. Если человек выглядел не слишком ошарашенным, ему поясняли: «туда, где зсаедает господин Гобсек».

Гобсек в то утро принимал у себя обычного посетителя — очень молодого и бедного самолюбца, пришедшего в день погашения векселя (было как раз первое декабря) просить о продлении срока. Юноша был, разумеется, в отчаянии; ростовщик, само собой, лютовал. Вдруг старый чёрт вскинул глаза вверх белокурой головы клиента, а тот почувствовал, будто ветер подул от двери, а затем что-то тихонько ткнулось в его затылок. Он быстро обернулся и увидел на полу бумажного соколика, сделанного из тысячной купюры. Пламенно возблагодарив Небеса, должник молниеносно прикарманил птицу.

— Что это там? — спросил Гобсек.

— Ничего. Вот вам ваши двести сорок, — юноша презрительно швырнул на стол по грошу собранные вчера деньги и направился к выходу, но у самой двери путь ему загородил высокий бледный брюнет в длинном чёрном плаще. Его синие глаза горели необычайным огнём. «Ждите в кафе по соседству,» — быстро и тихо сказал он, а сам напрямик пошагал к Гобсеку, незаметно облетая хватким взором всю обстановку. Что-то привлекло его справа. Он сел перед ростовщиком, поздоровался, назвался.

— Так, — сказал Гобсек, — Чем могу быть полезным?

Чтоб отвлечь внимание старика от своего лица, Эжен распахнул плащ, потом облокотился на стол, уронив голову на руки — так удобнее было обозреть зацепивший его шкаф, заставленный канцелярскими книгами и папками.

— Не думайте, — начал, всхлипывая, — что мне нужны деньги... Но я слышал, ... что у вас... есть... пистолеты. И я пришёл просить вас... застрелить меня.

((Вот так он развлекался. Адекватность была ниже его достоинства. Во всём мире не нашлось бы человека непредсказуемей. Эжен почти никогда не знал, к чему приведёт его очередная реприза, но смело дрейфовал по потоку событий, рождённому его лицедейной причудой, и мало-помалу выплывал в океан больших, серьёзных дел и событий)).

— В Париже имеются люди, предоставляющие такую услугу, но я не из их числа.

(«Как интересно! И почему я всё-таки не устроился в уголовный розыск?»)

— Воображаю, какая у них такса!

— Что верно, то верно. Лёгкая, красивая и даже безупречная в глазах церкви смерть, как и всё стоящее — привилегия богатых, но неужели же вы, заведись у вас деньги, отдадите их

киллеру? Вряд ли, дружок. У всех случаются неудачные дни, но в вас — поверьте мне — большой потенциал. Ваше имя мне почти ни о чём не говорит — уже хорошо! Я дам вам пятьсот франков, вы приоденетесь, познакомитесь с какой-нибудь маркизой (или вернётесь к той, с которой уже знакомы), очаруете, а к новому году без хлопот вернёте мне тысячу, да ещё спасибо скажете.

— Мне хватит трёхсот. («Меж долговязых папок затесалась маленькая книжка — что это?») —

— Не жадничайте. За квартиру заплатите, пообедайте по-людски...

— Не ожидал найти в вас... такое... сочувствие...

— Оставьте эти понятия для девичьего пансиона. И без них ваша жизнь мне нужней, чем вашему отцу.

Эжен не вспылал, но в его сознании поднялся смерч: «Отец! В отцы мне метишь!? Папашески добрячишь! Дьявол! — Карикатура на Бога. Триединство. Как у Данте — трёхрогое чудовище, терзающее каждой пастью человека — Живоглот! Ты, рухлядь, — дьявол-отец. (Чёрно-серое). Кто сын? Макс с его неврозамми? Дервиль: возвращает незаслуженные богатства, чтоб потом эти реришсы Гранлье, Эглемоны (Пурпур, червонец) плевали нам на головы?!.. А деньги (Жёлтое) — вот дьявол-дух. Бумажная птица... Нс книга...».

— Ну-ну, не надо так смотреть, — Гобсек даже встал и отупил к секретеру в левый угол, — Именно о вас я ничего не утверждаю, только обрисовываю типичную ситуацию.

Вернулся с бланком на заём, стал заполнять.

— Я всё-таки дам вам пятьсот. Девятьсот принесёте, идёт?

Эжен вскочил и заметался, как летучая мышь, цепляясь то за один, то за другой угол.

— Девятьсот! Это же неподъёмная для меня сумма! Я не хочу торговать собой, обирать женщин! Я найду работу!

— Какое у вас образование?

— Юридическое.

— Отпустите мой шкаф и идите сюда. Вот (- положил на эженов край визитную карточку — ну, конечно же, нотариальная контора Дервиля! —) обратитесь по этому адресу. Может быть, найдётся место для вас. Устроитесь — вернёте тысячу, нет — ... восемьсот.

— Спасибо, мсье, — прощмыгал носом Эжен, подписал вексель, взял корешок и деньги и вышел на улицу.

В подъезде соседнего дома вытащил из-за пазухи похищенную книжку — то была английская поэма «Корсар», изданная в семнадцатом году. На обороте титульного листа Эжен прочёл аккуратную надпись: «Господину Гобсеку, грозе моря житейского — с вечным изумлением — Франсуа Дервиль».

Направился в сторону нотариальной конторы, но на перекрёстке вспомнил про парня, которого анонимно выручил и отправил ждать в кафе; вернулся. Тот уже вытирал хлебным мякишем тарелку, где лежал покорёженный скелет рябчика. Эжен почувствовал тошноту от зрелища, но подсел, улыбнулся:

— Ну, птица погибла не зря.

Юноша бросил вилку и салфетку, подался вперёд и зашептал:

— Это вы создали из банкноты голубя и послали мне? Вы меня знаете? Зачем вы помогли мне? Кто вы?

— Я Эжен де Растиньяк. А вы?

— Моё имя — Рафаэль де Валентен...

— Отлично. Любопытствуете, зачем я подкинул вам денег? Видите ли, у меня есть квартира на улице д'Артуа, довольно приличная, но сейчас я завис на Мученической, а жильё пустует и превращается в ледяную пещеру. Было бы здорово, если бы вы на время поселились там и поддерживали тепло. Прямо надо мной гнездится такой Эмиль Блонде. Он вам расскажет, где брать уголь, составит компанию при случае. Согласны?

Рафаэль не мог поверить в это счастье. Он витиевато восхвалил посланца Провидения, ангела Фортуны, под конец приплёл нечто про тысяча и одну ночь. Эжен ответил:

— Вам вовсе не придётся кочегарить у меня без малого три года. Месяц, может, два...

Оставив Рафаэля наедине десертом, он направился в контору Дервиля, с которым намеренно не увиделся, лишь послал ему через мелкого клерка листок со своим именем и адресом Макса и убежал.

Глава XXIII. В которой Люсьен подвергается эксперименту

Принесли завтрак.

— Эй, любезный, — сказал Люсьен ещё слуге, — Не смей раззавешивать окна и принеси мне тёплую одежду, чтоб я мог выйти на улицу.

Его желание было исполнено, но по-издевательски: в качестве обуви представили лапландские сапожки из оленьей шкуры с длинными высоко загнутыми носами; штаны, байковые, на тёплой подкладке, видимо содрали с какого-нибудь революционера: они были исполосованы вдоль республиканским триколором; к атласному кроваво-красному халату добавили белую, украшенную шоколадным шнуром, меховую внутри жилетку, какую надевает, верно, молдавский пастух на зимний праздник.

— А где цилиндр и трость!? — трясясь от злости, закричал Люсьен.

Тупо услужливый камердинер принёс и это. Шляпа оказалась зелёной, палка — метровой, тяжёлой, толстой.

— Пошёл вон! — прогнал прислугу Люсьен, а барахло оставил себе.

Походив возмущённый вокруг несовместимых одежд, он вдруг рассмеялся и стал напяливать весь этот цирк на себя и вскоре, наряженный, как пугало на свадьбу, вышел из своих апартаментов. Он не намерен был, конечно, идти в полицию с доносом. Просто отправился гулять по дому. Это был очень старинный особняк, настоящий замок с башенками, с открытыми галереями. Этажей — не менее пяти. Но всё в давнем запустении. Когда-то тут явно случился пожар. Выхода не найти, разве что во внутренний пятиугольный двор, посреди которого зияет заброшенный фонтан; на нём, по стенам и столбам, подпирающим галереи, — увядший, почерневший плющ. Люсьен спустился по общерблённым ступеньками на скользкие камни, оглянулся, поднял голову. На фронтоне крыльца когда-то была надпись, от которой уцелело несколько букв:

В Е Л А Н А А

Пленник вернулся под крышу, двинулся дальше. Разглядывал то полустёртые, то полуобгоревшие, то полуосыпавшиеся фрески, изображавшие какие-то галантно-легкомысленные сценки, а стрельчатые рамы, ниши, арки нагоняли ещё большее уныние, чем закопчённые ножки смешливых пастушек на стенах...

— Кто это здесь ходит? — услышал Люсьен за своей спиной заигрывающий оклик. То заговорил ним старик, наведший на метафору зерна.

— Человек, а из людей — самая последний урод, содержанец извращенца и убийцы, желающий зла всему ему известному...

— Пойдём со мной. Я покажу тебе что-то интересное.

Старик привёл Люсьена в башню, где располагалась алхимическая лаборатория, где в полумраке поблёскивали колбы, бутылки и пробирки, трубки, золотые, медные сосуды, кованые сундучки, и пахло не то ванилью, смешанной с полыньёю, не то плесенью с амброй, не то мышами и розами... На столе лежали древние огромные пыльные книги и стоял пустой стеклянный куб. Сверху к нему крепился баллончик с вентилем.

— В этом прозрачном ящике нет воздуха. Смотри, что будет.

И ветхий мудрец немного повернул колёсику у куба. Капля жидкого нефрита упала в вакуум и повисла в нём мягкой горошиной.

— Это — летейская вода, благостный эликсир. За переделом жизни он течёт мутной и тёплой рекой. Его чудодейственная власть над одушевлённой материей неизмерима. Вдохнёшь его пар — и забудешь, какие запахи чувствовал до этого; капнешь в глаза — и увидишь мир как впервые; возьмёшь в рот — все рецепторы на языке умрут и вновь родятся. Проглотишь — придётся заново учиться говорить... Но если какие-то капли попадут в пищевод и дальше, — он, такой вкрадчивый, всосётся в стенки сосудов, из них — в кровь. И в сердце — оно тогда забудет биться. И в мозг — он замрёт. Но ты не погибнешь. Ты превратишься в новое существо. Какое, знает только Бог, но одно можно утверждать: из твоего естества исчезнут следы влияния внешнего и прошлого. Сознание, правда, может сохранить какие-то фрагментарные воспоминания, ведь большинство из живущих уже многократно подвергалось её воздействию, а когда снадобье принимаешь часто, его действие ослабевает... Летейскую субстанцию неверно называть *водой*. Воды в буквальном смысле там нет ни молекулы. Это вещество состоит из микроорганизмов, обладающих колоссальной деконструктивной возможностью, волею и страстью. Для тела, которым они завладевают, время поворачивается вспять. Возможно, они разумны...

Во время своего монолога старик извлекал из куба затвердевшую, подобно древесной смоле, каплю, клал её в хрустальную колбочку, выкачивал опять из резервуара воздух и отворял путь следующей будущей пилюле. Получившиеся различались по размеру. Крупнейшая была с грецкий орех, мельчайшая — с вишнёвую косточку.

— Красивые, — сказал про них Люсьен.

— Ты не хотел бы довериться им и очиститься от зла забвением?

— А что я должен забыть? Как женщина, которой я посвятил свой талант, прогнала меня с глаз долой? Как мой так называемый друг наплевал мне в лицо, а потом стрелял мне в сердце? Как мне пришлось сочинять весёлые куплеты, чтоб оплатить похороны моей возлюбленной!? Забыть сволочей, заставивших меня всё это пережить!? Никогда!

Старик улыбкой раздвинул свисающие до груди седые редкие усы.

— А хочешь забыть свою самую первую боль?

— ... Что мне это даст?

— Смелость. Твои главные страхи умрут.

— Хочу.

— Вот там, в углу, диванчик. Ляг на него, расстегнись и выправь сорочку, подними её, чтоб я мог видеть твой живот.

К лежащему Люсьену водонос потусторонних рек подошёл с чашкой зёрен и посадил самое крошечное в пупок, вдавил холодным пальцем.

— В тепле она растопится. Расслабься и не шевелись.

— ... Щекотно... Чешется... Горячо!..

— Потерпи.

— ... Спать хочется... Голова...

— Усни. Не противься им...

Дела Серого Жана закончились к шести часам вечера. Слуга бережно принял на руки его тёплый плащ, взял его трость и шляпу.

— Что нового? — спросил англичанин, — Как мой маленький гость?

— Отправился с утра гулять, повстречался с господином алхимиком...

— Что дальше?

— Они пошли в башню и не покидали её до сих пор.

В башне было тихо; колдун пересчитывал зелёные жемчужины. Увидев Серого Жана, он промолвил:

— Поздравьте меня, мой друг: мне снова удалось похитить у Ада часть его сокровища, и на сей раз — очень много.

— Поздравляю. Что вы собираетесь с ним делать?

— Только добро. Ведь забвение — это счастье. Кое-кто уже испробовал это снадобье.

В глазах иноземца померкли искры разума, лишь только они увидели лежащего под чёрным покрывалом побледневшего, как будто безжизненного Люсьена.

— Как вы посмели?! — прошептал англичанин, — Огонь не отучил вас хапать чужое?!!

— О, успокойтесь! Клянусь Преисподней, с вашим любимцем не случилось беды!..

— Что вы с ним сделали?

— Нечто очень безобидное. Даже полезное.

Серый Жан сел возле Люсьена, ощупал его шею и запястье. Тихо тикающие вены, тёплая кожа... Старик продолжал:

— Я много экспериментировал... В основном на детях, иногда на женщинах. Иные возвращались для повторных опытов, особенно за возвращением им девственности. Одна торговка рыбой приходила четыре раза.

— Торговка рыбой... Какое дурачье населяет мир!..

— Раскутайте его — и удивитесь.

С живота Люсьена исчез пупок. Как будто и не было... Колдун в довольстве потёр руки.

— Лучше бы стёрли этот его шрам, — сказал англичанин.

— Извольте.

Старик приготовил пластырь с золотым напылением на лицевой стороне, бросил в лунку, оставленную пулей, горошинку, заклеил, надавил. Люсьен застонал сначала тихо, потом громче, заворочался.

— Держите ему руки, — скомандовал чародей.

Крест пластыря почернел, словно обуглился, из-под него по белой коже потекли тонкие чёрные струи, впитываясь в неё без следа. Люсьен очнулся и огляделся испуганно и недоуменно, рванул свои руки из жановых.

— Как ты, Крысёнок? Тебе не больно?

Люсьен открывал рот, будто бы желая что-то ответить, но не зная, что и смотрел тревожно, жалобно и злобно.

Отлепили излохмаченный, полусгоревший пластырь и нашли тот же шрам не только незалеченным, но и освежённым.

— Что-то не так?

— Да, — вздохнул старик, — Рано или поздно с этим пришлось бы столкнуться. Этот дух способен сопротивляться Лете.

Глава XXIV. В которой Макс впервые гневается на побратима

— Наконец-то! Завтракать ты не стал, но уж пообедаешь непременно!

Макс снял с Эжена свой плащ, а самого побратима вверил Полине, которая настойчиво потянула постника к столу, снова заставленному тарелками с едой ((Макс заказал еду в ближайшем ресторане — через Полину, имевшую тёплое пальтишко)). Эжен выбрал какой-то ломтик сыра, зелёную горошину, отщипнул хлеба и спешно залил всё это вином из бутылки: его снова подташнивало.

— Что это? — спросил Макс, доставший из кармана плаща книжку с торчащими купюрами и вексельным корешком, — Силы навьи! Что это!? Ты был у Гобсека и взял у него в долг!?!?

— А что не так?...

— Эжен! — Макс схватил его за плечо и рывком поднял со стула, — Вчера я дал тебе полмиллиона. Ты сказал: «мало», и я предоставил, как ты выразился, *целый* — затем, чтоб сегодня ты пошёл к ростовщику и занял ещё пятьсот франков!!!?

Эжен взглядом смёл с себя его руку.

— Я сделал это, чтоб не внушить подозрений.

— В чём?

— Во-первых, я незаметно конфисковал у него эту книгу.

— Так это его?... — Макс раскрыл, и его глаза округлели.

— Удивлён?

— Но зачем?

— Встряхнуть его. Посмотреть, только ли деньги ему дороги. Идти с этим делом в полицию он вряд ли захочет. Остаётся Дервиль, которому я как раз оставил наш адрес. Так мы заполучим Дервиля, но он нам нужен непременно в связке с Гобсеком...

— Почему?

— Вернуть бриллианты де Ресто... и вообще — свой человек во вражьем лагере.

— Ты решил объявить войну ростовщикам?

— Genau! ((Точно! (нем.))

— Но как?

— В Париже — тьма тьмущая людей, которые таскаются к этим кровососам за парой сотен с полуторной комиссией, а у нас, Макс! — есть миллион! Мы откроем кассу беспроцентных ссуд и прижмём к ногтю всех живоглотов!

Макс всмотрелся в его лицо, словно не узнавая, и долго собирался с ответными словами:

— ... Да будь у тебя миллиард — ты на этом безумии за год бы его распылил!

— Во-первых, я не собираюсь отстёгивать всем подряд. Во-вторых, на первый раз — никому не больше сотни. Но если через месяц человек принесёт долг — сможет взять ещё сто; принесёт двести — сможет взять триста и так далее.

— Ну, а по какому принципу ты будешь выбирать кредиторов?

— Мы вместе будем это решать.

В голосе Эжен было притягательное тепло: ты мне очень нужен, ты ведь не откажешь. И идея уже не казалась насквозь бредовой... Если бы только одна была единственной.

— Первая хорошая новость... А теперь попробуй собрать воедино все набросанные тобой планы: послать родителям, присвоить пансион Воке, выкупить бриллианты де Ресто, открыть эту разволшебную кассу — и спросить себя, а на что ты будешь жить?

— Да Господи! Зачем мне!.. Жил же я без этого миллиона... и дальше буду... Ладно, пожалуй, самое время узнать, а сам-то ты на что хотел потратить деньги.

— Я хотел бы обзавестись надёжной рентой (например, акциями промышленных компаний) и купить дом, где мог бы жить с семьёй, — Макс посмотрел на сидящую на скамейке у камина Полину, и кивнул ей, а она заулыбалась, тихо уточнила:

— С мамой?

— Да.

— Когда ты её освободишь?

— В тот день, когда Эжен оденется по-человечески и отправится в свет на свидание к своей суженной, которую когда-то обещал любить, а теперь покинул.

— Это уже терроризм! — зло и глухо прикрикнул Эжен, отворачиваясь к окну.

— Если мы братья, то не годится одному быть лучше другого. Мы оба будем либо верными, либо предателями.

— Эжен, почему ты не хочешь больше встречаться с твоей невестой? — спросила Полина, — Она тебя чем-то обидела?

Сине-тенистая стена напротив сквозь жёлтое стекло казалась грязно-зелёной, сквозь красное — кровоподтёчной, а голубые были выше. Эжен взглянул на береникину занавеску в розовых гвоздичках и вообразил Дельфину. Она очень красива — пышная и стройная одновременно, волосы Изольды, вечная улыбка на мягких губах, добрый взгляд серых глаз... Но почему она не надела траура? На ней перебивали все цвета, какие есть, кроме самого прекрасного и честного — чёрного! Хоть бы что-нибудь: поясок, воротник, ленту,... сорочку, в чёрной сорочке... приняла бы... тогда конечно, но ведь нет...

— Мне не нравится, как она одевается — как кукла!

— А если у неё появится другое платье, ты к ней вернёшься?

— К ней — может быть, но в свет... Макс, мы об этом уже говорили!

— Мы только начали, — Макс стал одеваться для улицы, — Я отлучусь на час, а потом мы с тобой прогуляемся в одно злачное место.

Глава XXV. Анна попадает в Царство Правды

— Не верю, — повторила Анна, — ... Докажите — покажите, кто вы: чудотворец, которым вас все считают, или просто болтун! Сделайте что-нибудь! Возвратите мне любовь хоть на полчаса, и — клянусь жизнью родителей — вернувшись домой, я возненавижу вас сильнее прежнего!

— Мои возможности здесь, в вашем мире, невелики, но я могу указать вам дорогу и дать проводника, — ответил её грёзный супруг. Он по-прежнему сидел ((он ни секунды лишней не проводил на ногах)) на кровати. В его руках оказался крест, составленный из двух заострённых металлических прутьев. Достойный автор «Манфреда» повесил распятие прямо на воздух перед собой, уткнулся в поперечные концы ладонями, зажмурился от предвкушённой боли, что-то прошептал и ринул их навстречу друг другу, сжал пальцы в замок. Из двуединого и двупронзённого кулака потекла кровь, но капли не падали на пол, а рассеивались багровым дымом, густеющим, вытягивающимся в столб, светлеющим и превращающимся в белого ребёнка, держащего обеими руками вертикальный луч креста.

— Что тебе, братец? — спросил нежный дух.

Заклинатель отвечал, кивая на неблагосклонную леди:

— Вот моя жена. С ней случилось несчастье... Анна, скажите, что с вами.

— Я... потеряла моё сердце — я не могу больше любить и верить в добро, я... забыла Бога!

— Жаль, что ты жива, — вздохнуло дитя, — Тебе не надо больше жить. Пойдём со мной.

— Но я не хочу умирать! У меня остались дочка, мама, папа. Я должна вернуться к ним! Маленький посланец смерти задержал на Анне большие смыслённые глаза без зрачков:

— Ты не сможешь, если не простишь. Ты не простишь, если останешься здесь. Пойдём со мной. Только Там избываются все гнев и обиды.

— Джордж, неужели только это?! — прокричала Анна, — Я обречена!?!...

— Не бойтесь. Ваше тело спит, а духу нигде нет препятствий. Идите туда — в Царство Правды, попросите у единственной истинной Матери помощи и напутствия. Я дождусь.

Он подкрепил обещание взглядом, перевёл глаза на ребёнка и исчез. Остались только эта бледная безжизненная девочка с окровавленным крестом, да перепуганная женщина...

— Кто ты? — рваный шёпот.

— Я сестра моего брата.

Что-то безначально древнее и жуткое было в этих словах. Анна почувствовала себя беззащитной, заискала платье, но оно попало.

— Что же, ты уведёшь меня — мой дух — в мир мёртвых?... В Рай?... Или...

Девочка положила крест на подушку.

В голове у Анны крутился пресловутый псалом про *когда пойду долиной смертной тени...*

— Тебе же сказано: не бойся. Ты готова?

— ... Да.

Они спустились по лестнице, вышли на обычную пустынную ночную улицу. Но стоило Анне ступить за край тротуара, как земля закрепились; на глазах вертикаль и горизонталь поменялись местами. Девочка-проводящая уже бесмятенно парила в воздухе, а её

несчастливая невестка сначала откатилась снова к дому, потом сошедшая с ума гравитация поволокла её под откос, к крыше. Ухватившись за карниз, Анна повисла над пустым небом. Земля всей громадой отталкивала её прочь. Луна, какая-то странная, раза в три крупнейшей реальной и контрастно пятнистая, маячила среди серых клочковатых облаков.

— Нам — туда, — сказала, подлетая, белая тень, — Прыгай.

— НЕЕЕТ!!!!!! — Анна сдавила веки и поклялась себе, что ни за что не отпустит края но руки всё слабели, невыносимо болели от натуги и в конце концов разжались сами собой.

Кричать можно на всю вселенную, но лишь покуда хватит первого выдоха. На втором Анна уже привыкла к падению. Её то кувырало, то несло стрелой, головой вниз. Ветер холодил и обжигал одновременно. В облаках полёт слегка замедлился и ужас пошёл. Дальше движение становилось всё более и более плавным. Анне даже захотелось грести руками, словно выныривая с глубины. Где верх, где низ, она уже не понимала. Девочка-призрак приблизилась снова, взяла спутницу за руку и молча повлекла к другой планете.

Чёрный воздух не был пуст. Странные создания или предметы, тускло светящиеся, похожие на кометы или на крылатых насекомых, мелькали в нём; полосы радужного тумана вились на пути.

По мере приближения новой земли скорость снова возросла. Анна ощутила мучительное головокружение. Она снова падала. Внизу был день; сквозь тучи проглядывали скалы и холмы, леса, тёмные провалы озёр или вулканных кратеров, жилы рек или дорог.

Уши заложило от воя рассекаемого воздуха. Анна снова вскрикнула и зажмурилась, видя совсем близко каменную площадь, но столкновение оказалось не болезненней падения с высоты собственного роста. Женщина поднялась на ноги, осмотрела себя и нашла, что одежда на неё почернела и сделалась прозрачно-струйной, как пролитая в воду тушь.

— С прибытием, — сказала из-за спины сестра своего брата.

Они стояли под шафранным низким небом на террасе с балюстрадой, будто бы не рукотворной, а выветренные веками из горной породы. Можно было дотронуться до крон деревьев, сквозь смоляную листву которых ярко светились плоды. Толпились люди с корзинами. Набрав яблок, апельсинов или других фруктов, они сходили куда-то по лестнице, непринуждённые, умиротворённые, молодые — лишь чуточку спешащие. Были там и дети.

Среди людей бродили странные существа человеческой стати, но одетые не в мантии и туники из густого дыма, оседающего сажей на коже, а шерстью, имеющие необычные уши, хвосты и другие звериные признаки. К Анне и её спутнице быстро приблизилось чудо с высокой грудью, облепленной тёмно-палевыми перьями; руками, с которых перья свисали широкими плоскими рукавами; из-под короткой перьевой же юбочки тянулись красные страусиные ноги; на длинной шее сидела вертящая маленькая голова в павлиньем уборе.

— Я тебя ищу, — сообщило оно девочке.

— Я ходила встретить мою сестру. Она держит путь к Матери-Богородице.

У последнего спуска подскажут, куда идти дальше? — сказала полуптица и отошла.

— Кто это был? — спросила Анна, шагая вниз.

— Куратор.

— ... Как мне тебя звать? У тебя ведь есть имя.

— Ты его знаешь.

— ... Огаста?... Но как же!?!...

— Все живые лгут, — изрекла маленькая покойница, спускаясь чуть впереди.

На нижней широкой площадке стояли бесконечные ряды столов, у которых люди

занимались разными работами: одни крутили каменные жернова, другие мыли, чистили и резали овощи, кололи орехи. Им приносили заготовки и забирали у них готовое. Парапетом была одна сплошная плита, уставленная тысячами дымящихся котлов.

— Какая-то гигантская кухня, — отметила Анна, — У тебя здесь тоже есть обязанности?

— Обязанностей здесь нет. Мы делаем, что хотим.

— И вон та женщина, которая скоблит ногтями морковь? У неё на волосах висят железные гири! Она сама себе их прицепила?

— Да.

— От них вся её голова кровоточит!..

— Как-то при жизни она бранила свою дочь, а когда та обняла её и умоляла о прощении, — схватила девочку за косы и оторвала от себя.

— Вот гадина!

— Молчи. Ты тоже мать.

Странницы шли вправо до новой лестницы, ведущей в ущелье, где по обе стороны тропы зевали тускло рдеющие углями пещерки-жаровни. Иные были закрыты чёрными щитами. Возле каждой из стены выступала толща в виде барабана, служащего столом. На одних лежали готовые хлебцы, хлеба и пироги, на других — слепленные, но не испечённые, подле на глиняных блюдах и лотках высились горы будущей начинки: изюм, грибы, ягоды и всё, что угодно.

Здесь заправляли всего несколько женщин в светлой одежде. Одна принимала у лестницы снедь, раздавала пироги и караваи с тихими наказаниями людям, уходящим вдаль; другая месила тесто, лепила, начиняла хлеба; третья длинными голыми руками отправляла их в печи и вынимала из печей, четвёртая просто сидела и наблюдала за всем. К ней и обратилась Огаста:

— Мэри, это моя сестра.

Лазутчица присогнулась в неловком реверансе.

— Меня зовут Анна.

— Отчего ты умерла?

— От родов, — ответила Анна без раздумий и прибавила, — Мне нужно предстать пред Богоматерью. Мне так сказали...

— Тебе придётся пересечь море. Бери хлеба, сколько не тяжело, и ступай в сады. Пройдёшь их — попадёшь на берег, на причал; найдёшь себе лодку...

— Но я не умею управлять лодками.

— Там есть лодочники. Тебя отвезут.

Анне не нравилась отстранённость здешних хозяек и суэта работников; она постоянно возвращалась к вопросу: ад это или рай? Для ада слишком безобидно, для рая — хлопотно, и для того и для другого — как-то через чур просто. «Сколько не тяжело... Хм!..». Она взяла крошечную пухлую булку. Огаста же поставила одну на другую две коврижки и, прижимая их к груди, кивком зовя Анну за собой.

Последняя лестница, словно случайно возникшая на склоне скалы, была шире лондонской Темзы. Опять люди, идущие с ношами — вниз, а без них — вверх. У первых одежда светлеет, у вторых — темнеет.

— Здесь как-то всё странно, слишком обыденно, — жаловалась Анна.

— Я тебя не понимаю.

— В чём суть всего происходящего здесь?

— Те, что наверху, — больные. Они делают то, что облегчает их страдания. Помнишь женщину с железными шарами на волосах? Если ей их не вплетать, то волосы начнут расти внутрь головы, пронизут мозг, глаза, вылезут в рот, в нос и в уши, так что она ослепнет, оглохнет и наверняка сойдёт с ума, — вздохнула, — У каждого свой недуг.

— А у тебя?

— У меня их нет, но я не могу вернуться в жизнь, пока жив брат.

— Ты... — его ангел-хранитель? — усмехнулась Анна.

— Я человек, а не ангел, — сердито осекла Огаста, — Брат меня любит, а если я оживу, то забуду его; он меня потеряет.

— И ты просто слоняешься тут, ожидая его смертного часа?

— Да.

— ... Ты здесь с кем-нибудь дружишь? Или у вас не бывает чувств?

— Я подружусь с твоей мамой.

Анна вновь почувствовала холод в лопатках. «Вот, — подумала, — действительно листья одной ветки. Что тот, что эта — грубияны и страхотворы!».

— ... Из твоих слов следует, что это — здесь — для вас — не навсегда? Отсюда души снова могут вернуться на землю?

— Да, когда излечатся.

— Так что же тут такое — Чистилище?

— Тут — Царство Правды.

— А... Рай?...

— Царство Правды едино, и в нём есть всё, что может быть; всё, что нам нужно.

Лестница сводила в туманно-зелёное марево. Анна ожидала увидеть что-то вроде сквера у набережной, но никакого моря не было даже на горизонте, только эта непомерно заросшая волнисто холмистая долина дремала внизу.

— Это и есть сады?

— Да. Это Иден.

— Мы тут не заблудимся?

— Тут такого не случается. Все приходят куда им надо, и встречаются с кем положено.

— О, поистине совершенный мир...

Глава XXVI. В которой Эжен готовит ловушку, а Макс объясняет природу света

Жорж алчно рассматривал гравюры в старинной книге об оружии, прислонившись к печи.

— Привет, — окликнул его Эжен, — Макс ушёл, а я придумал одну штуку. Пойдёмте-ка. Под сенью книжных полок он усадил брата и сестру на жерди своих предколений:

— Не знаю, куда он меня потащит, но вечером нас с Максом дома не будет. Наверняка он скажет вам никому не открывать, но вы не слушайте, потому что должен прийти один важный гость.

— Эмиль? — спросила Полина.

— Нет. Старичок один. Его зовут Гобсек.

— А что в нём особенного? — подал голос Жорж, обстригающий маникюрными ножницами писчее перо в напрасной надежде на гневный запрет.

— Он прикарманил бриллианты вашей мамы — вот что. Но он не вор, он просто купил их у неё по непростительно низкой цене, когда она была рада лишней сотне франков. Итак, вы пустите Гобсека, покажете, что знаете его, назовётся себя детьми графини де Ресто и — что главное — попросите вернуть бриллианты. Он, конечно, потребует денег. На этот случай я положу в «Левиафана» пятьсот франков — вот они. Они мои, но, когда Полина достанет их и протянет Гобсеку, ты, Жорж, сделаешь то, у тебя очень хорошо получается: закричишь, что это ваши последние гроши, что папа вас убьёт, на что ты, Полина, ответишь, что честь дороже жизни.

— Это мужчинская фраза, — запротивилась девочка.

— Я сам это скажу, — решил её брат, — Как будто соглашусь.

— Годится. Гобсек скорее всего откажется, назовёт глупостью, но вы только не давайте ему уйти, задавайте вопросы: есть ли у него семья, дети, где он жил, когда был маленьким и молодым, было ли влюблён, что ест всего охотнее, не озябли ли его ноги и тому подобное. Возможно, он вас спросит обо мне, но вы — меня совсем не знаете и имя моё слышите впервые, ясно? Я здесь никогда не жил... Вернётся Макс — ... скажите ему, что Гобсек назвался вашим дедушкой, и вы ему открыли.

— Сколько сразу лжи! — тихо возмутила Полина.

— В мелочах — да, но ведь ваши фамильные бриллианты действительно у него и получить их обратно — совсем не лишне.

Сумки с богатствами были затолканы далеко под диван, дорогие предметы Эжен унёс в спальню. Хотел и занавески снять, но как бы он объяснил это Максусу?...

Макс явился затемно, благоухающий, в серебристом цилиндре и песцовой пышноворотой шубе, облицованной тёмно-серым бархатом. Он бросил на диван два больших узла и коробку. «Разворачивай и мерь», — велел Эжену.

Тот равнодушно распаковал и лениво напялил на себя тёплый редингот с норковым воротником, сунул ноги в уютные, как муфта, сапожки.

— Очаровательно! — оценила эти виды Полина.

— Шляпу тебе куплю, когда ты наконец по-настоящему вымоешь голову, — заявил Макс свысока, — Надевай перчатки и ступай за мной. Полина, никому до нас не отворяйте дверь.

Эжен оглянулся у выхода — подмигнул...

В подъезде, у крыльца ждал фиакр. Сели, тронулись.

— Тебе обидно то, как я себя веду? — спросил Макс.

— Сначала — да, но ведь оно увязано с твоим неврозом: тебе кажется, что, командуя, ты в безопасности, верно?

— Нда...

— ... Другое дело, что твой страх мне, конечно, не льстит.

— Напрасно.

Эжен качнул головой, по привычке шевеля пальцами ног.

— Продолжим о свете?

— На месте.

Высадились перед дверями парфюмерной лавки. Эжен почувствовал оболочкой глаз крепкий искусственный запах, переступая порог очень красивого, разноцветного павильона. Дверь задела сладкозвучный бубенец.

— Вот, здесь всё начинается, — промолвил Макс, — Заметь: не в ювелирном магазине, не в портновской мастерской... Тебе внушали, что суть света в богатстве? Почему же тогда все его представители изнывают от долгов? Может, слава и власть? Полно. Разве не обязаны мы, сильные, склоняться перед слабыми, поскольку это и есть правило хорошего тона?... Свет угоден Богу только потому, что суть его одна — любовь. Бог хочет, чтобы каждый был любим. Для этого и существует красота, но её мало. Мы должны быть услугой друг другу без шелков (они лишь картина, зовущая издали вдаль), без самоцветов (они — путеводные звёзды, огни маяков, но не более). Первый наш долг — наше тело. Исправить изъяны природы — наш подвиг. Смотри, из чего создаётся рай: мыло, мыло с ароматами цветущего яблока, зелёного чая, жасмина, японской айвы, дыни, ландыша, кофе, ванили, лаванды, смородины, мяты, цитруса, гвоздики, лесной земляники, мирра, мёда, озёрных кувшинок, нарциссов, банана, кокоса, пачули, миндаля, муската, сирени... Впитать в себя всю прелесть жизни, чтоб вручить себя другому человеку, как цветок или плод Эдема, дать счастье ближнему и стать счастливым — вот добродетель и служение Небу.

Макс говорил негромко, но трое продавцов и четверо клиентов позабыли обо всём. Они не дыша внимали проповеди денди, борясь с желанием забить в ладоши.

— Одного стоит стыдиться — малолюбия. Не дав на дню блаженства женщине, проси прощения у Бога! Если в тебе нет любви — сделай всё, чтоб все были уверены в обратном. Это единственная ложь, которая благословенней правды.

Эжен склонил глаза к мыльному прилавку.

— А у них тут есть запахи сена, сосновой смолы, тины,... талого снега? Я помню их. Они мне нравились... Земляника... Да кто тут нюхал её настоящую!..

— Давай выберем что-то для тебя, — ласково предложил Макс. Моментально возникший продавец угодливо направил конечную фалангу указательного на ассортимент:

— Вам, сударь, будут к лицу миндаль и зелёный чай. Если вам нравится что-то романтическое, попробуйте ароматизированную морскую соль. А вот шампунь с экстрактом хвои, — он рассмотрел Эжена изблизи и осмелел, попробовал хохмить, — Он составит гармонию с вашей щетиной.

Эжен глянул на него исподлобья, подумал: козёл! — и сказал:

— Хорошо. Заворачивайте.

— Никакой хвои, — сурово вмешался Макс, — Соль тоже пока отменим. Нам нужна

хорошая пена для бритья, туалетная вода — что-нибудь ненавязчиво пряное. К предложенному мылу прибавьте дынное и банановое.

— Обратите внимание, ваша милость, — продавец перешёл на подобострастный шёпот, — Если вы набожны, то...

В правом верхнем углу прилавка лежали завёрнутые в тонкую белую бумагу кресты с распластанной на них под обёрткой фигуркой.

— Это тоже мыло?

— Да. С благороднейшим запахом розы и ладана.

— Какое кошунство! — воскликнул Эжен.

— Ничуть. Освящено в самом Ватикане!..

— И поэтому стоит триста тридцать три франка за штуку!?

— Это ещё скидка в преддверии Рождества.

— Что, ровно половину скостили?

— Хватит, Эжен. Я не собираюсь его брать. У вас есть растворимые лепестки?

— Конечно, ваша милость. Какие вас интересуют? Голубые? Пурпурные? Жёлтые?

— Белые. И ещё какое-нибудь душистое масло.

— Алоэ, — благоговейно пропел продавец.

— Не едкое?

— О, вовсе нет.

— Спасибо. Подготовьте счёт.

— Одну минутку.

Макс отошёл к кассиру, а Эжен задержался.

— Слушайте вашего друга, — сказал ему продавец, — и будет иметь успех в обществе.

— Дайте мне ещё один совет, — Эжен пробил кулаком стекло, взял из осколков пузырёк с экстрактом хвои, — и будете иметь свой язык в это бутылке.

Сунул флакон в карман, кинул от груди остолбеневшему парню скомканную тысячу и вымчался на улицу, где его догнал Макс с усмешкой:

— Ну, ты красавец. Не поранился? (- Эжен повертел пред глазами невредимую ладонь —)... Пройдёмся. Кажется, мороз ослаб.

— ... Нам в другую сторону.

— Ага, конечно... Успокойся. Он это заслужил.

— ... Как это — растворяемые лепестки?

— Они сделаны из мыла.

— А... Там были банки с как бы розовым просом. Оно тоже растворяется?

— Само собой.

Тоска Эжена достигла таких размеров, когда включается защита воображения. Вот конная статуя Наполеона, отлитая из мыла с запахом лавра на площади; все в восторге, но начинается дождь... под копытами пена, слизь, и прохожие, поскользываясь, шлёпаются к ногам оплывающего идола... Кому-то вместо чёрной икры подсунули этот тающий горошек, промазанный ежевичным сиропом... Цветочная ваза из мыла... Толстая голая, розовая груша... мыло для похабников... А вот моё сердце, мадам, — алое сердце из мыла...

— ... это и есть наш хлеб насущный, — говорил о своём Макс, — Ты полюбил в Дельфине дочь её отца. Полюби же и в Анри де Марсе ребёнка, которым он когда-то был.

— Де Марсе зовут Анри?

— Да. Как твоего младшего брата.

— А он меня любит?

— Он начал подыгрывать тебе в карты ещё раньше, чем я.

— Что за бред! Да когда!?!...

— Я помню только, что в тот вечер на тебе был невозможный жилет в золотую полоску и галстук белее сорочки, а на фраке не хватало нижней пуговицы.

Эжен замедлил шаг, потом молчал минуту, потом попросил о расставании, сказал, что хочет побыть один, у себя на квартире, может быть, сходит в театр с Эмилем, «Ночуй на просторе», — съязвил. «Пусть, отдохни», — подумал Макс, и они расстались.

Глава XXVII. Преображение Люсьена

— Я всегда чувствовал в себе высшее призвание, но не знал, к чему меня влечёт судьба. Теперь же мне это открылось: я избран покарать зло этого мира. Не смей больше смотреть на меня, как на приёмыша для развлечений. Я — повелитель возмездия, и в мой День Гнева ты должен служить мне!

Глаза Люсьена светились в полумраке. Стоя в центре пёстрого ковра, он мысленно сжишал всю отвергнувшую его жизнь, величавый, словно апокалиптическая фантазия Блейка — новоявленный юный дракон. Серый Жан наслаждался этим зрелищем, но не спешил с признанием власти над собой:

— Гнев — не моя стихия. На мировое зло у меня свои взгляды, и особая связь у нас с ним... Я убиваю людей из любви к ним, а тебя переполняет ненависть — стало быть, мы не попутчики.

Глава XXVIII. В которой Анна причисляется к духам зла

— Здесь мы расстанемся, — сказала Анне Огаста на широкой мощёной площадке у подножья лестницы, — Тебе нужно пройти направо вон до того каменного кольца. Там сидят такие, как ты, и ждут ангела, который объяснит им, как пройти до моря. Мне там не место. Прощай.

Белая девочка убежала в зелёную долину, к благоуханно цветущим кустам и деревьям, а Анна с горечью оглядела свой по-прежнему чёрный хитон, тяжело вздохнула и пошла к циклопически грубому бельведеру без крыши.

Замерший хоровод из тридцати тяжёлых серых глыб, держащих на макушках огромное каменное кольцо. К каждому, кроме двух, прислонялась женщина в дымном трауре. Анна стала предпоследней. Не успела она осмотреть своих товарок и сравнить их положение с наказанием у позорного столба, как явилась тридцатая, хрупкая молоденькая, лет на вид семнадцати, прильнула к своему камню. Тотчас в центре круга возникла высокая фигура, покрытая глухим тройным чехлом их закоптелой паутины. Сквозь грязную ткань просвечивало белейшее, сиятельное тело с высокими крыльями; лица видно не было: голова целиком была упрятана под чёрный саван, шею обматывала словно просмолённая верёвка. Ангел приподнял руки в принуждённом приветствии, колыхнув оплетшую его пылящую скверну, и холодно промолвил: «Принимаем вас, духи зла, в месте, лучше которого ум не способен создать. Ваше присутствие здесь не предусмотрено. Всё, с чем вы соприкоснётесь, — погибнет или исказится. Ваша дорога подобна вам. Она приведёт вас к берегу, от которого вы отплывёте в свои земли. Поспешите».

И исчез.

Женщины, сонноватые, нездоровые, неестественно переставляющие ноги, сошлись поближе. Среди них было три чернокожих с оттопыренными толстыми ртами, в семи угадывались индианки (одна из этих, смуглых, едва ли достигла четырнадцати лет, одна выглядела совсем старухой), у двух глаза были как замочные скважины на медных лицах; одна, белесая, рябая, вся колыхалась, как готовая опара. Издали казалось, что у неё брови не над, а под глазами, вблизи же Анна увидела, что это синие продолговатые кровоподтёки; у многих были искусаны губы и руки; глаза почти у всех затянулись слизью, не пропускающей мысль. Они топтались на месте, как потерявшиеся овцы. Анна искала хоть кого-то, с кем не противно было бы заговорить, и не находила.

— Кто это духи зла? — тонким и охрипшим голосом воскликнула вдруг девушка, пришедшая последней, — Кого он так назвал? Нас?

Никто не отвечал. Африканки и азиатки полепетали меж собой и направились цепочкой к проёму, в который утекала чёрная каменная стрелка. За ними стадно потянулись и европейки.

Брусчатка не позволяла идти рядом более чем двум странникам. Вымощена она была камнями, от которых уже устали голые подошвы Анны. Вокруг камней из земли торчали жёсткие иглоподобные стебли, похожие на зимний газон. Чуть поодаль дёрн был зеленей и мягче, но его пятнали жжёные прогалины, небольшие, но частые.

— Разве мы — духи зла? — твердила за спиной Анны молодая покойница. Анна обернулась и спросила: «Как тебя зовут?».

— Лиза.

— Меня — Анна.

— Тебе не кажется, Анна, что всё это несправедливо?

— Нет.

— А мне — да! — вмешалась другая изможденная женщина со свалывшимися в сплошной колтун сальными рыжеватыми волосами, — Я страдала всю жизнь, не видела ни света, ни воли, и теперь снова должна мучиться!? А что, если нам бросить эту проклятую дорогу и уйти вон туда, к деревьям, полежать на травке! Вы как хотите, а я так и сделаю!

Она соскочила в сторону и пошла, куда хотела, оставляя на зелени чёрные следы, словно от кострища.

— Вернись, ты выжигаешь траву! — закричала ей Анна, но бунтовщица словно не слышала.

— Как это ужасно! — хныкала Лиза, — Танталовы муки! А они ещё называют нас злыми!

— Логично, — Анна подключила свою рациональность, — Ведь злом называют всякое недовольство и разрушение. Их и явила эта дама. Можешь последовать её примеру.

— Чего бы и нет! — сипло встряла оказавшаяся вблизи рыхлая женщина с подтёкшими кровью веками, уставив на Анну тупые красные глаза, — Чего тут жалеть? Нас-то много ли жалели? Нас-то кто уберёт?

Грузной жабой она перешагнула на кочку, давя и испепеляя её, и поковыляла вглубь роши. Анна видела, как ветла, за которую схватилась мимоходом толстуха, на глазах начала увядать и осыпаться свернувшиеся, обесцвеченные листья.

Дорога вползала в заросли. Деревья, всюду живые и свежие, возле неё стояли голые, лишённые не только листьев, но и коры.

— Где ты берёшь силы, чтоб смириться со всем этим? — причитала Лиза, — Сколько можно терпеть? Где же милосердие Божье!

— Бог и ангелы, как видишь, милосердно ограждают этот прекрасный сад от нашего зла, при том, что нас они не уничтожили, а лишь направили по особому пути. Где-то и для нас приготовлен покой. Здесь мы временно.

— Но эта дорога, видимо, будет долгой, а по камням идти так трудно!

— Думай, что это сердца злых людей у тебя под ногами, и ты их топчешь.

— Ты хорошо сказала, — посветлела девушка, — Не была ли ты писательницей в жизни? Не сочиняла ли стихов?

— Сочиняла когда-то, в ранней юности, но потом... У меня муж был поэтом.

— Ах, вот, наверное, чудо! Вот это судьба! Он, должно быть, посвятил тебе много страстных, любовных пьес, которые прославят тебя в вечности...

— Страстных — да; любовных... — не припомню.

— А теперь он остался один и оплакивает тебя...

— Никто нас не оплакивает, — прошамкала ещё одна спутница, — Тем паче эти изверги, будь они все прокляты!

Анне не захотелось продолжать разговор. Умолкла и Лиза.

Вдруг сзади кто-то дико завопил. Женщины оглянулись и увидели, как одна из них, чернявая, похожая на испанку и очень молоденькая, отломив от сухостоины крепкий сук, принялась колотить им по стволам, истошно, бессвязно крича, хохоча, обшибая нижние ветки. Никто не пытался её утихомирить. Та, что только-то произнесла проклятье, сама

подняла с земли палку и стала бить по камням под ногами. Лиза навзрыд заплакала от страха. Анна схватила её за руку и потащила вперёд. Обогнав всех белолицых, смешавшись с азиатками, они снова глянули назад. Около десяти покойниц бесновались с дубьём. Одна уже упала на обочине — то ли от усталости, то ли её ударили. Какие-то просто стояли, как вкопанные, ощупывали свои животы. Проклинавшая сломала палку, опустилась на четвереньки и попыталась выковырять из земли булыжник.

— Пойдём, не смотри на них. Видишь же, они совсем озверели, — сказала Анна.

Лиза посеменила вперёд, держась за прозрачный клочок анниного платья.

— Расскажи мне что-нибудь хорошее, — жалобно просила, — Ведь твой муж тебя по-настоящему любил?

— Однажды он признался, что ему так кажется.

— И только!? Вот неблагодарный, чёрствый человек! А ведь ты принесла ему в жертву свой талант и саму свою жизнь!

Тут чернолицая высокая женщина, крутанулась на пятках, нависла над Анной и Лизой выкаченными гнойными белками и взревела:

— Провалитесь вы, саранча, брехливые шакалки! Сожрите свои языки!

Лиза пошатнулась и упала, не выпуская из рук чужого подола, так что Анна тоже оказалась лежащей на земле. Африканка злорадно оскалилась и пошла дальше.

Глава XXIX. В которой Гобсек попадает в ловушку

Отталкивая стопами ступени, напрягая бёдра, Макс уже настраивал себя на нарциссический лад: он не хотел пропускать даром грядущую одинокую ночь, однако то, что ждало его дома, отбило бы охоту у дюжины маньяков, — согласно расчёту Эжена, Гобсек сидел в прихожей, оглушённый детским щебетом.

— Он назвался нашим дедушкой, и мы ему открыли, — оправдалась Полина, после чего взяла брата за руку и увела за кулисы.

— Я, — слепетнул старик, вставая, — собственно, ищу здесь некоего Растиньяка. Вы с ним не знакомы?

Макс скривил губы, отвёл глаза; его расстёгивающие редингот руки начинали дрожать.

— Мы знакомы — виделись в свете — но он здесь не живёт.

— Он украл у меня... одну ценную вещь.

— Что ж, отлично. Вы меня порадовали.

— Фь! Мне тоже приятно — видеть вас в таких декорациях. (- Макс кивнул, сжав зубы —)... А до дружка вашего я доберусь! (- Гобсек поскрипел просохшими суставами к двери, сторонясь графа —)... И дети у вас — прощельги!

«И что я не взял пистолет! — подумал он на лестнице и просто по инерции, в десятый раз, — Пропала, ох... Наплевать, да вот надпись!.. Нет, пусть хоть из акульего брюха вытащит! Дарил — на посмех... Бриллианты им!.. Да пропадай она к чертям! Бриллианты!. Ведь совсем ещё щенки, а уже... Всё из-за...».

Ночь колыхалась вокруг старика ледяным ветром, ноги скользили, в сердце свербило...

Глава XXX. В которой Эжен читает

Рафаэль потратил день на перенос своего скарбика в эженово жилище и только теперь возился я с камином. Эжен безвозмущённо помог компаньону с углём. Пока тепло не растеклось по комнатам, они оба сидели на полу у огня. Рафаэль рассказывал о себе, а Эжен рассматривал портрет автора похищенной книжки — изумительный лик, достойный византийской храмовой фрески. Слабо доносящиеся пени гостя: отцовские притеснения, банкротство и сиротство, израненное самолюбие, жажда славы — всё это впитывалось в оттиснутую бумагу и сливалось в мыслях Эжена с портретом. На миг ему показалось, что вот этот самый человек сидит рядом, но то был приступ сна.

Старательно протерев глаза веками, Эжен сделал трезвое заключение: по такому рисунку невозможно найти, узнать при встрече модель. Ни живое, ни мёртвое лицо не может быть таким. Никаких примет. То, что может за них сойти, — попросту нарушения анатомических законов. Для добросовестного художника или критика-искусствоведа портрет был однозначно плох, но Эжен смотрел с уважением и думал, сам ли поэт (богатый, очевидно, неглупый, даже прозорливый, наверняка авантюрный, а, стало быть, хитрый) нарочно заказал именно такое изображение себя? Ещё один головокружительный прогиб — наваждение зеркала...

— Я должен покорить этот мир! Я всеми силами духа жажду отыскать то средство, что заставит всех женщин любить меня, а всех мужчин — повиноваться мне! — гласил Рафаэль, вперяясь в пламень.

«Не мастер ты загадывать желания, ну, да что там, голодный всегда думает, что съест кита, как плотвичку... А что-то он сейчас подельывает? о чём думает? Ведь живой. Может, спит;... может так сидит или гуляет, или с женщиной... Наверно, он им мил... Хотя необязательно... Лечь бы пораньше...».

Поздние часы Эжена были заняты ручной стиркой сорочки в хвойном шампуне («Что за скипидарная вонь!» — проворчал Рафаэль), вылазкой на крышу на сосульками — другой питьевой воды в Париже он не признавал — и снова обозрением «Корсара». Английский текст дразнил любопытного француза — половина слов казалась узнаваемой, и потом знаки препинания тоже можно с интересом читать. К последней странице в ушах следопыта отчётливо звучал чужой воображённый голос. Эжену почти удалось заставить его заговорить понятно, но вдруг явилось лицо Макса-Дервиля в какой-то чалме, потом театр с пляшущим партером и забава — сигануть из ложи и закачаться на привязанной к чему-то лиане; деньги, деньги и Сите, ставший неприступной горой под облаками, подобно замкам на островах немецких рек.

Соскучившийся по людскому обществу таракан забежал Эжену на висок, разбудил щекоткой. Эжен потрянул головой, шаркнул по ней ладонью и сел, озираясь в темноте. Он так и остался на полу у догоревшего камина. Рафаэль занял кровать, правда, подсунул под затылок благодетелю подушку. В тишину сыпался из углов поскрёб насекомых лапок. Эжен не брезговал этой компанией, его огорчали лишь случаи, когда он невольно или от внезапного испуга губил шестиногих. Сидя и бережно ощупывая себя, потряхивая руками, он думал о пауках, которых боялся в детстве — до того момента, когда однажды в осеннем лесу задел сеть огромного крестовика, и тот, упав, зацепился за его куртку; тогда страх исчез — его стёрло изумление: при своём внушительном размере существо было настолько лёгким,

что не увидь его — никто бы и не знал, что к нему прицепился убийца. Тогда Эжен решил, что пауки питаются не кровью, а душами букашек, и это не ужасало, только вело к размышлениям... В теперешней ночи его отвлекло от них утробное напоминание о съеденных вещах — достаточно многих, чтоб с тоской отправиться в уборную.

Там всё было оборудовано очень опрятно: закрытая, бесщёлая лавка из гладкого дерева с крышкой, вроде как на пивной кружке, только не выпуклой, на отверстиях; под ногами коврик; справа на уровне плеча — полка для свечи, под/на ней обычно лежит пара литературных новинок. Человек без особых задвигов пожаловался бы лишь на холод, но Эжен был совсем не таким человеком. Постояв минуты две с видом осуждённого под виселицей, насадив безупованный взор на фитиль в золотом ореоле, он принял неизбежное положение. Суррогатное самоубийство — именно такое чувство — изничтожение, запредельный позор... Что ж, — в миллионный раз начал утешаться — удел всех тварей, звери вон вообще это делают где попало... И это нужно для растений. Всё устроено мудро, но... Закрыв лицо руками. «Я не противлюсь, не осуждаю, только, Господи! — не смотри! Пожалей и меня и Себя...». Напрасно... Он знал, Кто лучше всех видит в темноте и слышит в тишине. Пыль — Его зрящие клетки; капли на железе и камне — Его окуляры; все щели — Его уши; плесень — сгустки Его нервов; тараканы, мокрицы — Его соглядатаи... Глубокий вздох. Смириться до конца. Доброта Его безмерна; Он не прогневается, видя, но и, может быть, совершит чудо — отвратит Свои очи... Пусть тело делает своё дело, духу дела нет... Найти? Ага, вот книга. Заложена на середине билетом в театр: «Ролл и Порция» — драма Птициана Убю... Ну и чушь!.. А тут что накатали?

«Тут Мельмот повалился на клумбу гиацинтов и тюльпанов, благоухавших под окном Исидоры»... Вот придурок! Нализался, должно быть... «Но ты же помнешь все мои цветы! — вскричала она, и в восклицании этом слышен был отзвук ее прежней жизни, когда цветы были ее друзьями, когда они были радостью для ее чистого сердца». Как же они выглядят? Тюльпаны — вроде маков и крокусов, а гиацинты? А, такие кучерявые колосогрозди. Что ж, да, им всегда порадуешься... *«Прости меня, таково уж мое призвание, — проговорил Мельмот, растянувшись на смятых цветах и устремив на Исидору мрачный взгляд, в котором сквозила жестокая насмешка. — Мне поручено попирать ногами и мять все цветы, расцветающие как на земле, так и в человеческой душе: гиацинты, сердца и всевозможные подобные им безделки...»*... Эх тебя, братан, прописали! Есть чем красиво объяснить брюшные спазмы... Так это явка с повинной? *«Знайте, сейчас я здесь, а где я окажусь завтра, будет зависеть от вас. Я одинаково могу плыть по индийским морям, куда сны твои посылают меня в лодке, или пробираться сквозь льды возле полюсов, или...»* — А вот это ей Богу трогательно — *«или даже мое обнаженное мертвое тело (если только оно вообще способно чувствовать (- Моему бы так!! -)) может бороздить (- круто сказано: тело — бороздит; полюбуйте: человек-плуг —) волны того океана, где я рано или поздно окажусь — в день без солнца и без луны, без начала и конца, — бороздить их до скончания века и пожинать одни лишь плоды отчаяния!»*.

Закрытым глазам Эжена явилась ширь чёрных, как вакса, вод, качающих айсберги. Между них маневрирует корабль. Наконец он осторожно подбирается к невысокой глыбе, бросает на неё якорь и сходни, по которым на льдину перебираются тощие тенеподобные люди. Их оставляют там. Под их ногами лёд плавится. Кто-то перебегает с места на место, но тот, кто — я, — узнаёт Эжен, — стоит, медленно урзая в белой толще. Холод повсюду. Колодец... Проходят часы, льдина тает напрочь. Люди вяло и недолго барахтаются в

черноте, потом исчезают, только я, — чувствует Эжен-Мельмот, — вольготно распрямляюсь на маслянистой воде и держусь на ней щепкой. Век скончается — родится новый...

Мотнулся всем корпусом, вывёртываясь из дрёмы, с усилием раскрыл глаза...

«И он расхохотался тем ужасным, переходящим в судороги смехом, который смешивает веселость с отчаянием и не оставляет у собеседника ни малейшего сомнения в том, чего больше — отчаяния ли в смехе или смеха в отчаянии»...

Ох, у всех свои горести... Мять цветы и пижонить перед дамочкой — конечно, свинство, но зато ты не рассиживаешь с голым задом на глазах у Всевидящего Бога.

Проведя на укромной лавке ещё четверть часа без особой нужды, бесшумно вернулся в тепло спальни, повалился на пол с гаснущими мыслями об Испании, которая оккупировала Голландию и знай себе вывозит благородные клубни, семена и луковицы, рассаживает у себя клумбы, на которые — а кто он? англичанин что ли? — англичане, перебрав и полюбив, укладывают свои обнажённые мёртвые тела...

Глава XXXI. Вечер Макса

Потребность вымыться стала для Макса необоримой. Он строго попросил детей не тревожить его до утра и окунулся в свою просторную одинокую ночь.

Одежда словно сама собой облетела. Макс осмотрел, всё ли готово. Встал обеими ногами в пустой деревянный таз (думая об Эжене), зачерпнул ковшем горячей воды и тонкой струйкой полил на себя, растираясь левой рукой (думая об Эжене), смочил, намылил волосы, окатил, потом ниже, густые, белые, как на животе у горноста; надел шершавые перчатки, покрутил в ладонях мыло и снова пустил их гулять по груди, плечам и ниже; тщательно отполировал шею, талию; новый ковш, не спеша; любовно огладил богатые, хоть и неброские мускулы в жемчужно-атласной коже; для лица — специальный лосьон.

Осушившись, налил себе вина, глотнул (думая...), лёг теменем к выходу, поудобней, расслабился, потёрся губами о кончики пальцев, но что-то отвлекало — сам этот диван, пропахший Эженом — его грязным телом и чистой душой...

Борясь с желанием укрыться, Макс ухватился за соломинку сигареты. Обратного нельзя.

Вот он раскинулся на чёрном — нарцисс — белый цветок о шести лепестках: руки, ноги, голова и её кумир-антипод, безразличный ко всему, что его не питает, и — почти всеядный, и это его час. Макс приподнял голову, посмотрел, почтительно укрыл шёлковым платком, да, тут не панибратская терпимость просвещенца, но поклонение мистика.

Убеждённый в том, что делает лучшее из возможного, он предался фантазиям — о лесной девушке, прижатой к земле упавшим ей на спину деревом; она не травмирована, только не может подняться; прутья скрывают её, видно только самое необходимое и интересное — её длинный хвост (крысиный? змеиный?...) и его прелестные окрестности; он ветвится нашесть, и каждый отводок — это раздражённое жало. Макс старательно воображал ощущение от уязвления им: осиный укус, быстро проходящий в жар, нет, даже в только сильное тепло — таким страданием вымышленной нимфы он мог наслаждаться без протестов совести и вкуса, оставаясь в честном сочувствии и желании поскорей избавить жертву из её западни...

Перестав вскоре нуждаться в жестокой живой картинке, он не отправил её в небытие, а довёл, побарывая сон, до доброй развязки — освобождения, излечения красавицы; лишь затем пробормотал: «Господи-Боже» и отключился.

Глава XXXII. О духах зла

Анна тормошила бесчувственную Лизу, недоумевая, как же это может случиться такое с духом, и в страхе поглядывая туда, где бесновались женщины. Их платья растворились в воздухе, разошлись чёрным туманом, в котором металась их трупья тела. Там стоял адский шум: вопли, стук, треск. Бежать бы скорее отсюда, но Анна не могла оставить спутницу, сохранившую разум и человеческий облик.

Вдруг в этом хаосе повалилось на дорогу большое дерево. Взметнулся гриб пыли, трухи и дыма; всё немного притихло, потом из мглы выползла серо-голая безумица, зажимавшая зубами большую валежину, как собака. Её догнала та смуглянка, что подала всем пример иступления, вырвала палку, упершись ногой в ключицу женщины-псицы. Та запрокинула голову и завывала, а эта пошла вперёд. Анна инстинктивно вскочила на ноги, но проглотила язык от ужаса: девушка с дубинкой приближалась, глаза у неё были как у слепой, чернота клубилась вокруг неё, обволакивая. Подойдя на расстояние ярда к остолбеневшей Анне, она прокричала: «Я не виновата! Их было трое!» и с размаха ударила её по голове. Умудрившись отпрянуть, Анна сберегла свой висок, но конец палки содрал ей всю скулу; показалось, что левый глаз взорвался, и весь череп лопнул. Единственной лихорадочной мыслью было: не возьмётся ли колотить меня, лежащую?

Мгновение пустоты, за которым картина предстала иной: хищница исчезла; Лиза сидела и тряслась, как заяц; женщины вдали обламывали сучья с павшего дерева. Анна решила, что они сейчас все ринутся на неё, поднялась и помчалась прочь, не чувствуя ног и увлекая за собой младшую покойницу.

Они остановились, перешли на шаг, лишь совсем обессилев. Мёртвый лес всё не кончался.

— У тебя на щеке такой страшный, кровоточащий синяк! — увидела и объявила Лиза. Анна окончательно отрешилась от салонности:

— Тебе я два таких поставлю, если закатаешь новый обморок!.. Прекрати дрожать! Здесь не спальня новобрачных!

— Но за что нам всё это!? Чем мы заслужили!?

— Слушай, если будешь постоянно думать об этом, станешь такой же, как все они. Значит, нужно нам быть тут. Так Бог решил, а уж за что... Наши грехи — не нашего ума дело. Они вообще не дело ума... Идём.

— ... Ты такая смышлёная. И смелая... На тебе нет никаких следов болезни. Странно, что ты умерла.

Анну шатнуло, ей хотелось крикнуть: «Я жива!», и она смолчала не из страха перед разоблачением (это, похоже, здесь никого не волнует), а из-за сомнения... От головной боли она плохо слышала и нетвёрдо держалась на ногах. Заметив на земле длинную палку, подняла её и сделала своим посохом, напугав в первый момент робкую Лизу.

Лес оборвался крутым косогором, глубокой пропастью, по дну которой текла бледно-зелёная река. Для путниц с края на край тянулся каменный мост — чёрная арка над водой. На нём стояла та похожая на испанку девушка, чуть не снёсшая Анне голову с плеч. Она смотрела вниз, обхватив саму себя за плечи, и вдруг закричала так, что всё каменное русло загудело эхом: «Я не виновата!!!», и чёрной кометой полетела вниз. Анна увидела, как вода уносит пятно — будто пролитую нефть, растворяя его в себе.

— Господи! Какой ужас! — прошептала Лиза.

Анна села у обрыва, согнув и притянув к груди колени. Слезы жгли её рану, и от этого ещё сильнее хотелось плакать. Она осторожно, но с невольным стоном ощупала, разгладила щеку. «Я боюсь идти по этому мосту! — ныла спутница, — У меня голова закружится!».

— Посиди здесь; привыкнем к высоте — двинемся дальше.

Глава XXXIII. В которой Эжен спорит и соглашается

Эжену снился покос на лугу, заросшем сумасшедшими лиловыми и синими гладиолусами, мандрагорами в виде клетчатых арбузов, длинными шелковистыми зелёными волосами, нравящимися больше всякий раскидистых фуксий и алых астериксов. «Я не буду! — кричал Эжен отцу, тучному, хмурому усачу, — Это же Тюильри!» «Наплевать!» — отрезал старший барон, яростно маша орудием; цветочные головки и обрубки мякоти взлетали ввысь. «Никто на тебя не глядит». Поблизости граф де Марсе обирал ягоды с шиповника; на его жёлтые перчатки было страшно смотреть. Мимо пробежало стадо розовых баранов, за ними степенно проследовали коровы...

Тут Эжена отозвало мерцание утра, он резко сел и припал спиной к каминному косяку, всё ещё видя на фоне стены, обшитой в черноту заморённой рейкой, седые стога и квадратную спину родителя, маятник косы и снежные россыпи лепестков.

— Странно, удивительно, но, возможно в этом есть удручающая закономерность человеческой природы, — произнёс Рафаэль из дверной проруби, — Доброта порой не уживается с чувством прекрасного, и всё же — вы, весь вчерашний вечер упивавшийся Байроном, — как смогли положить эту потрясающую книгу ((книгу про Мельмота, которую Рафаэль прижимал к груди)) — в сортире!?

— ... Я её туда не клал. Я вообще не знаю, откуда она взялась. Наверное, это Эмиль её там забыл... А и что тут опасного? Сырости там, вроде, нет; мышей я там не встречал...

— Но... это же дикость! Такая глубокая, трагическая притча о борьбе человека с дьявольским роком — в отхожем месте! Гротеск! Абсурд!

Эжен смутился; для всевооружённых оправданий он слишком недавно проснулся, но попытку предпринял:

— Ну, а где ей быть?... Под подушкой? — У меня и так кошмары... На столе? — последний аппетит испортишь. Может, книга сама по себе и недурна, но герой в ней — оставляет желать. По-моему, если уж тебя тянет только к разрушению, — разрушай то, что этого заслуживает!

— Но кто различит в этом мире то, что следует беречь, и то, что нужно уничтожить?

— Вот только не надо мне с утра мозги утюжить! Любая собака отличает зло от добра, — встал на ноги, — Вопрос: что должна сделать дама, видящая, как какой-то хрен с бугра уваливается на её родную клумбу и говорит, что это только начало? Ответ: вызвать стражу.

— Но если она влюблена в него?

— Нанесение урона подвластному существу испокон веков считалось тягчайшим оскорблением его хозяину. Известны случаи, когда одно дурное слово в адрес лошади становилось причиной дуэли; в XVI веке за случайное убийство ручной лани жена угробила мужа; не так давно на Корсике раненое ухо коня привело к смертельной вражде двух семей; в «Энеиде», помнится, два народа развязали войну из-за подстреленного оленя. Цветы также могут считаться существами, принадлежащими кому-то, и только явный враг осмелится сознательно их растоптать. Врага можно любить: он спасает от скуки, помогает стать сильней, заставляет думать о правде и неправде; его можно даже пощадить, обезвреженного, но нельзя же потакать ему в злодеяниях! Такая любовь множит скверну и грех!

Рафаэль подавленно умолк, а Эжен ещё сказал ему внушительно:

— Кстати, не вздумайте бить моих тараканов.

Разжевав несколько гранул зубного порошка, потеряв подмышками сухим обмылком, причесавшись щёткой для одежды, он быстро оделся, вышел на улицу через чёрных вход, по пути извлёк из почтового ящика (никогда — без дрожи) розовый конверт; на крыльце, под серыми тучками, вроде тех, что окружают Сикстинскую Мадонну, распечатал — ему слали пригласительный билет на бал, назначенный на шестое декабря; на изнанке отогнутого бумажного треугольника было написано: «Я так несчастна!!!», ниже жалобилась маленькая вялая ромашка, по-детски нарисованная тушью.

«Сколько ж раз надо получить от неба по носу, чтоб отучиться от кичбы и осуждения других? — сокрушился адресат, пряча конверт подальше от сердца, — Цветам не нужен адвокат-заступник; им — Макс говорил — и всем — нужна любовь... Вот это, там, щемятина, слёзы... Скорее сделать что-нибудь!».

Эжен нашёл цветочный магазин и скрылся в нём на полчаса. Первые десять минут он одолевал стыд и желание убежать; перетерпев, обошёл все полки, все кадки, ряды ваз с розами, лилиями и такими цветами, в названиях которых он не был уверен, спросил у продавца про гиацинты; оказалось, что они бывают только с февраля; порылся в карманах — на хороший букет едва ли хватит... Вдруг заметил нечто странное — торчащий из горшка с землёй огурец с полудюймовыми шипами во все стороны и в веночке белых цветов, вроде майской лесной кислицы, только жёстче и мельче. «Это кактус, представитель американской пустынной флоры,» — отрекомендовал продавец. Эжен очаровался, вытряс на прилавок всё до су. Кактус он взял себе, для Дельфины же купил маленький белый конверт, прокол себе палец естественной иголкой, поставил гемодактилическую печать под язык конверта, прилепил на кровь самый красивый цветок, отщипнутый с макушки кактуса, запечатал имевшимся при магазине зелёным сургучом и попросил отправить по такому-то адресу. Кактус накрыли от мороза парусиновым колпаком и отпустили с покупателем.

«Вот такие надо на клумбы — попробуй сомни! Ещё можно вывести декоративную крапиву, розы тоже хороши (что-то у этой Исидоры их не было)... И чего я опять! как бы самого не затолкали в терновник...». Пораздумав у тропической витрины, Эжен отправился к Максиму — порадовать приглашением, напомнить об Анастасии, ну, и денег взять.

Макса в то утро разбудил Дервиль, сам поднятый за полночь с постели Гобсеком...

Беспутный граф предстал перед честным стряпчим в одном халате нараспашку. Оба были ошарашены: Дервиль не ожидал увидеть Макса голым, Макс вообще не понимал, откуда взялся этот тип, правда, он вскоре вспомнил о затеях Эжена и как ни в чём не бывало пригласил гостя к столу, позвал и представил детей; уже намазывая маслом хлеб для завтрака, завёл разговор о возможности приобрести бесхозный особняк в Латинском квартале, некогда известный как пансион мадам Воке. Максиму видел, что Дервиль ждёт от него подвоха, и это его раздражало. Он стал спрашивать малышей, как им спалось, не напугал ли их вчера тот старик. Неловкость набухала, но вот явился Эжен со своим зелёным другом. Он зычно раздоровался со всеми, поставил на стол кактус, сдёрнул, как фокусник, с него чехол и пустился объяснять, что натолкнуло его на эту покупку, между делом бросил Максиму открытку от Нусингенов, вызывающе сказал: «Поздравь меня и себя», подмигнул Полине и Жоржу, не удержался от новых шутоватых инвектив против Мельмота, затем осыпал просьбами Дервиля, заручился, признал, что стащил «Корсара»: «Мне ужасно хотелось прочитать эту поэму! Я сегодня же верну, только она у меня дома. Пойдёмте

сейчас. И, пожалуйста, скажите господину Гобсеку, что я не имел дурных умыслов. Я просто поклонник этого поэта, меня к нему как магнитом тянет, и всякий, кто имеет такие вещи, по-моему, достоин безмерного почтения!»).

У Дервиля на день были запланированы не только посиделки в обществе прожигателей жизни и поиски похищенной книги, поэтому он поторопил Эжена. Они вернулись на д'Артуа, где стряпчий получил «Корсара», потом расстались, успев обо многом деловом переговорить.

Машущая вслед полезному человеку рука Эжена вдруг отяжелела и упала. Сердце его глотнуло какой-то отравы. Он хватился кактуса, выскочил, как сумасшедший, на проезжую дорогу, чуть не врезался в катящий экипаж, напал на следующий, вцепившись в шлею, прижался к боку вставшей лошади. Извозчик закричал на него, замахнулся кнутом, но оробел, глянув в лицо, спрыгнул с козел, спросил, не нужна ли какая-нибудь помощь. Незлой человеческий голос вернул Эжену рассудок, и дело кончилось миром...

Макс дождался побратима к полдню.

— Ты, — сказал, наливаю ему чаю, — вижу, напуган. Мне тоже беспокойно. Но я сдержу своё слово. Мне придётся отъехать уже завтра: путь неблизкий (под Дижон), и всё это ведь устроить не просто, так что тебе придётся собираться на бал самому, что огорчает, ибо как денди ты почти безнадёжен. Какой-то вкус у тебя есть, кажется, но чувство меры... Кто был твой портной?

— Штауб. А почему был?

— Отныне тебя обшивает Мануэль Инкерман, и мы отправимся к нему немедленно.

— Я возьму с собой кактус.

Макс тихо засмеялся суровости голоса Эжена, подумал: «Да, вкус...» и медленно глубоко кивнул.

Новый портной был не стар, не толст, не лыс, не сутул, не бледен; у него было три уса, маленькие уши торчали из-за аккуратных расклепанных бачек; волосы он стриг коротко, кадык прятал под широким голубым платком — бант свисал ниже рёбер поверх складчатой блузы, в которой обычно воображают живописцев. Эжен нашёл его вид нелепым: ему не нравились цирюльные орнаменты на лице; сам он либо не брился вовсе, либо соскабливал всё начисто, щадя лишь свои прекрасные брови. Впрочем, он был до того на нервах, что закатанные рукава могли его взбесить... Макс не растянул приветствие дольше необходимого, подманил Эжена и препоручил его Инкерману, а сам вышел из салона.

((Он считал, что, оставшись без прикрытия, Эжен вряд ли отважится на какую-нибудь дичь.))

Для обмерки Эжену переодеться в эластичную рубашку, тонкую, предоставляющую глазу и ряды межреберных борозд, и углы таза, и яму вместо живота.

— Какого же рода костюм вам нужен? — выговорил портной.

— Бальный, — трагически ответил живой синеокий оловянный человек.

— К какому дню?

— К шестому.

— ... У вас... довольно нетипичный параметры...

— Я знаю.

— Очень важно, чтоб за ближайшие пять дней вы сохранили теперешние размеры.

— Им ничто не угрожает.

— А — позвольте спросить — давно ли они у вас... установились?

— Около года, да и раньше я не слишком отличался...
Портной приступил к обмерке.

Глава XXXIV. Подарки для Дельфины

Дельфина получила послание от Эжена в третьем часу пополудни, сидя в своём будуаре и беседуя со своей единственной подругой — горничной Терезой — об Эжене и его загадочном поведении, о его бедности и скромности, неблагодарности и гордости. Вдруг вошёл дворецкий внёс по покои корзину белых роз, окрашенных по краям лепестков бледно-красным. На вопрос, от кого это, слуга протянул большой конверт. Оттуда на ладонь Дельфины выкатился тюбик чёрной туши для ресниц. Ещё в конверте лежала анонимная записка:

Милостивая государыня, госпожа баронесса!

Если Ваши глаза уже давно не находят утешения, оденьте их в подобающий траур, и Небо внемлет Вашей печали — вернёт Вам Вашу отраду.

— Как это — глаза в траур? — недоумела Дельфина, — Сурьмой их что ли обмазать, как герцогиня де Ланже на своём последнем балу?

Тереза уже извлекла из тюбика чёрную, приизогнутую для удобства щётку и подала недогадливой даме, кивая на зеркало: приступайте.

После долгой тренировки, многократных умываний Дельфина наконец отемнила свои длинные ресницы, подкрасила брови и признала, что так хоть и мрачно, но по-своему красиво.

Глава XXXV. Анна и Лиза

Страницы по Преисподней долго спорили, кому первой ступить на высокий мост над зелёной рекой. Наконец они договорились, что Анна пойдёт второй, чтоб при случае удержать Лизу от падения. Сделав пять шагов по каменному перешейку, Лиза не выдержала страха упасть и легла плашмя, поползла, как сонная ящерица. Анне захотелось крикнуть на неё: «Встань! Ты же человек!», но вскоре она сама почувствовала, что опоры нет, кругом только медленный тяжёлый ветер, а внизу — поток, и она тоже приникла к мосту, полежала немного без движения, глотая слёзы унижения, потом, благочестивая и разумная с колыбели, решила, что так и надо, что в гордыне правды нет,... вдруг вспомнила, что есть люди, которые предпочли бы погибнуть стоя, но не выжить, пресмыкаясь. Было ли это их греховным заблуждением?... Почему?... «Почему я должна ползти, если могу шагать? — подумала Анна, — Вот они при мне, мои ноги, и эта дорога — как все дороги». Она поднялась, опираясь ладонями, села по-японски, потом встала и медленно пошла, напряжённо глядя на пальцы ног и шепча молитвы. Время от времени она снова садилась, переводила дух, благодарила Бога за помощь, которую ощущала как никогда явственно. Если в начале перехода собственное духовное тело казалось Анне словно заржавевшим, то к концу оно сделалась лёгким и гибким. Она так сосредоточилась, что даже не расслышала, как Лиза, добравшаяся до другого берега, зачем-то её окликнула... Последний шаг, и... спутница повисла у Анны на шее:

— Какая ты молодец! Не то, что я — трусиха...

Анна осторожно сняла Лизу с себя, вздохнула о потерянном посохе и глянула вперёд.

Перед ними уходила далеко вверх гора, обросшая весёлым мхом и строгими елями, перерезанная точно посередине узким ущельем, в которое втискивалась тропа.

— Надеюсь, ты хоть темноты не боишься? — сказала Анна, потому что высокие стены ущелья были угольными.

— Нет, только давай говорить о чём-нибудь, — прошептала Лиза.

Холод и мрак. Анна верила, что глаза привыкнут и идти будет не сложнее, чем по открытой долине.

— Кто у тебя родился — сын или дочь?

— Дочь.

— Она тоже умерла?

— ... Нет, она жива.

— А мой мальчик умер. Мои страдания были напрасны...

— Не думай об этом.

— Я наделась, что здесь он будет со мной, моя кровиночка, но он пропал...

— Его вернут на землю, дадут ему новую жизнь.

— Откуда ты знаешь?

— У меня здесь есть одна сведущая знакомая. Она говорит, что духи пробывают тут какой-то срок, а потом возвращаются на землю. Твой младенец, должно быть, сразу вернулся, ведь он совсем не пожил и не успел нагрешить.

— Ну, а я чем?...

— Не думай об этом!

— Да... Как зовут твою девочку?

- Ада.
- Какое-то страшное имя...
- Почему? Обычное. Если не слишком много читать...
- ... Кто ты родом? Из какой страны?
- Из Англии. А ты?
- Из России...

Над головами блуждающих матерей сцеплялись корни елей. В какой-то момент Анне померещилось, будто какое-то существо заглянуло сверху в ущелье, но она запретила себе смотреть наверх — во-первых, чтобы глаза не отвыкали от темноты, во-вторых, чтобы не тревожиться лишний раз. Чёрный коридор плавно загибался то вправо, то влево и нигде не расширялся настолько, чтоб двое могли идти рядом.

Глава XXXVI. В которой Макс учит Эжена вести себя в свете

Предполагалось, что, вернувшись из поездки под Дижон, Макс начнёт совершенно иную жизнь, поэтому... Так он пытался оптимистично объяснить предчувствие, на которое пожаловался, всходя по тёмной лестнице, Эжен: «Мне кажется, что смерть совсем близка...».

На свету, в уюте, с детьми мрачный предсказатель успокоился. Макс педантично пересчитал деньги, протянул собрату лист — письмо господам Растиньякам, которое сочинил поутру. Макс очень учтиво представлялся, называл дружбу с Эженом честью для себя, давал совет ни в коем случае не тратить даримые десять тысяч на выезды юных баронесс в ангулемское общество: брат вскоре пригласит их в Париж, и вкус девушек не должен быть испорчен; рекомендовал запастись провизией, купить тёплой одежды.

— Мы условились, что в свете тебя окружают не усыпанные бриллиантами манекены, а живые люди, видящие сны, скрывающие страхи, жаждущие странных подчас удовольствий. Ничему не верь слишком быстро, ничему не удивляйся, ни в чём не отказывай им, если это не наносит тебе прямого ущерба, и не жди, что тебя, одетого от Инкермана, пригласят в финансовую махинацию, заговор против влиятельной особы или подобную комедию для отвода глаз...

— Чьих глаз?

— Чужих, недостойных доверия... Очень важно усвоить общие правила обхождения. Со старшими — уверен — ты ведёшь себя отлично. С мужчинами-сверстниками нет нужды любезничать. Коли их во все места любыми намёками: им стыдно забывать, что такое боль...

— А дуэли? Я не хочу...

— Дуэль неизбежна лишь в том случае, если ты скажешь что-то нелицеприятное о близких оппоненту людей, неспособных за себя постоять, а также публично заподозришь его в нарушении конституции, принизишь в присутствии короля, родителей или возлюбленной.

— Понятно.

— С женщинами всё сложнее. Они — не просто порода людей, а живой, сверхчувствительный индикатор добра и зла в нас, — Макс заметно разволновался, — С ними мы должны совершать чудеса, вкладывая все силы ума и всяческую искусность. Если ты злословишь на женщину или говоришь ей что-то неприятное, — гореть тебе в Аду; если ты говоришь ей комплименты без искренности, — ты пошляк и хам; если женщина слышит от тебя те похвалы, которые хотела услышать, — ты глупец; и только если тебе удастся нелицемерно восхвалить её в тех совершенствах, о которых она, при всей своей самовлюблённости, не догадывается, — ты действительно исполнишь свой первый долг перед ней и её Создателем.

— По-моему, первый наш долг перед женщинами — выводить их души из забвения, учить их что-то делать в жизни.

— В нашей?

— Почему?...

— Потому что, жизнь — это наша жизнь. Нам, мужчинам, принадлежит земля, и нам на ней работать, а женщина... — она либо участок нашей плантации, либо же наш надзиратель,

нанятыи Всевышним.

Эжен чуть покривился, пожал плечами: рабовладельческая метафорика была ему чужда.

— Что ж дальше?

— Второй долг.

— Любовь? — выговорил Эжен с тоской.

— Да. Её принципы сходны: ты лишь тогда будешь хорош, когда доставишь даме и все те наслаждения, о которых она мечтала, и ещё немного больше. Навсегда забудь вульгарный предрассудок, будто им нравится страстность. Этим ты скорее произведёшь впечатление на своих братьев, а подругу — просто напугаешь, тем более, что ты и в безмятежности своей немного жуток...

— Охх...

— Подавленность, раскаяние — вот украшения, которые тебе идут.

Это было четвертое противоречие, которое Эжен улавливал в наставлениях Макса, но он молчал, не желая усложнений, зная, что всё сделает по-своему.

— Я, — продолжал Макс, с досадой чувствуя, что его не слушают, — подозреваю, что ты совсем не умеешь целоваться.

Эжен, машинально глянул на губы собеседника, очень близкие и красивые, тут же отвернулся, вертя в руках пустой бокал, и вдруг выпалил грубо и зло:

— Проверить что ли хочешь?

— Вот. Примерно так, — Макс встал, отнял у Эжена хрупкую игрушку, отошёл к столу, поставил бокалы на расстоянии, накрыл их ладонями, свесил с краёв пальцы, — Только тон — помягче... Молодец... Кстати, кто такой Рафаэль?

— Парень, который пристальней смотрел бы тебе в рот.

Эжен рассказал о честолубивом квартиранте. Это развлекло и даже развеселило Макса.

Ночь гуляла по Парижу, дыша новым морозом в окна. Из печных труб взлетали в небо искры, копоть оседала на крыши, и никому не хотелось выходить из домов, даже тем, кто, как Даниэль д'Артез, сидел в одиночестве.

Глава XXXVII. В которой Макс теоретизирует дальше, а Эжен предсказывает погоду

На сей раз Эжена принудили к сватовству и оставили наедине с наречённой, которой с виду было не более десяти лет. Хотя невеста меняла облик, оказываясь то смуглянкой, то рыженькой, то совсем белой, она не нравилась жениху, и он не нравился ей. Проснувшись от этой тягомотины, Эжен уставился в синеющую черноту потолка и занялся выяснением причин, вспомнил о нелепом объяснении Мельмота с Исодорой, неизбежной встрече с Дельфиной и счёл загадку решённой, задремал было опять, но тут у Макса под ухом забренчал будильник, встроенный в карманные часы и шарманочно выводящий какую-то шустроватую мелодию.

— Чего это за музон? — спросил Эжен, чтоб помочь побратиму проснуться.

— Ночная серенада Моцарта, — вяло отозвался Макс, приподнимаясь, садясь, отодвинувшись к изножью.

— Так-таки один поедешь или с кем-то?

— Один. Зачем кого-то втягивать...

— ... Не лучше нам вместе съездить за Нази, а потом вместе выйти в свет?

— Нет.

— Как же наша связь?

Макс уже ходил по комнате, полуодетый, собирал деньги и дорожный паёк.

— Связь разная бывает.

— Например?

— Каузальная, топическая, темпоральная...

— А наша?

— ... Происходящее с тобой отразится на мне, и наоборот, но нам не обязательно быть рядом; скажу больше: это нам не на пользу.

— По чему ты судишь?

— Только по фактам. Мелким, но неоспоримым. Хоть мы близки, как мало кто на свете, в нас нет единого духа... Я где-то даже рад, что не увижу твоего фрака, твоей бальной причёски. Это не значит, что они будут плохи, просто не в моём вкусе. И ты не соблазняйся порывами содействовать мне в чём-то. Тебе скорей всего не понравятся мои предприятия и методы. Так что давай договоримся угощать друг друга только результатами, ведь их от замыслов и деяний отличает — что?... участие Господней воли.

Эжен в два протяжных приёма вздохнул, расправляясь спиной на диване, обрамляя голову руками и почёсывая её указательными пальцами.

Макс завязывал на груди шнуры плаща и шарф:

— Судя по твоей пренебрежительной пантомиме, ты вполне меня понял. Помни: ошибёшься ты — ошибусь и я.

— Вопрос, кто будет первым...

— Держись.

— Удачи.

— Дай мне что-нибудь своё — на счастье.

Эжен снял с шеи крест на цепочке. Макс взял, потом протянул левую руку, Эжен неумело ещё пожал её правой.

Видение человека, стоящего над ним, лежащим, ещё минуты полторы не уходило из эженовых глаз... Всегда можно понять, что тебе говорят, но вот почему... Позябнув немного, пожавшись под ветхим одеялом, Эжен выскочил, бросил в тлеющую топку последний кусок торфа и угольный камень, вслед ему — картонную коробку из-под пирожных; потёр над занимающимся огнём руки, поглядел в окно и только чертыхнулся мысленно: сквозь цветные стёкла невозможно было угадать ни час, ни погоду на день. Залез обратно в постель, уткнулся лбом в диванную спинку, и зажал веки.

Проснулся он на другом боку и тотчас увидел лицо Жоржа.

— Он уехал? — говорил мальчик, — Мы теперь пойдём гулять?

— Запросто, — Эжен приподнялся на локте и нашёл Полину — она сидела на стуле уже совсем одетая и расчёсывала волосы, — Вы перекусили — позавтракали?

— Нет, — ответила Полина, — мы не умеем кипятить чайник.

Утро началось. Эжен обулся, сгрёб и слил в помойное ведро всё накопившееся за сутки, взял ещё чистое и вышел на лестницу, задержался на площадке по своим причинам, потом спустился и вернулся с одним опустошённым, а другим наполненным; залил в чайник, повесил его над жалко розовеющим пеплом, поворошил кочергой, заглянул в давно нечищенный поттопок, обещал себе сегодня же выгрести золу, взял углевой ящик и снова вышел. Топливо для жильцов хранилось в одной клетке под навесом во дворе. Тут Эжен смог наконец увидеть небо, роняющее скудные снежинки из высоких неплотных светлых облаков. Солнце будет к полудню, яркое, как молния, и почти такое же недолгоблещущее, а к вечеру проглянет ласковой, задержится, расцветит парижскую серость. Свой прогноз, как всегда безошибочный, Эжен поведал какому-то человеку, набирающему угля, и другому, ждущему очереди ((лопата была одна на всех)); второй был немолод, и Эжен предложил наполнить его ящик, а потом донести до квартиры. Полубовавшись, как ловко новоявленный синоптик обращается с лопатой, полустарик поблагодарил, но отказался от дальнейшей заботы о себе. Я, — сказал, — живу на первом этаже.

Глава XXXVIII. В которой Анна остаётся одна

Из чёрного каньона Анна и Лиза выбрались продрогшими и чумазыми. Россиянка совершенно выбилась из сил; она отказывалась идти дальше и плакала. Обнявшей её заботливой спутнице она шепнула:

— Какая ты тёплая, сильная...

«Вот и хорошо, — подумала Анна, — значит я жива». У неё всё ещё болела голова, глаза слепило, хотя никаких светил на было на перламутрово-синем небе, похожем то на колышущийся в высоте атласный полог, то на гладь голубого озера, как её может видеть зависшая над водой стрекоза, если бы у неё глаза были человеческими, если бы она была феей... Зелёная земля тянула к нему пальцы старых тёмных кипарисов. В траве раскрывались и закрывались, словно крылья бабочки, цветы мака; нарциссы стояли стайками — сонно мерцающие белые и золотые звёзды. Анне этот вид внушал мысль о какой-то границе, о близкой перемене.

— Ты отдохнула? можешь двигаться дальше?

— Я не хочу никуда! Я хочу домой! За что мне эти мытарства!? Неужели мои близкие не молятся за меня? Я знаю: Аркадий забудет меня, женится вновь... А я! — я жизнь отдала!..

— Не отдала ты её, а потеряла...

— Но разве я в этом виновата!?

«Бесполезно. Они все одинаковы». Анна выпустила её из рук.

— Как они посмели назвать меня духом зла!? Видели бы они, как со мной обращалась его мать! Нет, он никогда не любил меня! Они все меня вогнали в гроб! За что!? За что!!?

Лизины кулачки сжались; Анна отстранилась подальше. Вдруг послышались какие-то шорохи и топот в роще, затем из-за кипарисов вышли настоящие сатиры — мужчины с мохнатыми ногами, хвостами, развёрнутыми назад коленями и копытами вместо обычных ступней. Их было шестеро. Они были красивы лицами, смотрели приветливо, чуть опасливо, как любопытные дети. Анна вскочила:

— Кто вы?

— Не бойтесь. Мы не люди, — ответили ей.

— Что вам от нас надо?

— Вы страдаете. Мы хотим помочь.

— Помогите! Помогите мне! — завскрикивала Лиза, протягивая к ним руки, — Я не заслужила этого наказания! Я умерла в страшных муках, у меня отняли ребёнка, я стала безразлична родителям, мужу, а я так его любила!..

— Полюби снова. / Полюби кого-нибудь из нас. / Твоя жизнь исполнится радости, какой ты не знала. / У нас нет матерей. / Всё наше богатство — сострадание. / Твой избранник не сможет тебя пережить.

— Лиза, тот из них, к кому ты прикоснёшься, умрёт от этого!

— Неправда! Ты так говоришь из зависти: тебя-то они не хотят любить! Не слушайте её, милые господа! Я не дух зла, я лишь несчастная девушка. Меня сюда сослали по ошибке!

— Иди за нами, — сатиры поманили её, и она сошла с чёрной тропы. Один из соблазнительей взял её на руки и понёс к роще. Анна видела, как на его спине выцветала каштановая шерсть. За ним пошли ещё двое, а трое других остались с Анной. Старший из них обратился к ней:

— А ты не считаешь, что попала сюда по недоразумению? Что достойна лучшего?...

— Нет! — зло и гордо отрезала Анна, — Мне здесь самое место! Я — дух зла, мать скорби и тьмы, растлительница ангелов! Убирайтесь прочь, пока целы!

Её одежда развилась, обросла новыми волнами чёрного дыма, распугивая сатиров.

Глава XXXIX. В которой Эжен собирается на бал

Готовый фрак ждал дома в компании новых брюк и ботинок. Эжену осталось привести в порядок голову, и вот он сидит перед зеркалом в парикмахерской. Отроковица не старше шестнадцати лет надела на него пышную шапку из мыльной пены и седьмую минуту копошится в ней, нежно играя ноготками, плутовато стреляя глазками. У неё высоко засучены рукава, почти напрочь открыта грудь; она красotka.

— Меня зовут Лавиния. От английского слова *love*.

— У вас романское имя, а английского я не знаю.

— *Love* — это значит...

— Работайте молча, — угрюмо перебил Эжен, от плеч до щиколоток покрытый гусиной кожей. В знак оскорблённости девушка быстро и небрежно ополоснула волосы, забрызгав клиенту всю рубашку, разъерошила полотенцем, ухватив голову, как тыкву, но на это Эжен не рассердился и подарил мойщице три франка.

Вскоре её оттеснил господин Карузель, потомственный парикмахер, в чьей династии были, по его словам и придворные мастера. Он с аппетитом осмотрел эженову шевелюру. В его руке над ней доисторической железной птицей описали круг ножницы, часто щёлкая клювом. Эжен зажмурился и стал воображать июльский луг, цветы цикория и ястребинок, стрекотание кузнечиков, а его кожу всё сильнее стягивало перезнобом, как на сеновале...

— За всю жизнь не видел волос необычнее ваших, — сказал мастер, — На голове они выются, а срезанные — распрямляются.

Эжен глянул под ноги креслу — действительно, словно кошачий хвост обрили...

Процесс был неприятен, но остриженной голове всё легче. Празднуя, Эжен перехватил по дороге кофе с ромом, а дома застал Эмиля за какой-то рукописью. Тот медленно и слегка театрально перебирал листы, произнося с предельным англоподобным выговором:

— В Шотландии есть озеро **Loxness**; у Одиссея был товарищ **Everylox**; ещё в Древней Греции жил поэт **Архилох**, и вот так и нужно было бы наречь твоего нового друга.

— ??? с древнегреческого переводится как *полк, военное подразделение*, в котором могло числиться от 300 (как в гвардии спартанского царя), до 1000 человек (как у Александра Македонского), так что имя *Архилох* подходит офицеру, при чём же тут Рафаэль?

Эмиль заглотнул неожиданный всплеск эрудиции широко разинутым ртом, чуть не выронив рукопись:

— Ты что, владеешь греческим?

— Ну, да, как ты — английским, — застенчиво отмахнулся Эжен, — Так что там Рафаэль? Это его писанина?

— Ага. «Теория воли» — какво!?

— Не знаю.

— Тут восемьсот с лишним листов, и всё о могуществе человеческого духа, возносящегося над любыми обстоятельствами ради избранной цели. Якобы одной силой мысли можно призвать молнию с неба, нагнать шторм, заставить незнакомца подарить тебе состояние, а женщину — влюбиться, а я должен пропихнуть эту муру в какой-нибудь толстый журнал, да в придачу написать рецензию. У! будет ему рецензия! Назову её «Критика непрактического разума»!

— Не надо его огорчать. Придумай что-нибудь доброе. В конце концов, сейчас какой только ахинеи не печатают, ... — попросил Эжен и спрятался одеваться.

Глава XL. Бал у барона де Нусингена

В семь часов вечера у подъезда осиянного банкирского дома начался парад карет. Из каждой у крыльца выходило неземное создание, возносилось по ступеням, и привратники поспешно открывали перед ним двери.

На тротуаре в тени толкались зеваки, журналисты, уличные девицы.

Вдруг из толпы вышел человек в дорогом чёрном пальто. От его шагов по мостовой разлеталось белое пламя позёмки. К ступеням он подходил неторопко, словно в сомнении; вступая на первую, снял шляпу; к дверям поднялся, как епископ к алтарю, поклонился слугам, показал приглашение, и его впустили. Оставив пальто на руках старика в ливрее, обогнал на мраморном подъёме трёх гостей, ещё четверых — в бальном зале, и, когда он склонил голову перед хозяйкой дома, на его волосах ещё не успели растаять снежинки.

Дельфине хотелось думать, что её горячая рука отогревает эти холодный губы, и сердце самого желанного пришельца наполняет тепло, но он выпрямился шагнул назад. Он весь был в трауре, только фрак усыпали звёздочки, вышитые серебряной канителью и стразами не крупнее макового зерна. Хрустальные пуговицы; предельно тёмно-синий атласный галстук с заколкой в виде маленького циферблата с шестью стрелками, образующими снежинку; глухой чёрный жилет.

— Перчатки, — быстро шепнула Дельфина.

Эжен стянул с рук тёплые уличные, а вместе с ними и тонике комнатные, вывернул, разъединил, надел обратно нужные. Пока он возился, баронесса отошла здороваться с другими, а ему осталось издали рассматривать её нежно-жёлтое, как ракилов цвет в тумане, платье, высокую причёску и почти забытое лицо с таким необычным макияжем. Ему нравилось: она не уделила ему больше внимания, чем всем, не обдала безумно влюблённым взглядом, не попыталась в тайне от всего собрания сжать в кулачке его ладонь... Что-то не так? Она охладела? Или обеспокоена? Эжен осмотрел зал и быстро нашёл аномалию: среди гостей не было женщин. Одна лишь старуха Листомер, давняя должница Нусингена, сидела на канапе и любезно беседовала со своим кредитором; они выглядели супружеской четой, до глубоких седин сохранившей нежность медового месяца.

Дельфина слонялась сиротливо, уже без улыбки. С надеждой глядя на двери, она вновь и вновь была разочарована. Вместо ангела в белых или голубых, или розовых шелках являлся очередной чёрт в сером или охристом, или в наглом тёмно-красном, или в болотном оливковом, или в каком-то грозном фиолетовом сукне. Парижские аристократки отвергли её. Она встала в середине зала и взглотнула слёзы.

Тут к ней подошёл граф де Марсе, главный светский лев, дышащий амброй и табаком, похожим на кориандр; затянутый в палевый креп-сатин, усыпавший свои тёмные волосы золотой пудрой. Он поднёс к глазам лорнет, и равнодушно сказал:

— Добрый вечер, баронесса. Я потратил двадцать семь часов на сборы, но, если прикажете, тотчас уеду.

— Вам и самому здесь не понравится. Хотите — уезжайте.

Анри задумался. Он слышал, как на верхней галерее играет скрипка, а флейта то и дело подпевает ей так мило, словно не по найму, а для собственного удовольствия.

— Пока я не вижу здесь ничего дурного.

— Ах, да оглядитесь! Какой же это будет бал, если некому танцевать!

— Как это некому! Выбирайте любого: Ронкероль хорош в кадрили, Ванеденес просто рождён для полонеза, а уж Растиньяк из гроба встанет, чтоб покружиться с вами в вальсе. Кстати, похоже, он так и сделал. Здравствуйте, барон, — тут же сказал Анри подошедшему Эжену, наводя на него стёкла, — Вы необычно нынче нарядились.

— По погоде, — отбил Эжен, — Рад встрече.

— Не сомневаюсь.

Казалось, Анри хочет ещё что-то сказать, но он вдруг заметил поблизости своих каких-то знакомых и отошёл к ним.

— Эжен! — взмолилась Дельфина, — Не покидайте меня в этот чудовищный, убийственный вечер! Ах! Я предчувствую: это конец моей жизни в Париже! Завтра мне придётся уговорить Нусингена купить какое-нибудь поместье в провинции и удалиться туда доживать свой век!.. Вы забудете меня, конечно, (- платок к глазам —) но сегодня! — будьте со мной!..

— А что случилось? Чем вы так огорчены?

— Как чем!? Сен-жерменки, верно, сговорились показать, что знать меня не желают!.. Смотрите! — она глянула на двери и схватилась за Эжена, будто в зал вбежал мамонт, хотя налощенный пол отразил лишь герцога де Монфриньоза, скромного, молчаливого франта лет пятидесяти. Инстинкт галантности подвёл его сперва к хозяйке, исторг из его уст лесть, склонил его голову к её руке.

— А что же герцогиня?... — пролепетала Дельфина.

— Ей нездоровится, — ответил гость и навсегда отошёл к другим. Дельфина тихо вскрикнула:

— Вот видите! Они все меня презирают!..

— Не обязательно.

— Вы верите, что эта цаца действительно заболела?

— Я подозреваю, что у неё есть какие-то важные дела. Вы ведь и сами не любите выезжать вместе с мужем.

В поле зрения появился новый пришелец.

«Даждь, Иуда, пинту» — подумалось Эжену: он ещё больше, чем своего экс-соперника де Марсе не любил маркиза д'Ажуду-Пинто, португальского кабальера, разбившего сердце виконтессе де Босеан. За два года брака с богатой наследницей он постарел на пять; усы его повяли, глаза годились бы вдовцу. На нём был тускло-лиловый фрак и чёрный галстук, заколотый брошью, выносящей на грудь серебряную готическую надпись *no danse*. Эжен враждебно изосанился, а корыстный мачо подкрался к нему и его даме виновато, чуть слышно сообщил Дельфине, что она прекрасна, а потом попросил господина де Растиньяка уделить ему минуту наедине.

— Ваша жена не приедет? — сердито спросила Дельфина.

— Боюсь, что нет. Её зачем-то вызвала к себе её мать... Так можно с вами поговорить? — перепросил маркиз Эжена.

— Если позволит госпожа баронесса, — гордо ответил тот.

— Если вы не уедете через полчаса, у вас будет возможность пообщаться, — сказала Дельфина, произвольным движением глаз показывая д'Ажуде, чтоб он отстал.

— Скажете, он тоже рогоносец?

— Скорей беглец от жены...

— Но почему ко мне!?

— У вас же сегодня приём...

— Я знаю, к каким особам мужчины ездят без жён! Молчите! Это вы виноваты в том, что меня приравнивают к куртизанкам или как их!..

— Я!?

— Такие, как вы и де Марсе — волокиты, обольстители, распутники!

Эжен пребыл в недоумении: в двадцать четыре года его рот насчитывал больше зубов, чем былых поцелуев. Впрочем, один грех уже делает тебя грешником...

— Да ещё эта тушь! Она сейчас потечёт, и я стану похожа на эфиопку! Нет! Оставайтесь тут и веселитесь без меня! — накричала на него Дельфина и выбежала из зала.

Эжен проводил её устыжённым взглядом и побрёл здороваться с бароном банкиром и его почтенной гостьей. Госпожа Листомер так быстро протянула ему руку, надушенную гвоздичным маслом, раздвинув при этом средний и указательный пальцы, что Эжен решил на мгновение, будто старуха хочет ущипнуть его за нос, чего, конечно, не случилось. Он коснулся холодной перчатки холодными губами и уступил место новому гостю — де Люпо, аристократу в первом поколении. Тот был очень хорош собой в анфас, но стоило ему повернуться профилем, как обозрению представал громадный, грубый нос. В свете его терпели за богатство и приличную должность при министерстве юстиции что ли, но не более того. Он не ждал от бала ничего приятного и облачился в посредственно скроенный фрак, тоном чуть не дотягивающий до бескомпромиссно чёрного эженова, ничем не украшенный, издали казавшийся линиялым. Отвесив поклоны старшим, он прошёл мимо Эжена, как слепой, рассекая золотую зарю трёхсот свеч своим носом-ледорубом.

Де Марсе не отнимал от лица лорнета, вертя головой. Его приятели, приятели его приятелей, все, кто смотрел по сторонам, были взволнованы. С начала приёма прошло почти полчаса, но ни одна молодая дама не пожаловала. Кавалеры нежданно оказались лишь в собственной компании — при том, что всё предупреждало о бале. Что они чувствуют? — думал Эжен, — Что всё это для них означает? Скандал? Нет. Они словно рады — миражу приключения, случайной отмене правил — женщины оставили их без надзора, и теперь им можно вести себя безоглядней, естественней. Этот никогда ещё так высоко на задирал голову, тот всё смеётся... У всех открылись лица. Макс не врал: они и впрямь люди.

— Что здесь такое: бал или военные сборы? — с порога громко спросил генерал де Монриво.

— Конечно, бал. Иначе меня бы здесь не было, — ответил ему пацифист Ванденес.

— Вы не пошли бы проводить друзей? — обратился к нему де Марсе, держащий его за руку.

— Некоторым просто необходим проводырь, — туманно сдержил Поль де Манервиль.

От наблюдений за этой группой Эжена отвлек д'Ажуда-Пинто:

— Так вы можете со мной поговорить?

— О чём?

— О ней — о Кларе! Вы что-нибудь слышали о ней с тех пор?...

«Ну, что тебе сказать? Она умерла от горя, покончила, допустим, с собой или после долгой болезни... А лучше так: она нашла себе нового обожателя — благородного, верного — и теперь считает вашу связь глупостью...»

— Что вам сказать...

— Правду!

— Правду вам говорить очень трудно.

— Она... страшна?

— Нет. Она просто не терпит суеты, нервотрёпки этой вашей. Как порядочный человек, я сейчас должен успокоить вас: якобы кузина до сих пор вас любит и прощает вам измену, а как человек разумный — могу и хочу сообщить, что она давно вас забыла и утешилась с другим, но на самом деле я ничего не знаю о виконтессе, вот и весь разговор.

— Что ж,... — проронил маркиз и отступил. Явился де Марсе:

— Растиньяк, от вас все сегодня разбегаются в слезах! Подите-ка скажите какую-нибудь гадость де Люпо.

— С удовольствием, — желчно скрипнул Эжен, изображая скрываемую подавленность и бессильную злобу, тогда как ему было лишь немного грустно и немного весело.

Он встал перед одиноким, тёмным человеком и начал:

— Вы тут в стороне, а там так много интересного: генерал де Монриво утверждает, что герцогиня де Монфриньоз осталась дома, потому что отбила у госпожи де Монкорне, с горя уехавшей в Монпелье, виконта де Монсореля, последнего потомка Монморанси; коварный Манеревиль уже заказал об этом памфлет Мартенвилю, у которого редакция на улице Монкорбье, а барон де Моленкур вызвал на дуэль племянника герцога де Ленонкура...

— И зачем вы всё это мне рассказываете?

— Да хоть бы для смеха.

— Это... — де Люпо задумался, — из-за их имён? Они и впрямь у них все одинаковые! — и тихонько захихикал, — Только у вас оно особое, ну, так вы южанин — у вас всё не как у всех.

— Вовсе и не всё.

Усмотрев в этом невинном возражении не-весть-что, де Люпо закатился настоящим смехом, но вдруг снова скис, признал:

— Есть имена и необычные, — с тоской глянул на кружок де Марсе.

— До того необычные, — подхватил Эжен, — что на человеческие не похожи. К примеру, Ронкероль — так могут звать балаганную куклу; де Марсе — годится в псевдонимы актёру; Ванденес — простится в английский бульварный роман; у немцев есть поэт Новалис, подайте же нам Каналиса. Д'Ажуда говорит, что на его родине такими словами только ругаются.

— Есть ещё моё...

— Оно-то у вас по крайней мере не придуманное.

— Но и не наследное. Фамилия моего отца... — Шарден.

Эжен почувствовал предвестие сердечных колик; ему захотелось отбежать подальше от собеседника, но это было бы зверским оскорблением безо всякой причины.

— Что же такое *Люпо*? — спросил просевшим голосом.

— Мой родной хутор. Мне сказали, что дворянину надо называться по месту, откуда он...

— Верно... У вас там... волков много водится?

— Много...: лес рядом. Как-то я видал одного прямо в винограднике — он словно заблудился там. Причём среди бела дня. Чудно так: листья уже покраснели и ягоды, как кровью налились, и он тут же, серый... Я ещё мальчишкой был.

— А река у вас есть?

Угроза приступа для Эжена миновала. С де Люпо у него завязался добрый разговор. Между фразами он оглянулся на Анри и, хотя тот стоял далеко, увидел очень чётко, как за

стеклом лорнета сужается зрачок и толстеет янтарное кольцо радужки. Так вот причина этих неотлучных линз; вот, к чему были речи про проводы: граф близорук... Злорадство не пришло. Эжен (не говоря о том с собой) считал глаза не зеркалом души, а самой её сутью и плотью, а если они слабы, это всё равно, что человек безумен, но ведь в этом нет вины, такая уж несчастная судьба...

— ... я каждое лет выбираюсь туда, а говорю, что еду в Италию на воды... Хотите погостить у меня в будущем году?

— Почему бы нет. Спасибо, — ... (?)

— Клеман... Подите к ним, а то обидятся.

Эжен поклонился и лениво пошёл в сторону четырехглазого льва.

В это время Нусинген покинул свою даму ради хозяйских распоряжений. Прошагивая мимо Эжена, он задушевно улыбнулся и попросил:

— Трук мой, попесетуйте шуть-шуть с каспашой Листомер.

Разве откажешь? Морщины почтенной гостьи превратились в лучи счастья. Она усадила чёрного кавалера рядом с собой и спросила, отчего тот так редко бывает в свете. Всем стало интересно, что ответит человек без каких бы то ни было доходов — прямо так и сознается: не по средствам, или будет изворачиваться, и успешно ли.

— Когда я имею честь оказаться на светском приёме, — раздумчиво отвечал Эжен, — я всегда вспоминаю, как наши предки-язычники воображали посмертное существование. Им верилось в какие-то острова на западе, где живут одни красивые, благосклонные женщины. Там не нужно будет ничего опасаться, ни за что бороться — бесконечное блаженство... Всё это очень похоже на свет, и я в нём чувствую себя... мёртвым...

— Но и счастливым — разве нет? — опутывала седая дама.

— Нет.

Тут заговорили сразу многие:

— А ведь для язычников то был рай, посмертная привилегия. / И мусульмане примерно так представляют себе вечное пристанище праведников. / Или вас так страшит смерть?

Последнюю реплику бросил граф Франкесини, прибывший рано, но прятаящийся в саду ламп, как сам Эжен стал бы невидим в погоревшем сосняке.

— Я хотел бы умереть по-христиански.

— То есть как?

— Так, чтоб встретиться с Богом.

Все приумолкли, не веря в благочестие ответчика и дивясь его лукавой смекалке. Редкие верные католики были уязвлены. Феликс де Ванеденес, один из таких, нашёл, как возобновить полемику:

— Вы применили к женщинам эпитет «благосклонные». Не хотели ли вы этим упрекнуть наших дам... в доступности?

— В доступности — я не устаю винить самого себя.

Эжен встал, решив тотчас уйти домой, но увидел Дельфину — она вернулась с густыми тенями у глаз и, казалось, во всех драгоценных украшениях, какие у неё скопились, как в доспехах, как валькирия — на годовщине объявления столетней войны.

— Простите, что оставила вас, господа, — сказала она громко и сурово, — Весело ли вам на нашем балу?

— Да, баронесса, — отвечали гости.

— Не желаете ли поиграть в фанты?

— С радостью, — сказал Арман.

— А каковы ставки? — спросил Анри.

— Разве это азартная игра? — удивился кто-то, — Как можно?

— Очень просто, — объяснил выдумщик де Марсе, — скидываемся, например, по сотне и пишем каждый на своей карточке задание, сбрасываем, перемешиваем, тянем по очереди, и те, кто не смогут выполнить свой фант, выбудут, победители же поделят между собой деньги.

— Но, ... — испугался чего-то Феликс.

— Да, — утвердил его догадку Анри, — по-другому и не получится.

— Только, ради Бога, господа, — без драк!..

— Как пойдёт.

Эжен прикинул меру жестокости предстоящей игры, но убоился лишь не найти в карманах сотни; однако, нашёл и передал в кассу, хранить которую поручили госпоже Листомер. Дельфина нашла и раздала карточки и грифели, приготовила мешок для фантов. Склонившись над записками, игроки имели вид предьявольски коварный. «Что ж, — подумал Эжен, — все хитры, и я не лопух» и написал: «Вы должны Растиньяку тысячу франков». Да, так, вроде бы, не слишком нагло. Может, конечно, кто-то превратит свой билетик в полумиллионный вексель... Ну, и пусть себе обнимется со своей жабой, а мы народ не жадный... А вот как каждый заломит себе сумму?... Да нет, зазорно...

Не слишком довольный собой, он бросил карточку в мешок.

Первого испытуемого выбрала Дельфина — им оказался Анри де Марсе, и его фант гласил:

«У вас десять минут на то, чтоб доставить в наше общество ещё одну женщину».

Франкессини поднёс к его глазам циферблат своих часов. Анри быстро вышел из зала и вскоре возвратился, ведя под руку Терезу.

— Кто скажет, что я не выполнил задание!?! — воскликнул он, — Признаться, господа, я ждал от вас большего.

Тереза постояла немного у стены, убедилась, что с госпожой всё в порядке и ушла к себе.

Новым игроком победитель назвал д'Ажуду-Пинто. После повторного оглашения португалец, держащий в правой руке недопитый бокал, а в левой — два осушённых, разболтанной поступью приблизился. Изрядно захмелевший, он попытался освободить десницу, за чем пролил вино и разбил один из бокалов; над ним уже посмеивались, но судьба пока хранила его.

«Отберите у маркиза д'Ажуды его дурацкую булавку» — вот, что требовал фант.

— Что-то пока не клеится наша потеха, — вполголоса посетовал Арман.

— Ничего, — ответил Анри, — Только начали.

Д'Ажуда закинулся назад и расхохотался в потолок, выкрикнул на сломанном внезапно французском:

— Ну, кто скажет, что я не выполнил!?!... Вот она у меня — булавка! Добыча! Желая вам того же удача, господин де Манервиль!

Поль вытянул предписание: *«Заставьте графа де Марсе сыграть на скрипке».*

— Рано вы почили, — заметил Анри кто-то.

С балкона, из оркестра уже несли в зал инструмент. Эжен не знал, умеет ли де Марсе музицировать, но в способности того повиноваться он крепко сомневался. В бесстрастных

кошачьих глазах графа читалось издевательское *ну же, заставьте меня*.

Манервиль минуту молча давил на него взглядом, потом зашептал что-то ему в ухо. Анри поменялся в лице, но выстоял — отстранился и по-прежнему насмешливо спросил:

— А вы до сих пор этого не сделали? Ну и ну...

— Так вы отказываетесь?

— Что делать. Доводы слабы.

Противник пал духом, но вдруг глянул на Феликса и возапеллировал:

— Господин де Ванденес, не составит ли вам труда уговорить этого *mongrela* попиливать полминуты?

Прославленный своей безотказностью, королевский секретарь однако качнул головой:

— Сударь, что помешало вам самому столь же вежливо попросить графа?

— Он этого не стоит.

— В таком случае и я просить его не стану.

— Я разумею, что господин де Марсе не достоин **моих** просьб; **ваши** — дело другое.

— Я не более любого присутствующего претендую на честь послужить вам, — деликатно указал ему на место Феликс.

— И всё же будьте любезны... — зубами держался горе-шантажист.

— Да бросьте! — возник попутанный бесом д'Ажуда и, видимо, в пример запустил через плечо пустой бокал, — Было бы из-за чего стараться! Музыка — это рукоблудие!

— Наоборот, — просто, но веско возразил Анри, глядя вверх.

— Что же в таком случае вы, маркиз, считаете искусством? — спросил Ронкероль.

— Фехтование!

— Считайте, что уговорили, — Ронкероль снял левую перчатку и легко, словно цветок, кинул её воинственному чужестранцу. Феликс взвизгнул: «Не вздумайте!», но никто его не слушал, только Франкессини тихо сказал ему: «Это неизбежно», а слуги побежали за оружием и вскоре раздобыли пару шпаг. Новый герой бала взмахнул своей, как дирижёрской палочкой и крикнул музыкантам: «Жигу!».

— Поединок не будет честным, — не умолкал и Феликс, — Трезвый против пьяного!..

Ронкероль издал лихое *ха!*, потребовал бутылку вина, опрокинул её себе в рот, отёр рукавом губы и отсалютовал противнику.

— Что я говорил, — напомнил Эжен оказавшемуся рядом Клеману, — Комедийный капитан...

— До первой крови, — распорядился Арман.

Гости и хозяйева встали широким кругом, чтоб каждому видеть, как сойдутся француз и португалец, даже госпожа Листомер покинула канапе, даже слуги заглядывали из-за голов почётных зрителей. Бал превратился в турнир.

Менее всех был доволен Эжен: он не видел в действиях дуэлянтов ничего искусного, напротив, их движения казались ему небрежными, неловкими. Вместе с тем он чувствовал к ним нежную жалость, особенно к петушистому эмигранту, которому определено не на что было надеяться. Довольно скоро противник кольнул д'Ажуду в левое плечо выпадом, который невнимательным и нервным зрителям показался чуть ли не убийственным. Рана же была лёгкой — тут Ронкероль действительно проявил что-то вроде мастерства. Пораженец остолбенел, свернув голову вниз, вперился в больное место, а очнулся, лишь когда победитель отнял у него шпагу и для пущего самоутверждения выдернул булавку с девизом из галстука бедняги. Громогласно прокляв Ронкероля со всеми присутствующими на родном

языке, д'Ажуда уплёлся в угол, рухнул на кресло. Возле него тут же захлопотали слуги, более-менее знакомые с такими ситуациями. Подошёл к нему и любопытный Эжен.

Опозоренный со всех сторон маркиз, вытрастил на него бешеные глаза, выпустил шквал тёмных ругательств, потом просипел по-французски: «Помяни моё слово — с тобой будет всё то же, что со мной, и ещё хуже!».

«Того же не будет, — подумал Эжен, — Хуже — да, пожалуй, только голыми деньгами меня не возьмёшь», — и отошёл без слов.

Игра в фанты возобновилась по признанию Манервиля выбывшим.

Генерал де Монриво вытянул карточку, делающую его финансово обязанным ангулемскому гостю. Мелкая, в сущности, сумма, но формулировка — даже не дерзкая — жёсткая, безличная: *вы должны...* Словно приказ, отдавая который, смотрят мимо подчинённого. Спасая своё невозмутимое лицо от злых чувств, Арман всей душой отлетел в египетскую пустыню, жар своего гнева обратил в её жар, смешки людей — в шуршание песка, самих людей замёл волной самума. Небо над ним было таким высоким, что, едва склонялось солнце, из зенита в темя глядела вселенская тьма; под ногами рассыпались крупички всех минералов; там, может быть, алмаз плясал с обычным кварцем. Но вот движение песка замерло, он разровнялся, расплавился и застыл глянцевою коркой. Сквозь тающую дымку прошёл траурный кредитор и, весь смущение, промолвил:

— Какая странная фантазия. Я вовсе не нуждаюсь...

Видение генерала исчезло. Он надменно ответил:

— Нуждаетесь вы или нет, мне безразлично. Если я должен, вы получите своё, — и полез в карман.

— Ради Бога! неужели мы не найдём лучшего места и времени для денежных расчетов!? — кто другой непременно внёс бы в реплику ноту брезгливости, у Эжена же на её месте явилась нота раскачния; Арман не обиделся вновь, сказал только:

— Как вам будет угодно, — и прибавил, кивая на мешок с фантами, — Ваша очередь.

— ... *«Пригласите хозяйку дома на тур вальса».*

Многие не поверили, отняли у Эжена карточку, но он не выдумал. Дельфина посмотрела на него, как счастливая невеста, затем её взор взлетел с благодарностью выше.

Все снова расступились — более широким кругом.

— Полный провал, — проворчал Анри, жадный до скандалов.

— Обычно он хорошо это делает, — заметила госпожа Листомер.

В зал заструилась музыка, похожая на свежий воздух. Оркестр сосвоевольничал — вместо возбуждающего вальса преподнёс возвышенную, плавную импровизацию, сразу очаровавшую Эжена. Он обнял подругу, воплощение этой мелодии, очень нежно, и они полетели, как одна большая бабочка-парусник. В эти минуты Дельфина забыла обо всём, кроме любви и своего блаженства. В холодности Эжена она теперь видела не недостаток чувств и не болезненность, но безупречное самообладание, необходимое для благородного мужчины. Всё низменное, плотское, грозящее насильем, ему не свойственно; с ним, как ни с кем другим, безопасно.

Она изгибается назад, ложится на его каменную руку, летит, несомая ею, совсем низко над полом; в её глазах расплывается свет...

Эжен иногда думал, что мог бы сам композиторствовать — если б дал себе труд запомнить, как звучат струны или клавиши. Когда начинали играть, он точно знал, какой аккорд последует за этим вот, как изменится темп и где наступит тишина, оттого ему было

скучно слушать сидя, зато так приятно танцевать. Он уследил, как для последнего великолепия собирается с силами устающая от себя музыка, понял, что Дельфина от своего восторженного томления готова упасть, и под заключительный пассаж подхватил её на руки и закружил.

Сама влюблённая не сразу поняла, что случилось. Она только почувствовала себя на ветру, испугалась за причёску — и тотчас же всё прекратилось, её поставили на ноги.

Зрители немедленно простили Эжену его скучный фант и сменили музыку рукоплесканием. Сам барон де Нусинген несколько раз задумчиво хлопнул в ладоши.

Теперь всё зависело от Дельфины. Она первым делом схватилась за локоны, за ожерелье, воскликнула с приличным запыханием: «Вы совершенно распустились! Как не стыдно!», и почти без паузы быстро шепнула, глядя в синие глаза: «Через десять минут у меня», после чего выбежала из зала, аффективно запрокинув голову и сомкнув губы.

На Эжена спустилась серая тоска. Он оглянулся, словно ища подмоги.

Подошёл к нему Феликс и строго сказал так, чтоб все слышали:

— Уделите-ка мне немного внимания, — взял под руку и вывел в боковую дверь.

— Мне некогда, — предупредил его Эжен.

— Времени не хватает на одни дела, но на другие же оно находится.

— На все ваши нотации вам года будет мало.

— И два года внушений не исправят вас, да я и я не за этим, но **они** — пусть думают: прикрыть вам теперь не помешает. Торопитесь к вашей даме. Я дождусь вас, и тогда поговорим.

— О чём?

— Не мешкайте.

Глава XLI. В покоях Дельфины и в лесу

Альков Дельфины был обставлен по всем канонам рококо. Эжен вообразил, что спустился на коралловое дно Красного моря — красного, потому что такой свет накладывали китайские, должно быть, фонари, большие, круглые, на бесчисленные мелкие завитки резной мебели. На полу в большой расписной вазе стоял букет роз.

Дельфина, распустив волосы, прикрыв наготу лишь полупрозрачной туникой, подвязанной под грудью атласной лентой, сидела на столике. Её ноги были облиты белой глазурью шёлка, ступни прятались в туфельках, отороченных лебяжьим пухом; она нетерпеливо скрещивала их то так, то эдак и манила обеими руками.

Эжен никогда не раздевался перед ней больше необходимого — снятый фрак был верхом его щедрости — пусть ласкает эти дорогие ткани...

— Скажи что-нибудь.

— Тебе не холодно?

— Нет.

Объятия и этот древний танец, простой, как падение капель.

Эжен гладил щекой золотые волосы, осторожно придерживал бёдра, соскальзывающие с его боков, и смотрел в прошлое. Он представлял себе вечер в осеннем сыроватом березняке; он нашёл там поваленное ветром дерево и теперь отпиливает ((когда он занимался этим в действительности, его чаще всего посещали нечистые грёзы)) крону, чтоб потом отмерить и отделить чурбан длиной в три локтя; правой ладонью он крепко держит и водит ручку ножовки, левой — надавливает сверху на её полотно. Спина устаёт, но он не даёт себе отдыха больше трёх секунд, стараясь поглубже вдохнуть и впить глазами золотые и розовые пятна, чёрно-красные черты и извилины веток неба. Труднее смириться с монотонным тонким стоном пилы... Как бы там ни было он не волен прекращать работу, пока не получит какого-то сигнала — пусть это будет плачущий крик сумеречной птицы, похожей то ли на сокола, то ли на кукушку, в полёте часто стригущей воздух короткими острыми ножницами крыльев. Когда она закричит, когда плечам станет больно, тогда и упадёт на землю отрезанная голова берёзы.

Чтоб вымышленное щетинистое бревно не ушибло ему ноги, Эжен отскочил назад, и расстался с лесом; осталась только смертельная усталость, словно он успел распилить на куски и перетаскать домой десяток-другой валежин. Ну, ничего, пройдёт...

— Как хорошо! — прошептала Дельфина, снова притягивая его к себе, — Ты можешь сейчас отнести меня на постель?

Эжен послушно взял её на руки, передвинул чуть живые ноги в нужную сторону, уложил красавицу под край покрывала.

Бедная! *Хорошо* — говорит... Если хорошо, чего стонать?... Но уж так принято: она позволяет себя мучить, уверенная, что доставляет мне удовольствие, а я должен делать это, чтоб она не сомневалась в моей любви... Им настолько страшно чувствовать себя нелюбимыми, ненужными, что они готовы на любое безобразие... В старину любящие защищали друг друга от вечно грозящей смерти, а теперь жизнь кажется настолько безопасной и безбольной, что все сами ищут страданий.

— Почему ты всё время молчишь? О чём ты думаешь?

— ... Ты веришь, что я тебя люблю?

- Конечно, но...
- Это самое главное — чтоб ты была мной довольна.
- Я счастлива с тобой.
- ... И ты... могла бы быть мне благодарной?
- О, да! Скажи же, что мне сделать для тебя.
- Ничего, только... позволь мне... уйти... Прямо сейчас.
- ... Ну, что ж... Если хочешь... У тебя такой изнурённый вид...
- Так я пойду?
- Иди, — в сытом равнодушии ответила Дельфина.

Глава XLII. История любви Анри де Марсе

— Вы прескверно выглядите, — сказал дождавшийся Феликс и прибавил, — Но это вам идёт.

Эжен отклеил плечо от стены, шагнул вперёд и подумал, что, когда создатель света раздавал кавалерам фишки, этот друг проспал, опоздал, и ему досталось самое глупое: корчить из себя филантропа.

— Баронесса позволила мне покинуть собрание, но если у вас ко мне какой-то разговор, я задержусь.

— Речь пойдёт о графе де Марсе, к которому, как мне кажется, вы несправедливы.

— Я к нему никаков.

— Я не хочу, чтоб вы считали его дурным человеком. Если в нём и есть порок, то лишь в том смысле, в каком он бывает в больном сердце. Он прежде всего очень несчастен, и вам, как... вам надо это знать: вы всё-таки... кое-чем связаны... Когда Анри был совсем ещё молод, он страстно, безумно влюбился, но — ах! — та девушка оказалась лесбиянкой...

— Кем?

— Вы не знаете? Так называют женщин, воделеющих себе подобных...

— А что, в то время граф ещё был похож на мужчину?

— Да придержите вы свой язык!.. Сколько бы ни было лет Анри — не родилась та, что не пленилась бы им; беда была не в безответности его чувств, а в том, что его избранница уже жила на любовном содержании — у его сестры.

— Ох, да что вы заливаете! Разве так бывает?

— Жизнь полна самых странных совпадений.

— Я про двудамские романы...

— Ну, бывает же это между двумя мужчинами...

— Господь с вами!

— Он — свидетель мне.

— Что-то больше и осязаемей, чем обычная дружба?...

— Гораздо.

— Хм... Мало им этой мерзости с женщинами!.. Впрочем, может, со своим братом оно не так стыдно... И таких оригиналов тоже как-то по-особому именуют?

Феликсу стало порядком не по себе: сперва Эжен забавлял его своей неискущённостью — и вдруг вместо простодушного юнца ему предстал хладнокровный дознаватель.

— Не отвлекайте меня. Я говорю о любви и горе графа де Марсе. Узнав, что её подруга неверна ей, его сестра, герцогиня... неважно какая зарезала несчастную, после чего удалилась в монастырь...

— Помешались они все на этих монастырях.

— А Анри остался совсем один со своим разбитым сердцем. Потеря возлюбленной почти лишила его рассудка, и он никому не хотел (или не мог) раскрыться. Репутация циника, развратника, даже безбожника — всё это только следы того, чем Анри пытался избавиться от безмерных страданий... Потом (точно не знаю, как скоро) он заметил баронессу де Нусинген... Должно признать, что она необычная женщина — такая добрая, добрая и милая,... какой каждый хотел бы видеть свою мать... Ни одна другая не смогла бы хоть немного уврачевать его раны. При том я не назвал бы её мудрой, смиренной,

бескорыстной и самоотверженной; она скорей вроде... пастушек из рыцарских песен... Их отношения были далеки от идиллии, но то великое инстинктивное нравственное здоровье, коим наделена госпожа де Нусинген, не могло не влиять на Анри благотворно.

— И вывод?

— Роман с такой женщиной был жизненной необходимостью для графа, спасением его души, если хотите, и ревновать к их союзу вам было бы грешно. Ведь вы и сами ищите подле неё какого-то исцеления — не отрицайте.

— Я никак не возьму в толк, почему вы столь озабочены моим отношением к де Марсе.

— Да, пожалуй, самого главного я вам и не рассказал, но здесь не место... Приходите завтра вечером ко мне домой — где-нибудь после шести, хорошо?

— Хорошо. До встречи.

— До встречи.

Глава XLIII. О смерти

В эту ночь Серый Жан не успел подойти к своей новой цели и едва не упустил её навсегда.

Метель разъярилась; каждая снежина мчала в себе яд неземного холода, и налетело их так много, что ближайший фонарь было высмотреть трудно. Ветер не давал вздохнуть.

Пространство разрушилось, дороги не стало, лишь торчал из сугроба железный стебель с тускло желтеющим бутонем. В освещённом круге Эжен увяз по колено. Дыры его последних следов мгновенно затянулись. Он прислонился к столбу и почувствовал, как меркнет страх, как тоска перерождается в покой. Дельфина назвалась счастливой — и отпустила... Макс будет жить с Анастаси. Родители получают деньги. А его единственное желание — оставить воздух тем, кому он слаще, уйти без горя нерасплаченности.

Вспомнил, как крапивницы, раскуклившиеся зимой на стенах и потолках в отцовском доме, с рождения черные и неподвижные, не искали выхода, не бились головами о белёный камень, а прирастали к нему лапами, траурными флагами выпускали и складывали крылья и засыхали. Он, который с первых дней владения руками и ногами искал и вызволял всех насекомых из луж и паутин, смотрел на этих обречённых и недосыгаемых, усваивая их бессмысленную гордость.

Плюнув в левую ладонь, он вытянулся, взялся за фонарное древко, повис на нём; с правой сгрыз перчатку и затлевающими на морозе пальцами расстегнул все пуговицы на груди, надорвал рубашку, чтоб смерть быстрее проникла в сердце.

Глава XLIV. Об отчаянии

Прежде Анне случалось испытывать ужас только перед мужем, но, когда разбежались иденские сатиры и она осталась одна на чёрной дороге, она сама себя увидела единственным источником всех уродств, страданий и злоб земли, единственным в этом мире дьяволом. Ноги отказались её держать. Сама себя мерзкая, она всем телом своего духа грянулась о камни. Она бы хотела жизнь из себя выбросить криком, но он не получился даже громким. Корчась, давя из себя рыдания, слёзы, она не слышала ничего, кроме саднящих хрипов; из всех сил вонзая ногти в шею, — не могла процарапать до ближайшей крови; он ударов головой о камни возникали слепящие вспышки боли, но череп не раскалывался.

Вдруг из самого сердца её отчаяния вымолилось: «Господи, услышь! Неужто в Твоём царстве не найдётся силы, чтобы уничтожить эту тварь!? Если нет в Тебе гнева, то хоть из жалости — помоги! Дай мне исчезнуть, сотри мою душу, убей!!!...».

Прижав к лицу волосы, Анна замерла, ожидая поражения. Судороги её оставили, от спины растекалась слабость. Вот и руки распались в стороны. Сквозь спутанные пряди глаза увидели низкое пустое небо и закрылись с клятвой себе, что навсегда. Подумалось: «Зачем? ... Кому?... Здесь ведь никого нет — здесь ты навсегда один... Всё можно узнать, но ничего не изменишь. Останусь тут, буду играть в свою смерть и никогда ни с кем не встречусь... В сказке про Ватека кара мёртвых грешников — конец надежды, в знак чего у них воспаляются сердца. Но это лживо. Безднадёжность поглощает сердце, как холодная вода... Спасибо, Господи, за эту пустоту и тишину, за то, что эти камни не гнушаются моим трупом...»...

И тут — нежданно, ниоткуда, изнутри началось спасение. Глаза согрелись первыми и превратились в истоки ручьёв, смывающих волосы со щёк, чёрный душный ворот — с шеи; потом затеплилось в груди, в обеих железах и в лёгких. Каждый выдох шёл не в горло, а в молочные сосуды; их вершинки безболезненно вскрывались, и белая тёплая влага стекала подмышки, на живот, в его обрыв, и чёрные лохмотья испарялись повсюду, куда набегала она. Вскоре Анна сама напоминала сатирицу: на ней не было никакой одежды, только подобие тёмной шерсти облепляло запястья и голени, и мыслей у неё рождалось не больше, чем у дремлющей козы. Она дремала, забывая горе. Ей грезилось, будто многокрылые чуда слетелись к ней и понемногу пили её молоко, а то, что стекало у них помимо ртов, равномерно разводили по её телу пернатыми ладошками, собирали и каплили его ей на губы, и она всё глубже и глубже засыпала.

А проснулась она в своей домашней постели. В стороне её отец шептался с незнакомцем — должно быть, доктором, рядом же сидела дочь — Анна могла бы взять её за руку, но не было сил, она только улыбнулась девочке в голубом, а та — ей в ответ.

— Так мы можем надеяться? — спросил отец.

— Конечно, — кивнул врач, и они оба медленно вышли.

Анна не огорчилась, что они не заметили её возвращения. Она с любовью смотрела на дочь, а когда почувствовала готовность говорить, двигаться, Ада выпрямилась, посмотрела ей в глаза и, превратившись в загробницу Огасту, промолвила:

— Я сожалею, Анна, но твой путь ещё не пройден.

Глава XLV. Выживание

Эжена исторг из безжизния обширный внутренний ожог, затем он услышал, как чужие руки управляют с его обезволенным телом, и тут же для него начались такие муки, что он простился с надеждой на смерть: на лице маска из раскалённого железа, ступни и кисти опущены в крутой кипяток, а перед этим — расплющены каким-то прессом. Он дёрнул всеми конечностями и всей грудью застонал столь дико, что напугал своих палачей, как суверенных старух — гром небесный.

Сознание понемногу превозмогло боль. На четырёх склонённых чёрных лицах прочиталось: они люди маленькие, подчинённые, но над ними было что-то ужасающее — круг крошечной тьмы с разбегающимися лучами слабого мерцающего света — двадцать одинаковых лучей; это было солнце в затмении...

Слёзы Эжен почувствовал, когда они затопили его уши. Так как руки были свободны, он стал отирать лицо манжетами, боясь взглянуть на пальцы: они представлялись ему окровавленными и обросшими синей травой огня. Он лежал на дощатом столе в подвальной камере — и что здесь делало помрачённое солнце?

Один из стоящих рядом людей произнёс какие-то слова с воззвательной интонацией и наклонился ниже. У него вместо глаз были большие мыльные пузыри.

— Ты меня не узнаёшь? — спросил он, — Я Орас Бьяншон — помнишь? — пансион Воке, студент-медик...

— Вы можете говорить? — обратился другой, у которого по груди спускались ровными рядами две дюжины окуных глаз.

— Что с вами случилось? / Что вы чувствуете? — любопытствовали остальные — близнец второго и совсем безглазый, длинный.

— Больно, — пошептал Эжен.

— Что болит? Руки? Ноги? Уши? Нос? — допытался медик.

— Всё.

— Ну, и хорошо. Если бы они не болели, нам пришлось бы их отрезать...

— Понимаю, — это слово было полно самого безнадёжного презрения.

— Послушайте, сударь, — обиженно сказал один из мундирных, — вы, по-моему, неверно поняли наше участие в вашей участи. Мы, между прочим, к жизни вас вернули.

— Оставь, Марквар, — посоветовал ему товарищ, — Ты бы на его месте и не так остервенел.

К Эжену обратился длинный:

— Поверьте, вам ничто не угрожает. Мы — служители закона, человечности и церкви — заботимся о вашем спасении. Сейчас вы страдаете, но нашей вины тут нет...

— Вы помните, как на вас напали?

— Напали? Кто?

— Мы нашли вас у дверей, обобранного, даже разутого — и сочли жертвой грабителей, принесли сюда, вот, привели кое-как в чувства... Так вы видели этих отморожков?

— Кто отморожок... — так только я сам, — довоскрес до шутки Эжен, сам всё всхлипывающий от рези и ломоты в руках и ногах, и по носу ему точно только что заехали бульжником, — ... А где мы?

— В старой кордегардии.

Они отвечали расторопно, стояли навытяжку; Эжену было это безразлично, но он видел, что их эмоции в его власти.

— Когда ты в последний раз ел? — спросил внезапно медик — уже без фальшивой весёлости.

Эжен не ответил, только снова провёл по вискам давно промокшим рукавом.

— Не похоже, Бьяншон, что он твой приятель, — тихо заметил солдат или жандарм.

— Растиньяк! Что с тобой происходит? Почему ты так голодаешь? Неужели ради этих вот тряпок!? — Бьяншон дёрнул лацкан изуродованного фрака, с которого даже пуговицы кто-то посрезал, — Неужто тебе свет дороже жизни!? Посмотри, во что ты превратился!

— ... Какой у вас странный светильник.

— Просто птичья клетка со свечкой вместо канарейки, — объяснил Марквар.

Кошмарные миражи Эжена улетучивались, только реальность была не лучше. Он слабо встряхивал руками, свешенными со стола, переступал ногами по поверхности и ворочался бестолково, не зная, куда деваться от ломоты и жжения.

— Потерпите, — просил его долговязый — видимо, молодой священник, — То уже чудо, что ни один ваш палец не отмер на морозе. У нас остался горячий чай. Будете? Вам нужно...

Бьяншон куда-то отлучился; служивые наспех набрасывали протокол. Они уточнили у пострадавшего его имя, узнали для порядка адрес и место, где он был перед выходом в метель, а Эжен ко всему в придачу начал чувствовать неладное в животе. Он приподнялся — отсутствие врача его только раскрепостило.

— Господа, где людям, заключённым в эти стены, приходится справлять приватные нужды?

Ему помогли встать, сунули под ноги ветхие сыромятные шлёпанцы. Он огляделся и увидел ближе к стене такой же стол, а на нём — фигуру, всю покрытую серым полотном. Над ней из камня торчали какие-то ржавые грубые крюки и кольца...

Марквар взял его под руку и повел через короткий узкий коридор в тупик, там отворили деревянную дверь, обкусанную сверху и снизу, надломленную пополам. Дверь облепляли резные ракушки, похожие на больших мокриц, извитых уховёрток; другим украшением была плесень.

— Вот, — сказал, — Бьюсь об заклад, что осталось от самих римлян. Всё каменное. Мы конечно, стелим какое-то шмотьё, но всё равно стужа до костей. Зато чистить не приходится: там, внизу — шахта чёрти-какой глубины. Фонарь вам оставить?

— Оставьте на полу за дверью и ждите меня там, ... в мертвецкой.

Зауток был так тесен, что колени Эжена почти упирались в дверь, которую он плотно закрыл, проложив обрывком подола. Холод действительно проник. Обмороженным рукам, ногам и лицу это только принесло облегчение, но самое нетронутое, тёплое, живое, сокровенное оказалось открытым перед самой чёрной леденящей пустотой. Жалости к себе Эжен не испытал даже теперь, и всё же ему стало страшно: что-то совсем иное наблюдало за ним, ощущывало его со слепым бесстыдством, глубоко впивало бессчётные тонкие когти. Скоро он осознал, что боится не прикосновений этого иного — боится оскорбить его своей ему инакостью и раскаивается, что не сумел ему уподобиться, хотя видел в этом свой долг, — вольный или невольный, но изменник.

«Прах — к праху», — подумал, чтоб попробовать расслабиться, но слишком чувствовал: праха здесь нет, только пустота и камни. Насторожил слух — может, там есть дно, где бежит

вода, пусть смертоносно грязная, хуже чумного гноя, и пасутся сладкоголосые всеприемлющие крысы? Но скважина казалась бездонной.

Привыкшие к темноте глаза нашли прикрепленный к двери ящик вроде почтового, полный бумажных обрывков. Эжен выбрал один из них с волнением тянущего жребий, прибегнул к необычайной способности своего зрения и разобрал кусок истории о том, как мёртвую Цаплю хоронила любящая Выдра.

Это что, сказка? В газете?... А может, это самая лучшая и правдивая газета?

Выдра — юркий водяной зверёк в гладкой блестящей шубе. Почему бы ей не дружить с цаплями? Они могли бы даже охотиться вместе... Но вот цапля погибла... Эжен ясно увидел её, вытянутую за ногу на мокрый песок: растрёпанные крылья (взлетая, она словно ловила кого-то в объятья), уже коченеющие, а шея закрутилась, как верёвка, длинный клюв разинут, язык отслоен, глаз мутнеет, в животе — бурая рана. Он, тринадцатилетний охотник, недавно любовавшийся большой красивой птицей, должен теперь засунуть её нелепо растопыренный труп в ягдташ и тащить домой. Прижимает её крылья к туловищу, поворачивает её на бок, складывает ноги, наконец бережно прячет под крыло голову, не туго перевязывает верёвкой, затискивает в сумку и отправляется обратно; на кухне выслушивает, что чуть нужно было ещё на месте отрезать птице голову: такой огромный клюв чуть не продырявил мешок; что неправильно нёс добычу, что теперь её невозможно есть; тем не менее, к ужину подают её, тушёную с морковью, вся семья наслаждается, один убийца не может взять в рот ни кусочка; его трунливо уговаривают, но вскоре отстают, не мешают даже уйти из-за стола... Он находит голову своей жертвы на дворе, обглоданную котом, и на следующее утро относит на берег, где вчера сидел в засаде, ломает палку от сухого дуба, втыкает в песок, вешает на неё останку (она сурово клонит клюв), вместо крыльев цепляет лохмотья чьей-то выброшенной юбки, насматривается, наплакивается и уходит, надеясь, что больше не увидит ни одной живой цапли.

((Уже через месяц вороны растащили пугало, а по песку гуляла живая цапля. Видел их Эжен потом и во сне, и в яви, и летящими, и дремлющими на берегу. И стрелять их он соблазнялся ещё несколько раз, но никогда не ел. К пятнадцати годам он вообще отказался от дичины, не прикасался ни к зайцам, ни к уткам, ни к перепелам)).

От крестца до лопаток мгновенно вырос и сгорел с корня куст озноба, слегка свело ноги. Эжен сосредоточено сжал пальцами лист, постигая, насколько тот отсырел...

Тут в дверь к нему постучали с вопросом:

— Вы там живы?

От одного допущения вероятности, что могли и заглянуть, Эжена окатил холодный пот.

— ... Дайте мне ещё минуту, — отозвался он, чуть не заикаясь.

Вышел через три. В помещении со свечой в клетке упрекнули:

— Что ж вы фонарь-то — забыли?

— Да, извините. Я так легко осваиваюсь в темноте...

Ему уступили стул возле третьего стола, за которым велись записи, поставили глиняную кружку с горячей водой.

— Глотните-ка... Получше вам?

Эжен отхлебнул, не поднимая кружку, только наклонив её за ручку; на вопрос — покивал.

— Что же нам с вами делать?... На улице — чёртов ад, снег по уши, ветрище... И час уже поздний... Придётся вам у нас ночевать... Только тут ещё человек триста: кто в

кабинете наверху, кто рядом... Здесь, похоже, когда-то тюрьма была, теперь — так, караулка, ну, и пускаем на ночь всякий сброд. Это, конечно, не про вас. Для вас мы бы инспекторский кабинет открыли — там хорошо, да он там сам засел — пьёт, бедняга: жена сбежала.

Участливый жандарм набросил Эжену на плечи свою шинель и поманил за собой; нашли лестницу, выбрались на цокольный этаж, немного нейтрального перехода и — дверь в довольно приличное казённое помещение, типичный участок, куда стоняют мелких воришек, а теперь там разместились дюжины две женщин, одетых пышно, но бедно. Одни дремали в обнимку, другие тихо перебалтывались, привыкшие ночами бодрствовать.

— Вот такая вам представляется компания, — голос жандарма сразу сделался бездушно развязанным. Ночевальщицы обстреляли Эжена насмешливыми приветствиями, оценками, зазываниями. Он же посмотрел в лицо проводнику и сказал:

— Это не годится.

Женщины загвалтели, как потревоженные чайки, а Эжена свели в длинный туннель, посреди которого тянулся путь, отграниченный решётками. За ними у стен рядами стояли нары, и всё отгороженное пространство было занято людьми, тёмными, в лохмотьях. Они лежали повсюду, друг на друге, как сваленная в кучу мёртвая рыба. Много стариков, старух, немало и детей. Провожатый сразу сморщился и зажал нос. Эжен только отметил про себя, что кислорода тут очень мало, а тепла вовсе никакого нет.

— Ну, не в этом же хлеву!.. — взмолился жандарм.

— Может, вернёмся в мертвецкую?...

Но стол, недавно покинутый Эженом, принадлежал уже кому-то другому — сморщенному, мокрому, похожему на большую тряпичную куклу. Стопы, вытянутые, вздёрнутые носками или разведенные на девяносто градусов у обычного лежащего человека, у этого — распались в развёрнутый угол.

— Притащили — ещё дышал, — сказал товарищу Марквар, отрываясь от нового протокола.

Над покойным шептал священник. Бьяншон стоял, отвернувшись ото всех, левой рукой обнимая себя, правой, упавшей, держа за дужку очки.

— Как вас зовут? — спросил Эжен у того, кто дал ему свою шинель.

— Гийом Сельторрен. А что?

— ... За ночь их будет ещё много... Придётся в хлев...

Вскоре Эжен оказался за решёткой среди последних голодранцев. Видно было, как жандарму жаль и его, и своей одежды, обречённой провонять нищенской грязью. Он грубо пихнул одного из бродяг, сгоняя его с нар:

— А ну, катись, свинья, дай место дворянину!

Тот не поднял глаз, покорно скрючился на полу.

— Смеётесь вы что ли? — укорил Эжен своего покровителя, — Какие здесь дворяне!

Тот ничего не ответил и быстро ушёл.

Эжен привык знать, что дворян все ненавидят, и, оставшись один среди бедняков, ждал нападения, кляня Сельторрена и не решаясь даже сесть. Но ничего не происходило; лишь немногие покосились на нового ночлежника и отвернулись, точно в испуге.

На смену его собственному страху пришли пустые вопросы: почему жандарм повёл себя так, слово ему вздумалось натравить этих людей на пришедшего. Намеренная провокация? — Вряд ли. Уж скорей тут выскочила личная обида. Может, он из тех

аристократов, что потеряли всё в лихие девяностые и не смогли восстановить ни прав, ни имущества... А сорвал зло именно на этом типе он наверняка случайно. Просто поблизости к решётке приварено блюдце, на котором плавится сальная свечка, еле мерцающая в духоте, но всё-таки здесь посветлей; свет придаёт решимости...

Присел на край топчана, кутяась: знобило; дышать было трудно, прежние боли не стихали; голова тяжелела, и в ней навязчиво гудела, скрипела, ржаво верещала, вьюжно подвывала изуродованная бальная музыка. Эжен снова заплакал, стиснув зубы, как в детстве, когда не мог уснуть от холода и голодной рези в желудке.

Тут к расплывшемуся огарку подковылял ветхий, сгорбленный, трясущийся старик и стал сгребать почерневшими ногтями оплывшее сало, чтоб совать себе в бороду, похожую на высохшие корни чесночного клубня. Опалённый жалостью, Эжен вскочил, обнял его за плечи и зашептал в его заросшее паршой ухо:

— Господин! Потерпите немного, мы выйдем отсюда вместе. У меня есть деньги. Я вас накормлю!

Старик глянул диче волка, что-то хрипнул, ощупал шинель и потянул её на себя.

Эжен уложил его на своё место, позволил стащить дар Сельторрена и пошёл к другим, повторяя, как его зовут, где он живёт, что он богат и купит всем еды, одежды, даст жильё, а все смотрели на него только с тоской. Обойдя всех несчастных, он кое-как отыскал своё ложе. Никто не завалился в соседи к старику, хотя на всех нарах лежали по двое, а то и по трое: наверное, тот был уж слишком грязен и казался заразным, даже нищие им брезговали, дворянину же ничего не оставалось, как прикорнуть спиной к спине.

Сон обошёлся с ним, как кошка — с мышью: долго мучил, отпуская и ловя, и только через час пожрал.

Глава XLVI. Аборигены Царства Правды

Страница проснулась без обиды и испуга. Камни, на которых она лежала, распались в мягкую чёрную пудру. Руки Анны сами собой создали из пыли новую одежду — более похожую на пилигримскую, даже голову покрыли самотканым чёрным платком. Благодатной находкой стала давно забытая булка, взятая наверху, у печей — она лежала рядом, чистая и не зачерствевшая. Съев её всю, Анна восславила Всевышнего, встала, подобрала посох и пошла дальше.

Начался новый лес, редкий, хвойный. Деревья были выше всех виденных Анной башен, а на земле тут и там лежали валуны — меньший с быка, больший — с одноэтажный дом. «Край великанов», — подумала Анна, но разуверилась, присмотревшись к лишайникам и мхам.

Было трудно отсчитывать время: то, что здесь заменяло солнце — световые пятна, то напоминающие облака над землёй и излучающие мягкий желтоватый свет, то вьющиеся широкими лентами с разноцветной бахромой, то вытягивающиеся белыми столбами, то сжимающимися в клубки разной величины — всё это менялось безо всякой регулярности, а полная темнота не наступала даже когда небо пустело, поэтому Анне было трудно понять, как долго она шла по лесу; она не мерила путь песнями или молитвами, разве что трижды настолько выбивалась из сил, что ложилась на землю и закрывала глаза, а сколько отдыхала, тоже не могла определить.

К ней подходили ещё фавны, заискивающе издали говорили: «Ты так прекрасна! Позволь хоть раз тебя поцеловать». Она отвечала уже не бранью и угрозами, а кротко: «Оставьте меня, подите с Богом». Удивлённые, чуда отступали.

Гигантский бор сменился молодым и густым, как трава, кустарником, а из него путница выбрела к болоту, где наподобие колонн полуразрушенного греческого храма торчали седые, обросшие клювами грибов стволы без крон. На верхушке самого высокого недвижно сидело некто, спрятанное в собственные тёмно-медные крылья. Сердце Анны колко забилося от привычного живым страха, хотя существо было неблизко и вряд ли оно вздумало бы напасть.

Тропинка пропала в волнах мха, усыпанного какими-то красными ягодами, и зарослях чего-то вроде вереска, но вперёд тянулась цепочка дыр-следов, наполненных ржавой водой. Анна тяжело вздохнула, вступила в первую яму и провалилась по колено, чудом не упала, невольно вскрикнула и тут же глянула, не проснулся ли крылатый — вроде нет... Вода казалась маслянистой, была холодной, а до — вязким, как тесто.

Будто назло стёжка изгибалась, ведя прямо к насиженному трёхметровому пню. Но Анна забыла страх от усталости выдирать ноги из глубокой грязи и держать равновесие в трясине. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от трухлявого ствола, он внимательно рассмотрела таинственное существо, собралась с духом и постучала по дереву. Оно — такое ветхое — закачалось от слабого прикосновения. Из пернатых створок показалась седая старческая темноликая лысая голова на тонкой шее с кадыком.

— Хочешь спросить о чём-то, дух зла? — негромко и неспешно произнёс болотный поселенец.

— Что со мной будет, если я поем этих ягод?

— Ты поплачешь, но идти тебе станет легче.

Анна поколебалась и сорвала с кочки несколько ягод, раздавила о небо, и на язык потёк

солёный тёплый сок.

— Они как кровь!

— Они и есть кровь — тех людей, что были убиты, не прожив года.

Не желая того, Анна вдруг вообразила младенца, которого бросают на пол — его личико комкает боль, он кричит словно самим сердцем из раскрытого рта, ему даже голоса не хватает на всю его боль, а женщина пинает его в живот носом деревянного башмака; тельце отлетает в каменную стену, и крик обрывается. Всё будто воочию. Анне казалось, что она хватается и трясёт за горло убийцу, но то было полуистлевшее дерево. Оно глухо закричало, закрепило и упало во мхи, выбрызнув элеподобную влагу. Угрюмый сирин тяжело оттолкнулся, расправил четыре крыла и улетел к темнеющему впереди новому лесу.

Его предсказание исполнилось. Только на опушке, оставив болото за спиной, Анна расслышала сквозь клокотание гнева и зуд жалости, как ноют ноги. Она вытерла от слёз лицо и присела на землю, оставив ступни в тёмной сыри, которая заливала уже всю тропу сквозь чашу, как река — своё русло.

Да это и была река. Сначала вода доходила до середины бёдер, потом пришлось погрузиться по пояс, потом и грудь стало подмачивать, наконец Анна окуналась по самое горло и передвигалась, цепляясь за траву и прутики, пробившиеся по обочинам. Она хотела бы вопреки запрету выбраться — до того измаяла её эта жижа, но земли было не видно из-за кустарника, валежника, корней и стволов. Река-дорога расширялась. Её перегораживали коряги, над ней нависали упавшие деревья, зацепившиеся друг за друга. Анна обнимала их, отдыхала немного, потом подныривала или просто продолжала двигаться дальше. Но вот под огромной сосной, превратившейся в мост над бесконечной канавой, дно пропало. Анна поймала руками какие-то жёсткие пряди, виснувшие с дерева, и вдруг волокна сами потянули её в сторону — туда, где ступни снова нащупали ил. Дно тут было плотней и выше. Страница перевела дух, выпустила спасительные нити, глянула, откуда же они растут — и чуть снова не провалилась от испуга: над ней сидела новая людоголовая птица — уже не старик, а старуха, и те пряди были её волосами.

— Не бойся, — сказала она, улыбаясь, — я сторожу здесь, чтоб вы не тонули. Другого спасения здесь нет. Нехорошее место. Ну, досюда и немногие доходят.

— Спасибо, — ответила Анна, овладев собой, — Мне, наверное, уже не долго осталось идти?

— Лес кончится, а там и твой берег.

— Можно я побуду с тобой немного?

— Ты хочешь о чём-то спросить?

— А ты обо всём здесь знаешь?

— Я и такие, как я, знаем обо всём, — кивнула сирена, — но мы плохо понимаем ваши вопросы, и наши ответы вас огорчают.

— Тогда расскажи мне что-нибудь так, по своему усмотрению.

— Это самая непонятная просьба.

— Прости. Не буду больше докучать.

Глава XLVII. Эжен и жандармы

Даже во сне в ушах Эжена не утихла поковерканная музыка, напротив — она стала громче, резче, хаотичней. Снова сошлись в поединке Ронкероль и д'Ажуда, но на этот раз португальца вытащили бездыханного из лужи крови, а разгорячённый победитель вызвал на бой любого желающего; сам себе сладко ужасаясь, Эжен выступил и не позволил маркизу сделать второго выпада, располовинив его сердце. С балкона орали трубы и сыпали чугуном барабаны. Генерал де Монриво пожелал отвоевать свою тысячу франков. Ему Эжен проколол печень — кровь была черней ваксы. Через его труп перешагнул де Марсе. «Я не хочу больше драться!» — «Тогда она навсегда останется моей!» — граф указал шпагой на Дельфину. Эжен описал своей мгновенный крест, и сначала на пол упала рука Анри, потом — голова. Дальнейшее было безроздышным кровавым сумасшествием...

Два служивых и священник вытянули его за голову и локти из горы человеческих обрубков, прижали к земле, выплеснули на него бадью воды со льдом, но ни одна капля не долетела: он окончательно проснулся.

— Утро, сударь, — сказал Марквар (Эжен глянул по сторонам и не нашёл ничего подобного — темнота, теперь уже почти безлюдная), — Пойдёмте наверх. Мы выдворили всех девиц.

— Вот скот! — ругался Сельторрен, встряхивая шинелью, — Счастье твоё, что окошел!

Заставив высокого гостя встать с нар, жандарм перевернул на спину старого нищего. Тот не сразу и с каким-то глухим хрустом распрямился в спине, его согнутые ноги неестественно накренились, руки так и жались к груди, а от лица совсем ничего не осталось.

— Он умер!

— Давно уж, — равнодушно сказал Марквар, и товарищу, — Что, здесь пока оставим? В мертвецкой некуда.

— Ни в коем случае! — возразил стоящий по ту сторону решётки Бьяншон, — От него здесь такая пакость разведётся, что завтра человек тридцать заживо сгниёт, а вы не удивляйтесь, когда сляжете с грибковой пневмонией или обнаружите на месте лёгкого ушиба очаг гангрены!..

— Ладно-ладно, поняли, — проворчал Марквар, — Сейчас пойдём за носилками, только проводим господина барона наверх.

— Нет, я останусь, — сказал Эжен, — Я хочу побыть с покойным.

— А то не набылись! — скрипел Сельторрен, — Не валяли бы дурака.

Но Эжен склонился над лицом старика, наложил на него свой взгляд, словно воск будущей маски, не отпуская от себя, чтоб не тупилась скорбь, воспоминаний, как обещал спасти — и не успел, и только с честью отыграв роль вновьосиротевшего, пройдя за носилками до пещеры-морга, согласился подняться в приёмную.

От женщин там остался запах дешёвой косметики и ещё чего-то специфического. Эжен уловил воздушные следы в виде ощущения полного беспорядка, мебель показалась ему сломанной, исцарапанной, стены — потресканными, но вскоре его отвлекло окно, на котором сквозь голубые хрустальные папоротники было видно заинедевшее подножье фонарного столба. Сразу понял: небо чисто, солнце встанет через пять минут, встанет оттуда, где сейчас Марквар потчует торфом полукаменную-полужелезную печь.

— Ну, как? — спросил жандарм, почти не оборачиваясь, — Не жалеете, что отказались

тут ночевать?

— Нет.

— Рассказывайте!.. Вы, должно быть, в армии служили.

— Не служил... А вы готовитесь к переводу в сыскное отделение?

— Есть такое дело, — теперь он обернулся; у него было мясистое лицо с непривычно для француза мелким носом; русые бакенбарды смотрели в одну сторону, — Как вы догадались?

— Сам туда когда-то собирался.

— У меня на это было подозрение, но я чего-то не поверил: слишком вы какой-то... деликатный что ли, ... щепетильный...

Этот эпитет был Эжену неприятен: он слышал его от Вотрена.

— Ходят слухи, что в подобных заведениях часто угощают куревом.

Марквар выпрямился, сделал загадочное лицо и поднял указательный палец, затем прошмыгнув за дверь, на которой висела табличка «Инспектор Д. Ожье», и вернулся с очень хорошей для бедняка сигарой.

— Вот. Скажите, что нашли её тут на столе, или что её украла для вас одна из красоток, — подал для раскура подожжённую щепку, — А мне уж пора домой. Прощайте.

— Счастливо.

Эжен сидел на стуле прямо посреди комнаты, созерцал ледяные узоры на стекле и считал секунды до восхода солнца. Слезы снова просились ему на глаза, но он почему-то верил, что невозможно одновременно курить и плакать. Он счёл уместным даже улыбнуться, вообразив себя со стороны: растрёпанное бельё, поруганный фрак, на ногах самая дрянная обувь. Что ж, разве он, собираясь вчера на бал, не желал своему бесподобному наряду превращения в ветошь для чистки туфель? Другое дело — живая кожа в сыпи жгучих, готовых кровоточить трещинок, но каково же тем, обречённым всякий день скитаться на морозе! что перенёс тот старик, прежде чем умереть! и сколько их таких! а всё-таки солнцу не стыдно взойти над Парижем, и на стекле выросла эта колдовская трава, разлетелись над ней алмазные мотыльки...

В приёмную вошли священник, Сельторрен и Бьяншон. Первый достал из шкафа у двери плащ и шляпу и удалился восвояси, второй отправился к инспектору с бумагами, последний постоял у печи, потом сказал к Эжену:

— И что ты пытался доказать? Что ты всё такой же человеколюбец?

В этот миг Эжен понял или придумал: одно: что Орас находит в нём отражение чего-то своего, чего боится; другое: что он, доктор, так же не может простить ему смерти Отца, как сам Эжен не может простить её Дельфине. Последнее прозрение было таким слепящим и подавляющим, что ум воспротивился, вытолкнул его на периферию самых запасных версий.

— Доказать?... Кому — тебе? За тобой мне точно не угнаться. Что ты тут делаешь? Бескорыстно ведёшь учёт бездомных жмуров и выхаживаешь недодохших, чтоб их снова вышибли на улицу? Или для тебя здесь разом и лаборатория, и театр лучших анатомических трагедий?

— Да, трагедий! — крикнул врач, — Знаешь, что они раньше делали с трупами? Тебя водили в тот угол, где пол проломлен в катакомбы? — так их просто туда скидывали, вниз! А там вода, воздух, понимаешь!?...

— А теперь?

— Вывозят и хоронят... В яме где-то в пригороде. Так от них хоть вреда не будет. Мы,

врачи больницы Милосердия, следим за соблюдением здесь какой-то санитарии... Да, спасаем кого можно. Ты против?... Да не будь меня здесь, ты сам сейчас валялся бы в куче гнилых костей; тебя обгладывали бы крысы, и никто из людей никогда бы не узнал, что с тобой случилось, куда ты пропал!.. Тебе, похоже, это безразлично?

Эжен не знал, что отвечать; у него разбалчивалась голова.

Сельторрен вышел от инспектора и сообщил:

— Очухался. Через четверть часа будет с вами говорить.

Он казался смертельно сокрушённым — видимо, всё из-за шинели... Когда он скрылся,

Бьяншон заговорил другим тоном:

— Слушай, я беден, и все друзья мои недоедают, и на работе я всякого насмотрелся, но ты — тебя даже нельзя сравнивать с живыми людьми, ты же ходячая мумия!.. Сейчас я сбегаю в булочную, куплю что-нибудь, и ты немедленно съешь!

— Я не голоден.

— Что?!.. Ты не ешь — и не хочешь?... Давно это началось?

— Года полтора...

— Ну, знаешь! я это так не оставлю! Я о тебе позабочусь.

— Без тебя есть, кому,... — ответил Эжен, растирая горячий, тяжёлый лоб.

— Тогда я хоть им сообщу. К кому мне идти?

— К Эмилю Блонде в редакцию «Дебатов».

— ... Сегодня суббота. Там, наверное, закрыто...

— Значит на д'Артуа, в дом 48, а квартира... в среднем подъезде на последнем этаже — прямо. Номера там нет. Дверь обита клеёнкой, жёлто-розовой какой-то.

— Ладно. Жди, — умчался, запахиваясь на бегу в зеленоватое пальтишко.

Эжен подумал, не прилечь ли на кожаный диван, не подремать ли ещё чуть-чуть — не для удовольствия, лишь чтоб забыться. Он знал, что далеко ещё не окупил свой ночной каприз. Холод поразил не только кожу. Вот уже ломит суставы ног, шею, спину; лёгкие набрякли...

Но час назад тут вытягивала ноги полнотелая особа, у которой поры носа были так капитально забиты грязью, что казалось, она его только что сунула в плоску маковых зёрен, или что на этом носу, как на мужском подбородке, густо пробивается чёрная щетина.

Следующим плодом опьяневшей от лихорадки фантазии стал уже совершенно мохнатый нос, но тут из своего кабинета выполз рябой моржеподобный инспектор. Он обрушился на стул за столом, размазал по нему помятые протоколы и, как колокол на башню, втянул на Эжна свой взгляд — бирюзовые радужки в малиновых белках — и немедля снова уронил его в бумагу. Эжен лизнул палец и загасил им окурок, который тут же сунул в карман.

— Таак, — затянул Ожье, — Бароон де Растиньяк... «Возвращаясь с бала у господ де Нью-син-жен в голодном обмороке... ограбился невыясненным числом неизвестных... впоследствии чего получил отморожения первой и второй степени передней части головы и конечностей...». Ндаа,... не лучшая ваша ночка... Давайте-ка сюда поближе.

Эжен подволок свой стул к столу и оказался в метре от инспектора. В своём ореоле сивушного духа тот показался покрытым серо-зелёным берёзовым лишайником, только нос краснел незрелой сливой и глазницы наполнял розовый кисель.

— Моя ночь лучше этого рассказа о ней.

— ... Наверное, это было что-то умное,... — инспектор заглянул в стакан, из которого торчало перо без оперения, потянул себя за шейный платок, сильно склонив голову набок, —

... Значит, бал... Полагаю, вы там хватанули лишнего.

— Нет. На балах почти не пьют: там же приходится танцевать...

— А вообще-то частенько закладываете?

Эжен мог ответить «да» и этим не только расположил бы к себе собеседника, но и не солгал бы, но ответил: «Вовсе нет», — и тотчас отведал презрения из красно-голубых глаз, правда, мимолётного.

— Врагов у вас много?

— Не думаю. Я слишком мало с кем общаюсь.

— Уверены, что случайно угодили в эту передрагу? Что никто вас не подкараулил?...

— Тут написано: «иных телесных повреждений нет», и я отлично помню, что был один на улице, пока не потерял сознание.

— Нну-ну... Тогда последнее средство: составьте перечень похищенных вещей с подробным описанием оных. Так у нас будет хоть что-то, чтобы отыскать ваших воров.

—хлопотно...

— Извиниите! Совершилось преступление, и ваш гражданский долг — помогать правосудию.

— Я действительно обязан был бы вам содействовать — в качестве свидетеля, но как пострадавший — имею право проявить христианское всепрощение, а вы не можете открыть дело без моего требования или согласия.

— Воот как? — Ожье привстал, его белки слегка обесцветились, — Вы юрист?

— Юрист.

— Тогда вы знаете, что полагается сделать.

— Письменный отказ от иска? Пожалуйста.

Пока Эжен выкладывал на бумагу последние силы, инспектор хитро шурился, воображая себя гением прозорливости. Через минуту он предложит молодому барону отдохнуть на диване, даже одолжит своё одеяло и подушку, сам же дождётся Сельторрена, чьё дежурство закончится лишь к обеду, вернёт ему протокол на Растиньяка и важно скажет:

— Отвези-ка это в центральное бюро уголовных расследований — пусть посмотрят, нет ли у них интереса к этому франту. Мне он что-то подозрителен...

— Мне тоже показалось: с ним не всё гладко, — поддакнет подчинённый, — но что именно?...

— Он юрист и представляет, куда стекаются все заявления о покушениях, кражах, но, как видно, не желает, чтобы там звучало его имя, стало быть, есть люди, более дружные с законом...

— Пожалуй, да, патрон. Я вот что заметил: когда мы назвали его грабителей отморозками, он повёл себя так, будто это слово ему знакомом и понятно, а откуда, если он просто светский человек? И худоба его, и то, что он так спокойно улёгся среди всякой сволочи... Может, он из тюрьмы сбежал или с каторги... Поглядеть бы, нет ли на нём клейма.

— Ещё не поздно...

— Вы совсем рехнулись, — сонно заявит им с дивана Эжен, — Мне двадцать четыре. По-вашему, я одновременно шгудировал право и мотал срок?

— Учёбу вы могли закончить год или два назад...

— Я специализировался на криминалистике, а с цветной феней знакомился по двухтомному словарю Крево и Орля семнадцатого года издания.

- Всё равно мы отправим ваше дело в уголовное управление.
- Да ради Бога.

Глава XLVIII. Анна и сирены

Лес редел и сушел, земля едва заметно загибалась вверх. Анна всё ещё шлёпала ступнями по как будто торфяной влаге, но идти было несоизмеримо легче, чем вначале чащи. Красные ягоды снова попадались ей, но она боялась на них даже смотреть.

В месте, где деревья совсем расступились, а из моха высились лишь кустарники, в одном из них, похожем на шатёр, Анна увидела чудо — молодая длинноволосая сирена кормила грудью своего птенца-младенца, приобнимая и поглаживая его золотистыми крыльями. Она без страха, дружелюбно взглянула на женщину в чёрном.

— Здравствуй, — сказала, — добрый тебе путь.

— Здравствуй, — пролепетала Анна, чуть дыша от умиления, — Это мальчик или девочка?

— Это моё дитя, — ответила сирена, подтверждая признание крылатой старухи: они не понимают человеческих вопросов, — Не будешь ли добра собрать мои волосы, чтоб они не прилипали к коже?

— Прости, нет. Я могу причинить тебе вред своим прикосновением.

— Если до меня ты дотронуться не хочешь, то, может быть, дитя поддержишь на руках?

К ужасу Анны младенец, месяцев трёх-четырёх на вид, улыбнулся ей, как родной, и протянул трепещущие недоразвитые крылышки, покрытые, как и всё тельце, нежным белым пухом.

— Как ты можешь мне такое предлагать!?

— Я чувствую твоё желание.

— Да, я была бы счастлива хоть разок погладить этого ангелочка — потому что у меня на земле осталась дочка, но неужели тебе не жаль малютку? Ведь я могу её (или его) погубить!

— Тебя жаль, ты поражена злом, тебе нужна наша помощь.

— Нет! Я сама найду спасение!

— Это говорит гордость, но не правда. Возьми дитя.

Сиреныш снова приподнял крылышки и пропел: «аги! гиии!». Анна всхлипнула: «Прости меня, крошка!» и, опустившись на колени, прижала это создание к сердцу. Ей казалось, что она действительно обнимает свою Аду, будто повторяется день рождения её любви к дочери; она прикладывала щёки к пушистому темени и чувствовала, как пульсирует родничок...

Когда Анна насытилась нежностью и отстранила птенца, он выглядел старше на три года, но никаких признаков страдания не нёс. Его крылья удлинились, на них пробились тонкие пёрышки; на голове — густые кудряшки. Он обернулся к матери и весело сказал: «Она почти совсем не злая». Сирена погладила его и поцеловала в лоб, человеку же предложила ещё один дар: «Моё дитя подросло, а молоко осталось. Выпей его ты». Анна ошеломлённо, растерянно ахнула, затрясла головой, но детёныш вытолкнул откуда-то осколок яичной скорлупы, большой, белый и блестящей, как фарфор: «Тебе не придётся трогать». Сирена надавила на груди локтями, и по крыльям побежали в черепок белые струйки, наполнили его. Вкус молока Анна сблизила бы со вкусом косового сока, если бы пробовала его. От напитка ей стало тепло и приятно, она снова приласкала птенца, а женщине-птице заплела волосы в две косы, после чего пошла дальше.

Глава XLIX. О Париже земном и небесном

Как выглядит обиталище журналиста? Орас вообразил комнату, обитую дорожным голубым шёлком, взрызг забрызганным, засаленным, исчерканным, многими местами порванным; большое круглое зеркало в бронзовой раме — покрытое пылью, загустевшей до подобия мастики; люстру размером с мельничный жёрнов — всю в паутинах. В общем, нечто безвкусно-дорогое и испорченное, как сама жизнь этих жалких продажных людишек. Он вполборота встал перед дверью Эмиля, разглядывая огромный сундук, пару ведер, гору каких-то палок и дощечек в углу, и постучал в неё локтем.

Открыла Береника. Вместо ожидаемой горькой затхлости пахло сладким уютom — к завтраку жарились пшеничные гренки на коровьем масле и варился кофе, чей аромат ладил с табачным дымком.

— Вам кого?

— Господина Блонде.

— Милости просим!

Однокомнатная квартира вмещала в себя слишком много вещей, чтоб обстановку можно было назвать опрятной, и всё-таки здесь соблюдался порядок. Вся правая от входа сторона принадлежала хозяину. Вешалкой служила дюжина гвоздей, вбитых в торец книжного шкафа, тянувшегося до перегородки, пёстро обклеенной винными этикетками, какими-то афишами, вырезками из журналов. На гребне перегородки выстроилась шеренга из четырнадцати одинаковых зелёных бутылок. Под ней стоял стол о четырёх соломенных стульях. Там сидели два молодых человека и двое детишек. Один из взрослых развлекал малышей, вырезая что-то из бумаги; другой читал, через каждые две минуты разрезая страницы.

Левая, кажущаяся большей сторона принадлежала женщине. У входа поворачивался в комнату буфет, в углу поблёскивало трюмо, дальше по стене — высокая этажерка, заставленная банками и бутылками, коробочками и мешочками со всякой кухонной сушёнкой и сыпучкой; по её краям свисали пучки трав, над плитой висел большой венок из лавровых веток, уже несколько пощипанных. А там до угла — стол для стряпанья, под которым громоздились пирамиды из кастрюль. На стене муха не втиснулась бы между висящими хлебными досками, половниками, ножами, прихватками и прочим добром.

Небо глядело в комнату из рамы, обитой несколькими слоями войлока, бывшего когда-то пятью цветными одеялами. К стеклу крепилось несколько красивых бумажных снежинок. Весь подоконник был ящиком с землёй, откуда лезли хлипкие ростки петрушки и мощные стрелы лука.

— Мне нужен господин Блонде, — повторил медик.

— Дац ми! — радостно отозвался парень с ножницами.

— Я к вам по просьбе Эжена де Растиньяка...

Через двадцать минут Эмиль и Орас катили к старой кордегардии. «Я так и знал, что с этим неувязком чего-то да стрясётся!» — скороговоркой бормотал журналист, ёрзая, ежесекундно заглядывая в окошко фиакра, тиская в объятиях свёрток тёплой одежды.

Доктор молчал, дремал; его желудок блаженствовал, расщепляя гренку.

Эжена они увидели сидящим на известном диване. Возле него хныкала старуха, у которой со вчерашнего дня не вернулась домой внучка. Кроме них в кабинете был только

малозаметный дежурный — сменщик Марквара. Эмиль бросился к другу:

— Ну, ты даёшь, кошкин ты еж!

— Правильно наоборот: ежкин кот, — ответил Эжен, почти величавым жестом отклоняя эмилев порыв надеть на него носки. Эмиль снял для него с себя ботинки, шерстяной жилет, пальто, шарф, шляпу, сам нарядился в принесённое, холодное, тараторя всякие прибаутки. Фиакр ждал их недолго. На обратном пути журналист принялся расспрашивать про бал: кто был и как был одет, как развлекались, что подавалось из напитков; молодой барон покорно и подробно отвечал по всем пунктам, вызывая у собеседника восторг за восторгом.

— Вам не кажется неуместным ваше любопытство? — не вытерпел Орас.

— Ничуть, — не сморгнул Эмиль, — Я ведь кто? — секретарь света. Мне к полудню сдаваться в хронику, а тут такое зажигаю! Эжен, гоу-он!

— Эжену сейчас нужен покой.

— Покой на кладбище. Айм щу? — спросил болтун у благородного соседа.

— Щу. Гольдене вёртер, — кивнул тот.

Орас мысленно выругался и молчал до самого входа ((идти к себе — в холодную каморку, где и куска хлеба не завалилось — Орас совсем не спешил)) в эженову квартиру, где ждала та же компания, что завтракала этажом выше. Эмиль гаркнул с порога: «Я — работать» и убежал наверх. Береника дожаривала яичницу и кипятила чай; она сказала: «Я бельишко вам приготовила — в спальне».

Общество было нужно Эжену, как воздух, но Рафаэль читал в гостиной, а Орас, увидев еду, забыл, кто такой Гиппократ. Женщина и дети, разумеется, не могли составить ночному страдальцу компании.

Глаза отказывались узнавать комнату; дух камина драл лицо. Эжен сидел на полу, поджав под себя ноги и, пытаясь избавиться от ужасов кордегардии, рвал, словно бумагу, и жёг свою полувлажную одежду: исподнее, жилет, фрак; брюки не спалил, но отбросил в угол, потом сидел, согнувшись к коленям, держась за голову, качаясь избока-вбок. Вот бы, на самом деле, сойти с ума... И так жить не хотелось, а теперь — ... Почти потеряв сознание от тоски, Эжен вдруг озарился новой, самой большой и радостной идеей, верой, что сумеет уничтожить всё то зло. При том ему казалось, что на висках набухает вторая пара глаз и ещё один на лбу, они вот-вот размежатся, но это не страшно, это так и надо... Он навешал и намотал на себя новые тряпки, вернулся к людям.

Много ли, мало ли прошло времени в его отсутствии, но Эмиль уже сидел за столом, обмахиваясь листами с готовой статьёй:

— У меня всё готово. Вот только не знаю, какой заголовок лучше: «Забастовка львиц», «Сколько нужно дам для удачного бала?» или просто «Без женщин»?

— Зачем ты вообще хочешь подчеркнуть именно то, чего там не было?

— Одни женщины на уме, — буркнула Береника.

— Не у меня — у читателей!.. Ладно, по дороге что-нибудь придумаю.

— А вы чего такие грустные, ребята? — спросил Эжен у Полины и Жоржа. Они долго молчали, наконец мальчик вымолвил:

— Мама воскресла.

— Макс привёз её!? А почему я узнаю последним?... Что не так?

— Она потеряла рассудок, — проронила Полина. Береника вздохнула:

— Это уж точно! Я была там с ними, всё видала: она кричала, как резаная; деток то

отталкивала — исчадья, дескать, греха; потом за ним на коленях ползала, вопила, что зачем-де родила их, лучше бы всем было умереть...

— Не повторяй! — взмолилась Полина со слезами.

— Прости, моя радонька, — Береника обняла её за голову и поцеловала, — Я уж увела их сюда от всех этих страстей.

— Надо немедленно ехать к Максусу!

— Я готов, — откликнулся Эмиль, — Только давай по пути заскочим в редакцию.

— И я с вами, — подал голос Орас.

— Хорошо. Врач нам очень кстати.

— Тебе лучше остаться, лечь в постель...

— Без разговоров.

Пока Эмиль бегал со статьёй, Эжен и Орасом ждали в фиакре.

— Спасибо, что пошёл с нами, — сказал Эжен.

— Если кому-то нужна моя помощь, то это мой долг... А то, что я тебя не отговорил от новых штаний по улице, — непросительно!

— Брось. Я всё равно уже не жилец. Завтра/послезавтра ты поставишь мне диагноз «воспаление лёгких» или «менингит». Главное теперь, чтоб с Анастаси всё было хорошо.

— Анастаси... Я её знаю?

— Да. Это старшая дочь господина Горио, графиня-вдова де Ресто.

— А Макс?

— Максим де Трай, отец её детей.

— ... Эти люди тебе дороже собственной жизни? Почему?

— Потому, ... что я люблю их.

«Тебе некого больше любить?» — хотел спросить медик, но в голосе Эжена темнела скорбь надгробного прощания, и Орас решил не соваться в его чувства.

Вторую половину пути Эмиль рассказывал про Верну и его дурацкую привычку в разговоре нарочно, для потехи переставлять слоги и звуки, чтоб получались слова *типазегата, лопоса, воголазок*.

После подъёма на шестой этаж обеспорядоченная комната Макса показалась Эжену заселённой зелёными шмелями. Макс выглядел плохо, видно было, что он не спал ночь, а то и не одну, очень мало ел последние дни и потратил много сил на провальное дело. Он сидел спиной к камину. Одну половину его лица освещало жёлтым, другую густо затеняло.

— Вы рано, — молвил он, не вставая, — Кто это с вами?

— Орас Бьяншон, доктор.

Эмиль издал такой звук, будто ему в лицо прыснули холодной водой, скорчил гримасу возмущения, но пока смолчал, насупился и затаился.

— Что Анастаси?

Макс понурился, качнул головой:

— В дороге я держал её под гипнозом, а здесь освободил... В старые времена её сочли бы бесноватой. Когда Береника увела детей, стало совсем страшно: она выла, как зверь, кидала в меня всё, что могла поднять. Посмотрите кругом... Я закрыл её в спальне. — Притихла... Заглянул — а её нет, вылезла в окно...

— И?!!

— Я почти час искал её на крыше. Нашёл совсем замёрзшую, бесчувственную. На ней ведь только одна монашеская рубашка, а там такая метель!.. Пока я её нёс и укладывал в

постель, она укусила меня за руку, точней... попыталась укусить,... а то, на что ей хватило сил, было скорей похоже... на поцелуй...

— Не отчаивайтесь, — тепло сказал Орас, — то, что ваша дама переохладилась, конечно, нехорошо, но женщины слабы лишь сточки зрения литераторов, с медицинской же — они очень выносливы, ну, а про женское безумие все мои коллеги говорят, что оно лечится легче простуды.

Макс наконец зафиксировал взгляд на посетителях, причуялся, встал, подошёл к ним; в его глазах угас вопрос и загорелась злоба, адресованная Эжену:

— И в какую канаву ты увалился вместо того, чтоб идти на бал? — просипел он, поднимая руки в покушении на побратимово горло. Эжен отвернулся, бросил спутникам:

— Расскажите ему, — и скрылся за спаленной дверью.

Анастази скорчилась в углу на кровати, закутанная в старый тёмный плащ. Она не спала.

Нигде, даже в зеркале Эжен не видел настолько изуродованного человека: лицо сначала долго иссыхало, потом всё распухло от плача, глаз было почти не видно за серыми мешками, от пышных волос ножницы оставили жалкую стерню не длинней мизинечной фаланги, зато на шее торчали и загибались длинные чёрные проволочки, и над губой выросли усики, так что несчастная даже на женщину не была похожа. Эжен подсел к ней:

— Анасиази, (- посмотрела —) вы меня узнаете?

— Да, — ответило тихо и простужено, — ты заботился о папе... Где мы?

— В Париже...

— Парижа больше нет.

— Из окна видно купол Дома Инвалидов — его красиво освещает солнце...

— Это не тот, не настоящий Париж, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего; стена его была сложена из главных женских приманок, нашпигованных теми шпажонками, что обретаются в монастырских гульфиках, но краеугольный камень этой стены рассыпался, и рухнула она вся, а тёмные силы смели город с лица неба...

Эжена смутил диссонанс евангельского и площадного, но он напомнил себе заповедь аналитиков: слова — это информация, а информация что пицца — усваивается, если переварить.

— ... Краеугольный камень... — это ты и Макс?

— Когда нет веры человеку, есть ли разница, жив он или мёртв? Предатель — это ничто. Этот город — ничто. В этом небе — пустота... Любовь умерла.

— Да, я знаю! Твой Отец унёс в могилу всю любовь земли. Но — слышишь? — Егс могила вскрыта, и Он вернул нам своё сокровище. Посмотри, — показал свою ладонь, — тут имя твоей сестры, а у Макса — твоё вписано на строку жизни... Он не предатель. Он просто заблудился во тьме, покрывшей мир, когда к Отцу пришла смерть.

— Не позволяй ему меня насиловать.

— Ну, конечно. Я останусь, чтоб охранять тебя,... сестра,... — окно в глазах Эжена расслоилось, и бледные прямоугольники поплыли по густо краснеющей комнате, — Ты отдыхай сейчас, не бойся ничего,... — кое-как поднялся и почти ошупью покинул спальню.

Его ждали, молча и покуривая. Дым и воздух из открытой форточки слегка бодрили, и всё же Эжен снова сел, думая себе, что встанет нескоро, а то и вовсе никогда.

— Как она? — спросил Макс, глядя не менее беспомощно, чем его пленница.

— Узнаёт людей, но рассказывает о небесном Париже, огороженном всякой

стыдобою...

— Это моя выдумка. В любовном забытии Нази являлись апокалиптические видения — мне надо было как-то её успокоить, примирить с этим, а заодно убедить, что мы творим не грех, но самый праведный труд, и я вспомнил Рабле... Как ты сам?

— Как будто поцеловал вчасос чумную крысу, сдохшую позавчера, — такая дрянь во рту; суставы выламываются,... глазам жарко...

— Эжен!..

— Макс, не извиняйся перед ним! — поймал момент Эмиль, — Ты знаешь, с кем он нас заставил общаться? С последним снобом! — все остальные в недоумении уставились на него, а он — гневно — на Ораса, — Доктор, говорит ли вам о чём-нибудь имя *Этьен Лусто*? (есть у нас такой крендель) Так вот с ним этот господин изволил учиться в одном классе и даже жить по соседству, а теперь наше светило медицины даже не здороваётся с другом своего детства, и всё почему? Отчасти из собственной чёрствости, отчасти из-за идей, нахватанных в новой компании! На улице Четырёх Ветров тусуются ребята, считающие себя высшими умами только потому, что вдесятером зарабатывают меньше, чем Береника. Они себе там и политики, и артисты, и философы, и натуралисты, а всякие простые клерки, журналисты (я не говорю уже о светских людях), по их мнению — шваль! Год назад в этот лоховник внедрился было Люсьен Шардон (или де Рюампре — кому как нравится), толковый кексик, твой, вроде, Эжен, земляк; ну, он быстро просёк, что таким маккаром вовек не подняться, и дёрнул в газету — так эти благородные души, вместо того, чтоб сказать, типа: «гуд-лак, малыш! если что, обращайся», зарядили втирать ему, что он на дурнейшем пути, недостойном его мозга и таланта; что самое, блин, лучшее — горбатиться полгода над одной повестушкой, сося лапу и храня зубы в укромной месте. Наш юный гастролёр пропаганде не внял, но компромат усвоил и стал вести себя в профессии так, будто и впрямь любая редакция — ментальный бордель. В один прекрасный день главный гений выпустил книгу, а Люсьену его воображаемый сутенёр намекнул её разгромить. Светлая головушка поплёлся к автору, и вот в своём святилище дружбы юродивый д'Артез сам надиктовал на себя зарез, а, когда вышла статья, этот кретин Кретьен...

— Довольно! — вскричал Орас, багровый, как гранатовое яблоко.

— Да уж, — сказал Эжен, вымученно улыбаясь, — Можно подумать, эти парни поколотили тебя в подворотне.

— Ну, если этого и не случилось до сих пор, — предрёк Макс, — то в скором времени жди, — и чуть заметно подмигнул в сторону Бьяншона.

((Вот так Эмиль и Макс по обоюдному умолчанию перешли на «ты»)).

— Мне по фигу! — рубанул Эмиль, — Я правду говорю! Кретьен отыскал Шардона наплевал ему в лицо, а потом пристрелил на дуэли.

— Так Люсьен убит? — как будто испугался Эжен.

— Нет, — ответил Орас, — Господин Блонде сам не знает, что несёт. Люсьен выжил. Я сам его лечил.

— Ага. Только, раненый, он не мог работать. Его девушка с ног сбивалась, сама слегла и вскоре умерла. А кто она была для этих ханжей? — презренная актриса!.. Лучшая подруга, названная сестра Береники...

— А где он теперь?

— Люсьен? Спроси у господина лекаря. Который на днях сообщит друзьям отрадную новость: граф де Трай со своей любовницей живет в грошовой каморке...

— Утомонись, Эмиль, — потребовал Макс.

— Ладно. Моё дело — поведать, ваше — забыть. Пойду. Да завтра.

Эмиль ушёл. Орас чуть не плакал. Эжен был на пороге обморока. Макс посмотрел по сторонам и утомлённо предложил врачу осмотреть Анастаси — не зря же он сюда шёл... Оставшись наедине с Эженом, он ощупал тому лоб, заглянул в глаза, вдохнул изо рта и, начиная раздевать больного брата, простонал:

— Ну что же ты делаешь! Ведь мы едины не только вдвоём, но и вчетвером...

— Покажи Нази своё клеймо, — Эжену начинал отказывать язык, он торопился говорить, — и не принуждай её ни к чему. Она очень просила.

«Это ты просишь, это тебя я заставил!.. — подумал Макс в раскаянии, — Но как иначе! Вам ведь ничего не жалко, тёмным душам!..»

— Но я должен бороться за любовь!

— Любовь — — яблоня на пепелище — — оживёт или нет... — Божья воля... Значит, видения?... Слышишь меня? Солнце уже село? Спать охота... Глазам... жар...

Макс погладил его по лбу кончиками пальцев, потом отошёл к порогу, открыл холодную тумбочку, вытащил кусок варёного телячьего сердца, треть булки, початую бутылку бордо, банку с одиноким корнишоном, банку с грушевым повидлом и коробку вафель, выложил всё на стол, поставил посуду и стал ждать Ораса. Тот вернулся минут через семь, всё такой же красный, вертя в руках замасленные пальцами очки.

— Давайте пообедаем, — пригласил его Макс.

Медик уныло пожевал, кисло запил и начал отчёт:

— Мне, сударь, нечем вас порадовать, если жизни этих двоих вам дороги. У госпожи Анастаси подорваны нервы, нарушена работа воспроизводительных органов и, возможно, начинается туберкулёз. С Эженом... Он спит?

— Да.

— С ним ещё хуже. Он промёрз до мозга кости и хватанул чёрт знает каких инфекций в ночлежке. Но даже если случится чудо, и прошлая ночь его не угробит, это сделает редкое, возможно, недавно появившееся и ещё неизученное заболевание. Одно из предлагаемых его названий — анорексия. Описано лишь несколько случаев, но все с летальным исходом. Наиболее показателен пример герцогини Дез Эссент: женщина тридцати четырёх лет, замужняя, мать одного ребёнка, жила в покое и достатке — и вдруг умерла... от голода. Её муж нанял самого Деппена, чтоб вскрыть труп и выяснить причину смерти, но лучший хирург Парижа ничего не обнаружил: ни опухолей, ни давних эрозий, ни каких-либо ещё патологий; она просто в какой-то момент перестала есть, по всей видимости, не чувствуя при этом голода. Деппен предположил, что тут имело место психическое отклонение, возможно, распространяющееся по наследству. Знаете, как звали покойную герцогиню в девичестве? Амели де Растиньяк... У Эжена та же картина: одни не курят, другие не пьют, а он — не ест.

— Зато пьёт и курит, — задумчиво оговорил сквозь пальцы Макс.

— Дело не шуточное. Он истощён до крайности и умрёт, если не восстановит аппетит. Впрочем, поздно... Как жаль! Мог бы стать замечательным человеком... Я зайду завтра утром. Не надо, — отверг протянутую купюру, — До свидания.

Глава L. История Царства Правды

Дорога оборвалась из-под аннинных ног; странница едва не полетела вниз с высоты скал Южного берега, только если в Англии они белые, а море внизу — голубое, то тут и земля, и вода, и небо наводят тоску чернотой и серостью. Очертания неясны — насколько в самом деле далеки волны? и они ли там? может, это дюны?

Над невидимым горизонтом горой громоздится грозовая туча, исходящая ливнем. Её зарницы — единственные проблески в бездне. Грома не слышно. Не слышно ничего...

Слева над пропастью нависали седые сухие ели. Справа склон загибался мысом, из которого был вытесан грифон, раза в три крупней великого египетского сфинкса. В пещере его глаза горел бело-голубой огонь, спину белесо обозначала щетина светящегося лозняка, из пасти рушился чёрный водопад, а левое крыло плавно опускалось к низине, и Анна решила пройти по нему.

Когда она уже стояла на лопатке чернокаменного монстра, его око запыхало ярче и из глазницы выползло циклопическое существо, силуэтом напоминающее чертей со средневековых картинок, только словно сотканное из чистого света, не тусклее солнечного. Анна вскрикнула и закрыла глаза, но сквозь шторы век увидела то же создание, уже красное, крадущееся к ней. Она упала на колени, заслонила зрение ладонями и только тогда отгородилась от него.

— Не бойся, — сказала ей чудо.

— Я не боюсь. Мне больно на тебя смотреть.

— Ты боишься. Не бойся, — Анна убрала руки от глаз — сидящей перед ней на корточках крылатый великан показался более человеческим; голос у него был добрым, — Куда ты идёшь?

— К Истинной Матери.

— Зачем?

— ... Очистить душу, ... воскресить любовь.

— Там, где ты шла прежде, ты вредила всему вокруг. Здесь всё может навредить тебе. Но я перенесу тебя до безопасного места. Садись на моё плечо, — чудо склонилось ещё ниже и смиренно протянуло руку.

— Лучше возьми и посади меня сам: я очень плохо тебя вижу.

— Открой глаза.

— Но ты слишком ярко светишься. Мои глаза не выдерживают...

— Так лучше? — красный силуэт померк; Анна взглянула — услужливый демон был весь покрыт просторным чехлом из такого же дыма, как её одежда, и казался под ним просто белым.

— Откуда берётся эта ткань? — спросила она, осторожно садясь на его плечо; он не ответил, — ... Мы пойдём или полетим?

— Сейчас отлив, — отвечал носитель, шагая вниз по крылу, — можно пройти.

— Тебе трудно летать?... Ты меня не понимаешь?

— Я понимал бы тебя лучше, если бы ты не издавала этих звуков... Самое страшное — этот чёрный океан. В нём вся злая память вашего мира. Она всегда скапливалась здесь...

— А где же собираются хорошие воспоминания?

— Две тысячи лет назад над медленным чёрным потоком нашего мира сияла, заслоня

полнеба, иная сфера. Она была вся из лазури, блесков и цветов, видимых даже отсюда. Это была наша отчизна, дом Творения без страха и слабости, единственная радость для нас и надежда для вернувшихся сюда людей. Но однажды цветы стали рассыпаться. Их лепестки опоясали небо над светлым миром; потом отдалились от него и приблизились к нам, крошась в полёте, а то, что достигало нас, оказывалось нашим мёртвыми братьями. Из их тел мы начали строить преграды от океана тьмы... Родина казалась пустынной, но всё ещё светилась; темнели только гнёзда исчезнувших цветов... Прошло ещё время, и лазурный купол покрылся трещинами. Из них истекал сильнейший свет, а отпадающие черепки планеты тускнели и тоже летели на нас. Мелкие падали, пробивали воронки; крупные плавали в нашем небе, снижаясь медленно. От трения с нашим воздухом они пламенели; тянули за собой багрово-чёрные хвосты. Наконец, после множества огненных облётов, нами столкнулось и ядро — в другом полушарии, в океане. Тотчас по всей нашей земле пошли разломы, горы опрокидывались, чёрная волна залинула всю сушу — уцелела лишь тонкая кромка... Века над нами стоял столб света в чёрных дымных кольцах под шапкой вроде вон той тучи, но белой. Не прекращался дождь из раскалённого пепла; реки горели, земля горела и мы горели. Те, кто могли умереть, умерли; остальные изменились... Постепенно огонь угасал, небо очищалось. Суши стало больше, чёрной воды — меньше. Миры срослись. Оказалось, что многие обитатели того, исконного уцелели. Они навещают нас из своего полушария и помогают нам... Живая кромка расширилась, стала целой страной — ты её видела. В самом большом кратере мы построили столицу...

— Но почему всё это произошло? Что погубило светлый мир? — закричала Анна.

— Ты. Кто-то из вас. Любой из вас.

— Да... Это же мы — духи зла... Вы нас ненавидите?

— Мы живём для вас, а те, кто могут умереть, умирают ради вас, — демон бережно спустил Анну на что-то твёрдое и серое. Глянув под ноги, она увидела, что стоит на каменном изваянии старой сирены, той, чьи волосы не дали ей утонуть — они разостлались по чёрному илу... Нет же, это она сама, ставшая камнем или, скорее, сплошной костью. Лапы сжаты и подогнуты, точь-в-точь, как у замёрзшего воробья; крылья распластаны крест-накрест, лопастями; по лицу можно надеяться, что смерть была лёгкой, но...

— Господи! Я её знаю. Она спасла меня... А я... её убила!

— Это в природе вторичных тварей, созданных не Богом. Их существование проще моего и твоего. По их телам ты дойдёшь до плотины, на неё поднимешься и будешь в безопасности.

Анна оглянулась и увидела множество таких же окоченевших, побелевших тел. Ближе всех для нового шага была лысая голова, — должно быть, крылатого старика с болотного пня. Он лежал лицом во тьму...

Прыгая с трупа на труп, Анна приближалась к светлой ступенчатой скале. Хотелось заплакать, но слёзы иссякли. «Моё сердце совсем очерствело,» — думала страница.

Когда до спасительного подъёма оставалось не более пяти ярдов, она рассмотрела, что вся плотина сложена из таких же окаменевших чуд всех пород: подножьем были изломанные, полуизъеденные мёртвые кентавры; выше обнимали друг друга, наслаиваясь, сатиры и ещё какие-то диковенцы. Стена вся щетинилась вытянутыми руками, лапами, ногами с копытами, крыльями, хвостами. Множество трупов сложилось в настоящую лестницу. Не кто-то сбросил их сюда, формируя дамбу, — они сами, очевидно, спускались, находили места, ложились и садились, как можно плотнее приникая. Их были миллионы.

Плотина выступала в море неровным склоном, закруглялась и Бог весть как далеко уходила.

Чем больше жертв, тем меньше живого сострадания — это часто бывает с людьми. Анна спокойно прикинула, куда сейчас нужно прыгнуть, сказала себе, что до лестницы близко, представила себе, как вскарабкивается, идёт и минут через двадцать-тридцать добирается до порта. Может, и не так скоро, но какая разница? она уже столько прошла, испытала, узнала, что едва ли вновь чему-то поразится.

Глава LI. В которой Эжен осваивает виртуальное моделирование

С жаром и давящей болью по всей душе Эжен стерпелся почти сразу, но его пугала темнота, в избавление от которой он не мог поверить. Сознание он назвал вывернутым наизнанку, нашёл его ещё крепким, значит, можно — надо быстрее осваиваться, что-то придумывать.

Что же ему нравится в этом пекле? А скорость — мысль разгоняется, как разбегаешься, чтоб проскользнуть со свистом по льду, — иииии!.. Её теряет из виду рассудок. Страшно? Нет же, здорово!

... Собака гонит дичь...

Он, правда, никогда не утруждал зверей, сам себе пёс. Пусть. Бегает кругами — топот сердца: ближе, дальше, всё скорей. Это не боль, это сила растёт, разгорается.

Вот они, красные змеистые искры, — так выглядят нервы? так выглядит власть? Живой или мёртвый, здесь навсегда или где-то ещё, он знает, чего хочет.

Множит искры: триста семьдесят одна, семьсот пятнадцать, девятьсот сорок четыре — сбивает их в неровный ком, натягивает — и опускает, а они стекают и сливаются, рисуя в темноте три измерения старой липы. Её вращает внутреннее зрение, как на гончарном круге. Она стоит у северного водостока... Не может удержаться, развьюжается огненным снегом.

К страху не вернуться. Усталость — ложь. Летучий свет вырисовывает дверь, крыльцо, облепляет, делая видимой, стену, проваливается в окна, заламывается за углы: первый этаж, второй, третий, на четвёртом всё рушится. Всё-таки жутко: всё-таки пламень...

Он мудреет, творит чудеса: мостит дорожки, превращается в траву, взвивается лозами на тонкие лучи шпалерных решёток, артишоки похожи на сосновые шишки в догорающем охотничьем костре...

Зачем тут ёлка!? Прочь! Сосредоточиться!

Ещё раз: периметр — в точности до одного все 1 807 062 листьев плюща, весь до камушка гравий, все трещинки на плитках; под третьим кустом белой смородины — муравейник на 500 персон...

Нет, всё не то! О людях, для людей, — сначала! изнутри!

Он начинал то из столовой, то с лестничной площадки второго этажа, то из своей комнаты, то из Святилища, но вновь и вновь строение осыпалось.

Кровь давно должна была запечься в жилах, но она кружит по телу, вихрем обрывает с лёгких бутоны кислорода — его глотают нос и рот одновременно.

В распоряжении бесконечность, но желание мучительно спешит, сила сама себя сбивает с толку. Я знаю, — говорит, — всё точно, помню каждую, каждое, каждый...

Надо успокоиться, стать неподвижным центром этой бури. И пока отвлекся, тренироваться на возлюбленных деревьях: ивы над родной Шарантой, юные сосёнки на опушке, просто рябиновый лист — удержать на чёрной ладони внутреннего взгляда.

Если начать с реки или ручья, рыже-копачьим боком ластящегося к ногам ольшаника в зыбком овраге, где вместо земли — немятые слои опавших листьев? Тут начинается — русло неуклонно, нарастают рядышком и мысы-кочки, потянулись и стволы — кора ещё рябит, как вода на ветру, мхи дышат, папоротники развёртывают листья — и сворачиваются обратно, то зелёные, то синие и белые...

От боли в мозгу электрический треск. Чувства небесной бесконечности и гробовой тесноты въедаются друг в друга. Нужно больше воздуха, и вот открываются два новых клапана по бокам черепа и как будто в животе.

Уже не красные клочки, а молниеносно белые тонкие ровные линии намечают общий кубометраж, внутренние переборки, а потом сыпают кирпичи готовой кладки в вертикаль системы отопления — это скелет дома; теперь канализация — она не поднимается выше второго этажа, её главный узел на кухне; теперь быстрее и ловчее карт из рук крупье стелятся половицы, стены падают ножами вроде гильотинных и остаются полупрозрачными, лестницы листаются за три мгновения — так хвастаются новыми книгами и толстыми пачками банкнот.

Четыре этажа с мансардой, боковыми, верхними и нижними подсобками, с огородом и садом — владение готово. Линии и грани остывают, голубеют.

Завершая работу, воображение делит пол на яркие прямоугольники по трафарету стола из подвала кордегардии.

Глава III. В которой Эжен строит расчёты на грани разумения и бреда

Макс засыпал на расстеленном по полу плаще, обессиленный, думая, что должен молиться о спасении брата и прощении любимой, но говоря про себя лишь: «Господи, если одному из нас нельзя теперь проснуться, пусть это буду я: он станет добрым братом Нази, защитником ей и детям, деньги пустит на доброе дело, а мне давно пора...». Однако для него наступило утро, и застало оно его уже на диване. Было светло. Где Эжен? Макс вскочил — и увидел непобедимого товарища склонённым над какими-то бумагами под каминной полкой.

Эжен выглядел страшно: бледный мокрый лоб, в глазах и на щеках лихорадка, в глубокие трещины на губах забила сажа, а до ладоней почерневшие пальцы крутили уголёк из топки, которым он исчеркал четыре листа, повыдранных из разных книжек — там ведь часто попадаются пустые страницы: в конце и в начале, позади портретов, иллюстраций, оглавлений... Он рисовал планы одинакового помещения в горизонтальном разрезе напоминающего крест без одного луча, а боковые были вдвое длиннее верхнего. Каждый восьмиугольник был расквадрачен внутри тонкой сеткой непогрешимой ровности, хотя никакой линейки рядом не валялось; вокруг и внутри каждого рассыпались цифры. Работа была закончена, и Эжен только метался взглядом по чертежам, страдальчески шепча: «Вот чёрт! Как мало!..».

— Это ещё что!?

— Макс! Это Дом Воке. Смотри: три этажа жилых: по пять квартир на каждом — всего 516 метров площади! Если приплюсовать 53 с первого (там была людская и жила хозяйка), то всё равно из расчета два метра на нос мы сможем пустить туда лишь четверть тысячи!.. Ну, хорошо, возможно, детям нужно меньше места...

— Стоп! Ты бредишь!.. Немедленно ложись!..

— Да ты послушай...

— Нет, пока не ляжешь!

— Я в норме.

— Ты весь горишь.

— Солнце тоже горит, но это не его болезнь.

Неумолимый, Макс поднял побратима на подмышки и утащил на диван, потом намочил две салфетки для умывания и компресса, присел к Эжену, занялся его руками:

— Теперь говори.

— Дом Воке уже наш. Хозяйка умерла год назад — мир её праху. Наследников нет. Зданье просто пустовало. Мы с Дервилем дёрнули в префектуру и запросто его приватизировали.

— Так. И ты решил?...

— Сделать его приютом для бездомных.

— В сущности, он им и был...

— Для совсем бездомных, для нищих — и бесплатно!.. Макс! Так надо! Это место было священным, но его осквернили стяжатели и злоумышленники. Если мы вернём туда доброту, бескорыстие, то пятна сойдут, а благодать умножится!.. Это наш долг!

— Успокойся. Я понимаю, — Макс промокнул его губы чистым уголком, снова пощупал лоб, — Как ты себя чувствуешь? давно очнулся?

((Макса не удивили эженовы чертежи: он решил, что устройство и размеры дома новый собственник изучил заблаговременно)).

— Не знаю. Я думал только о Доме. Всего двести пятьдесят! Даже если размещать в коридорах... Ну, хоть сколько-то. Ещё уборка, отопление... Но ведь справимся?

— Раз дожили до этого утра, то — очень может быть.

— Ты говорил с Анастаси?

— Сейчас пойду.

— С Богом!

— Не вставай.

Глава LIII. О превозможении судьбы

— Ты поспала? — спросил Макс без приветствия, глядя на зеркальное отражение комнаты; Анастаси почти не было видно, только глаза чуть светились из норы одеяла.

— Я знаю, почему ты тогда сбежал, — проговорила сдавленно, — Чтобы тебя не обвинили в смерти графа де Ресто... Ведь ты действительно его убил.

— ... Убийство — это большой грех... Но есть один великий дух (говорят, тот самый ангел, на чьих глазах воскрес Христос и который остался вестником у Господня гроба) — его называют Мировым Судьёй. У него можно попросить смерти другого человека. Если он согласится, то приговоренный умрёт как бы сам; истец не понесёт загробной ответственности. Но, отклоняя иск, Судья обрекает на скорою гибель того, кто рискнул обратиться к этой грозной инстанции.

— Справедливо.

— Войти в контакт с Мировым Судьёй можно при содействии посвящённых людей на острове у западного берега Англии. Туда я и поехал... Меня научили особой молитве, дали коробку с одной металлической спичкой, велели выйти ночью на ячменное поле и поджечь единственное там соломенное пугало. Едва я поднёс к распятой кукле огонёк — весь синий, словно горел газ — она не просто вспыхнула — она преобразилась, показалась сделанной из туго переплетённых молний — и заговорила: назвала меня по имени, спросила, что мне надо. Требуя, чтоб твой муж покинул землю, основанием я назвал твои страдания. Прошло немного времени, и Дух ответил, что кара за такую вину постигнет и моего соперника, и меня. Умолкнув, пугало погасло. Свет словно схлынул с него в землю; солома снова стала соломой, не запятнанной ни точечным ожогом... К рассвету я был уже болен, но спросил у посредников: «Что будет, если попытаться оспорить волю Мирового Судьи?». Они сказали: «Не знаем. Попробуй». И тут же сами вступили в борьбу за меня: стали поить всевозможными снадобьями, выпускать кровь, вливать через полую иглу святую воду и лекарства в кровеносные сосуды, согревать и охлаждать, заставляя стоять, ходить, есть, пить; промаявшись полгода, я всё-таки выжил...

— Для меня вы умерли — оба.

— ... Пусть так. Но одного из нас ты ещё можешь воскресить... Эжен сказал, что ты хочешь видеть моё клеймо... Посмотри, — протянул раскрытую ладонь в сторону подушек, не дерзая обращать туда глаза.

— ... Да, тут моё имя... Это след отцовского медальона... Он почему-то был всегда к тебе расположен... Чего ты от меня хочешь?

— Чтоб ты простила, чтоб стала моей женой.

Анастаси села прямо, кутаясь, глядя в зеркало же.

— Я ещё нужна тебе?... Мы были так близки так долго... И этот ожог на твоей руке... — знак того, что я должна покориться... Но я не покорюсь! Оставь в покое моего отца: ты достаточно тревожил его при жизни. Он был не просто прекрасный, бесконечно добрый человек. Он научил меня кое-чему — свободе. Не он для меня — я для него была всегда законом, и ничего ваши клейма не значат. Только мне — решать, а я не вижу тебе никакого оправдания. Ты мне ненавистен, ... отвратителен, как труп!

Зарывшись снова в одеяло, Анастаси тихо заплакала. Макс оставил её.

Эжен сидел у стола и кромсал углём белизну последней салфетки.

— Конечно,... — только и вымолвил Макс, облакачиваясь и скрывая лицо.

— Извини! я лягу скоро, и, должно быть, уж, не встану, но ведь нужно всё расчислить и успеть до темноты! Мне и в правду очень худо, ночью я едва не умер, спасся только этой целью, этим роем черт и цифр. Ты, наверное, заметил, что я был как бы в отключке, но мой ум, в разлуке с явью, действовал в себе самом: рисовал огнём во мраке, строил, настилал и мерил. Я присвоил силу хвори и использовал, как мог...

— Молодец... Она всегда любила шоколад, хлеб с изюмом,... какую бы книгу ей дать?

...

Вдруг страшный крик — из спальни. Оба бросились туда.

Анастаси, дрожа и рыдая, согнулась возле зеркала; она держалась руками за лоб. Услышав топот и оклик, с усилием отняла их, и побратимы увидели ярко-красное, темнеющее по центру овальное пятно на её лбе. Эжен первым распознал отпечаток своего нательного креста, который пленница раскалила на свече и вдавила себе в лицо, используя как рукоятку алебастровую кошку — цепочка обматывала статуэтку, крест крепился к её голове, так что и у маленького идола был обожжён лоб.

— Видите, — кричащий рот в углах перетягивала паутин сохнувших слюен, подбородок изъямился, глаза утонули, — у меня тоже есть клеймо! Они отказали мне в постриге! Потому что я нищая! Но я сама!.. У меня тоже!.. Что ты теперь скажешь!!?

Макс жалобно-взыскующе, бессильно-вопросительно глянул на Эжена, тот ободрительно мигнул, кивнул, и Максу стало ясно, что он должен делать. Он быстро, метко приложил ко лбу Анастаси левую руку. Непримиренка отпрянула, но вдруг успокоилась, разгладилось её лицо, остыли и пересохли слёзы. Чуть комично недоумевая, она возвела глаза к межбровью, потрогала, потёрла, почесала ожог — он тоже изменился: след креста не окружала больше краснота, клеймо вырисовывалось на обновлённой, истончённой розоватой коже так, словно возникло само собой, подобно проявившимся на диких скалах образах Христа или Мадонны.

— Моё сильней, — сказал Макс, торжествуя и страдая — было видно, что его ладонь переняла палящую боль, — Займусь завтраком, — и вышел.

Глава LIV. О силе чёрного океана

На предпоследней ступени лестницы из трупов сидела женщина в красном. «Торопись, — крикнула она, — прилив начинается».

Анна прыгнула на спину новой мёртвой сирены и увидела, что эта последняя, а до плотины ещё три широких шага. Она обратилась ко встречной:

— Что мне теперь делать?

— Подожди, может, кто-то из них ещё прилетит.

— А если я всё-таки ступлю на землю?...

— Ни в коем случае!

— ... Ты человек?

— Не знаю, — ответила та грустно и стыдливо.

Текучая тьма прибывала, быстро поглощая распластанные под ногами Анны крылья.

— Меня сейчас затопит! Помоги же! Позови кого-нибудь!

— Поздно. Только я сама могу тебя спасти, — женщина встала, подошла к самому краю, — Я — Элмайра. Обещай молиться за меня.

— Обе...!.. — словно петля стянула аннино горло: она поняла, что сейчас будет. Красная печальница закрыла глаза, крестом раскинула руки и ничком упала, головой ей под подошвы; бледные локти вздёрнулись из-под сгорающих рукавов, противясь засасывающей жиже.

Подхлётнутая ужасом, Анна пробежала по живому и гибнущему мосту, но на последнем шаге всё-таки увязла; быстро выдернула ногу, взвилась на пять ступеней, оглянулась — а берег пропал. Чернота, безотраженная, бесшумная, неколебимая, скрыла кладбище сирен, и ни краешка от алого платья Элмайры не всплыло. «Господи, помилуй эту бедную!..». Анна дрожала, прижимаясь к древесно-трещатому мёртвому сатиру. Нога всё ещё чувствовала пальцами и пяткой мягкую спину утопленницы, другая, промоченная, казалась невредимой...

Вдруг внутри раскатилась такая тяжёлая боль, словно каменные тиски сдавили лоно, спину страшно свело. Анна закричала, все волосы на теле её духа встали дыбом: у неё повторялись родовые муки. Одной рукой держась за впалый, но терзающий её живот, другой хватаясь за выступы, она медленно карабкалась вверх, то и дело останавливаясь, съёживаясь, громко плача и зовя на помощь. «Я выдержала это раньше — выдержу и снова, — уговаривалась, — Мне не дадут погибнуть и страдать безвинно... Но ведь целый — лучший — мир разрушился... Никто не смог...». От новой схватки внутренний голос заглох, в глазах всё помутилось.

Глава LV. Утешение снегом

«В тот год зима была буйной, неукротимой — первые этажи до половины заносило снегом, потом сугробы оседали, затопляя мостовые и тротуары, а к вечеру лужи превращались в лёд, и если вы не успевали промочить ноги, то позже сильно рисковали их переломать на собственном крыльце. Мы, молодые новожила столицы мира, выпавшие из обжитый домашних гнёзд девятнадцатого века словно в век пещерный, каждый день и час боролись с голодом и смертью, предоставленные собственной смекалке. Вчерашнему селянину оскорбительно платить за питьевую воду, и он подвешивал ведро под жёлоб крыши, сгребал с неё порошу; опытный, хотя и не амбициозный, охотник свивал на подоконнике силоч для голубей, которых потрошил над вчерашней газетой перочинным ножом и запекал в камине, где догорали наломанные в парке ветки. Да, к апрелю ни на одном парижском дереве вы не нашли бы сучка, торчащего ниже вашей поднятой руки, и птицы крупней воробья. На ночь в топку бросались обглоданные косточки, огрызок карандаша, закатывалась картошина и ставилась прокопченная, покоробленная жестянка с плавающим в талой воде яйцом — к завтраку всё будет готовым и, если повезёт, ещё горячим. Летом мы обрывали прямо с балконов и карнизов липовый цвет, чтоб заваривать вместо чая. Впрочем, чай заменяли всем подряд, не пили разве что древесной стружки...» — так Эмиль, маршируя по улице, планировал свои будущие мемуары знаменитого писателя.

С другого края города ему навстречу шёл Орас и думал о воздействии низких температур на микрофлору. Говорят, бактерии впадают в анабиоз, а то и вовсе гибнут на морозе. Этот факт не удивителен для медика, но всю дорогу его преследовали несвойственные фантазии — он воображал, как всюду: под его ногами, на стенах домов, на решётках оград, на черепице, на колёсах карет, в складках плащей и на полях шляп — лежат бок о бок мириады крошечных существ — и спят. И, главное, он знал, как они выглядят, но нарочно не хотел больше верить микроскопам. Его сонные зверьки напоминали то ежей, то мартышек, то спрятавших носы под крылья птах, то болтающихся вниз головами летучих мышей. Он видел, как они шевелятся в дремоте, причмокивают, трутся друг о дружку. Остальное — привычный мезомир и его собственное тело в нём продолжали существовать. Скромный, невысокий пешеход, то снимающий, то надевающий вновь очки, не спотыкался, не сталкивается с другими; он лишь время от времени притормаживал и умиленно смотрел вокруг.

Макс сгребал голой рукой снег с парпетов и держал до истаяния, потом находил новый. На перекрёстке девушка, с виду дочь успешного коммерсанта, посмотрела на него, улыбнулась, как знакомому, и прошла мимо. Макс её сразу узнал — это лицо было у женщины, чью отрезанную голову, насаженную на высокую пику, пронесли когда-то мимо его окон, — вот такое солнце встало над его жизнью. Можно ли что-то исправить? Всё случилось совсем недавно, именно здесь, с этими людьми. Вот почтенный продавец, любовно поправляющий весы, — кто поручится, что не он спускал нож гильотины? Засунуть его пальцы в тиски: где ты был и что делал в девяносто втором, третьем, четвёртом?

— Я всю жизнь был дворником, — тихо и смиренно поведал вдруг тот, — мёл улицы до седых волос; года три назад жена получила кое-какое наследство; приделся, устроился на работу поприличней... Так какого вам печения? песочного имбирного?... Значит, с корицей... Ага, растворимое какао, финики,... — он шарил по полкам и ставил на прилавок

всё, что безмолвно заказывал белокурый покупатель, — молоко прокипячённое, в холоде неделю не прокиснет, — из максова кулака падали последние капли, но боль не возвращалась, — Вермишель у нас настоящая итальянская. К ней хорош томатный соус.

Любовь пробивает кору мозга и окутывает тихими струями, пронизывает плоть как воздух. Себя Макс любил, как обычно любят родителей, продавца — как лошадей или собак. И он думал, что однажды подобное случится и с Анастаси, и даже с Эженом.

— Хау-мач весь этот жрач? — прокричал у него над ухом невесть откуда взявшийся Эмиль, — Я в деньгах, как в шелках!

Он озолотился на эженовом рассказе и уже тащил полную вкусовостей сумку. По дороге консультировался с Максом насчёт подарка для Береники.

Входя в квартиру, они услышали голоса, достойные храма — Эжен с Анастаси сидели на кровати в спальне и пели дуэтом какие-то стихиры. Ослабшие от своих болезней, молитвенники держались друг за друга; их глаза были закрыты. Они не испугались, не смутились, когда их невольно прервали. Анастаси казалась успокоенной: согласилась поест, кивнула Эмилю.

Эжена увели и водворили на диван, где он в двух словах повторил свои намерения; потом, прикрыв глаза, добавил:

— Возможно, вам придётся без меня заняться этим.

— Не, без тебя мы ни фи́га не справимся, — ответил журналист, — Давай уж выздоравливай.

— Доктор не заходил? — спросил Макс, собирающий на стол и на поднос.

— Какой ещё доктор? **Этот!?** - взбурлил Эмиль.

— Вам надо знать кое-что о Бьяншоне, — собравшись с силами, начал Эжен, — он один вместе со мной ухаживал за умирающим Господином Горио, и Свои последние слова Отец обратил к нам двоим; «Мои ангелы», — сказал Он — мне и Орасу.

— Ну, это меняет дело, — громко и быстро смирился Эмиль.

Почти тотчас в дверь постучал лёгкий на помине. Его встретили радушней, чем он ожидал, Эмиль вынул его руку из кармана, чтоб пожать под возглас: «Привет, дружище!». Опешивший Орас не пробовал сопротивляться, только огляделся, и с обеих сторон увидел улыбки.

— Ты уж прости, что я вчера затравил ту байку про Люсьена, — продолжил Эмиль, — Честное слово, мне только хотелось отвлечь ребят от неприятностей.

— Как там дети? — спросил Макс, морщась от непривычки к фамильярности.

— Ничего. О! чуть не забыл! — Эмиль вытащил из-за пазухи сложенную газету, а из неё — шестиконечную бумажную снежинку, тонко-ажурную, идеально симметричную, — Жорж вырезал её для тебя, Эжен. Держи. Чего? — повернулся к нарочито тяжело вздохнувшему Орасу.

— Мои друзья, талантливые литераторы, пишут на жалких клочках, на промокашках, на одноразовых салфетках, а вы переводите чистую бумагу в стружку!..

— Снежинки — не стружка, — возразил неустыдимый Эмиль, — Это работа небожителей! Но если надо, я могу раздобыть вам хоть целую пачку, хоть две! У нас в редакции её горы.

— Я не могу это принять, — застеснялся Орас, словно ему предлагали виллу в Фонтенбло.

— Да ладно! Ты же ведь натырил в своей больнице лекарств Эжену!

— Чтоо!?

— Неет!!?... Так чего ты припёрся воще?

— Поговорить, — ответил за доктора Эжен.

Эмиль прожужжал что-то, взял в одну руку максов портсигар, в другую — круассан и вышел на лестничную площадку; Макс удалился в спальню.

— Нам надо помириться, Орас. Извини, если чем обидел. Не сердись на Эмиля. Не оставляй Макса и Нази. Ты им всем очень понадобишься.

— Я, конечно, но... Нет, так нельзя! Я разыщу лекарства! Ты не должен умирать! Ты!.. Подожди. Я скоро!..

И медик выскочил, чуть с ног не сбив подслушивавшего Эмиля.

Глава LVI. В которой Эжену ставят диагноз

— Лоб не болит?

— Нет.

— Хочешь что-нибудь ещё покушать? Что купить к обеду?

— Всё равно.

— Какую-нибудь книгу?...

— Нет, не надо.

— Может, рукоделье?

— Нет. Я не умею ничего.

— ... Чем же ты занималась в монастыре?

— Мыла полы, посуду, окна.

— Ты устала.

— Нет. Это не трудно.

Анастаси повернулась дальше к печке, почти легла на живот и натянула одеяло на голову.

Макс не мог понять, к чему всё идет, и решил не тратить лишних сил, своих и её.

Эмиль пришил к спинке дивана, чтоб висела на самом виду, и говорил:

— Само собой, какие могут быть в Больнице Милосердия лекарства! Ничего Береникины травы хоть кого поставят на ноги.

Эженова температура нарастала с каждой минутой, к полудню задержалась под самым тридцатьдевятым потолком. Глаза больного, тускло-аметистовые, приоткрывались только изредка; руки не дотягивались друг до дружки на груди. Он отказывался пить; о самочувствии шёпотом жаловался, как о безвыходном безумии:

— Туловище вздулось, оно громадное! но плосковатое... и твёрдое; а сердце в нём, как шмель в пустой железной бочке из под дёгтя,... закупоренной! ногам конца нет, не понимаю, что они такое! руки! маленькие! тоньше рыбьих рёбер, сломанных!.. не разгибаются!.. лицо зачерепело,... словно кость наружу!..

Деятельный Эмиль пожимал и соединял его ладони:

— Да вот они, твои руки — и двигаются, и не меньше обычного. И ничего из обозримого у тебя не распухло.

К сумеркам Орас принёс три пакетика хинина. Макс обмакнул ложку в мёд, осыпал порошком и без спроса сунул Эжену в рот. Больной замотал головой, его лицо стало как сжатый кулак; потом он резко широко раскрыл глаза, показавшиеся совершенно чёрными, и закричал, ни на кого не смотря:

— Вы извести меня хотите что ли!? Не нужны мне ваши снадобья! От них только хуже!.. Разве вы знаете, что со мной!? Вы ничего не понимаете!..

Лекарство всё же пригодились — у Анастаси к ночи тоже начался жар — Макс с порога спальни почувствовал, как нездорово горячет её тело. Она безропотно проглотила порошок, запила горячим сладким отваром и спряталась под одеялом до утра.

Друзья хотели бы остаться с Максом и его страдальцами, но им и работать было нужно, и места тут не находилось. Макс сам нигде не мог прикорнуть. Он дремал, сидя за столом, поминутно поднимая голову с раскрытой медицинской энциклопедии прошлого века, толстой и вздорной.

— Мясо! Мясо! — полувнятно застонал Эжен в первом часу. Он ощущал себя лежащим в саркофаге-шалаше, сделанном из кровавых рёбер, похожих на говяжьих, но крупнее; темно и душно, всюду драная, багровая, мерзко сочащаяся свежеумерщвлённая плоть. Кошмар прогрессировал: собственное существо Эженка как будто стало уменьшаться, а замуравившая его туша — расти, и пустота между ним и той тошнотворной материей была ещё душней и страшней.

Держащий руку на его лбе, Макс всеми усилиями души старался понять, что творится по ту сторону мозгового вещества. И — если можно считать мысли, почему нельзя подглядывать сны? — у него получилось. Ужаса того же он не испытал, постиг лишь содержание бреда: сырое мясо на костях как эмпирическая универсалия и чёрный вакуум расширяющегося вокруг пространства как её неутешительная полярность; *боль или ничто* как формула существования.

— Эжен, — Макс воспользовался обрётённой властью, — Смотри сюда, — он вытянул булавку из гобелена и заставил снежинку плавно поворачиваться в воздухе над головой больного, — Вот, что ещё есть, — сказал легко и нежно, словно голосом самого этого чуда, — Смотри на неё.

И Эжен, пока хватало сил, держался глазами за хрупкий бело-розовый цветок-скелет, порхающий, последний из всего, что есть во вселенной, на самой её границе.

К рассвету он не подавал почти никаких признаков болезни и жизни.

Макс в отчаянии принимался изучать вчерашние чертежи и расчеты, думал: неужели он так и уйдёт!? Надежды были только на Анастаси и на Эмиля, но она молчала, а он не приходил.

Пришёл Орас. Выслушал, как прошла ночь, осмотрел Эжена и проговорил понуро:

— Не все симптомы пока на лицо, но это, скорей всего, тиф... И кризис ещё впереди... Вам надо остерегаться инфекции. Его бельё... лучше уничтожить. Мойте чаще руки, не сидите рядом без необходимости, не прикасайтесь кожа к коже.

— Я знаю.

— Откуда?... Прощайте.

— Тиф... По-гречески — *туман*. По-германски — *глубоко*... А почему так называют хворь? — забормотал Эжен, как только Орас ушёл.

— Из-за бреда.

— А. На ја, — и снова забылся.

Глава LVII. В которой Эжен прощается со всеми и делит своё достояние

— Она ведь не железная? — сказал больной, глядя на снежинку и приподнимая к ней едвауправляемую руку. Приблизился полдень. Макс поднял голову с локтей:

— Что?

— Старики говорят, что умирать надо с оружием, но,... — обвёл комнату несвоим, мутно-тёмным взором, — вот здесь... я не вижу ни одного предмета, которым нельзя было бы убить,... — и улыбнулся как-то удивлённо или жалобно, зашевелился, но сразу изнемог.

— Оружие, — ответил Макс, подходя и поддвигая за собой стул, — это не то, чем убиваешь, а то, что любишь. Это — делает нас сильнее.

— Да, — глаза Эжена, к радости собрата, процветились, — Верно... Знаешь, что я понял этой ночью? Я придумал, как измерить Космос.

— Есть мнение, что он бесконечен.

— Ничего бесконечного не бывает, но это, конечно, такое огромное пространство!..

— Ты наконец-то понял, как бывает не-мало?

— Резонёрить будешь над могилой моей! Дай спички, — сесть Эжену снова не удалось, но он отодвинул затылком и шеей подушку, приподнялся, разгладил на животе одеяло, и, — Смотри, — стал выкладывать палочки в линию, — если сцепить жизни всех существ, населявших землю с самого её возникновения до сегодняшнего часа, все души: и насекомых, и грибов, и бактерий — то за это время можно пересечь Космос от края до края.

— С какой скоростью?

— С предельной.

— Долгий путь... Но ведь жизни возникают и сейчас, каждый миг — новые...

— Ну, так и Космос растёт.

— Интересная теория.

— Нет! я это чувствовал, как чувствую, что холодает или ветер поднимается. Сперва эта далёкость была словно агония ума, и, если бы нервы были вроде пряжи, то их как будто разрывало во все стороны... Я был там, на краю. И воздуха там нет! и света нет!.. Но я всё помнил... про других, про всех, и вот мне начала мерещиться какая-то дорожка, вереница, ось... Тут... ты... Всё снова путается!..

— Выпей, — Макс наклонил к его губам чашку остывшего отвара, влил на глоток, — Не утомляй себя. Помолчи.

Эжен напугал его послушанием, а спустя минут десять выговорил тихо и ясно:

— Жаль, что мы так мало продружили, но ты отпусти меня... Ты прав: я слишком много на себя взвалил... Дервиля бы сюда — оформить завешание...

К нотариусу послали навестившего после работы Эмиля. Из конторы пришёл младший клерк, наскоро оформивший распоряжение: квартиру — господину Блонде, особняк — графу де Траю, капитал (какой найдётся) — господину Бьяншону.

Об однофамильцах Эжен не вспомнил. О священнике не подумал. В густеющих сумерках прошептал одинокому с ним Максусу:

— Ну, давай прощаться.

— У меня есть последняя просьба (- одна рука на голове, другая на сердце —)... Отдай,

оставь мне всё, что ты запомнил в жизни прекрасного; что создало и сохраняло в тебе доброту; лучшие земли твоей души, чтоб твоя сила этот мир не покинула...

— Да как я это сделаю?

— Просто вспоминай всё хорошее, что видел или чувствовал, а я попробую считать это, — Макс уткнулся лбом в раскалённый висок, подсунул ладонь под ладонь, клеймо — под клеймо.

Глава LVIII. Сокровища Эжена

Тьма прозрачна; из её глубины всплывает жемчужная луна в зелено-радужном кольце, отражается в пруду; округ два роя: неподвижный звёздный и летучий — светлячков.

Тьма перетекает в свет, цвет — в цвет, великая радуга лежит на всём восточном горизонте, отзеркаленная в небе запада.

Туманы: в лугах протяжные клочья; комки пара над ямками и лужами — уместились бы в пригоршне; над крутым берегом тонкая пелена, в ладонь шириной, как натянутая; косматый дым над рекой, медленный белый холодный огонь; на опушке полупрозрачный сугроб выше колена; в глубине леса заночевало огромное облако.

Утро несметных рос: сама чистота в россыпях капель в заросли гусяного лука, ковром нежной зелени и крошечных золотых лилий затянувшего прогретую нетронутую пашню; на кончиках резных листьев шиповника, манжетки, земляники, на мягких иглах хвощей, укропа, спаржи, лиственницы, осеняющей маленький домик посреди огорода; на резких полосах осок и метёлках мятлики; на цветах боярышника и яблонь, купальниц и нарциссов; бусами и перламутровой пылью — на паутинах.

Солнце в тумане: свет розовеет, рассекается о каждую хвоинку, молодые сосновые кроны лучатся. Солнце в бегущей, рябщей воде: кружево отблесков вьётся по прибрежным ивам, по столбам моста, и подобное — на каменисто-песчаном дне, среди водорослей-гирлянд и серебристых обломков ракушек.

Тени в тумане сиреневы, на воде — сини. Тени облаков летят над полями.

Снег. Его подобия круглый год: вот цвет с вишен и диких слив, звездчатка в майском лесу; вот метель тополиного пуха, вот листопад, вот пляшут в вечернем луче над преющей соломой или над кувшинками мушки; вот бабочки стаей слетаются на горячую глину у сохнувших луж: большие белые и жёлтые и маленькие голубые.

Свет и цвет. Пыль над дорогой алеет закатным лучом. Синеватый ровный отсвет первого снега на потолке и стенах. Золотистые искры в утреннем комнатном воздухе.

И все оттенки снега и земли, воды и огня.

Вода и цветущие травы: тысячи мелких белых чашечек из реки у берега, кувшинка как превращённое в цветок яйцо; крокусы среди зернистого и ноздреватого снегольда; пушистые метёлки таволги, шишки клевера, синеглазки-вероники, крошки-торички, вереск, колокольчики; липа цветёт — в горле жарко от вдоха; вьюны и хмель.

Деревья: туннели переплетённых над головой веток, пёстрые осенние наряды клёнов, груш, рябин; готические башни старых елей; сердце соснового леса, посрамляющее колонный зал кордовской мечети, — тысяча янтарных столбов, встающих из волн голубоватого и изумрудного мха; седые буки на каменистом склоне; плакучие ивы у вод — листья как серебряные клинышки; пирамидальные тополя на горбах холмов, весёлые двойники кипарисов; дубовые рощи в пойме, пировалища вепрей; жизнелюбивый вяз у забора в трущобах: ему обрубали все ветки, а на следующий год он выбросил такие длинные, тонкие и крупнолистные, что стал похож на пальму; большая старая берёза на лесной поляне, по-дубьи непреклонно раскинувшая ветки, словно растолкавшая соседей, у неё всегда очень мелкие листочки, а у подножья валяются горы потрёпанных еловых шишек...

Излюбленные существа: жуки, стрекозы, бабочки, шмели, кузнечики; бриллиантово блестящие надкрылья, слюда и пёстрый хрупкий бархат, переливчатый глянец, порой

мелкорефлённый или пористый — таинственные, щедро одарённые создания. Жёлтый паук в цветах сирени. Трёхгубая гусеница-единорог, голубой шипик. Восковик в меховом капюшоне. Пчёлы пасутся на подсолнухе, среди цветков в цветке. И прочие — грациозные, стремительные, непорочные.

Ослица с малышом в загоне. Аисты в гнезде. Удоды вспархивают из зарослей цветущего очитка. Белка. Лоси. Кабанята. Пёстрые большие ящерицы на обочине пшеничного поля, на прогретых стенах заброшенной часовни. Ёж шуршит в опавших листьях, предпоследний луч золотит его иглы. Горлинки в лиловых ожерельях. Большой уж прячется от зноя в ручье, под лопухами. Зелёный красношапый дятел. Грузный глухарь на сухой приболотной осине. Старая лошадь. Вислощёкий пёс. Пташки-поползны. Пташки-овсянки. Пронырливый нетопырёнок мчится мимо фонаря, а по земле скользит огромная демоническая тень. Летящая сова, как окрылённая луна.

Образы сменяются всё быстрее, чередования сменяются метаморфозами. Луна за минуту проходит полный цикл, словно вокруг неё обносят солнечную лампу. Затем она, светило, превращается в росинку на древесном листе; в ней отражается полдола, поллеса и полнеба; сквозь её линзу видны белые вены зелёного тела. Они вырываются из мякоти листа, становясь паутиной. Паутину заносит иней, одевают талые капли, обрастают крылья златоглазок. Сквозь их гирлянды проступает розовое облако цветущего кипрея на заброшенной порубке, среди старых елей. Вот оно всплывает в небо, на миг заостряет очертание — огромное крыло над горизонтом — и тут же вскипает пухлой, словно хлопковой кучей — и оседает на землю семьёй грибов. Старея, темнея, они становятся кладкой пичужки в гнезде на кусту крыжовника. Птичья корзинка расплетается, разлетается листьями вокруг пучка спелых желудей. Один срывается, в падении раскрывает крылья майского хруща и тяжело, но верно, поднимается опять. Сумерки наступают и отступают одним вздохом. Жук превращается в стрекозу. В её глазах зелёные грозди калины алеют, крупнеют, рассыпаются углями жаркой печи. Многоцветное пламя рисует тысячи восходов и закатов, сотни гроз и радуг со скоростью, за которой не угнаться ни речи, ни сознанию. Остывшая, огонь и угли оказываются отражением солнца, прячущегося за строем голых чёрных дубов. Потом видно только звёздное небо, плавно, долго несомое рекой.

Но вот из воды выскакивает серебристый лещик.

Белые птицы — гуси, утки, пеликаны, чайки, лебеди — сплываются отовсюду, заполняют реку всю, покуда видно, весёлыми криками сближают берега и возвращают солнце на макушки оживших деревьев, а потом беспечно плавают, расступаясь перед лодкой, в которой сидит единственный видящий их.

Глава LIX. В которой Анна отрекается от зла

Сквозь высокую крону цветущего каштана проглядывало солнце, чуть поодаль — ещё одно, но, замеченные Анной, они оба бесшумно раскатились в разные стороны.

Последним, что помнила Анна, был светящийся великан, нёсший её на плече. Теперь она лежала на чём-то проминаемом, как суфле, но упругом и нелипком, а ноги её свешивались и почти до самых колен погружались в приятную воду. Никакой боли, слабости, тревоги; даже радость свету и зелени. Почувствовав наготу, она набросила на грудь волосы и только потом села. Безмятежность сразу кончилось. Анна вообразила себя одинокой, а на самом деле вокруг неё и зелёного озерца с маленьким водопадом расположилось целое племя сатиров — и молодые козлоноги, и старые, и женщины той же стати, и дети всех возрастов. Все смотрели на неё бесстрастно неподвижными нечеловеческими глазами.

— Здравствуй, мать скорби и тьмы, — сказал самый дряхлый дед.

Анну прознобило от этих слов, но она вспомнила, как сама назвала себя так при первой встрече с этими существами, когда потеряла последнюю спутницу.

— Здравствуй. Ты узнал меня? Ты был с теми, кто увёл Лизу?... Где она сейчас?

— Она спасена, — кивая с улыбкой, доложил старик, точно лакей — хозяйке, и прибавил грустновато — А ты не захотела. Мы тебе не нравимся.

— Дело не в том, — возразила Анна, вытягивая ноги из воды и закрывая коленями грудь, — Там, куда я иду, меня ждёт мой муж. Я не могу изменить ему... Мне... Если вы доставили меня сюда, большое вам спасибо! Здесь прекрасно ((вокруг трава и цветы, бабочки размером с ласточек и птички не больше мотыльков))! Но я не должна здесь оставаться, мне нужно к морю, к причалу, где есть лодки!.. — волнение, воспоминания окутали её новым тёмным дымом.

Сатиры подались назад, а старейшина выступил, словно защищая своих:

— Подожди немного, не сходи с места. Мы позовём тебе носителя.

Он шепнул что-то двум сатириатам. Те ускакали и скоро привели большого, но моложавого, безбородого кентавра.

— Дух зла заблудился, — сказал он, учтиво кланяясь Анне и подходя настолько близко, что ей самой не пришлось бы делать шага.

— Я не хочу ехать на тебе! Я сама дойду! Только покажите дорогу.

— Почему ты отказываешься?

— От моего прикосновения ты погибнешь.

— Но я успею доставить тебя к морю. Я сильнее трав и земли, которую ты убьёшь сразу.

Не мешкая больше, какой-то сатир посадил Анну на кентавра. Ей пришлось для усидчивости перекинуть ногу и жарко-мокрой от стыда рукой схватиться за бархатистое мужское плечо, чтоб убрать её, как только пройдёт страх свалиться.

— Ты не боишься умереть? — завела разговор невольная наездница.

— Мы не боимся.

Кентавр ступал величаво и бодро. Анне было трудно угасить чувственное волнение от соприкосновения с этим сказочным телом. Длинная грива, струящаяся по всему хребту человека-коня щекотала её плечо. «Ведомо ли мёртвым такое состояние? — думала леди, — Вряд ли...» — и принуждённо смотрела по сторонам, размышляла ещё, каково это — полное

бесстрашие, равнодушные к смерти; что нужно было бы ей для избавления от всякой боязни?

...

Красота вокруг была такая, что лучшие английские сады казались нелепыми пустырями. Из-за цветущих кустов роз и жасмина доносились неразборчивые голоса.

— Что вы называете спасением?

— Освобождение от зла.

— Эти спасенные — где-то здесь? их можно увидеть?

— Тебе трава дороже твоих братьев? — голос кентавра начина загроубевать, понижаться, — ... Впрочем, если они не посмотрят в твои глаза, вреда не случится, — он свернул к естественной шпалере плюща, свившейся меж двух смоковниц, встал к ней боком, — Загляни.

Сквозь листья Анна увидела зелёную поляну, на которой резвились и отдыхали под присмотром аборигенов маленькие дети. Их было около двадцати, голеньких, здоровых и счастливых. Розовая, белокурая девочка пятнадцати месяцев бегала за фазаном. Мальчик, похожий на монгола, толстощёкий, со всегда улыбающимися глазами чесал дёсны о кожуру яркого апельсина. Другой, наверное, индус, нетвёрдо сидя в траве, с восторгом следил за мартышками, он то и дело взвизгивал и высоко взмахивал ручками. Самый старший ребёнок, тоже смуглый, катался на кентавре-карлике, кентавре-пони, животная часть которого была почти вороной, а человеческая — негроидной и толстой. В центре лужка лежал необычный сфинкс — женщина-пантера, коренастая и гибкая, вся смолистая, страшноватая, но никто её не боялся. Дети играли её хвостом, лезли к ней на спину. Увидела Анна и чернокожих малышей. Один спал под колышущейся сеткой лиственной тени; другого, сидя спиной к плющу, держала у груди молодая козоножка — видна была только шоколадная ладошка, которая сжималась в такт глоткам, нежно царапая бок кормилицы.

Все детишки то и дело подбегали или подползали к нянькам, или подзывали их к себе, чтоб попить молока. Среди заботниц встретились и обычные женщины, тихие, в тонких белых облачках туник, с покрытыми волосами. Они притягивали к груди головки младенцев и сонно улыбались.

По краям поляны, на камнях под деревьями сатирицы и сатирята плели корзины, но не из голых прутьев, а из лиан, густо покрытых мягкими тонкими зелёными хвоинками, так что в конце работы получалось подобие овального помпона. В одну из таких пушистых корзин бережно положили самого крошечного спавшего младенца, перед этим внимательно его осмотрев, и унесли куда-то. Анну это насторожило. Она нашла глазами ещё одного малыша, уже давно лежащего в траве. Казалось, он на глазах уменьшался, истончался, сжимался в комочек, ступнюшки подвернулись, ладошки закрылись; его кожа меняла цвет, из золотисто-розовой становилась бледно-лиловой. И его скоро подняли, спрятали, понесли прочь.

Анна, забыв обо всём на свете, вскрикнула и вцепилась в лозы плюща — они, уже побуревшие от одного её дыхания, мгновенно скомкались, иссохли, раскрошились. Кентавр подался было от зелёной завесы, но наездница ещё громче закричала: «Нет! что они делают!?!». Тут на голову ей упало несколько плодов, брошенных мартышками, она схватилась за темя и выпустила плющ, но успела разглядеть, что сфинкс одним прыжком взметнулась с лужайки вверх, на деревья и исчезла.

— Подожди! Там два ребёнка — с ним что-то случилось! Они словно умерли! — Анна дёргала почти бегущего кентавра за гриву, била его пятками. Он не стерпел, остановился, опёрся на ствол дерева и ответил глухо, сипло:

— Ничего плохого здесь не происходит...

— Дух зла повсюду видит только зло, — прошипел другой голос — это сфинкс, обогнав, подстерегла их тут, на изогнутом дугой чешуйчатом стволе.

— Хватит меня так называть! — взбунтовалась странница, — У меня есть имя — Анна! Я не такая скверная, как вы думаете. Мне лишь хочется знать, отчего помертвели маленькие дети и что с ними теперь сделают!

— Я мало знаю о людях и не могу её успокоить. Объясни ей ты, и поскорее, иначе мне не успеть, ... — виновато и почтительно сказал кентавр.

— Неси её к набережной. Я побегу за вами и прослежу, чтоб она ни на кого больше не покусилась.

Глава LX. В которой сбывается надежда Макса

Здравствуй, утро.

При мозаично-разноцветном свете Эжен перевёл зрение в микроскопный режим и наблюдал за обитателями своих слёз. Капельные существа держались друг за друга, составляя изогнутые неподвижные цепочки; некоторые медленно плавали в одиночестве.

Соскучившись, попробовал увидеть улицу, вообразил, что распахнул окно. Угол соседнего дома ярко высвечен, фасад пересекает по диагонали синяя, словно весенняя тень.

Здравствуй, милое утро. Ты уже не грозишь вечной ночью.

Макс прервал занятие камином, сел у постели, натянул перчатку и погладил побратима по голове, улыбнулся:

— Итак, мы стратегически не ошиблись и миновали кризис не просто благополучно, но с удовольствием. Твоё желание умереть сильно, однако, как почти у всех (даже у меня) — поверхностно, а в глубине твоей души дремлет мощное жизнелюбие. Грешно было бы не использовать этот ресурс...

— Ну, ты ведьмак! — ответил Эжен, едва шевеля губами скорей от сладкой лени, чем от болезненной слабости, — Обманул меня!

— Ничуть. Случилось всё, что я обещал, а то, на что уповал молча, могло ведь и не сбыться: я не знал, с чем встречусь в твоём ментальном пространстве и как справлюсь...

— Было трудно?

— Что ты! — сияя, воскликнул Макс, — Ты сделал мне по крайней мере три ошеломляюще приятных сюрприза. Обычно, даже при низкой степени активности сознания, человеческая душа как бы огорожена полосой ловушек и лабиринтов, лесом лжи, в котором гипнотизёр может блуждать без конца. У тебя я не нашёл ничего подобного. Твой внутренний мир — один из самых бескордонных. Это не всегда означает гостеприимство, и я готовился бороться с потаёнными чудовищами в его сердце, но ты, как видно, держишь их на крепкой привязи. Наконец, я не предполагал, что, за всю жизнь не бывавший нигде, кроме Парижа и Ангулема, никогда не купавшийся в роскоши, ты накопил такие сокровища радостных впечатлений. Я уже построил свою армию азиатских и африканских, морских и приполярных красот, чтоб провести их по унылой пустыне, но пустыня оказалась роскошной джунглей Перу или Сиама!.. Правда, я не встретил в твоём персональном эдеме того, что там должно было бы быть. Ни одного продукта культуры или искусства! Ни одного человеческого лица!.. Мелькнуло что-то похожее на храмовый интерьер, но тут же превратилось в лес.

— Значит, это и есть мои чудовища, сидящие на цепи.

— Твоя семья? Все твои знакомые и жилища?

— Я провёл тебя туда, куда ты хотел. Чего ещё?...

— Прости. Это только праздные размышления. Давай переоденемся: ты весь мокрый... В каком месяце ты родился?

— В ноябре. Десятого.

— Твоё созвездие — скорпион, а стихия — земля. Однако ты очень привержен к воде...

— Может, у меня просто жажда?

— Что ж ты молчишь! — Макс бросил мимо рук побратима свежую фланелевую рубашку, зашарил по столу и полках в поисках питья, но, не найдя подходящей жидкости,

снял перчатки, очистил мандарин, отщипнул дольку, снова надел перчатки, взял дольку пинцетом и так, словно из птичьего клюва, скормил её Эжену, после чего забрал его бельё, прихватив тряпки ещё и газетой, затолкал всё в горящий камин, туда же отправил перчатки и туда же, в огонь немного погодя сунул кончиками пинцет, но, и прокалив инструмент, не унялся — принялся надраивать ладони тампоном с каким-то ядрёным спиртом. Глядя на его педантичные манипуляции, Эжен только насмешливо псыкнул и, отворачиваясь, махнул рукой.

Глава LXI. О разнообразии

Постаревший на двадцать лет, кентавр остановился у высокого каменистого берега, на последней травяной кочке. Цветущий лес остался далеко позади, под ногами снова серели прискорбные окаменелости, частично поросшие мхами, исчерблённые, затоптанные. Дорога загибалась внутрь чёрного залива и разрывалась вдоль: левая половина уходила на скалистую кручу, правая — сползала вниз. Отсюда Анна увидела причал, точнее догадалась, что это простёртое по тёмной воде серо-белое сооружение, похожее на остов великанова туловища, — и есть стержень адской гавани, пирс-хорда с пирсами-рёбрами.

— Мне туда?

— Да. Возьми это, — кентавр протянул две луковицы инжира, — Съешь, если захочешь.

— Спасибо тебе за всё. (- он повернул было к лесу —) Подожди! А где же сфинкс?

— Кто?

— Чёрная дикая кошка с женской головой.

— Она тебя найдёт.

— Извини, что задерживаю, — Анне было страшно встретиться со стражницей один на один, — От разговоров со мной ты ведь не так страдаешь? Вот ты не понял, что такое сфинкс... А... о сатирах и кентаврах ты слышал?

— Да, но, — на большом и неправильном лице нелюдя показалась унылая, усталая усмешка, — Я не знаю, какое из этих двух слов ты применяешь ко мне.

— Но у вас есть какие-то самонаименования, имена собственные?

— Называй меня, как считаешь нужным, но если я сейчас уйду от тебя, то, может статься, успею ещё кому-нибудь помочь.

Бедный! Вся его жизнь в служении тем, кто приносит в его сады одну отраву, а потом он станет ступенькой над морем страданий... Анна отвернулась и побежала под откос правой тропинки. Она оказалась тупиком, перегороженная трубой диаметром с Большого Бена, которая выдвигалась из скалы, наполовину скрытая в породе, и сливала страшную, похожую на нефть, жидкость. Чёрная река, тугой дугой спадающая в море, дымилась ((здесь Анну снова окутало чёрное дымотканое платье)), но ни жара, ни влажности, никакого запаха не придавала воздуху; она не издавала даже шума. Анна нарочно вскрикнула — проверила, не оглохла ли. Потрогала трубу. Текстурой похоже на коровью кость, да и форма: обломанный раструб, торчащий из пластов... Вскарabкаться не было никакой возможности. Анна присела у стыка трубы с горным срезом, закрыла глаза и стала есть инжир, откусывая по очереди от двух плодов. Отдохнув, она пошла обратно и, уже заворачивая на левую, верхнюю дорожку, столкнулась со сфинксом.

— Я жду тебя, — сказала женщина-пантера, — Тебе полагалось идти тут.

— Я хочу пройти там, — скрывая страх, Анна указала в тупик, — Это возможно?

— Возможно, — сфинкс направилась к трубе; Анна пошагала следом.

— Так ты расскажешь, что происходит тут с детьми?

— В нашем мире мы живём, как вы — в своём, а вы — наоборот.

— Не понимаю.

— Мы движемся к смерти, а вы — к рождению.

— Ах! Так те малыши просто становились ещё младше, пока... не переходили в состояние... внутриутробное?

— Да.

— Я почти догадалась! (- как же отлегло от сердца! —)... Ну, а как происходит их возвращение в тот, наш мир?

— Это совершается на другом материке, который весь состоит из озёр радости; непробудных погружают туда; их ткани растворяются, а зачатое зерно всплывает, взлетает и уходит.

— Зерно? В смысле... — монада?

Сфинкс не ответила. До трубы осталась пара шагов. Подойдя, провожатая обернулась:

— Встань мне на спину и залезай.

Анна взобралась на вершину и соскользнула вниз с бесстрашием бывалого альпиниста, а сфинкс в два прыжка снова оказалась рядом. Небольшая лестница вниз и наконец-то — настоящая набережная, выложенная тёсаным камнем, с высоким и широким парапетом. Слева в горной стене большой зелёный водопад промыл глубокую нишу, а внизу под ним — изумрудное, нефритопенное озеро, в который набережная спадает дамбой, отграничивая эту живую воду от мёртвой морской. Вокруг зелёного озера копошатся аборигены со всяческими сосудами, как будто стремясь вычерпать его до дна.

Оглядывая стаи нелюдей, Анна снова задумалась над их природой. Как ни причудливо было здешнее население, тут не встречалось никого, не упомянутого в человеческой мифологии. Кентавр-девушка-зебра — чудное создание, но оно всё же поддаётся опознанию. Древние ли люди знали об этом мире больше нас, или сами создатели Царства Правды приспособили его к тысячелетним человеческим фантазиям?

От этих вопросов Анну отвлекло мелькнувшее у озера красное одеяние. Она дрогнула, вспомнив Элмайру, и задержалась присмотреться.

— Что тебе там? — строго спросила сфинкс.

— Женщина в красном...

— Вскоре-уходящая. Они все в таких цветах.

— Кто они? Люди? Что значит их название и этот цвет? Расскажи!

— Зачем? Пойдём.

— Когда я шла по чёрному пляжу и уже начинался прилив, до лестницы мне не хватало на один шаг безопасного места, а одна такая женщина... упала мне под ноги, чтоб я смогла по её телу добежать... Она спасла меня, ничего не объяснив, ничего о себе не сказав... — Анна продолжила путь, оглядываясь, находя в толпе среди шкур и кож новые багряные лоскутки.

— Эти люди существуют половинчато. Часть времени они там, среди живых вас, часть — тут. Появляются и исчезают спустя малое время.

— Может быть, их духи переселяются сюда, пока тело спит?

— Для духов спящих есть особое место, но ты не обязательно ошиблась: эти люди редки...

— Значит, возможно, что, утонув, моя спасительница всего лишь пробудилась в своей земной постели?

— Человек, попавший внутрь чёрного моря, никогда никуда не вернётся.

— Она принесла мне, первой встречной, — такую жертву!!?...

Глава LXII. Два поэта

Во сне этой ночи Орас заново прожил детство — с рождения до шестнадцатилетия, а первой его мыслью нового дня стало решение немедленно отправиться к Эмилю. В мансарде на д'Артуа его сразу усадили за горячий омлет с жирной колбасой и зеленью, налили кофе. Рафаэля на этот раз не было за столом: он ещё спал в эженовой квартире. Полина и Жорж играли на кровати с береникиной коллекцией пуговиц.

— Вы с Этьеном Лусто... — вы — друзья? — спросил доктор.

— Мы не конкуренты.

— ... А Эжен?...

— О! за этого я — последнюю рубашку в огонь и в воду до гробовой доски! — протрещал Эмиль, размахивая вилкой; дети и подружка разом посмотрели на него.

— Доска эта, боюсь, не за горами...

— Все там будем, — вздохнула Береника, стирая со щеки тылом ладони.

— Ничего, со смертью Эжена его идеи и затеи не погибнут — это я клянусь!

— Разве у него есть какие-то идеи?

— У кого? — зевая спросил Рафаэль. Он вошёл как раз на эмилевой клятве, под орасов вопрос обнялся и расцеловался с пивной кружкой, в которую ему налили кофе.

— У Эжена.

— В каком-то смысле да, — разглаголил непрошено, — Он — истый макиавеллист. Из всего стремится извлечь выгоду, вплоть до парадоксальной прагматической апологии расточительству...

— Нам пора, — сказал, вставая, Эмиль.

По дороге — Орас с Эмилем отправились к Максудвоём и пешком — доктор снова спрашивал:

— Кто этот твой другой товарищ?

— Рафаэль? Да, собственно, никто. Разорившийся маркиз, возмечтавший покорить весь свет своими талантами. Он два с половиной года просидел на чердаке, сося, как мишка — лапу, остатки наследства за сочинением параллельно философского трактата и — комедии!

— Ты его недолюбливаешь.

— А почему нет!? Он дармоед и всегда им будет. Сводил меня в своё то ласточкино гнездо, просил помочь перенести кое-какие пожитки. Там девочка, дочь квартирной хозяйки, милашка лет пятнадцати, следила за нами, чуть не рыдая. Колочусь об заклад, что все годы его возвышенного труда эта кроха поила нашего писателя чаем с булочками из своего кармана и до рассвета тайком штопала ему носки! А теперь вот Эжен с ним нянчится!..

— Зачем?... Забота девушки объяснима влюблённостью, но Эжену-то какая радость?...

— Я тебе скажу! Он грех замаливает, хочет искупить свою вину перед Люсьеном Шардоном.

— Он в этом сам признался?

— Нет, конечно, но я ведь не дурак. Да ты присмотришься: они даже внешне похожи — Люсьен и Рафаэль. Оба сочинители. И друг друга стоящие паразиты... Вот погоди, Эжен ещё потянет этого прихлебателя в свет!

— Никого он никуда уже не потянет. Он умирает — ты забыл?

— Забыл!!!! — на всю улицу заорал Эмиль, — И ты забудь!!! Он нас с тобой переживёт!.. А если нет, то знай: я на свои средства опубликую все сочинения Рафаэля, напишу на них миллион восхвалений и буду драться на дуэли с каждым, кто вякнет, что есть книжка лучше валантеновой «Теории воли»! — и осёкся, глотая слёзы.

— А я, — подхватил Орас, — отдал бы годовое жалование, чтоб найти сейчас Люсьена, привести его к Эжену и помирить их, если ещё не поздно.

Глава LXIII. *О причинах*

— Что случилось? — впервые начала разговор Анастаси.

— Эжен был при смерти, но я нашёл способ его спасти,... а он мне это позволил.

— А тогда?... Что с тобой произошло **тогда**?... Как ты пристрастился к игре? Почему наделал таких долгов?

— ... Это началось давно, почти шесть лет назад, когда родился Жорж, а мне пришлось уехать в Англию. Там я завёл одно рискованное знакомство... Закончилось оно плохо: думаю, каким-то проклятием для меня...

— Если и так, то прорвалось наружу это зло — могу назвать и день и час — в то утро, когда в доме графа де Ресто столкнулись вы с Эженом. Ваша первая встреча, правда? Ты переменялся сразу — и насовсем... Но **что же** случилось?

— ... Не уверен, что сам понимаю... Точно помню какую-то судорогу, взбешение. Ни до, ни после того я не был готов сейчас же, без сомнений, без оглядки на Бога, собственной рукой убить человека. Однако, это настроение быстро прошло, накатила апатия, опустошённость, потом — отчаяние и тоска; стали всплывать старинные кошмары, а вместо будущего замерещились закрытые железные ворота... Позволь не вспоминать.

Глава LXIV. О непримиримости и неуязвимости, безутешности и безмятежности

Как хищник, чующий кровь, так чёрное море ярилось под высоким белым гребнем скалы. К её краю пятилась девушка в серых лохмотьях. Она прижимала к груди младенца-девочку, на вид новорождённую, и кричала то наступающим полукругом чертям и чудищам, что не отдаст своё дитя на утопление, то самой малютке, тормоша её: «Любимая! Солнышко! Проснись!», но та лишь слабо подёргивала подвёрнутыми ножками и ручками, чуть поворачивала крохотную слепую головку.

— Она не проснётся! — убеждали мать, — Срок её пребывания здесь истекает, её ждёт новая жизнь. Отпусти её и забудь! — белая красавица-кентаврица с шёлковой гривой до земли протягивала костяную чашу зелёной воды.

— Сгиньте со своими зельями! — бунтовщица топнула, из-под её ноги клином треснула скала, задрожала до подошвы.

Нелюди отшатнулись, замахали руками: прыгай вперёд! ты погибнешь! погубишь!

Девушка стояла уже на самом краю, шатаясь вместе с куском берега, согнувшись, спрятав лицо в тельце дочери, а его — в своих руках.

Нарастающий внутри скалы, перекрывающий вои и стоны скрежет перекатился в грохот. Выщербина мыса отошла и повалилась; мать с младенцем полетели в самую глубь тьмы.

Над обрывом, рыдая, кружили сирены, на берегу чуда бились и метались от горя. Сфинкс, провожавшая Анну, припала к самой кромке над пучиной и как будто собиралась, следуя мифу, броситься вниз, хотя они прибыли к развязке трагедии и не успели ни слова сказать несчастной девушке.

Анна делила скорбь со всеми, плакала, опустившись на землю. Вдруг кто-то коснулся её шеи прямо под затылком — это был молодой человек в красной куртке южно-ренессансного покроя, в чулках и башмаках того же стиля и того же цвета, только потемней; над длинными ухоженными волосами алела старинная беретка. Ему, на вид итальянцу, это очень шло. В толпе безутешных звероподобий он, человек до кончика ногтя, смотрел спокойно, даже чуть улыбался, сообщая:

— Её звали Гретой. Её повесили за детоубийство. В здешней столице с ней случилось чудо: в её чреве ожило дитя. Она доносила, родила на подступах к Эдему, здесь кормила, но лишь столько времени, сколько прожила на земле её дочь, которую нарекла она Бригиттой.

— Зачем ты это теперь рассказываешь!?

— Тебе же интересно.

— Лучше скажи, почему столько... народу... ничего не сделали, почему они не отняли у неё ребёнка, чтоб спасти хоть одну душу!

— Они не могут применить к нам насилие. Дух Правды, разлитый в здешнем воздухе, умертвит у всякого, кто решится поднять руку на нас, ещё раньше, чем дерзкий шелохнётся.

— А ты почему не вмешался? С тобой ведь ничего бы не случилось!

— Я был согласен с Гретой.

Анна вскочила, взмахнула кулаком:

— Согласен!? Да ты хоть знаешь, на что она обрекла себя и дочь!? Там же нет ничего, кроме боли и ужаса! И оттуда никогда не выбраться!

Красный пригласительно качнул головой и повёл собеседницу к причалу, говоря:

— Всё это здешняя обыденность; духи рождаются и умирают здесь, как там рождаются и умирают тела, только реже, и путей смерти здесь раз-два — и обчёлся. Главный — море. Но оно ведь не так просто, как кажется. Земные моря обитаемой суши. Может, и здешнее кто-то обжил; может, на его дне — совсем особый большой мир...

— Рядом с которым все средневековые фантазии об Аде — детская сказка!

— А ты знаешь, где кончаются средневековые и начинаются твои собственные?... Здесь всё устроено так, чтоб страданий было как можно меньше. В чёрной воде, в концентрате зла, духовное тело мгновенно сгорает, как в вулканическом потоке, а дух духа — светлое зерно — невосприимчив ко тьме и плавает там золотой икринкой, пока её не проглотит Рыба.

— Что за рыба!? Оттуда она там взялась!?

— Рыба, вся состоящая из света. Она находит во тьме соприродные себе частицы и поглощает, отчего растёт, а они, духи, в её теле обретают вечное и лучшее бытие.

— Откуда ты это знаешь?

— Слышал поверье.

— Как тебя зовут?

— Тано.

— Почему ты в красном?

— Это цвет жизни. Я жив.

— Как же ты сюда попал?

— Заснув.

— Но ведь лишь немногие удостоиваются такого? В тебе есть что-то необычное?

— Разве только звезда, — отвечал улыбочиво и уклончиво.

— Какая ещё звезда?

— Под которой я родился... Ты замечала, что Данте Алигьери всегда изображают в красной мантии и шапке?

— Так ты тоже поэт?

— Нет.

— ... Если ты согласен с Гретой и веришь в светлую Рыбу, почему не нырнёшь сам?

— Рано или поздно каждый из нас там окажется, но *рано* и *поздно* — разные вещи. Меня пока устраивает моя жизнь, а на месте Греты я поступил бы так же — вот смысл моих тех слов.

Они прошли немного молча и остановились у подобия сухого дока, где перевернутые суда всех видов и размеров смолились веществом, похожим на самый лучший, свежий мёд и даже пахнувшим какими-то цветами. Половину рабочих составляли аборигены, половину — вот такие же мужчины в красных нарядах. Один из последних на глазах Анны вдруг выронил кисть и рассеялся в воздухе. Его инструмент подобрал Тано:

— Что ж, займусь полезным делом. До причала рукой подать. Не заблудишься.

Уже повернувшись идти, Анна вдруг соблазнилась золотой капелькой на краю бочки, в которую волонтер окунал кисть, быстро смазала пальцем и слизала. Тут весь её рот стянуло, горло и лёгкие захолонуло терпеном, она раскашлялась, хотела что-то сказать засмеявшимся над ней докерам, но язык словно одеревенел.

— Не пугайся, — крикнул Тано, — Это пройдёт. Протяни руку.

Анна послушалась, а красный циник с размаху ударил её палкой по предплечью. Страница беззвучно закричала и вся затряслась от возмущения, но только от него — ни

малейшей боли она не почувствовала; ощущение лишь такое, словно надавили пальцем. Осознав это, она изобразила глазами удивлённый вопрос.

— Ты глотнула вытяжки из жизненной силы растений. После Свет-Рыбы это самая нерушимая, недоступная злу субстанция, но она не годится в пищу. Впрочем, вреда от неё тоже не будет. Какой-нибудь час немоты и неуязвимости...

Анна повела рукой вместо фразы «ну, что ж, могло быть и хуже» и побрела прочь на немного подмякших ногах.

Глава LXV. Забавная интерлюдия

Эмиль (Протанцевав по комнате три круга, запыхавшись, сидя на максовом стуле, подвернув под себя правую ногу, строча в блокнот по собственную диктовку) Всякая сила причастна ко злу, ибо так или иначе разрушительна, и только красота является исключительно доброй силой.

Макс (Моя посуда, негромко и ненастойчиво) Красота служит злу косвенно, поскольку провоцирует насилие...

Эмиль Дэм! Макс! Чего за на-фиг! Можно хоть раз без вот этих вот крючков!..

Орас (Счищая мягкой коркой остатки паштета со стенок старой, побитой серебряной креманки, Эмилю) Почему ты не говоришь так же правильно, как пишешь?

Эмиль Письмо и говоренье, друг Орас, — две совершенно разные стихии. Ты думаешь, Шатобриан, Уолтер Скотт, Эрнст Хоффманн, Констан, Натан, Морийон, Сент-Обен болтают с приятелями тем же языком, каким плетут свои прозы?

Орас Тут тебе видней,... а в спасении Эжена я, как мне ни жаль, сомневаюсь. Даже если тиф побеждён какими-то радикальными психологическими ухищрениями, анорексия осталась, а человеку, не принимающему пищи, долгого века не предскажешь.

Эмиль Эжен, неужели это правда — ты разучился голодать и есть?

Эжен (лежащий на диване в чистой рубашке) Я обхожусь без еды. И ведь даже не слабею. Меня питает что-то другое...

Макс (подходит к Эжену с тонким скальпелем) Можно твой палец? (надрезает свой, капает кровь на подушечку эженова указательного, вставляет в глаз ювелирный монокль и наблюдает около минуты)... Нет.

Эжен Чего нет?

Макс Признаков зачаточного вампиризма.

Эмиль Мои новые поздравления!

Орас Вы серьёзно верите в вампиров!?

Макс А вы — не верите. Как и в бессмертие души, к неизменному возмущению вашего друга Мишеля Кретьена, разногласия с которым самого вас огорчают, а беда лишь в том, что вы не условились о дефинициях — что именно вы называете *душой* и *смертью*. Так и тут. Вампиров в вашем понимании, конечно, нет в природе...

Орас Я думаю, их ни в каком — не существует. Это чистой воды суеверие.

Эмиль (Максу) А что бы было, окажись — не приведи Господь! — Эжен таки-вампиром?

Орас (себе под нос) Как об стенку — горох!..

Макс Кровь частично или полностью всосалась бы порами кожи.

Орас Кто, если не секрет, вам рассказал о наших с Мишелем спорах?

Эмиль Я же тебе говорил! Макс умеет улавливать чужие мысли.

Орас Вот как? Ну, и о чём я думаю сейчас?

Макс (пряча скальпель в несессер) О том же, о чём говорите — об Эжене и его анорексии.

Орас А вот и нет.

Макс Да-да. Насильственно вспомненный белокурый молодой человек с притаившейся

во рту цингой не наполняет и не тревожит вашего сознания. (Эмилю и Эжену) Надеюсь, вы меня когда-нибудь познакомите с этим... Рафаэлем? Тот из вас, кто первый его увидит, пусть посоветует, вместо дешёвой колбасы, есть овощи.

Эмиль (крайне удивлённому Орасу) Во как! Он словно вселился в тебя и не только украл твои воспоминания, но уже сделал из них свои выводы.

Орас Меня действительно что-то зацепило в вашем жильце — показалось странным, нездоровым; да, его рот... Но я не заглядывал...

Макс Запах. Настолько слабый, что ваши обонятельные зоны мозга не смогли его расшифровать, но они его сохранили и сейчас воспроизвели, а у меня — медвежий нюх.

Орас Ну, вы!.. Ваши способности гениальны!

Эмиль Эжен, давай не отставай, отмочи чего-нибудь тоже.

Эжен У твоего коллеги Верну есть дети, двое или трое; скорее всего мальчики; если они уже ходят в школу, то учатся плохо, но ничуть не унывают, хотя бы потому, что мать их за это не бранит. Она любит и балует их, потому что они утешают её в супружеском разочаровании. Сам отец семейства хоть и не любит жену, но привязан к детям; едва ли у него в жизни есть ещё какая-то радость...

Макс Ты сильно идеализируешь.

Эмиль Пожалуй.

Эжен Если дети умрут, он слетит с катушек, уволится, запьёт, уйдёт из дома...

Макс Правда жизни и правда смерти — не одно и то же.

Эжен Знаю. Ему лучше уже сейчас всё бросить.

Орас Житейские перипетии Верну — это интересно, но, господа мудрецы, займитесь наконец собственными проблемами! Один из вас вот-вот загнётся от голода! (Максу) Вы так быстро спланировали меню для чужого вам человека — накормите же своего друга!

Макс В тонкую работу мозга можно вмешаться, но желудок неприступен для метафизического воздействия. Я заставлю больного проглотить какой-то снеди, через минуту его стошнит — и весь результат.

Орас Да дело как раз в мозге! Желудок у нас, похоже, лужёный...

Макс Если он запрограммирован на отторжение пищи, нормализовать его будет...

Эмиль А я знаю, что надо делать! Эжен, если тебе и физически, и морально противна еда, то представляй себе вместо неё что-то другое; вообрази, что хлеб — это неостывшая вулканическая пемза или морская губка; вино и соки — марганцевые растворы; соль — толчёное стекло; перец — зола; молоко — разведённая известь; масло — солидол и выжимка из нефти; сыр — воск и мыло; сахар — речной песок; мясо — трухлявая древесина; рыба — мочёный картон; что все фрукты и овощи, ягоды и зелень — ядовиты; фасоль и бобы — морские камушки; яйца, грибы — резина и сгустки клея; томатный соус — глиняная жижа...

Орас Хватит!

Макс (Эжену, безучастно разглядывающему книжные полки) А твой атрофированный нос на эти фантазмагии ничего не возразит.

Эжен ... Если вас это так волнует... Когда мы встречались в столовой госпожи Воке, Орас, я, помню, говорил себе: я и моя жизнь — жених и невеста... Но заключался этот брак по голому расчёту...

Орас И вот ты решил завести любовницу — — смерть!?

Анастази (стоящая на пороге своей комнаты, закутанная в одеяла) Нет. Он не изменник. (Замеченная всеми, быстро убегает за дверь).

Глава LXVI. Порт

Магистральный пирс уходил в море почти на километр. Пристроенных к нему насчиталось шестьдесят, между каждым было достаточное расстояние, чтоб на причал встал крупный грузовой корабль. Из одного такого, только что прибывшего, всё те же в буквальнейшем смысле разношёрстные работники выкатывали и вытаскивал бочки ((Анна называла для себя бочками большие запечатанные тусса, выдолбленные из цельных пней)), видимо, с янтарной смолой для дока. К другим, небольшим ботам бережно сносили мшистые сочно-зелёные шары, в которых — знала Анна — дремали младенцы, готовые к новому воплощению.

Пять лет своей безмужней жизни она часто ездила в порты и просто гуляла, наблюдала, вслушивалась, пыталась понять, на что её променяли...

Но здесь всё иначе. Вместо гомона и грохота, полнящих земные пристани, в уши лишь сыпался сухим гравием топот копытных ног, за которым терялся перестук катимых бочек; снасти сонно поскрипывали, как тонкие сосёнки на ветру; никто не разговаривал, не командовал, каждый без чужих слов знал, что ему делать.

Добредя до самого конца, Анна глянула в воду — она была не такой, как у берега: на поверхности колебалась тёпло-лаковая плёнка, блестели весёлые колечки, словно по краям тарелки с жирным супом. Анна решила, что туда либо неосторожно, а скорее всего намеренно, ради безопасности, вылили чудесного растительного сока.

Обернулась, залюбовалась голубеющей горой, со склона которой начала своё странствие. Похоже на вулкан. Белые тучи выются над кратером, снизу подсвеченные розовым. Очень красиво. Прозрачная бирюза склонов переходит в изумрудные волны садов, а над нами летают стаями и одиноко птицы-солнца. По левую руку разглядела Анна и зелёный водопад, и пополняющую море кость-трубу, и только что возникшую расщелину в береговой дамбе; по правую зиял мрачный фьорд, а дальше виднелись словно какие-то башни, стены...

Вдруг поверх унылого дождеподобного шороха, едва слышного на краю пирса, совсем избизи долетела песня:

Кто глубь искал, по илу чертит днищем.

Свалился наземь, кто влезал на шпиль.

Кто жил богато, умирает нищим.

Кто сеял бурю, пожинает шгиль.

Тот одинок, вокруг кого толпа.

Не глупы те, кто верят в свои сны.

Тот изувер, кто раздавил клопа.

Кто сочиняют сказки, те честны.

Кто лезет в драку, тот наверно трус.

У пастыря сомненье есть в душе.

Живой всегда вранья таскает груз,

Лишь мёртвый ходит налегке уже.

На голос Анна прибежала к краю одной из правых веток пирса. Тут качались на привязи лёгкие яхты, под крестами их одиноких мачт дремали траурные оборванцы.

— Эй, Джек, спой ещё, — лениво сказал один соседу, но тот словно не слышал.

— Гляньте, ведьма, — громко зашептал третий, кивая на Анну. Моряки нерадушно оживились, насторожились, нащупались на даму в чёрном.

— А я знаю её! — крикнул вдруг, подскакивая, Джек, — Это мать моего сына!

Глава LXVII. *Метафоры*

Вечером Эмиль засиделся у Ораса. Они потягивали портвейн и говорили об Эжене:

— Смерть ему не то что любовница, а скорей такая недоступная трубадурская донна, вздыхая по которой он кое-как утешается с доступными девчонками-болезнями.

— Ну, эти подруги тем более водят его за нос! Я имею в виду, что здоровье у него диковенное: на такой диете, весь как мизгирь, а глаза блестят; кожа, волосы, зубы в полном порядке... И за три дня разделаться с тифом!.. Но ей-богу: поговорка *в здоровом теле здоровый дух* — не про него. Что у него за квартира! Зачем столько зеркал?... Из трёх окон одно заставлено шкафом. Почему? Там есть ещё место... И какие идеи ты поминал сегодня утром?

— Да ты о них лучше моего должен знать. Ведь ты был с ним тогда, а не я.

— Когда — тогда?

— Когда был жив Отец Горио. С **него**-то всё и началось...

Глава LXVIII. Вечер светского льва

Новым утром Эжен распорядился на воскресенье: всем сойтись в Дом Воке на уборку и усиленный ремонт. После обеда он уступил Максиму диван, сам сел к столу почеркать расчёты и вдруг вспомнил о приглашении Феликса, сдёрнул с вешалки первую попавшуюся накидку, шляпу и бесшумно вылетел в морозную тень и ярко-огненный свет раннего заката.

Когда извозчик спросил: «Куда желаете?» — Эжен понял, что не знает адреса.

— Вы случайно не в курсе, где живёт господин де Ванденес, королевский секретарь?

— Нет, сударь... Так вас везти куда, или как?

— Поедёмте... в Сент-Оноре что ли...

На самом въезде в квартал, Эжен отпустил фиакр и пошёл, внимательно оглядываясь, любопытствуя у прохожих, но никто не мог ему помочь. Вдруг он вспомнил, что где-то поблизости должен быть дом де Марсе. А вот и он. Ошибиться Эжен не мог: его пару раз приглашали туда поиграть в карты. «Либо он мне укажет путь (60 % вероятности, ведь они с Феликсом хорошие друзья), либо (20 % — не страшно) пойдёт куда подальше, либо (NB!), вместо того, чтоб там услышать, я — здесь — увижу,» — подумал и позвонил в дверь.

Привратник не только впустил его в гостиную, обитую алым бархатом, но даже не справился, как доложить господину графу о незваном госте; ушёл, попросив подождать.

В этой комнате Эжен не бывал. Небольшая, уютно-сумеречная, она, наверное, предназначена для самых неофициальных встреч. Первым, что удивило Эжена, стала мебель: у кресел настоящие львиные лапы, шерстистые и когтистые, а сидения обтягивал однородный с ними мех, нигде не заметно швов, нигде не видно дерева или бронзы — таксидермический шедевр! На небольшом круглом столе стоял странный восточный кувшин в золотом филигранном каркасе, украшенном негранёными лалами; горлышко очень узкое, сбоку шланг с мундштуком. Эжен, впервые видевший кальян, попробовал откупорить его, проверил, не свисток ли насажен на шланг, и, разубедившись во всех своих догадках, оставил в покое таинственный сосуд. Внимание переключилось на картины — жестокие барочные натюрморты. Там даже не было цветов и яблок, одна убоина: фазаны с глазами окуней, кролики в замаранных кровью шубках, растопырившие крылья куропатки, отрубленная голова оленя, а на одном полотне лебедь висел на двух железных крюках: один протыкал шею у самой головы, другой — подмышку.

Какое мучение это ни причиняло Эжену, он принялся рассматривать их, яростно напрягая глаза, впивая ими каждую тягучую тёмную кляксу с бронзовых подносов, каждую замершую слезинку с век зверей и птиц. «Смотри, кроволивец! — злорадно говорил сам себе, — Для тебя приготовлено». Но сквозь тупую боль жалости и давнего сокрушения пробивался оптимистично-суеверный вывод: действительно, его здесь ждут и сообщат что-то важное; а неутомимое насмешливое воображение дописывало новую картину из этой серии, героями которой были дохлые мухи, тараканы и старая пятнистая крыса, вроде той, чей труп нашёлся однажды в углу коридора в Доме Воке.

Появился Анри.

— Кто это? — сунул глаза в лорнет, — А, барон Снежная Ночь! Насколько я понимаю, в тот достопамятный вечер ваш фееричный фрак исчез, едва пробило двенадцать, и вы оказались... в том, что на вас сейчас, поэтому сбежали, ни с кем не простившись. Надеюсь, ботинка не потеряли по пути?

— Что, если потерял оба?

— Ничего. Кто-нибудь подберёт и доносит, а вам не пришлось грустить над одним оставшимся и бесполезным.

— Вы тонкий гуманист... Как закончился бал?

Анри сел во львовое кресло, красиво раскинул по нему белый шёлк широкого, как тога, халата, потопил беспомощный взгляд в кальяне.

— Отвратительно. Эта блудница вернулась, даже не умывшись, развалилась, как сытая кошка, с веером на канapé и нагло так поглядывала на всех, словно говоря: «Вы ещё здесь? А спектакль уже закончен — спектакль, где вы все лишь статисты». Думаю, каждый из нас тогда чувствовал себя... знаете, кем? Её мужем... А вы проминали её перину и, наверное, думали, что словили высший кайф... Да вы садитесь. Хотите пари? Сегодня я доставлю вам в три раза больше удовольствий, чем она тогда. Или отстою ближайшую мессу в названной вами церкви.

— А с меня что, если выиграете?

— Ничего. Угроза сделает вас предвзятым.

«Что ещё за ботва!? — заёрзало в уме Эжено, — Чего им всем от меня надо!?!»

— Не знаю... Странное предложение...

— Скорее вызов. Поэтому вы не откажетесь.

— Нужны более определённые условия.

— Пожалуйста: вы остаётесь у меня до рассвета и пользуетесь всеми удобствами этого дома, а потом сравниваете моё гостеприимство с баронессиним.

— Ну, хорошо.

Анри чуть в ладоши не захлопал от радости.

— С чего же нам начать?... Если вы, как все провинциальные дворяне, любите охоту и дичь, то безусловно отдадите должное моему домашнему наряду.

Граф встал, распахнул шелка. Эжену тоже пришлось подскочить от изумления и подумать: «Вот уж точно дичь!». Шею Анри пригибал большой чёрный крест на длинных чётках; в сосках висели серьги-кольца; пупок темнел между ушами лисьей морды, прикреплённой там, где целомудренные скульпторы лепят фиговый лист. Звериная маска висела на опоясывающих бёдра золотых цепочках, глаза у неё были янтарные.

«А! Уж не датый ли ты порядком? Ждал кого-то — и не дождался... Бедняга».

— Что скажете?

— Мне всегда горестно видеть мёртвых животных, но дух этой лисицы, наверное, веселится больше всех в Эдеме — при жизни она таких птичек не глотала... А вообще вам к лицу одежды истины.

«Мускулатура развитая, но не рабочая, декоративная — и бревна не разрубит, и в драке долго не продержится; кость тонка; печень шалит; бессонницы нередки...».

— Впервые слышу, чтобы это называли так — так... серьёзно, возвышенно,... чисто... Кстати... Пойдёмте.

Разумеется, одна из стен маскировала обоями тайную дверь. Через неё Анри и Эжен вышли в галерею, где фарфоровые светящиеся колонны и прозрачные стены оплетали бронзовые лозы винограда, чьи листья и сотни крупных блестящих гроздей были сделаны из стекла.

— Здесь красиво днём, — походя заметил Анри.

Эжен шёл позади него и, видя на белой спине большую шестикрылую стрекозу,

вышитую золотом, считал её новым добрым знаком.

Следующая дверь впустила их в просторную неправильношестиугольную комнату, похожую на шатёр царя кочевников: всюду висели бахромистые узорные и полосатые ковры, сидеть нужно было на парчовых пуфах, стол укрывала тяжёлая пёстрая скатерть, и стоял на нём близнец кальяна из алой гостиной.

— Для чего такой сосуд? — спросил Эжен.

— Это восточное приспособление для курения.

— Оно чем-то лучше простой сигары?

— Сигары я ненавижу.

Пряный дым невидимых каминов опоясал эженову голову упругим широким обручем, и аналитические упражнения отложились на потом.

Анри отошёл влево к завесе, изображающей крадущегося в джунглях тигра, провёл по ней рукой — она оказалась состоящей из ниток разноцветного бисера; раздвинул, зазывно кивнул гостю и скрылся за рассыпчато шуршащими бусами. По ту сторону Эжен увидел настоящий тропический лес — со всех сторон пальмы, фикусы, цветущие орхидеи, а в центре квадратный бассейн метров трёх по каждому краю, словно полный ряски, только ряска была пурпурной и розовой. Анри, уже без халата и драгоценно-меховой портупей сидел по-турецки на беломраморном берегу и откупоривал шампанское.

— Это не очередное излишество, а необходимость. Когда я вижу воду, мне нестерпимо хочется пить. Например, когда идёт дождь или просто лужи на дороге, да, чёрт возьми (хлоп! —), даже туман — умираю, если не промочу горло, — опрокинул бутылку над фужером, пролил три возможных глотка и выпил с непритворной жадностью до дна, — Вам?

— Не откажусь.

— Берите сами, — граф бросился в бассейн, разогнал руками лепестки.

Эжен обошёл два угла, поднял бутылку и, небрежно поболтав, приложился прямо к ней.

— Хорошее, — сказал, занял на место Анри, скопировал его позу, плеснул в рот ещё, по-уличному, не закидывая головы.

— Вы уважаете принцип «*sanus per aquam*»?

— Есть болезни, которых не залечат все воды мира.

— Думаете, у вас такие есть?... Ну же, присединяйтесь!.. В конце концов, я как старший по титулу могу вам и приказать.

Эжен отставил пустую бутылку, снисходительно глянул на купальщика:

— Титул! Все теперешние термины сословной иерархии — это на самом деле контекстуальные синонимы. Человек или дворянин, или нет, и больше никаких премудростей. Дворянин — кавалер, поскольку у него есть кони; барон — поскольку у него есть земли; сеньор — над своим людьми; маркиз — если его владения примыкают к чужому государству (буквально «пограничник»); герцог — если состоит в родстве с королём, а граф — это просто искажённое латинское слово, означающее друга, товарища, спутника — стандартное обращение дворян друг к другу.

— Получается, когда я говорю даме *графиня*, я всё равно что говорю *подруга*?

— Фактически — да.

— Здорово!.. Я думал, вы начнёте козырять древностью своего рода и безупречностью происхождения.

— Упаси меня Бог от бахвальства! Начни я про родовитость — вы уткнёте меня в мою

нищету...

— Но я о ней не знаю.

— Как я — обстоятельств вашего появления на свет.

— Бывайте чаще у госпожи де Гранлье. Там вам всё обо всех расскажут... А тут... поступайте, конечно, как вашей душе угодно, но только на что будет похоже наше пари, если вы откажетесь от самого приятного?

«Ладно, — подумал Эжен, — проведу экспертизу», выбрал край потемней и подальше, разделся быстрее, чем написал бы своё имя, оставив, однако, рубашку, и погрузился. Вода объяла его тепло и нежно; от наслаждения он на пару мгновений ослеп, а прозрев, минут пять видел вокруг каждого предмета тонкое радужное свечение.

— Ни одна парижанка не предложит такого ни вам, ни мне, ни себе самой, между тем, как разорит семью ради платья, в котором даже не удобно ходить, — злословил Анри.

Эжен почерпнул, поймал лепесток розы:

— Настоящий!

— А вы думали?...

— У вас не найдётся кусочка мыла? («Уж коль скоро в я воде, надо почиститься — Макса хоть порадуя»).

Анри похлопал в ладоши, и бисерная завеса шорохнула, впуская маленькую тёмную фигуру прислуги.

— Мыла! — властно потребовал граф, — И ещё шампанского.

Вскоре молоденькая девушка в гаремной униформе внесла бутылку и белую шайбочку на золотом блюде, поставила на пол и усеменила.

Анри напал на вино, а Эжен стал тереться мылом, пропитал пеной волосы и сорочку, покрыл ею лицо и шею, нырнул с макушкой, прочистил поочерёдно уши мизинцами, потёр прядь с виска — ещё не скрипит — и намылился поновой.

— Восхищаюсь вашей непосредственностью, — посмеивался Анри, в тайне досадуя на замутнение воды, но ради красного словца изрёк, — Вам, кажется, присущи все добродетели простолюдина, и не ведом ни один аристократический порок.

Едва договорил, как в руках Эжена, стирательно терзавшего рубашку на груди, ткань разъехалась клочьями, поползла с плеч, как та пена. Анри даже тут достал лорнет, увидел в своём капризном госте растерянного оборванца и расхохотался со всей хмельной задушевностью. Без труда заставил себя засмеяться и Эжен — воображаемой абсурдной сценой спящих вокруг — от кадок с пальмами до краёв бассейна — бродяг из кордегардии, но вдруг он понял, что видит мёртвых, что не может ни отогнать видение, ни остановить свой смех. Он зажимал в кулаках тряпичный обрывки, бил по воде и мраморным бортам, мечась, задыхаясь; наконец его всего перегнуло назад; позвоночник, гибкий, как цепь, потянулся по полу вверх. Анри чуть не выронил оптику, глядя, как из сердца его оазиса выползает большой тощий белый паук, лишённый половины лап, подтягиваясь, отталкиваясь четырьмя со вздёрнутыми суставами...

На суше, на прохладной тверди конвульсии постепенно отпустили Эжена, он повернулся лицом в камень и тихо доплакал свой приступ, потом сел, опираясь на руки; мокрые останки белья служили ему набедренным покровом. Анри вылез тоже, подрагивая в коленях, подошёл к нервозному южанину, опустился рядом с ним на корточки:

— Часто с вами такое?

— Да вот представляете! — каждый раз, как принимаю тёплую ванну с розовыми

лепестками!..

Граф сгрудил лоб задумчивостью. Он где-то слышал, что не все принятые в свете молодые люди располагают пятисоттысячным годовым доходом, а этот только что прямо назвался нищим, то есть, наверное, и сотни-то тысяч не набирается, а уж если у него даже кареты нет...

— Сознайтесь, это была ваша последняя сорочка? — сказал кое-как: сострадательно не умел.

— Понятия не имею...

— Хм, ответ, достойный денди. Не расстраивайтесь. Я с лихвой возмещу вам ущерб, и не вздумайте возражать. Знаю вашу южную манеру задирать нос. Взять хоть того выскочку, Люсьена дай-Бог-памяти-какого, который пробрался в ложу маркизы д'Эспар, а потом стал журналистом. Когда мы встречались, он метал такие лютые взоры, что у меня стёкла трескались, хотя, собственно, чем я ему не угодил?

— Разве не вы донесли маркизе, что Люсьен — сын акушерки и аптекаря?

— Я?... Ну, я... Подумаешь, катастрофа! Если бы за полчаса моего бездействия он успел подмигнуть Ванденесу, то через неделю мог бы вселиться в дом лучше моего... А его фрак! Вы — лорд Браммел по сравнению с этим фатишкой.

— При чём тут Ванденес? («Нет, всё-таки надо добраться до Феликса»).

— При том, — Анри стянул с Эжена белую ветошь, бросил в воду, нащупал там рычажок, дёрнул, и дно резервуара накренилось, всё содержимое разом вытекло в большую щель, затем открылись клапаны по бортам, зажурчала свежая вода; омываемое дно медленно выровнялось, и бассейн стал вновь наполняться, — Видите, как легко исправить то, к чему готов?

— Ох, не для меня эти изыски...

— Но как-то же вы соблюдаете гигиену?

Эжену вспомнился тесный, худопольный прачечный флигель в родном поместье, глиняный кувшин без ручек, вековое громадное дубовое корыто — одно для стирки и купания; пара вёдер, которыми черпали из пруда; сам пруд — под самыми окнами столовой — вырытый в шестнадцатом веке, квадратный котлован обложен тёсаным камнем, вода месяц от месяца меняет оттенки от пивного до лилового, а зеленеет раз в семь-восемь лет, в ней выются мотыли, гребут чёрные жуки, каждый размером со сливу, а водоросли не живут, и вся рыба, что туда пытались вселить, исчезала безвозвратно; мёртвым называли пруд ((беря оттуда воду, баронесса во всякое ведро опускала серебряный крестик и читала Трисвятое)), и не ради чистоты Эжен в него нырял; а с Шарантой, разметавшей по полям рукава и их обрывки-старицы, приходилось бороться, как с медведем, и, бывало, лёжа на белом языке песчаной косы, Эжен думал, что, если бы реку переплыло целое войско, вода в ней стала бы солёной от пота; другое дело светлые и кроткие луговые озёра, правда, в них обычно кто-нибудь загонял коров; лесные холмяные ручьи моют так, что мяса на кости не удержишь; есть пара бобриных заводов: жилая и заброшенная, но первую ревностно охраняет зубастая семейка, а берега второй облюбовали гадюки; так что же ответить на вопрос Анри? Ночной дождь. Впервые под него Эжен сорвался с жаровни своего четырнадцатилетнего апреля; зверский ливень, злой, как горный водопад, ощутив хрупкое стынущее тело, он сразу смягчился, потеплел, уже не гвоздил протянутые ладони, а быстро наполнял их, и после первого же глотка Эжен понял, что нет святых этой небесной воды, что ею Бог и милует, и спасает грешников от их жгучей грязи в их непроглядной тьме, и в Париже...

— Эй, барон, come back! — Анри щёлкнул пальцами перед правым глазом Эжена, — Пропустите что-то интересное. Смотрите — оп! — граф дёрнул потайной шнурок среди лиан, и начался розово-алый лепестопад. Эжен же снова остановился на пути из леса в частом молодом осиннике, чтоб в придачу ко мгновенно погибшему зайцу нарезать грибов-красноголовиков. Внезапно просияло с запада, и тут же ветер одним броском почти оголил рощу. В золочёном воздухе запорхали сотни пунцовых и серебряных блёсток. Та минута счастья вернулась...

— Я выхожу ночами под дождь.

— Под дождь? А что! Дёшево и сердито!.. Но ведь не зимой же!

— Нет.

— А сейчас — зима. Выходит, выбора у вас нет: или мой бассейн, или ничто, посему распутывайте свои ноги ((Эжен сидел в очередной замысловатой позе: вытянув по сторонам ноги, скрещенные в самом основании: левая, подогнутая — вправо; правая, перекрывающая — влево; руками он опирался на пол за спиной, не отклоняя её ни на градус от прямого с полом угла)) и вперёд.

Анри был забавно настойчив и трогательно смешон, обнажённый — и с лорнетом, бродящий по квадрату, смахивая пальмовой веткой лепестки на воду. Волосы внизу его живота обработаны так, что словно чёрная рука оставила там след, или это пятизубая корона — даже эженовы глаза порой сбивались с толку...

— Обязательно?

— Да, дорогой товарищ! Приучайтесь к нормальной жизни.

«Почему бы нет? почему бы ещё одному человеку не порадоваться этому богатству? Сейчас это я, а потом будет кто-то другой; это случай — Божий промысел, — размыслил Эжен, — Да, я волен его отклонить, но так-то и приходит в мир бессмыслица... Как всё же трудно...»

— Как трудно,... — пробормотал, нехотя опускаясь в воду.

— Да что такое с вами!? — воскликнул Анри, уже успевший окунуться с головой — к его лбу прилипло красное сердечко.

— Как бы вам объяснить... Я с удовольствием могу только что-то вспоминать, а то, что происходит вот сейчас, меня то ли страшит, то ли раздражает, то ли кажется... каким-то нереальным; то ли что-то отвлекает меня от этого, то ли это отвлекает меня от чего-то... То не могу никак сосредоточиться, а то... смотрю на этот лепесток — и забываю обо всём остальном, ничего не ощущаю, только словно это я весь плоский, вогнутый, красный, и мягко-шершавый, и паутинно-жилистый, и на меня давит эта капля, и мой край (схватился за левое ухо) надорван,... и я плаваю без сил... без сознания...

— Между прочим, я ревную: такая безделица вам интереснее меня!? Да если б вы хоть на мою служанку загляделись...

— Разве мы выбираем, что к чему и как чувствовать?

— Когда меня посещают подобные вашему глюки, я знаю, что это плод добровольно принятого мной гашиша, а если я не накачаюсь, так на меня никакая блажь и не найдёт.

— Вам повезло...

— Вам тоже: вы не только моетесь — вы даже балдеете бесплатно! Велика милость Божья.

— Аминь.

— ... Когда вы молчите, с вами хуже, чем даже в одиночестве!

— Я не знаю, о чём говорить.

— Вы что, вчера родились? Когда не знают, о чём говорить, — начинают ругать свет.

— За что? Это же лучшее общество... Ну, скучновато... Зато все нарядные, приветливые,... чувствуешь себя в безопасности..., — закинул удочку Эжен, и Анри клюнул.

— Лучшее общество!? Безопасность!? Может, когда-то так и было, а сейчас как понаехало всякой швали!.. Вот хоть де Люпо, с которым вы чуть не обнимались, — что вы о нём знаете?... Рассказать, как он стал дворянином?

— О! сделайте милость!

— Когда вам Париж ещё не снился, а виконтесса де Босеан наслаждалась счастьем с маркизом д'Ажудой, наш герой был безродным, безработным выпускником школы правоведения. Он жил на содержании у Сюетты, камеристки герцогини де Ланже, которой в те поры беззаветно помогался генерал де Монриво. Он влюбился по уши!..

— В Сюетту или в герцогиню?

— В герцогиню, надо думать.

— Где ж он её встретил — безработный?

— Какой безработный!? Я о генерале! Полгода он к ней ходил каждый день, бывал всюду, где появлялась она, признавался ей тысячи раз, ревновал к самому Царю Небесному, целовал ей и руки и ноги, но ничего большего не добился. То она за мужем, то греха боится, то плохо себя чувствует, то собирается куда-то, то не-дай-Бог-дети и вообще всё это гнусность, так что будем просто друзьями. Терпение влюблённого лопнуло, и однажды он не явился к даме сердца, а прислал свою визитку, на обороте которой красной тушью написал: «Через сорок дней», на завтра новую карточку — «Через тридцать девять дней», и так всё отмеренное время герцогиня его не видела, только получала эти зловещие намёки. В день, означенный как «Сегодня», госпожа де Серизи давала бал. Там запуганная до белокровья герцогиня наконец встретила своего грозного Ромео. Он осыпал её молниями из глаз и провозгласил, что раньше, чем наступит новый день, с ней случится несчастье. Она поспешила домой, но подмененные слуги привезли её неизвестно куда.

— Вот поэтому я не завидую тем, у кого есть кареты и челядь.

— Думаете, вас тоже кто-нибудь захочет похитить? Госпожа Листомер, например, да? Но не будем отвлекаться. Дальше было ещё ужасней: неизвестные схватили герцогиню, связали, надели на голову мешок и притащили в комнату, обставленную пребезвкусно: стены серые, занавески красные, скатерть зелёная; положили на кушетку, а глаза ей открыл сам Арман де Монриво. Он в пристойных выражениях высказал ей всё своё накипевшее, после чего объявил, что в наказание за бессердечие и лживость намерен сейчас же выжечь ей на лбу клеймо в виде (почему-то) мальтийского креста ((Эжен слушал в волнении, думая не столько о де Люпо или герцогине с генералом, сколько об Анастаси. Герцогине он тоже сочувствовал, но по многим приметам догадывался, что месть Монриво провалится)), а помогут ему в этом три его друга (вот они в углу и в чёрных масках), так что пусть она даже не думает о сопротивлении. Тут пойманная львица пала на колени и закричала, что с восторгом предается клеймению, потому что заслужила большей кары и лишь бы только её возлюбленный её не бросил ((«Очень грамотное поведение», — одобрил Эжен)). Вершитель справедливости не успел ничего ответить, как вдруг портьеры распахнулись и в комнату ворвался этакий Зорро — в длинном плаще, бутафорской шляпе, в прорезанном для глаз носке, натянутым на голову до скул; в одной руке шпага, в другой пистолет, и ещё четыре кобуры навешаны от подмышки до колена. «Именем закона и короля — руки за голову,

беспредельщики!» — пролаял он, и все, включая коленопреклонённую даму (ей прозвучавший эпитет вполне подходил) взялись за затылки, но этот гад всё равно выстрелил одному кому-то под ключицу...

— Так всегда делают, когда хотят имитировать серьёзную рану...

— «У меня для каждого припасено по пуле!» — говорит, бросая пустой и доставая новый пистолет. «Кто это?» — взревел Арман, терзая свою гриву. «Я не знаю!» — рыдала герцогиня. «Ложь!» — отвечал генерал, но незнакомец приказал всем молчать, отойти и встать лицом к стене. Четверо мужчин были храбрыми и умелыми бойцами, но в тот вечер они никак не были готовы к обороне, они нарочно не взяли с собой оружия... «Каждому из вас даётся неделя, чтоб собрать триста тысяч ливров для выплаты штрафа за самосуд. В противном случае дело пойдёт прямо в прокуратуру, а там цены куда внушительней. У меня сорок улик на руках и ещё десять готовых свидетелей. Зря, господа, вы прикоснулись к топору», — проговорил налётчик, уводя даму.

— Это был теперешний де Люпо?

— Да. Он отвёз герцогиню обратно к Серизи и там, сняв свой маскарад, оказался одним из лакеев, разносивших по балу мороженое. «Я не верю, сударь, что вы — простой слуга», — сказала она, а он тут же нахвалился, как узнал от своей любовницы Сюзетты, что её хозяйку донимает непонятными записками маркиз де Монриво, которого она сначала хорошо принимала, потом они вроде рассорились. За сорок дней самозванный следопыт кое-что разведдал о генерале, а в урочный вечер, незримый и во всеоружии, не отходил от герцогини и её преследователя и слышал все угрозы, начиная с анекдота про топор и казнённого короля (не нашего, английского), но теперь все тревоги позади, прекрасная госпожа! «Чем вознаградить вас, дорогой друг?» — спросила герцогиня. «Мне ничего не надо,» — ответил этот подонок, и через сутки проснулся дворянином (хотя выше звания камердинера лезть не должен был)... Спустя неделю он к тому же сделался миллионером...

Эжен удовлетворённо кивнул, а невидящий его Анри продолжал:

— У вас, должно быть, на уме вопрос: «Неужели Арман де Монриво и его благородные друзья так просто дали себя поймать?». Представьте, — да! Они могли выкрасть герцогиню, порешить герцога, разорить банкира, разрушить репутацию министра, при желании — даже низложить монарха, но когда у них на дороге встал господин Никто, раскрылся весь трагизм пословицы *орёл не ловит мух*... А потом эта муха сама превратилась в кордильерского стервятника, окружила себя лучшими кадрами тайной и явной полиции... После такого фиаско состоять в великом тайном союзе Тринадцати оказалось просто стыдно, и священное братство распалось; верности его членов клятве не выдавать друг друга хватило лишь на то, чтоб так и не дознаться между собой, чья же была эта дурацкая идея с похищением и клеймом... Правда, любовный ветер переменился: Антуанетта де Ланже теперь сама бегала за Арманом. Сработал закон Максима де Трая: *хочешь быть любимым — заставь себя жалеть*. Генерал никогда бы не согласился следовать этому правилу, но так распорядилась сама судьба, что он предстал перед своей пассивностью в образе стопроцентного loserа... И он скрывался от неё, даже распускал слухи о новом увлечении... Сам мучился и её мучил... Странный человек... Из такой банальной ситуации раздул готический сюжет... Усы зачем-то сбрил потом. Они ему шли... А вам знакомы любовные страдания?

— На месте маркиза де Монриво я не был и не буду.

— Не зарекайтесь.

— Во всяком случае, после вашего рассказа я точно знаю, как не должен себя вести

несчастный влюблённый.

— Уж постарайтесь, а то за последнее время что-то много дам с треском покинуло свет. Правда, намечается и кое-какое пополнение. На днях... Вам ещё не надоело в воде?

— Да можно и выбраться.

Хозяин и гость пошлёпали мокрыми ступнями за бисерную завесу. И вот странно — к Анри лепестки из бассейна пристали лишь кое-где, а Эжена они густо облепили, будто нарочно по требованию его стыдливости. Полотенца были одинаковыми — белыми, мягкими, а одежды (шаровары и длинные блузы) — белые и зелёные. Эжен, которому предложили выбрать, взял верх от первого, низ от второго. «Ну, оригинал,» — мысленно проворчал Анри, надевая оставшееся и возобновляя беседу:

— На днях лорд Дедли, мой биологический отец...

— Какой?

— Ну, настоящий. Известил меня, что отправляет во Францию ещё одну свою дочь, леди Леонеллу, а мне поручает позаботиться о сестре, то есть ввести её в общество.

С этим сообщением он сел за ужинный стол, накрытый щедро и ограниченно: из не менее десятка блюд ни одно не преступало бинарной палитры бело-зелёного. Эжен спросил:

— Вы на какой-то особой диете?

— И да и нет. Это скорее такая игра, — Анри раскрыл на середине стола высокую шкатулку, наполненную разноцветными бусинами величиной с молодую горошину, — Каждый вечер я (или ещё кто-нибудь) вынимаю наугад два шарика, и... вы поняли. Хотите решить мою гастрономическую участь на завтра?

— Почту за честь.

— Вы издеваетесь!?! — вскричал мастер причуд, видя на ладони гостя чёрное и синее, — Если за завтра я не умру с голода, то желудок посажу непременно!

— Извините...

— Да что уж! — Судьба... Это что тут? курятина? рис? — Анри гнушливо отвернулся от горячего, рассмотрел целую клумбу салата, капусты, фигурно изрезанных огурцов, душистых трав, цветущую сырными гвоздичками и розочками, обложенную макаронными ракушками натуральной морской величины и зелёными оливками вместо гальки, — Угощайтесь.

Эженова вилка пробиралась по блюдам, как самый осторожный разведчик — по самой опасной территории, а накальвала так скромно, что ей хватило бы и одного зуба, впрочем жевал гость с большим интересом.

— Ох... — вновь забытый хозяин поскрёб перламутровым ногтем скатерть, бросил за щёку ягоду, лизнул вина... — Даа... скука — действительно главный недуг светского человека. Потому мы и сбиваемся в какие-то странные секретные ((тут Анри показал пальцами кавычки. Эжена этот нефранцузский жест оставил в туманных домыслах)) братства, шарахаемся по трущобам, вмешиваясь в жизнь мещан, воображая себя чем-то вроде провидения... Будто Бог — не художник, не механик, не судья,... а спортсмен... Но так будет всегда. И вам, наверное — признайтесь! — уже хочется хоть где-нибудь, пусть на ночной помойке, почувствовать себя свободным, сильным; сделать что-то... не предписанное этикетом...

— Я часто хаживаю по окраинам Парижа, там, где люди живут в отдельных домах, при земле. Когда придётся — подкалымлю.

— То есть? — хихикнул Анри, подозревая себе нечто.

— Ну, там, огород перекопать, дров наколоть, деревья обобрать...

— И только!? (- Эжен нахмурился, хрустнул огурцом и усомнился в том, что стоило откровенничать —) Впрочем, вы ведь только начинаете... (- в ответ — совсем уже критическая гримаса, бесполезная ввиду невооружённых глаз графа —)... А мои похождения близятся к финалу. Последней достойной пера романиста эскападой был визит в академию художеств — в качестве натурщика. Почти полгода я готовился к этому апрельскому утру. Утру! Вы знаете, как часто я встаю раньше полудня? — Никогда. Я ждал великолепного чуда, триумфа, озарения. Но вокруг меня сидело сорок серых вялых клякс, уткнувшихся в мольберты. Три часа прошло в молчании, вроде вашего. Я замёрз до печёнки, а суставы вообще будто затянуло льдом — когда я шагнул с подиума, они затрещали, как деревянные. А заплатили мне... полтора франка. Вместо одного. За то, что я... красив...

— И на что вы их потратили?

— Потратил? Разве на них можно что-то купить?... Я бросил их где-то на улице... Чертовски обидно! Но ведь от правды не уйдёшь, и все эти приключения — такая в самом деле пошлость и дешёвка!..

— За огородные работы платят не больше.

— Надо думать! — оскорбительно ухмыльнулся Анри и тут же, на сей раз, видимо, что-то почувствовав, вырулил, — Но бывает и хуже: знаете Гастона де Ньюэйля?

— Нет.

— Он сводный брат Манервиля. У Нусингенов был в тёмно-голубом. И в Париже-то недавно... Пристрастился собирать пустые бутылки на улицах. Говорят, их где-то принимают и дают от полутора до пятидесяти су за штуку. И как вам такая сцена: останавливается у какого-то рынка богатая карета, выскакивает молодой франт, хватает из кучи мусора грязную склянку и едет дальше! Конечно же, его видели; пошли кривотолки, и теперь его пускают только к Нусингенам, Тайферам или к вашей русской подруге — прошу прощения! — графине Феодоре, словом, туда, где нет никакого face-control'a. Это уже не жизнь... Вы что, вегетарианец? как Шелли?

— Кто, как кто?

Анри весь вскинулся и тут же припал головой к столу, трясась от смеха. Успокоившись, он только махнул руками: «Да ну вас, право, к чёрту! Вот, попробуйте», — достал из горки яблок и белого винограда странный плод, похожий на среднюю овальную картофелину, только ворсистый, довольно оскорбительного вида.

— Это что, фрукт? — спросил Эжен, озабоченный сохранением съеденного внутри.

— Ага. Китайский крыжовник. По вкусу больше напоминают землянику. А внутри,... — граф разрезал эту экзотику и подставил перед глазами сочные зелёные овалы с большими белыми звёздами посередине и рассыпанными вокруг них чёрными зёрнышками.

Глава LXIX. Безумный Джек...

Точно такими были глаза у хамоватого моряка, стоявшего перед Анной — влажно-лиственные, с просветами ((впрочем, эти бельма были и у остальных лодочников, равно как и у младенцев, виденных Анной на эдемской лужайке, но тогда она не обратила на это внимание)) вместо зрачков. Она глянула гневно, размашисто повернулась, поспешла прочь, но у первого поворота в её чуткой памяти сложилась ключевая комбинация, погнавшая обратно.

— Тебя зовут *Джек*? — окликнула вновь усевшегося дерзца, побарывая робость.

— Может, и меня, — то ли подмигнул, то ли это у него нервный тик.

— Ты тут пел?

— Может, и я.

— Ты — лодочник.

— Я целый капитан! Поплывёшь со мной?

— ... Поплыву. Только не смей больше вольничать и — как это называется? — флиртовать!

— Этого ты, мать, не бойся. Ты не в моём вкусе. А будь ты даже и сварливой носатой толстухой, то я всё же не из тех, кто готов хоть с родной дочерью, ... — он прервался, вытянулся по мачте и напуганной обезьяной уставился в сторону магистрали, как и все его товарищи.

К ним приближался среднего роста ангел в сплошном тускло светящемся саване, только белые редкопёрые усталые крылья не были замотаны. Он вёл ребёнка лет девяти-десяти, накрытого чёрным пончо, с чёрным мешком на голове и держал в приподнятой руке круглую склянку, откуда по прозрачному полуму шнурку, завязанного по середине свободным узлом, каплела бледно-зелёная вода, а кончик проводка прятался между колпаком и горловым вырезом одежды ребёнка. Лодочники окаменело смотрели на эту безликую пару. Анна шагнула на выбранный борт, тронула Джека за просмоленный рукав:

— Кто это?

— Худший из духов зла, — вдруг страх слетел с его лица, как пташка с ветки, — Эй, давайте сюда! Нам уже по пути! — позвал он тех двоих, кидаясь распутывать и ставить паруса, — Живей, прости, Господи!

Ангел пригнулся, посадил малыша себе на локоть, распустил крылья и плавно спланировал на корму уже отчаливающей яхты.

— Удачи! Счастливо! — кричал Джек товарищам, словно это они отплывали, тут же шептал Анне, — Сядь ближе к носу. И не суйся к этим, — и снова вертелся вокруг снастей.

Анна искоса наблюдала за другими пассажирами. Ребёнок, казалось, заснул, прикорнув на коленях своего опекуна. Тот быстро перемотнул проводок из пустеющего сосуда в другой, полный.

Джек наладил паруса, сел к рулю, повернул туда-сюда, глядя даже не на горизонт, а на какую-то планшетку, которую достал из-под сидения. Берег удалялся. Снова показалась в море чёрная гроза, и — вот ужас! — чокнутый лодочник навёл курс прямо на тучу. Анна подождала: может, отклонит, но нос яхты всё указывал на самый мрачный фрагмент пейзажа, и она подбежала к Джеку, чуть не перехватила руль:

— Ты куда вознамерился плыть!? Там же шторм!

— Куда надо, туда и плыву... Хороша, мать! — просила не приставать, а сама пристаёшь.

— Мне страшно. Не зови меня так! Я не твоя мать и не мать твоего сына... Меня зовут *Анна*. То есть это имя моего духа, у тела имя другое — *Изабелла*; вместе — *Аннабелла*. Было.

— И всё-таки ты мать, — ответил Джек упрямо и как будто злорадно, — Конечно, ты могла умереть от чего-то другого, например, от побоев, как вон этот мальчишка, но тогда тебе тоже вливали бы зелень...

— Так этот ребёнок!.. И таких... много?

Джек глянул с несомненной ненавистью:

— Выкинуть бы тебя за борт за такие вопросы!.. Много ли! Сама сосчитаешь!

— ...Прости, если я сказал глупость. Поговори со мной... Что это у тебя за дощечка?

— Навигационная скрижалка, — уже спокойно похвалился Джек, — Живая карта. Вот эта точка — мы, а вот в эту дыру мы прём. Видишь?

— А... а почему у тебя (и у всех остальных лодочников) белые зрачки?

— Помнишь светлый коридор в самом начале?

— Нет.

— Зелени что ли пережевала? Или так напрочь промеркла?

— Не знаю. Не помню и всё. Что ж в этом коридоре?

— Там над выходом сидит на потолке такой Дух, от которого излучается в чистом виде совесть, потому и все, прошедшие этот туннель, начинают мучиться от своих грехов: кто весь язвами и волдырями покрывается, с кого кожа с кровью клочьями облезает, у кого зубы занимают и язык словно ошпаренный, у кого ногти в обратную сторону начинают расти, у кого брюхо пухнет, а потом... бррр!.. пфф... Придумали тоже эту Лету! Без неё бы все жили и мерли обратно святыми! как считаешь?

— Не мне судить... Так зрачки белеют — от света совести?

— Ну, да. Но если у тебя в жизни бед было больше, чем вины, то эти беды, как чёрное стекло, тебе застыят глаза, и вся твоя злоба попадает сюда, здесь растёт и буйствует... Эх, пересохнет она когда-нибудь!.. Что тогда? Жить все будут хорошо, конечно, а тут...

— А песню, которую ты пел, ты сам сочинил? — попыталась отвлечь его Анна от чреватых ересью рассуждений.

— Чего попроще спроси, — вздохнул, — Песни здесь все из Уаллхолла, а там как тумана вдохнёшь — все мозги выдует, имя своё потом дай Бог вспомнить! будто родишься!.. А песня... — привяжется, но чья?...

— Светлый коридор и болезни ты помнишь, а сочинил ты песню или подслушал — нет?

— Я ничего не помню.

— Так что же ты мне сейчас рассказывал!? Свою выдумку?

— Свою-чужую... Песни. Обо всём есть песни, мать. Просто слова в специальном порядке. Вроде бы ерунда, а только их не вытравить никаким зелёным туманом!

Анна растрогалась, взволновалась, восхитилась и захотела поговорить о самом важном.

— ... Итак, однако, ты ещё помнишь о себе, что ты Джек и капитан... А фамилия *Байрон*?...

— Я ничего! ничего! ничего! не помню! Я понятия не имею, что такое фамилия и что такое капитан! и кто я такой! и кто такой Джек!..

«Копия!» — подумал Анна и умолкла, видя, что у бедняги по-прежнему не все дома.

Глава LXX. Кошмар Макса

Максу трудно спалось и ещё трудней просыпалось; он словно, закопанный, вырывался из мокрой липкой глины, такой тяжёлой, что ни крупицы сна не удержала память. Оказавшись наконец в своей квартире, он сел, прислушался и начал медленно, но всё быстрее стынуть от тишины, а зияние двери в спальню его просто ослепило.

Кое-как всё-таки встал, вошёл туда — пусто. Холодный солёный железный ком в горле... Нет. Он не стал искать огня, следов; уговорил себя притвориться поверившим, будто всё это просто подлейший из ночных кошмаров — ложное пробуждение и побрёл обратно на диван.

Глава LXXI. Раскаяние Анри и возвращение Эжена

Совершенно белая комната, увешанная шифоновыми пологами, в центре — кровать, похожая на занесенный снегом эшафот или иной помост. Не меньше двадцати светильников мерцают с потолка в тумане драпировок.

Анри снова разделся, скользнул по одеялу и задержался в живописной тюленьей позе.

Эжен стоял над ним, как над пустым письменным столом.

— Нуиччёрсвами! — вывалилось изо рта графа через две минуты, — Мненаоео васуламы-вать...

Тут Эжен осознал, насколько его угнетал этот человек, пока бодрствовал; он также понимал, что настало время зарыть гроб своей враждебности к де Марсе и посадить на могиле цветок нежнейшей приязни. В красоте, для сыщика означающей безликость, он принялся искать особенки. Островатые скулы на широковатом лице. Губы — самое необычное, пожалуй, — они как будто не изменились и не выросли за последние двадцать лет, так и остались безобидным, чуть капризным, но забывшим прихоти из-за какого-то испуга розовым бутончиком. И странно: они не пошли бы ни одной женщине, и, конечно, ни одному другому мужчине, а тут прижились.

Насмотревшись, Эжен пошёл обратно — через столовую к бассейну, где в покое и со вкусом окунулся, полежал звездой на воде, наслаждаясь каждым колебанием; потом изучил всю пленную флору, даже на вкус попробовал незнакомые листья; посмотрел, влажна ли под ними почва и некоторые кадки не поленился полить; снова понежился среди мокрых алых лепестков ((на его месте многие (например, Рафаэль) бросились бы тешить своё алчное воображение («Это всё моё!!!»), в противном случае их душила бы жаба («Почему всё это не моё!!!»), но Эжен не ведал мысленных различий между чужим и своим; вещи были для него просто вещами)); оделся, вернулся к столу, надолго задумался о ракушках, вспомнил почти всё, что знал о них. Вдруг мысль очнулась от праздности и завертелась над странным совпадением: как он, Эжен — с Дельфингой, так и Люсьен в своём романе с покойной Корали стал преемником де Марсе... Раззеркаленный любовный многоугольник, похожий на мотылька...

В сознание начала вползать старой, беззубой зверюгой болезнь. Эжен не стал бороться с ней, убрёл в белую спальню (там уже шёл мучной снег и летали шестикрылые стрекозы), лёг, вновь прикинул сопоставление с ночлегом в кордегардии, но ужаснуться не смог: слишком красиво пробивались сквозь простыню и расцветали большие чёрные генцианы.

Проснувшись в совершенно дневном свете обвёл взглядом комнату и увидел Анри. Тот сидел во вчерашнем халате и чёрной тафтяной повязке на глазах под затюленным окном, в кресле, обитом шкурой полярного медведя, у стола, белая скатерть которого имела метровый шлейф и вся была забрызгана багровым, как и одежда Анри, особенно рукава... Остроглазый гость быстро понял, что это не кровь, а вино — вон на каррарских плитах у берега жуткой лужи лежит расколота бутылка, а в руке у чудака недопитый бокал, но в первый миг иллюзия сработала, и Эжен, не помня как, уже стоял в двух шагах от графа.

— Это вы, барон?

— Зачем всё это?

— Что — повязка? Тренируюсь. Привыкаю. Доктора дают моим глазам два, в лучшем случае три года... Я уже сейчас могу рассмотреть их, только уткнувшись в зеркало носом.

— Лечитесь! Не колобродьте ночами: есть же дневные забавы; пейте отвар очанки, ешьте чернику, — это может вам помочь...

— Помочь... нужно было... одной прекрасной девушке,... и она так просила... спасти её, забрать,... а я подумал, что он со мной играет, и ушёл, домой, покуривая,... завалился спать... О Господи, во что мы превратились! — над глазами Анри сквозь бархатистую ткань просочилась настоящая, слепая темнота; он откинул голову на плечи кресла, содрогнулся: выронил бокал, тот покатился по бедру, обдавая ногу влажным холодом, — Я достоин своего приговора... *Rekatum* ((Грех (лат.))) _____ Пакита...

— Зренье вернётся к вам, если вы снова полюбите.

— Кто это сказал!? — Анри вскочил, сорвал повязку, закрутился.

— Здесь никого, кроме нас, нет.

— ... Х-ха... Что называется, и Саул был в пророках...

— Не поскользнитесь. Вот ваш лорнет.

— Что за охота строить из себя Калиостро? А! Я придумал вам новое прозвище. Готический гасконец — вот, как вас теперь будут называть за глаза во всех гостиных Парижа.

— Но я аквитанец. Гасконь — южной...

— **Ещё** южной? Какой кошмар!

Через полчаса Эжен вышел из особняка в прошлогоднем плаще блистательного денди. Прощаясь, он признал, что получил у Анри гораздо большее удовольствие, чем у Дельфины.

Гербовая карета доставила его на улицу Мучеников.

Макс, полумёртвый от отчаяния, лежал на тифозном диване в горьких облаках давно выкуренных сигар; то ли они кончились, то ли надоели, а окно он не открыл, впрочем, было и без того холодно из-за нетопленного камина.

Эжен увидел распахнутую дверь спальни и обо всём догадался.

— Знаешь ли, — сказал оторопело, — я не виноват. Она могла уйти, если бы мы спали оба...

— Ты влияешь на неё, как луна на море — сколько раз тебе втолковывать...

— Впервые слышу... Но если так и есть, она тоже должна скоро вернуться.

— Найди её сейчас же, или я тебя убью, — под рукой Макса дремал пистолет.

— Вставай. Поищем вместе... Можешь точно перечислить, что она взяла с собой?

— Мою основную одежду...

— Ага, шуба пропала. Значит, она не замёрзнет; хорошо. Что из остальных предметов?

— Не знаю.

— Осмотри внимательно комнату, — они стояли на пороге спальни, — ... Ну, что же ты? Я уже вижу. Точнее, **не** вижу.

— Чего?

— Кошки.

— Её и...

Кошка! Египетский идол! Макс мгновенно ожил, вытолкнул побратима из ботинок, сорвал с него плащ, отнял шляпу и перчатки и крикнул, выбегая из квартиры:

— Только попробуй снова уйти! — и запер за собой дверь.

В первую минуту кажущейся безысходности Эжен развёл руками ему вслед, потом отдёргнул занавеску, обиженно посмотрел, как Макс ловит извозчика, и вдруг приметил фонарь, торчащий как нельзя более удобно. Ха!

Вскочил на подоконник, открыл окно и, отпружинив левой ногой, сиганул стрижом; на излёте поймал железный столб, грациозно замедляясь, описал вокруг него полтора оборота, приземлился, сунул руки в карманы и пошагал, ухмыляясь зевакам.

Глава LXXII. Арман и беглянка

В вечерних сумерках маркиза донимала икота. Он загонял слуг, требуя то содовой воды со льдом, то кипятка, то курева, то, наконец, совета. Когда один его камердинер рылся в медицинской энциклопедии, второй заваривал мяту, а третий предлагал хозяину догадаться, кто может в этот момент о нём вспоминать и судачить, незащищённый порог пересёк гость. Он прошёл прямо в кабинет.

Едва Арман взглянул в лицо, просветлевшее в дверном проёме, он не то что икать, — он и дышать перестал; ему словно в самое сердце влетело пушечное ядро...

— Здравствуйте, сударь. Я пришла вернуть вам вашу святыню, — сказала Анастаси, ставя алебастровую кошечку на стол, и тотчас вышла.

Генерал пустился догонять, но от волнения заблудился, и прежде, чем оказаться в прихожей, шарахался в потёмках, зовя на помощь четверть (как ему казалось) часа. Кто это был здесь только что!? Никто не мог ответить... Несомненно, женщина, хотя и в мужском наряде. Её лица Арман и не увидел — за клеймом на лбу. Конечно, это не **она**. Её он узнал бы по одному звуку шагов... Но кто тогда? Знакомый голос. Знакомое пятно лица, движение руки. Они встречались прежде — это точно. Где? Когда? Арман рассекал шагами вестибюль, кружил, теряя обломками чувство реальности с каждым ударом ступни об пол, доходя до шаманского умоисступления, в котором его и ждало озарение. Остановился резко, словно натолкнувшись на стеклянную стену, вздохнул-выдохнул и громко произнёс: «Графиня де Ресто!». Повернулся, успокоенный было — и снова как молния в темя — Анастаси стояла прямо перед ним, точно на уровне его глаз темнел выжженный крест.

— Простите, если помешала, — её голос звучал мягче, глаза смотрели просяще, — Я не знаю, куда мне идти...

— Как же так, сударыня? ко мне, в незнакомый дом, вы дорогу нашли...

— Меня вела Кошка.

— ... Если я верну её вам, она отведёт вас обратно?

— Не знаю, — она без приглашения пошла за ним в кабинет, взяла из его руки статуэтку, — ... Нет, она хочет остаться здесь. И она на вас сердита.

— Что же я плохого ей сделал? Отдал негодяю?...

— Это неправильный вопрос.

— Вы ведь действительно графиня де Ресто?

— Я ею была. Зовите меня просто *Анастаси*.

— Кто... поставил вам это клеймо на лоб?

— Я сама.

— Но зачем? (- она скорбно потупилась, невразумительно качнула головой —)... Вы намерены остаться здесь? То есть, пожалуйста, останьтесь, будьте гостем...

— У вас, конечно, нет женской одежды...

— Я что-нибудь придумаю. Подождите.

Больше книг на сайте - Knigoed.net

Арман воровски затворился в кладовой и с пожаром в голове достал из нижнего комодного ящика ту самую, длинную сорочку, которую дал Максусу в день своего позора. Встал, задумался, имеет ли он право мстить **так**? А может, это и не будет мстью? Они же расстались? Ну, нет! Ведь фигурку кошки она могла взять только у него! Она по-прежнему

живёт с ним. Но — Господи! — разве такой человек заслуживает любви — любви хоть даже самой пустой и порочной женщины? И всё же — думал он, враскачку бродя до двери и обратно: что это даст мне? И эта женщина — что я о ней знаю? как подступлюсь? После герцогини де Ланже — он ведь не мог ни к одной юбке приблизиться на расстояние выстрела, хотя до... К чёрту! Сама судьба, справедливая в кои-то веки, привела сюда эту полупомешанную. Пора поквитаться и с мерзавцем де Траем, и со всеми каменносердными лгуньями...

Если бы ангел совести явился бы маркизу, то, должно быть, принял бы вид белой собаки, которая погналась бы за ним, стала хватать его зубами за полы, рукава и голенища, наскокивать, отнимать сорочку, а он бы пихнул её в живот...

— Хотите знать, сударыня, что..., — он волновался, слова проваливались в горло, — вас заставило выжечь на лбу крест? — ходил, курил, сигара мокла в пальцах, — ... Вы, верно, что-то вроде медиума, — чувствуете веянье страстей, полыхавших вокруг немых и безучастных будто бы предметов. Статуэтка, Кошка, что недавно грелась в ваших руках... Теперь он стоит там, где стала свидетельницей... сцены... трагической!.. Два года назад, в полночь на эту кушетку положили связанную женщину... Она была напугана, но прежнее достоинство — величие недосягаемой королевы — хранила из последних сил... Почти год я добивался её любви, а она манила меня к себе уловками кокетства, держала возле себя, как броский трофей — одни из многих; повелевала мною, как хотела, ничего не давая взамен, одни слова, о! сколько в ней было красноречия, артистизма, красоты, вкуса, ума, чего угодно, только не искренности и благодарности! Вся моя жизнь рушилась от одного взмаха её ресниц! Я готов был на любые пытки или преступления ради её взаимности, но... Всё было тщетно, и тогда я выносил план мести: заклеить надменную кривляку, в самом буквальном смысле! Вы угадали совершенно точно — крест на лбу. В знак тех двух сил, в союзе с которыми она оборонялась от моей любви — рассудочности и религии. Я похитил её, привёз суда, объявил ей о своём намерении. Мои друзья уже раскалили на углях тавро... Но в последний момент... я решил пощадить её, или, может быть, отомстить по-другому: расстаться навек. Приказал ей уйти. И до самого её отъезда я не сказал ей ни слова, потом не принимал её, когда она унижённо, в слезах стояла у моих дверей... Но клянусь вам, мои страдания были стократ ужаснее! Они и сейчас не утихли... А вы? Вы ведь тоже страдали, любя человека холодного и лицемерного? Он вас использовал — как вам ни больно признать это. Я потому и раскрыл вам всю душу: вы можете меня понять... Теперь вы здесь... А Кошка... Её имя *Баст* или *Бастет*; она богиня любви — любви, какой она была в жаркой древности, не поражённой ещё плесенью наших принципов добропорядочности. Вы здесь. Вы, близкая мне в пережитых несчастьях. И я взываю к вам, не как к женщине, которую не уважаю, но как, возможно, к человеку солидарному — отдайтесь мне! Сейчас! Пусть это будет им расплата за нашу поруганную верность, за наши жертвы... и слёзы! Да, вы не ослышались!.. Вы смущены; взгляните же!.. Ваши глаза... ах, в них тот же холод, а меж тем — эта глумливо-обольстительная поза! Вы изогнулись, как змея, кольцом подняв бедро! Изображаете испуг — ни чуть сомневаясь, что, как дворянин, я не посмею тронуть вас, не поступлюсь рыцарским кодексом? Вы так в этом уверены!? Смотрите же — я рву все требования чести, поработившие нас, превратившие нас, мужчин, в болонок; рву их, как каторжные цепи, как эту рубашку!.. — и, превращая речь в рычанье взбешённого льва, Арман кинулся на свою жертву.

Изнасиловав пустую кушетку, он потянулся за новой сигарой, но не нашёл; отдышался,

привёл себя в порядок, глотнул разбавленного бренди и побрёл в комнату, предоставленную даме для переодевания.

— Хотите знать, сударыня, что вас заставило выжечь на лбу крест? — спросил вяло.

Анастаси поднялась с дивана, подошла к Арману неприлично близко, навела влажно-искристый взор прямо его в глаза и сказала:

— Я знаю, — её губы покраснели и припухли, она облизнула их и продолжала, — На глазах Бастет вы осмелились выбирать между любовью и гордыней, предпочли делу супруга дело палача; тогда богиня вам ещё благоволила и хотела вашей радости, она своею властью разбудила сердце желанной вам женщины, а вы отвергли этот дар...

— Да, было слишком поздно!..

— Значит, вас уже постигла смерть? — горячая рука нырнула в прореху на одежде Армана, вжалась в грудь, врезалась ногтями — Нет, сердце бьётся, лёгкие шумят.

— Я-х... я готов исправить, искупить... сейчас!.. — от вновь взметнувшегося вожделения он не чуял ног и языка.

Слишком просторная одежда спала с плеч тщедушной ясновидицы, и вдруг её ладони, всё ещё льнущие к чужому телу, остыли, словно окунувшись в дикую воду, а спина под обнявшими руками стала твёрдой, как у черепахи. «Нет!» — воскликнула, но Арман лишь яростней тёр её бока и бёдра, целовал её подбородок и шею. «НЕТ!» — загудело откуда-то из утробы, и толчком прозрачных рук-тростинок крупный, кряжистый, до озверенья возбуждённый человек был отброшен, как мешок шерсти. Он сильно ударился копчиком, от боли в глазах потемнело, а, прозрев и опомнившись через пару мгновений, бывалый солдат увидел, как его гостя, корчась на коленях, плача, подгребают к животу комканую, топтаную тряпку. «Волчица!» — просипел маркиз и выбежал, зажмурившись, помчался не разбирая направления, но, настигнутый новым ужасным криком, вернулся; в дверях остолбенел: обнаженная женщина, лицом свергающая, телом попирающая представления о красоте, вся истощённая, лежала на спине, меж ног зажимая бесформицу рубашки, во многих местах потемневшей от влаги. Воздев руки, она чертила по воздуху круги тающего света, и из глаз её — открытых ли, закрытых ли? — сквозило бело-голубое сияние. Она громко, со стенанием дышала. Прошла минута, другая... Арман вновь совладал с собой, подкрался, уцепил кончик проклятой максовой одежды, вытянул, отбросил...

Анастаси сразу уронила руки вдоль тела, опали её колени; померкли, сомкнулись глаза.

Оставить её так? Вновь прикоснуться к этой стихии в женском облике? Арман пощупал ладонью пол. Только заверил себя, что на таком не простудишься, как гостя жалобно закашляла. Пришлось переложить её на диван, прикрыть — чем? Хоть скатертью. И наконец-то прочь!

Как разыгрались нервы! — вдалбливал себе Арман, — Ведь надо же такому привидеться! Всё эти чёртовы биомагитные поля, дразнящие нашу тоску миражами: кому мерещится нимб над уткнувшейся в молитвенник соплюшкой, кому — крылья за спиной у дамочки за фортепиано, кому — !.. Бросился на кушетку, крикнул слуг: «Сахар!.. Ира!.. Санглоть!.. Сигары кончились!..». Плюнул на свечку, промахнулся, повернулся на другой бок...

Проснувшись, не узнал своего кабинета. Или своего зрения, вдруг ставшего собачьим. Кругом серо, угловато, неуютно как в тюремной камере, а всего-то пропали портьеры...

— Сигар, гаспадын, — доложил, поглаживая заветный ящик, Сахар, офранцузенный эфиоп.

— А где?...

— Занъвъэскъ? Их взяла сэбэ на пылатье гаспажа Анастэзи.

— Вы уже познакомились!.. Где она?

— Гуляйт па дому.

«Волчица! Как она его любит! — думал Арман, пока денщик Ира, худосочный бритый баск с тремя центральными резцами, вместо двух, лил ему на спину и голову холодную воду, — От тряпки, бывшей на нём почти месяц назад, не больше трёх часов, — вся изошла похотью!.. За что? И каково это — быть так любимым?...».

Оделся, как на летнюю прогулку: песочная тройка, белый галстук; завтракать один не сел, пошёл искать Анастэзи. Она была в библиотеке и в третьей ипостаси, в какой невозможно было вообразить герцогиню де Ланже, — из тяжёлых длинных портьер она соорудила себе иконописный наряд: зелёное покрывало поверх пышной багряницы, подпоясанной толстым шнуром от сонетки; лоб милосердно завешан золотистой бахромой. Она сидела на стремянке, и листала дорогой сборник цветных гравюр, посвящённых Египту.

— Доброе утро, сударыня, — церемонно поздоровался Арман, ища на её лице признаки стыда за вчерашнее.

— Здравствуйте, — спустилась на пол, отложила увесистый альбом.

— Вы любите книги? («А она?...?»)

— У вас мало хороших книг.

— Следовательно, много плохих, потому что вообще-то их всё-таки много... Чего вы не нашли в моём собрании? какой хорошей книги, например? — обиделся.

— Данте Алигьери...

Арман почти не глядя выхватил из частокола фолиантов «Божественную комедию».

— Это не то.

— Вот и «Пир», и «О монархии»...

— А самая ранняя его книга — «Новая жизнь»?... Максим подарил её мне на первую годовщину нашего союза. Он сам её перевёл и написал от руки, убрал в красивый переплёт...

— Сам — перевёл? Что, и сонеты тоже?

— Да. Я видела другие, магазинные издания. Они не совпадают... Каждый год он преподносил мне новую книгу, переводил даже с персидского и с индийского.

— Где же теперь эти раритеты?

— Я все их уничтожила, сожгла, — на губы и подбородок Анастэзи набежала горестная кривь и рябь, — когда... он ушёл от меня.

— Но, кажется, вы снова вместе?

— Смеётесь надо мной! Неужто вы не видите, что я совсем одна!?

— У вас не родственников?

— Нет. Детей у меня отняли, сестра меня презирает... Есть брат, но он тяжело болен. Был отец,... но я замучила его до смерти!.. Всё ради этого изверга!..

— Вы... должно быть, голодны. Позавтракайте со мной.

Утром генерал привык есть мясо: говяжий язык, испанскую ветчину, немного салата, крепкого кофе без сахара. Гостья взяла только хлеб и напиток.

— У вас необычное имя, — развлекал её беседой маркиз.

— Греческое.

— Знаете, как оно переводится?

— ... Воскрешение.

— Позвольте я расскажу вам древнеегипетскую сказку. В начале времён боги жили и царствовали на земле, среди людей и сами были как люди. Верховным был Ра, а главным хранилищем его силы и власти считалось его тайное имя. Богиня Исида захотела завладеть могуществом Ра. Она тайком собрала его слюну, смешав её с землёй, слепила змею, которую положила на пути владыки. Ужаленный Ра закричал от палящей боли; ужаснулся, чувствуя близкую смерть, а Изида сказала: «Божественный отец, назови мне своё имя, чтоб я могла сочинить для тебя спасительное заклинание». Ра перечисли все свои имена, какие знал, но они не помогли. Умирая, он позволил Исиде искать то, что ей нужно, в его теле. Затем закрылись его глаза — солнце и луна; наступила великая тьма, среди которой Исида рассекла грудь мертвеца, извлекла сердце Ра. Прикоснувшись к нему, она постигла наконец суть жизни и силы бога и сочинила заклинание, которым воскресила его.

— Я похожа на эту злую богиню? Да, я ведь тоже вырвала сердце у моего отца...

— Исида вовсе не зла, а вы мне её напомнили только идеей воскрешения, ведь она поборола смерть не одного только Ра. Когда её брат и супруг был убит, она обошла всю пустыню, собирая части его расчленённого тела, чтоб сложить их вместе и вернуть к жизни... Эти истории жестоки, но что ж поделать — воскрешение невозможно без смерти.

— В мифе сказано, каким именно зовом Исида пробудила раскромсанный труп?

— ... Может, она просто шепнула: *люблю тебя*.

— Почему вы хотите, чтоб я простила Максима?

— Должен же кто-то найти выход... из великой тьмы (- «Если у них получится, я тоже разыщу и вызволю Антуанетту!» — дал про себя обет Арман —) и подать пример другим... Вы помните вчерашний вечер?

— Да. Я вела себя странно. Впрочем, не странней, чем вы в ночь единственного посещения этого дома герцогиней де Ланже... У ваших стен... угарная аура.

— Вчера на вас была рубашка, ношенная вашим Максимом, и стены тут, скорее всего, не при чём.

Анастаси резко встала, отошла к окну, подышала, собралась с мыслями:

— Да уж, вас не перечудишь, — она всё же не смогла придать своему голосу холодно-светской иронии, которая заморозила бы угрызения маркиза.

— Вы правы. Я себе позволил слишком многое... Но мне хотелось... истины!

— Позвольте мне побыть одной. Не провожайте, — он не успел приподняться, как она, глухо шумя одеждой, вышла.

Глава LXXIII. Скитания Эжена

«Вот балбес! — честил себя Эжен. Он снова не знал адреса, к тому же не имел при себе ни гроша на транспорт, ни пальто, и вернуться в запертую максову квартиру не представлял возможности. Сублимируя злость в чистую энергию, он бежал со всех ног — обратно в Сент-Оноре, к своему новому настоящему светскому другу. Усталости он не чувствовал, но где-то на полпути в нём шевельнулось благоразумие, и он заскочил остыть в магазин тканей.

— Где хозяин!? Мне нужен хозяин! — закричал ещё с крыльца, кометой прочертив фойе, чуть не повис на шее негоцианта Камюзо, — Дорогой господин, мне нужно очень много самой прочной ткани, такой, из которой делают паруса больших кораблей!

— Извините, сударь, я торгую шёлком, бархатом...

— Но вы должны знать, где достать любую материю.

— Нда, поискать я могу... Сколько вам нужно?

— Хотя бы тысячу квадратных метров.

— Не секрет, что вы собираетесь шить?

— Саван нищете и горю Парижа.

— Хм, — забеспокоился купец, — Как вы намерены расплатиться?

— Как угодно, только не деньгами.

— Да кто вы такой?

— Я брат моей сестры, ... Корали, актрисы из «Жимназа».

Камюзо побледнел, обвис щеками, вгляделся в лицо незнакомца и увидел всё, что хотел.

— Я не обещаю добыть всю тысячу, — заговорил обрывисто, присапывая, — не гарантирую доброкачества товара, но если очень надо...

— Вопрос жизни и смерти множества людей!

— Приходите через неделю-другую.

Эжен низко поклонился и помчался дальше.

Ему не пришлось долго стучаться в особняк де Марсе. Анри вышел в узорном кашемировом халате.

— Туча извинений, милый граф! Не найдётся ли у вас ещё одного плаща, шарфа, каких-нибудь ботинок ((на ногах у Эжена были домашние шерстяные туфли)), и не поведаете ли вы мне, где живёт генерал де Монриво?

— Нет ничего проще, — Анри дал знак слуге, — одевайтесь и отправляйтесь на самый стык Риволи и Маре, откуда ещё виден угол Лувра. Пятиэтажный дом, второй этаж, балконы с барельефами спящих под крестами гаргулий.

Проводив Эжена, он устало сказал камердинеру:

— Заприте. Больше никого не принимать. Мне нездоровится...

Эжен нашёл в кармане нового одеяния несколько луидоров, и, хотя считал расстояние ничтожным, побаловал себя фиакром. Указанный дом встретил его запахнутыми дверями.

— Господин Шарль? — радушнейше уточнил лакей.

— Он самый, — машинально ответил Эжен, скидывая обнову ему на руки.

— Господин Феликс ещё на службе; к полудню будет: он всегда обедает дома.

Однако, шутник этот де Марсе!..

— Ваш багаж уже прибыл, — докладывал новый слуга, — но апартаменты пока не готовы. Не угодно ли будет пройти в кабинет. Через минуту туда подадут кофе и — что-

нибудь ещё?

— Нет, больше ничего. Спасибо.

«Поздравляю, самозванец! это тебе от Корали — царство ей небесное! Однако что и дёргаться? давно нужно было сюда, а с Монриво Макс разберётся сам... Кто бы ни был этот Шарль, у него плохая репутация, так что пусть; жаль, что багаж...» — играла мысль Эжена.

Сперва он попал в гостиную, затянутую сатином цвета огуречной мякоти, равномерно утыканным золотыми геральдическими лилиями. В куцах жардиньерках у дверей кустились тропические сорняки. Все стенные проёмы были замаскированы парчовыми ламбрекенами. Общая с кабинетом стена наполовину являлась камином, разглядывая которой Эжен даже присел на неизбежную полосатую кушетку, необычную только своими бараньими ножками. Собственно камин он увидеть не мог из-за экрана; экраном он и залюбовался. На щите был изображён поднявший хвост павлин с газельими очами и весь рыжий, хотя и с синими глазоподобными пятнами на перьях, превращающихся в огненную надпись *ФЕНИКС*. Эжен кивнул, улыбнулся удачному созвучию *феникс-Феликс*, а, глянув выше, нахмурился. Прямо над каминной топкой висел портрет немолодой дамы в тёмно-зелёном платье и чёрной шали. Ничего отталкивающего в ней не было, но своим верховенством она как будто уничижала эту красивую птицу, хозяйского тотема.

Прошёл в кабинет, тонами отделки сразу напомнивший ему его собственную спальню с той поправкой, что здесь всё искрило роскошью и дороговизной, особенно шкаф на всю стенку, по карнизу которого тянулось инкрустированная эпиграмма на чём-то вроде латыни:

СЕКРЕТАРЮ КОРОЛЯ И КОРОЛЮ СЕКРЕТАРЕЙ.

Наверняка подарок де Марсе. Как и экран с фениксом. Его стиль.

Эжен повернулся направо, в сторону камин и пошатнулся от ужаса — он увидел, как огромный бурый орёл тащит младенца. Тот плачет, лицо до зловещего перекошено, ручки неестественно растопырены, ладошка бессильно упёрлась в орлиную грудь, из кулачка, окоченевшего, свисает гроздь кроваво-красных ягод; рубашечка позорно задралась; как оборванная пуповина, болтается кисточка пояса; между поджатых толстых ножек в долгую темноту спадает стыдная струйка.

В два тигриных прыжка Эжен схватил с рабочего стола костяной нож для книг и вонзил его прямо в глаз хищнику, другой рукой уже подхватывая ребёнка, тотчас прижимая его второй, равно опытный убийца и спасатель. Пойдём отсюда, детка! несёт этого грузного, откормленного карапуза в гостиную, но натывается на женщину в чёрно-зелёном, а она говорит: «из-за тебя я испытала столько жгучей скорби, что вторично мне не снести её!». Младенец изворачивается на руках, обхватывает Эжена за шею и, размахнув головой, впивается зубами ему в щёку.

— Тише, что вы! — слышится голос сверху. Тело становится как будто невесомым, только сердце грохочет, как гонг. К лицу прилепляется что-то прохладное и мокрое.

С возвращением в реальность, глюкоброд!

Два человека помогли Эжену сесть на стул.

— Вы свободны, — отослал слугу Ванденес, — Здравствуйте, пожалуйста, господин де Растиньяк, — внушительно сказал гостю.

— Здравствуйте и вы. Простите,... — покосился на источник своего кошмара — из головы орла торчала костяная рукоятка, ребёнок по-прежнему корчился в его когтях, —

Какая гнусная картина!

— Это копия с рембрандтова «Похищения Ганимеда», и довольно хорошая. Была... Что с вами? Вы впервые видите, как плачут дети?

— Нет, я видел, но их можно было утешить, а этого — нельзя...

— Давайте уйдём отсюда, раз вы так впечатлительны, — у Феликса самого подрагивал голос.

Только бы не в зелёную комнату! Ну, конечно — именно туда.

— Ваша матушка? — кивнул Эжен на портрет.

— Угадали. Хотя, кажется, между нами нет внешнего сходства.

— Вы похожи... на сына такой женщины.

Феликс вздохнул с вошедшим в привычку смирением.

— Знаете что, я как раз сбежал со службы пообедать. Присоединитесь?

Столовая располагалась позади кабинета. Проходя, Феликс прихватил из своего драгоценного шкафа с гранёными стёклами какую-то папку.

Новая комната оказалась очень узкой, словно стандартную нарочно перегородили поперёк. Оформлена она была в позднее-античном, изрядно утрированном стиле: на потолке геометрическая лепнина, на чёрном полу — большой мозаичный осьминог, похожий на какую-то сумасшедшую орхидею, в окружении маленьких морских звёзд. На стенах цвета просохшей глины с мелом красовались изображения флейтисток и арфисток. Их одежды раздувал ветер, а пряди волос спокойно свисали на плечи.

Накрытый стол венчала фарфоровая супница. Из неё по тарелкам разлили жидкий бульон с плавающим букетиками цветной капусты, морковными монетками и аккуратными кубиками картофеля ((Эжен вообразил медяки, пуговицы и игральные кости)). Феликс накрылся салфеткой, застыл на минуту с молитвенно сложенными руками, потом бесшумно зачерпнул ложкой суп, причём от себя, таким отстраняющим движением.

Эжену стало стыдно за горе-едака перед этим предпасхальным, но всё же любовно приготовленным блюдом, и он стал есть с аппетитом, сначала с наигранным, потом действительно вошёл во вкус.

— Итак, — начал Феликс после седьмого глотка, — мы остановились на том, что возлюбленная графа де Марсе трагически погибла. Поскольку её социальный статус точнее всего означало слово *рабыня*, у Анри вскоре проявилась странная навязчивая идея — человек как товар и собственность. Он стал покупать девочек в бедных предместьях. Причём они сами его почти не интересовали, ему важен был сам акт приобретения и первое чувство обладания. На утро он видел, что девушка, ночью показавшаяся похожей на его... Пакиту, не имеет с ней ничего общего, и он, забыв о её существовании, ехал за новой. Когда в его доме этих бедняжек накопилось двадцать с лишним душ, Анри со смехом выстроил их передо мной, рассказал о своём хобби и предложил устроить их дальнейшую судьбу, в противном случае он устроит большой аукцион для всех парижских развратников. Я тут же отчитал его со всей суровостью, на какую способен, пригрозил, что если подобные непотребства не прекратятся, я порываю с ним все отношения, и забрал девушек, наняв для них семь карет...

— Представляю этот кортеж!

— Да ничего особенного, череда обычных уличных экипажей! Едва я почил от хлопот по пристройке беспризорниц: кого в монастырь, кого к швее, кого в горничные, кого в театр... — как обнаружил в доме моего друга ещё с дюжину нимфочек, и всё закрутилось по новой. После третьего круга я решился на крайнюю меру — отправился с жалобой к лорду

Дедли, которого Анри считает своим настоящим отцом. «Что вы предлагаете мне с ним сделать? — весело спросил тот, — Мы за всю жизнь с ним не перекинулись десятком слов... Но не вешайте нос, я что-нибудь придумаю». (- подали жаркое, которое сотрапезники не удостоили и взглядом —) Когда я, как он и просил, пришёл к нему на следующий день, он дал мне документ, составленный по образцу купчих, какие оформляют плантаторы в Америке — якобы он продаёт мне в рабство своего сына, графа Анри де Марсе. Вот, пожалуйста, — Феликс выложил из папки вышеназванную бумагу.

— Пххх!..

— Мне ничего не оставалось, как предъявить её моему несчастному другу...

— Ко мне бы кто с такой сунулся — эх я его бы и послал!

— Я именно такой реакции и ждал, ну, в лучшем случае, осмеяния, но Анри вдруг так серьёзно ко всему отнёсся, так охотно принял свою роль... Я раскаялся, сказал *забудь!*, но к концу дня он принёс мне доверенность на пользования всем своим имуществом (- новый документ лег перед взором гостя —) и объявил, что всё справедливо, он не достоин свободы и отныне беспрекословно повинуется мне... Вот уже больше года мы играем в эту игру... Я... люблю Анри и стараюсь употребить свою власть исключительно во благо ему...

— Простите, ну, это-то вы мне зачем рассказываете?

— Чтоб вы знали: этот человек себе не принадлежит и за себя не отвечает. Если вы имеете или у вас когда-либо появятся к нему претензии — к вашим услугам — я, — провозгласил Феликс и с долгожданным аппетитом притянул к себе вазу компота из очищенных груш.

— Это и есть то главное, чего вы недоговорили у Нусингенов?

— Не совсем, — рабовладелец задумчиво ковырнул фруктину, — ... Наивно было полагать, что Анри, этот гордец, лукавец и строптивец, действительно вручит мне руководство над собой. Его образ жизни, в сущности, остался прежним. Девушек стало меньше — это радует, и, рассовывая их по вакантным щёлкам Парижа, я пользуюсь не своим кошельком, но... Господин де Растиньяк, я не хотел испытывать ваших нравственных качеств и сил — вы сами раскрыли мне такие стороны вашей души, которые меня, признаюсь, удивили: когда вы рассуждали о свете и женщинах, смерти и Боге, и сегодня — о неутешном ребёнке... И хотя с первого взгляда вас трудно заподозрить в благочестии и целомудрии... Ну, пойдёмте.

Миновали узкий коридорчик мимо ванной и оказались в таком розовом дротуаре с шестью аккуратными кроватками. На второй слева сидели рядком три отроковицы.

— Полубуйтесь, — пригласил Феликс, — этих я привёз буквально час назад. Мадемуазели, назовите нам ваши имена.

— Мишельма. / Фрюктидора. / Велиалит.

— Чудовищно! Наверняка все некрещёные! Эжен, сегодня приезжает мой старший брат. Что? как я ему объясню всё это?

— Так он вам брат или ревизор из полиции нравов?

— Он — мамин любимец, и несомненно всё доложит ей!

— Но правда же за вами. Вы занимаетесь богоугодным делом...

— Они не поверят!.. Выручайте! Любое предложение! У меня уже голова не работает...

— Давайте отошлём их к моим родичам в Ангулем. Красавицы, такое дело — если вы отправитесь жить и работать в одну приличную семью на юг, прослужите там верой и правдой год, и на вас не будет жалоб, то каждая из вас получит тысячу франков

вознаграждения. Идёт?

— А если всё-таки будут жалобы? — спросила Велиалит ((это она вчера приносила шампанского к бассейну, она узнала Эжена и ехидно улыбалась)).

— Тогда — только пятьсот. А мы тем временем выправим вам паспорта.

— С такими именами!?! — негодовал Феликс.

— Имена подправим: ты, милая, будешь просто Мишель, ты, стройняшка, — Флора; ты, умница — Виолетта...

— Мне нравится моё теперешнее имя.

— Это всё равно, как если бы меня звали Вельзевулом!!! — совсем взорвался благодетель.

— Хочешь, чтоб из-за дурусти твоей родительницы на тебя показывали пальцем? Изволь, а документы у тебя будут всё-таки человеческие, — нарезал спорщице Эжен.

— Значит, решено. Если, мадемуазели, у вас есть какие-то вещи, собирайтесь. А нам с вами, барон, нужно теперь составить рекомендательно-объяснительное письмо вашим родным.

Пошли обратно в кабинет.

— Только, — говорил Феликс, — будет ли нравственность девушек в полной безопасности? В вашей семье есть ещё мужчины?

— Два младших братишки, но они совсем салаги! — старшему едва ли стукнуло двенадцать.

— А отец ваш, простите, жив?

— Жив. (- Эжен сам удивился, с каким тёмным холодом он это молвил —) Но он, наоборот, уже почти старик, к тому же мать и тётка всегда держали его по каблуком.

— Какое место вы прочтите моим найдёнышам в вашей семье?

— Служанок, помощниц при старших дамах и двух моих сёстрах на выдании.

— Ну, хорошо. Вот, пожалуйста, перо, бумага. Пишите.

— ... Вы простите ради Бога, но... я не могу. Напишите сами, а я внизу заверю...

Вот ещё причуды! Но времени на пререкания нет. Феликс процедил лишь: «А вы сложный человек», садясь за стол и макая перо. Эжен отошёл к межоконному простенку, с которого большими чёрными очками смотрела карта звёздного неба.

— Я взялся бы как-нибудь написать вместо вас вашей матушке.

— О чём?

— О том, например, что вы — взрослый, сидящий на одном из влиятельнейших мест с более чем приличным доходом и не нуждающийся в няньках-надзирателях.

— ... Что-то подобное вы некогда отправили своей? — Феликс спрашивал быстро, не отрывая руки от листа.

— Скорей я сам получил от них что-то подобное. Только в другой модальности.

— ... Хотите, я поспрашиваю насчёт места для вас?

— Спасибо. Не сейчас.

Секретарь остановился, удивлённо поднял голову: такие слова и, главное, интонации он нередко слышал от своего высочайшего патрона...

— ... Готово. Заверяйте... Кстати, кровати из девичьей — вам не надо?

— Надо... О! а не подскажете, где живёт господин де Монриво?

— Зачем он вам?

— Как же, он мне с бала должен тысячу.

Обменялись адресами: Феликс дал генералов, Эжен — Дома Воке, на чём распрощались.

В прихожей уже знакомый слуга подал Эжену плащ.

— Ну, что, любезный, подставить вам левую щёку?

— Увольте, сударь.

— Уволю вас не я...

— Эй! — ворвался в их диалог меднозвонкий голос, и тут же подлетел и его владелец, цветущий мужчина, в котором по всем приметам: по костюму, по не по годам здоровому цвету лица, по размашистым и неуклюжим движениям — должно было признать провинциала.

— Вы, верно, граф де Марсе? — грозно прорычал он Эжену.

— Он самый. С кем имею честь?

— Никакой чести вы не имеете! Вы — позор всего дворянства! Зарубите на носу — если ещё раз я увижу вас в этом доме, то на месте пошинкую, как кочан капусты!

В ответ на эту восхитительно искреннюю брань Эжен засмеялся, словно самой удачной шутке лучшего друга, безудержно, светло, благодарно, подавшись вперёд, чуть не повисая на шее у грубияна. Тот осткочил с котовым шипеньем и побежал прочь. Вот это и был Шарль.

Глава LXXIX. О том, что имеет значение

Плохой любовник, Арман оставался хорошим товарищем. Он с порога успокоил Макса, в прихожей рассказал всё, что могло его заинтересовать о вчерашнем вечере. Каяться в своём мстительном поползновении не стал, однако...

Анастаси недавно легла отдохнуть, что позволило маркизу затащить гостя в злосчастную серую комнату для серьёзного разговора о любви.

— Я предлагал ей убить меня в случае моей неверности, а для её алиби я сразу написал бы записку о том, что кончаю с собой!

— Что за бред! Как вы могли допустить, что Антуанетта де Ланже вдруг превратится в Клитемнестру!? Для огромного большинства женщина ваш посул — просто издёвка, оскорбление не меньшее, чем сама измена... А вот мужчину это впечатлило бы.

— Оставьте, честное слово!.. Что же мне было делать!?... Как вы, к примеру, добились графини де Ресто?... Или она первая вас полюбила?

— Нет, конечно. Но её отзывчивость — божий дар. Человек такого не пробудит,... и не достоин такого человек.

— Ну, скажите всё же, как вы вели себя с ней?

— Я с ней... не вёл посторонних разговоров. В смысле: я оставлял их на потом.

— Вы внушаете мне, что я делал всё неправильно, но разве она поступала со мной не бесчеловечно? Ведь она сама завлекла меня в свой дом, обласкала, потом льстила, приглашала среди ночи, наряжалась, вздыхала — ради чего всё это — с просто другом!? Тщеславие, эгоизм, забавы от светской скуки! Или — нет? Вы можете найти оправдание?...

— Тому, чему его не мог найти (да и не искал) маркиз де Ронкероль? Без труда. У неё были мигрени? Они — верные спутницы истерии — знаете, что это? Невно-психическое расстройство на почве полового неблагополучия... Брак с нелюбимым человеком, физическая близость с ним обыкновенно оставляют вчерашнюю девушку в пожизненном шоке, в отвращении от одной мысли о плотском. Особенно такую отборную аристократку, какой была ваша дама. Конечно, с любовником обычно не повтрётся стратотерпие первой ночи, но это надо объяснять, а вы — вы требовали...

— Я молил!!!

— Там, где должны были предлагать; хотя бы на словах представить всё так, будто не она заплатит вам своим телом за приятные беседы, а вы ей.

— Но это противно природе!

— Что неестественно, то культурно. Слышали историю Феликса де Ванденеса? Он тоже влюбился в замужнюю и набожную особу, она ответила ему взаимностью, но объявила, что не посягнёт на свои священные узы, не нарушит супружеского долга и так далее, а он смиренно подрежал её в этом подвижничестве. Говорят, до сих пор получает и благоговейно хранит, перечитывая, её письма...

— Разве не жалкий слюнтяй!?

— Сострадание вызывает его избранница, но сам он поступил вполне достойно, — едкие корпускулы, изливаемые серыми стенами, проникали в максов мозг, наполняли его доносщическим шёпотом, — Во всяком случае ему хватило ума снять с себя ответственность. Вам — нет. Хотя вы пытались, например, когда спрашивали у жены разрешения на убийство мужа... Вы отвергли роли платонического трубадура и

бескорыстного жиголо. Роль судьи вам показалась подходящей. Тело — в любви и в ненависти — представлялось вам только залогом, знаком, нет! пустой доской для вашего знака. Вы сказали: «Боль не имеет значения»...

Тут Арман взревел, дёрнулся в своём кресле, не понимая сразу, что с ним, но глянул на руку, откуда по всем жилам разбежался жгучий ток, и увидел своими же пальцами вдавленную в кожу сигару; приложив все силы, оторвал её, уже потухшую.

— Ну, каково? — Макс подождал немного, полакомился цепенящим страданием собеседника, его отчаянным трепетом раскаяния и угасил его боль наложением клеймёной ладони, — Нет, на чаше Страшного Суда это имеет гораздо больший вес, чем так называемые душевные терзания.

— Как... это произошло? — задыхался Арман, — Вы — кто вообще такой!?

— Прашу праченьй, хазяйн, — вмешался, заглянув, Сахар, — Там вас спрашивают гаспадин Растьньяк.

Только что льдокаменный, неколебимый, как альпийская вершина, Макс упал в спинку кресла со звуком, похожим на подавленный чих... Если бы не это странное поведение гостя, генерал вряд ли сказал бы: «Ну, проси».

Эжен прицокал элегантными сапожкам, картинно скрестил ноги под аркой дверного проёма, задорно улыбнулся:

— Здравствуйте, господа! Маркиз, я...

— Знаю-знаю. Граф, мы вас оставим на десять минут: пустые денежные дела. Извините.

— Дорогой барон, — заговорил Арман в кладовой, машинально доставая и отсчитывая золото, — вы не откажетесь принять участие в судьбе несчастной, незащитной женщины?

— Они все таковы. О ком речь?

— О графине де Ресто. Вы не можете не помнить её, родную сестру госпожи де Нусинген. Волею случая она оказалась здесь, в моём доме, а граф де Трай преследует её; он пришёл за ней, он уведёт её, но не столько силой настоящего чувства, сколько с помощью какого-то колдовства.

— Что требуется от меня?

— Проследите за ними, постарайтесь войти в их жизнь, завоюйте их доверие, и, если вам покажется, что графиня страдает, сообщите мне и помогите избавить её от мерзавца.

— Не вопрос.

— А если вы готовы и на большее, то... прямо сейчас заберите её с собой, спрячьте. Он ведь не знает, где вы живёте?

— Никто не знает, где я живу. Но вы уверены, что она пойдёт со мной?

— Нет, конечно, но попробуйте её уговорить.

— Почему вы не оставите её у себя?

— Я бы рад, но... этот человек меня одолеет. Не удивительно: жизнь так истрепала меня... Ваш же дух не надломлен, силы не измерены. Об одном прошу — остерегайтесь, не вступайте с де Траем в открытую борьбу. Он — сущий монстр!

— Догадываюсь.

— Если вам нужны ещё деньги...

— Что вы, спасибо.

— Мой экипаж к вашим услугам.

— Поймаем фиакр — так легче будет затеряться.

Маркиз подвёл Эжена к дверям, за которыми скрывалась беглянка, пожелал удачи, дал в

проводящие до чёрной лестницы бывшего фуражира Санлотье, сам вернулся к Макс, которого удерживал ещё четверть часа подозрительно бессвязными вопросами, наконец они отправились за Анастаси, но в её комнате нашли лишь сброшенные в кучу занавески. Арман крайне ненатурально растерялся и посочувствовал. Макс так же притворно взбесился.

— Когда я их найду, учтите: кровь этого мальчишки — на ваших руках! — проскрежетал он вместо прощания. Вслед ему незадачливый рыцарь смотрел, держась смятенно за виски.

Сквозь кутерьму густого снегопада Макс увидел ждущий фиакр, дверца которого открылась при его приближении. Он сел и оказался рядом с тихой, вжавшейся в угол Нази и напротив Эжена, вальяжно разостлавшего по сиденью новейший плащ де Марсе. Эжен постучал по стенке и карета неторопко тронулась.

Макс Итак, ты выломал дверь...

Эжен Не, я выпрыгнул из окна.

Анастаси ... Он не виноват в своей жестокости. Наши книги так воспитывают нас... Все любят Рабле, смеются над его романами, дают их читать детям, а ведь это самая изуверская книга на свете. Помните, как монах убивал врагов, напавших на виноградник?

Кто пытался укрыться среди густолиственных лоз, тому он, как собаке, перебивал спиной хребет и переламывал крестец. Кто пытался спастись бегством, тому он ударом по ламбдовидному шву рассекал на куски черепную коробку. Смелчаку, который решался с ним перевестаться, он охотно показывал силу мышц своих, а именно пробивал ему средогрудную перегородку и сердце. Кого ему не удавалось поддеть под ребро, тому он выворачивал желудок. Иных он со всего размаху бил по пупку, и у них вываливались кишки. Иным протыкал мошонку и задний проход...

Макс *Одни умирали, говоря, другие, умирая, говорили.* Декартовы автоматы. Боль не имеет значения... Тысяча и двадцать лет Содома!

Эжен Судя по тактике боя, этот монах был карликом... А ваш хвалёный свет — просто свалка разбитых сердец.

Макс Да. Потому тебе там и самое место.

Анастаси Дельфина ужасно боится монахов.

Макс Одного она всё-таки терпит...

Глава LXXX. Остров во тьме

Обломный свинцово-угольный ливень стоял, как живая скала от чёрного моря до чёрного неба. Ещё немного, и он сжевал бы, перемолол и растворил лодку, но ангел вышел на её нос, открыл лицо, от которого во мглу дождя ударил яркий луч, пробивая глубокую брешь. Яхта медленно вошла в как бы стеклянный туннель, миновала его и оказалась вблизи безжизненного, низменного острова. В зените нависала ночь, по краям клубились тёмные тучи. В них, как весенние ужи в ворохе листьев, копошились молнии. Гром казался очень далёким. Дождевой фронт опоясывал пространство вокруг этой земли. Анна снова заподозрила тут вулканизм, поскольку из центра острова поднимался столб чёрного дыма.

— Мы высадимся здесь? — спросила, вся дрожа.

— Да.

Ангел разметнул крылья и полетел, тяня за канат яхту к берегу. Джек повернул руль, быстро скинул сходню, и, пока бывший небожитель уносил на сушу спящего мальчика, бывший капитан вытолкнул пассажирку на доску с торопливым пожеланием: «Спаси тебя Господь!». Едва Анна обеими ногами приземлилась, он затащил обратно трап, пырнул берег длинным веслом и поплыл прочь. Ангел нагнал его по воздуху. Ни тот, ни другой словно не слышали криков Анны, не понимающей, куда её привезли, что ей делать дальше, и не верящей, что здесь найдёт своё спасение. Занавес дождя опять приподнялся, выпустил яхту наружу и снова сомкнулся.

«Ничего, ничего. Здесь же Царство Правды. Здесь не бывает недоразумений и все попадают туда, куда им надо». Анна отступила от воды, присела на землю, ещё раз осмотрелась. Берег состоял из плотно утрамбованного серого песка, кое-где бугрящегося. Площадь всего острова было трудно определить из-за полутьмы и этого дёрганого, кружащегося освещения, от которого обезумевали тени: то возникали, то исчезали, то убегали в сторону, растя и ужимаясь, то вообще двоились и троились. И ни души. Впрочем... — Анна вспомнила о мальчике и, хотя ей совсем не улыбалось компания худшего из духов зла, пошла его искать.

Он уже проснулся, сбросил капюшон и сидел за ближайшим холмиком, чертя что-то палкой или костью, белоголовый, вполне симпатичный ребёнок — если бы не страшные, полностью чёрные глаза. Анне он улыбнулся, как тёте-соседке, а она удивилась его работе — мужчине в натуральный рост и крупному псу, изображённым с мастерством живописца-академика.

— Кто это?

— Кнут Персон и его собака Атли.

— Ты превосходно их нарисовал, только вот у человека нет рта...

— Он и должен сейчас молчать.

— Почему?

— Потому что пришла его смерть.

По этому слову собака ожила ((в первую секунду Анна решила, что это ей чудится из-за подвижного света)), задвигалась всеми чертами-бороздками — прыгнула на грудь хозяину и вгрызлась ему в горло. Он замахал плоскими руками, засучил ногами, стал бороться, извиваться, а из контуров его шеи и груди забили выплески крови, затапливающей весь рисунок. Через три минуты на его месте только чернела большая смрадная лужа.

Анна отбежала на пять метров и застыла, прижав пальцы ко рту. Мальчик посмотрел куда-то вправо и с новой улыбкой поднялся, шагнул назад, а к луже непонятно откуда приблизилась лошадь, тощая-претощая кляча. Её шкура обвисала тонкими клочьями, оголённое, посинелое, вспухшее мясо гноилось и кровоточило. Бок был пробит как будто тремя ударами топора. Она шла вслепую — обе глазницы пустовали, из них только свисали нитки красной слизи. Шлёпнув копытом по человеческой крови, она всхрапнула, прыгнула ушами и нырнула мордой в лужу, стала жадно пить. Насытившись, высосав почти всё, поковыляла дальше, удаляясь, повернула к берегу. «ЭЭЙ!!!» — закричала ей Анна, но поздно — та шагнула в пустоту и провалилась, только чёрные брызги взлетели над ней.

Глава LXXXI. Прошлое и настоящее Анастаси и Макса

Приговорённый за свои шатания к общественнополезным работам, Эжен истопничал, а Макс с Анастаси стояли в неосвещённой спальне.

— Как тебе Арман?

— С другими он честнее и добрее, чем с самим собой.

— Должно быть, ты за чем-то важным к нему ходила.

— Он просил меня не повторять его ошибки...

— Благослови его Бог.

— Для проверки чувств он мне подсунул твою рубашку, и... да, я поняла, что всё ещё завишу от тебя, но что это за связь!.. Если ты разденешься, я тебя захочу. Но твоё лицо — я не могу его видеть без злости, и голос твой мне ненавистен, как голос самой лжи! — она отвернулась, отошла к стулу под окном, присела.

— Прости, — шепнул Макс и вышел, закрывая дверь.

Восемь лет назад на балу у д'Эглемонов он пригласил её потанцевать и между ничего не значащими фразами, словно невзначай сказал: «Приходите ко мне завтра к трём пополудни» и назвал свой адрес.

— Итак, зачем я здесь? — спросила Анастаси, проходя в назначенный час в самую диковенную комнату — просторную, высокую и почти пустую. Стены были голубыми, как небо: вверху ярче, внизу бледнее; высокие прямоугольные окна в картинных рамах; никаких портьер; пол засыпан белым песком с морскими ракушками и шариками аквамаринового стекла; из мебели только увязшая, покосившаяся кушетка, обитая тёмно-синим плюшем, овальный стол, два соломенных кресла и метровая колонна с большим песочными часами на капители. Макс вышел в одной тонкой блузе и широких штанах, безо всякой обуви.

— Вам не холодно? — ещё спросила гостя.

— Ничуть. Я и вам предложил бы разуться — песок подогревается изнутри. Очень приятно ходить так.

Анастаси поколебалась полминуты и беззаботно выпрыгнула из зимних меховых туфель, зарыла ноги в действительно горячую персть.

— О да!..

— Присаживайтесь.

— У вас ко мне какое-то дело?

— Это не совсем то слово... Для начала выслушайте. Я впервые встретил вас прошлым летом на прогулке, потом посещал несколько раз в ваш дом, мы виделись также на приёмах, но вы наверняка признаете, что я вовсе не навязывал вам своего общества, не пытался быть к вам ближе, чем любой другой человек.

— Я признаю.

— О вас могу сказать, что вы — несомненно, достойная женщина.

— ... И всё?

— Да... Тем не менее, моё к вам отношение (которое сформировалось почти сразу и помимо моей воли) с двух сторон пересекает границы адекватного. С одной — меня гложет тупая, какая-то рыба, паучья, самому мне противная похоть (- тут Анастаси вздрогнула, съёжилась, побледнела — иначе быть и не могло —). С другой — мысли о вас мне заменили

мысли о Боге и Его Царствии, о природе вещей, о мудрости и заблуждениях предков, о множестве предметов, которые должны занимать здоровый ум. Я сутки напролёт бьюсь над вопросами *во сколько вы сегодня проснулись? что видели во сне? что съели на завтрак? какое слово вам нравится, а какое вы находите неблагозвучным? как вам погода? где у вас родинки? как выглядит ваш язык? умеете ли вы кататься верхом, бегать на коньках? покрываете ли ногти лаком? читаете ли по-английски? в каком возрасте прокололи уши? в каком созрели для зачатия?* — этому нет конца! Это оскорбительно для нас обоих.

— Что же делать? — пролепетала Анастаси.

— Остаётся последнее средство, ещё не испытанное мною для избавления, но тут мне без вашей помощи не обойтись. Позвольте мне убедиться, что вы — обычная женщина, не заслужившая ни унижительного звериного преследования, ни религиозного почитания; позвольте увидеть вас без прикрас, осязать без одежд, сойтись с вами, как на пятую годовщину брака. (- Анастаси дёрнулась встать, но ноги отказали; ступни, как две мышки, прятались в песке; остального словно не было —) Не пугайтесь, ради всего святого! Я прошу лишь одного часа из вашей жизни. Если это не подействует, я смирюсь и молча дотерплю своё безумие до его (или своего) естественного конца, не беспокоя больше вас, ведь вы ни в чём не виноваты.

— Ах! Дайте мне подумать! До завтра!..

— Завтра вы поедете к портнихе заказывать платье для рождественского приёма в Лувре, почти забыв то, что случится сегодня. Я не позволю вам целые сутки мучиться выбором, делать который вы не обязаны.

— Если я откажусь, вы примените силу?

— Скорей всего, да.

— ... Когда мой муж узнает!..

— Он вызовет меня на дуэль и наверняка будет повержен. Разве стоит его кровь, а может и вся жизнь — одного часа... вашей доброй воли? Только час — и никаких последствий.

— Стоили бы! — уродись я герцогиней! — всплакнула Анастаси, — А последствия того, чего вы добиваетесь, могут быть очень...

— У вас только позавчера прекратились месячные. Ближайшую неделю вы бесплодны.

— Откуда вы знаете!? Следите за мной через горничных!?

— У, попадись мне ваша горничная, я задопрашивал бы её до смерти. Нет. Я это понял по вашему запаху вчера на балу.

Анастаси вспыхнула:

— От меня что же, дурно пахло!?

— Дурными я назвал бы ваши духи — за то что они отвлекали меня от вашего тела. Мой нюх сделал бы честь собаке-ищейке, а вожделение ещё обостряет чувства. Итак. Объективных препятствий нет. Один час. Пожалуйста... Оставьте стеснения. Представьте, что пришли ко врачу на какую-нибудь процедуру (хотя в нашем случае именно вы — целитель), не думайте обо мне вовсе; думайте о чём-нибудь приятном... Как только вы разденетесь, я поверну часы. Они отмерят ровно час, и я не стану вас больше задерживать.

— Ещё и раздеваться!?!... Подождите! Я должна собраться с духом...

— Я нисколько вас не тороплю. (- Анастаси обхватила себя, дрожащую, руками —) Не волнуйтесь так. Это не больно.

Макс снова начал объяснять свои безобидные цели, одновременно полужаметно помогая

с платьем, потом довёл до кушетки. «Вам удобно?» — «Ну, да...». Начал с того, чем обычно кончают аховые обольстители, в восприятии Анастаси — действительно по-супружески, почти мгновенно и неощутимо. Без малейшей паузы он принялся осматривать, оцупывать, оцеловывать, втягиваясь носом, между поцелуями рассказывая, как это прекрасно, без неистовств, ровно и настолько тихо, насколько можно в голос (шёпот напрягает ухо и пугает сердце); обнаружил, что группы родинок повторяют созвездия, и сообщил об этом, как губернёр — любимому ученику: Большая Медведица на плече, Малая — на груди, на животе — Вероникины волосы, на бедре — Орион, на другом — Кассиопея; «Близнецов, наверное, увижу, если повернётесь... Нет, не обязательно. Ну, как хотите. Тогда уж сползите ещё немного и опустите ноги — на две минутки. «... Смёл песок с её коленей, лёгким нажимом намекнул не сводить их, прилёг головой на живот, потёрся щекой о тайную бородку — краткий отдых перед самым важным... Предупредил о чём-то необычном, возможно, неизведанным (браки редко раскрывают все секреты пола — хотя должен бы...), попросил не мешать и, лаская спрятанную, стиснутую между ног розу с жемчужной росинкой, подготовил к обоюдному наслаждению... «Впервые? Так и знал» — «Жаль, что не вы!..» — «Жаль». И начали целоваться, целовались, пока и языки, и сами гортани не заныли от усталости, но Макс, оставив эти, бросился к тем, четырёхгубым устам... В часах пересыпалась половина песка...

— Как часто, сколько раз в день вы это можете?

— ... Я думаю, до полусотни.

— !.. Это нормально?

— Это — так... Хотя, пожалуй, на другой день мне бы не здоровилось.

Нази засмеялась, а Макс тяжело вздохнул, и она взволнованно спросила:

— Вам грустно? вы... разочарованы?

— Я больше всего на свете хотел бы разочароваться!.. Но не получилось.

— ... Время ещё есть.

— Нет. С вас достаточно, а мне не хватит всё равно... Но вы не станете теперь меня избегать? Позвольте стать вашим другом?

— Ну, конечно!..

...На дно часов упала последняя крупица.

Анастаси неспешно оделась, равнодушно вспомнила: «Моя причёска...».

Макс поднял, поставил на попа кушетку — её внутренняя сторона оказалась зеркалом, а загнутые и развиленные ножки отлично исполнили бы роль вешалок, воткнул перед ним кресло, подсевшей Анастаси приклеил ко лбу маленькую белую вуаль, позвонил в колокольчик — и в комнату вошёл господин Карузель с ларцом инструментов. Он уже знал, что делать.

— Вы ездили по магазинам, — говорил Макс, — В новом английском купили куклу для племянницы, заехали к сестре, заодно воспользовались искусством её парикмахера. Ещё вы купили подарок сыну — сорок кубиков, из которых можно сложить шесть цветных картин ((1. На белом снегу бьются два всадника в латах. 2. По синему морю под голубым небом плывёт каравелла. 3. В палевой комнате китайцы пьют чай. 3. По оранжевой пустыне бредёт слон. 4. В зелёном лесу пасутся благородные олени. 5. В шоколадной пещере читает книгу монах. 6. Под цветущей яблоней сидит красавица в средневековом уборе)). Коробка тяжеловата. Я донесу её вам до кареты.

— Не стойте на холоде, — вместо прощания попросила Анастаси, когда он, накинув

ненадёжный плащ, с непокрытой головой вышел проводить, — и пожала ему руку.

Так шёл день, перевернувший жизни их обоих.

Час после разлуки принёс нечто обратно ожиданиям.

Качаясь в экипаже, Анастаси улыбалась, вспоминая счастливейший час своей жизни, благословляла этого чудотворца или чародея. Как хорошо, что такой человек есть на свете!

Макс не мог отыскать в груди сердца. Его рука нащупала ямку-след, выгребла из неё и бессмысленно сеяла песок на лицо и голову. Настолько пусто и голодно ему не было за все месяцы неутолённой любви. Не дожидаясь попусту сна, он вскоре позвонил камердинеру.

Едва Анастаси задремала, карета остановилась, и пришлось вылезать на холод, прижимая к груди подарок. В прихожей она с утомлённым спокойствием повторила мужу максову конспиративную историю и положила на столик её вещественное подтверждение. Граф де Ресто отечески одобрил и игрушку, полезную для умственного развития маленького Эрнеста, и причёску, и заботу о племяннице — и вызвался сам отнести сыну кубики.

Анастаси села в кресло. Материнская ревность, животное возмущение мужем, не донёсшим коробку и до двери, отдавшим слуге — всё неслышно колыхалось по ту сторону сознания, занятого только Максом. И вдруг, словно вымоленное чудо, явился он. Слуга доложил, впустил и оставил.

— Зачем вы приехали?

— Беспокоился о вас...

— Но это уже... не почитание и не похоть... Значит... Максим! и я люблю вас! — она спряталась в его объятиях, — До завтра!.. Ляжем прямо на песок...

Тогда они думали, что смогут всю жизнь вот так льнуть друг к другу, а теперь стоят по разные стороны запертой двери.

Вдруг Анастаси почувствовала, что и хотела бы открыть её, но не может. Студенистая темнота облепляет, плотнея, словно затягивая в себя, в трясиину вечной обиды. Ужаснулась — ведь месть Монриво, брак д'Ажуды-Пинто, разбитые сердца лучших светских женщин — это всё по времени совпало... с чем? с там днём, когда она отнесла Гобсеку бриллианты де Ресто? или с тем часом, когда пошвыряла в огонь все максовы подарки и прокляла свою любовь?... Всё было бы иначе. Никто не отняла бы у неё детей — она сама их бросила. Сейчас все давно бы жили дружно и счастливо, не влюбись она тогда в своё горе, не присягни своему отчаянию. Она сама погубила Небесный Париж, вынув свой камень из Егс ограды — через эту брешь смерч великой тьмы влетел в Светлый Град и разрушил Его...

Услышав за дверью стон, Макс нащупал место, где в железной петле висит крючок, нагнал над ними лёгкое магнитное облако и через секунду вбежал к Анастаси, бьющейся, как рыба, на полу. Одной рукой она хлестала себя по голове, другую трясла в зубах, словно собака — крысу. Макс вытянул её на свет, крепко прижал к себе, слыша внутри себя обетование, что когда его одежда до последней нитки вымокнет в её слезах, они оба будут снова чисты и свободны.

Глава LXXXII. Анна среди чудовищ

На мёртвый берег, перекрикивая гром, высыпала толпа голых уродов. Впереди неслась какая-то полосатая женщина с младенцем на руках. Её догоняла другая, со лба до пят изморщенная, с буйным костром вместо волос на голове. Остальные тоже были женщинами и походили либо на первую, либо на вторую. За ними словно из-под земли повыскакивали дети, визжа и гогоча, кто в лохмотьях, кто совсем без ничего, все в рубцах и синяках. Мальчик, приплывший с Анной, побежал к этим дикарям и затерялся среди них. У самой воды огнеголовая поймала полосатую и стала отнимать ребёнка. Тот запищал, и Анна не устояла на своём холме. Когда она подбежала, похитительница уже замахнулась, чтоб бросить малыша в море, словно не чувствуя, как врагиня, валяясь на земле, кусает её за щиколотку.

Тут девушка из стаи огневолосых подлетела к злодейке, ударила её кулаком по спине, так что та с воплем перегнулась назад, раскинула руки. Девушка подпрыгнула, ловя ребёнка и одновременным пинком сталкивая женщину в море. Её гибель ни противниц не порадовала, ни соплеменниц не огорчила; о ней все сразу забыли. Младенец успокаивался и засыпал на руках — скорее бабки, чем матери. На его крошечной, словно новорождённой головке колебалось тоненькое розовое пламишко.

Наконец туземки заметили Анну, обступили её: по одну сторону морщинисто-копчёные с горящими головами — от них даже пахло гарью, по другую — мокрые, с раздутыми или отвисшими животами и волнистыми лиловыми полосками вдоль бёдер, груди и боков.

— Мне нужно встретиться с Матерью-Богородицей, — вымолвила Анна.

Женщины грянули бесовским хохотом, заорали каждая своё — огневухи больше веселились, брюхатые — ругались.

— Здесь только ведьмы, — крикнула старуха из первых.

— Мы все ведьмы! Ведьмы! — подтвердили отовсюду.

— И ты теперь ведьма, — объявила женщина с ребёнком.

Анна остолбенела. Местное сообщество потеряло к ней интерес, все разбрелись, осталась только эта нянька.

— Пойдём со мной, — почти ласково сказала она, — я тебя всему научу. Да тут и мудрости никакой нет. Всё само собой творится. Я Мариза. Меня сожгли на одном костре с дочерью, бывшей на сносях. Вот этот родился прямо среди пламени и выкатился на землю, а какой-то человек поднял его и швырнул обратно. Теперь он с нами, и тоже колдует — в своих снах он — настоящая саламандра! — говорила с гордостью, — Те, что умерли родами, его то любят, то хотят утопить, но я всем его даю, кто просит. Матери у него больше нет...

— Я не хочу быть ведьмой!

— Вот и она не хотела, моя Алоиза. У неё хорошо получалось, да постыло за полтора века.

— И где она теперь?

— Там, — Мариза мотнула головой в сторону моря.

— Но сюда же приходят лодки. Дождалась бы и попросилась...

— Куда?

— Куда-нибудь! Здесь ведь никто не отказывает. Здесь же Царство Правды, все добры и справедливы!

— С нашей земли возврата нет. Дочь ходила к лодкам, но то ли вид ангелов, то ли сам воздух лишал её голоса. После десятой неудачи она и прыгнула...

— Неужели никто отсюда не выбирался!?

— На моей памяти — только в воду.

— Этого не может быть! Ты просто не знаешь! Прощай, я буду спрашивать других — всех! Я всё равно попаду туда, куда должна!

— Ты уже на месте, — сказала какая-то очень смуглая, ещё нестарая ведьма, поднимаясь с корточек над своими рисунками и костяными ножами; у неё во лбу была круглая чёрная дыра величиной с мелкую монету — из этого отверстия струился вверх чёрный дым, — Поверь, мы достойны зависти. Никто и ничто нам больше не повредит, а мы властны прервать любую жизнь. Все несчастные случаи, болезни, самоубийства мира — это мы. Мы — сама смерть... Ты считаешь себя лучше нас? — Никто нас не лучше. Мы — венец Царства Правды. Для тебя честь быть с нами.

— Не верю! — Анна побежала вглубь острова и вынуждена была остановиться у огромного провала в земле, бездонной дыры, куда спускалась винтовая терраса; вдоль неё зияли и кадили гроты. Глянула по сторонам — недалеко трое иссечённых ребятишек чертили что-то на земле, потом старшая из них девочка подняла большой камень, с размаху бросила вниз, и во все стороны брызнула кровь, закапала голый живот трёхлетнему карапузу, а он с восторженным визгом стал размазывать её по себе.

— Это худшее место во Вселенной! — прошептала Анна, — Почему я здесь!? Что я сделала не так!?... Ну, конечно, я солгала... Но почему этот воздух Правды не лишил меня голоса, как бедную Алоизу? Или на живых он не действует?... Не так-то тут и привольно. И глаза всем выжигает Совесть, и жизнью, в сущности, управляет атмосфера. Нет, здесь не посылается дождь на головы злых и добрых... Но неужели я?... Что ж, куда ещё деваться мне, безлюбой!.. Прости, Джордж! Простите, доченька, мама, отец! Прости, Огаста! Прости Элмайра! — я так ни разу за тебя и не помолилась! Да найдёт тебя поскорей Рыба-Свет и причислит к очищенным до скончания времён! — села на землю, закрыла глаза и стала безнадежно, слёзно вспоминать родительский дом, лица близких...

— Не думай ни о ком! — вдруг тряхнули её за плечо.

Перед Анной сидела девушка, расправившаяся с воровкой. У неё один глаз был пустым белком, а другой внушал надежду медным ободком вокруг черноты и маленьким проблеском внутри неё. Она выглядела лучше, здоровей всех местных.

— Милая! — взмолилась Анна, — Помоги мне! Я ошиблась дорогой — выдала себя за умершую от родов, но я вообще не умирала! Меня погрузили в сон, изо сна я переправилась сюда, чтоб найти обратный путь к жизни. Ну, как Данте Алигьери — может быть, ты слышала?...

— Как же. Он — прославленный поэт.

— Отсюда можно бежать?

— Конечно. С твоими глазами можно пойти куда угодно. Только надо подождать.

— Новой лодки?

— Да, хоть лодки. Но смотри — не начинай колдовать, не вспоминай земного — это одно и то же. Отсюда всё уходит прямо туда, но ничего хорошего не получается.

— Спасибо тебе! Как тебя зовут?

— Жанна.

— Можно я буду держаться тебя? Ты ведь не такая, как другие тут.

— Я, пожалуй, хуже их. Они тут по злобе, а злоба их мелочна. Когда она утихает, они топятя, и словно их и не было никогда в помине. А я... Во мне нет ярости, я не хочу крови. Я потому здесь... Мне здесь нравится. Мне здесь... спокойней... Смерть дала мне право быть тут. Остальное — моя воля.

Они обошли яму и стали в неё спускаться.

Глава LXXXIII. Признание Эжена

Эжен и Макс стащили диван вниз по лестнице и выставили на двор под хозяйственный навес, под бельевые верёвки, рядом с угольной клетью.

— Упрут, — сказал Эжен.

— А если прикрепить табличку: «Осторожно! Тифозная инфекция!».

— Лучше так: «Здесь умирали от тифа!».

— Всё равно не поверят. Ладно, — Макс глядел на небо — падающий серый снег казался серым пеплом, — я давно обдумывал один вопрос... К чему бы это ни вело, признайся: Анастаси тебе нравится больше, чем Дельфина?

— Конечно. Я же не обязан с ней трахаться... Или как?

— ... Хотел бы я знать, ... тебя-то что так изувечило?

— ... Мне сломали нос сыновья фермера, присвоившего кусок наших конфискованных земель. Они напели на Лору, когда она шла с реки или из леса. Я услышал крики, прибежал, отбил её, а они вдвоём отметелили меня до двух третей смерти. Когда через пару суток я вполне очнулся, родичи вызвали врача. Он посмотрел и сказал, что я легко отделался, а вот те парни, с которым я дрался, — в лучшем случае нежилыцы — в лучшем! У старшего выцарапаны глаза; у младшего, моего ровесника, проколот язык — ему под подбородок вогнали валежную палку, и палку-то мелкую, сохлую, тупую! — продырявили мясо и плёнки, натянутые на нижнюю челюсть, и до самого нёба... Обоих ударили по голове до сотрясения мозга. Они не видели, кто это сделал, а случилось всё, когда они, только бросив меня на дороге, пошли домой, поэтому стали меня и обвинять. Их отец подал в суд, проиграл — по медицинским показателям я никак не мог совершить чего-то подобного, у меня самого рука была до сих пор в гипсе, и нижние рёбра никак не срастались — я еле двигался. И всё же, знаешь... Ну, ... вот, кто это мог быть... ещё? В своём уме я ясно вижу, как сделать всё за минуту или две, два-три движения — и один слеп, другой нем — да, язык ему ампутировали: заражение началось... Макс! Что мне после этого монах Рабле!.. И какая мне ко всем чертям!.. любовь...

Глава LXXXIV. Рассказ Жанны

— Твоя история похожа на мою, — ответила Жанна, — На земле я любила человека, о котором знала только смерть да имя, хотя, по обычаю жертв амура, мнила, будто знаю о нём всё. Вся моя жизнь оказалась путём к нему, но, когда мы встретились — ах, Боже! — он и его мир оказались дальше от моих грёз, чем Китай от Нормандии... Я верила, что мы будем рядом в сонме пламенных духов, образующем Крест в небе над планетой Марс, во славу Господу и в похвалу себе. А нашла — промозглое, ржавое болото и косматого полоумца в веригах, осмеявшего мои святыни. Любовь мою к нему как водой смыло. Но этого мало, это бы ещё не беда... Выбирая между ним, моим разочарованием, и нашими врагами (врагами рода человеческого), я выбрала их, а его предала... Тридцать лет потом духи войны рыскали по нашим краям... Не дожидаясь, когда рассеется зелёный туман, я попросила их полководца о переселении туда, где меня не найдёт прощение моего злосчастного избранника.

— Ты уверена, что он простил?

— Нисколько не сомневаюсь. Всё же я узнала немало о нём, как он есть...

— ... А Джордж едва ли когда-нибудь простит меня...

— Думаешь? Ты прожила с ним пару веков?

В пещерку, где прятались Анна и Жанна, вошёл рыжий от густого огня кот и, выгнув спину, вздёрнув хвост, стал царапать землю. Из-под его когтей тотчас засочилась кровь.

— Брысь! — крикнула Жанна, и он убежал.

— ... Ты сама никогда не колдуешь?

— Не то что никогда, а давно... С большого пожара в английской столице.

Глава LXXXV. О добрых и злых делах

Анастаси осматривала и показывала Максу свои руки, покрытые расплывчивыми кольцевыми пятнами цвета тающего льда на глубоких и до дна промёрзших лужах.

— Что ж это? Мне то и дело чудятся какие-то круги, и голова кружится, будто я лечу...

— Они не разбегаются, как по воде?

— Нет. Неподвижны.

— А внутри них пустота?

— Не замечала. Но наверное.

Пока они беседовали, Эжен бегал на крышу с жестяным ведром, там заполнял его крепкими снежками, как картошкой, сносил в квартиру, снимал с крюка над огнём второе ведро, в котором снег уже превратился в горячую воду, выплёскивал в большую купальную бочку, притащенную на своём горбу с третьего этажа напрокат, вешал в камин принесённое, а с опорожнённым возвращался под небеса, затканые прозрачной розовой дымкой. Налив полбочки, накрыл её крышкой, чтоб не выстывала, и постучался к чете:

— У меня всё готово. Нази, ты не передумала?

— Нет.

Это означало, что она отпускает его, остаётся на ночь с одним Максом.

Эжен усомнился трижды и, трижды успокоенный, ушёл.

Анастаси разоблачилась, присела на край парящее бочки, как пифия — на треножник. Макс влил в воду таинственную ароматную смесь, спросил:

— Тебе страшно?

— Ещё бы!.. Помнишь, ты назвал меня ангелом, забывшим порученную весть? Если так, то ты один мне мог помочь восстановить послание, по слову, по строке — какой-то длинный свиток... Вот его я и боюсь! Что, если в эту душу, как в пустую бутылку с тонущего корабля, запечатали письмо о крушении Рая!? Что, если Эжен прав и конец света уже давно наступил?

— Разве он так говорил?... Он во многом сродни тебе, только...

— Бесстрашен.

— Нет. Он просто другого боится.

— Чего же?

— Чужого ума. И чувства. Торопится, хочет сделать и понять всё сам, а что он сотворит и что откроет,... — Макс вообразил Эжена на улице. Нет, он не попадёт домой, захлебнётся набегающей пеной тумана, а потоп мрака унесёт его в толпу обезглавленных королей Собора Богородицы или голых каштанов Люксембургского сада...

Анастаси спустила ноги в воду, нащупала дно, окунулась вся, сложившись втрое, в тёплую, влажную темноту; зыбкая грань прошла по подбородку; спина и плечи скользили по слизковатым стенкам, согнутые колени разошлись, насколько позволил сосуд...

Макс накрыл отверстие пелёнкой, присел на пол и прижался к бочке, обхватил её руками, упёрся виском, силясь сделаться мыслью воды, свою страсть превратить в её движение...

Эжен стоял на какой-то площади и видел только жёлтые пятна фонарей сквозь густо-серый туман; дома исчезли. Он снял шляпу, чтоб лучше чувствовать, куда клонится воздушный градус, и быстро понял: холодает, к полночи ударит мороз. Он вспомнил об

одном месте, посещать которое избегал из-за траура, но теперь направился туда, чтоб впечатления от купальни де Марсе пожухли, как декабрьская полынь.

Вновь рожденная, Анастаси упала на руки Макса, едва оказалась вне своего жаркого сырого кокона, так она была слаба, так у неё кружилась голова. Она сразу вся задрожала, застонала. Макс скорее закутал её в простынку и в плед, отнёс в кровать, закрыл одеялом и услышал её тёплый шёпот: «Не уходи».

Булонский лес дождался Эжена в тепловатой дымке, но с каждым шагом от ограды температура неба падала на долю. Земля остекленела, туман разорвался — его ключья жались по кустам и кронам. Эжен сошёл на озеро, мгновенно схваченное морозом. На глади всюду выростали тонкие кристаллы-перья-крылья. Остановился на самой середине, глянул вниз — не потоптал ли случайно спящих ледяных бабочек, увидел небо, как в старинном зеркале, внизу, а себя — стоящим на рожках молодого месяца, светлеющего на глазах, и звёзды сыпались ему под ноги. Поднял голову, сладостно напряг глаза и стал смотреть, как ивовые ветви покрываются густым хрустальным пухом, чувствуя, как голубая пудра оседает на его ресницах и бровях.

Ледяная бабочка вспорхнула из толпы сестёр, поднялась и села ему на плечо.

Макс лёг к стене, сначала на спину, потом отвернулся лицом в ковёр. Анастаси свернулась клубком на краю и, засыпая, кожей слушала через простынку, как подрагивают чресла Макса.

В первом свете утра Эжен чертил прихваченной булонской палкой на иневельных стенах у мостов, у рынка своё имя — и адрес Дома Воке — размашисто, крупно. Когда свет удвоился и на улицы выползли фонарщики, дворники, жандармы, курьеры, Эжен вдруг почувствовал, что хочет есть; порылся в карманах, нашёл что-то около трёхсот франков и пошёл на площадь Сорбонны к Фликото. Там было людно, словно в полдень: молодёжь, проскулившая ночь в нетопленных каморках, клевала носом над вчерашними обедками. Первую порцию свежей, горячей телятины выставили на прилавок, но безгрошные посетители не шевелились. Эжен взял тарелку, прибор, кусок хлеба, подсел к унылому, бледному молодому человеку, проронив мысленно: «Как вы все похожи».

Тот смотрел на визави с вялой ненавистью. Он был уже слишком стар и прилично одет для студента, его лицо казалось знакомей большинства здешних. На завтрак ему досталась пустая варёная картошка малоаппетитного вида.

Эжен отрезал краешек бифштекса, поднёс к губам, положил обратно, перевёл дух и обратился к соседу:

— Милостивый государь, вы вроде не слишком интересуетесь вашим блюдом, а я уже сыт своим. Не можете ли достойно похоронить этого довольно приятного бычка?

— Предлагаете мне за вами доесть? — протянул молодой человек.

— Да я почти не прикасался. Я вообще... викторианец...

— ... Хорошо, тогда и вы отдайте должное этому чуду ботаники.

Эжен охотно притянул к себе картошку, попробовал и, жуя, зажмурился от притворного удовольствия:

— О! сразу видно, что вы — не ценитель. Это же эрин-блю, урожай восьмого года!

Сосед невольно засмеялся. Лёд треснул, и бифштекс стал таять. «Ты мне ещё денег предложи, добрая фея!»

— А денег вам не надо? — спросил Эжен.

Сотрапезник чуть не выстрелил куском из горла.

— ... Да вы кто такой!?!... Вы меня знаете?

— Я вас обидел?

— Нет! Но ни с того ни с сего предлагать деньги невесть кому!..

— Да мы вами почти родня: едим вон из одной тарелки...

— Как вас зовут?

— Эжен де Растиньяк.

— Этьен Лусто...

— У меня сейчас только сотня. Но, если вернёте, получите двести.

— А если не верну?

— Не получите двухсот. Такое у меня правило.

— А, вернув двести, — получу триста?

— Соответственно.

— И в чём тут фокус?

— В том, чтоб долг отдавался с радостью.

— Вы сумасшедший?

— Вы берёте?

— Да! — Этьен вложил купюру в блокнот рядом с записью эженова адреса, счастливо оглянулся, — Во, как смотрит! Тип за столиком у входа, с видом Наполеона, умирающего в юности от чахотки. Это Даниэль д'Артез, писатель...

— Удачного дня, — громко пожелал Эжен и покинул ресторан.

В эту минуту солнце выползло на крыши, а Макс воссоединился с любимой. Нази лежала на спине, головой к изножью, ничем не стеснённая; глядела на тонкий светозлатый браслет — её рука повисла над полом и попала под луч.

Который раз это происходило! — и, как всегда, Макс был неузнаваем: углублялся медленно, без размаха, древесно вращал. Нази закрыла глаза; свет объял всю её ладонь — словно ангел тепла взял её за руку. «Мне тебя не дожидаться?» — прошептал Макс. В ответ она только погладила его по колену ((переходя на давний условный язык, придуманный для неё Максом. От возбуждения он терял половину чувств, а прежде всего — слух, поэтому предложил подруге общаться с ним прикосновениями: поглаживание означало одобрение или просьбу о нежности)).

Эжен пришёл в Дом Воке. У щербатого крыльца дымился костерок, вокруг сидели и стояли оборванцы всех мастей; иные из них бродили по саду, ломая ветки для огня.

— Люди, вы — жить? — счастливо спросил Эжен. Они не сразу его поняли.

— ... Вы — хозяин?

— Да. Как вам дом? Дряхлый, конечно, но всё можно починить.

Попрощавшись ненадолго, он полетел в редакцию к Эмилю, где выпросил старых нераскупленных газет, стащил ножницы, какой-то фартук, карандаш и перочинный нож, потом заехал в бакалейную лавку за самой плохой мукой, потом в лавке старьёвщика одолжил за два су до вечера жестяное ведро, наконец у Сорбонны в знакомом ларьке

канцелярских товаров купил хорошую толстую тетрадь, вернулся в своё имение, скликал новожилов, раздал им задания, и через три часа в двух больших комнатах на втором этаже были вымыты полы и окна, все щели в рамах — заклеены полосками бумаги, камин — прочищен и топился, а люди, больше похожие на стаю грустных, усталых обезьян, сидели и ели хлеб, только что принесённый им на угощение. Сам Эжен ко всему приложил руку: воду таскал, газеты резал, в саду залез высоко на липу и настрогал веток для двух мётел.

Приведя руину в относительно божеский вид, он сел на пол среди тихой жующей толпы и раскрыл свою тетрадь:

— Теперь я хочу на каждого из вас завести что-то вроде паспорта...

— Зачем это?

— Чтоб знать, кто из вас что умеет. Я не беру с вас плату за постой, но могу попросить о какой-нибудь услуге. Или, если кто-то болен, пригласить к нему врача. Или, если кто-то в чём-то сведущ, — при случае спросить его совета, — чётко, быстро объяснил Эжен, обходя глазами все лица, — Конечно, кто не хочет, может не записываться.

Мужчина с костылём, заросший, грязный, но ещё не старый выпрямился и почти грозно прокрипел:

— Выкладывайте наконец начистоту — кто вы такой и чего вам от нас надо!

— Ну, ладно... Мои родители — дворяне из-под Ангулема. Последние триста лет имение моей семьи не преумножалось, последние семьсот — никто из моих предков не был замешан в преступлении против закона или человечности, однако в годы революции у нас отобрали все земли, кроме небольшого сада у дома, дом обыскали и разграбили так, что потом родителям, деду и бабушке было не из чего и нечем есть. Впрочем и нечего... Наши слуги, работники (я о них знаю только по рассказам) ничем не могли бы попрекнуть хозяев, но они все ушли... Бабушка (её я тоже не видел) утопилась, деда казнили как врага республики — говорят, он сам так пожелал, не хотел жить в позоре и разорении. Моя тётка овдовела в Париже из-за террора, сама едва выбралась живой, но потеряла в дороге единственного полуторамесячного сына... Мои родители десять лет прожили без прислуги, но так и не научились хозяйствовать, и мы, как проклятые, жрали сныть, мокричник и пареную крапиву... Не заготовив дров на зиму, они были вынуждены жечь мебель, разбирать лестницы, выламывать доски из стен. К моему рождению в доме была только одна кровать с уродской щепой вместо изголовья и без ножек. Я мог бы по пальцам перечислить сытые дни моего детства, а дней, когда мне не приходилось горбатиться на пашне, таскаться в лес и из лесу со связкой хвороста, корзиной грибов или какой-нибудь убоиной, кость траву, пилить и колоть дрова — для себя или соседей — — такие дни могли прийти лишь на время какой-то моей болезни. И всем вокруг не просто было наплевать на нас, а некоторые будто радовались нашим бедствиям. Соседские парни бросали камни в наши окна, дохлых зверей — в наш пруд, топтали наши грядки, всегда норовили побить меня и моих сестёр. Правда, потом стало полегче. Наследники заменили батраков, и что-то начало получаться и в огороде, и вообще... Наконец и земли нам вернули, то есть обязали людей, поселившихся на них платить нам какие-то гроши... Я знаю, что мы не одни пострадали, кому-то пришлось и хуже, и вот теперь у нас снова есть король и привилегии, но мы совсем другие... Одни (их очень много) в тайне трясутся от страха — им всюду мерещатся заговоры против престола, в каждом простом гражданине они видят головореза; они не дают покоя властям, требуя то ужесточения налогов, то цензуры для всей печати, то возвращения к средневековым видам казни. Они хотят мести. Некоторые другие, например, моя тётка или такой господин де

Монфриньоз, считают, что в революции была правда, что мы получили по заслугам. Уж не знаю! я, мои сёстры и братья — мы никого не угнетали, не грабили, не растлевали, не гнали на каторги, мы были просто детьми, чудом не умершими от голода и холода, и лично я сейчас хочу одного — чтоб как можно меньше людей мучилось так, как мы тогда. Для этого мне вы нужны, я намерен вернуть вам ваши имущества и привилегии. Если, конечно, вы не против... Итак — по очереди — садитесь поближе и отвечайте на мои вопросы.

Эжен порядком разбередил себя, но растрогал нищих, и они поползли к нему со своими жалостными историями, болезнями, слезами. Женщина, вся перекошенная лицом: одна щека отдулась, утянув рот, на другой какая-то уродливая складка. Чахоточный инвалид без правой руки. Старуха, выгнанная из дома родным сыном. Десятилетняя девочка, мать которой в один прекрасный день одела её мальчиком, обрила налысо, увела куда-то далеко от дома, и, обещав скоро вернуться, бросила там, на незнакомой улице. Мальчишки-сироты, чумазые, как негритята. Проститутка со шрамами на лице. Одноглазая. Слепой. Бывшая актриса. Бывший лейтенант. Бывший прокурор...

Маленькие трубочисты попеременно услужливо держали над журналом горящую лучину.

Эжен машинально заполнял пункты стандартных досье, стараясь не нырять с головой в этот поток скорбей. В конце концов он поймал себя на судороге гнева, злобы на всех тех, кого бездомные винили в своих судьбах. «Ещё одного — и хватит», — решил он, и тут к нему подсел тот тип, что давече так требовал признания. Он назвался Морисом Бланшандре. Он был жандармом-якобинцем, ходил с товарищами по домам аристократов с арестами. Все знали, что обратно схваченные не вернутся, и запросто набивали карманы всем, что плохо лежало в их чёртовых хоромах, но это ерунда. Там были дети, вражьи выродки. Начальство не давало насчёт них каких-либо распоряжений или запретов. Они ревели, хватались за родителей. Что с ними было делать? Одного мальчишку он, рассказчик, удушил, как щенка, но потом ему было как-то не по себе и остальных он стрелял. Он или кто-то другой из их отряда, правда, тех, что убегал...

Ирод смотрел прямо в лицо Эжену, наблюдал, как встают дыбом брови над тонущими в страшной тени глазами, как звереют рот и челюсти, и вот дождался — Эжен вскочил, разорвал тетрадь напополам и выбежал прочь.

Была уже поздняя ночь.

Он нёсся вслепую, налетая на углы и стены, столбы и решётки. В голове вспыхивали видения: Анри падает с простреленным лбом, Агата бьётся в петле под потолком, Лора хрипит на полу с распоротым животом, знаменосец несёт пику, на которую насажен всем тельцем, насквозь маленький Габриэль. Ударившись грудью о дерево, Эжен обхватил его ствол и, крича что было силы, стал трясти, тащить его из заснеженной земли. Пробуянив сполчасу, он устал, опустился на колени. Дерево осталось невредимым, но всё равно было стыдно перед ним, вековым платаном... Вулканическим пузырьём на дне ума хлопнула мысль, что всё это просто искушение, что тот бродяга нарочно сочинил свои детоубийства — посмотреть, насколько ты действительно великодушен... Если б так!

— Вам плохо? — кто-то мягко потрогал Эжена за плечо, какой-то молодой человек.

— Да, очень.

— Вы можете идти?

— ... Куда?

— Хотя бы ко мне. Я возвращался из библиотеки, заглянул к букинисту, забыл о

времени, но по привычке пошёл мимо сада, вдруг услышал крики...

Эжен брёл, ведомый под руку, и вспоминал о старой лиственнице, росшей посреди огорода, возле прачечного флигеля. Она казалась ему священной матерью всех растений, и всё в ней было чудесно: нежный ворс майской хвои, серые розочки шишек, узелчатые ветки... А когда он, студент, вернулся из Парижа на первые каникулы, вместо роскошной золотой пирамиды над приземистым домиком нашёл щепастый пенёк, и отец проворчал, что дров зимой не хватило, что он давно уже задумал свалить это дерево: одна увея ((тень, мешающая огороду (диалект))) от него, и старое уже — того гляди само упадёт на кого-нито или на крышу. Исчерпав тему, старый кавалер махнул рукой и ушёл, и Эжен до темноты один оплакивал лиственницу, уничтоженную с отвратительной неловкостью трусливого, слаборукого палача. Наверное, полдня терзал её топором, наверное, она вся осыпалась, прежде чем упасть! Не в силах успокоиться и на следующий день, Эжен понёс своё горе Жозефу Селинии, плотнику, или, как тот предпочитал говорить, деревщику, в чьей семье всегда бывал привечен. Почтенный ремесленник выслушал, задумался и молвил: «Ты не убивайся так. Деревья ведь лучше людей и зверей — им не больно».

Добрый самаритянин втащил Эжена на промозглый чердак, устелённый, однако, ковром, усадил возле камина, в котором, казалось, можно было хранить скоропортящуюся еду. Хозяин зажёл на письменном столе высокую белую свечу.

— Ваши руки в крови, — сказал.

У Эжен по костям побежали мурашки, но фраза была буквальна — он сильно ободрал ладони о кору платана.

— Не уверен, что найду бинт...

— Да и не ищите, — поплевал, растёр и забыл, — Мне бы лучше закурить, если есть.

— Нет. Я не курю... Меня зовут Даниэль д'Артез, а вас?

— ... Роже Обиньяк.

((Псевдоним, придуманный ещё в студенчестве, по заданию — куратор-криминалист настаивал на том, что сыщик должен быть мастером конспирации; Эжен решил, что вымышленное имя лучше приживётся, если будет похоже на настоящее))

— Что же с вами случилось?

— ... Да всё у меня в порядке... Живу в своей квартире... Служу помощником статс-секретаря при министерстве финансов. Помолвлен с богатой невестой, которая в меня влюблена. Не сегодня — завтра получу герб. Сейчас это высший престиж. (- Даниэль пожал плечами —)... А пятнадцать лет назад нам внушали, что дворяне — это ублюдки, ведущие для своего удовольствия войны, разоряющие народ, безнаказанно ругающиеся над детьми и женщинами... Я был сыном кузнеца в деревеньке под Бордо, а неподалёку стояла усадьба какого-то барона. Однажды, рано утром мы с тремя друзьями — нам было лет по двенадцать-тринадцать — залезли туда и давай обрывать в саду груши, не то чтоб поесть, а швырять их куда попало, лучше всего — об камни, чтоб её всю расплющило — грушу. Когда надоело, полезли ближе к дому, а там был пруд и возле него топтался ребятёнок, полуторагодовалый, не старше. Один. Вынесла ж его нелёгкая! Должно, проснулся и вылез бродить — так бывает с ними. Меня взбесила его кружевная рубашка! У нас таких никогда не было. Я схватил его и швырнул далеко в воду. Мои друзья только смеялись, глядя, как он пищит и барахтается (- Даниэль, задыхаясь, сжал спинку стула, точно готовый запустить им в рассказчика —), но это длилось недолго... А когда вода совсем уж улеглась, он вдруг всплыл у самых наших ног, спиной и затылком к нам, да такой какой-то большой, и

казалось, сейчас выпрыгнет весь и кинется на нас. Мы сиганули, оря: «Упырь проклятый!»... Мы об этом никогда потом не говорили ни между собой, ни с посторонними, по крайней мере, я. И вот я здесь, пробиваюсь наверх, успешно, быстро... Почему всё так?

— Да потому, — чуть не рыдая, отвечал Даниэль, — что не дозрели вы ещё до вашей кары. Вы добьётесь титула, женитесь, поселитесь в трёхэтажном особняке. Тут грянет новая революция, и на ваших глазах ваших детей растопчут кони или разорвут собаки! А отсюда — убирайтесь, немедленно! Я сожгу стул, на котором вы сидели!

— Да, это будет очень кстати, — глухо проронил Эжен ((Он ужасно продрог у писательского камина. Безропотно и почти безболезненно терпя любую стужу на улице, Эжен не выносил холодного жилья. Подобным образом, любя просторные поля, высокие горы и деревья, он предпочитал тесные комнаты с низкими потолками)) вставая и уходя на лестницу. Дверь полетела ему в спину с грохотом. Он осмотрелся в темноте, прислушался, как стонет, мечась по своей каморке писатель, за всю жизнь не знавший потрясений сильнее; сунул в щёлку какую-то мелкую купюру и побрёл вниз, шатаясь, пьяный каким-то блаженным горем. Он понимал умом, что не совершал того, в чём каялся, но совесть не находила его лучше последнего душегуба. Помнил своё имя, но не отвечал ему, знал о себе лишь окровавленные руки.

Но увидел, как катится, высясь, волна зла — вот только что гуманнейший ум покусился на детскую жизнь... То наступало отрезвление, тупо мучительное: беря на себя чужие грехи, ты множишь их — и только.

Одним из четырёх д'артезовых ветров Эжена прибило к дому Армана де Монриво. В окне горел свет. Постучался — впустили.

— Добрая ночь, маркиз. Не угостите сигарой?

Щедрый жест Армана не гармонировал с его угрюмыми словами:

— Что это вас носит по ночам? И висок раскроен, и руки — подрались, что ли?

— Да. В Люксембургском саду. С деревом.

— Х!..

— Ну, не буду мешать. Спаси вас Бог.

— Да куда вы!?

— Домой. Пора и честь знать.

— А не поздно?

— Для чести?

— Вы ввалились ко мне только за сигарой?

— Не откажусь от второй.

— Перебьётесь!

— Вполне.

— Чёрт вас дери, Растиньяк! Ни один из Тринадцати не был таким повесой.

— Стало быть, я четырнадцатый.

Арман вспомнил что-то и выскочил за Эженом на улицу, закричал:

— А что Анастаси де Ресто?

Между небрежным завтраком и незаметным обедом Макс наряжал любимую в чистую нежность, бритвой и восточными притираниями преображал кожу аскетки в кожу гетеры. После полудня, истопив печь, они легли голова к голове и свергли реальность, ушли гостить друг к другу в прошлое: то Макс пил чай с клубничным вареньем в маленькой гостиной

госпожи Горио, то Анастаси бродила за руку с ним по лунноподобной, льдокаменной земле Исландии под изумрудными лентами полярного сияния; то они вместе слушали пение в монастырском храме, то купались в Мёртвом море, то гуляли по рынку и ели дешёвые вафли — пока, душевно утомлённые, не разлетелись по разным снам.

В тот час, когда Эжен шёл домой, деля арманову сигару с уличным сквозняком, Анастаси соблазнилась домогательствами де Люпо в игорном зале, на зелёном шершавом столе, но ощущения лишь дразнили: лоно билось, беглые спазмы захлёстывали мозг, но всё это было ничтожно; и вдруг — вместо мнящегося — настоящее, покоящее, наполняющее. Не успев ещё проснуться, она встрепенула бёдрами, разглаживаясь и нанизываясь поудобней, к ликованию Макса. С пробуждением вернулся страх, но было поздно — её несло вниз по чёрному небу к сияющему сине-бело-голубому кругу, огромному, как остров в океане. На высоте орлиного полёта, борясь всем телом, чуть не до крови терзая горло криком, она вырвалась из этой грёзы и очутилась на полу, увидела отсветы своих глаз на испуганном лице любовника. «Ну что! ну всё! Всё!..»

Эжен простёрся у камина, жажда говорить с Богом.

Обычно он молился своими словами, но и каноны знал хорошо, и теперь, словно за всех, от всех заблудших душ, струил мысленные песни чистоты и правды:

ВЕРУЮ...

СЛАВЬСЯ МАРИЯ...

ВО ИМЯ...

ТЕБЯ БОГА ХВАЛИМ...

ОТЧЕ НАШ...

ОТЧЕ НАШ...

ОТЧЕ...

Глава LXXXVI. Новые чудовища

«Помяни, Господи, душу сестры моей Элмайры!» — повторяла Анна, бродя между берегом и кратером. Жанна перестала ей нравиться.

С неба, чертя обширную спираль, слетело существо размером с крупного коня — большая голова с безумным человеческим лицом и шесть голых крыльев; на локтях которых оно ползло по примеру жука прямо к Анне, волоча голый ящеров хвост. Ей стоило труда не броситься наутёк.

— Драгана Вулич, — проскрежетало оно, приблизившись.

— Меня зовут Анна, Анна Байрон.

— Драгана Вулич.

— Впервые слышу это имя!..

— Она моя, — сказала стоящая за анниной спиной девочка лет четырнадцати.

Чудо взлетело, чуть не ударив Анну расправленным крылом.

— Что это было? Кто такая Драгана Вулич?

— Завтрашняя покойница.

— Кто это решил!?

— Нас не касается.

— Детка! Ты же убьёшь человека! Может, она ещё ребёнок! или мать в большой семье!..

— Она жадная старуха, морящая голодом невесток, не дающая им спать.

— Откуда ты знаешь?

— Мои глаза её видят.

— Как страшно!.. — бессильно прошептала Анна самой себе.

— Ты глупая, слепая. Ты не знаешь людей. Но если ты просто согласишься, что их всех надо истребить, и сделаешь это над любым известным тебе, твои глаза тоже откроются, ты станешь, как все мы, неподсудной, навсегда во всём оправданной.

— Рано или поздно ты окажешься там! — Анна метнула палец к морю.

— Там, и вместе со всеми спасёнными в Теле Свет-Рыбы, но пока я ещё не устала выполнять мою работу, а ты болтайся без толку, никчёмная. Ни добра в тебе нет, раз ты здесь, ни зла живого, раз ты так дуришь... Отомсти хоть за себя саму. Ты же знаешь, по чьей милости сюда попала.

Анна отвернулась и зажала ладонями уши, мысленно крича на весь мозг цифры и формулы алгебры и тут же клянясь себе дождаться нового демона-заказчика, поймать его за крыло или хвост и улететь с ним — куда угодно, а если сорваться, то туда и дорога!

Вдруг небо зарокотало громче, затрещало, завывало, и словно молния шириной с Пизанскую башню упала на берег, встряхивая остров, как припороженный коврик, но не исчезло под землёй, а пошло по ней гигантом в ослепительном саване, разметав жгуче-седые волосы, прямо к Анне. Она наклонила голову, молитвенно сложила руки и услышала:

— Ты, дух, не желающий быть смертью, будешь причислен к духам суда.

Схваченной этой великой силой, Анне показалось, что всё её спиритуальное тело расплылось на атомы и развеялось в бесконечной темноте.

Глава LXXXVII. Страсти французов

В десятом часу, когда Рафаэль ушёл завтракать к Эмилю, Эжена разбудил какой-то тип в лимонных перчатках, пурпурном цилиндре и пышном бирюзовом галстуке, за которым было трудно рассмотреть фрак. Этот фронт со вчерашнего дня не брился и, судя по свинцовому оттенку губ, квасил полночи.

— Имею честь видеть барона де Растиньяка?

— Да. Кому и чем могу служить?

— Я Бисиу, журналист. Принёс вам сотню франков.

Эжен поднялся, отряхнул одежду, привычно проверил карманы...

— Ну, давайте.

— ... Смею рассчитывать, что вы дадите мне за них двести...

— С какой радости?

— Вы обещали.

— Кому?

— Вообще.

— Что?

— Возвращать двести франков тому, кто даст вам сто.

— Не даст, а отдаст, сперва заняв эту сотню. Вам я сроду не ссудил ни сушки ((одного су))...

— А вы представьте себе, что таки-ссудили! что вам стоит? Мне по зарез нужны деньги!

— Они у вас есть.

— Этого мало!..

— Вас ждут Пальма, Жиргоне и Гобсек — они как раз отстёгивают тем, кому не хватает, а я мой кошелек храню для настоящей голытьбы. Катитесь, милейший.

— Сукин сын! — плевался Бисиу на лестничной площадке, не так уж и расстроенный в действительности: сотня эта не была у него последней, просто хотел проверить слух, который сам же считал глупым; тащился зря в чужой квартал — вот, что досадно...

Макс не успел поднести спичку к полузасыпанной углём картонке: услышал плач из спальни.

— Какой ужасный сон! — всхлипывала Анастази, — Целая планета на глазах моего духа раскололась, разбрызгивая магму, как яичный желток, и небесный город обрушился разом — я думала, страшней ничего уже не может быть!.. А оказалось,... может... Слушай, это о тебе... Помнишь восточную казнь, когда человека сажают на кол? — то же было с тобой, только ты висел на дереве, похожем на яблоню или сливу, оно проросло тебя снизу вверх и отовсюду выпустило ветки, пронзив тебя в десятках мест. Не знаю, был ли ты в сознании, но ни шевельнуться, ни издать малейший звук ты не смог бы: ствол затыкал тебе рот, толстые сучья торчали из подмышек, из живота, из шеи; мелкие — прокалывали и растягивали в стороны руки и ноги. Впрочем, всё тело было таким безжизненным, бескровным, иссохшим, но... Это самое чудовищное!.. Тот орган, которого у меня нет, а у тебя — один и столь почитаем... Там ты весь такими был увешан, они росли и на стопах, и на груди, и на лице — да, именно росли! как полипы-паразиты! одни — маленькие, словно младенческие и детские; другие — зрелые, воздетые, сочащиеся; третьи — отмирающие, почернелые, как

яблоки, забывшие упасть до снега...

— Ты уверена, что это был я?

— Да. Во сне не ошибаются... Мне хотелось тебя спасти,... а провожатый сказал: «Оставь. Он даже не был тебе верен»...

— Что за провожатый?

— Ах, не знаю. Какой-то тёмный ангел... Тебе не страшно? Ты не понимаешь, что это значит!?

— ... Думаю, так исходит твой гнев, твоя недоугасшая обида.

— А если это предсказание... твоей загробной участи!?

— ... Это — очень точная аллегория моей жизни без тебя. А посмертия такого я ещё не заслужил.

— Но если всё в твоём настоящем тайно направляет тебя к этому исходу?... Я — я ведь только мешаю тебе подавить те страшные наклонности...

— Ты — единственное, ради чего я борюсь с ними, весь смысл моего сопротивления!..

— А Эжен?

— Что?

— Разве он тебя не дразнит ежечасно? разве он — не воплощённый вызов?...

— Он... — оружие в моей борьбе. Даже не так... Вы оба... Ты — весь мой мир, мой путь,... а он — мой свет.

— Тогда мой сон? -...

— Одно из многих глупых искушений. Мне не страшно.

Как по верёвке — из трясины, Анастаси выкарабкалась по его руке из-под одеял, сиротливо угнездилась на его коленях, а Макс заметил на подоле её сорочки тускло-багровое пятно...

— Ты как будто рад?...

— Конечно, это же признак здоровья.

— ... В монастыре у меня этого не было...

— Нужно сделать тебе специальную повязку. Пойдём.

Через минуту Нази сидела а табуртке у камина, грелась и наблюдала за огнём, а Макс вырезал что-то из чёрного стёганого жилета, уже держа наготове нитку с иглой и декоративные шнуры. Анастаси оглянулась на его работу:

— Не жалко тебе?

— ... Вот анекдот о том, как поссорились Байрон и Браммел, полюбившие друг друга с первого взгляда, оба завзятые денди. Однажды Браммел отправился навестить товарища, но начался дождь, и первым же шагом из кареты несчастный угодил в слякоть, до порога же он добрался в совершенно грязных сапогах и, не смея предстать перед дорогим ему человеком в таком виде, топтался у входа. Байрон увидел его в окно и по мере возможности поспешил навстречу, открыл дверь и воскликнул: «Что ты застрял тут, Джордж!? Только суеверным вампирам нужно особое приглашение». Браммел ответил, что не хочет оскорблять его милую светлость видом своих грязных гамаш. «А, ну эта беда поправима,» — сказал Байрон, вслед за чем стянул с шеи недозавязанный по обыкновению галстук, кое-как согнул свои большие колени и вытер гостью сапоги. То ужаснулся, чуть не отскочил под ливень со словами: «С этого момента, милорд, мы с вами незнакомы! Я не могу общаться с человеком, жертвующим обуви — галстуком!» — «Это я не желаю вас больше знать! Мне ненавистен тот, кому галстук дороже обуви!», — крикнул в ответ Байрон, но имел он в виду другое: не

может быть ему другом тот, кому его тряпки важнее его чувств... Давай примерим.

Развёрнутая, защитная повязка походила на утолщённую перекладину мальтийского креста, один конец был уже, другой — шире; к краям первого крепились тонкие деревянные кольца с гардины, к краям второго — длинные чёрные ленты. Макс положил изделие сединой на табуретку, по диагонали, попросил Нази сесть, ввязал ленты в кольца над её бёдрами.

— Ну, как сидит? Не жмёт?

Она встала, потрогала, повертелась:

— Нет, всё прекрасно.

— Вырежу ещё не смену,... только из чего?... — на Максе вместо лица висела алюминиевая маска...

— ... Я так раскаиваюсь, что рассказала этот безумный сон!..

— Что?... Я выгляжу огорчённым?... Это из-за Эжена: беспокоюсь: он не зашёл вчера...

— Он просто мог не достучаться.

— О! стукон он не ограничился бы!..

Пока они так беседовали, Эжен входил в подъезд их дома, где его остановила старушка с пятого этажа, знавшая почти всё про всех жильцов и ни к кому не обращалась на «вы»:

— Твой друг — суший изверг, — заявила, топнув оземь клюкой, — Всю ночь в его квартире голосила женщина, да так, словно её колесовали. Или, может, не одна. Я глаз не сомкнула!

— Я разберусь.

С порога он осмотрелся подозрительно, едва отвечая на приветствие, словно с обыском пришёл в притон. Макс как на грех вынес из спальни простыни, чтоб снести их прачке в соседний дом, — Эжену они показались сплошь забрызганными...

— Это что? кровь!? **кровь!!?** - подскочил, рванул за край и тут же ринулся на побратима. Тот чудом успел увернуться от пятиголового дракона, в который превратилась эженова рука, поймать запястье-шею и ужаснуться своей слабости против этого чудовища. Анастаси спасла любимого, перехватив вторую руку названного брата уже на смертоносном взлёте. Одно прикосновение женщины — и Эжен как будто обессилел...

— Дай сказать!

— Даю.

— ... Нет. Пропусти! — Макс толкнул его со всей грубостью мщения и, запихивая на ходу бельё в мешок, прошипел в дверях: «shark's heart!».

— Эжен, успокойся, — Нази поспешно закуталась в максов чёрный халат, — Давай присядем, и я всё тебе объясню.

— Ты ранена! — я могу видеть это по лицу...

— И ты видишь, что мне больно?

— Боль — это ощущение зла. Многих людей оно не покидает ни на минуту, остальные всё равно его испытывают слишком часто, чтоб делать точные заключения, но, судя по цвету твоих щёк, ты теряешь кровь.

— И ты ни разу не видел подобное на лицах других женщин?

— Я обычно не смотрю на них в упор: это неучтиво. Потом я не всегда был так зряч. Или, пожалуй, не всегда понимал, что вижу... Или мне было безразлично...

— Потеря крови — это просто живая химия моего организма, в ней нет ничего плохого, если мне не больно.

— А так ли это?

— У меня только горло немного саднит — ну, от криков... Что с тобой? разве тебе не случалось кричать от радости? от наслаждения?

— Я не от всякой боли закричу.

— Это совсем другое!.. Ты не понимаешь?

— Нет.

— ... Ты не знаешь женщин?... Разве Дельфина не допустила тебя к своим сокровищам?

— Нельзя об этом говорить.

— Можно! И, должно быть, для того мы и остались наедине, чтоб я... попробовала рассказать тебе... об этом чуде... В обычном состоянии мы... очень малы перед всем миром, затеряны среди других людей и вещей, чужды — почти всем и всему, и только в часы любви ты делаешься равновеликим миру, ты — весь претерпевание, но не различаешь свою и чужую силы, воли и власти; нет никакого страха, только — доверье; ты — само величие, огромие, твой голос — словно свет, который мерит небо до последних границ, и легче звезде удержать в себе лучи, чем тебе — свой крик...

— Всё это слишком складно, чтоб быть о недавнем. Сегодня ночью если и случилось с тобой чудо, то другое. Так откуда кровь?

— ... Во время Всемирного Потопа многие люди спаслись на вершинах самых высоких гор, но есть им было нечего, и они придумали питаться кровью друг друга. Одни из них не выдержали и погибли, другие продержались до возвращения вод в океаны и сошли в долину; встретившись с семейством Ноя, они поняли, что не могут вернуться к обычной пище; что еду они видят теперь только в другом живом существе, и были несчастны, и проклинали радугу. Тогда Бог установил с ними особый завет и в качестве знамения окружил светлым кольцом Луну, а завет гласил, что отныне пятую часть месяца каждая женщина земли посвящена этим новым созданиям, предназначена им в пищу без ран и боли, если им хватит на то смирения. До сих пор большинство мужчин не прикасаются к жёнам в заветные дни — боятся вампирской ревности. Вот и Максим, отважнейший любовник, соблюдает их строже, чем раввин — субботу.

— Несусветная муть!

— Конечно, это только миф, но он призван объяснить неоспоримую реальность — со всеми женщинами происходит это и обычно не сопровождается болезненными ощущениями...

— Ладно, пусть! — чего не бывает на свете!..

— Тебе следует извиниться перед ним.

— Мь-хь...

— ... Пока он вернулся,... может, расскажешь что-нибудь о себе?

— ... Прежде всего... я не стоеросовый пень. Я в пасмурный день могу показать в небе луну, а в ясные ночи всегда вижу её целиком. Прочитав первую страницу, я уже знаю, что на последней. Бывает, сидя в Опере, сквозь музыку и крышу, я слышу, как скользят по небу облака. Бывает так: глотну вина — и словно вместо сердца виснет с ветки левого ребра тугая, дымно-пурпурная гроздь, а по боками — сквозные розовые грозди лёгких. Я могу запомнить лица всех снежинок, севших мне на рукав; на глаз угадаю возраст любой сосульки; сосчитаю за полминуты все плоды на августовской яблоне. Мне не нужны часы — они уже есть во мне, где-то внутри уха. Моя кровь теплеет и холоднеет от приближения и удаления солнца, какая бы ни была погода... И всё-таки я дурак. Я не чувствую людей.

Особенно женщин...

— У Макса всё наоборот: он — сострадатель от Бога, не то что способный — обречённый разделять переживания каждого, с кем соприкасается... Но я тебя перебила...

— Говори лучше ты.

— Нет, пожалуйста, рассказывай.

— Да о чём?

— Ну, например, о твоей обиде на родную семью.

— ... Не помню, как это случилось и когда точно, сколько мне было — тринадцать? четырнадцать? — но я застал отца с матерью, и так мне это показалось зверско, что я его возненавидел. Какое-то время спустя мы пошли вдвоём на охоту. Ружьё было одно, нёс его я, и вот, уже вдалеке от опушки, я сказал ему *стой!* и прицелился в голову. Никогда раньше не видел, чтоб люди так пугались. Мне пришлось догадываться, что он просит объяснений, и я сказал, что он умрёт за то, что мучает маму. Тут с ним сотворилось что-то новое, кажется, он рассердился, и гнев пересилил страх, он стал ругаться, кричать, что главный мучитель — я сам. Мне это было непонятно, но я усомнился в своей правоте и опустил ружьё.

— Тебя наказали?

— Ещё чего! Я был главный работник и добытчик! Они молились на меня все!.. Правда, отец с тех пор от меня шарахался, а когда пришло время родиться Анри, среднему брату, старик запер меня в комнате, соседней с той, где всё происходило, и даже нарочно продырявил стену... Тогда я и узнал суть его обвинений и насколько они были справедливы. И ещё, наверное, понял, что любовь родителей ко мне невозможна.

— Поэтому ты с ними порвал?

— ... Это не я... Они сами..... В мой последний приезд, не спустя и недели, ко мне пришла тётя (которую я считал своим главным другом) и сообщила, что будет лучше, если я уеду как можно скорее и как можно надольше.

— И накануне не было ничего необычного? Никаких ссор?...

— Нет... Лоре только что-то нездоровилось. Но у неё часто случались нервные приступы: её сильно напугали в детстве.

— И как вы расстались?

— Проще простого. Я встал пораньше, ушёл в город, на станцию, сел в дилижанс... и всё... Смотрю, Макс не торопится. А мне бы надо идти.

— Я не хочу оставаться одна.

— Что ж тут страшного?

— Тут много книг, и я боюсь, что сразу брошусь что-нибудь читать: я люблю книги, но они очень опасны. Обязательно попадётся что-нибудь о вероломстве, вражде, безвинных страданиях...

— Это да.

Дождаясь Макса, Нази следила за огнём, а Эжен убрал купальную бочку и спустился за водой. На пятом этаже его, шагающего с полными вёдрами, догнал максов резкий оклик:

— Оставь мне, иди по своим делам.

Эжен передал ему ношу, глядя в ноги:

— Ты уж извини: трудный день вчера был.

— Вот что:... напротив Святого Сьюльписа открылся мебельный салон, так будь любезен заглянуть туда и заказать для меня новый диван. Адрес помнишь?

— Святой Сьюльпис...

— Мой — адрес.

— Мучеников 40/40.

— Деньги нужны?

— Да вроде есть.

— Ночуешь — у нас. Понял?... Всё.

Макс взбежал к себе и застал подругу с книгой:

— Нази!.. Ну, что ещё?...

— Деперье, — ответила она, сама печаль, — Только послушай: *В провинции Анжу жил когда-то дворянин, который был богат и знатен, да вот только немного больше, чем следует, падок до увеселения. У него были три прелестных, обворожительных дочери в возрасте, когда уже самая младшая ждала битвы один на один. ... Считается, что французы помешаны на любви. На самом деле они помешаны на насилии, а любовь мыслят в образе убийства.*

Глава LXXXVIII. О революции

Назвался грибом — полезай в корзину.

Эжен переступил порог Дома Воке. Постояльцев не убавилось, но они робели больше вчерашнего. Старик ((вчера он назвал себя гражданином Нема)), перегнутый пополам радикулитом, держащийся за две палки, чуть не метущий пол седыми патлами, выковылял навстречу, приподнял лицо, но ниже носа не показал:

— Повесился тот хвастун, — прошамкал.

— И где труп?

— Нет. Выжил: балясина трухлявая. Свалился, ногу сломал, лежит возле кухни. Взглянете?

— На него — нет. Посмотрел бы на место инцидента...

— Идёмте.

Первым и единственным, на что обратил внимание Эжен, была корявая кровавая надпись на стене подлестничного чулана: «День гнева» — которой неудалый самоубийца хотел сопроводить свою гибель.

— Что за кондовая риторика!

— Это — чтоб вы знали — слова из популярной революционной песни... Вам, сударь, повезло не видеть Парижа тех лет. Он был столицей безумия, а его сердцем — машина, шинкующая людей ко всеобщему восторгу. Я служил государственным обвинителем; на моих руках гораздо больше крови, чем у того несчастного громилы, но и я не делал ничего по тем годам особенного, каждый день отправляя под нож по полсотне человек, ничего плохого лично мне не сделавших... Не сочтите меня суевером, но, по-моему, не наша, не земная воля тогда вершилась, слишком изменились все и слишком быстро, словно мор напал на наши души — такой сильный, что мне до сих пор не совестно... Все словно в одночасье позабыли, что такое жалось, страх и стыд; как будто Небо над нами ослепло, Бог ушёл со Своего престола... Никого не обошло это зло, а некоторых... Видели Жизель Коклюш?

— Не помню...

— Значит, нет, — Нема увёл Эжен на второй этаж и показал на нищенку, сидящую рядом с тлелым камином. Она однообразно, словно рукодельничими спицами, ковыряла пустоту тонкими прутиками. Она не казалась ещё старухой, её лицо уродовало только вздутое пунцовое пятно на щеке и крыле носа.

— Знаете, кто такие были вязальщицы?

— Ну, женщины, которые плетут из ниток...

— В годы террора так называли кумушек, торчавших целыми днями во Дворце Правосудия или на Гревской площади, в первых рядах у гильотины. Они сидели на складных стульях и, не расставаясь со своими тряпками, клубками и крючками, считали отрубленные головы и поносили смертников последними словами. Жизель — одна из них. Однажды на её глазах казнили странную парочку, мужчину и женщину — супругов или любовников. Пока читали приговор, налаживали машину, они без конца обнимались и целовались, потом кавалер сам подвёл свою даму к доске, сам связал её руки, в последний раз пожал их, а через секунду голову его подруги подняли за волосы над толпой. Жизель крикнула что-то вроде: «Поделом тебе, шлюха!». В ответ голова плюнула ей в лицо — видите? до сих пор не отмывается кровь из разрезанного горла. Можете вообразить, как

разъярилась якобинка, какие ругательства вопила по убитой, и работу свою она уронила на землю. Но вот и голова мужчины свисла из руки палача, остановила ещё живые глаза на крикунье и молвила внятно и громко: «Вяжи». Вот так Жизель и помешалась: ничего не могла делать, ничего не говорила, только сучила палками и считала петли — каждый день сначала. Из дома её давно выгнали. Чудо, что она ещё жива. А, может, это часть её проклятия...

Эжен подошёл ближе к полоумной, окружено ещё тремя дурочками, одна из которых вплетала в рыжие с проседью волосы Жизели синий лоскуток рядом с жёлтым, другая мычала что-то вроде песенки, а третья совала в рот подопечной хлебные крошки. Вдруг руки вязальщицы замерли, она подняла на Эжена чёрные глаза, оскаленные длинными ресницами, показала в улыбке редкие зубы:

— Аа, это ты, — оттянула вниз эженов кое-каковский галстук, коснулась пальцами шеи, — Хорошо срослось.

Безумные прислужницы тоже бросили дела и уставились на Эжена с глупыми улыбками, а он дольше обычного искал, что сказать:

— ... А вы — редкая мастерица.

— Связать что-нибудь для тебя?

— Буду рад. Только я сам достану пряжу.

Эжен выбежал на улицу, потом на площадь, там столкнулся с человеком почтенных лет, невысоким, сухощавым, сутулым, тонкогубым, остроносым, сероглазым за большими очками; с ним рядом шёл без поводка молосский дог тигровой масти.

— Мэтр, не подскажите, где тут ближайший галантерейный магазин?

— Простите, друг мой. Я далёко от этих предметов.

— Да я и сам!.. а то б не спрашивал! Эх!..

— Полагаю, вам стоит обратиться к какой-либо даме.

— Точно!

Эжен выбрал из прохожих женщину постарше, и, точно, она сразу указала ему путь. Из магазина он вынес дюжину мотков шерсти цвета индиго, полный набор спиц и крючков, выточенных из можжевельника — всё в новой вместительной корзине. Подарив всё это Жизели, заказав ей шарф и проследив, чтоб она вымыла руки перед работой, он решил, что вот обойдёт сейчас дом скорым дозором и отправится по поручению Макса, но к нему подошёл крепкий на вид, благообразный старик и почтительно подал разорванную тетрадь. Она опять напомнила о Бланшандре...

— Спасибо, друг. Вы ведь не успели записаться — как вас зовут?

— Жан... Трежан.

— А. У вас нет случайно желания прогуляться до Больницы Милосердия?: тут одному хмырю нужен врач.

— Простите, сударь, пошлите уже кого помоложе: у меня ноги больные.

Эжен не стал настаивать и нашёл гонца к Бьяншону в каком-то беспризорнике, сам снова занялся регистрацией жильцов, но не переутомился; успел в сумерках шестого часа вечера купить диван, но ночевать пошёл домой, и, сворачивая, куда приглянется, заходя во все встречные магазины и храмы, каким-то чудом добрался к себе в половине одиннадцатого.

Глава LXXXIX. Замешательство

— Так чем же нам занять ближайшую неделю? Может, твоим гардеробом?

— Ах... Я дала такой глупый обет,... когда мы ехали от Монриво, — — что не надену больше платье, если лягу с тобой.

«Клятва — или молитва?» — восхищённый, подумал Макс).

— Тем интереснее будет это дело!.. Но всё равно одного мало... Что ты думаешь о новой квартире?

— Давай.

Глава ХС. Роковые встречи

Рафаэль изнывал по высшему обществу, и Эжен решил свести квартиранта к графине Феодоре, самой демократичной (злые я зыки говорили «всеядной») салоннице Парижа. Эта молодая и очень богатая вдова была к тому же иностранкой, потому вдвойне беспечно игнорировала сословные условности.

Сам Эжен впервые заявился к ней без приглашения, без рекомендаций, без представителя на третий день от похорон Отца Горио. У графини как будто праздновали слияние палаты пэров с центральной биржей. Хозяйка расхаживала по трём приёмным залам в пышном платье из шёлка, расписанного под малахит, только рукава и воротник были чёрными; к этому туалету она добавила бусы и серьги из светлого янтаря, тёмные волосы убрала гладко, как хорошая кухарка; поглядывала бойко и деловито. Эжену она неожиданно тепло улыбнулась, чуть склонив голову к плечу.

— Вашъ хвамилия, — проговорила, — похожъ нъ рускью или, скорей, украинскью.

— А что такое Украина? — спросил Эжен.

— Самъя старья провинця. Когда-тъ там был центр, столицъ, а теперь — зъхолустье, но там юх: тепло, хорошии земли, морь... А вы откуда родъм?

— В округе Шаранты (Шаранта — это река) есть город Ангулем. Можно сказать, что я оттуда, хотя наш дом стоит совсем на отшибе, в пустоши, почти в лесу...

— Он чем-нибудь славин — ваш Онголем?

— Там издревле селились королевские родственники, не претендующие на престол, поэтому много больших дворцов, собор хороший, но всё какое-то... тихое,... словно один большой некрополь... Но тоже юг, еда дешёвая...

— Скучайти по вотчинь?

— Да не особо. Везде жить можно, — провздыхал Эжен, и это было лишь началом беседы двух чужаков, почти не прерывавшейся в течение всего вечера. Пред прощанием графиня предложила:

— Зъходити почаци.

— А герцог де Реторе мне напрозорчил вашу немилость: я ведь не сказал вам ни одного комплимента...

— Не знаю, што вы называити кумплиментами, а я, насколько я хороша, вижу и в зеркали. Я, сударь, ни храцужинкъ — мне ни надъ, штоп мушшына пиридь мной унижалси, — гордо ответила Феодора.

Последняя фраза показалась Эжену заготовленной и не впервые изрекаемой, но всё же очень ему понравилась, и он стал запросто бывать у этой дамы.

Когда он привёл Рафаэля, Феодора была не в духе, вместо приветствия резко спросила:

— Къкая женщина назеваиць кокеткый?

— Та, что добивается любви безразличного ей человека.

— Понятнь — dura! Напомнить мне име вон тово къвьлерь.

— Арман де Монриво. А что?

— Вы у миня ёво видити ф последний рас.

— Khaz'aain-baarin, — вытрудил Эжен русскую поговорку.

((Именно у Феодоры он начал изучать русский язык)).

Феодора просияла, обратила наконец внимание на нового гостя.

Эжен представил Рафаэля и оставил того наедине с графиней, а сам отошёл к самому дальнему окну, огромному, как соборные врата, крупнофрамужному, отвернулся от зала и слился с темнотой. Ему не слишком верилось, что так он избежит судьбы, но минут семь он готовится в покое сам не зная, к чему, а потом слева в стекле отразилась затемнённая фигура высокого блондина.

— О! — тихо воскликнул тот, — Я и не заметил, что здесь кто-то стоит. Прекрасная маскировка. Не помешаю?

— Вам видней, — ответил Эжен с напрасной стужей.

— Кажется, мы взаимно догадываемся, хотя официально не были знакомы. Давайте проверим. Меня зовут граф Франкессини.

— Меня — барон де Растиньяк, и я не могу взять вашу руку: на ней кровь, вы убийца, причём наёмный.

— Вы знаете, кого именно я убил?

— Да. Фредерика Тайфера-младшего, два года назад, по заказу вора Жака Коллена (он же Вотрен, он же Обмани-Смерть) каким-то особым ударом шпаги на спровоцированной дуэли.

— На всякой дуэли противники бьются, как могут; на каждой третьей — кто-то погибает.

— Но не каждая планируется с корыстной целью. Против Тайфера был заговор. Это бесчестно и противозаконно.

Франкессини прислонился плечом к смыку оконных створок, глянул снисходительно и грустно:

— Вы очень скромно осведомлены об этом деле. Заговор был, но без корысти; убийство заказали, но никакой не Вотрен.

— Кто же?

— Сам юный Фредерик.

— Да что вы!..

— Мы оба в курсе того, что произошло в семье Тайферов, но вы понятия не имеете, как относится к этому наследник.

— Я слышал, что он не здоровался с сестрой, когда та приходила к отцу просить о милости...

— Конечно, он не смел подойти к ней и заговорить, прежде всего потому, что ему было стыдно, ведь он не смог защитить её и мать, потому что, во-вторых, панически боялся своего отца. Сильнее этого страха была только ненависть...

— Откуда вам это известно?

— Фредерик приходился мне очень близким другом. Возможно, никто не знал его лучше, чем я. Я сотню ночей выслушивал его признания; он был на грани безумия. Он понимал, что робок сердцем и подавлен умом, что никогда не сможет открыто воспротивиться, но воля к мести была так в нём неуклонна, что породила эту удивительную идею: одним разом покарать тирана-отца, расквитаться за мать и вернуть благоденствие сестре. Когда это наитие вспыхнуло в его сознании, он закричал от ужаса и не мог успокоиться три часа.

— Почему было не убрать самого старого чёрта!?

Франкессини засмеялся:

— Из вас не вышел бы хороший мститель. Весь смысл не в том, чтоб умертвить врага, а

в том, чтоб причинить ему наибольшее страдание. К тому же, как ни пугала Фредерика смерть, он был уверен, что и жить не может — не умеет — не хочет, что так будет ему лучше...

— Бывает. Только как же всё так удивительно совпало с замыслами Вотрена, собравшегося осыпать золотом Викторину Тайфер, чтоб женить на ней меня, а потом обобрать!?

— У вашего пансионного соседа просто нашлось на это время. Наша с Фредериком дуэль длилась больше недели. Мы встречались каждое утро и бились до изнеможения, потом расходились до нового рассвета.

— Он был такой отменный фехтовальщик?

— Нет. Я выжидал, когда он будет готов. Отрадно было видеть, как с каждым днём в нём просыпается более и более доблестный человек. Он умер так, как должен умирать каждый.

— Счастливцев! — вырвалось у Эжена, — Стало быть, Вотрен лишь узнал о вас и наплёл мне?... А доказательства? У вас были секунданты?

— Нет, но Фредерик написал письма отцу и сестре. Первое он оставил где-то в доме, а второе дал мне для собственноручной передачи мисс Викторине.

— Она вас видела? Вы разговаривали?

— Да. Если вам нужен свидетель — это она, сестра благороднейшего из братьев.

Эжен болезненно вздохнул, пришилив нижнюю губу клыком.

— Что с вами?

— Мои сёстры сами пожертвовали для меня... и родители... Если бы я мог обменять мою жизнь на их счастье!

— А во сколько вы оценили бы свою жизнь, если бы кто-то вдруг пожелал купить её? За какую сумму вы решились бы на смерть? — прошептал Эжену на ухо граф, искря глазами в полутьме. Тот презрительно качнул головой:

— Дохлый таракан мне дороже моей жизни, а что до моих родичей — и пятьсот миллиардов золотом не сделают их счастливей!

— Вдвойне странно. Здесь трудно говорить, а думать — подавно. Давайте как-нибудь посидим вдвоём и побеседуем. Назначьте время и место.

— На улице Арбалет есть забегаловка «Бистро». Приходите туда завтра к трём пополудни.

— Хорошо. До встречи, Эжен.

— До свидания, сэр.

Франкессини поклонился и отошёл. Эжен приложил к стеклу горящие ладони. Ему чудилась на завтра дуэль, и он несколько раз возразил себе: нет же, просто обед. История Фредерика Тайфера растрогала его до сердечной и горловой щемы. Зависти он не знал, а восхищаться умел и последние минуты у Феодоры провёл, прославляя мысленно подвиг молодого парижанина, воображая, что тот сохранил жизнь отцу не из жестокости, но из благочестивой жалости — дать возможность раскаяться, сделать что-нибудь хорошее, например, для дочери, или заняться благотворительностью (NB!) — в чём мы очень не прочь толстосуму помочь.

Рафаэль сидел возле хозяйки дома, поливая её кипятком страстных речей. Эжен подошёл проститься и был неохотно отпущен.

По дороге он нашёл, что едва ли обратится к Тайферу за деньгами, что трижды охотнее

выстроит часовню в память о героическом дуэлянте, впрочем, думал, стоит ли зарекаться?
Викторина... — вышла ли она замуж?... Какая скверная история...

Глава ХСІ. Освобождение Анны

— Мама, очнись же! Бабушка болеет!

Анна села, распахнула глаза — и застонала от горя. Голос Ады прозвучал над самым её лицом, а она всё тут, в Преисподней! — в каменном амфитеатре на миллион мест, среди неподвижных людей в синих тогах, сама в синем. Встала — с усилием, словно отдираясь от чего-то клейкого, оглянулась: кто же это её держало? — и увидела саму себя, по-прежнему сидящую на лавке-уступе. Анна схватилась за подреберье: её затошнило от ужаса. Её двойник смотрел на круглую арену, посреди которой сияло подобие Неопалимой Купины, и у той, другой Анны в одном оке не было зрячего круга. Чуть отдышавшись, вставшая закрыла ладонью тот глаз, что, по-видимому, похитила другая, — и на секунду ослепла... Уронила руки, всхлипнула... Тут из пламенеющего куста засвистело оглушительным ветром: «Принят иск: Алексей Перовский против Ксаверия Кляземского». Синие духи разом смежили веки.

— Пойдём отсюда, — негромко молвил с соседней высокой ступеньки молодой человек в багровом кафтане галантного века и скромного покроя. Анна дала ему руку, и они стали взбираться вверх, к краю кратера, обходя совсем окаменевших призраков.

— Что это за место? Что тут происходит?

— Здесь играют в Страшный Суд — выслушивают, как кто-либо из живых желает другому смерти, рассматривают причины ненависти и приговаривают одного из двух.

— Кто эти люди? С какой стати им дано право судить себе подобных?

— Кому же ещё это делать?

— Богу, высшим ангелам. Да хоть демонам...

— Те бы и рады! только они ничего не понимают о людях, поэтому набирают себе как бы присяжных из всякого рода чудаков, ведущих себя не так, как остальные.

— По-моему, им наоборот следовало бы выбирать из большинства типичных...

— В Царстве Правды для каждого выбора нужно особое основание. Здесь не бывает ни случайностей, ни обобщений. Демонам не нужно среднечеловеческое суждение. Они используют умение людей предпочитать одно другому только в сочетании с неординарностью духовного ума.

— Ну, а ты — именно ты — здесь оказался тоже неслучайно?

— Надо полагать.

— Прости, я не спросила твоего имени...

— Я не собираюсь его называть.

— Ты уже третий из вскоре-уходящих являешься мне помочь...

— Это так нас тут именуют?

— А есть другое название? Кто вы такие?

— Сама ты ещё не догадалась?

— У меня немного другим заняты мысли...

— Посмотри, как я одет! Это цвет моего бытия. Я вампир.

— Так вы сущ...!!! И... много вас?...

— По крайней мере трое, — ответит он язвительным напоминанием.

— Нет. Больше. Я видела...

— Я подозревал.

— Тебе не нравится, что ты один из них?... В этом твоя особенность?... И всё же

почему вы мне... как будто покровительствуете?

— Ответ тебе известен, только ты, наверное, боишься его осознать.

— О чём ты?!

— Я не умею разбирать чужие мысли, слышу только какой-то шум...

Когда они стояли уже на самом гребне, над их головами пролетело такое же чудище, какое било хвостом и крыльями по песку острова ведьм. А внизу Анна увидела берег, небольшой причал и лодку у него — и ахнула от радости.

— Мне — туда?

— Да.

— Пожалуйста, друг мой, скажи, как тебя зовут! Я буду за тебя молиться.

— Ты мне ничем не обязана, и ни твоих, ни чьих ещё молитв я не достоин. Прощай.

Взглянула внимательней в лицо вампира, чтоб запомнить, и побежала, не жалея ног, по склону. У воды чуть не выплюнула растрясенное сердце своего духа. Прыгнула в лодку, прокричала хрипло: «Здравствуй! Я с тобой! Поплыли поскорей!» — человеку в таких же старомодных лохмотьях, что таскал Джек, только гораздо моложе... Лодочник встал, поднял парус, взял весло.

— Ты — женщина! — присмотревшись, обнаружила Анна.

— Пока и внешне — да, — ответила морячка сквозь зубы.

— А как тебя зовут?

— Лара.

Глава ХСII. Литературный успех Даниэля д'Артеза

Наконец-то вещь была закончена. Даниэль ((Он писал три дня подряд, почти без сна, прервавшись только когда вдруг кончилось всё: свечи, топливо (он так и сжёг один из трёх своих стульев), еда, бумага и чернила. Тут он нашёл на пороге пятьдесят франков и, не задумываясь об их происхождении, за час восстановил свои ресурсы, даже купил для друзей кус буженины, чтоб без обиды отпустили его за шкаф во время вчерашнего собрания)) первым делом бросился растирать замёрзшие и затёкшие ноги, вены которых словно набилась стеклянной крошкой. Несмотря на эту, а ещё спинную и желудочную боли, он был счастлив, как никогда. Он создал — выстрадал — настоящий шедевр, не только прожив историю детоубийцы и предав её бумаге, но и доведя её до законного катарсиса. Но и облагороженный гнев оставался гневом. Даниэль вздохнул всей грудью, обмакнул перо и крупно написала на титульном листе:

РОЖЕ ОБИНЬЯК повесть.

Во имя справедливости!..

Теперь — скорей в издательство ((Даниэль держал в записной книжке адреса всех книжных редакций и типографий)). Судьба привела его к Андошу Фино. Пришлось занять место в очереди. Благо в коридорчике нашёлся стул, на котором Даниэль почти мгновенно отключился, и разбудили его в самый удачный момент — издатель только что закончил свой обед и пребывал в редком благодушии.

— Ну, и где синопсис? — спросил с напускной строгостью.

— Что, простите?

— К рукописи обычно прилагается её краткое изложение... Ладно, можно и на словах. Так о чём ваша повесть?

— Это... Вы не можете себе представить, как мне трудно говорить об этом!

— Не могу я только ждать до вечера, так что уж соберитесь.

— Это рассказ о сыне кузнеца, который, будучи подростком в годы якобинского террора, шутки ради утопил младенца из семьи аристократов.

— Остро. И что же с этим вашим героем приключилось дальше?

— Он скрыл своё преступление, при Бонапарте получил хорошее образование и начал карьеру, в последнее время занимал пост в министерстве финансов, но совесть мучила его, как Макбета... Его невеста заметила, как он тоскует, стала расспрашивать, и накануне свадьбы он признался ей в своём давнем злодеянии. Девушка, любя всем сердцем жениха, не нашла лучшего выхода, чем донести на него властям, чтоб заслуженной карой освободить его душу от угрызений. Обиньяка арестовали в самый день свадьбы. Он всё понял и не осудил молодую жену. Его приговорили к десяти годам каторги, а она сохранила ему верность, соблюла в порядке его дом, а доходы пускала на содержание приюта для сирот...

— Всё, всё, спасибо! Как вас зовут?

— ... Луи Ламбер, — робость дала себя знать.

— Так, а псевдоним какой-нибудь возьмёте?

— ... Признаться, это и есть псевдоним, — одолела честность, — Моё собственное имя

— Даниэль д'Артез...

— Сколько хотите гонорару?

— ... Нисколько.

— Не горячитесь.

— Видите ли, это абсолютно реальная история, трагедия человека, может быть, проходящего сейчас под вашим окном! Я могу презирать его, я взял на себя скорбный долг разоблачения его, но я не имею никакого морального права наживаться на этом!

— ... Сударь, вы ведь не с юга? — спросил Фино, листая рукопись.

— Я из Пикардии.

— Будь вы хоть немножко южанином, вы бы знали, что сын кузнеца никак не может носить такую фамилию — это дворянская фамилия.

— Наверное, он изменил свою исконную ради продвижения — так делают многие.

— Верно... Вы давно знакомы?

— Мы встретились только однажды, случайно...

— А лет-то ему сколько?

— Не скажу точно. Около тридцати, наверное.

— Не меньше сорока пяти ему должно быть сейчас, если во время Террора ему было двенадцать-тринадцать.

— Ну, нет! Он...

— Либо приснился вам, либо разыграл вас, — этот реальнейший человек, а вы так серьёзно...

— Господи! Да видели бы вы его! Он истекал слезами и едва держался на ногах!..

— Хороший актёр. Сумасшедший с раздвоенной личностью. Или вам, извините уж, явилась какая-то часть вашей души, вроде музыки, что ли, и так вот затейливо и вдохновила... Мне всё это, признаться, безразлично. Повесть недурна: сюжет такой забористый, и слог... чувствительный. Читатели найдутся. Так что вот вам двести франков задатка, перепишите набело и приносите на днях. Всего хорошего, господин... д'Артез... Спасибо, что не сказали *это написано кровью сердца* — мне эта фразочка уже ночами снится!

Глава ХСІІІ. Эжен и сыщики

Вернувшись с раута, Эжен нашёл у себя листовку, требующую явиться завтра к десяти утра в центральное управление сысской полиции. Это заинтриговало несложившегося криминалиста, и на следующий день в положенный час он был в указанном месте. Его проводили в скудно мебелированный кабинет, где за столом сидел редковолосый, заплешенный шатен лет сорока с запавшим подбородком, острыми чёрными неподвижными глазами и брезгливым ртом, словно обметённым паутиной.

— Растиньяк — по повестке, — скромно отрекомендовался Эжен.

— Люпен. Агент Люпен, — ответил следователь ультимантумным тоном и жестом предложил сеть напротив, — А это ваше досье.

Перед Эженом упала и раскрылась набитая до отказа папка. Он нахмурился:

— На что я вам?

— Вы проходите по делу Вотрена — как свидетель. Формально, с учётом презумпции... Но лично я готов подозревать вас в чём-то большем... Судя по показаниям, преступник оказывал вам необычайное внимание. Это так?

— Да, но...

— Вы могли бы точнее сформулировать суть отношения к вам этого человека?

— Кажется, он испытывал ко мне симпатию.

— Вы знали, что он вне закона?... Давно бы сказали «нет»... Вы немного юрист и понимаете, что попали под статью... Впрочем, дворянские принципы, к тому же неопытность... Скажите-ка, чем он вас подкупал? Что обещал за ответное расположение?

— Ничего особенного. Ну, ссудил однажды денег, но я вернул их через сутки...

— Не то... Я помогу:... Тайфер.

— Мадемуазель Тайфер жила в пансионе Воке одновременно с нами...

— А одновременно с арестом Вотрена она переселилась в дом миллионера-отца, поскольку единственный признанный господином Тайфером отпрыск был убит на дуэли.

— И что же?

— Свидетели показывают, что мадемуазель Тайфер также была к вам благосклонна. Кое-кто считал вас женихом и невестой.

— Ничего не может быть необоснованной. Я всегда сочувствовал мадемуазели Тайфер, но никогда её не любил.

— Вотрен вас сватал. Это мнение Мишоно и Воке. Возразите?

— ... Нет.

— Тогда дело за малым: поведайте, какова связь между Вотреном и гибелью Фредерика Тайфера. И не забудьте, что являетесь третьим фигурантом этой комбинации.

— Есть такой граф Франкессини...

— Всего лишь исполнитель. **Вас** — я назвал бы даже вторым лицом в этой истории... Я хорошо знаю Жака Коллена. Он крепкий орешек: опасность чует издали, связями оброс, на женщин не падок... Его единственная слабость — красивые юноши. Вы меня понимаете?

— Не очень. (- агент бурил собеседника глазами, но не достигал уязвимого слоя —). Я бы скорее назвал это стратегией. Смотрите: немолодому, несветскому человеку с тёмным прошлым позарез хочется разбогатеть. Как? Дамский угодник из него никакой, да и что взять с женщины, не представляющей собой суверенного юридического субъекта! Другое

дело парень, которого надо только выгодно женить, а потом хоть всю жизнь доить шантажом.

— Для шантажа нужна почва — нечто противозаконное.

— Реальное или мнимое. Всё зависит от впечатлительности кандидата.

— Не теоретизируйте. Ответьте на мой вопрос.

— Вотрен хотел, чтоб я думал, будто он устроил дуэль Тайфера и Франкессини, подговорив последнего оскорбить Фредерика, а потом разделаться с ним каким-то замысловатым ударом, и всё это якобы для того, чтоб Викторина Тайфер осталась единственной наследницей своего отца, а я женился на ней и превратился в живую кормушку для ворья... В то время мне не были вполне ясны мотивы Вотрена, а главное, приёмы, к которым он прибегал, — такие простецкие, что даже обидно: пытался взять на «слабо», толковал о великих людях, для которых закон не писан, и прочих — позорно пресмыкающихся, полуавтоматах; потом льстил — я де из числа первых и не должен бояться преступления; требовал моего согласия на смерть Фредерика; вдруг заявил, что сделает всё сам,... словно не впутал уже меня в эту историю...

— Мнимую — или реальную?

— ... Я почти два года считал себя ответственным за это несчастье... Но не так давно мне довелось поговорить по душам с графом Франкессини. По его версии, Вотрен случайно прослышал о его ссоре с Тайфером и готовящемся поединке, на чём сыграл со мной...

Люпен сплёл пальцы под носом.

— Как вы думаете, господин де Растиньяк, почему я вам не верю?

— Потому что эта папка слишком толста. Вы собрали больше данных, чем можете осмыслить... Не понимаю, почему вы опросили всех, кроме меня самого, и почему завели этот разговор сейчас, когда всё утряслось...

— Обмани-Смерть снова бежал с каторги. (- Эжен закусил губу и поёжился —) Нам надоели его выходки. Если мы сможем пришить ему организацию убийства с целью наживы, то избавимся от него навсегда. Дадите нужные показания — мы проведём вас как свидетеля, в крайнем случае, выпустим из Парижа; нет — пойдёте соучастником. Возможно, вам и удастся выкрутиться на суде, но от мести старика Тайфера вас никто не защитит.

— А что, если старик Тайфер спросит себя о том, о чём бы следовало спросить вам: почему я всё-таки не женился на мадемуазели Викторине?

— Во-первых, я знаю, почему, — и все знают; во-вторых, дело не в ваших отношениях с какой-либо мадемуазелью, а в том, чтоб обезвредить опаснейшего рецидивиста. Вы должны выбрать сторону: его или нашу... Вы человек неглупый и понимаете, что, пока Коллен жив, покоя и вам не будет. Уберём его, а там — хоть и впрямь женитесь на этой девочке: ни с кем не придётся делиться.

«Все вы одинаковые, — подумал Эжен, — Подонки на подонке...». Он чувствовал, что монологи Люпена кишат накладками, что его самоуверенность — дуга, а планы малореализуемы; что видит лишь очередного трендебона. Скорее свинья бережно достанет из грязи жемчужину, очистит и понесёт хвастаться подругам, чем такой поверит, что кому-то может быть не надо ни денег, ни покоя.

— Мы с вами кроим шкуру добытого зверя. Поймайте Вотрена, а там посмотрим.

— Надеюсь, получив от него восточку, вы покажете её нам?

— Ещё чего! У вас прорва людей. Пусть работают.

Эжен завлекающее ухмыльнулся. «Вот бестия! — подумал Люпен, — Если Коллен сам

направил его на курс криминалистики, это был лучший ход в его собачьей жизни».

— ... Господин де Растиньяк, вы действительно объясняете интерес Вотрена к вам исключительно корыстью?... Будь оно так, разве это не оскорбляло вас до глубины души? Вам чуть всю жизнь не разбили. Где же гнев? Где ненависть? М?

— Моя жизнь и без того похожа на бутылку, выкинутую с пятого этажа прошлой зимой... А Вотрен... Несмотря на всю браваду, он жалкий сирота, только наоборот.

— Как это?

— Безсыновщина. А тут мы: я и бедная Викторина. Ему, наверное, захотелось почувствовать себя нашим отцом. Пусть хоть — как это называется? — посажённым.

— Господи! Я сейчас разрыдаюсь! Продолжайте в том же духе, и у вас, как в комедии, получится, что Жак Коллен приходится настоящим родителем и мадемузели Тайфер, и ((«Вам» — хотел сказать Люпен, после чего Эжен обязан был бы пригласить его к барьеру)) ... всему вашему пансиону! Уффф! Ну, нельзя же так...

— Я докажу. Возможно, кто-то из ваших информаторов упомянул, что я заботился об одном пожилом господине.

— Господине Горио. И что?

— Пока я не обращал особого внимания на господина Горио, Вотрен не обращал особого внимания на меня, но стоило мне полюбить этого... человека, как ваш Жак Коллен начал ко мне цепляться. Сначала он будто хотел меня разозлить, потом стал откровенничать и предлагать услуги... Если рассудить психологически, то произошло следующее: увидев меня в роли сына — чужого сына, увидев радость на лице господина Горио, которому я имел честь доставлять её по мере сил, Вотрен ощутил зависть, ревность, выразившуюся в агрессии на мой адрес, вскоре сменившейся несколько экзальтированной и сентиментальной заботой. Ситуация, возможно, путаная, но — не криминогенная... Ещё один косвенный, гипотетический аргумент: чрезмерная болтливость опытного конспиратора. Почему он выложил мне сразу всю подноготную? Потому что имел целью произвести фурор. При подобных случаях в масле может не быть никакой каши, и цена таким признаниям — как похвальбе школьника, утверждающего, что он пират.

— Жак Коллен — не школьник! — Люпен хватил ладонью по столу, — Хватит его выгораживать!

За спиной у Эжена затворилась дверь и знакомый голос непочтительно спросил:

— Что за шум, Би-би? Ба, барон де Растиньяк! Здравствуйте, ваша милость, — к столу следователя подошёл Франсуа Видок, бывший руководитель спецкурса по криминалистике для студентов-правоведов, большую часть жизни познававший уголовный мир по ту сторону баррикад, то есть изнутри.

— Здравствуйте, мэтр, — сказал ему Эжен, — Смотрите, какое досье на меня собрал ваш друг.

Два сыщика недоброжелательно переглянулись.

— Ладно, — выдавил Люпен, — можете идти. Наша новая встреча не за горами.

Эжен поклонился и вышел. Видок сел на его место, склонился над страницами папки.

— ... Вот оно что, — пробормотал, — Вотрен... Это кое-что объясняет.

— Что именно? — привычным тоном спросил Люпен.

— Ну, зачем парню понадобилась наша выучка, и, главное, как он себя вёл... У меня постоянно было чувство, что он тут неспроста: что-то хочет узнать... или проверить...

— Я почти уверен, что Обмани-Смерть приманил его.

— Вздор! Он не из таких.

— Что же он искал на твоём семинаре?

— Защиты. Видел бы ты, как он выкладывался на боевой подготовке! Словно на войну собирался...

— Однако, втихомолку.

Видок закрыл папку и всё так же неприветливо уставился на коллегу:

— А что он должен был говорить? Кто знает, что там у них?... Он — душа непростая. Может, винил себя кругом: и Тайфер этот, и влюблённая девица, и сосед, живший-живший себе спокойно и вдруг оказавшийся бандитом.

— К тому же извращенцем, — злорадно прибавил Люпен.

Видок вскочил, чуть не опрокинув стул, и метровыми шагами ринулся за дверь.

Глава ХСIV. О смелости

Курсантов-криминалистов тогда набралось около дюжины. В первую неделю Видок не выпускал молодёжь из мертвецкой, показывая всевозможные телесные повреждения. На третий день почти половина отказалась от специализации, а суровый сыщик продолжал испытывать нервы оставшихся. Рассказывая, как отличить, например, ожог нанесенный жертве после смерти от прижизненного, он сперва загасил свою сигару о серую грудь зарезанной проститутки, потом раскурил вновь, взмахнул дымящимся кубинским рулетом и спросил, кто отважится предоставить свою плоть для сравнительного эксперимента. «Вы не имеете права!» — возмутился кто-то. «О неправоте моей хотите толковать — валите на курс для прокуроров!» — прорывкал Видок, готовый ещё хорошенько поругать учеников за трусость, да и замять это дело, но к нему подошёл Эжен и отогнул левый рукав, причём с таким видом, словно не находил в требовании куратора ничего необычного.

Забрезжило жестокое посрамление Видока. Он глянул в спокойное лицо студента, малодушно внушил себе, что перед ним всего лишь очередной сопляк, помешанный на героике и своей придурью заслуживший и не такого урока, отвёл глаза, ткнул сигарой в подставленную внешнюю сторону запястья; вместо стона или вскрика расслышал только быстрый, но тяжёлый вздох, который с тех пор часто повторялся ему в дремоте...

Стыд не давал Видоку покоя. В тот же день он нашёл Эжена, стоящего где-то одного и сказал, неуклюже подбоченясь:

— А ты молодец, гасконец! Копия римского Муция...

— Я аквитанец, — ответил Эжен, направив косою взгляд на подбородок наставника, — А что до Муция, то он хоть пожёгся для важного дела — не из любопытства.

— Зато у него толком и выбора не было. Не сунь он в огонь одну руку — его бы всего туда запихнули.

— Если в деталях, то он пожертвовал правой...

— Вот этого я не понимаю, — стал уводить Видок, — Впрочем, известно, что люди смелые бывают одновременно и находчивы, и туповаты.

— О чём вы?

— Я бы на его месте сжёг худшую руку — левую.

— Ну, так он же был Сцевола — левша.

((Самого Эжена было трудно оценить по руке: бил он правой, но расписывался левой)).

— Так это его уже потом так прозвали.

— Уверены? А я думаю, он потому и расстался с правой рукой, что был левшой от рождения, — возразил Эжен и прибавил, — Смелые люди — отнюдь не болваны.

Глава ХСV. Разоблачение Вотрена

— Эй, аквитанец!

Эжен остановился у коридорного поворота, дождался Видока, и к выходу они медленно пошагали рядом.

— Главное счастье этой лавочки в том, что революция позволила самым умным ворах перевернуть свою жизнь — ценой ренегатства, да, и это было страшно. Однако нам никто не стал мстить. Наши места в бандах заняли другие, и они сразу поняли, что сыщик, сам когда-то убежавший, пойманный, судимый, заключённый, — лучше законопослушного карьериста, который ради очередного повышения по службе законопатит родного брата. А главная беда полиции: не хватает молодых. Мы сейчас как свора опытных гончих, ещё сильных, но вот-вот — и силы нас покинут. Уже сейчас иные следователи из своего кармана оплачивают помощь частных детективных контор, — говорил Видок, — ... А ты ведь не стал и не станешь наживаться на том, чему я тебя учил?

— Вам я готов помочь бесплатно, — понял его Эжен, — если это не пойдёт против чести.

Видокова пауза ознаменовала деликатность вопроса.

— ... Когда он впервые бежал с каторги, ... это я его вывел... А познакомились мы, когда нам...

— Было меньше чем мне сейчас, — скучающе продолжил бывший курсант, — Думаете, это даёт вам право собственноручно пустить его в расход? Или вы нашли способ его спасти?

— Да, я постарался бы ему помочь... Расскажи мне о нём то, чего я не знаю! Версия Люпена — она имеет основания!?

— ... Конечно.

— А в деталях?

— Отзывая меня для разговора наедине, он почти назвался своей тайной кличкой — *Обмани-Смерть*. Чтоб так сплеховать, надо было на всю голову заклинить. Потом он вел себя ещё чудней: показал мне шрам на своей груди, да ещё приложил к нему мою руку — так крепко, что я услышал, как колотится его сердце. Впрочем, я и сидя в стороне почти слышал... То, что он ляпнул прямо: *люблю вас* — может ещё ничего особенного не значить (так сказать можно о репе или грушах), но истинную причину своей заботы — нет! там было слово *преданность* — он только пообещал раскрыть; он так сказал: ... «когда-нибудь я вам отвечу, ... но тихо, ну ушко». А ещё: «Вы можете найти во мне глубокие бездны, сильные сосредоточенные чувства — то, что глупцы зовут пороками...». Вообще (- внутренние уши Эжена вихрем прокрутили вотреновы монологи —) там было много эротических намёков. В свете научаешься распознавать их. Вам, полагаю, и перечисленного достаточно? (- рот Видока обвис шнурком, а глазные прорезы как-то съжились к носу —). Не представляю, для чего и как вы сможете это использовать, но информации у вас явно прибавилось. А теперь извините, меня ждут.

— Постой! Ты-то сам... что намерен с этим делать?

— ... Не знаю. По обстановке, — Эжен пожал плечом и взялся за дверную ручку.

— Будь осторожен. Если что — сразу ко мне! — просящее послал ему вдогонку перебежчик.

Глава ХСVI. Рассказ Лары

— Не мозоль язык вопросами. О себе я и при жизни знала только это имя, — говорила Лара.

— Кажется, у тебя была очень необычная история.

— И у тебя — раз мы сейчас тут вместе.

— Признаться, я до сих пор жива, моё тело на земле просто спит...

— Эге!

— Чтоб очнуться, я должна встретиться с Богородицей. Ты знаешь к Ней дорогу?

— Разберёмся. Только — имей в виду — сперва заскочим к Смотрителю Изумрудной Скрижали. Я туда и плыву — по своим делам, а тебя меня с полпути попросили захватить, ну, и...

— Я не против. Если ты только не бросишь меня там, как Джек — на острове ведьм.

— Безумный Джек, что ли? Кой чёрт тебя пихнул в его лодку!?

— Да он сам пригласил меня... Я, пожалуй, тоже виновата. Не помню, чтоб сказала ему, куда хочу попасть. Переволновалась..... Прости за любопытство, но всё же... как получилось, что ты (... женщина...) выполняешь тут работу... бывших военных моряков? Не могла же ты служить во флоте...

— Следовательно?

— Ты была... пираткой?

— Угадала, милая.

— Где?

— Между Африкой и Европой.

— Давно?

— Нет. Жила бы до сих пор — ещё и не считалась бы старухой.

— А что же... Что же, тут... ты тоже успела побывать в Уалхолле?

— Нет, не довелось. Туда идут лишь честные завязтые головорезы, а у меня на совести только одно убийство, и то подлое..... Рассказать ли?

— Расскажи.

— Где-то в греческих водах я познакомилась с одним парнем, и он в меня влюбился, бедолага, увязался на мой корабль, подружился с командой... Он был всем хорош, и нравился мне, и я была к нему привязана настолько, насколько могла — при своих сапфических вкусах — пока моё сердце не сразила девочка-туристка, беленькая, ясноглазая. Я похитила её,... а она... едва увидела того моего спутника, как помешалась на нём. За это я возненавидела его, он — её, она — меня, и мы трое заживо провалились а пекло. Наконец он — он вообще был выдумщик — придумал хитрость: уговорил мою любимую бежать с ним, увёз её невесть куда, оставил — и вернулся ко мне... Я не подала виду,... но в открытом море велела своим людям связать его и выкинуть за борт... До сих пор помню, как он смотрел на меня в последнюю минуту — никакого страха! только грусть... Как будто говорил: «Вот, больше не увидимся...»... А на следующую ночь нас накрыл шторм. Матросы решили, что это наказание за моё злодейство, и отправили меня вслед за моим несчастным поклонником.

— И буря сразу стихла?

— Откуда же мне знать, глупышка?

— Верно... — Анна засмеялась над своей логической оплошностью, тут же испугалась: не оскорбила ли весельем Лару, но та и сама забавлялась поведением живой.

...!!! Недавно... Средиземноморье... Выдумщик... Пираты...

— Лара, ты не думала, что твой влюблённый мог как-нибудь спастись? Например, если кто-то незаметно дал ему нож, и он в воде разрезал свои путы...

— В море всё бывает.

— Для тебя стало бы облегчением узнать, что он выжил?

— ... Нет. Я-то всё равно — убийца... А с его нравом... уж лучше не жить.

Он/не он? Будь он — об этом бы давно была поэма!.. Или?... Что ты, Анна, знаешь с нём, в самом деле!..

— ... А что такое Изумрудная Скрижаль и что тебе нужно от её Смотрителя?

— Изумрудная Скрижаль (я бы назвала её Судьбой) отслеживает и запоминает путь каждого духа, все его воплощений: кто кем был, как звался, где обитал, сколько прожил, с кем породнился. Но самое интересное, что она может повлиять на новое рождение, если Смотритель что-то там подвинет в твоей цепочке. Я хочу, чтоб меня сделали мужчиной.

— ... Наверное, ты не одна такая? Быть женщиной — что и говорить! — не слишком отраднo.

— Конечно, нас много. Потому мальчишек и рождается больше.

— Разве? Хм...

За разговорами путешественниц их лодка вошла в область ночи, похожей на земную, звёздной и лунной. Впрочем, луна казалась раза в три крупнее тамошней и была покрыта блуждающими лиловыми, зеленоватыми и белыми пятнами.

— Что это за планета?

— Онир, — ответила Лара, — Мир спящих.

— Ах, верно, я оттуда и перенеслась сюда!.. Нам долго ещё плыть?

— До рассвета.

Глава ХСVII. Эжен и Франкессини

«Бистро» содержал эмигрант, венгр или серб. Заведение славилось сытной, всегда горячей пищей и полным отсутствием в меню нормального сыра. Вместо него подавали какой-то адски скисший творог, впрочем, съедобный, если намазать его на пышный масляный blin — мягкую лепёшку s-pilu-s-jaru. Здесь студенты любили отмечать конец семестра или чей-нибудь день рождения. На каждом столе уставилась бы в длину пара гробов; вокруг толпились адекоративные табуреты. Посуда и приборы были деревянными, выточенными и обработанными, однако, тонко, искусно.

Так уж повелось, что экзотический ресторан либо трещал по швам от набившегося в него народа, либо пустовал, как в день свидания Эжена с графом Франкессини. Возможно, хозяин по просьбе конспиративного посетителя сам отменил какой-нибудь банкет. Так или иначе, они просидели наедине.

Граф пришёл раньше и заказал лучшее из репертуара «Бистро»: жареную стерлядь, сочащуюся жёлтым жиром; икру: красную, чёрную и белую; знаменитые bliny, к которым полагались густая сметана, мёд, размороженная земляника; кроме того солёные грибы: рыжие, чёрно-лиловые и белые — с жемчужными колечками репчатого лука; на десерт — засахаренные орехи; на всякий случай — творог virvi-glas и цельные яблоки, замурыженные в квашенной капусте; вино со стороны походило на сыворотку, безалкогольным был брусничный морс.

— Ну, вот, вы тоже хотите меня обкормить, — разочарованно сказал Эжен, присаживаясь к столу.

Сосед пропустил его слова мимо ушей, спросил, накладывая себе рыбы:

— Итак, на чём мы вчера остановились?

— На том, что я Эжен, а вы не итальянец.

— Верно. Я вырос в Англии, но вот уже почти десять лет как перебрался на материк. Всякий сколь-нибудь стоящий британец бежит из дома. Сюда, в Швейцарию, в Италию. Вы называли меня убийцей. Что ж, на моей новой родине это ремесло — одно из почтенных. Вы знаете, кто такие карбонари?

— Угольщики?

— Борцы за независимость Италии.

— А от кого она зависима?

— От австрийцев.

— При чём тут уголь?

— Это великолепное вещество: его прошлое — древние деревья, настоящее — огонь и тепло, будущее — алмаз.

— Нда, символично, — Эжен подцепил кончиком деревянного ножа красную икринку, отправил в рот, задержав дыхание, прижал к нёбу, раздавил — ничего, не тошнит, — Вроде масонства... И что же эти борцы?

— Я был одним из них... А вы не захотели бы примкнуть к повстанцам из угнетённого народа?

— Именно этого — пожалуй, нет.

— Почему?

— С конца девятого века по середину шестнадцатого итальянцы заправляли в

Германии, не делая для её земель ничего хорошего, обольщая правителей, разоряя и разделяя народ. Потом произошёл лютеранский раскол, теперь вот эта зависимость... Но ведь история ходит по кругу. Ещё в Эпоху Переселения германцы нападали на Рим, а до Рождества Христова италийцы их трепали...

— Может, вы ещё скажете, что современная оккупация Греции турками — не что иное как расплата за Троянскую войну?

— Кто знает.

— ... Я знаю человека, который за такие речи выбил бы вам зубы.

— Ну, и дай ему Бог здоровья.

Эту фразу Эжен заел чёрной икрой. Франкессини улыбался.

— Мне случается воображать вас рыцарем-тамплиером.

— С чего вдруг?

— Вы состоите в родстве с семьёй де Босеан, а *босеан* — это название тамплиерского знамени. Говорят, оно было чёрно-белым. Ваши цвета. (- Эжен отведал щучьей икры —) Верно, ваш дальний пращур служил знаменосцем в ордене.

— Им нельзя было иметь потомства.

— Но на племянников-то не было запрета.

— А ваше имя что означает?

— Оно взято из одного неопубликованного романа, герой которого — полуучёный-полуколдун, сшивает из останков нескольких людей одного и оживляет, а тот начинает убивать его близких...

— За что?

— Из ревности, от обиды. Несчастный оказался уродом, ненавистным своему создателю.

— И кто же ваш однофамилец — творец или тварь?

— Творец. У твари имени не было. Его называли разве что демоном.

— Я думал, когда берут себе чужое имя, то хотят быть похожими на его носителя...

— В моём случае это, наверное, желание антитезы: тот создал жизнь и обрёл её на страдания, а я твою смерть, которая счастливит. Поэтому и сходство наших имён неабсолютно: автор назвал его на германский манер: Франкенштейн...

— Франкенштайн — вот как надо выговаривать. В переводе — «камень франков».

— Или вольный каменщик...

— Stein — это камень.

— А franken?

— Древний народ. Каролингская империя была их поздним государством. Столица у них находилась в теперешней Германии, а лучшие земли — здесь. Они смешались с галлами, исчезли как особая нация, но немцы по сей день называют нашу страну Frankreich — империя франков.

— Или империя свободы?

Эжену надоела икра, и он отправил на ущерб блинную луну, оторвав полкромки.

— Какая уж свобода — при такой дурости! Куда слетаются все шарлатаны Европы, зная, что тут их озолотят и канонизируют при жизни? Во Францию!

— О ком вы?

— О некромантах, астрологах, алхимиках или вот магнетизёрах...

— Что дурного в вере в чудеса?

— Их профанация. Я знаю человека, действительно способного одним взглядом подчинить себе другого, и что, он похвастается этим? предлагает услуги репетитора в своём искусстве? Нет, он скромно и несёт свой дар, как бремя, а другие...

Набив рот остывшей полоской *blina*, Эжен приостановил обличения.

— Интересное дело эти книги. Вы сейчас заговорили о Каролингах, а ведь в романе, откуда я взял себе имя, они как-то упоминались...

— Когда там всё происходит?

— Как будто в наши дни... Налить вам чего-нибудь?

— Я сам. Спасибо... В наши дни творится многое. Вот, — Эжен огляделся, понизил голос, — Вотрен, говорят, бежал с каторги.

Граф сморщился, разгрыз рыбный хрящ, запил мутным зельем.

— Зря.

— Это уж точно! Полиция намерена больше не оставлять его в живых...

— Боюсь, ваша полиция с ним не успеет, — объявил Франкессини.

Эжен с трудом проглотил, протолкнул белесым горьким вином.

— А ведь он вас считает своим другом.

«Говорил, что по его приказу, ты Спасителя к кресту вторично приколотишь,» — продолжил мысленно.

— Вот и хорошо, — безмятежно ответил убийца и бережно, почтительно снял губами с вилки последний кусок стерляди, — Не жалеете о нём. Его жизнь пуста. Он пытается наполнить её чем-то, что есть в нас с вами, но эта начинка ядовита, да-да... Самое интересное для меня в человеке — то, как он хочет умереть. Я думаю, Вотрен мечтает пожертвовать собой ради возлюбленного юнца, а способ... что-нибудь многокровное, а главное, трескучее, поэтому — пуля возле сердца, *возле*, а не *прямо в*, чтоб осталась минутка-другая для последнего слова. Это очень важно... Ну, а вы — о чём мечтаете?

— Уйти отсюда.

— Конечно же, уйти, — широкий жест ножом поперёк горла и ввысь, — Но как?

Это движение заворожило Эжена, навело на него какие-то неясные грёзы, но он их разогнал и ответил:

— Я хотел бы умереть так, чтоб спасти этим жизнь хотя бы тысячи хороших людей.

— Амбициозно, — оценил Серый Жан и подумал: «Такой будет моя».

— Мы не договорили о Вотрене.

— И не станем, ведь выкупать его жизнь своею вы не намерены.

— Дались вам эти дикие торги!.. Даже если вы и не из тех, для кого пишут земные законы, даже если вам Сам Бог велит убивать, я не поверю, что с той же необходимостью вы должны быть предателем!

В зелёных глазах графа угас задорно-блудливый блеск; они стали такими, какими смотрят в самую глубину себя. От сострадания в этот момент Эжен чуть не взял его за руку.

— Разве вам так трудно повторить для полиции то, что сказали мне?... Не знаю, насколько оно истинно, но правда тут точно есть, ведь правдой называют всё, что ведёт к лучшему или сохраняет от вреда... Вы хотите избавиться от Вотрена? Можно понять! Но ведь его здесь и нет. Напишите ему, чтоб не совался во Францию. Вроде он собирался в Америку — вот пусть и чешет, а иначе...

— Он всё равно вернётся. Не удивлюсь, если он уже где-то поблизости... Как бы ни заблуждался он на мой счёт, с вами его ошибка куда больше... Только в одном насчёт вас я с

ним согласен... Ну, так что я должен обещать, чтоб вы перестали злобиться? Не давать показаний против Вотрена? Не посягать на его жизнь?

— Второе — по возможности, но первое — непременно.

— Ладно. Вот моё слово... В вашем языке есть эпитет для человека, жадного наизнанку, ничего в себя не впускающего?

— Можно было бы сказать *закрытый*, но вы выразились лучше, только я не таков.

— Значит, я не тем вас угощаю?

— Видимо.

Граф задумчиво посмотрел на лавку рядом с собой, протянул руку и поднял за гриф гитару, приложил её к себе для игры и, не спросив эжена желания, завёл простую страстно-печальную мелодию. Эжен выпрямился, наклонился, чтоб видеть все его пальцы на струнах — так ему удалось не упустить ни капли красоты этого действия. Когда музыка кончилась, он возвёл на гитариста счастливые глаза и проговорил:

— Да, это хорошо!

— Всем нравится, — молвил Франкессини, ещё больше грустнея.

— Тоскливо долго сидеть на одном месте. Пойдёмте на улицу — посмотрим, как зажигают фонари.

Англичанин отнёс гитару хозяину: «Сохраните до завтра».

Улицу осенял самый прозрачный, искристый снегопад.

— Я смогу проводить вас до дома?

— Почему бы нет.

Эжен заглядывался на фонарщиков, хвалил погоду, извинялся за неблизкую дорогу, улыбался и ловил губами снежинки.

О, радость, радость, — думал Серый Жан, — не знай, не чувствуй. Наши лучшие минуты — сейчас...

— А в Италии бывает снег?

— Только в горах.

«Надо будет открыть окна — ты ведь не боишься холода; пусть будет много воздуха — того высотного, с остринкой дыма...»

— Я не видел настоящих гор.

— Они похожи на облака, ставшие кристаллами, заострённые облака. Часто кажется, что они меняют очертания, поэтому на них никогда не устаёшь смотреть...

«Ты быстро всё поймёшь, но не снизойдёшь до страха, разве погнушаешься, побрезгуешь, но я утешу, расскажу о славе моего оружия. Ещё совсем не поздно. Целый вечер, целая ночь — для нас...»...

— Пришли.

Серый Жан задержался на пороге, запрокинув голову, и ему показалось, что он падает...

Ведь это просто дом, ничей, никакой, нависший, туго начинённый жизнями. В душной тьме — перебитый хребет лестницы, грязные тряпки у дверей, ящики, вёдра, отбросы, объедки... И в таких угодьях ему приходилось охотиться, но разве в этом было торжество и чудо?... Растерянные пареньки, едва не плачущие от стыда, клянущие своё убожество, самозабвенно, алчно вопрошающие: что я должен сделать? кажущиеся готовыми на всё... На преступление? — о, да! — но... — что!? — участвовать, не совершая... Все они ломались, рушились, роняли лица, до костей своих душ отекали слезами. Он намекал на выкуп и получал, всё, что у них было: всю озяблость, истощённость и немытость, всё их отвращение к

себе, всё деревянное отчаяние. «Только не бойтесь. Я же ничего в вас не нарушу». Они смирились — уже не как люди — как зверята, брошенные матерями... А потом — один быстрый удар в затылок или в спину, чтоб до сердца. Просто точка...

Неужели это повторится и теперь? Он никогда ещё не испытывал такого горя. Ступени болью отдавали ему в зубы, а он знал, что ни за что уже не остановится. Это он в ловушке, с ненавистью в сердце, тем невыносимой, что лишь несколько секунд назад в нём сияли блаженство и любовь... Происходило нечто похожее когда-то, но то ведь был его Заветный и Единственный, а этот — случайный, заказанный — уже осмелился быть столь же восхитительным и столь же смело ведёт к себе — чтоб предаться самой унижительной теперь гибели!

Сначала Эжен три минуты копошился в карманах, ища ключ; когда нашёл и воткнул его в замочную скважину, Жан отвернулся, прижал весь язык к нёбу, чтоб не выпустить вскрик, и нащупал под плащом рукоятку ножа.

Но дверь не поддавалась. Эжен вынул ключ и забил по ней ладонью.

— У вас кто-то есть? — одичалым голосом спросил убийца.

— Да вот, окопались...

Изнутри щёлкнула щеколда. Хозяин и гость вошли в темную прихожую. Зеркальная гостиная была освещена — только трудно понять, где стоит настоящая лампа. Два молодых человека возились у горелки и дымящейся кастрюли.

— Привет, Эжен! — крикнул Эмиль, не замечая в тени второго пришедшего, — Угадай, чего мы делаем? Камни кипятим, — и вытащил мокрый бульжник средней величины.

— Зачем? — под этот вопрос оловянная шейка береникиной шумовки сломалась; камень сорвался и обдал экспериментаторов горячими брызгами. Отчертыхавшись, Эмиль ответил:

— Мне давече рассказали, что индейцы, когда чего-нибудь варят, не ставят котёл на огонь, а кидают туда раскалённые камни, и вода закипает уже от них. Мы решили попробовать. Ведь — согласись — разогреть камни в углях куда проще, и не надо тратиться на керосин, спирт, на топливо для плиты.

Эжен снял плащ и повесил его на угол двери в правую комнату, заметил:

— Но сейчас-то вы кипятите камни в воде, а не воду — камнями. Я чего-то не догнал?

— Мы их сейчас дезинфицируем. Плащ отсюда сними: в спальне он быстрее просушится.

— Не гарантирую, — чуть смущённо проговорил Рафаэль, а Эмиль спросил Эжена:

— Ты прочитал «Клотильду Лузиньянскую»?

— А что она написала?

— Это роман так называется: «Клотильда Лузиньянская, или Красавец-еврей».

— Там что, женщина наряжается мужчиной?

— Это я и просил тебя выяснить — две недели назад. Мне завтра сдавать рецензию!

— Может, Рафаэль читал?

— Я начал, — сказал Рафаэль.

— О! и как впечатление?

Жесткая ладонь окольцевала эженово плечо, в ухо ему шепнулось: «Я ухожу».

Серый Жан был так измучен лживыми приманками, что мог утешить себя лишь решением дожидаться в этом подъезде первого человека и отрезать ему голову, но издевательства над ним, охотником, ещё не прекратились — Эжен вышел на лестничную

площадку и затворил дверь квартиры. Он как будто хотел что-то сказать, но не успел. Граф схватил его за шею, толкнул к перилам, прижал к ним, сгрёб волосы на его затылке, оттянул назад голову — всё левой рукой; правая заносила нож. Эжен увидел его ошалелые зелёные глаза, услышал:

— Так ты надо мной потешаешься!? дразнишь меня!?!... Запомни: это я всегда могу сделать с тобой всё, что пожелаю! Вот тебе памятка! — и резанул снизу вверх по вздёрнутому подбородку с такой силой, что лезвие задело кость.

Зренье Эжена застлало слёзы, его руки безотчётно рванулись вперёд ключиц. Миг — и нападший отлетел к стене с кроваво смазанным ртом, а нож звякнул об пол, и Эжен наступил на его приоблагранный стальной язык. Враг в самой безличащей злобе крикнул что-то по-своему, выхватил пистолет, навёл; грохнул выстрел.

Сквозь пороховой туман Серый Жан увидел Эжена припавшим на корточки, отбросившим одну руку для равновесия; из кулака другой свисал похищенный и оскорблённый клинок.

Эжен же лишь услышал вслед за громом страшный вопль, потом угасающий топот вниз по лестнице.

Тут на площадку выскочили Эмиль и Рафаэль, подняли приятеля, зовя по имени, спрашивая, что случилось. Эжен тяжело дышал, держаться на ногах ему было трудно, а локтевая кость так и гудела; он недоуменно рассмотрел нож — и глубокую царапину на нём, потом поднял взгляд к потолку, где чернела круглая пробоинка.

— Ну, ни фиги себе! — подивился Эмиль, проследивший за эженовыми глазами, — Ты что, отбил пулю, как теннисный мяч!? Я валяюсь! Это твой нож?

— Нет.

— А чей?

— Вы разглядели человека, который пришёл со мной?

— Нет. / Кто это был? / Он хотел тебя убить? / Кто он такой? — затараторили наперебой соседи.

— Пойдёмте отсюда...

В Париже промыть рану водой означает прикончить раненого. К счастью, у Эмиля нашлось несколько капель недопитого шампанского и полбутылки бренди — для обезболивания.

Рафаэль запер дверь на два крючка.

Эжен лежал на кровати в распахнутой рубашке. Кровь залила ему всю шею; он мог показаться умирающим. Эмиль подавал ему смоченные бинты, но сам не прикасался и жалел, что с ними нет Бьяншона.

— Так что это за тип? Чего ему от тебя надо?

— Пока ничего особенно.

— Он тебя чуть не зарезал и не застелил!

— Это просто ссадина, и целился он всего лишь в ногу... Я его чем-то рассердил... Надо обдумать... Не рассказывайте Максиму... Это только между нами — мной... и этим... человеком... Никому не надо вмешиваться.

Глава ХСVIII. О ярости

Эмиль не скрыл от Береники причин своего местаненахождения. Она сама испугалась и в одночасье убедила друга не оставлять дела так, согласилась лечь в одиночестве, только чтоб Эмиль немедленно вернулся к Эжену и выяснил всё, что можно.

Было уже за полночь, но Эжен славился бессонностью. Эмиль нашёл его сидящим на подоконнике в неосвещённой гостиной. Рафаэль, видимо, снова оккупировал спальню.

— Ну, и чего ты опять не заперся? — спросил журналист, с тремя запинками пробираясь по прихожей, — Не спится?... Сильно болит?... Я чего пришёл...

— Да, — кольнул Эжен.

— Ты как хочешь, а это надо обсудить — не со мной, так с Максом. Выбирай.

— ... Лучше уж с тобой: Макс пасёт меня, как чёртова овчарка...

— Про Макса — как-нибудь в другой раз, а сейчас давай про этого твоего потрошителя. Зацени: я не спрашиваю, как его зовут. Не думай также, что я намерен вторгнуться в автонекрофильские дебри твоей души, но, как мы уже выяснили, этот перец на жизнь твою не посягал. Ты не думал, что этими ранами — удавшейся и нет — он пытался тебе что-то сообщить? загадку, что ли, загадать?

— При том, что был как будто вне себя от гнева... Говорят, страсти туманят разум. Нет, они его скорее обостряют... А ведь он уже бывал здесь: не споткнулся у дверей.

— Это-то не удивительно. К тебе только мёртвый не завалится в любое время...

— Эмиль, ... иди-ка ты спать.

И больше ничего не удалось от него добиться.

Глава ХСІХ. Заговор убийцы и мага

Серый Жан на пороге сбросил с плеч плащ на меховой подкладке, пошёл в комнаты. Сквозь приоткрытые двери покоев леди Маргариты услышал и увидел её с Люсьеном. Смотрел долго, до конца, — бесстрастно, словно в окно на падающий снег. Ничто не менялось: болели губы, жгло в груди... Когда у заснувших любовников погасли свечи, отправился в ванную, спустил из серебряной трубки тонкую струю воды, сел, книгой раскрыл ладони, и сердце стукнуло в голову, как тараном — в ворота, — левая была вся по диагонали рассечена глубокой бороздой — точно по ней пролёг чёрный волос. Сжав кулак, англичанин бросился через весь тёмный замок в башню к старому алхимику. Тот извлёк волосок тонким пинцетом, положил на белую подсвеченную пластинку под микроскоп.

— Что вы можете узнать об этом человеке?

— Если вас интересует что-то очень важное и ответ нужен безошибочный...

— Да!

— Задайте один простой, непротиворечивый вопрос.

— **Как его убить!?**

— Дайте сроку — дня три.

Глава С. Кошмар Эжена

Темнота стала быстро меняться; утро обогнало часовую стрелку на восемь оборотов, но по пути растеряло краски, всё было серым.

Эжен слез с подоконника. Что-то странное в комнате. Исчезли стол и табуретки, но он никак не может этого понять: мешает рана. От волнения она заболела сильнее. Посмотрел в зеркало, потрогал подбородок, и вдруг надрез стал удлиняться, раздвоил нижнюю, верхнюю губу, располовинил нос, лоб, шею, скрывается в волосах, и под рубашкой; кровь вытемняет ткань растущей полосой, плоть расходится, как разрываемая мокрая бумага; разломленным яблоком треснула голова и оказалась только оболочкой головы другого существа. Оно — сплошная чернота. Белые руки жмут друг к другу доли мнущегося в ужасе лица, в рассечённом горле тихнет последний хрип; разрыв проходит туловище, ноги отмирают, и вот глаза в щелях мизинцев и безымянных поплыли по полудугам вниз. Образ распался в стороны, и перед зеркалом остался только чёрный человек.

Глава СІ. Человек в железной маске

Червонно-золотое облако вздымалось над гребнем долгожданного острова.

Рукотворный атолл высокой крепостной стеной отгораживал от моря тайну каждой жизни, и попасть внутрь кольца можно было лишь через маленькую арку, занавешенную прозрачным водопадом. Лара пояснила, что эту защиту дают людские слёзы, проливаемые в искреннем раскаянии или умилении. Лодку затащила внутрь, рвануло вниз, обеих женщин прибило потоком ко дну, потом нос кораблика вздёнуло и он вынырнул по другую сторону стены, а солёная влага испарилась за минуту.

Здесь вода была серой. Она как будто шуршала, вместо того, чтоб журчать и пускала по следу весла чёрную пену. Заполненный ею котлован противоположным краем дотянулся до самого горизонта. Ближе к центру гигантского круга из воды торчали столбы-стволы — стебли ворончатых цветков, каждый из которых был крупнее перевёрнутого соборного купола. Фарфорово гладкие и белые, они были очень красивы, и ноги их были как изумрудные.

— Это, должно быть, антенны Скрижали. Они улавливают сведения, — говорила Лара.

— А что за башня вон на том мысу? Там есть причал.

Морячка заглянула в свою навигационную планшетку:

— Похоже, диспечерская аватаров. Нам не туда.

— Но что же там такое? Я не поняла ни слова!

— Отсюда отправляются к живым здешние высшее духи, которые вселяются в человеческие тела. И возвращаются они через этот портал.

— И часто это происходит!?

— Вот не знаю. Но наверное. Представь, каково это — целую вечность сидеть в одном и том же мире!

— Неужели во всём Космосе обитаемы только два мира: этот и тот, и здешним духам некуда податься, кроме Земли?

— Мир, может, и много, но этот братственен тому, нашему: такой астральный близнец... Я сначала думала, что отсюда сотворили Землю. Ничего подобного! Скорей уж Земля порождает здешние стихии. Земные вещества, события, мы, грешные, и звери невинные — всё материализуется здесь. Вон ворота из слёз, а эта вода... — она из бумаги, исписанной людьми. В этом озере воплощены все когда-либо написанные книги.

— Что ж, здесь им самое место.

— А видишь — вон! — цветок вроде красного лотоса. Такие растут из духов, утопившихся здесь. Бедняги в жизни ничего, кроме книг, не любили и знать не желали.

Тут было почти так же пустынно, как в открытом море, только, поскрипывая и электрически потрескивая, качались антенны. Обойдя на вёслах треть круга, Лара привязала лодку к маленькому причалу, от которого поднимались широкие ступени ко входу в башенку, далеко не такую внушительную, как Диспечерская аватаров.

— Ты подожди здесь, — сказала Лара Анне.

— Даже на этот бережок выйти нельзя?

— Выйди. Только в дверь за мной не ходи.

Она ушла. Анна взобралась на верхний приступок, приподнимая подол своей сизо-серой одежды, и стала бродить, разминая ноги, вглядываясь то в воду и в заросли антенн, то в небо,

с которого к белым воронкам стекли вьющиеся и светящиеся бахромистые ленты розоватого, золотого и бирюзового света, не сразу заметные на ярком небе.

Но вдруг она услышала песню:

Ты сломал все весы
На которых был взвешен
Теперь ты безгрешен
И полно красы
Ты взойдёшь к небесам
И почишь на розе
И капли амброзий
Стекают по усам
Потом:
Сохните слёзы умолкните вопли
Тело моё мне с рожденья не гроб ли
Видишь в цветах потонула могила
Как это мило как это мило

Голос певца вился в воздухе, как пламя, и парой своих звуков прогревал дух слушателя до костей. Анна побежала к его источнику и увидела статного мужчину, стоящего на выдвинутой от стены в море высокой площадке. Вся его одежда — узкие штаны и рубаха до колен с капюшоном и длинными рукавами, не скрывшими лишь кончики трёх пальцев, — была сплетена из железных колец, и короткие сапоги металлически блестели. Он стоял, словно вросши в камень, прямой и прочней корабельной сосны, а ростом казался в половину выше обычного человека. Его, казалось, ничто не тяготило, он ни куда не пытался деть праздные руки, и ничего не было принуждённого и неестественного в его неподвижности.

Как только Анне до него осталось пять шагов, он, видный ей лишь со спины, опустил на лицо маску, потом обернулся и сказал непонятным тоном:

— Живая.

Анна остановилась, и разочарованная, и ошеломлённая: вышина незнакомца оказалось иллюзорной — он был одного роста с Джорджем, не больше (так иные колокольни издали цепляют облака, а вблизи почти огорчают своей обозримостью); лицо его пряталось под безглазой баутой, выбитой из мелкой серебристой решётки. Из-за невидимых ушей свисали почти до земли две чёрных косы, закреплённые внизу странными брошками — золотыми кольцами, изображающими, несомненно, пару глаз. В кольца-оправы просились крупные самоцветы, и, вероятно, там они когда-то были, но их выломали, как и маленькие камушки из сплюснутых и углублённых кончиков ресниц.

Ещё шаг — и Анна влюбилась...

— Я ждал живого со сложной и хлопотной просьбой, — начал он, помолчав немного.

— Я сделаю всё, что тебе нужно.

— Когда я был жив, мне говорили, что земле ненавистна женская кровь, что сто и двадцать человек, прошедших там, где пролилась она, погибли злой и скорой смертью. Но твоя кровь мне нужна — это первая часть моей просьбы.

— А сколько тебе нужно моей крови?

— Наполнить вот этот сосудец, — он снял с цепочки на шее стеклянный цилиндрический флакон, дно которого целиком устелил бы цветок луговой гвоздики, и аннин указательный палец достал бы до дна — такой он был глубины, — Я приготовил всё, чтоб нанести наименьшую рану и ни капли не потерять. Сядь на ступеньку пониже меня, вытяни руку и положи её мне на колено ладонью кверху; сожми кулак.

Сел сам, закатал и закрепил рукава, туго обвязал аннино плечо своей левой косой, с одного конца вставил в цилиндр железный поршень, с другой навинтил крышку с длинной тонкой иголкой, которую быстро и метко сунул в едва видную вену. Анна ойкнула — больше от испуга, но уже через минуту флакон был полон, плечо свободно, и незнакомец один за другим снял со своей пробирки наконечники и закупорил более безобидно, спустил рукава и выпрямился.

— Лёгкая у тебя рука, — похвалила Анна.

— Ты первая, кто мне успел это сказать.

— Что ты будешь делать с моей кровью?

— Хорошо ли ты знаешь деревья?

— Деревья?

— Растения, чьи стебли прочны, как кости, и порой обширней в обхват любого брюха, а листьев у них больше, чем волос на соболе...

— Да-да, я поняла. Деревья. Да, я знаю.

— Где-то в море есть остров Фит. Там мертвствуют все они: от пальмы, лакомившей первого африканца, до последнего спорыша, подбитого мотыгой италийца. Если будет твоя воля, отправляйся туда, найди древесное семя и погрузи его в свою кровь — там оно пробьётся и сможет вырасти. Это вторая часть моей просьбы.

— Хорошо, — она взяла из его рук флакон на цепочке, — А какова третья часть? Где я должна посадить это дерево?

— Я сам его посажу... Отдай его любому лодочнику, скажи: в Вальхаллу...

— Это всё, что тебе нужно?

— Да. Только учти: когда подберёшь семя, сначала седлай ему темно — вот так, горстями. Засветится — брось: его смерть была плодотворна, и если оно воскреснет здесь, тотам его детище зачахнет. Запомни накрепко: зерно не должно светиться.

— Запомнила. Но только,... может, всё же уточнишь, какое дерево брать лучше? Клён? Липу? Тис?...

— Я буду рад любому.

— ... Говорят, у вас там одно голое болото...

— Так и есть.

— Это, конечно, грустно... Я помогу тебе,... нно... у меня тоже будет просьба. И, пожалуй, тоже не единственная.

— Ты уже должна быть мне благодарна.

— За что же?

— Твой государь сейчас ни с кем не воюет.

— Хочешь сказать, что ты это устроил?

— Да, — он достал из узкого кармана короткий кинжал и принялся пилить под корень левую косу.

— Но ты хотя бы выслушай меня.

— Пожалуй.

— Что ты делаешь?

— Отдам её тебе. Она и так уже с тобой соприкасалась.

— Как и твоя нога! Может, её тоже отрежешь?

— Этим? — Трудновато будет, — последним движением отделили косу от головы и вручил Анне, — Что же твоя просьба?

— Очень проста: покажи мне твоё лицо и назови имя.

— Так и знал. Нет.

— Тогда я сейчас выброшу этот пузырьёк и никуда для тебя не поеду. Жди другого живого!

— Поступай, как хочешь.

Анна совсем разъярилась на этого высокомерца:

— Ну, так вот: я не лишу твоих соратников удовольствия видеть хотя бы одно дерево; проделаю этот путь, очевидно, долгий, хотя тороплюсь к малолетней дочери и больной матери; но никаких подарков мне от тебя не надо, — и швырнула косу в воду.

Незнакомец метнулся вниз с таким испуганным и горестным криком, словно не пучок волос, а его единственного сына утопили не его глазах; зашатался, закрыв ладонями маску, а на белой качающейся глади у его ног вдруг всплыли тысячи чёрных, готически угловатых букв, чтоб через миг раствориться...

— Что с тобой? Что я такого сделала? — Анна попятилась, боясь, что его скорбь обернётся гневом, но он только опустил руки, судорожно вздохнул:

— Вот моя плата. А разве многого я добивался!.. И, надо думать, это не конец... Он мне сказал: идите без сомнений, я достойно заменю вас! Уж наверное!..

— Прости, я...

— Бог простит, — он оттянул вторую косу и снова взялся за нож.

— А эту ты просто так отсекаешь, для симметрии, или?...

— Как называется, когда живые считают мёртвого святым?

— Канонизация, по-моему.

— Это, знаешь ли, великая тоска... И стыд... Но вдруг да и впрямь пригодиться кому... — опоясал Анну, закрепил узел ослеплённой своей брошью, — Правда всегда может быть страшней, чем ждёшь. Часто она такова... Ты хочешь вернуться в Царство Лжи — думаешь, кто-то возьмёт тебя за руку и просто выведет?

— Надеюсь...

— Твоя надежда — бред, а сама ты — жалкая тень. Раз осмелилась хотеть, то будь готова расплатиться, не выгадывая дешёвизны, не ждя назначения цены, не щадя ничего.

— А сам-то ты не поспешил вознаградить меня за своё будущее деревце! Что твой отказ такое, если не пустой каприз? Что уж столь секретного в твоём лице и имени!?

— Любопытство твоё — вот бестолковая причуда. Я тебе дал то, что нужней.

— Что ж, больше нам не о чем говорить, — Анна двинулась было прочь с полным горлом слёз, но вдруг вновь подскочила к безликому древолюбу, — А! Я поняла, кто ты такой! Не о тебе ли мне рассказывала Жанна — девушка, бежавшая на остров ведьм! — не ты ли разбил её сердце своей наглой чёрствостью!?

Услышав имя Жанны, он чуть было не сдёрнул с лица маску, тут же опомнился, спрятался вновь, но Анна успела увидеть его бесцветные, хотя и молодые и красивые, губы, крупноватые для узкого лица; и — может быть, ей только померещилась эта капля, остановившаяся их угла... А из-под маски:

— Вот нескладица! Как можно разбить кусок мяса? (- Его слова — не то же ли для его чувств, что все эти железные покровы — для его лица и тела? — выстроила Анна —)... Сказка про драконьи головы, отраставшие вдвоём на месте одной срубленной, — это притча про вопросы и ответы. Мне бы хотелось знать, услышала ли ты от Жанны моё имя, но ведь ты, живая, вольная — и лживая, начнёшь мне мстить (Бог весть, за что уж) умолчаниями. Только запомни: если оно прозвучит среди живых, начнётся то, что приведёт к войне всех стран и народов. Не сразу, не скоро, но непременно.

— Успокойся. Твоё имя мне по-прежнему неизвестно, и, раз это так опасно, я постараюсь победить своё любопытство.

— Хорошо.

Они ещё долго стояли рядом. Лара всё не шла — видимо, ждала в длинной очереди.

— Оставалась бы ты здесь, — тихо сказал вдруг незнакомец, — Что тебе Царство Лжи? Твоя семья нужней тебе, чем ты ей, но и это только твой обман себя. Пусть твоё тело умрёт. Грехов у тебя мало, здесь ты будешь благоденствовать.

— Если я останусь, ты откроешься мне?

— Да.

— ... Что для этого нужно сделать?

— Просто решиться.

Анна была готова, она сразу поверила, что так будет лучше, и думала: «Сплаваю на остров Фит — как там, наверное, красиво! — найду для тебя дерево, сама привезу и никуда от тебя не уйду больше. Кто мне запретит!?».

Тут к причалу рядом с лариной и несколькими другим лодками пристала знакомая посудаина Безумного Джека. Сам он вылез на берег, поднялся к Анне и её железному собеседнику, спросил издалека:

— Ну, кто из вас — мой пассажир?

— Выбирай, — ответил вальхаллец.

Джек, боязливо косясь на него, схватил за руку Анну и повёл вниз, а она кричала, оборачиваясь:

— Лара отвезёт тебя, куда захочешь; она хорошая морячка! Забери её к себе, в Уалхолл!

Глава СII. О разлуке

— Ты поздно вернулся. Мы тебя не дождались. Почему не спишь? — Люсьен прошёлся до окна, поигрывая поясом халата, глянул за портьеру, потом на Серого Жана, как-то по-медвежьи сидящего на покрытой постели, — О чём ты думаешь?

— О том молодом писателе, которого ты больше всех напоминаешь.

— Можешь вслух.

— ... Жизнь кошмарна в своих подтасовках... Прежде чем стать моим избранником, он стал моим соперником. Одно железо рассекло оба наших сердца. Я научился понимать смысл слова «извращение», когда на его мохнатом тельце целовал чужие следы, когда, слушая его воспоминания, отсеивал роскошь его чувств, сберегая мелочь сведений о том, другом. Никогда я не спал так плохо. Я словно сидел в засаде и ждал мою добычу, а она не появлялась. Так прошло больше года. Не скажу, что я скучал: слишком сильны и разнообразны были мучения. По ночам я не мог оторваться от этого дьяволёнка, да он и сам меня не отпускал, и в те часы мы мысленно, а иногда и вслух, звали друг друга тем — чужим именем. То было даже не извращённой любовью — — извращённым взаимным убийством: мы сводили себя на нет... Он стремился присвоить жизнь того человека, чья смерть была моей единственной страстью. Он называл того своим ненавистным... Люди часто не могут разобраться в своих чувствах... Мне проще: я не задаю себе лишних вопросов. Я приучил себя называть любовью всякое влечение — так поступали древние. Один из нравственных императивов Канта: смотреть на другого не как на средство, а как на цель. Вряд ли сам философ следовал этому кредо более неуклонно, чем я... Только с тем пареньком выходило иначе. Даже глядя, как он истекает кровью, я не мог думать о нём самом... Была (и есть поныне) утешительная уверенность, что он тоже думал совсем не обо мне. Даже тогда мы принадлежали тому, третьему,... а он — нам... Решалось самое важное — кто из нас двоих отступится, подарит свою победу другому... Оставив соперника в кровавой купели в бедной брюссельской квартирке, я ушёл в город и бродил до темноты, словно где-то на улицах мог найти объяснение, что всё это значило, кто был избран, а кто отвергнут...

— Тоже мне задача! Ты, конечно, победил! Какое торжество может быть у мёртвого?

— Если никакого,... то что и почему в том мальчике так властно требовало смерти? Тот, кто назовёт это слабостью, не удивит меня, назвав луну своим правым ухом... Я сам вызвал полицию. Они, как всегда, констатировали самоубийство; доверчиво спросили, кто я и я ли возьму на себя расходы по похоронам. Он уже лежал на постели, мокрый, смугло-розовый от крови, спокойный и красивый. Никому не пришло в голову накрыть его лицо. Он казался ребёнком, досыпающим последние минуты в рождественское утро, когда самый долгожданный подарок ждёт на соседней подушке...

— Ну, а сейчас-то к чему эти воспоминания?

Серый Жан приподнял голову:

— Да так... Знаешь,... я нашёл... твоего...

— Растиньяка!?!... Эа! Это он тебя так разукрасил?

— Почему ты хочешь его убить?

— Я сто раз тебе объяснял: он — собрание и олицетворение всех парижских мерзостей!..

— Ты видел его глаза? слушал его речи? Клянусь обеими руками: это самая нездешняя

душа! Ты в нём ошибся. Откажись...

— Нет!!! Я готов помиловать всех этих раззолоченных сучек, всю свору продажных строчил и живодёров-процентщиков, но **его** — НИКОГДА!!!

— Второй раз в жизни я кого-то недооценил...

— Третий! Ты меня недооцениваешь!..

— Он — последний,... — промолвил англичанин и снова отвёл глаза.

Люсьен понял, что больше для него не существует.

Глава СIII. У Джека нет сведений, но есть принципы

— Куда плывём?

— На остров Фит.

— Так,... — Джек застучал и заводил пальцами по навигационной скрижали.

— Джек, кто это был со мной там?

— Чего?

— Тот человек в железной одежде и маске — ты его знаешь?

— Знаю?...

— Как его зовут?

— Это — нет. Он и сам уж поди забыл.

— Что же, в Уалхолле люди между собой не разговаривают?

— Почему? — бывает...

— Значит, к нему как-то должны обращаться.

— К нему обращаются *командир*. Он командует европейской фалангой.

— Раз он такой выдающийся полководец, его имя должно было войти в историю!.. Какой-нибудь Аттила?... Но тот бы азиатом, хотя... Но он и прожил, кажется, больше. Этот совсем ещё молод...

— Что он тебе?

— ... Он предложил мне остаться здесь... Что ты думаешь об этом?

— Здесь мы, преходящие, и так бываем больше, чем на земле. Успеешь ты сюда.

— ... Он мне понравился...

— И никуда он от тебя не денется. Он тут навечно.

— Он сам так решил?

— Конечно... Оу! Гляди! — Джек указал на красноватый дымовой столб вдалеке, — Кто-то сигналил. Надо помочь, — и перенастроил курс.

Лодка подошла к крошечному белопесчаному островку, посреди которого на камне, годном в древние алтари, жёг костёр какой-то старик.

— Здорово, дед! Куда тебе?

— К Изумрудной Скрижали.

— Мы только что оттуда, — раздражённо сказала Анна.

— А чего тебе там надо? — спросил Джек.

Старик открыл рот, но словно онемел, наконец выговорил:

— Это мои дела.

— Не скажешь — не повезу.

— ... Мой друг хочет убить одного необычного человека, но не знает как.

— Чем же этот человек вам насолил?

— ... Не знаю.

— Ну, так возвращайся ты, некромант, восвояси, а другу скажи, чтоб хоть о чести вспомнил, раз совести нет! — и вскоре старик вновь остался один у огня.

Глава CIV. Стяжатель

— О тоска: ни одного носка! — сетовал Эмиль, роясь в комод.

— Давай скорей, — говорил Эжен.

Только вчера они опубликовали объявление ((через газету бесплатных объявлений Гектора Мерлена «С рук на руки». Она была очень популярна, несмотря на то, что редактор в каждый номер подсовывал несколько приколов типа «Для распространения английской косметики требуются девушки с опытом работы на улице», «Молодая, целеустремлённая, творческая личность приглашается на должность санитаря в хоспис N2», «Не дадим погибнуть национальному достоянию! Пожертвования на ремонт Бастилии принимаются по адресу...», «Продаётся бурая корова. Площадь Звезды. Дом 48, квартира 71 (пентхаус)», «Приглашается гувернёр для воспитания четырнадцати детей боярина Лобносова из г. Углища (Россия)» и т. п... По указанным в этих липовых объявлениях адресам Гектор разносил предупреждения с двумя бутылками шампанского: одну для снисходительных хозяев, приглашённых в соучастники, другую — для купившихся простаков, буде такие окажутся. В большинстве случаев, конечно, обе бутылки выпивали хозяева)) об обмене хорошей кровати на старый, но большой ковёр, и уже сегодня пришла какая-то тётка. Она ждала у подъезда, на радостях готовая обеспечить всю транспортировку.

— А Рафаэля чего не позвал? — спросил по пути Эмиль.

— Он вчера поздно вернулся.

Забрали одну размонтированную кровать из Дома Воке и покатали на улицу Сен-Дени.

Хозяйка собирала приданное для дочери, и в её доме как нарочно на виду лежало всё до последнего шнурка. Мещанка извинилась, но далеко не так прочувствованно, как извинилась бы графиня за пушинку, приставшую к спинке кресла, велела какому-то парню вытащить ковёр. Эжен сделал жалобно-смущённое лицо и долго молчал, глядя на предложенный предмет.

— Чего-то не так? — спросила тётка.

— Маловат, сударыня.

— Да и затоптан чуть не до дыр! — вставил Эмиль.

— Другого нету.

— Как же нам быть? — и новое молчание анаконды... — А вот этот таз вам очень нужен?

— Да не особо...

— А эту мьльницу вы, наверное, собрались выбрасывать?

— Да нет, но уж...

— А можно ещё вот эту табуретку?

— Ну...

— А вот этот стаканчик?...

За три ходки три человека снесли в грузовую карету всё, что удалось выпросить в придачу к забракованному ковру. Всю дорогу до Дома Воке Эмиль хохотал, а Эжен бормотал, уже по-настоящему сконфуженный: «Надо же, как получилось!.. Что такое на меня нашло!..».

Те же сокрушения он вынужден был повторять после операции со второй кроватью. После третьей он поклялся не брать ничего, кроме ковра (или ковров), но и сбыт четвёртой

напоминал русскую сказку про суп из топора; и на пятый раз Эжен не совладал со своими инстинктами захватчика. Шестую кровать он отдал какой-то стареющей гризетке, которую обязал за это шить кое-что простое, типа наволочек, бесплатно в течение года.

Хозяйство Дома Воке комплектовалось быстро.

Ковры Эжен разрезал на спальные подстилки для ночлежников, жестковатые, но тёплые. Из парусины, которую в суеверном трепете и тоске по Корали раздобыл для него Камюзо, были вскоре сделаны продолговатые подушки; набили их сеном. Одеялами не разжились, но к Рождеству Нусинген вдруг подарил Эжену пакетик акций угледобывающей компании, обладатель которого мог либо получать небольшие дивиденды раз в квартал, либо покупать топливо с тридцатипроцентной скидкой. Вскоре ко двору со странной вывеской «Абсолют. Торговля углём» подъехало пять телег... Теперь в приюте было так тепло, что люди могли и сидеть, и спать полуголыми.

Их набралось почти полтысячи за неделю, в основном стариков и детей.

Затевая своё благотворение, Эжен опасался беспорядков. Какое там! Он ходил по Дому, как по зимнему муравейнику... Если какое-то его распоряжение не выполнялось моментально, то только из-за немощи исполнителя. А он-то надеялся набрать армию для борьбы со злом мира!.. Что он ещё мог для них? запретить семилетним малышам чистить трубы и прислуживать в стеклодувном цехе, а сгорбленным, трясущимся старухам — сидеть на паперти в мороз... Избывая уныние, он сам ходил за водой к ближайшему фонтану со вновь изобретённым коромыслом, выструганным за полчаса из отстоя яблони. А то гнал на окраину, на сельский рынок, откуда вёз мешки шерсти, и вот уже три нищенки у камелька изображают мойр, а безумная Жизель вяжет кому-нибудь серую обнову...

Глава CV. Условие

— Что тебя кручинит, милый зверёк?

— Серый Жан меня предал! Я велел ему найти одного негодяя и заманить на растерзание мне, а он, найдя, очаровался им и теперь в тайне хочет меня убить тому в угоду!.. Ах, господин колдун! Мне больше не на кого надеяться! Защитите от вероломства и помогите отомстить!

— Да, наш друг действительно увлёкся неким брюнетом. Тебя он вряд ли тронет: его слишком занимает новая цель. Именно так. Если что-то тебе и грозит, то лишь потеря врага. Дошло до того, что Жан обратился ко мне за оракулом о смерти этого вашего красавца.

— И что вы нагадали!?

— Нечто труднодостижимое: умертвить его может только мёртвый.

— Но... как же это!? Я бы ещё понял, если б умереть одновременно с ним, а тут!.. Ведь это всё равно что невозможно!

— Не совсем, дружок. Очевидно, речь том, что, хоть живому человеку с ним не справиться, но, если ты своей вражде пожертвуешь абсолютно всем, то силы Ада уважат твою страсть и отпустят твой дух для свершения мести.

— ... Стать... привидением?...

— Да, говоря попросту...

— Что за бред!.. А! Вижу!: англичанин вас наустил!.. Будьте вы все прокляты!

— Прости, у меня есть лишь такой ответ — для тебя и твоего несчастного соперника.

— Нет! подождите! Не сообщайте условия Жану!.. Это **моя** добыча! Я должен подумать.

— Что же я ему скажу?

— Скажите,... что эту тварь вообще нельзя убить, что сужденная ей смерть должна родиться и прорасти изнутри неё!

Глава CVI. Свет и тень

Отражённое в окнах противостоящего дома, солнце превращало зеркальную гостиную в самую светлую комнату Парижа. Такое случалось лишь на несколько минут несколько дней в году, если в эти дни ещё не было пасмурно.

Эжен расположился в дверном проёме, сидя на притолоке вниз головой, в один косяк упершись ступнями, по другому растянув спину; ему особенно нравилось в таком положении свесить и расслабить руки. Закрыв глаза, он думал, что одна половина его лица золотится, а другая — черна, но нечего ведь не происходит и вроде не грозит, и, может статься... До второго вздоха его новорождённая надежда не дожидая: вошёл Макс.

— Чёрт! Что ты делаешь?

— Ничего, отдыхаю. Смотри под ноги.

Макс перешагнул через порожек, обогнул брошенные сапоги и ухаб в паркете, склоняясь под живой аркой, нырнул в горящую комнату, огляделся с неизбежным изумлением.

— Восточные натуралисты утверждают, что скорпиону его зрение позволяет видеть весь горизонт по окружности, а в середине — всё небо, — сказал почему-то.

— Чудны дела Господни, — ответил Эжен, — Ты только с этим ко мне шёл?

— Разумеется, нет. (- сел —)... Мы с Нази сейчас счастливее, чем когда-либо прежде, ... но — поэтому... детей мы взять к себе не можем.

— И ты хочешь, чтоб я помог тебе их сбавить?

— Ужасное слово!

— Да не слово, Макс!..

— Я имею в виду не пансионы. Нужна состоятельная, дружная, здоровая, радушная, настоящая семья — и твой дипломатически талант, мой дорогой???????? всеустроитель.

Солнце погасло. Эжен почесал бок под съехавшей рубашкой, заложил руки за голову.

— Семья... Ннет. Твои сиротские фантазии тут не сыграют. Есть одна мыслишка, но уж если я — пройдоха, то что мне будет с этой услуги?

— Я уйду раньше, чем ты спустишься, — согласен?

— Вполне.

— Только назови своего кандидата.

— Клара де Босан, моя покинутая кузина.

— Лучше бы я не спрашивал!

— Привет Нази.

Спровоженный, Макс всю дорогу искал оправдания эженову выбору, а Эжен тем временем обедал папироской и радовался, что гость не заметил его шрама.

Глава CVII. Демон

Память никогда не играла с Серым Жаном такой злой шутки. Искать упоминание о каролингах в рукописи «Франкенштейна» он начал скорее от скуки, уверенный, что найдёт быстро и ничего особенного цитата ему не откроет, но, пролистав до половины (он точно помнил, что это где-то в начале), ни на чём не остановился; повторил пробег с растущим тревожным азартом, третий — почти в панике. Всё тщетно. Тогда он принялся читать от слова к слову, зажав уши, как школьник-зубрила; прочесал от корки до корки, и ни одна фраза не зацепила его, кроме рассказа о детских играх героя: «чаще всего мы изображали персонажей Ронсевалья, рыцарей артурова Круглого стола и воинов, проливших кровь за освобождения Гроба Господня из рук неверных». Рассветало... Жан решил, что просто спутал Карлемана с Артуром — для англичанина простительно. Слово *Ронсеваль* ему ни о чём не говорило.

Вечером того же дня он раскрыл наугад Библию и с инеем на сердце прочитал: «Это — верх путей Божьих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой».

Во сне душа утешала его, как могла.

Проснувшись, он увидел у своего стола соседа-волшебника. Тот смотрел раскрытые книги и различал в них следы взглядов, как следы шагов на снегу.

— Ответ получен?

— Да, мой друг. Но, кажется, вам он уже известен из другого источника — вот этот стих о верхе путей Божьих...

— Это сказано о звере, о бегемоте!

— Ваш бегемот — отнюдь не африканское животное, называемое по-гречески гиппопотамом, а тот самый Бафомет или Бахомет, которому поклонялись тамплиеры, древний титанический дух вроде Дагона или Азазеля. Вселившись в человека, он делает его необычайно могучим и почти неуязвимым, а кроме того наделяет особыми чувствами, совершенствует память, ум — создаёт гениальнейшее существо, которому всё под силу. В истории его воплощения известны под разными именами: шумерский Энкиду, египетский Гор-Скорпион, еврейский Давид, греческий Геракл, кельтский Кухулин... Да, в начале новой эры он переселился на север, в Европу. Тамплиеры нашли голову его последнего аватара и проводили над ней то магические ритуалы, то химические эксперименты, пытаясь вызвать этот дух и исполниться его.

— У них получилось?

— Сейчас это не так уж и важно. Главное, что ваш избранник — вот он действительно несёт в себе начало Бафомета. Пойдёмте, я вам покажу, как это выглядит.

Лукавый старик отвёл англичанина в свою лабораторию, указал на микроскоп, под линзой которого Серый Жан увидел словно мелкую брусчатку, и срединные камушки синевато мерцали.

— Видите свечение?

— Что это за материя?

— Срез луковицы волоса, данного вами мне... Зарницы видны лишь в нескольких клетках. Ваш... — кстати, как его зовут? — это уже интересно.

— Эжен, Эжен де Растиньяк.

— Он удостоился какого-то кусочка, пылинки от духа Бафомета, однако зерно нашло в

нём добрую почву — и стало размножаться. Когда тело страдает от ран или болезней, его истонченные клетки умирают, а бафометовы заполняют их место, как опустошённые ячейки, так что недуги или травмы только придают этому человеку сил, и чем опаснее повреждение организма, тем обширнее будет завоевание демона.

— Неужто у него и вторая голова отрастёт?

— Скорей клинок ваш сломается о его шею... Бросьте. Вам же Сам Бог сказал: только Сотворивший...

— А если... я и сотворил его!? Об этом мне был сегодняшний сон, и имя я себе такое взял лишь потому, что я — его создатель!

Колдун сочувственно покачал головой:

— Я многому верю, но эти слова безосновательны. А если нет, то вы изначально знаете больше моего.

Глава CVIII. Северная сказка

Для викингов рассудок ничего не значил, им казалось: чем ты безбашенней, тем круче. Такими были и эйсы, их боги. Главный, Оден, всех по части взбеси переплюнул: мало того, что он сам себе глаз выдрал, он ещё копьём к дереву пригвоздился и висел так, пока не надоело, и, конечно, каков поп, таков и приход... Но один в этой компании был с умом — это Лаки (или Логи, чёрт его помнит), правда, он со своей смекалкой умел и дурака включить, чтоб не казаться совсем уродом, а в остальном его выручала непомерная горячность. Остальные куролесили, но без настоящего пыла, а у Лаки вместо головы была маска, надетая на вечный полыхающий костёр.

Он похвалялся, что переспал со всеми женщинами Эйсхарда, но детей ему родила только страшила Энгрбади — троих: змея Ирманхенда, волка Финрера и ведьму Хелл. Всех их кое-как рассовали по углам: змея, например, — в океан, а Хелл отправили хозяйничать в царстве мёртвых, — не отборно-прославленных, а, так сказать, бросовых, сдохших от болезней.

И вот захотелось Хелл замуж. Обошла своих подданных — всё старики и дети, выбрать не из кого. Списалась она тогда с отцом-хитрецом и попросила сосватать ей кого-нибудь поприличней. Лаки, как всегда, замахнулся с плеча на самое святое.

У Одена и его красотки-жены, которую все звал в шутку Фрик, родился сын Белдор, и так он им удался, что все сразу решили: вот лучшее на свете существо. Его и присмотрел Лаки себе в зятя, осталось только его угробить, что не представлялось слишком трудным, ведь эйсы — не то, что греческие олимпийцы, они вполне смертны. Но именно Белдор считался неуязвимым, потому что мать собрала со всех живущих клятву не вредить ему, забыла только взять её у какой-то былинки. Лаки это всё прознал, нашёл тот росток, сделал из него стрелу и отправился на дело. Тем временем эйсы развлекались, метая в Белдора дубьём, камнями и всяким оружием, а ему от этого было хоть бы хны. В их компанию затесался один слепец. Его Лаки, любитель загребать жар чужими руками, решил выставить крайним — подсунул свою смертоносную палку. Тот выстрелил и уложил всеобщего любимца, а поскольку Белдор был безоружным и ни разу никого не убившим, обычай велел отослать его не в Уалхолл, а к Хелл. Та (уже не знаю, какими хитростями) окрутила беднягу, и появился на свет Хелдор, общий внук Одена и Лаки. В нём было столько же ума, сколько безумия. Он мог найти спасение из любой беды, из пустоты построить рай, но, как только несчастья кончались, он сам же всё и портил какой-нибудь придурью, и мир опять смотрел в могилу.

Такую сказку рассказал Джек Анне, пока они плыли через новую ночь.

Глава СІХ. Покинутая женщина

Легко сказать *моя кузина Клара* — а попробуй разыщи эту отшельницу!

Эжен вспомнил совет де Марсе: за всеми знаниями обращаться к де Гранлье, но в их дом он не был запросто вхож и в поисках посредника опрометчиво остановился на скромном всемогучке Ванденесе.

Феликс не изменял своему распорядку, вновь обедал дома. Он, снова усадил гостя за свой стол. Прислуживали две малолетние неумехи: одна плеснула супом на скатерть, другая уронила ложку и весело заметила:

— Ой, к вам придёт ещё какая-то дама ((народная примета)).

— Как тебя зовут? — гувернёрски спросил её Феликс.

— ... Круассандра.

— Кассандра!.. Идите обе...

— Что же, — начал Эжен, когда девочки убежали наперегонки, — ваш брат вернулся под матушкино крыльшко?

— Нет, он здесь, — вздохнул Феликс, — Только он тяжело болен. Тиф... Наверное, заразился где-то по дороге, потому что слёг в тот же вечер, когда приехал. (- у Эжена кусок встал поперёк горла —)... Но самое поразительное — что через день аналогичный диагноз был поставлен — кому бы вы думали? — Анри де Марсе! Несомненно, тут Рука Божья! (- «На моих ногах» — чуть не вырвалось у Эжена —).

— Но это опасный недуг!

— Врач говорит, что жизням моих близких ничто не угрожает: оба молоды и достаточно крепки, чтоб победить болезнь, нужно только время и хороший уход.

— А почему вы помянули Руку Божью?

— Потому что Шарль изначально был крайне враждебен к Анри, хотя и не знал его, зато теперь они наверняка подружатся. Я, видите ли, отвёз брата туда, в особняк моего друга — раз они оба одинаково болеют, то и заразить друг друга не могут. Так и доктору удобней, и мне безопасней. Их спальни соседствуют, двери часто открыты. Когда недуг отступит, они без труда смогут общаться и полюбят друг друга — вот, за какую надежду я благодарю Господа! И не только! — глаза Феликса засияли, — объединённые общим страданием, Шарль и Анри для меня стали равно дороги, и если когда-то я за что-то питал к брату неприязнь, то теперь я от всей души простил ему всё и!.. ах!..

— Ну, слава Богу!

Феликс благочестиво осенился крестом и подумал: «пришёл за делом, но стесняется...».

— ... Ваша матушка мне отписала, что девочек приняла, устроила и пока довольна ими. Взглянете?

— На что?

— На её письмо?

— Нет, спасибо.

— ... Кровати вам пригодились?

— О, да! А вы как будто рано от них избавится...

— Ничего, купил новых...

— Но как же это: когда граф успел поработить новых девушек, если захворал?...

— Это не он, — Феликс густо покраснел, — ... Я вот, как рассудил: если родители

продают своих дочерей, то их всё равно кто-то будет покупать, и этим кем-то может оказаться гораздо больший бесчинец! — какой-нибудь де Люпо!.. Я решился сам... Но не порабощаю, а выкупаю из рабства я этих малюток! Я хочу дать им лучшую жизнь, сделать их счастливыми! (- «гарем душевного благородства», — сформулировал Эжен, а вслух пожелал удачи —) Вот только... (- разговор с Феликсом походил на прогулку по сюрпризистому лабиринту —) вы же знаете, где я служу. Если там узнают, мне останется отпеть мою карьеру...

— Нда...

— Если бы кто-нибудь более свободный, менее публичный взял на себя этот двусмысленный труд!.. За деньгами бы дело не стало!

— Надо подумать.

— ... Простите, дорогой барон, я давно должен был спросить, чему обязан вашим визитом?

— Виконтессе де Босеан. Она ведь моя дальняя родственница, и моя тётка, госпожа де Марсийак, хочет навестить её, но не знает, куда ехать, а вы, как широкоосведомлённый человек...

— К сожалению, я не имел и не имею никакого касательства к госпоже де Босеан.

— Она как будто была дружна с госпожой де Гранлье.

— Возможно, но тут я ещё меньше могу вам помочь... Эта дама неоднократно и публично высказывала неуважение к моему другу — я её не посещаю.

Разъявлённый неудачей, Эжен готов был бежать на станцию, сесть в первый дилижанс северного направления, обшарить всю Нормандию и собственноручно вытащить виконтессу хоть из-под земли, но у витрины ювелирного магазина он вспомнил ещё одну возможность: Дервиль, помогший Гранлье восстановить их богатство.

Нотариус признал, что часто зван к господам на камерные, нетанцевальные вечера, где его всякий раз выставляют благодетелем семьи, благодарят, как ангела — «А хоть бы раз пригласили мою жену!» — закончил Дервиль. Провести с собой Эжена он согласился с условием, что тот не будет устраивать там ни допросов, ни концертов, а получилось всё так, что честный стряпчий посетил великосветский дом в последний раз: его спутник только за шиворот не тряс гостей и хозяев, выясняя, где ему искать его кузину. Кто-то наконец сболтнул: Нижняя Нормандия, город Байе, поместье Курсель.

Макс и Нази пришли проститься с детьми. Она только смотрела на Полину и Жоржа с нежной и виноватой грустью, а он говорил о вреде парижского воздуха и обещал, что летом они все будут вместе, но пока ему с мамой надо пожить наедине.

«Люди живут вместе из-за любви, — продолжил объяснять ситуацию Эжен уже в пути, — У ваших родителей она была как большое, могучее дерево, но налетела буря, и оно упало, только щербатый пенёк остался торчать; вот из него пробился новый маленький росток, и, чтоб снова выросло дерево, за ним нужно много ухаживать».

За весь день, проведённый в дилижансе и на остановках в разных городках, они не возвращались к этому разговору, только ночью, в номере уютного постоялого двора, под звучащий снизу наигрыш волынки и завывание вьюги в трубе, лёжа на широкой кровати под меховым покрывалом, Полина промолвила, чуть отстранившись от дремлющего Эжена:

— Я знаю, зачем им нужно быть только вдвоём, папа мне всё рассказал — ещё в Англии... Ты тоже это делаешь. С маминой сестрой ты близок — правда?

Он всмотрелся в дубовые стропила, переплёл руки на подушке:

— ... Я ни с кем не близок... Я слишком хуже всех.

— Мне ты кажешься очень хорошим.

Эжен не ответил.

Во сне ((в это час в Париже Серый Жан лежал без сна меж отвернувшимися от него Люсьеном и Маргаритой)) ему, десятилетнему мальчишке, кто-то запустил в затылок снежком на улице. Он развернулся, нагнулся и не успел трижды моргнуть, как всё движущееся в поле зрения перестало двигаться. Потом долго ходил и смотрел на них: рот, забитый снегом до самой глотки, зубные обломки торчат; комок в опустевшей глазнице, подталый от крови; снежный влипший холмик на посиневшем виске; бело-красная бесформица на месте носа, три розовых ручья из-под неё: в открытый рот и мимо, к шее... На границе сна и яви утешился: вряд ли кто-то из побитых им был действительно мёртв. За секунду до пробуждения вспомнил точно: они всё-таки шевелились, расползались с рёвом и хныком, и было их меньше...

— Эжен, а знаешь, что! — ты источаешь жар, — сказала Полина — он пощупал лоб, — Нет, сам ты не горячий, но от тебя исходит сильное тепло, когда ты спишь.

— Это правда, — пробормотал Жорж из-за другого эженова бока.

В Байе прибыли уже к обеду. Эжен снял номер в гостинице средней руки, из-за плохой погоды оставил детей там, а сам вернулся на станцию договариваться на завтра с каким-нибудь мелким извозчиком. Сделав это, он зашёл в ресторан за едой для малышей. Пока выбирал, какой-то молодой человек отменной светской выправки обратился к нему:

— Сударь, вы не знаете, где здесь принимают пустые бутылки?

Эжен ответил, что нет и вообще избавляться от таких полезных вещей неблагоприятно, вслед за чем полтора часа рассказывал незнакомцу, что и как можно смастерить из стеклянного утиля, потом сам спросил о виконтессе де Босеан, своей здешней кузине, но молодой человек (уже угощающий его неплохим вином) сам приехал только сегодня из Парижа и не знает местного общества. «Постойте! Уж не та ли это виконтесса де Босеан, о которой было так много толков в связи с маркизом д'Ажуда-Пинто?» — «Аджуба... — что? Впервые слышу! Ну, и дал Бог имечко! Индус он что ли?».

Ночью случилось снежное бедствие. Идти до станции приходилось, раздвигая коленями толщу сыреющих сугробов, по темноте... Жоржа Эжен посадил себе на плечи, Полину нёс на руках, а уж сумки приходилось держать самим детям.

— Мы не упадём? — доносилось из-за затылка.

— Нет. Мы тяжёлые: устойчивы.

— Эжен, тебе очень трудно? — слышалось у сердца.

— Не очень.

С извозчиком повезло — дождался. И тракт оказался более/менее расчищенным, но вот луг и парк перед особняком Курселя были завалены. Эжен отпустил карету, вздохнул поглубже, снова навьючил на себя спутников с багажом и побрёл к едва видимому дому, наговаривая: «Как только откроется дверь, я отвлеку привратника, а вы — шмыг мимо него внутрь. Постарайтесь скрыться с его глаз, но далеко не убегайте, и на мой голос сразу выходите».

На пороге, куда он вступил, как на кочку — из топи, Эжен освободился от ноши и тут же заколотил в дверь что было силы, на отдышку оставив себе время, за которое раскатаются слуги в этот ранний, ещё сумеречный час. Что они, челядинцы, подумают, услышав грохот: что привезли дрова? или кто-то заблудился?... А сколько их там? может — всего-то старик-

лакей, кухарка и горничная...

— Здравствуйте! Я — кузен виконтессы, Растиньяк из Ангулема, — громко и напористо отрапортовался, не дав сонному слуге раскрыть рта, а Полина и Жорж так стремительно рванули вперёд, что свалили с ног несчастного — так легко завершился штурм. Эжен быстро закрыл дверь и с сыновне-секретарским расторопным почтением помог подняться Жаку, сидящему на ковре с выпученными глазами.

— Как вы смеете вторгаться в этот дом? — спросил тот, разглядывая Эжена, как китайскую вазу, но не обращая никакого внимания на ребяташек, уже скинувших шубки в один угол канапе и сидящих в другом, словно на вокзале.

— Простите Бога ради. Мы едем издалека, попали в снегопад, замёрзли и проголодались. Я — ничего, а вот мои дети...

Слуга задумался.

— Хорошо, вы можете отдохнуть и позавтракать у нас, но госпоже де Босеан ведь необязательно знать...

— Любезный друг, — то была уже третья маска, — вы не расслышали? Я родственник виконтессы, потомок старинного знатного рода и не расположен перекусывать в людской, чтоб потом убраться в чёрную дверь. Я приехал в гости к моей сестре.

— Госпожа ещё спит...

— Ладно. Вы пока покормите детей, а я покидаю тут снег что ли.

— Извините — ?...

— Ну, тропинки расчищу, а то у вас чёрт ногу сломит.

— Вы, конечно, очень обяжете, — замялся Жак, — Но, коль скоро вы дворянин...

— Я дворянин — уж можете не сомневаться! — но я не безрукий. А вам эта работа явно не по силам. Где у вас хозяйственные инструменты?

В чуланчике хранился в основном садовый инвентарь — всё миниатюрное и ажурное; немного простых столярных и уборочных орудий.

— Боюсь, вам будет трудно что-то подходящее найти...

— Да уж, проще сделать.

Эжен схватил грабли с самым большим черенком, выбрал на полке ящик, где нашёл ломик, молоток и гвозди; одним движением снял с палки железную гребёнку, другим разломал широкий медный совок, в который заметалась пыль с ковра; третьим согнул будущую лопату для своего удобства и насадил на грабельное древко, потом с двух ударов закрепил её двумя гвоздями и гордо показал своё изделие Жаку. «Да, рукастый малый,» — подумал слуга, а вслух пожелал удачи. «Не к чему, — улыбнулся Эжен, — Сугробы не отбиваются».

Виконтесса Клара проснулась поздно, позвонила горничной, подошла к окну, оглядела белый лист лужайки, исчёрканный голыми кустами, вздохнула о лете и вдруг отдёргнула тюль, вся припала к стеклу, стала тереть кружевным рукавом пеньюара морозный налёт: по центральной дорожке с широким копьём на плече бойко шагал герой самых знойных её сновидений. Он забыл про плащ, давно снял сюртук, обвязал его рукавами вокруг пояса, да как-то набекрень — один угол подола волочился, другой реял над белой дорожкой, на которой из-под каждого его лёгкого поступа вытаивало чёрное пятно. Он дышал густым паром и грыз снежный комушек, как грызут яблоко. Облетев взглядом фасад, он заметил в окне белую фигуру и радостно-простосердечно помахал рукой. Клара отпрянула за штору.

Нет, она, конечно, не узнала в этом величавом ухаре своего бедного дальнего

провинциального родича, наивного и настырного студентика...

Служанка вошла в тот момент, как он скрылся — ! — в парадной двери.

— В доме кто-то новый?... — спросила виконтесса, плохо владея голосом.

— Да, сударыня. Какой-то молодой кавалер. Назвался вашим кузеном. С ним двое детей: мальчик лет пяти и девочка постарше. Жак их кормит. А ваша милость скоро изволите завтракать?

— Скоро, — это означало *сразу, как только оденусь...*

На пересмотр, перемер всех платьев, на скупулёзный отбор украшений, на причёску и косметические процедуры ушло более полутора часов.

Эжен тем временем умывался на кухне.

— Посушить бы, — кивнул он Жаку из-под брызг и струек на свою мокрую рубашку.

— С вашего позволения, эту вещь самое время постирать.

— А в чём же мне ходить?

((Сменное бельё лежало в саквояже: Макс позаботился — но сам Эжен об этом забыл.))

Слуга чуть на выронил кувшин ему на голову, но, профессионал, быстро взял себя в руки:

— Позволю себе предложить вам мою свежую сорочку — у меня всегда с собой две запасных, — прибавил с лёгкой укоризной.

Эжен закутался в мягкий, тёплый ситец и почувствовал себя совершенно счастливым.

— Что вам будет угодно для восстановления сил?

— С чего вы взяли, что я обессилел? Ну, дайте глотнуть какого-нибудь отвара.

— Госпожа де Босеан не покупает кофею и чай пьёт только зелёный.

— Хоть оранжевый.

Вбежали дети:

— Эжен, пойдём играть на улицу!

Снег был чистый и влажный, а воздух по-весеннему тёплый, солнце играло облаками, как люди — снегом.

Служанка шнуровала корсет, а Клара смотрела сквозь занавеску, как не её дворе воздвигаются столбы из снежных шаров, потом какая-то арка над дорогой, которая рушится, смешав двух малышей и их опекуна (а ведь они могли и ушибиться), потом реставрируется, далее в конце дорожки начинает расти круглая башенка... Возвращаясь от своих трудов, строители сворачивают к ясеню, и таинственный родственник по очереди поднимает детей, чтоб те могли получше рассмотреть снегирей...

— Готово?

— Уж давно, сударыня.

Часы пробили одиннадцать. Жак одёрнул на себе ливрею и вытянулся у подножья лестницы: хозяйка вышла из своих покоев. Она надела бархатное платье баклажанного тона, скромно отделанное белым кружевом, из украшений выбрала фероньер с чёрной жемчужиной и под стать ему серьги. Эжен невольно вспомнил тамплиерское знамя, тем более, что Клара была черноглазой и чернобровой блондинкой. Над его летаргичным сердцем словно громко хлопнули в ладоши. Пока дама с царственной неспешностью спускалась при почтительном сопровождении камеристки — той бы шлейф нести — он признавал в госпоже де Босеан единственную, в кого он однажды влюбился, как все, легко, без мистики: во дни их первого знакомства его ещё ни озарял свет богооткровения, ни душила великая тьма...

— Барон де Растиньяк! — звучно объявил Жак, будто снимая с Эжена шапку-невидимку: до этого объявления Клара смотрела то мимо, то сквозь гостя.

— Ах! Вас и не узнать, — поцелуй руки; дети, непредставленные, а стало быть, незримые, поклонились без особого старания, как умели, — Вы очень возмужали. (- Эжен застенчиво шевельнул бровями —) А этот шрам — ... я слышала, подобными украшают себя радикальные байронисты... Что привело вас в этот затерянный уголок?

— Сударыня, позвольте познакомить вас с моими друзьями, виконтом и виконтессой де Трай: это — Жорж, это — Полина.

Клара помрачнела, даже заказалось смуглой:

— Сударь! Вам следует немедленно объясниться! Вы вторглись в мой дом без приглашения — так за каким оправданием!?

— Хорошо. Давайте только отпустим ребят отдохнуть и перекусить: они устали. Жак...

— Жак! Отведите детей... Позаботьтесь о них. Итак, — Клара полулегла в кресло, — Я вас слушаю.

Эжен дождался закрытия двери и присел на ближайший стул.

— Сударыня...

— Вы хоть понимаете, — нарочно перебила его опытная женщина, — что ваш визит меня компрометирует? Теперь все будут думать, что принимаю у себя мужчин!.. Вы спрашивали в городе, где я живу?

— Спросил у кого-то, но назвался вашим кузеном...

— Все любовники представляются кузенами!.. — Она вскочила и тут же вновь упала на свой трон, щёлкая веером.

— И все они ездят к своим дамам в обществе маленьких детей?

— А эти дети! — как вы их назвали? Кто их родители?

— Максим де Трай и Анастази де Ресто.

— Так они незаконнорожденные!?!...

— Незаконно — убийство, а рождение — дело праведное...

— Пусть. Что вам угодно от меня?

— Ваша догадка абсолютно верна.

— Чтоб они — остались здесь!?! Вы представляете, какие толки это вызовет!?

— Разве что глупые...

— Я понимаю, какое несчастье иметь подобных родителей, но разве трудно устроить их в какой-то пансион? Так ведь делается обычно...

— За пансион надо платить.

— Если хотите, я заплачу.

— А это не вызовет толков?

— Но вы же никому не скажете? — ?...

— А вдруг... Случайно...

— Это уже просто разбой!!..

— Если бы вы хоть на минуту вообразили, что такое эти заведения и как там обращаются с детьми, вы бы туда не отослали приبلудную собаку. Начать с того, что в один пансион не принимают мальчиков и девочек; их придётся разлучить, а они совсем ещё крохи... Вы же тут живёте одна в двухэтажном доме. Чем вы занимаетесь? Читаете, гуляете, вышиваете, едите и спите! А то сидите, глядя в потолок, и вздыхаете о своей горькой судьбе, о разбитом сердце!

— Сударь!.. — со слезами крикнула Клара.

— Меня зовут Эжен! Мы не в Париже!

— Жак!!

— В прежние века все влюблённые составляли как бы братство сострадания и помогали друг другу, не боясь даже многих жертв, ведь ничему так не учит любовь, как верному служению и самоотверженности. Чем вам не сестра Анастази де Ресто?

— Она разорила и свела в могилу мужа.

— Своего, не вашего. А вы, скажи вам ваш избранник: «Полмиллиона — или я стреляюсь!» — не пошли бы на воровство?

— ... Не знаю. Может быть... Наверное, мужчины правы, в глубине души не уважая женщин, ведь каждая из нас — потенциальная преступница... Мы лжём ради любви, мошенничаем, забываем последнее своё достоинство, предаём всё самое лучшее, чистое, что есть в нас, а потом удивляемся, что брошены, хотя кому нужна такая нравственная пустота...

— Вы звали, сударыня? — спросил от дверей Жак.

— Что? Нет-нет, ступайте. (- всхлип в платок —) Конечно, я ничем не лучше... И вы...

— Я полон почтения ко всем любящим, а к женщинам — вдвойне.

— Так почему вы говорили так жестоко?

— Потому что вы вели себя как враг любви и её творений; судили, как старый мелкопоместный ханжа, уже уморивший двух дочерей в монастыре, одну — в браке, и...

— Довольно! — в лицо виконтессе точно глянул предзакатный, сумрачно-алый свет, — Ну, хорошо, допустим, я возьму этих сироток... Но я ума не приложу, что с ними делать! Я никогда не была не только матерью, но даже старшей сестрой!..

— Заботьтесь, чтоб они были сыты, здоровы и не скучали — вот и вся премудрость.

— ... Мальчик ещё так мал... Ему не нужна кормилица?

— Нет. Вообще они ребята самостоятельные...

— С кем они жили прежде?

— Насколько я знаю, последнюю пару лет — с отцом.

— С Максимом де Траем!!?

— Другого у них нет.

Тут Жак дерзнул напомнить госпоже о стынувшем завтраке, и она увела Эжена в свою крошечную столовую. Там они обсуждали мелкие вопросы воспитания, вспомнили некоторых парижан. Клара выслушала некоторые столичные новости, найдя своего гостя великолепным рассказчиком, хотя и не совсем понимая, почему он выбирает такие известия как поимку герцогом де Ла-Рошем-Юго странного зверька, похожего на крысу, но так ловко вскарабкавшегося на осеннее-золотой клён на окраине Булонского леса, а потом вниз головой спустившегося к горстке тыквенных семечек, что даже неискущённый в биологии кавалер опознал белку, по какой-то причине начисто облысевшую; он приютил беднягу в песцовой муфте, с которой не расстанется даже в июне (хотя это уже, мягко говоря, устаревший аксессуар), доставшийся, говорят, ему от отца вместе с тростью, якобы выточенной из мамонтова бивня, а последний раз эту белку (Базиль — так её называли) видели в Опере: Ла-Рош-Юго напугал ею госпожу де Серизи. Дослушав о приключениях грызуна, Клара спросила, верен ли Эжен Дельфине де Нусинген. Он верен. Она вздохнула...

Вернулись дети. Эжен сказал им, что виконтесса приглашает их погостить. Оба малыша нахмурились. Они надеялись, что эта нудная особа откажется от них, и они продолжат весело жить с Эмилем, Береникой, Рафаэлем и Эженом, а в общем — сами себе

предоставленные.

— Если, — вымолвил Жорж, — она будет нас бить, я дождусь, когда она уснёт, и горло ей перережу.

Виконтесса побледнела, схватилось за корсаж.

— А не дожидаясь — слабо? — шутнул Эжен.

— Она взрослая, — ответил мальчик так, будто речь шла о драконе или гоблине, с которыми рыцарство неуместно.

— Бог мой! Такой маленький — и такой испорченный ребёнок! — воскликнула Клара.

— По-моему, условие в законном направлении, разве что зашедшее далековато, — вступился Эжен, — Не обижайте — и не будете обижены. Да?... Полина. В нашем багаже есть бумага и конверты, и ты пиши мне, пожалуйста, каждую неделю. Если две недели от тебя не будет вестей или мне что-то не понравится в очередном (а я тот ещё придира), я тотчас приеду...

— С папой, — зловеще потребовала девочка.

Напуганная виконтесса уговорила Эжена переночевать и вечером, пока дети осматривали дом, ещё долго с ним беседовала. Её постигло новое, пожалуй, тяжелейшее нравственное испытание: Эжен поведал ей, что родители Полины и Жоржа снова вместе и любовь их воскресает. Он думал: «Если раззавидуется явно, заберу ребят обратно, пусть тлеет одна в своей фальшивой морали». Она: «Хороша я буду теперь, если продолжу презирать людей, смогших победить и предрассудки, и нужду, и обиду, отстоять единственную истинную ценность!» — и Эжен снова восхищался ею:

— Дорогая госпожа, если вдруг так случится, что в вашей жизни появится новое чувство...

— Ах! Зачем? Я слишком уже знаю, к чему ведёт всё это, — с безудержным жеманством отвечала Клара, изгибаясь в своём гротескном кресле.

— Если перед вами возникнет возможность счастья, ваши друзья со всей душой помогут вам его достичь, а в неудаче — утешат и...

— О чём вы! Кто они — мои друзья? Вы и Максим де Трай? Благодарю покорно!

Глава СХ. В поисках зерна

— Наконец-то! Вон, гляди! — Джек указал вдаль — над горизонтом стояла яркая радуга, красным верхом отгоняя постылую тьму, синим нутром осеняя дневную лазурь.

Анна знала, что в земной природе такое невозможно, но эта дуга была не приятным оптическим обманом, а аркой небесных ворот. Проплывая под ней, леди-математик прикинула ширину: 30–40 метров, объём же исчислению не поддавался: великая лента с любого ракурса казалась плоской, словно проворачивалась перед глазами, она даже в зените не теряла семицветности. В новом море верхние полосы радуги сливались с зарёй, занявшей полгоризонта пурпурным и розовым туманом, а нижние уплывали в покинутую путешественниками ночь.

Проплыв ещё немного, Джек и Анна увидели берег, неприветливый и унылый, пустынно серый.

— Это — что? Это — Фит? Земля всех растений!?

— Ну, да.

Анна махнула рукой на очередное разочарование и отвернулась.

Лодка зашла в бухту, встала у неуклюжего причала, сложенного из гигантских трубчатых костей — кнехтами служили эпифазы особенно крупных, сваями воткнутых в жидкую грязь. Кроме джековой яхты, тут швартовались ещё четыре больших корабля. За причалом начинался порт из кошмарного сна: доки, подъёмные краны, решётки, вышки — всё костяное, и по всему ползают красные и чёрные муравьи — каторжники-вампиры и каторжники-люди; в глубине какие-то огромные машины мерно клюют землю носами ископаемых птицеящеров, толстыми и дырявыми. И кругом — ни пятнышка зелени.

— Джек! Мы заблудились! Это не может быть Фит! Это Новый Амстердам в Сахаре!

— Всё в порядке, мать. Мы на месте. Я сейчас найму ребят подсмолить нашу скорлупку, а ты ищи, что тебе надо, только не заблудись.

— Мне нужно дерево — семя дерева, а здесь — одни пески!

— Тебе только так кажется, — Джек усмехнулся, как тот, кто знает, но не хочет раскрывать утешительный секрет, — Здорово, кровопийцы! — крикнул он красноробым, катящим к кораблям тяжёлые бочки.

— Оживай поскорей! — ответил ему один из них, и Анна не поняла, привет это был или проклятье.

К компании троих траурных матросов, сидящих без дела у дока, Джек обратился более учтиво, но менее адекватно: «Бог в помощь!», после чего попросил их об услуге.

Анна осмотрелась внимательней и догадалась, что медоподобное вещество, которым покрывают днища всех судов, добывается на этой земле — его выкачивают из недр носатые машины, а в порту полно бочек и ими нагружают приставшие корабли. Значит, духи растений действительно собраны здесь, но в виде золотого сока, а человек, мечтавший о дереве в Валхалле, лишь по наивности решил, что здесь можно найти семена. Анна проглотила это заключение тяжелейшим вздохом и прошла бродить, разглядывая устройства и чужие труды. Устав, она села, прислонилась одной из сорока ног насоса. Тут к ней подошёл вампир — она как будто видела его на причале. Он был рослый и широкоплечий, голубоглазый и длиннокудрый, с короткой русой бородкой и в самой простой одежде.

— Красивый глаз — сказал, — А где другой оставила, сестра Вотана?

— Чья сестра?

— Есть хочешь?

— Смотря, чем угостишь.

В его кулаке что-то захрустело, он разжал ладонь и протянул Анне четыре лесных ореха среди раздавленных скорлупок.

— Что это!?

— Лещина.

— Откуда?

— Из-под ног.

Анна взгляделась в то, в чём увязали её босые ступни — и не нашла ни песчинки, то были зёрна всех видов, мизерные семена петуний, колокольчиков и безвестных луговых трав, нешелушёное просо, тёмные острые осыпи с зонтичных соцветий, злаковые, бобовые, чешуечные, крылатые, колючие, галькообразные...

— Иисусе! Это правда! Они все здесь! — Анна упала на колени, загребла, подняла к лицу, — Так вот, что значит *мертвствуют!* — Новым порывом повисла на шее у присевшего рядом вампира и поцеловала его в щёку, — Я не обману его надежду! А ты — тебя Сам Бог послал мне — помоги же сделать то, зачем я сюда пришла: найти древесное семя. Меня просил об этом один из полководцев Уалхаллы, европейский главнокомандующий — мы случайно встретились у Изумрудной Скрижали,... — в груди анниного духа не достало сил говорит дальше.

Вампир кивнул:

— Большое дело, — поднялся и ей подал руку, левую (в правой дожидались орехи), — Здесь лучше не искать: слишком натоптано, но и далеко идти не придётся, заберёмся на ближайший холм. Даст Бог, не застанет нас ясеневый дождь и оливковый град. На же, подкрепись.

— А как тебя зовут?

— Берингар из Ромрода.

— Меня — Анна, леди Байрон. Я живая; меня отправили сюда колдовством.

— Бывает.

— ... Я знаю — мне сказали — что означает цвет твоей одежды... Как ты стал таким?

— Видно, судьба распорядилась... Погиб в бою, встал в строй эйнхериев, сражался снова, был опять убит — и вдруг очнулся на дне того проклятого Чудского озера. Пришлось выбираться из доспехов, выплывать и жить дальше.

— Давно это было?

— О, да. Тогда в Вальхалле ещё пировали и старый Хильдебранд, и Сигеферт, и Виглаф, а Готфрид Бульонский едва разменял столетье своих истинных подвигов.

— Эти герои уже тогда подчинялись все кому-то одному, или каждый был сам по себе?

— Того, кто послал тебя сюда, я тоже видел, но он не считался предводителем, хотя был почитаем: даже берсеркиры ему кланялись.

За этими разговорами Берингар и Анна взобрались на гребень бархана. Ветеран Ледового побоища стал шарить в семенах, просеивать их сквозь пальцы, пока его спутница обозревала с высоты порт и машины, качающие из скважин вязкое золото.

— Посмотри-ка и выбери: это каштан — он красиво цветёт, но любит тепло; это клён — он быстро растёт, но хрупок и недолговечен; это дуб — он прочен и может стоять тысячу лет, но растёт чуть скорее пещерных зубов.

Анна открыла пробирку со своей кровью.

— Каштан сюда не влезет; клён не годится; дуб, на мой взгляд, больше подходит... стране мужества.

Она спрятала жёлудь в темноте пригоршней, и огорчилась, увидев сквозь щёлку голубое свечение:

— Нет, не подходит.

Вдруг подул ветер. Он принёс и прижал к анниной щеке семечко, окаймлённое коротким прозрачным крылышком.

— А это что? — сняла бережно, как живого мотылька.

— Даже не знаю. Может, какая-то заморская трава.

— У него нет ауры, и оно само меня нашло. Тому и быть, — осторожно опустила семя в сосуд, закупорила и попросила Берингара проводить её обратно в порт. Они пошли, беседуя о местных погодах: тополином снеге, хлебных, хвойных и кофейных дождях; о Духах Суда, о Валхалле и её обитателях.

Глава СХІ. Литературно-публицистическая интермедия

Париж, квартира Эжена.

Эмиль Ну, и на улицу Четырёх Ветров пришёл праздник — господин д'Артез сотворил нечто читабельное.

Рафаэль В смысле, ты осилил сам — мне не придётся?...

Эмиль Прикинь, Орас: влетает к нам этот бес Бисиу, маша книжкой: «Бомба! Настоящая бомба!». Я глянул, и чего-то увлёкся...

Рафаэль Слава Богу...

Орас Я к стыду своему ещё не добрался до неё, да и — странно — Даниэль как будто держит её в секрете. Черновик уничтожил, авторский экземпляр показал нам явно неохотно, и ведь его неуверенность оправдалась: Мишель раскритиковал повесть: нашёл в ней монархистские тенденции, нечто провокационное, способное обострить межсословный конфликт и уж никак не способствующее сплочению французского народа. Я слышал, там про какого-то преступника, совершившего убийство в детстве, на почве революционных настроений... И почему вдруг Даниэль взялся за такую тему?

Эмиль Ты мне лучше растолкуй, какого чёрта он зашифровал в заголовке имя нашего Эжена. Он знает его, что ли?

Орас По-моему, это так трудно — придумать имя, которого нет... А об Эжене Даниэль мог слышать от Люсьена, и, конечно, что-то нелicenseприятное.

Эмиль О, кстати — при Эжене бы не стал, а вам расскажу — намедни наткнулся у в шкафу на вырезку его фельетона — итс част терибул! «Тайна княгини де Кадиньян». Светская красавица решила превратить свои зубы не в метафорический, а в настоящий жемчуг и стала на ночь класть себе в рот живую устрицу, ну, чтоб бедная зверюшка по ходу источала там свой перламутр. По утрам обычно устрицы уже не было на месте — княгиня глотала её во сне, а зубы между прочим действительно стали как-то приятно поблёскивать. Но вот попался даме злокозненный моллюск, намертво присосавшийся ко внутренней стороне её щеки. Он щипал её за язык, мешал есть и говорить, половина лица княгини точно раздулось от флюса, и, в довершении бед, эта редкостная тварь в природе должна было производить чёрный жемчуг, так во что она превращала зубы — страшно подумать! В конце концов муж княгини пригласил знаменитого Деппена и тот вырезал эту адскую улитку из рта несчастной, а зубы у неё таки и почернели навсегда.

Орас И это называется блестящей, остроумной журналистикой!? Да, Деппен однажды оперировал знатную даму, страдавшую периоститом, но это не шутки! она едва не умерла от заражения крови!

Эмиль Лажа это голимая, друг мой Орас!..

Рафаэль Насколько я знаю, никакой княгини де Кадиньян не существует. Есть князь — отец герцога де Монфриньоза, но тот — вдовец. Возможно, автор пересказанной тобой сатиры имел в виду невестку князя, герцогиню Диану. А ещё я слышал о некой госпоже Карильяно — не на неё ли тут паронимический намёк?

Эмиль Ты лучше объясни, зачем, если не сдуру, пасквильничать о влиятельных особах, которые — пока ещё — ничего тебе плохого не сделали!

Глава СХІІ. О дроблении

Первым делом, вернувшись налегке в столицу, Эжен отправился с отчётом к Максу. Дверь была заперта, в ответ на стук приблизился с той стороны горький женский плач: — Кто там? — прорыдала Нази.

— Я, Эжен.

— Прости, я не могу тебе открыть: у меня связаны руки.

— Отойди.

— Не надо!

— ОТОЙДИ! — Нази услышала его голос так ясно, будто кричащий был уже в комнате, а Эжен понимал, с одной стороны, как дорога дверь, а с другой, — что всё равно сейчас что-нибудь разнесёт, так уж лучше... Ударил ногой — как чугунным тараном; от врезанного замка остались лишь воспоминания.

Нази сидела на полу, держа руки за спиной, её одежда — чёрный максов халат — наполовину промокла от слёз, стекавших на него, казалось, третий час.

— Что случилось? — прохрипел Эжен, не пытаясь снять верёвку из страха оторвать вместе с ней живые кости.

— Он ушёл!!!

— Куда!?

— В магазин, за едой...

— Давно?

— Не знаю!.. Минут десять...

— Ххоа! Ну, вы даёте!.. — бешенство схлынуло, и Эжен проворно освободил сестру от пут, усадил на новый диван. Она вытерла рукавами лицо, но не перестала плакать:

— Он ведь скоро вернётся?

— Ближайшая лавка в семи минутах...

— А!!! — вскочила и метнулась в объятия Макса, вошедшего тут. Он словно не заметил сокрушённой двери. Он явился не только без покупок, но и без сумки. На диван Нази вернулась, вися на шее у друга, трясь лицом о его губы, прижатая к его груди его ладонями.

— Я не дошёл, — в отчаянии проговорил он, — Не смог, заблудился. Эжен! Мы не ели больше суток! Сбегай ради Бога — достань хоть полбулки!

— Ладно.

— Только не торопись.

Такое безумство вызвало в Эжене уважение. Слетая по лестнице, он думал, что, если кто-то и войдёт вдруг в сломанную дверь и увидит любовников, то либо ослепнет, либо обретёт дар пророчества или ещё какую-нибудь благодать.

Обратно он нёс из недурного ресторана каких-то фаршированных кальмаров, кларет и сдобную косичку с маком.

Халат, промокший уже до подола, был теперь на Максe, а Нази пряталась под скатертью на диване; верёвка обвивалась вокруг её щиколоток. Оба сразу принялись за хлеб и вино. Наевшись тремя кусками и захмелев с одного стакана, Нази засмеялась и стыдливо отвернулась. В глаза Макса возвратился ум, и, всмотревшись в побратима, он нахмурился:

— Что с подбородком?

— Всё хорошо: кузина взяла малышей...

— Мне повторить вопрос?

— Чего?

— Откуда шрам?

— Да глупости. Какая тебе разница?

— Ответь, пожалуйста.

— Такая дурацкая история!.. (Какая же?)... Представляешь, нарвался у виконтессы на одного парня, который за ней ухлёстывает; принял меня за соперника, выхватил без предупреждения шпагу — придурок-то! Ну, к счастью, всё быстро улеглось.

— Он не настолько свеж.

— Кто?

— Шрам.

— Да на мне всё заживает махом.

— Кто был это парень? Как его зовут!

— Ъь...

— Не мог же ты забыть имя человека, пролившего твою кровь, а он — не представиться!

— Конечно, нет.

— Я — весь внимание!.. Я жду!!

— Гастон де Ньюэль. Его недавно выслали из Парижа по причине душевного расстройства.

— Ладно, — угрюмо бросил Макс, думая: вот, кого бессмысленно было бы пытаться, кто огорчит единую истину частоколом бесконечных выдумок...

— Чем собственно ты не доволен?

— Твоим враньём.

— А тебе очень хочется правды?

— Да.

— Правда не в том, кто меня порезал, а в том, что тебе не надо это знать, — вымолвил, глядя в пол, Эжен, — Если что-то ещё нужно — говори; нет — я пошёл.

Макс не ответил, и Эжен скрылся за скрипучим обломком.

Нази села, посмотрела на свои ноги, потом — на распечаленного друга, спросила тихо:

— Можно развязать?

— Конечно.

Оба чувствовали приход нерушимого суточного поста. Они словно наполнили своё жилище самыми редкими, изысканными, стойкими благовониями, но вот кто-то распахнул окно, впустил свежий воздух, и стало ясно, чем лучше всего дышать. Но Макс ещё держался за прошлую ночь:

— Расскажи, где ты была?

— На пляжу, усеянном белой полупрозрачной галькой, не твёрдой, а упругой, очень приятной на ощупь. Лежала я у самой воды, очень голубой; в ней плавало много солнц, и кто-то как бы ранил меня растущим от раза к разу оружием: сначала до середины живота, потом — почти до сердца, наконец — в самый мозг. Между ударами я вся сжималась что было сил, чтоб вытекло как можно больше крови, которая была уже не тёмно-красной, а сверкающе лазурной, как та вода. И я была так счастлива всем, что происходило!.. А что ты делал?

— Играл свечкой для именинного пирога, прилепленной к твоему младшему сердцу.

— И только?

— Нет, попутно.

— Макс, ну, чем он тебя так расстроил? Ты даже забыл про детей. И про разбитый замок...

— Ты видела его шрам?

— Он опасен?

— Он знаков. Есть одна недавняя, но уже развитая теория о том, что линия чакр (от темени до копчика) — это зона маркеров спиритуального расслоения. Самый основательный аргумент — вертикальная пигментная черта, обычно возникающая на животе беременной женщины перед самыми родами и после них, а также у грудных младенцев: она знаменует процесс копирования части материнской души в душу ребёнка и обратную связь.

— Как это может относиться к Эжену?

— Согласно этой теории, все отметины и углубления вдоль позвоночника или на лицевой медиане свидетельствуют о прошлых расслоениях души. Отчего это наблюдается у мужчин (а у нас подобные знаки встречаются даже чаще), объяснено было не сразу, но двух вариантов ответа не нашлось: мужская душа расслаивается в момент убийства. Мнения расходятся лишь насчёт того, только гибнущий ли, или только убийца, или же оба сразу подвержены этому... расколу. На мой взгляд, ни одна из трёх гипотез недоказуема, но последняя достаточно ужасна, чтоб быть частью вселенского закона.

— Почему ужасна? Этот закон поддерживает единство всего человечества, обращает врагов в братьев.

— На макроуровне — да, всё великолепно, но ведь есть ещё понятие индивидуальности, которое — ввиду описанной ситуации — неуклонно превращается в фикцию. Уже беллетристы пишут о неких *цельных* личностях, значит — есть и другие, раздробленные, эклектичные. Они непоследовательны, склонны дискутировать сами с собой, смотрят себя со стороны, чувствуют к себе любовь или ненависть — надо понимать, насколько это противоестественно!..

— Это и называется сознанием. Оно развивается — может быть, за счёт того, о чём ты рассказал...

— Так поступок Каина был возжжением священного огня — человеческого духа!?

— А что ещё мог сделать Бог для существ, нашедших такое применение тяжёлым предметам? Ты говоришь, как учёный, — а боишься, как суевер, и ведь не судьба всего человечества тебя волнует.

— Да, мне безразлично, что через двести лет шизофрения будет признана вариантом психической нормы. Меня беспокоит эженов шрам. Верней, даже не он сам, а та таинственность, которой окружены все обстоятельства его возникновения. Когда Эжен лежал с тифом, я пересёк его душу и не встретил ни одной преграды, а тут мне даже не удалось перейти границу, я натолкнулся на какую-то Китайскую стену!

— Может, ты слишком устал?...

— Я приложил достаточно усилий!.. Ну, да и пусть бы! Такой взбалмошный упрямец и могучий дух мог затвориться только из прихоти, но нет! ты слышала, как он сказал напоследок: «Правда не в том, кто меня ~~перезал~~...»! Можно было ждать любого глагола: ироничного, равнодушного — только не такого смертельно буквального, до преувеличения — словно его всего растерзали! И кто же это сделал!? Кого он воспринимает настолько всерьёз!? Кто ему важней, ... чем я!?...

Глава СХІІІ. Возвращение ножа

Теперь не только Дельфина могла прислать Эжену билет в Итальянскую Оперу. Собираясь, он взял с собой нож Франкессини.

Наверное, на следующий день три дюжины господ обратились к докторам, подозревая у себя вывих шеи — так все в фойе и на лестницах, и в галереях театра глазели на молодого человека со свежим шрамом на подбородке. Некоторые даже спотыкались... У самой двери в ложу госпожи де Нусинген Эжена нагнал управляющий, перепроверил билет и спросил паспорт. Эжен ответил, что недавно подвергся разбойному нападению, и документы похищены. Потом ему пришлось объясняться с Дельфиной. На ум взбрело сказать, что он дрался на дуэли. С кем? — С д'Ажудой-Пинто, разглашавшим подробности своего романа с госпожой де Босеан. Баронесса взмолилась, чтоб любимый был осторожней и миролюбивей.

— Спасибо за билет, — сказал ей Эжен.

— Какой?

— Сюда.

— Но я его тебе не покупала.

— Хм. А я подумал...

— А я-то решила, что ты наконец что-то сделал по своей воле и на свои деньги! — Дельфина надулась, хлопком о ладонь сложила веер, помолчала минуту и продолжила ещё сердитей, — Теперь ты сочтёшь меня злоюкой и ускачешь вон хоть к Карильянше!?

— Бог с тобой, милая, — кротко ответил Эжен, медленно, напряжённо, скрытно оглядывая зал по спирали: этажи лож, партер, снова ложи, — Ты добрее, чем заслуживает такой вертопрах, как я, но мне всё же придётся отойти, ведь если не ты, то кто-то другой назначил мне здесь встречу — надо разобраться.

Он встал вплотную к борту, воткнул в белый мрамор нож и синхронно движению своего взгляда поворачивал зеркало кривого клинка. Это был маяк, отражающий свет люстры. Теперь Эжен заманивал сам. Его не отвлекало пение и пёстрое хождение на сцене... Но вот в одной из лож того же яруса кто-то быстро выскользнул за дверь. «Я скоро вернусь». Отстав на четверть секунды, Эжен вышел навстречу по гулкому, тусклому полузакольцованному коридору. Впереди светился буфет — клумба крошечных белых столиков и стульев с ажурными спинками в абсиде над лестницей. К крайнему, ближнему для Эжена месту как раз подходил его преследователь. Оба остановились. Серый Жан, не сводя глаз с противника, сел. Эжен безмолвно присоседился. Положение было коварно выгодно для обзора: каждый видел всё за спиной у другого. Дождались, когда мальчик-прислужник поставит на стол фарфоровую лампу, спросит, что желают господа, и удалится без заказа, но с крупной графской чаевой монетой...

— Никогда не думал, что оружие может быть слабым местом, — промолвил Эжен, тихо выкладывая на стол нож, прикрывая его ладонью; глаза англичанина наполняли влажные блики, его губы ещё не зажили — Это чей-то подарок?

— Трофей... от поражения...

— Я пришёл, чтоб вернуть его... Я не хотел оскорблять его и вас — просто защищался, как мог... Но прежде, чем вы его получите,... поклянитесь, что не будете больше пытаться убить или ранить меня, — Эжен поднял нож остриём вниз, чуть протянул собеседнику.

— Сначала вы.

— Я клянусь, — без колебаний сказал Эжен и поцеловал то место, где стальное полотно входило в перламутровую рукоятку. Тотчас враг схватил его за руку и приник губами с другой стороны ножа. Эжен отпрянул. Он не сразу понял, что делает Франкессини, только почувствовал, как мгновенно накалилась сталь... Нож остался у графа.

— И я клянусь, — в голосе маньяка уркнула сытость, но покой не задержался в нём, — ... Он больше не складывается!

— Должно быть, пуля повредила...

— Если это знак, то знак недобрый.

— Верность клятве ни меня, ни вас не сделает бессмертным.

— ... Вам интересен его прежний владелец?

— Да, пожалуй.

— Он мог бы умереть так, как хотите вы — чтоб спасти этим много жизней. Я написал ему, что, если он не явится ко мне и не позволит с ним покончить, то я буду убивать самых красивых, молодых и одарённых людей на своём пути — всех, каких встречу, в утешение себе, если угодно... Или в его честь... Два года прошло. Погибло двадцать человек или больше...

Эжен почувствовал немоту в коленях; он только теперь понял, кто перед ним.

— Вы уверены, что письмо дошло?

— Конечно. Но свою жизнь он ценит выше остальных. Ваша мечта для него — ничто.

— Я думаю, — в Эжене забились злоба, — он не пришёл к вам, просто зная, что всё равно не остановит вас. Вы продолжите убивать, потому что вам это нравится. А он, живя, хоть отомстит за тех несчастных: вы не получите, чего хотите, и будете маяться этим без конца!

В светлеющих зелёных глазах дрожали зрачки, но англичанин владел собой лучше француза:

— Вы заметно продвинулись в теории мести. Может, разгадали вы и душу далёкого вам человека, но я в последний раз говорю и думаю о нём; он больше мне не нужен.

— Вижу, предательство — вторая ваша страсть! Если не первая.

— Самый непостижимый для меня упрёк. В ответ скажу то, что, по всей видимости, непонятно вам: я любил его — так, что не пережил бы на пять минут, и это он должен был знать...

— Но так зачем вам понадобилась его смерть!?

— Я же говорил, что вы не поймёте.

— ... Расскажите о нём ещё. Что в нём особенного?

— Трудно сказать что-то определённое о том, кто ещё жив. Мы не так уж часто встречались... Пожалуй, лучше всего я изучил его страхи. Он боится быть смешным и отвергнутым;

заболеть, подурнеть и остаться без денег;

забыть, что было вчера, и чем начался сегодняшней день;

попасть в плен;

боится бессонницы и снов;

чёрного цвета;

среды и воскресения;

новых людей и мест;

толпы и одиночества;

женщин;
дельфинов;
сверчков и кузнечиков;
священников;
числа 13;
литературных критиков;
зрителей в театре;
зубных и прочих врачей;
смерти любимых, особенно детей (у него три дочери);
Бога в том смысле, каковой описал известный публицист Блонде в статье «Теофобия»;
темноты и тишины;
яркого света;
любви;
холода... И при этом никто не назвал бы его трусом... А вы чего-нибудь боитесь?

— Греха и бесчестия.

— Ну, тогда я за вас спокоен, — ядовито усмехнулся граф.

— Сам не дёргаюсь.

— ... А как вам понравится, если теперь я буду убивать вам во славу?

Эжен почувствовал, как мокнут спина, подмышки, лоб; в горле словно застрял комок шерсти...

— Зачем!?! Я же от вас не прячусь, — возразил тревожно и бессильно, но, видно, собеседнику хотелось лишь сбить с него немного спеси:

— Да, действительно... Потом лишать вас жизни сейчас так же странно, как срезать розу, чей бутон зелен и меньше шиповничной ягоды, — теперь он говорил почти нежно.

— Может, всё-таки объясните, зачем вам нужно убивать меня или того, у кого забрали кинжал? Есть же в этом какой-то смысл!

— ... Вы знаете, что такое...?

— Нет.

— Постойте, я забыл слово... Какое-то географическое название...

— ... Скоро антракт. Давайте разойдёмся. Когда вспомните, найдёте меня запросто.

— Подождём. Не искушайте.

Эжен вообразил, как незапамятный нож слёта вонзается ему под левую лопатку.

— Ладно.

Замолчали. Франкессини был так печален, что эженов гнев осыпался. Да, маньяк опаснее обычного преступника: для него вся жизнь в его злодеяниях — но и жалости он достоин больше других: ему нет никакой корысти, он не выбирал себе такой путь... Порой он кажется благородным человеком; вот сейчас — пытается защитить жизнь, на которую сам же посягает...

— ... Не вспомнили ваше слово?

— Нет... Это не проблема. Я нашёл его в одной книге — и снова найду.

— ... Рассказать вам какой-нибудь сон?

— Сон? — удивился граф.

— Ну, не хаить же нам свет...

— Извините, я просто не ожидал... С удовольствием послушаю.

— Вообразите: красиво разрушенный город, затопленный быстрыми, скачущими по

камням потоками; дома превращены в фонтаны: из каждого окна стеклянной лентой свисает вода; она оглаживает купола и колокольни храмов, где-то холодная, а где-то горячая (над ней клубится пар); где-то сыпет частый дождь — а сделаешь шаг в сторону, и его уже нет; между стенами, на площадях-озёрах нависают большие и маленькие мосты и арки радуг. Где вода потише, плещутся большие рыбы; стаями летают птицы; крыши поросли камышом...

Тут коридоры зашумели, словно по ним тоже хлынула с обеих сторон вода. Франкессини без предупреждения встал, перешёл за отдалённый столик, жестом позвал мальчика... Тут Эжен потерял его из виду: буфет затолпили.

Дельфина не дожидалась своего кавалера в ложе, не стала досматривать спектакль. До кареты её проводил Каналис, вечно озабоченный маскировкой своей любви к особе, чьё имя было нетрудно вычислить вычитанием из суммы парижских дам всех, за кем он публично ухаживал.

«Обезноженный», — сказал себе Эжен. Он действительно чувствовал слабость, незащитность, неполноценность — и не находил другой причины, кроме разлуки с кинжалом. «Почему я всегда с пустыми руками! Даже трость не могу не забыть!». Но он знал и оправдание: «Бояться, — говорил Видок, — надо не столько чужого, сколько своего оружия. Чужое может вас ранить или убить, а собственное непременно будет обольщать и развращать, поработать вас, как хитрая блудница... Вы знаете законы, и преступник — знает; а оно — нет.

Глава CXIV. Анна и Анастаси

Анна больше не спешила. Её пояс в крошечной темноте проглядывал серыми жилками и синими пятнами, как лабрадорский камень, а пряжка тускло, но ровно золотилась. Джек использовал навигационную планшетку как фонарь, поправляя снасти, и бормотал:

— Ничего-ничего, мы уже близко.

— Ты это повторяешь вторые сутки.

— И правильно делаю. Это у вас там: чем дольше звучит — тем бессмысленней и лживей, а здесь пребывает правда, и сейчас я честнее, чем час назад... Да вон, уже виднеется.

Нос лодки чёрным клином врезался в тёмно-лазурный столб с горизонта. Анна с наслаждением взгляделась в этот сильнееющий свет, но и сердце её духа забилося тревожно:

— Это уже оно?

— Ага! Моё любимое место, и самое дальнее, куда я добирался: атолл Возвращения, — пощёлкал по краям планшетки, — справа от нас в четверти мили что-то вроде шхуны, — поискал в подозрительной трубе, — Ага, вот она. Ничего, не врежемся. Но нужно быть внимательней: сюда идёт большинство судов, и это при том, что тут даже порта нет. Своих красных ты тут точно не встретишь, вместо них здесь работают святые угодники. Надо будет там спросить, как нам плыть дальше.

Анна вздохнула: это ещё не последний причал...

Действительно, ничего похожего на рукотворную пристань, но естественная показалась куда удобней: весь берег походил на обод неоглядного зубчатого колеса, в пазы которого очень удобно было войти и тяжёлому грузовому кораблю, и лёгкому ботику; главное — найти свободное место. Что двигало лодку, Анна не понимала: стоял такой штиль, что ни один из сотен тысяч парусов, ни одна из миллиона цепей не могли ни шелохнуться, ни звякнуть. Людей вовсе не видно. Слышалось только торопливое цоканье козлоногих, снующих туда-сюда по палубам. Выбравшись на сушу, Анна на первом же шагу упала: так её ноги отвыкли от движения. Берег был сплошь покрыт мягкими и гладкими наростами, вроде древесных грибов, только совершенно округлых, наполовину сплюснутых, примерно одинаковых по размеру и чистых своей белизной. Они плотно держались друг за друга, так что путешественница не смогла взять один, что рассмотреть со всех сторон.

Джек оставил сапоги в лодке, засучил штанины и на цыпочках прошёл мимо пассажирки, оглянувшись: «Ну, идём что ли!». Анна поднялась.

От чёрного океана до голубой лагуны не более ста шагов. Суша однообразна, но не безжизненная. Прямо перед анниной ногой за полминуты вырос новый гриб. Она не стала на него наступать...

Светлые люди носили от кораблей ко внутреннему водоёму мохнатые зелёные шары-корзинки — Анна видела такие в Идене — и возвращались с пустыми руками. Очевидно, сосуды с заключёнными в них младенцами, готовыми к новой жизни на земле, опускают в нежно сияющую небесную влагу, чтоб со временем оттуда взлетела и унеслась вверх монада — дух духа. Бессчетный рой живых звёзд, золотой снег, идущий наоборот, в далёкую огромную синюю тучу, всю в переливах розовых зарниц, — он и был столбом света, видимым с горизонта. «Всё это новые люди, — думала Анна, вновь присев, — Совсем недавно моя Ада была здесь».

— Джек, ты не знаешь, в какой момент любая из этих искр достигает того мира? в самый миг зачатия? или когда ребёнок рождается? или когда он впервые шевелится в утробе? или с первым ударом его сердца?

— Это ты, мать, лучше нас должна знать.

«Наверное, последняя догадка верней других: механизм автономной жизни запускается энергией монады...».

— ... Куда мы идём? Почему ты не спросишь любого встречного?

— Любого — нельзя. Надо найти кого-то одного. Видишь, там что-то светится.

— Да тут всё светится! Я едва могу раскрыть глаза!..

Джек взял спутницу за руку и потащил за собой. Не то что бы вскоре, но в конце концов они подошли к женщине, сидящей у голубого берега. Её окружало такое зарево, что трудно было понять, одета она или нага, темы или русы её волосы, длинны ли они, коротки ли, или их вовсе нет; на голове её была видна лишь корона из пяти лучей. Джек опустился на колени перед ней, но не раболепно, а так, как садятся китайцы в гостях у родителей, и заговорил:

— Госпожа, я — безумный моряк и грешник, а это — живая паломница, обманщица и изменница, которая ищет дорогу к Пресвятой Богородице. Не поможешь ли своему жалкому подобию?

Лучезарная казалась растерянной, а Анна успела вознегодовать:

— А почему ты сидишь, когда другие работают?

— Я не знаю, что мне делать, — ответила, — И сил у меня мало от потери крови. Простите, вряд ли я смогу вам помочь. Я нигде не бываю тут, кроме этого места, и только изредка... Я тоже ещё жива...

— Но ты ведь не вампир?

— Нет, Боже сохрани!

— Как же ты здесь очутилась?

— ... Мой друг ушёл купить газет и еды, а когда его нет рядом, земля невыносима...

Анна увидела слёзное умиление на лице зеленоглазого хама и рассвирепела:

— А что, если бы твой друг стал твоим мужем?...

— Мы к этому готовимся...

— И, став им, он отвёл тебе спальню в самом далёком углу дома и являлся туда в третьем часу ночи, в грязных сапогах, в сопровождении собак и пьяный в стельку? Впрочем, пить он начинал бы ещё с утра, в ответ на твои протесты посылая тебя к чёрту. Что, если бы ты, желая сказать ему два слова, попросить, спросить о чём-нибудь, с порога слышала: «Уходите, вы мне не нужны». Что, если бы он в присутствии гостей со злорадством рассказал тебе, как, ходя в женихах, спал с твоей замужней сестрой, кружил головы модницам, озолачивал проституток и любил кого угодно, даже мужчин, только не тебя!?!...

— Да прекрати же! — взвыл Джек, но было поздно: свет вокруг женщины превратился в чёрные огонь, в котором она сгорала с отчаянным криком, проваливаясь сквозь камни. Всё закончилось быстро, последний клочок черноты взвился и растаял, а на месте кошмара прозяла дыра, в которой колыхались страшные воспоминания, выдувая тяжёлые пузыри. Анне показалось, что вся кожа её духа покрылась льдом. Она никак не ожидала такого разрушения, но теперь вспомнила, кто она, — дух зла.

«Ведьма!! — заорал Джек, хватая её за волосы и скидывая на плечо, — Я отправлю тебя, куда надо!» — и побежал, гнясь под ношей, к морю. Анна не пыталась вырваться, согласная на последнюю смерть, уже словно чувствуя внутри себя всё зло земли. Но

сумасшедший капитан пал замертво в пяти шагах от океана: Дух Правды не позволил Джеку стать убийцей.

Анна встала, подумала, не прыгнуть ли самой;... вспомнила и сняла с шеи пробирку с кровью и семечком, надела на шею своему нечастному спутнику;... подумала ещё и побрела искать лодку. Из под её огрузневших ног жемчужная галька тихо взрывалась пеплом, как созревшие грибы-дождевики. Нашла, забралась, выбросила на берег навигационный прибор, от борта отцепила якорь, оттолкнулась веслом и его метнула, как копье, — оно вонзилось в берег. Села ближе к носу, отвернулась, чтоб не видеть больше никакого света и наедине со слезами, никого не мучая, не утруждая, не губя, дожидаться своего конца.

Глава СХV. Ссора

Вопли Нази Макс услышал уже на четвёртом затаже, на пятом он потерял сумку и трость, на шестом — проклял себя и слесаря за отремонтированный замок, в прихожей — садонулся плечом о вешалку, в спальне — не понял, что происходит с подругой, быстро извлёк из её промежности витуую свечу, не знавшую огня, принялся выпутывать ноги из самодельных верёвок. Освободившимися руками Нази тут же впилаь ему в голову, коленями — опрокинула на пол, ударила затылком о крашеную доску.

В этот миг в квартиру вбежали соседи, вооружённые кочергами, скалками и сковородками — три женщины и один мужчина. Заметив их, Нази ослабила хватку, а Макс двенадцатый раз спросил себя, не может ли всё это быть сном.

Вторженцы тоже замешались ввиду совсем неожиданной сцены.

— Кажется, милочка, вы сами справляетесь, — сказала наконец их предводительница и развернула свой отряд к выходу.

— Но в полицию мы всё-таки напишем, — заявил уже с порога сосед.

Нази перенесла ладони к лицу, низко согнулась и заплакала сквозь смех, соскальзывая на максов живот.

— Прости меня, — молвил Макс.

— Конечно! Это ты можешь повторять до бесконечности!.. Я знаю, зачем я тебе! потому что больше никто, ни одна, даже самая прожжёная шлюха, ни за какие деньги не потерпит твоих издевательств! И я ещё должна идти с тобой в церковь!? Да я раньше сдохну!.. Детей у меня отнял!.. Книжек не даёт, голодом морит! И *прости!*..

— Поль де Манервиль узнал, в каком пансионе содержится твой Эрнест. Это в шести часах езды от Парижа. Дилижанс отправляется в одиннадцать, в половине первого и в три.

— Манервиль?... Почему он?

— Случайно подвернулся позавчера на улице. Долго он копался, но зато хоть какой-то просвет — в его бесполезной жизни. Почти уверен, что ему было интересно.

— Он запомнит?

— Нет, зачем...

— ... Я никуда сейчас не хочу. А Эрнест — как я посмотрю ему в глаза!..

— На первый раз можно просто обследовать заведение, познакомиться с начальством и оставить ему кое-какие распоряжения.

— Это по твоей части.

— Отныне я всюду буду брать тебя с собой.

— Я тебе не палка и не чемодан.

— Скорей уж я тебе: ведь мне придётся нести вещи и защищать нас при случае.

— Лучше вспомни, что соседи собрались жаловаться на нас полиции... Интересно, нас просто выкинут на улицу, или сначала заберут в участок.

Под это любопытствование Нази перебралась на кровать, что позволило Максy подняться, снять уличный плащ, отряхнуть его, повесить на бамбуковые плечики и убрать в платяной шкаф, невозмутимо рассуждая:

— Если нас и потревожат так называемые стражи порядка, то не сегодня: не успеется. Выгнать отсюда нас можно только через суд, поскольку я собственник жилья. С нас могут попытаться взять штраф за какое-нибудь нарушение общественного спокойствия. Что ж,

пусть приходят, и чем больше их будет, тем веселей.

— Прекрати.

— Ну, ладно. Я собирался только завтра сообщить тебе об этом... Помнишь аптеку, которую ты видела из окон отцовского дома, куда ходила за лекарствами для матери? Сегодня её хозяин, господин Трюфо-младший, переносит свой business куда-то к Булонскому лесу...

— Ты хоть сколько-нибудь ему заплатил?

— Я купил ему трёхкомнатную квартиру на первом этаже и заранее оплатил переезд: носильщиков, транспорт... Что с тобой?

— ... Там была женщина в сером платье и с белым глазом. Она сказала, что в браке любовь невозможна... Многие думают, что именно у них всё будет иначе, но у всех повторяется одно и то же: ссоры, обиды, усталость друг от друга...

— Не нужно видеть в браке собственное и чужое перерождение, коренное переустройство жизни. Это формальность, вроде фасона шляпы или цвета перчаток. Будь я шалопаем, как Эмиль, я бы и не предложил тебе обвенчаться, но ведь у нас ещё двое детей, их фамилия не должна вызывать сомнений. В качестве замужней дамы ты сможешь вернуть себе право опеки над Эрнестом. Я не думаю, что стану ему плохим отчимом...

— А новых детей у нас не будет?

— ... Я бы не хотел.

— ... Ты что-нибудь принёс на завтрак?

— ... Да, но... рассорил на лестнице. Искать уже нет смысла.

— Это невыносимо, — снова слёзы, — ... Переедем — я сама буду ходить на рынок. А ты — готовить.

Так они помирились, долго простояли обнявшись, потом собрались и пошли в ресторан.

Вернувшись, Макс убрал всё со стола в гостиную, устелил его вдвое сложенной диванной попоной, оторвал рукав от лучшей из трёх своих рубашек, вымочил его в смеси вина и мёда, и Нази сама затолкала сладкий шёлковый ком себе в рот...

Глава CXVI. Люксембургский сад

Даниэль получил от Фино семьсот франков, и ему было стыдно со всех сторон: он разбогател (в глазах своего вечноголодного содружества), опубликовав чужой болезненный вымысел у издателя с самой дурной репутацией. Теперь его главным желанием стало скорейшее избавление от этих денег. Под конец дня собрания, проводив всех друзей, писатель задержал Ораса под предлогом своей больной спины, но, едва на лестнице смолк топот, признался во всём и спросил, кому бы отнести злополучный гонорар, чтобы деньги точно пошли на доброе, полезное, а лучше всего жизнеспасительное дело, и Орас, от которого ждали фразы типа *дай их мне*, ответил, чуть заминаясь:

— Есть у меня один знакомый... Странный тип. Он на свои средства содержит бесплатный приют для бездомных...

— Ты мог бы устроить мне с ним встречу — но только так, чтоб она выглядела случайной?

— Как это?

— Подскажи, где я мог бы его найти.

— Давай я лучше передам ему, что анонимный доброхот собирается пожертвовать ему неплохую сумму, если он придёт — ...?

— ... Завтра... ровно в полдень к главным воротам Люксембургского сада.

— Договорились.

— Как я его узнаю?

— Он высокий, худощавый, ... ещё не старый; волосы чёрные, лицо бледное, узкое...; на подбородке — вертикальный шрам.

— А имя его ты мне назовёшь?

— ... Все зовут его просто *Эжен*.

День свидания выдался такой, что деревья плакали от счастья, а воробьи и синицы, весенне щебеча, плескались в голубых и сияющих лужах. Но Даниэль пришёл к своему излюбленному парку в тягостном смущении, досадуя, что пришлось оторваться от интересной книги.

— А вот и полдень, — весело сообщил ему вдруг кто-то, стоящий шагах в пяти.

Писатель увидел человека, не просто подпадающего под бьяншоново описание, а перекикивающего его своим видом: вместо нестарого, он казался очень молодым, а шрам был настолько свеж и бросок, что Орасу следовало бы назвать его раной или сказать о недавно рассечённом надвое подбородке.

— Да, наверное, — пробормотал Даниэль, не имеющий часов.

— Вы ждёте кого-то? — Не меня?

— Вас зовут Эжен?

— Ну, да.

«Какими же словами рисовал ему Орас мой портрет: жидкие тонкие волосы магнитятся к долговязому лбу, длинный нос на квадратном лице, тонкие губы, карие глаза навывкате?...»

— И вы пришли на встречу с неизвестным благотворителем?

— Вроде того.

Даниэлю пора была уже узнать своего ночного трагика, но улыбка совершенно изменила голос и лицо Эжена, да и солнце наложило свою маску.

— Я ещё ничего не решил, — загрузил впервые в жизни.

— И не решите, пока у вас голова занята не-пойми-чем.

— Что вы, сударь, обо мне знаете?

— Вы книжник, и, думаю, сейчас, ваши мозги пережевывают ворох каких-то цитат.

— Не каких-то... Из «Лаокоона» Лессинга...

— Там про что?

— Это трактат об искусстве.

— И что же искусство? — участливо, но беззаботно спросил Эжен; его вопрос показался писателю наивным до невнятности, дикарским; в то же время подворачивался долгожданный случай поговорит о творчестве — вообще и своём.

— Искусство,... в моём понимании, — сгусток природы, — начал он, подходя к собеседнику.

— Смотрите, — перебил тот и указал на голубей, гуляющих меж луж, — вон сгустки природы, да и то разбавленные городскими отбросами.

— Я разумею природу не как материю, а как принцип.

— Значит, сгусток принципа?...

— Вы, как отъявленный софист, коверкаете мои слова и доводите до абсурда ещё не выраженные мысли!

— Никакого абсурда. Сгусток принципа — это фанатизм.

— Но принцип природы... Я хотел сказать... Понимаете ли, фанатизм субъективен и... Я говорил о законе природы, который есть закон тотальной креативности, а искусство — это высшая форма созидания, концентрированное отображение миропорядка.

— Хорошо, если так, — доверчиво молвил Эжен.

Они вступили на парковую дорогу.

— Но в этом представлении чего-то не хватает, и знаете чего? — того, о чём упомянули вы... Живописец часами, днями бьётся над одним оттенком, его зрительная мысль полна им, но ей сопротивляются какие-то жалкие порошки и пасты, непоколебимые в своей монохромности. Я... Литература... Моя материя — язык. Могу ли я, вмещая в творческом сознании целый мир, огромный, динамичный, удивительно многообразный, воплотить его в слове!?!... Не знаю... Вчера вечером я один шёл среди этих деревьев, и вдруг над моей головой, прямо над её мозговой межой пролетела какая-то птица, низко-низко. Я пытался подобрать глагол к шуму её крыльев, перебрал все звуковые предикаты, но ни один даже приблизительно не передавал того, что слышало моё ухо...

— Ничего странного, ведь все птицы летают по-разному: грач вторит крыльями гулу тёплого слабого ветра в сосновой кроне; плеск воробьиных напомнит всхрапывание новорожденного ослёнка; голубиные смеются старушечьи-елейно; сова летит, как клочок погрозового облака; лёт сокола поевуч, как лёт стрелы; когда срываются в небо врановая стая, слышен рукохлоп мужчин на стадионе; голубиные стаи рукоплещут мягче, как женщины в театре; свиристели — так смешно! — летят вблизи, как нетопыри с бубенцами, и таким большим, тесным роем, что издали их можно принять за пчёл...

— Признайтесь! — вы тоже пишете?

— Зачем? Говорить гораздо проще и быстрее.

— Но у вас талант!

— Просто, если бы я читал вашу повесть, с меня было бы достаточно фразы *пролетела сорока* или *галка*. Мир не надо воплощать: это уже давно сделал Господь Всевышний. Нам

остаётся лишь рассказывать друг другу о чём-то интересном, хоть письменно, хоть устно...

— Ах! (- Даниэль подумал, что едва ли отличит галку от сороки —)... Значит, вы считаете описания — лишними в литературе?

— Да нет, это ещё терпимо, а вот умствования...

— В смысле, рассуждения?

— Судите сами, как называется вот это: *политик отличается от врача тем-то и тем-то; торговец, как и полководец — то-то и то-то; имярек, как всякий пекарь, мечтает о том-то и боится того-то*; или вот: *госпожа такая-то была женщина*. Ей-Богу — так и написано! Чёрт возьми, неужели кто-то бы не догадался!? Бедные наши сёстры! Им писатели залезли в самую печёнку: *женщина героична, когда...*

женщина не простит одного и стерпит другое

женщина видит и слышит по-особому

женщина нуждается в том-то и том-то, и том-то

женщина беспощадна, если...

женщина уступает лишь в том случае...

женщина любит при условии...

женщина прекрасна благодаря тому, что...

женщина набожна до тех пор, пока...

женщина страдает из-за того что...

женщине дорого то...

женщина всегда...

женщина никогда...

и ещё сорок раз *женщина!*.. В одной очень старой книге я наткнулся на такую историю: *Принесла Монгфинд брату чащу с ядом.*

«Не притронусь я к ней, — сказал тут Кримтан, — если не выпьешь ты первой».

Отпила из той чаши Монгфинд,

а за ней отпил Кримтан.

И случилось так, что испустила Монгфинд дух

в ночь под Самайн. ... А почему она так люто возненавидела брата, что убила его ценой собственной жизни, я так и не узнал, и эти скудные слова теперь буду помнить всю жизнь, мучась ими,... как вы — шумом птичьих крыльев.

— Если вас не устраивает современная литература, — саркастически отвечал Даниэль (ему как раз особенно нравились романские рассуждения о женщинах), — покажите же нам всем, как надо писать. На этом поприще можно стяжать славу равную славе великих героев, мудрецов, стать властителем умов!..

— Хороший ум — сам себе властитель, а властвовать над дураками не ахти-какая почесть.

— Позвольте наконец ближе к делу! Какое применение вы нашли бы внезапно обрётённым... шестистам франкам?

— Запасся бы дровами до лета, купил пару новых рубашек, тёплую обувь, писчей бумаги пачек пять, сотню восковых свечек, и у меня бы ещё осталось немного на пирушку для друзей.

— Знаете, у меня есть эти деньги, и я собирался отдать их вам, но так, как вы спланировали, я и сам их прекрасно потрачу!

— В добрый час.

— Честь имею.

Даниэль развернулся и пошёл было прочь, но тотчас догнал Эжена:

— Что вы говорили про бумагу? На что вам столько?

— Мне — ни на что. Я решил, что вы получили неожиданные деньги, но не знаете, куда их деть, и позволил себе подсказать...

— Вы слишком много себе позволяете! Ничего не зная обо мне, прикидываете мои нужды!..

— Я точно знаю, что вы предпочитаете углю берёзу, а салу — воск; живёте почти на чердаке за дверью, обитой жестью...

— Не ждал я от него такого!

— От кого?

— От Ораса Бьяншона! Не думал, что он окажется таким болтуном! — Ведь это он порассказал вам обо мне?...

— Нет, я сам всё видел — я был у вас дома.

— Когда!? — Даниэль вдруг заподозрил...

— Да недавно как-то, ночью. Вы сами меня привели к себе, а я...

— Так это были вы?!!

— Простите, я тогда, конечно, зря, но вот ведь,... я ведь,... — бормочущие это губы всё ещё спокойно улыбались.

— Вы мне лгали! — я это быстро понял!

— Ну, и хорошо, что быстро.

— Ради чего всё это было?

— Сам не знаю.

— Как ваше полное имя?

— Эжен, барон де Растиньяк.

У Даниэля побагровело в глазах.

— ... Мне очень жаль,... что я не взял с собой тех денег: хотел сперва проверить, достойны ли вы их, — но теперь, когда мне... посчастливилось встретить именно того, кто сочинил записанную мной повесть, я просто обязан вернуть гонорар истинному автору, хоть он и пустит его на ветер,... или вы действительно содержите приют, как думает Бьяншон?

— Я соержу приют и беспроцентную ссудную кассу, безвозмездно снабжаю журналистов светскими новостями, иногда подкармливаю собак и птиц и не понимаю, почему вы считаете меня плохим человеком.

— Вы знаете, в чём ваша сила: вам легко и весело ломать чужие жизненные орбиты. Да, вы можете облагодетельствовать бедняка, а можете — сбить с ног полного надежд талантливого юношу, которому оставался один шаг до исполнения мечты — и всё так же бескорыстно, только для своей забавы!..

— Вы о ком это? — крикнул Эжен, не нуждаясь в ответе — теперь для него небо стало бурым.

— О Люсьене Шардоне. Возможно, вы его уже не помните. Ваш земляк, младший сверстник, которого вы сделали изгоем высшего общества...

Дальнейшего Эжен уже не слышал: его словно смело ветром, более холодным и неумолимым, чем в ночь на седьмое декабря; его шатало от края к краю дорожки — так убегают под обстрелом. Деревья виделись ему чёрно-рыжим дождём. Он прижимал к груди

руки: рѣбра словно выколачивало изнутри тыловиной топора.

Глава CXVII. История маркиза де Ронкероля

Под Новым мостом камни были седые от инея, в подножье подпоры забился снег. Эжен сгрёб его, втёр в лицо, в шею, в затылок, запрокинул голову — наконец-то ему удалось глубокий вдох...

На своде укрытия беспорядочно мохрилась ледяная чешуя, словно миллиард мух-златоглазок повис на нём, их крылья даже здесь уловили крупинцы солнца. С краю тёмной полуарки плакала одинокая сосулька...

Было тихо, как во сне, даже талые капли с ледяного носа падали реже и реже.

Эжен взошёл на мост, глянул сначала вниз по течению: там все дома почернели, а небо висело подсвеченной простынёй. Обернулся — и вскрикнул горлом от восторга: здания стояли как стальные, а над ними поднималась мрачно-сизая туча. Таковы они: дождь, надвигаясь, всегда шлёт впереди герольда — ветер, а снег подкрадывается бесшумно, как коварный враг... Вот и белая всепожирающая муть пошла по реке, вся набережная словно глухо обваливалась... Но чем ближе, тем приветливей: вот первая снежинка щипнула эженову щёку, вот а плечах и голове осели стайками. Наконец он оказался в глубине фронта. На одной его реснице висло по три летучих льдинки, лицо умылось, сердце отболело, и он пошёл дальше, миновал мост, почти дошёл до соседнего, как вдруг в окне какого-то кабачка поймал краем глаза недобрую суматоху и подоспел к разгару драки, из которой ловко выручил не кого-нибудь, а маркиза де Ронкероля. Тот был сильно пьян и сам во всём виноват. Хозяин заведения и усмирённые гости просили увести его подобру-поздорову. Эжен перетащил распозореного льва в ближайшую кофейню, усадил в угол, заказал, сам не понял чего.

— Эй, сударь! — лёг щекой на стол, чтоб заглянуть соседу под разбитую бровь, — слышите меня?... Что с вами такое?

Ронкероль, гребя локтями, кулаками, горбясь, как запойный дворник, приподнялся:

— Растиньяк, ты что ли? — просипел уныло.

— К вашим дальнейшим услугам, маркиз.

— Слушай, блин, у меня это — горе, чтоб его...

— Я слушаю.

— Кормилица умерла — баба, что была мне как мать, а мать — от родов — так я всегда думал, а вот эта ведьма — ну, чего её стоило смолчать! что, я — поп ей!?!...

— Она вам что-то рассказала перед смертью?

— Ей было лет семнадцать. От кого она залетела — один Бог теперь знает: может, закрутила сама с кем-то, а может... В Париже тогда был голод и вообще чёрти-что, полный бардак, и вот, будучи на сносях, она — моя мать — то ли убегала от кого-то, то ли просто не знала, где приткнуться, и постучалась в дверь к мяснику. Тот давно сидел без работы, всего ему и было развлечения, что хоронить своих окостляевших детишек — всех он и закопал, осталась одна девчонка грудная. Роды у матери начались той же ночью, и она так мучилась, что если верить старухе, сама пожелала смерти, ну, а за этим дела не стало. Мужик наточил свои инструменты и упрваился не хуже самой гильотины. Меня они вытащили, а мать освежевали. Что-то сразу сварили, что-то засолили, что-то сбыви соседям — как те были счастливы!.. Я жил в той семье семь с небольшим лет, с самого начала зная, что я не сын, а найдёнок, потом отыскался мой дядя, он узнал какую-то побрякушку, которую людоеды

сняли с маминой шеи и забрал меня, точнее сказать, всех нас забрал к себе. Сначала я учился в каком-то пансионе — там было не лучше, чем в трущобах. Потом меня устроили пажом к императору — это было уже веселей. Потом я получил наследство, завёл друзей и любовниц в свете, потом — настал вчерашний день... А ведь я догадывался о чём-то! Сколько раз я спрашивал себя: в кого, ну, в кого я такой гад!? (- тут со стороны Эжена должно было поступить галантное возражение, но он слушал слегка отупело, чувствуя, что весь сегодняшний запас красноречия истратил на Даниэля д'Артеза, и вдыхая раз в полторы две минуты, чтоб у сердца не достало сил для нового приступа —) А я ведь гад!! Я разрушил отношения Армана де Монриво и герцогини де Ланже! я свёл д'Ажуду с девицей Рошфид! я объявил сумасшедшим Гастона де Ньюейля! Зачем!? Что мне из этого!? А вот гад я — и всё! Проклятый Богом гад, сосавший молоко, сделанное из крови и мяса родной матери!

— Да вы только раз или два...

— Заткнись! Не смей меня оправдывать! — маркиз чуть полез на Эжена с кулаками, а тот бесстрашно и бесстрастно продолжал:

— Каждый младенец, будучи в утробе, питается материнской кровью — так уж установлено. Вы могли плохо поступить с кем угодно, но в участи своей матери точно неповинны.

— Но в ней виновны единственные люди, которых я в жизни любил: эта старуха и...! и...!..

— Госпожа де Серизи?...

— Ле-он-ти-на!.. В день её свадьбы я чуть не застрелился! Смирился кое-как, нельзя ведь: сестра! — близняшка!.. А оказалось!..

Эжен огляделся и нашёл слишком много слушателей.

— Пойдёмте-ка на воздух. Метель вроде утихла.

В фиакре, ползущем сквозь всё ещё сильный снегопад, Ронкероль продолжал убиваться, каяться в разрушенных женских репутациях, в кровопролитных дуэлях, в запретной любви к мнимой сестре; потом повторял раз двадцать, что покончит с собой; спрашивал, не знает ли Эжен умельца, что легко убивал бы за деньги (нет, он не знает).

Уже в темноте старый слуга, неизбежный в каждом особняке, как та полостатая кушетка, принял на руки полуживого молодого господина. Эжен проводил их до спальни, потом пошёл к генералу де Монриво — через полПарижа.

В прихожей стряхнул с себя целый сугроб. Хозяин тут же распорядился о горячем напитке, усадил гостя в кресло:

— Ну, что нового?

— У меня-то ничего, а вот маркиз де Ронкероль... Короче, если он вам друг, — езжайте немедленно к нему утешать, если враг — езжайте всё равно — полюбоваться.

— Что с ним ещё приключилось?

— Сами узнайте... Ну, ладно. В двух словах... — и рассказал-таки о смерти убийцы-кормилицы, мудро умолчав об истинном происхождении госпожи де Серизи.

Арман исполнился чего-то театрального, похожего на гордость или торжество, просидел минуту прямо и величественно, как памятник Рамзесу, потом крикнул:

— Сахар, одеваться!

Эжен встал, откланялся с недопитой чашкой в руке; в дверях обернулся:

— Да, я всё забываю вам сказать: наши граф с графиней, Анастази и Макс, — помирились и живут счастливо.

Тут Арман слегка поблек, но поблагодарил за хорошие известия.

Эжен отправился в Дом Воке. Там господин Нема сообщил о визите полицейского курьера, который «зайдёт завтра в три, и если опять не застанет вас, то ждите повестки».

— А чего ему надо, он не говорил?

— Нет, но я догадываюсь, а вам не скажу: не хочу портить сюрприз.

Эжен убедил себя махнуть рукой на эти вшивые тайны, наскоро обошёл владения, убедился, что питомцы в относительном порядке, и пошёл — по уже мертвецки сонному, мягкогулкому от тумана Парижу — вновь к Ронкеролю. Достучался, узрел ночной колпак и шлафрок старого лакея, спросил: «Никто не заезжал тут без меня?». Дед, зевая, покачал головой. Дальше они стояли молча, бодаясь многозначительными взглядами. В конце концов старик капитулировал, впустил в дом молодого бродягу, показал, где туалетная комната ((её, видимо, проектировал тот же дизайнер, что и эженову гостиную. Она была выложена крупными недоотёсанными камнями, кое-где разрисованными сценками из жизни серн и туров)), где — свободный диванчик, а сам укывлял досыпать.

Поутру Эжен, за ночь не сомкнувший глаз, зато обошедший весь дом, оскоблился ронкеролевой бритвой, потрогал пальцем лезвие и оценил его остроту на 78 баллов из 100; утёрся чужим полотенцем, набрызгался дезодорантом и отправился будить маркиза. Тот без особых сопротивлений сел на кровати. Его лицо, тёмное от давней щетины, синяков и ссадин, менялось, как у того, кому удалось вчера уснуть сквозь дикую зубную боль, кто проснулся ещё в притуплении чувств, но вот снова она, окающая... Его глаза налились безнадёгой, горло заскулило, рот приоткрылся для всхлипа... Потряс головой, собрался с духом и сказал:

— Я знаю, что мне делать: я попрошу короля, чтоб он снял с меня титул, имя и всё остальное. Не могу я, людоедский выкормыш, наследовать герб!.. Кто поручится, что я сам — сын Миранды де Ронкероль, а не мясничихи?

— Нельзя не верить словам умирающего...

— Я, может, не дослушал, не понял чего, или она не успела... А главное, я чувствую, что я такой же как они...

— Но так и есть, и по-другому быть не может: все мы не лучше всех других, которые не хуже никого... Вы верно плохо представляете себе, насколько страшен голод и что страдания роженицы могут быть такими, что добрейший человек захочет прекратить их любой ценой. Когда рожала моя мать, а я всё слышал, ... с какого-то момента я был согласен на её смерть, лишь бы она замолчала... Я думаю, вам надо протсить тех людей. Совершив преступление, они сделали всё, чтоб его искупить. К тому же госпожа де Серизи — она не должна пострадать. Разве можно её судить за то, что она была дорога своим родителям?

— Я ей всё-таки всё расскажу, — угрюмо бычась, пригрозил Ронкероль.

— Всё — это о ваших к ней чувствах?

— ... Я почти уверен, что вот теперь-то разлюблю её.

— Так или иначе, а с ней у вас будет лучше, чем прежде.

— Эххх, — маркиз свесил ноги, нашёл на полу туфли, на стуле — халат, но остался в сорочке и подштанниках, — ... Теперь всё будет по-другому... Мне, знаешь, даже вроде легче. То ли ты так на меня действуешь, ... то ли я такой здоровый. Ведь, если посудить, горе, тоска — всё это ненормально для человека, вот и мне уже спокойней, и не потому что я бессовестен, а потому что я не психопат... Нет, однозначно: я лишь по матери дворянин, а отец у меня был какой-нибудь бравый парень с окраины, может, солдат — и он (как и я)

умел пустить в галоп любое женское сердчишко, а не умел только страдать... (- прошёлся к столику, на котором лежали три книги: толстый недоразрезанный Купер в зелёном сафьяне; затрёпанный «Простодушный» и «Рене» Шатобриана —) Ты любишь читать про дикарей?

Эжен только пожал плечами.

— Я лично, как сказали бы англичане, люблю ненавидеть такую писанину. Читаю, а сам думаю одно и то же: мы ведь сами были такими, мы, коренные европейцы — веке в пятом/третьем до рождества Христова — мы были те же самые гуроны, чероки, могикане. Мы жили в лесах среди зверей и птиц, чувствовали землю и воду, а наше франциска была покруче их заокеанского томагавка!

— Ещё бы.

— Рим нас погубил, заразил дурными болезнями: жадностью, честолюбием, тягой к власти, презрением к природе. То же примерно сделал с гуннами Китай. Те пять веков бежали на запад от ига империи, а пришли к нам — у нас то же самое; взбесились, стали всё крушить, но было поздно... Мы уже уверовали, что нет ничего лучше короны, замка с башнями посреди города, где ты будешь сидеть, не видя света, завесив плесень на стенах золотошитыми флагами, а выйдя подышать, посмотришь вниз, и не увидишь больше леса!.. Я не хочу зваться Жюлем. Пусть меня зовут Дидье или Юго, или... тебя-то как?

— Эжен.

— Всё лучше, чем как Цезаря!

— ... Я дружил с одним парнем по имени *Жюльен*, которого братья звали *Жюль*; он обижался до слёз, а они говорили, что это одно и то же...

Эжен осматривал углами глаз спальню: обои тёмно-оливковые, книжки прячутся в старомодной тумбочке, из которой их можно достать, только сев на пол; над ней висит мрачная картина, изображающая лиссабонское (или другое) землетрясение, а по бокам от неё топорщатся оленьи рога; на камине статуэтка человека с бараньей головой, какой-то археологический черепок; справа и слева от двери — ещё две картины: индюшка с орланьим клювом ((уже ископаемый дронт)) в земляном гнезде и нагая толстушка в полосатом тюрбане посреди тюфяков. Девушка лежала на животе, изогнувшись нарочно так, чтоб потрафить похотливому глазу, при этом она как бы смотрела на птицу и казалась напуганной.

— Хм, что ж, однако, получается, — опомнился Жюль, — ты проведал ужасную тайну — мою. Знаешь, что с тобой надо сделать по кодексу Тринадцати?

— Ума не приложу, — презрительно сиронизировал Эжен, не взглянув на маркиза, зловеще, с хищной миной вспарывавшего пальцем воздух вблизи и поперёк своей шеи.

— ... С другой стороны, в самый чёрный день моей жизни только ты пришёл на помощь. Стало быть, теперь ты мне одновременно и заклятый враг, и лучший друг.

— И никто — если вывести среднее арифметическое. Прощайте.

— Погоди, — Жюль выдвинул ящик из тумбочки с книгами, вынул кожаный кошелёк, — Лови. Не знаю, сколько тут. Даю как врагу — чтоб помалкивал, понял? К друг — проси меня о чём хочешь. И когда хочешь. Только не сейчас и не чаще раза в неделю.

Выйдя к реке, Эжен вытряхнул на мокрый парапет ронкеролев мешочек, нашёл двенадцать золотых монет, двадцать одну серебряную, какой-то перстенёк с бирюзой и четыре мелкалиберные пули. Последние он выстроил шеренгой и щелчками посбивал в Сену...

Глава CXVIII. Воспоминания о Луи Ламбере

Налюбовавшись их порочным блеском, Даниэль смёл монеты с подоконника в ладонь, завернул в платок, спрятал за пазуху и вышел из свой манасрды. По дороге он, глубокий и бескомпромиссный психолог, уличал себя в том, что обрушил на вчерашнего чудака всё собственное подпольное раскаяние: одно дело было вывести на чистую воду самозванца, отрезать ему путь к лёгкой наживе, жизни в праздности, губящей талант, другое — втянуть слабого, наивного ребёнка в когорту стойких борцов с превратностями жизни и света, титанов духа — лишь затем, по сути, чтоб попробовать восполнить главную свою утрату — умершего друга, Луи Ламбера, истинного гения воображения, но не просто подменить его (о! он был из людей, рождающихся раз в тысячелетье!) кем-то другим при себе, а самому занять его место — при ком-то другом — стать кому-то вождём и учителем, но если Луи сам сгорел, расточая без меры сокровища своих идей, то ты, Даниэль, не удержал в руках, уронил в пекло цветок юной, доверившейся тебе души!..

Эжен в это время принимал в Доме Воке мелкого пристава.

— Во-первых, — говорил тот, — я хотел бы видеть вашу налоговую декларацию.

— У меня благотворительное заведение, я не имею с него дохода.

— Во-вторых, коль скоро вы решились иметь непосредственное общение с — кхм — маргинальным слоем населения, то органы правоохранения должны быть уверены, что вы не станете, к примеру, укрывать беглых преступников, способствовать нелегальной коммерческой деятельности, а посему распишитесь в данном соглашении.

Стандартный документ гласил об обязательстве сдавать в полицию всех разыскиваемых, всех приносящих подозрительные предметы, оружие, неожиданно крупные суммы...

Эжен медлил.

— Откуда мне знать, кого сегодня не досчитались за решёткой?

— Я принёс вам и полный пакет кратких досье на всех особоопасных. Кстати, с вас тридцать пять франков — за работу писца и курьера. Потрудиться изучить и не говорите потом, что не узнали какого-нибудь... — раскрыл наугад свою папку, — Жана Вальжана.

— Квитанцию и сдачу, — хмуро потребовал Эжен, протягивая крупный золотой.

— Не смотрите так. У вас есть прихоти, у меня — работа. Автограф — будьте любезны.

Отделавшись от недоброго гостя, Эжен полистал его бумаги, быстро нашёл Вотрена, освежил, морщась, в уме его образ, потом припомнил имя, названное приставом, отыскал нужное досье, задумался, чуть дрогнул, перечитал внимательней и пустился на поиски, с трудом сдерживаясь, чтоб не спрашивать, не видал ли кто Жана Трежана; по своим меркам он целую вечность шарахался по дому — целых десять минут, наконец встретил этого пожилого, но вполне ещё крепкого, а в молодости очень сильного человека.

— Здравствуйте, друг. Как ваша нога?

— Спасибо, ничего.

— Пойдёмте-ка со мной: есть дело.

В новом ноевом ковчеге оставался сравнительно уединённый уголок — комнатка, где во время оно жила мадемуазель Мишоно. Там теперь селились дети, прибежавшие только перекусить и переночевать. Собеседники сели друг напротив друга на невесть чьи подстилки.

— Значит так. У меня есть семья в Ангулеме: родители, братья и сёстры. Я давно их не

видел, а хотел бы знать, как они. Письмам не доверяю: они не захотят меня расстраивать, если что-то случится, или напрягать, если в чём-то нужда, но я ведь должен быть в курсе, правда?

— Да, сударь.

— Я хотел бы отправить вас туда разведчиком. Не говорите, что вы от меня, прикиньтесь заблудившимся каким-нибудь или разъезжим торговцем, предложите им хорошую плату за постой. Он люди добрые и доверчивые...

— Так у меня ж...

— Я всем вас снабжу. Вот, — извлёк ронкеролеву россыпь, — Первым делом — и немедленно — почиститесь, приоденьтесь, потом езжайте на станцию и отправляйтесь первым подходящим дилижансом на юг, хоть с пересадками, но только чтоб сегодня же отбыть.

— Такая спешка?...

— Да вот...

— Ну, а долго мне там быть? к какому сроку возвращаться?

— Больше суток не гостите. А возвращаться вам не надо, — протянул сложенный вчетверо листок Жана Вальжана; беглец прочитал, оседая всем лицом, — Вижу, вы грамотны. Черкните мне, что и как у моих, а сами ложитесь на какое-нибудь дно и не лажайте там, как в Аррасе.

— Тут же ничего об этом нет...

— Ваш тогдашний засып вошёл во все учебники!..

В этот момент в комнату заглянул Даниэль:

— Простите, можно?

— Минутку — договорю с человеком. Проходите.

— Сударь, если вы можете меня понять, то в первый раз я загремел только за то, что стырил краюху: вдовой сестре с девятью мелкими хавать было нечего...

— Мне все ваши кипежи глубоко параллельны. Сделайте дело, и гуляйте, а я подставляться не хочу. Час на сборы, и скатертью дорога. Кстати, и погоняло себе возьмите посуразней, а то что это такое *дядюшка Мадлен*? — всё равно что *тётушка Робер*.

— Да, — понуро кивнул Трежан, — Прощайте. Спасибо.

— Бумажку верните... Всё, с Богом... Ну, здравствуйте, господин д'Артез. Что притащили-таки свою вдовью лепту, или чисто так, с ревизией?

Даниэль бездумно занял место, согретое штанами беглого каторжника.

— На каком языке вы сейчас говорили?

— Не цветной фене.

— Это ведь язык воров?(!)

— Это просто язык, на нём может болтать кто угодно.

— ... Значит, это правда: вы содержите приют... Я думал, человек с таким занятием... рискует быть преданным остракизму в высшем свете... Вы скрываете?

— Да не особо. А в свет (в смысле сборищ) я мало хожу, так, навещаю знакомых дворян, музыку слушаю — вот и вся моя светская жизнь.

— Возьмите. Они ваши, — Даниэль протянул свёрток, — Вы создали Роже Обиньяка...

— Видит Бог, я едва ли сумел бы заработать на нём хоть сантим. Надеюсь, вы хоть что-то оставили себе?

— Конечно, почти треть. Но больше не возьму, не уговаривайте.

— Пойдёмте подышим. Вы вроде никуда не спешите, а мне надо шевелиться, не то свалюсь; я уже и не помню, когда последний раз спал.

— Ваша жизнь полна забот и треволнений?

— Есть немного, — тихо, с очаровательным смирением ответил Эжен.

Дойдя до ближайшего перекрёстка, он подвернул к компании студентов: «Братва, закурить не найдётся?» — и отошёл к спутнику, попыхивая папирасой.

— Мне нужно с вами поговорить, — волновался Даниэль, — ... Во-первых, извините, что я вчера набросился на вас с упрёками. У меня нет никакого права судить вас...

— Проехали.

— То есть вы не таите на меня обиды?

— Ничуть. Я и сам на себя часто злюсь.

— ... Я принёс вам деньги, ... не затем, чтоб прервать случайно возникшую связь между нами — напротив! с вашего позволения, я хотел бы её укрепить... Из рассказов Ораса Бьяншона (если таковые имели место) вы могли сделать вывод, что я окружён друзьями, но это не так. Я очень одинок. В юности у меня был друг, на которого я опирался духовно, эмоционально, творчески, но его не стало. Невозможно описать, насколько это был одарённый человек! В двенадцать лет он был начитанней, чем я сейчас, а сила его ума и фантазии была безгранична! Он был ясновидцем, способным необычайно ярко представлять себе то, о чём повествует книга или собеседник. Он великолепно знал людей и события, которых в жизни не видел и свидетелем которых не был. Читая рассказ о битве при Аустерлице, Луи Ламбер (так звали моего друга) слышал грохот орудий, крики сражающихся, храп испуганных лошадей, вдыхал запах пороха; перед ним проходили картины, подобные видениям Апокалипсиса. Целиком погружаясь в чтение, он забывал о внешнем мире. Но при желании он мог также порою сосредоточивать все свои жизненные силы на избранной им цели, и тогда он становился несокрушим. Если он хотел живо представить себе, что испытывает человек, когда в его тело вонзается лезвие перочинного ножа, то ощущал жгучую боль. Мысль, причиняющая физические страдания... Каково!?!...

— Никакая это не мысль. Это глюки, наваждение, транс. А боль от перочинного ножа в первые моменты (особенно если не поперёк мяса) больше всего похожа на сильный щипок; а чувство — удивление, обвал покоя, тошнота от страха и брезгливости, но с опытом или ввиду дальнейшей опасности одолеть её легко; думаешь, почему так холодно вокруг раны, а кровь, вытекая, очень быстро стынет. Если за тобой кто-то гонится, нападает на тебя, ты вообще забудешь о порезе, вспомнишь разве что через два-три часа, когда он начнёт гнить. Тогда-то и начнётся ваша любимая «жгучая боль».

— Вам, конечно, видней, — кивнул Даниэль на эженов подбородок, — Но чья это «наша», и почему «любимая»?

— Все писатели повторяют это выражение. Догадываюсь, что ваш друг скончался. Не удивительно — при таких интересах; вообразил, должно быть, рану посерьёзней, чем от канцелярского инструмента... Или его привлекало ещё что-нибудь, кроме насилия?

— Ему было подвластно всё: любой образ, любая коллизия... Я полагаю, что в своих мечтах он предавался и наслаждениям, любил прекрасных женщин, жил в роскошных дворцах, но не делился со мной этим... из целомудрия.

— Ну, Царство ему Небесное.

— ... Я восхищался им. Мы могли часами, ночи напролёт говорить о литературе. Эти беседы окрыляли меня!.. Но со смертью Луи я словно придавлен к земле, и перемолвиться

по душам, по-настоящему мне не с кем... Работа моя заходит в тупик. Вы назвали меня книжником — это нелестно, даже горько, но справедливо. Я читаю, конспектирую, вдумываюсь в чужие слова, а где мои собственные? о чём писать мне, — не знаю. Мне казался наивным Люсьен, а как я сам купился на вашу мистификацию! хотя в ней было много исторических и других противоречий, очевидных для всех, кроме меня.

— Вам нужна какая-нибудь безвестная история, чтоб написать новую повесть?

— Но так поступают все литераторы — все берут материал из реальности! А современный писатель просто обязан быть правдивым зеркалом и частной жизни, и политической!..

— Да я не против. Приходите в любое время в Дом Воке (так называется мой приют) — пусть он теперь будет вашей библиотекой: спрашивайте людей — они вам таких жизненных историй понарасказывают! — на тридцать томов.

— Спасибо, это интересное предложение, — несколько разочарованно ответил писатель: он робко рассчитывал, что Эжен укажет ему лазейку в высший свет; а подойти с разговором к нищему ему было так же боязно, как неучу раскрыть книгу.

— Вот, где я живу. Поднимемся — погреемся, — на этот раз Даниэль не обманулся в своих надеждах. Вот и его изумлённые ахи огласили эженову гостиную. В квартире было гораздо теплей, чем в мансарде на улице Четырёх Ветров.

— Устраивайтесь. Рафаэль! — Эжен скрылся в смежной комнате.

Даниэль снял шляпу, плащ, аккуратно сложил всё на скамейку и увидел на столе пепельницу, набитую чищеными миндальными орешками и изюмом, а рядом на кофейном блюде — яйцо с надписью «СЪЕШЬ МЕНЯ!!!» ((заботы Береники)) — оно как-то само собой оказалось в руке пистаеля.

— Угощайтесь на здоровье, — молвил вернувшийся Эжен, — Я стоняю пока вниз за углём: холодновато, ну, и выпить чего-нибудь прихвачу.

— Не труди... — начал гость, но хозяина уже след простыл.

Когда Эжен снова вошёл в зеркальную комнату, неся подмышкой ящик угольных брикетов, а в руке — бутылку, пепельницу наполняли лишь яичные скорлупки. Даниэль и не подозревал, что уничтожил всё, что было в этом жилище съестного.

— Открывайте.

— Чем? Я не умею.

— Тогда возьмите стаканы и идемте за мной.

— А где у вас посуда?

— Да где угодно. Посмотрите по сторонам.

Даниэль нашёл классический бокал для бреди на подоконнике и высокий фужер из чёрного стекла ((Даниэль вообразил, что этот бокал сделан из угля, непопревращённого в алмаз и сразу решил, что даст его Эжену)) — в шкафу, протёр их полотенцем, висящим на дверной ручке, и пошёл за Эженом, чуть не упал в комнате между гостиной и спальней, наконец, увидел своего нового знакомого сидящим у камина, в котором гудело пламя. Эжен зубами выдернул пробку из бутылки, налил себе и гостю, поднял:

— В помин друга вашего Луи Ламбера.

Даниэль глотнул — впервые за пять лет — и нашёл вкус приятным, а хмель несильным.

— ... Я всё-таки так плохо понимаю вас. У вас развит дар воображения и слова, но к литературе вы относитесь с демонстративным пренебрежением; кажетесь человеком деловым, предприимчивым, рассудительным, но сочиняете совершенно безумную историю,

да ещё и берёте на себя вину в страшном преступлении... Пьёте за Луи Ламбера — а кто он в ваших глазах?

— ... Судя по вашим описаниям, он был бесноватым.

— Что!?

— Ну, или одержимым. Я слышал, что к некоторым людям в душу залезают навые гости и, с одной стороны, сообщают необычные способности, с другой, — внушают странные идеи. Некоторые книги открываются дверями в тот мир, что по другую сторону жизни, и, конечно, если очень много и всё подряд читать, особенно в детстве, когда душа ещё не обросла панцирем, ты здорово рискуешь подхватить какую-нибудь чертовщину...

— Подождите, подождите! Что за мистика!? Вы в это правда верите?

— Он делился с вами какими-либо фантазиями, не связанными с войной и кровопролитием?

— ... Трудно вспомнить, но в одном могу поручиться: мучения причинял Луи не тот, внутренний, а внешний мир. Он намеренно погружался в пучину грёз, какими бы они ни были.

— Он оставил после себя какие-нибудь рукописи?

— Ими завладела женщина, прежде захватившая его сердце.

— Лучше бы забрать у неё эти документы: они могут оказаться переносчиком той духовной инфекции, что доконала Луи, а если учесть, что его наваждения были милитаристского толка, то для дамы они тем более опасны. Вы с ней знакомы?

— Нет...

— Жаль.

— ... Так вы поэтому чуждаетесь литературы — верите, что книги могут повредить вашей душе?

— Ну, моей-то повредить уже трудно, — вздохнул Эжен, подливая себе вина, — Вам странно, что я взвалил на себя детоубийство? Просто я накануне выслушал настоящего детоубийцу. Он вроде как заразил меня своей мерзостью, и я отождествил себя с ним. Но домом, где жил утопленный ребёнок, стала усадьба моих родителей, а самим ребёнком — опять-таки я сам, или кто-то из моих братьев... Это было страшно, ... как сон...

— Разве нестрашных снов вы не видите?

— Бог милостив — бывают и терпимые. А вообще, ... — Эжен сидел, держа спину прямо, но его голова клонилась долу, рука с трудом поднимала полупустой бокал, и говорил он всё тише, — от любых я устаю, как от недельной страды. Хоть и за сожженные там силы я получаю взамен больше чем здесь а здешняя сила превращённое **знание** оттуда...

Недобормотав чего-то уже совсем бессвязного, Эжен почти бесшумно повалился на бок. Даниэль успел вынуть из его увядших пальцев фужер, не решился тащить спящего на кровать, подложил ему под висок подушку, укрывать не стал: от камина и так жарко. Затем пытливый писатель вернулся в гостиную, от догорающей свечи зажёл почти свежую и принялся исследовать квартиру, увлётшись, выдвинул по очереди ящики из буфета, и там, где положено храниться ложкам, обнаружил толстую папку с рукописью «О воле». «Ага!» — так и воскликнул Даниэль и нырнул глазами в каллиграфические волны. Он спалил свечу, начал совсем новую, прочитал две трети, ежеминутно поражаясь обширным познаниям автора в области восточной философии, а в его воображении постепенно вырисовывался образ Эжена — адепта брахманистских тайн, буддийского отшельника-чудотворца, огнепоклонника или монгольского шамана. Его буквенно-мысленное пиршество прервал

приход Рафаэля.

— Добрый вечер, сударь. / Здравствуйте, сударь, — одновременно сказали молодые люди, — Кажется, мы не знакомы. / С кем имею честь? — умолкли, боясь опять друг друга перебить.

— Меня зовут Даниэль д'Артез. Я литератор, и Эжен...

— Предложил вам взглянуть на мой труд? Ему следовало бы меня предупредить. Впрочем, он не привык с кем бы то ни было считаться и, как малое дитя, хватается без спросу все подряд.

— Так это ваш трактат?

— Разумеется. И коль скоро вы всё-таки его прочли, может быть удостоите отзыва?

— Это... просто поразительно!..

— О, наконец-то я слышу одобрение вместо насмешки! Простите, я не представился... — и до рассвета два писателя наслаждались беседой.

Глава СХІХ. Секреты Феодоры

Раз в неделю — по средам — в Доме Воке устраивались простые, но обильные бесплатные угощения. Для первого такого застолья Эжен, не помня себя от волнения, проведя день в посте и ночь — в молитвах, взяв с собой для пушей храбрости Ораса (дело было в воскресенье), наведаясь к господину Мюре, двенадцать лет назад купившему дело Горио. Они уже встречались: сыщик-курсант наводил справки о своём пансионном Соседе, но Мюре его не запомнил, верней, ему показалось, что этот парень являлся ему в нескольких тревожных, странных снах.

Эжен старался не думать, что вот в этих стенах за этим конторским столом сиживал Отец, и молот тонот подростка, исповедующегося в убийстве своей любовницы, что он — приёмный сын господина Горио (Царствие Небесное!), что находится в этом доме — огромная честь, хотя он, несмотря на завещание Отца, ничуть не претендует, ... а вот это — доктор Бьяншон, инспектор по контролю за соблюдением санитарных норм пищевого производства и сбыта, которому он, Эжен, скромный сотрудник налоговой инспекции, счёл возможным показать вашу маленькую фабрику в качестве образца...

— Вы из налоговой? — вскрикнул Мюре.

— Вообще-то главное моё занятие — содержание приюта для больных и бездомных людей, которых приходится одевать и кормить. Они непритязательны, рады миске пустых макарон...

— Так вам нужны макароны!?

— Да. Хотя бы два мешка.

Наконец-то что-то уразумевший, Мюре велел насыпать для господ три куля и был рад поскорей закрыть дверь за этими тёмными жеребятами.

Второй пир для парижской голи спонсировал банковский дом Нусингена.

Собирая средства для третьего, Эжен заглянул на-авос' к графине Феодоре, имея в уме выздоравливающего от тифа де Марсе с компанией как запасной вариант.

Жюстина провела его в столовую, где графиня заканчивала завтрак.

— Што этъ вы, господин дъ Ростеньяг, врываетись к людям в неурчшый час? Незавный госьть хужи татаринь.

— А может, не так уж плохи эти татары? — подхватил её лукавство Эжен, прищуривая свои длинные, дикостные, почти азиатски вырезанные глаза, осторожно подсаживаясь к столу, накрытому словно для троих хороших едоков.

— Намедни какой-тъ маркис при мне сострил, што в России нет кухни, а есь толькъ еда, а я ёму отвтиль, што у вас во Хранции хотъ кухня и есь, а еды нет как нет. Што ещ, што нет — фсё голодныя... А вы ко мне по надобности али со скуки?

— Я всё чаще думаю про вашу Россию...

— Чево пръ неё думьть! Тёмнъя страна, глупыи люди...

— Правда, что россияне до того сострадательны, что носят в тюрьмы хлеб и угощают заключённых, считая их не злодеями, а страдальцами, обиженными судьбой?

— Говорю жъ вам: дурак-народ!

— А мне кажется, это добрый обычай и мудрый взгляд на вещи... Я тут взялся за что-то подобное, открыл ночлежку для нищих (- Феодора вытращила на него глаза —), ну, и время от времени даю там бесплатный обед, самый простецкий — еда без особой кухни...

— С ума вы што ли сбрендили? — прервала его графиня, — Смотри ни кому не рассказывайти большь: засмеют!

Эжен привтянул раскалённые добела щёки и уставился в плошку гречневой каши...

— ... Так вас не насыщает французская стряпня... А ходят слухи, что русские дворяне готовы осыпать золотом самого завалищего нашего повара... А ещё...

— Што ищё — «ищё»!?

— Княгиня де Бламон-Шоври (вы называете её *Блином-Соври*) утверждает, будто девушки из благородных русских семей, не бывавшие во Франции ни дня, в совершенстве владеют нашим языком, чего о вас, ... хотя...

— К чему этъ вы клонити!?

— К тому, что насмеяться над бедняками вам не пристало.

Феодора встала, тяжело опираясь на стол, позвала глухо: «Идёмти за мной», и свела Эжена в подвал своего особняка, похожий на бакалейный амбар: повсюду мешки, корчаги и кадушки. На одну из них она поставила свечу, скрестила руки на груди:

— По-вашему, я не дворянка?... Так и есь — чаво греха таить! А хто я в самъм дели — угадаити?... Нолошка! креспонаја дефка господ Арсеньевых-Неростофских!

— Рабыня!? — перепугался Эжен.

Феодора совсем поникла, опустила в своих шелках на мешок гороха...

— ... Когда ваш Бонъпарт шол на Москву, все, кто мох, убегал. Дома бросали, вещи... И мои хозяйивъ уехли, покидаф ф карету семь снудукоф. А я спряталась на чердаке... Сижу и думаю: не съедят-чай меня эти хранцузы, а я ищё нъряжус в барышнинъ платье, нъзовус графскъй дочкъй — глядиш, ко мне съ фсем уваженьем ътнесутсь, а нет... — терять мне былъ всё равно нечивъ... Ф пятнацть-ть лет... Долгъ я их ждала, а как увидила из ъкна незнакомыи мундиры — так сама и выскочила, схватила за рукаф того, кто понарядний и поосанистей: защитити, мол, сироту-графиню! Што былъ дальши, точно не помню, но энтът оффицер меня так и пригрел, платьеф мне понаташил, шуп, жемчугоф, а п отом — надоумил жъ ево Бох! добыл он где-тъ русский мундир, рваный, кровавый, кибитку, сам прикинулся раненым бес памяти, а я бутътъ за ним ухаживаю и везу ево куда-нибуть в лазарет или домой. Так мы ехли, ехаьли, на мешках с зольтъм сидь, и дъбрались до самъй Хранции; зажили тихъ и ладнь. Любил он миня, всёму учил, ни к чёму ни неволил... Но умир (-перекрестилась по-своему, справа налево —)... Всё нашъ добро сталъ толькоф моим... Как наши ушли ис Парижу, я поехалъ х королю, пыпросила признать миня хранцусскъ подданъй и графией, и он — дай Бох ёму здоровья! — так и сделал... Вот так, господин дъ Ростеньяг... Вот, кому вы фсе цалуити ручки — афериске!..

— Сударыня! Вам нечего стыдиться! Всякий человек, и я сам, выпади мне участь родиться в неволе, просто обязан был бы искать новой родины и лучшей доли! — эти слова Эжену показались ничтожными; он преклонил колени — одним упёрся в земляной пол, другое пригнул опорой для рук и голову опустил так низко, как только мог ((Феодора могла бы заподозрить его в желании рассмотреть её ноги, но ей было не до кокетства, а он закрыл глаза)), — Примите извинения за моё бессовестное любопытство! Прощением моего народа клянусь никогда не использовать этих случайных знаний вам во вред!

Феодора в изумлении вскочила, машинально дёрнула Эжена за первое попавшееся — за воротник:

— Да фстанти уш! Штаны протрѣти!

Он встал. Она качала головой, одной рукой держась за щёку, другую сунув подмышку:

— Беда мне с вами!

— Я сейчас уйду.

— Што ш вы, благородный кавълер, ни поклялись хранить мою тайну? — иронично спросила графиня, провожая опасного гостя.

— Вашу тайну — храните — **вы**.

«Сохранишь! — шило в мешке!.. О Господи!..» — подумала Феодора. Она велела опустить в доме все шторы, упала в кресло перед тёмным зеркалом, откупорила флакон, всегда висящий у неё на шее, и принялась: не выдохся ли, не распался ли заветный цианид?...

Эжена тоже всего колотило. Он спешил скорей забиться в нору и поразмыслить — чтоб улеглись чувства. Ему было стыдно за человечество, придумавшее и до сих пор поддерживающее рабство; Феодора казалась на этот момент ему ближе всех женщин, и это его страшило; но боялся он и за неё, страстно хотел сделать что-нибудь хорошее для своей новой сестры... или скорей забыть разговор в подвале...

Однако и на квартире его ждала Феодора — героиня стремлений, грёз и скорбей Рафаэля.

— По сравнению с другими особами женского пола это феномен, — разгалгольствовал влюблённый, — Может быть, как у большинства женщин, гордых собою, влюбленных в свои совершенства, в ней говорит чувство утонченного эгоизма, и она с ужасом думает о том, что будет принадлежать мужчине, что ей придется отречься от своей воли, подчиниться оскорбительному для неё условному превосходству. Или, быть может, первая любовь принесла ей унижение?... Быть может, она дорожит стройностью своей талии, своего изумительного стана и опасается, как бы их не испортило материнство? Не самый ли это веский тайный довод, который побуждает её отвергать слишком сильную любовь?... Или, быть может, у неё есть недостатки, заставляющие быть добродетельной поневоле?...

— А самой простой и уместной гипотезы так и не прозвучало, — с ехидцей заметил Эмиль.

— О чем ты!?

— Она любит кого-то другого. Тайно.

— Нет!

Эмиль хмыкнул и указал глазами на отвернувшегося к огню Эжена, то ли переадресовывая, то ли намекая...

— Растиньяк! ((После знакомства с Феодорой Рафаэль почему-то начал называть Эжена по фамилии)) Ведь это невозможно!?

— Почему, — рассеянно ответил Эжен, — Она такой же человек, как и все...

— Но ты говорил!..

— Что она отвергла всех ухажеров, и только.

— Она мне клялась!..

— Но для кого-то же она держит открытой свою спальню, — издевался над Рафаэлем Эмиль.

— Может, это так заведено в России — не запирают дверей, — сонно поддерживал беседу Эжен, — Она ведь не француженка, и наши мерки к ней неприменимы.

Два дня спустя Рафаэль вошёл к Эжену, мирно ищущему в газете приглашения на несложную работу, бросил на стол две бумажки: пригласительную открытку и купюру — со

словами: «Она ждёт тебя сегодня вечером для разговора наедине. А я тебе больше не должник. Прощай!».

Через пять часов графиня ((на ней было красное платье и коралловые бусы. Она, как давно заметил Эжен, не носила минеральных — только органические драгоценности: янтарь, жемчуг, вот коралл...)) вновь открыла Эжену свои копи:

— Фсё — вашъ. Берити сколько хотити.

— Благодарю, сударыня! Я верил в вашу доброту.

Вскоре жильцы Дома Воке наелись гречки с подсолнечным маслом, а Рафаэль исчез.

Глава СХХ. Тьерри

Эжен знал, что за год в среднем полторы сотни парижан кончают с собой, и решил бороться хотя бы с утопленничеством — расставил на мостах и набережной сменные караулы из нищих покрепче и сирот постарше, которым велел тащить к нему всех несчастных. Первым, кого привели с края жизни, оказался смуглый худосочный парень, назвавшийся Тьерри де ля Фером.

— Громкое имя, — заметил Эжен.

— Громкое, как плач.

— Так что у тебя за несчастье?

— Отгадаешь загадку? — У десятисаженного молодца отец меньше вороньего яйца.

— Ну, ... так это дуб и жёлудь — правильно?

— Мой дед взял в жёны сирую и безродную красавицу. Недолгое время спустя после свадьбы они поехали на охоту и разбили лагерь под большим деревом. Молодая графиня подняла голову вверх, посмотрела на ветви — и вдруг обомлела, упала замертво. Муж растегнул на ней платье, чтоб лучше дышалось, случайно обнажил плечо и увидел там клеймо, какое ставят вора́м. Сочтя себя обманутым и опозоренным, он накинул не шею жене петлю, вздё́рнул её на том самом дереве и вернулся домой; переспал ночь, утром вышел на порог, глядь! — жена идёт к нему из леса. Поднялась она по лестнице и прошла мимо него, остолбеневшего, словно не видя, закрылась у себя. Граф, едва опомнился, поскакал к тому дубу, а дуб согнут дугой, как лук перед выстрелом и пустая верёвка болтается в локте от земли. Потом, дома он, мой дед, убедился, что клеймо на плече жены ему лишь примерещилось — должно быть из-за теней от листьев. Он покаялся, признал, что бес его попутал, но графиня с тех пор была сама не своя: сбежала в Англию, убила нескольких человек, а потом саму её нашли в каких-то болотах мёртвой — обезглавленной, и голова лежала рядом... Кто это с ней сделал, так и не дознались, но тайну своей первой, обращённой смерти она раскрыла в каком-то письме. Пока она висела там, в лесу, дуб говорил с её душой, рассказал, что его прадед высох за полночи от стыда: на нём безвинно повесили тридцать человек. «Я верну тебе жизнь, — сказало дерево, — а ты завеща́й своим сыновьям отомстить за тех казнённых и за тот осквернённый дуб».

— Вот так история!..

— Я узнал её от отца, но его всегда все считали сумасшедшим. Я не видел его уже семь лет. А вчера он умер... Они сразу сообщили мне об этом... — все тридцать... Теперь, стало быть, я должен мстить за их смерть...

— Что ж ты не попросил у них помощи? — раз явились, пусть бы указали тебе виновного...

— Они! — вскрикнул Тьерри, и из его чёрных глаз побежали слёзы, — Они сказали, что я первый виноват в их смерти!

— Охх! Ну, такова уж совесть...

— Я не хочу с этим жить!

— А говорят, если не можешь отомстить за чью-нибудь смерть, спаси чью-нибудь жизнь...

— Впервые слышу.

— Больше мне нечего тебе посоветовать. Предложил бы денег, но ты ведь на днях

получишь наследство: братьев у тебя нет или ты старший, иначе проклятие тебя бы ещё не настигло.

— Да, я единственный сын.

— Где твоё поместье?

— Под Анжу.

— ... Слушай, у меня есть знакомый спец по всякой чертовщине — я у него спрошу о твоём деле, а ты заходи, как разбогатеешь.

Глава СХХІ. Спасти Рафаэля

Меньше, чем за месяц из безалаберного разгильдяя Эжен превратился в аккуратнейшего домоуправителя, сторукого и двестиглазого. У него даже появилась привычка регулярно, дважды в день просматривать почту. Однажды утром он вынул из ящика конверт с анонимной запиской:

Милостивый государь!

Вам не следует бросать друзей. Будьте любезны навестить сегодня в полночь Рафаэля, маркиза де Валантена.

Эжена пробрал полярный озноб... Через минуту он, уже одетый для бессрочных уличных скитаний, совал ноги в ботинки, через полторы — стучал к Эмилю.

— Гудмонин! Вотс хапени?

— Ты ведь знаешь, где живёт Рафаэль, — отведи меня туда! сейчас же!

— Чего за припятая ((Крайняя срочная потребность (диал.)))?... Ладно, щас.

В убогой гостинице, застрявшей в тупике у набережной, их встретили хозяйки: госпожа Годен, муж которой пропал без вести в русскую кампанию Бонапарта, и её юная дочь Полина. Девушка согласилась проводить Эжена в номер «господина Рафаэля»; Эмиль почему-то был принуждён остаться внизу.

— Давно он вернулся? — спрашивал Эжен, поднимаясь в мансарду.

— Около недели назад.

— Рассказывал что-нибудь?

— Что обманулся в друге...

— Чем же именно я его обманул?

— Вы? — Полина остановилась и всмотрелась в лицо спутника, — ... Рафаэль подозревает, что вы — его удачливый соперник в борьбе за любовь дамы, которую он называет Феодорой.

— Мы идём?

— Да. Извините...

— Ага... С каких пор квартира пустует?

— С утра.

— Ну, а сколько раз на дню тут убираются? три? восемь?

— Разве плохо, когда чисто?

— Знаете, от чего зависит успех преступления, например, убийства? — от умения злодея замести следы, так что тот, кто следит тут за порядком, был бы идеальным убийцей — со своей манией придавать жилому помещению вид нежилого!..

— Вы полицейский? — дрожащим голосом спросила напуганная Полина.

— Почти.

— Господин Рафаэль не мог сделать ничего дурного!

— К нему никто не заходил последнее время?

— Нет, у него не бывает гостей: он, кажется, стыдится такого утлого угла...

— Сам часто отлучается?

— Да, почти каждый день.

— Когда обычно возвращается?

— Поздно. Около полуночи или за...

— Спасибо, мадемуазель Годен, — Эжен вытащил из-за стиснутых зубов улыбку, — Давайте договоримся: сегодня вечером я сюда вернусь, чтоб дожидаться Рафаэля, а вы — пожалуйста! — не заходите в эту комнату и никого, кроме меня и законного жильца, в неё не пускайте. Это очень важно!

— Сударь, признайтесь: он должен вам денег?

— Да нет! Но неприятности у него могут быть, а я хочу его уберечь — и только.

Идя без цели по набережной, он бормотал:

— Я всё же думал, что в такую рань он не усвищит.

— Угу, у нас он дрых стабильно до одиннадцати.

— ... Давай-ка зайдём, — Эжен дёрнул Эмиля за рукав в сторону кафе.

— Куда? Ты что! Что же «Фемида» — тут живоглоты заседают!

Но спорить было бесполезно. В «Фемиде», цокольной комнатке, так крепко пахло кофе, что Эжен всё взвидел в чёрно-розово-коричневой гризайли. У буфетной стойки молот заморские зёрна человек, ещё недавно бывший очень толстым, а теперь, отощав, он весь обвис: щёки, веки, брови... Он прохрипел вошедшим:

— Шэмпэнского нэт!

Эжен, ничему не внимляющий, пошёл к дальнему столику; Эмиль следовал за ним, огрызаясь на служителя: «Понаехало!». Сели.

— ... Ну, а ты как думаешь, где он может быть сейчас? Феодора ещё не принимает...

— Слушай, да забей ты на этого оглоеда! Мало ты его опекал!?!...

— Он в смертельной опасности.

— Чего!?!

— За ним охотится убийца — не перебивай! — необычный убийца... Принято думать, что убийство в известном смысле прагматично: месть, конкуренция, безопасность — то есть, должны быть какие-то посторонние, житейские мотивы. Но иногда появляются люди, для которых это просто... удовольствие — нет, больше того, — физическая потребность. У них, конечно, не все дома. Они не понимают до конца, что творят, или оправдывают себя какой-то бредятиной. У них есть то, что называется *почерк*: их работа узнаваема по предпочтениям: одни привязаны к обстановке, другие — к часу, третьи разборчивы в жертвах, — и вот такой объявился здесь, точнее, он уже давно в Париже, года два-три, может, того больше, не знаю. Я вышел на него почти случайно. Он, как ни дико, — светский лев, почти придворный, граф... Впервые я услышал его имя от Вотрена (помнишь?): якобы это он и затеял сору и дуэль, стоившую жизни банкирскому сыну Тайферу. На днях я столкнулся где-то на приёме с этим графом, наедине, и бес меня попутал заикнуться о том убийстве, а на этих вырожденков порой находит откровенность: трудно ведь держать в вечном секрете чёртов смысл существования! слово за слово — и он раскрылся, и как-то быстро возымел интерес ко мне...

— Так это он тебя резнул на лестнице?

— Он. Но это не было настоящим покушением — он типа заигрывал, да меня и не так просто достать, я сам ему вмазал неплохо; потом он намекнул мне, что, если я ему не дамся, он пройдёт по моим друзьям...

— Блин! полный даркнес!..

— Да. Насколько я понял, его обычные мишени — парни наших лет. А сегодня — вот —

наверняка, его записка... Видишь, я вдвойне обязан защитить Рафаэля: смерть ему грозит из-за меня.

— А если — в полицию?...

— Дохлый номер: мы говорили без свидетелей, о других делах его я не знаю, а у него и связи, и, может, двойное гражданство, и миллион на взятки; нет...

— Стало быть, надо браться своими силами!

— Есть предложения?

— Назови мне его имя, опиши внешность, и через два-три дня весь Париж будет знать о маньяке-потрошителе, а концов никто не найдёт.

— Их и искать не надо! Он знает о тебе, он называл мне твоё имя — как бы невзначай; он видел тебя на моей кухне вместе с Рафаэлем в тот вечер, когда вы варили камни, — он стоял за моей спиной, в прихожей!

— Ну, ... значит, ... тем более надо торопиться.

— Эмиль!..

— Что, считал меня трусом?... Если ты сейчас мне не расскажешь о нём во всех подробностях, я обойдусь без них, а выгнать меня из этой игры ты сможешь, онли иф ю килл ми фёст. Соу: ... десять, девять, восемь — имя? — семь, шесть...

— Фамилия — Франкессини, но вряд ли он её назовёт. Высокий, красивый блондин с зелёными глазами, безбородый и безусый, лет тридцати пяти; голос чуть пониже моего; особых примет нет. Христом-Богом прошу — осторожней!

Эмиль вылетел, как окрылённый, хлопнул на улице дверцей фиакра.

«Откуда берётся это фанфаронство? эти порывы на рожон?... Что мне со всеми ними делать!». Эжен вернулся в гостиницу Годен — Рафаэля нет; побрёл в сторону Сите, в отчаянии засмотрелся на Дворец Правосудия, тут же вспомнил, что напротив него, через реку, в трёхэтажном квадратном бастионе центрально управляют парижским уголовным розыском — туда-то он недавно и был вызван повесткой. С горя и растерянности пошёл в этот дом, обходимый нормальными гражданами по другой стороне набережной. Внутри спросил кого-то на побегушках, как бы встретиться с господином Видоком; через пару минут молодчик в форменной куртке и гражданских штанах позвал его в кабинет и оставил в компании Люпена и другого какого-то агента. Первый молвил с улыбкой триумфатора:

— Я знал, что по зрелом размышлении вы проявите сознательность. Что ж, новости от Вотрена?

— К чёрту Вотрена! Пока вы гоняете воров, по Парижу гуляет серийный убийца! (-сыщики отвернулись в разные стороны —)... Неужели за последние три года все убийства были раскрыты и вы не находили трупов молодых ребят, зарезанных непонятно кем и за что?

Незнакомый вздохнул, как маркиза, при которой муж и гость заговорили о судостроении, и вышел, не удостоив Эжена ни звуком. Тот проводил его раскрытыми ладонями, обернув к Люпену гримасу возмущённого недоумения, но оставшийся тоже был разочарован.

— Гондюро с девятого года ведёт Вотрена и его шайку, — пояснил холодно и лениво.

— Я думал, вы...

— Я веду вас, и я вас выслушаю.

— У меня мало фактов, но я знаю имя...

— Господин де Растиньяк, современное цивилизованное общество, безопасность коего я защищаю, организовано имущественными и коммерческими отношениями, соответственно

наиболее опасными преступниками считаются нарушители равновесия в названной сфере; они — истинные враги государства и человечества...

— А чокнутый головорез!?!...

— Мы давно его заметили. Его аппетит довольно скромнен, если вспомнить для сравнения, например, как в середине прошлого века в Грасе за одно лето одной рукой было убито больше тридцати девушек, или так называемого жеводанского оборотня... Этот за все три с половиной года не начинил и полусотни гробов.

— Но вы хоть дело завели?

— Как вам известно, официальное уголовное расследование начинается по требованию пострадавшей стороны. В случае смерти нам нужно заявление от родственников убитого, но на вашего маньяка не поступило ни единой жалобы, о его жертвах (что, пожалуй, действительно прискорбно, впрочем, и симптоматично) — никто не вспомнил. Нам ничего не оставалось, как оформлять самоубийства.

— У них было право жить!..

— И как они им воспользовались? Обобрали свои без того нищие семьи, примчались в столицу ради каких-то химер — несчастное племя, пристукнутое бонапартизмом! В семнадцать лет они хотели завоевать весь мир — а в двадцать семь не могли расплатиться с прачкой. Что они дали обществу? Или — что собирались дать? Ничего! По сути, это просто паразиты. Их честолюбие не романтичней блошиного голода. (- Эжен оледенел по рукам и ногам, а в ушах горячо, изматываяще колотилось, и сердце... —)... Мы убирали тела, приводили в порядок каморки — это было нетрудно: он аккуратен, следов борьбы нет, крови тоже мало — и быстрее, чем через пять часов, эти места занимали новые претенденты на лавры и престолы. А те бедолаги — как знать, может, они довольно намаялись со своими глупостями и сами хотели умереть... Мне лично важной частью правовой системы будущего видится право на смерть...

— Мне передать ему от вас привет и сердечную благодарность за труды?

— Вы с ним в контакте?

— Да, и он мне угрожает.

— Хм, а вы действительно в его вкусе, — расслабленный после приступа искренности, проговорил Люпен с тупой уже улыбкой, — Ну, что ж, ... самозащита — тоже право... Но и об алиби всё-таки позаботьтесь.

Хороший момент для ухода. Эжен чуть не ударил дверь Видока, огрызнулся: «Я не по Вотрену!» и толкнул бывшего куратора плечом, но тот крепко схватил бывшего курсанта под локоть и увёл в свой кабинет, усадил, подвинул и раскрыл сигарный ящик — Эжен тут же захлопнул коробку и отвёл глаза от стакана воды: ему было невыносима мысль о взятии чего-то в рот, он боялся шевельнуть языком от страха тошноты.

— Гондюро сказал мне... Маньяк, да?

— ... Душно тут.

— Соберись давай!.. Я уже говорил тебе, что это твоя судьба, ну, когда ты уходил, помнишь? (- обернулся на секунду, слепо —) — что ты вернёшься, потому что создан для этого. Ведь мы здесь защищаем не закон — мы защищаем людей: ... Люпен, Гондюро, Корантен — богатых; я, грешный, — бедных, а ты можешь спасти кого-то из нашей бесталанной молодёжи.

— Пошлите людей в гостиницу «Сен-Кантен», что чтоб охраняли Рафаэля де Валантена.

— Не болтай ерунды! Ты сделаешь всё сам.

— Что именно?

— Сам знаешь... Я на твоём бы месте давно заманил гада в тихий угол — а потом зарыл поглубже или сбросил в Сену. Впрочем, я-то не такой уж и мастер, но вот ты — боец от Бога...

— Без мокрухи никак?

— Пока жив — он не уймётся.

— ... Не хочу.

— А я не хочу, чтоб из-за твоего чистоплюйства простые парни рисковали головой! Ты справишься лучше, чем кто бы то ни было. Если потом возникнут проблемы, — так и быть — я тебя вытащу.

— Значит, я должен ему уподобиться?

— Думаю, ты похож на него с рождения.

«Их паскудские фокусы: видят, когда ты настолько потерян, что схватишься верой за что угодно, и начинают втирать в мозги...».

— Может вы и правы. («Только отцепись!») Пойду.

— Как закончишь — сразу ко мне. В любое время, понял? Вот мой адрес. Буду ждать сутки. «Жди-жди».

— До свидания.

Рафаэля снова нет дома.

День близится к осенне-золотистому третьему часу.

Расплывшееся в розовой тучке солнце — лицо самого равнодушия.

Надо куда-то пойти, недалеко и не без толку.

Вон ДП ((Дворец правосудия)) — прямо не узнать, карамельный замок. А кстати...

Вход в министерство юстиции был особый. Перед внутренними привратниками, зашитыми в глухие чёрные мундиры, Эжен так резко-вызывающе хлопнул распахнутым пальто, что младший чуть не уткнулся носом в его заношенный жилет, а лбом — в вырезанный из убитой молью занавески галстук; старший же озабоченно насупился.

— Ваш паспорт, — потребовали из бюро при лестнице.

— Нет с собой, простите. Но я помню, кто я, — барон де Растиньяк. Хочу встретиться с господином де Люпо.

— На третий этаж; кабинет 38.

Миновав секретаря помощника статс-секретаря, Эжен вошёл в кабинет, более уютный, чем квартира карьериста, светлый, беспыльный и приятно прокуренный. Де Люпо грел спину у окна, читая какие-то бумаги.

— Можно к вам?

— А, здравствуйте, барон! — в своём владении Клеман был раскован и исполнен достоинства, — Присаживайтесь. Как насчёт чайку?

— Разве что за компанию, и... (- Эжена высмотрел по разным местам пять одинаковых опустошённых чашек —) и если вы ещё не весь патронташ расстреляли.

Клеман позвонил секретарю и задорно, как шампанского, потребовал чаю. Парень повесил на пальцы-крючки кольца трёх чашечных ручек, поклонился и ушёл.

— Пока — по сигаре?

— Спасибо, у меня сегодня что-то никакого аппетита к куреву.

— ... У вас проблемы?

— ... Да вроде пока нет...

— ... А у меня вот есть кое-какая головная боль, и, раз уж вы зашли, — рассказать?

— Окажите честь.

Клеман дождался чая, подлил в себе и гостю немного рома, поводит в отваре ложкой...

— Враги. Очень могущественные. Хуже всего то, что я не знаю их имён, то есть не знаю всех... Два года назад я накрыл с поличным горстку знатных лентяев, возомнивших себя выше закона и нагло вмешивавшихся в чужие жизни, учиняя самосуды и насилие, но не всех из них, а только четверых — треть группировки...

— А всего было, значит, двенадцать человек?

— Тринадцать, если быть точным. Они прямо так и называли свою кодлу — ничего умнее не придумали!..

— Вот вы говорите «выше закона»... По-моему, относительно него только и можно быть выше или ниже. Добрые люди свою доброту не из конституции вычитали, а жизнь так сложна, что, если вы примите все ситуации, описанные в кодексах, за сушу, а не описанные — за воду, то вам негде будет встать двумя ногами.

— Это кто вам такого наплёл? Видок?

— Никто. Я же сказал: *по-моему*...

— Раз уж вас потянуло на философские метафоры, то вот вам моя, — окунул в подостывший чай английский крекер, — Закон — это поверхность воды, грань между тем, что поддерживает жизнь души, её воздухом, то есть добродетелью, — и между тем, что убивает душу, то есть злодейством, которое по изначальному и неоспоримому установлению гораздо притягательней, так что для всякого человека — счастье, если он ещё может высунуть одну ноздрю из пучины зла. Только идиот будет мнить себя летающим на крыльях невинности. А эта банда (не все же тринадцать — дураки), скорее всего, намеренно и сознательно ныряли, и не важно, что они почти никому не успели серьёзно навредить; они были (и остаются) крайне опасны! Во всяком случае, для меня. Я постоянно чувствую, что под меня кто-то копает. Кому я обязан репутацией распутника!? — Явно не себе самому! Я не святой, конечно, но и двенадцатилетних наложниц не держу. А кто (- разоблачительно покраснел —) распускает сплетни обо мне и госпоже Рабурден!?... Я не за карьеру боюсь (хотя теперешняя Франция по ханжеству обставляет и Англию, и Германию) — мне тошно быть оболганным!

— Понимаю.

— ... Вы, насколько можно судить по времени, не могли иметь отношения к этой шайке, хотя в последствии, кажется, что-то узнали и до моего рассказа...

— Да случайно, левой мочкой...

— Вы оказали бы мне огромную услугу, если бы помогли найти остальных. Разумеется, не безвозмездно. Тысяча за имя — устраивает?

— Ну, да. И ещё одна — за фамилию, — Эжен старался казаться как можно несерьёзнее, чтоб не обидеть собеседника, но тот был деловым человеком и уважал чужие корысти.

— Согласен, — он не беден, шиковать не привык, да и некогда; пусть...

— И никаких судебных показаний я давать не буду.

— Никто и не просит. Мудрено засудить таких, как Монриво, Манервиль, Марсе...

— Надо же, все на *М!*..

— И Ронкероля.

— Не все-таки...

— Значит, берётесь?

— Поимею в виду, и если вдруг опять случайно что-нибудь... А что вы с ними сделаете?

— А что с ними можно сделать? Я не такой, как они сами. Я подчиняюсь конституции... Ещё по чашке?

— Я вас не отвлекаю от работы?

— Ничуть. Все мои дела обычно сделаны на сутки вперёд, а срочное я всегда могу перенести на ночь, ведь я здесь буквально живу. Вон то кресло раскладывается, и в нём я ночую, и не подумайте, что из служебного рвения. Квартира у меня, конечно, есть, маленькая и съёмная. Я поселил туда кухню Бабетту. Она содержит мой гардероб, а я заглядываю на минутку, переодеться, всегда в разное время, но вокруг полудня... Франсуа, сообразите ещё чаю!.. Да. Первое, что я исключил из своей аристократической жизни, — это привычки. У меня нет любимых кафе и ресторанов, обычных маршрутов, ... друзей. Впрочем, от всего этого мне по-своему весело. Мои Тринадцать неплохо меня развлекают: для кого ещё сходить в баню или к портному — захватывающее приключение?

— Думаете, вас хотят убить?

— Шут их знает. Слушайте, Эжен, а не сгонять ли нам куда-нибудь поужинать? Я угощаю.

«А ты не подозреваешь, что меня подослала твоя чёртова дюжина? нет, я не был в их элитном отряде, но, сказать по совести, один стою всех их вместе, и, опытный главарь, Монриво меня давно прикамливает. Я пойду с тобой к Прокопу; тебе будет отрадно говорить со мной, ведь больше-то и не с кем, а я любую дребедень умею слушать с интересом и без передышки, а, когда ты совсем разомлешь, я приглашу тебя к себе домой...»

— Что с вами?

— Что?

«Конгениальность (мать её!..)!? мы похожи — он сказал — я на него похож с рождения...»

— Вы словно провалились куда-то...

— Я вспомнил кое-что...

— Всё-таки у вас проблемы!

«Не у меня — у всех нас! Если надоело сидеть в клетушке, пойдём со мной на хищника...»

— Просто назначена другая встреча.

«Нет, тебе своей борьбы хватает».

— Ну, желаю приятного вечера.

Эжен видел, как пал духом Клеман от его отказа, и постарался быстрее забыть о своей невольной вине перед ним. Уже почти стемнело. Рафаэль не вернулся.

Побродил по набережной минут сорок, вернулся в гостиницу — опять нет. Хозяйки сварили ему кофе, заняли беседой, которой он потом не вспомнил бы и под гипнозом. Снова пошёл слоняться, дошёл до Собора Богоматери, внутри, в тёмной гулкой пещере простоял как будто четверть часа, но, выйдя на улицу, сразу понял, что уже по меньшей мере полодиннадцатого, и со всех ног побежал в «Сен-Кантен».

— Пришёл. Совсем недавно, — доложила издёрганная набегам нервного незнакомца госпожа Годен, — Просил не беспокоить.

— Дайте мне второй ключ и не входите в номер, пока я не вернусь. Не спускай до утра — вызывайте полицию. Услышите странный шум — ... не обращайтесь внимания. Провожать

меня не надо.

Эжен прошёл два марша вверх и услышал фортепианную музыку, простую и прекрасную, легкую и безыскусную, не похожую на то, что звучит в Опере или салонных концертах, как снежинка — на обрывок салфетки. С третьего этажа она преобразилась, стала громче и торжественней, её звуки катились по ступеням хрустальным и серебряным градом. Двадцати двух/трёхнотная фраза с перемежением конечной вариации повторилась четырежды и успела вратиться в память Эжену на всю жизнь, а когда он открыл незапертую дверь, ему навстречу полетела столь прекрасная мелодия, что висит тут, посреди комнаты раскромсанный труп, — Эжен его и не заметил бы.

Он думал «Музыка похожа на чужестранный язык, который поймёшь и без знания, если речь нефальшива. Сначала монотонно, как мысль в одиночестве, потом он услышал шаги и его пальцы твердили клавишами: «Вот и дождался, вот он и идёт, вот сейчас мы встретимся, мы увидимся», теперь поприветствовал (один высокий мягкий замедленный звук — вместо улыбки); а вот вопрос, немного шутливый; что-то о себе; теперь упрёк — и сразу прощение, прощение всего наперёд, благословение всего — и больше нечего сказать, снова — только мысли, та же тема. Моя...».

Музыкант сидел в темноте, было видно только контур головы, скупо подсвеченный фонарным светом, отражённым от низких сырых туч. Он замолчал, а Эжен ещё долго не мог опомниться, смущённый, пристыжённый, словно кто-то встал перед ним на колени и поцеловал его руку, а мелодии всё не утихали в его сознании.

— ... Где... где Рафаэль?

— Где обычно — в салоне госпожи де Раменье ((Так называла себя Феодора)). Я ушёл пораньше, выкупил у слуг его пальто, в кармане был ключ, этот адрес я знаю давно. Лестница так темна, что хозяйки ничего не заподозрили; благо, что по вашей милости они с самого утра ищут пятый угол...

— Поиграйте ещё.

— Не могу.

— ... Тогда дайте закурить.

Франкессини выложил на крышу фортепиано зажигалку и портсигар. В короткой вспышке Эжен увидел краем глаза его похудевшее, отрешённо-обречённое лицо. Отошёл к стене, сел на рулон ковра.

— Куда всё это катится! — вздохнул.

— Я только хотел вас повидать и послушать. Ваш маркиз мне не нужен.

— ... Я был в полиции, говорил о вас... Для них я почти свой: я учился на криминалиста — ... и они... вас заказали мне — в родном для вас смысле...

— А догадаетесь, кто мне заказывал вас?

— Ещё бы!

— Не уверен...

— Когда, по-вашему, вернётся Рафаэль?

— Между часом и двумя.

— Если к двум он не придёт, я вас убью.

— Вы хоть при оружии?

— Ваше возьму — не в первой.

— У меня его тоже нет.

— ... И всё-таки я это сделаю.

- ... А раньше приходилось?
- ... Смотря, насколько раньше...
- В этой жизни.
- ... Почти в каждом чётном сне.
- По одному или помногу?
- Толпами!..
- Знакомых/незнакомых?
- Всяких.
- ... Всё ещё хотите, чтоб я поиграл?
- Хочу.

Можно закрыть глаза; страх мгновенно спадает; вражды нет.

Музыка медленней прежнего, рассеяна, спонтанна, вся в прикрытых эхом паузах, фразы чередуются в выборе лучшего финального аккорда. Типичный мысленный поток нерешительности. «Забыли ли и он о моём присутствии? Мне ли из нас двоих тяжелей?...».

— ... А ещё?

— И так не получается...

— ... Я должен сказать, что благодарен вам — за ваши вопросы. Никто бы мне не задал их, а ведь так важно знать, чего хотеть от смерти и в какой мере ты убийца. Но, может быть, и моих вопросов вы ни от кого другого не услышите. Для большинства вы вроде бешеного зверя. Кто-то припишет вам свои собственные бесовства типа идеи об особенных людях, которым легко и дозволительно убивать; или о том, что убийство — это не так уж плохо... Но вам-то известно, насколько оно ужасно! Так зачем???

— ... По тому, что я хороший музыкант, вы заключаете, что я хороший человек?

— Да не хороший вы музыкант! вы даже нот не знаете! Но я вижу — вы тоскуете; вам бы бросить! Почему же нет!?!... Я стал бы вашим другом... Я вас уважаю.

— За тоску?...

— Уважаю — и всё! Не хочу видеть вас убийцей и предателем!

— ... Я не предатель. Я верен своему призванию... Мне надо найти всего одного — и увести его отсюда. Мне пришлось смириться с неизбежностью ошибок, ведь мой единственный компас — моё слепое сердце. В какой-то момент я решил, что есть и смысл в побочных жертвах: для меня это тренировка, без которой я не стал бы столь искусен, для него же — как бы поленья погребального костра...

— А можно подробнее про сердце? Как оно вам указывает?

— Оно начинает любить, а тот, кого я люблю, должен умереть.

— И кого вы любите сильнее других, тот и есть единственный?

— Если после вашей смерти я полюблю кого-то больше, чем вас...

— Абсурд! Любовь обычно требует хранить, оберегать любимого!..

— Конечно! Но мой долг — в другом!

— А чем это оправдано? чего ради всё это? кому ваши труды на благо?

— Тот, кого я ищу, — демон, способный погубить миллионы людей, и никто, кроме меня, не сможет ни опознать, ни остановить его.

— И вы можете это доказать?

— Кому?

— **Мне!** Ведь вы **меня** так трактуете! (- «как они сейчас похожи с Люсьеном!» —) Это, значит, я — опасен для всего человечества!? Докажите!

— ... Я могу лишь просить вас поверить мне на слово...

— Ну, ладно, допустим, я вам поверил — вы опознали своего демона, но обоснуйте хоть необходимость крайних средств. Не проще ли объяснить ему/мне, чего не надо делать в жизни!?!...

— И вы слушаетесь?

— А вдруг!

— ... Но я уже пытался...

— Noch ein mal ((Ещё раз! (нем.)))! Ещё не поздно!

— Замолчите! Я устал от вашего крика!.. Дайте мне подумать.

Эжен всмотрелся в окно и решил, что уже около полуночи. Противник почти обезврежен, но Рафаэль... Как успокоить себя? Ну, хотя бы: 1. они расстались в одиннадцать — рановато, преступники предпочитают с часу до четырех; 2. где бы он мог это сделать? обычно проникает в жилища жертв; 3. Рафаэль немного мизантроп, впрочем... хотя теперь...

Тут в квартиру вошёл третий и окликнул:

— Растиньяк?

Какое счастье!

— Привет, Рафаэль!

— Здравствуйте, маркиз.

— А вы кто такой и что здесь делаете?

— Я — граф Франкессини. Имел честь провести вечер в одной компании с вами. Слуга (должно быть, по рассеянности) дал мне ваше пальто, но я обнаружил это уже дома; вспомнил, что вы дружны с бароном, и отправился к нему в надежде, что он приведёт меня в ваш дом, где я смог вернуть вам одежду; так и случилось. Ваше пальто на вешалке, а на вас, по всей видимости, — моё?

— И я должен вам полтора франка за фиакр.

— Оставьте, пожалуйста.

— Мы уже уходим, — вмешался Эжен, — Ты в порядке?

— Не беспокойся!

— Ну, пока. Пойдёмте, граф.

— Всего хорошего, маркиз.

Двое безоружных пошли по пустеющей и стынувшей набережной.

— Не очень-то убедительно было.

— Что?

— Вы, должно быть, сразу почувствовали разницу между своим плащом и рафаэлевым.

— Нда. Я рад, что мой ко мне вернулся.

— Ещё бы! — настоящий горноста́й!..

Перекрёсток с мостом.

— Расстанемся.

— Сначала я бы всё-таки хотел услышать ваши перемирные условия.

— ... Не встречайтесь с королём...

— Так.

— ... Не участвуйте ни в какой войне.

— Хорошо.

— Не ищите власти над людьми.

— И всё?

— Пожалуй.

— И, если я ничего из названного не сделаю, вы больше никого не убьёте?

— Нет.

— Что «нет»?!

— Не убью.

— Договорились, — Эжен протянул руку, графу пришлось пожать её и идти прочь. Он свернул в ущелье улочки, едва различая дорогу от темноты и слёз.

Эжен долго стоял, сам почти ослепший, ознобший от усталости, кусая воздух, потом кое-как побрёл дальше вдоль реки, время от времени оглядываясь. Вдруг он вспомнил, что не попрощался с госпожой Годен и она сейчас, наверное, не спит от страха вместе с дочкой, а утром Полине придётся бежать в полицию с ложной тревогой; за это им самим может достаться! Он рванул обратно.

На первом этаже гостиницы горел слабый свет. Эжен стучал долго. Наконец, хозяйка страдальчески крикнула из-за двери:

— Кто там?

— Я, Эжен. Не вызывайте полицию. Всё в порядке.

Минуту, потом другую он ждал ответа. Внезапно дверь распахнулась и на крыльцо в сиротском платье вдовы Годен выступила баронесса де Растиньяк всё с теми же словами:

— Из-за тебя я испытала столько жгучей скорби, что вторично мне не снести её! — и тут же морозный ветер смёл её, развеял по тупику.

Вокруг Эжена завертелись чёрные дома, беззвучно рушащиеся в пыль, и земля под ногами затряслась. Когда это кончилось, он нашёл себя стоящим на середине моста, возле которого отпустил Франкессини. Положил руки на парапет, глянул вниз. По тому, как лёд опоясал подпоры, определил скорость течения и меру холода — они его устроили; оторвал от земли одну ногу... Вторую не успел — двое мальчишек схватили его за одежду, крича в оба уха:

— Господин, не прыгайте! / Есть человек, который хочет вам помочь! / Он даст вам денег сколько надо! / Мы отведём вас к нему. / Его зовут Эжен де Растиньяк.

Произнеся его имя, эти ангелы восстановили Эжена в праве и желании жить. Он обнял их с тихим возгласом: «Спасибо, братцы! Я больше не заблужусь», дал по франковой монете и пошёл через реку.

Через час он был у Больницы Милосердия; зашёл, спросил Бьяншона. Уже ушёл. А куда? Где он живёт? Ответили. Не спросив, кто его ищет, зачем — в такой час. Как же легко добраться до любого!..

Орас ещё не спал, ломал глаза учебником фармакологии под спиртовой горелкой и жевал вчерашнюю булку. Он обрадовал Эжена, спросив из-за замка, кто идёт, и сам обрадовался гостю.

— Откуда ты?

— Так, проведал знакомых.

— И напоследок — ко мне?

— Мешаю — уйду.

— Да что ты! сиди хоть до утра! Или, может, прилечь хочешь?... Ты это... всё ещё голодаешь?

— Нет. Голода я уже почти не чувствую.

— Хь! я бы даже позавидовал — если бы от этого не умирали. Кстати, кем тебе

приходилась Амели де Растиньяк, в замужестве герцогиня Дез Эссент?

— Я и не знаю такой.

— Мне казалось, твоя фамилия из редких.

— ... Герцогиня была намного старше меня?

— Лет на десять-пятнадцать.

— Ну, так это, наверное, дочь дяди Грегуара, ушедшего с юности в моря, старшего брата моего отца и тёти Клодии. Отчего она умерла?

— От того, от чего и ты умрёшь, если не начнёшь питаться.

— Я — дело другое... Видишь ли, в моей семье женщины всегда очень отличались от мужчин. Я смотрел генеалогический календарь, ведущийся с четырнадцатого века: ни одной смерти новорождённых сыновей и мальчиков; все парни, если их не постигал несчастный случай или чья-то вражда, умирали стариками. Девочки же и рождались слабыми, и росли в болезнях, а дожившие до замужества либо хоронили потом каждого своего младенца, либо быстро угасали непонятно отчего; некоторые сходились ума... В конце концов о девушках нашего рода пошла слава как о порченных, но к ним всё же сватались из-за их красоты...

— ... А ты помнишь... старика Горио?

Эжен трепетнул:

— С чего ты вдруг о нём?...

— Да так... Я до сих пор не понимаю... Мне было его очень жаль, я старался как врач облегчить его страдания, но каких-то особенных, личных чувств у меня к нему не было. Ты же — ты его... боготворил... Если я не пойму этого, я вообще никогда не пойму тебя.

— А тебе так это надо?

— Между прочим, ты сказал однажды, что мы навсегда останемся друзьями.

— Ага. Я тогда спросил тебя, решил бы ты одной мыслью убить какого-нибудь китайца и за счёт этого разбогатеть, а ты сказал *нет*... Сегодня меня больше занимает вопрос, как поступить с человеком, чья смерть спасла бы жизни не одной сотне молодых одарённых людей, может быть не одной тысяче — но я не стану тебя спрашивать.

— ... Почему?

— Боюсь, что ты ответишь так же, как другие.

— ... Этот вопрос куда сложнее!.. Тот человек — реален?

— Абсолютно.

— А угроза — несомненна?

— Как любая угроза: пока что-то не случилось, всегда можно усомниться, понадеяться...

— Тут всё-таки что-то фантастическое! Я понимаю, что один человек может убить дюжину, ну, две, три, — но тысячи жизней на совести одного!.. Впрочем, если вспомнить, скольких Наполеон увёл в свои походы, скольких из них засыпал египетский песок, скольких замёл русский снег... Не будь его — одного единственного человека — большинство этих парней жило бы до сих пор... С другой стороны, эта слава... Говорят, ими восхищались даже враги. Я слышал миллион раз, что Империя Бонапарта останется навсегда гордостью Франции. Верю ли я в это сам? — Не слишком. Слава — шум; триумфы — те же масленичные гулянья с парадом дураков... Но есть ещё аргументы, серьёзней... Допустим, не было Наполеона, и все сотни тысяч его несостоявшихся героев по сей день здравствуют. Это значит, что в одном только Париже население вдвое больше, еда дороже в три раза; жильё — в пять, а приезжому не легче воткнуться в столичное общество, чем собаке — в

замочную скважину! Представь хоть улицу — сейчас на ней толпа, но всё же можно пройти, а тогда бы был просто затор! бесконечная давка, в которой твою одежду изорвут, а тебя самого не сегодня — так завтра затопчут насмерть, и когда ночью патруль будет отскребать тебя совковыми лопатами от брусчатки, тебя уже родная мать не сможет опознать! Вот это было бы не менее ужасно, чем поля после сражений, так что, как говорится, от добра добра не ищут... Недавно на публичной лекции я слышал, что население Земли перевалило через миллиард и продолжает расти. Наш мир рискует треснуть по швам, а мы множимся, спасаем жизни делом, защищаем словом... Но смерть, выгнанная в дверь, — влезет в окно... А твой роковой губитель — он кто такой?

— Я...

Эжен поднял глаза. Он сидел на кровати, и было ему около двенадцати.

Граф Франкессини уложил его, накрыл своим горностаевым плащом:

— Засните скорей. Вы опять перетрудились...

Глава СХХІ. Спасти мир

За этой туманной зелёной рекой начинается долина Валхаллы. На том берегу причал, откуда отплывают на свои повинности военные моряки и пираты. Лет сто назад невдалеке построили мост — для бывших эйнхериев, уходящих в Эдем — а раньше была лодочная переправа...

С первым шагом на мост полководец прислушался (очень тихо), присмотрелся к туману (его неосязаемый ветер отгоняет в сторону бранного поля, и он так густ, что не видно горного гребня — самого Дома Мёртвых). Значит, битва прошла, и совсем недавно. Значит, дальнейший путь (а это 1200–1300 шагов) будет сплошным воспоминанием последнего года ненавистной жизни и последнего дня непрерывных преступлений (столько убийств — за каких-то десять-одиннадцать лет!). Они неотвратимы, или...? Надышаться поглубже летейским туманом? сойти к воде и хлебнуть?... А при жизни брезговал зельями... Правда, курил какую-то траву — от головной боли... Но ведь был же ещё ум — несчастная, забытая, но неубывная свеча по спудом (шаг, другой и третий, и...) — Надо видеть всё как оно есть: жизнь кончилась; здесь преступлений нет, и некого жалеть...

Первый труп лежал в тридцати шагах от берега, чернокожий с копьём в спине. Странные люди: они не считают зазорным бегство от врага. Их немного, и мёртвые они не страшней живых.

А с другого фланга, ближе к лесам стоят настоящие храбрецы, дальней родичи самураев. К ним он часто ходит в гости и на их земле посадит дерево. Хорошо не видеть убитыми их.

Теперь долгое поле его собственных дальних пращуров. Сами гунны и авары уже ушли, но на них ещё похожи и монголы, и чинцы (как их называют персы), и их островные бледные соседи. Их по-прежнему водит Темучин.

Валькирии, красноодетые девы, сидели над убитыми, пришивали вставленными в рыбы кости нитями своих волос отрубленные руки, ноги, головы на прежние места. Сколько такой канители он вытащил из-под своей кожи!

Вот и славяне. Строятся они особняком, но в бою смешиваются с европейцами. Узнать их можно по легкосмертельным ранам...

Что такое? На многих нет кольчуг и лат при том, что это явно не вражий грабёж; они зачем-то сами вышли на поле в одних рубахах...

Разгадка вскоре врезалась в глаза — глубокими следами колёс, ведущими к разрушенному брустверу. Нос уловил в тумане привкус незнакомой гари — они переплавили доспехи в пушки, но те не помогли, а в следующем сражении трубы смерти будут палить в своих изобретателей!

Лёг на землю и отшвырнул прочь сознание, но оно вернулось быстро, освежённое, с хорошей мыслью: надо будет просто разредить строй, расставить бойцов так, чтоб у каждого было ещё пять шагов в любую сторону.

Сел и то ли вспомнил, то ли догадался, что пушки едва ли мечут камни, что их снаряды или сразу горят или вспыхивают при падении... Как бы их тушить?...

Встал, пошёл считать следы колёс. Нашёл своего злосчастливого заместителя — враги нарочно прокатали трофей по его шее. Перешагнул...

Восемь. Немного. Могли некоторые сломаться при перегоне? — Да. Хорошо.

Но самое-то главное — двери: а вдруг!.. Ох, да какое там!.. Но вдруг?...

Они закрыты!!!

Ступени избиты, земля истоптана и взрыта, а у самых сомкнутых створ лежит единственный защитник — черноголовый парнишка, без доспехов, с этой тонкой, хрупкой с виду, как весенняя сосулька, шпагой, да и ту уже выпустил из руки, но сам цел — это можно объяснить лишь одним словом: безгрешный.

Полководец приподнял его, усадил. Спаситель Европы приоткрыл жалобные тёмно-серые глаза.

— Слава тебе, чистый дух!

— ... Почему... они меня не убили?

— Потому что ты сам не убийца... Долго отбивался?

— ... Нет,... не отбивался... — отказывал... Там был как будто мой отец. Он тоже умер?

— Если и да, среди врагов он не мог стоять: они не люди.

— ... Я никогда и считал отца... человеком.

— Можно подумать, есть твари хуже людей.

— Разве те, напавшие на нас, — лучше?

— Пойдём внутрь, поговорим там. Оружия не забывай.

Полководец перекрестил дверь, и она открылась. Они вошли в тёмный, пещерный чертог. Тут шпага в руке молодого защитника засветилась и позволила добраться до длинного стола, обставленного лавками. Сели друг напротив друга, а светящийся клинок воткнули в ближайший каменный столб, щербатый, щелистый, но крепкий, из тех, что подпирали потолок.

— Смотрю на тебя, и кажется, что видел раньше. Как тебя зовут?

— Фредерик Тайфер.

— Вот и имя знакомо. Уж не ты ли первым бросил копьё при Хейстингсе, когда французы пошли захватить Британию?

— Я??...

— Ты забыл. Но тебя узнать нетрудно. Дух человека похож на луну, чья каждая новая ночь — это каждая новая жизнь в Царстве Лжи: как луна растёт и убывает, так и дух набирает сил, побуждает человека к большим и большим делам, а затем слабеет; в начале и конце духовного месяца ты даже рождаться не успеваешь, умираешь в утробе; чуть дальше от начала или конца — проживал совсем недолго, или попусту. Зато на век полноты приходится подвиги, по которым тебя запомнят на долгое время — таким стал для тебя одиннадцатый от Рождества Христова, но и ночь последней твоей жизни была светлой, Фредерик Тайфер... Расскажи, что тут произошло без меня.

— Наполеон собрал армию, рассказал про новое оружие, уговорил снабдить его железом, научил литейщиков...

— Неужели никто не противился?

— На каком основании?... Когда на меня надели кольчугу, мне это показалось странным: на земле уже давно так не воюют... Он сравнил твоё войско с оравой варваров...

— Вы думаете, что мы не мастерим себе мушкетов и пищалей по глупости и дикости?... Что я от одной придури рву и жгу все чертежи огнебойных машин, какие мне приносят новопреставленные оружейники? Что я не в силах уразуметь устройство винтовки?... Природа наших врагов не позволяет нам менять мечи и луки на ружья и пушки. Демоны ничего не могут изобрести, но они сразу присваивают все наши новшества и идут с ними

против нас.

— Но если всё-таки пытаться сравнять силы...

— Они в достаточном равновесии. Демоны — это не что-то само по себе, они — наше же отчуждённое и воплощённое зло, поэтому нас никогда не будет больше, чем их; их желание убить нас — справедливо... Как раньше называли воинов? — пшеницей воронов. А сейчас? — пушечным мясом. Здесь всё именно так. Мы — трава для покоса. И только такие, как ты, действительно дарят живым мирные кончины.

— Я готов остаться и вновь отстоять...

— Сейчас ты говоришь так, а когда полки построятся, в тебя из воздуха вкрадётся отвращение, и ты уйдёшь, как все вы. Для безгрешных не бывает вторых битв... Но кое-чем ты можешь нам помочь.

— Значит это и сделаю! Что же?

— Вернись в Царство Лжи, укажи своему убийце на кого-либо достойного и помоги им обоим в поединке: одному сразить, другому умереть.

Фредерик оторопел:

— Но как же... я попаду на землю?

— Я открою тебе дверь, через которую демоны проникают туда.

— Ты уже кого-то раньше отправлял так?

— Скажем: пропускал. Ко мне приходят духи, у которых в Царстве Лжи остались долги.

— То есть, в сущности, это путешествие может совершить любой?

— Ты не хочешь.

— То, что я должен...

— Ты не должен. Поступай по своей воле.

— Я всем сердцем желаю помочь, но это... поручение... — не жестоко ли, праведно ли оно?

— ... Жил однажды человек по имени Кастельмор, был он воин у своего короля, а под старость одолели его раскаяние и страх, тем пущий, что живые мнят мертвствование бесконечным горением на каких-то углях. Раз бродил он ночью по дороге близ своего имения и чуть не волком выл от отчаяния, и повстречалась ему валькирия. Они пожалели друг друга: он дал ей напиться своей крови, а она рассказала ему о Вахлалле. За всю жизнь старик не видел утра лучезарней. В тот же день он призвал к себе единственного малозрелого сына, велел тому ехать в стольный город поступать на службу, и наказал без сомнений затевать поединок с любым дворянином по любому поводу. Уже к вечеру отец зачислялся в моё войско и обещал на днях появление своего сына, павшего безгрешно... Правда, младший Кастельмор прожил ещё полвека с лишним и грехов накопил прорву. Видел я его сейчас — шесть ран в груди... Уж лучше б я его оставил за главного... А раньше того на век-полтора приходила из-за самого моря девушка-полька — просила вызволить из Монсальвата (крепости отступников) тевтонца, которого любила. Это трудное дело, но я бы и взялся, согласись она привести нового безгрешного, а она отказалась... Я к тому, что каждый сам решает, можно ли / нельзя ли нарочно посылать в Валхаллу неуязвимого по чистоте защитника. Решай и ты.

— Ты для себя решил, что можно?

— **Всё**, что можно сделать, — **нужно** сделать, но идти вместо тебя я не могу: одно — дал обет не покидать Царства Правды; другое — я уже бросил раз войско, и что?...; третье — за тысячу лет Царство Лжи изменилось, наверное, так, что мне там и зайца не узнать.

— ... Хорошо, я попробую.

— Бери свой прутик, и идём.

Они пошли вглубь пещеры, стали подниматься по широкой, крутой, спиралью загнутой лестнице. Вожатый говорил:

— За дверью будет темно. Ты вспомнишь какую-то зону в Царстве Лжи и окажешься в её самой густой тени, а оттуда уж сможешь идти куда угодно, а! и вот что: кто, выходит через здешнюю дверь, может вернуться, только вселившись в другого человека и дождавшись его смерти (или устроив оную).

— Почему ты раньше не сказал об этом!?

— Разве мы давно вообще об этом говорим?

— Что значит *вселиться в другого человека*? как это делается?

— По слухам, просто. Советую сразу вжиться в того, кого найдёшь себе за смену, — так всем вам троим будет легче...

— Вновь быть убитым!?

— Не обязательно, но путь оттуда — да — через повторную смерть в обнимку с чужим духом, и я бы не стал мешкать.

Фредерик остановился.

— ... Если я всё же откажусь, ... ты простишь?

— Бог простит.

— ... А что ещё я мог бы сделать на земле?

— Что пожелаешь. У мёртвого там даже больше власти, чем у живого здесь.

— ... Ладно, пойду.

— Можешь и в убийцу вжиться, если, там, не понял его или хочешь себе кары, например...

— Ты уверен, что **твоё зло** — от тебя таки-отчуждилось?

— От меня... ушло всё: друзья, отцы, подданные; тамошняя невеста изменила, здешняя подруга предала; я всех просил лишь о забвении, но одни превратили меня в посмешище, другие оболгали лестью (ты был среди тех, так что не жди моей жалости); лицо моё у меня украли... Перед тобой то, что осталось... от разорванного на части... Идём или нет?

— И-идём...

Лестница вывела не площадку-балкон перед закрытой дверью. Полководец просто взял её за ручку, и она открылась.

Фредерик не мог вспомнить, как вошёл в темноту, но, оказавшись в ней, он почувствовал облегчение, а потом понял, что сделал это, только чтоб не быть больше наедине с этим железным призраком...

А по ту сторону осталась тысяча разбереженных ран и понимание, что всё снова безнадёжно и — опять — преступно, и только для себя: пока он наслаждался войнами, он воевал из/ради этого; как захотел страдать — ради страдания начал воевать, и всё никак не остановится, что с ним ни делай... А сам? неужто никогда не пробовал — сам? Даже странно. Он размотал трёхметровый пояс-цепь, присел у края площадки, разорвал узкий кольчужный ворот, наугад-на ощупь в темноте соорудил петлю, задумался о маске — и оставил её; надел петлю, отметив, что косы несколько мешали бы; другой конец закрепил на железном столбце ограды; гибко проскользнул меж двух и повис, ещё держась руками, вглядываясь в тусклый отсвет из входных раскрытых ворот на далёком полу. Вот будет зрелище! А может, и смотреть не станут, и не снимут, и пускай...

Что-то кольнуло в горле, и тотчас с него скатилось, полетело вниз и звякнуло о камень колечко. Не успел будущий висельник не придать значения этому, приписать поломке ворота, как ещё два, затем три кольца слетели с рукавов и с подола, с той же болью, будто из глубины мяса дёргали рыбарские крючки. А через минуту каждое звено его кольчуги превратилось в ошалевший драупнир: от каждого отскакивало по такому же кольцу за три секунды. Хоть каждое казалось превращённой каплей крови, выжатой из тела незримыми щипцами, полководец просветлел всем духом, вспомнив о Боге, милостью Своей возмещающем любые потери, как сейчас — потерю железа, спущенного на пушки.

Обрадованный, он больше не хотел себе позора, но, попытавшись подтянуться, понял, что чудо не даровано, а куплено ценой убывших сил; ему не выбраться, осталось лишь считать мгновения до срыва пальцев и перелома шеи. Он ждал без страха, повторяя мысленно свою обычную молитву: «Слава суду Твоему, Господи!», сожалея разве о том, что с его дыханием прервётся и стальной поток, но зная, что раньше срока это точно не случится.

Новые — и последние капли-кольца вытягивало из самого сердца, из самого мозга, из кишечных теснин; с последней искрой силы уже павшая рука схватилась за цепь, другая — промахнулась. Тут в уши хлынул звонкий скрежет крупного железа с тихим ветром плавного полёта. Неприкаянный мертвец не повис над россыпью из сотен тысяч колец, а упал в неё: за какой-то миг цепь растянулась впятеро.

В коротком беспмятстве привиделось серебряное дерево, сронившее все листья, которые вдруг взвились с земли и снова его одели, засверкав прекрасней прежнего. Открыл глаза — и грёза обернулась склонённым архангелом.

— Привет, куратор. Что скажешь из того, о чём я сам не думаю?

— Я устрою так, что твои враги не пустят в ход пушки.

— А что с меня?

— Если сочтёшь возможным, перестань называть Царством Лжи Царство Свободы.

— А ты можешь ещё вернуть оттуда Тайфера?

— Я открою тебе храмовый портал, если решишься сам за ним пойти.

— Если за другим решушь, — всё равно откроешь?

— Многие обстоятельства ведут к тому, что скоро ты посетишь живых; ты имеешь на это причины и право.

— Ты говорил, что этот век для меня очень важен, что ко мне вернутся те, кого я могу любить, и, может быть, даже моя половина, но там — меня вспомнят, узнав самую злостную ложь. И я не должен этому мешать!? А если нет, то, думаешь: не стану!? А если стану, — вдруг да и получится! А если получится... — не будет ли это худшим моим деянием?...

— Мне тоже нравится такой порядок слов, но ты пообщался с живым и недавно умершим, и я плохо тебя понимаю. Скажу так: для Духа Правды ты — человек из людей. Он любит тебя, а ты верь Ему. Фредерик Тайфер пошёл на смерть не без злого умысла, а к живым вернулся в надежде повидать сестру и друга; забудь о нём: у него свои желания, у тебя — свои. Какое из них сейчас сильнее других?

Жгучая сушь от ноздрей до сердца; нервы натянулись титевами...

— Пить...

— Страшней ли это всего тобой изведенного?

— ... Нет...

— Почему же ты боишься?

— ... Разве я достоин?...

— Решай сам, — архангел приоткрыл его ладонь, вложил в неё фляжку, выточенную из цельного алмаза, а наполненную чернотой, и удалился.

Глава СХХІІІ. Спасти душу

Это не воздух — песок; зарытой с головой в песке проще было бы двигаться...

Анна давно выплакала все глаза и не слышала стука своего сердца. Скоро жидкий мрак раз]ест смолу на лодке, просочится сквозь дно, и ей придётся слушать, как, словно в кислоте, медленно растворяются ноги... Но что значит «скоро»?... Анна почти не могла вспомнить, что такое время, поверить, что когда-то жила в этом и всех остальных измерениях...

Но вдруг её пояс слегка сжался и разжался вновь. Ощупью расправила одежду на животе и рассмотрела цепочку синих пятен и желтоватое кольцо.

Даже здесь есть свет, даже эти давно срезанные волосы продолжают жить!

Что ты хочешь мне сказать? Что я нужна тебе? Что древесное семечко было только предлогом для нашей встречи, потому что моя любовь спасёт тебя, а твоя — меня?

Её сердце застучало быстрее, и тут же, мгновение спустя далеко впереди горизонт обозначился лиловым всполохом.

Может быть иная любовь сильна не от близости, а от разлуки?...

Из-под вновь темнеющего холодного зарева прямо по морю понеслась к Анне огромная пурпурная тень. Она, замедлившись, проплыла под самой лодкой, качнув её, и странница, едва сознающая себя от блаженного ужаса, различила в этом необъятном силуэт Рыбы, словно лежащей на боку, и так велико было это Существо, что, казалось, аннина яхта легко уместилась бы на половине Его хвоста.

Завернув направо, Рыба сперва нырнула глубже, а потом вырвалась из черноты в мощном прыжке. Её священный милосердный свет не ранил человеческого зрения, как ранит солнце, но осветило весь досягаемый глазу мир: небо из ночного стало ясно-дневным, хотя в нём вместо одного светила горели подобия звёзд, даже море словно подёрнулось лазурью; и свет не канул вместе со своим источником, пребыл вокруг.

Чудо случилось и с аниным поясом — он окончательно ожил, сорвался с талии проворным змеем, удлиняясь и сверкая уже не тёмными редкими сапфирами, а словно алмазной россыпью. Заколка заменила ему голову. Обвив шею вокруг носа лодки, он особенно ярко сверкнул золотым кольцом. Анна подхватила со дна чудесную косу и бросила в воду. Судёнышко тотчас тронулось, и так быстро, что страннице пришлось припасть к кресту мачты, чтоб не упасть.

Её горе погибло, как окружавший мрак. Она смотрела на хвост влекущей лодку Рыбы и в веселье думала: «Это же кит».

...ужеовалоитне могла вспомнить, что такое время.

Глава СХХIV. Онтология Ораса Бьяншона

— Эй, ты всё ещё спишь?

Эжен вытянул себя из темноты.

— Сколько времени?

— Почти шесть. Кстати, вечера.

— Ты уже отработал?

— Да, — Орас раскладывал на столе будущий ужин: свежую булку, сыр, морковь, пучок сельдерея, — Вот. Твой Макс верно говорил: на одной колбасе живо схлопочешь цингу, а несвежее мясо опаснее несвежих овощей, и распознать его трудней... Вот только чем это чистить? — взял в одну руку ланцет, в другую — хлебный нож, похожий на мачете.

— Я могу помочь.

— Какой тебе инструмент?...

— Любой.

Орас протянул первое оружие и рыжий корешок.

— ... У! ловко у тебя выходит.

— В детстве я знал парнишку — он готовился в краснодеревщики, отец сизмала давал ему для тренировки корешки, и он за полчаса мог вырезать из репы женскую головку, а из моркови однажды сделал отличного жирафа. Это — ловкость. На.

— Спасибо... Будешь что-нибудь? — спросил внушительно.

— Дай пару стебельков. И выпить, если есть... *Выпить* я сказал, а не попить.

Медик подлил в кружку с чаем этилового спирту.

— Другое дело... Я быстро вчера заснул?

— Довольно-таки.

— О чём мы говорили?

— ... Ты снова принялся за притчи: рассказал про какого-то типа, чья смерть якобы спасёт много жизней...

— А ты отвечал, что таким был и Бонапарт (а куда нам без него!), да и расплодилось человечество уже сверх всякой меры — за миллиард рыл перевалило по всему свету! — так что пара-тройка усердных душегубов только на пользу...

— Что за бред! Да убей меня Бог, если я сказал такое!

— Значит, мне это уже снилось?

— Конечно!.. Ну, подумай: кто и как может сосчитать поголовно всех людей на Земле? Ведь для этого нужно облазить все острова Индийского океана, прочесать тропические леса, просеять пустыни; собрать для переключки сначала всех папуасов, потом — всех тунгусов, потом — всех монголов, потом — каких-нибудь моче! Кто знает, может в центральной Австралии стоят города крупней Парижа, а может — там вообще не ступала человеческая нога!..

— Значит — со всеми неучтёнными дикарями — нас уже миллиарда три?

— Какое там! И коренная Америка, и чёрная Африка, и Океания вымирают от оспы и сифилиса, завезённых европейскими колонистами, за что, надо признаться, Азия всегда готова расплатиться с нами очередной чумой, холерой или каким-нибудь бешеным гриппом. Знаешь, сколько демонов может уместиться на кончике иглы? До полутысячи! Демонами я называю болезнетворные микроорганизмы. Во всём мире их в сотни тысяч раз больше, чем

всех остальных живых существ вместе взятых!

— Господи, какой кошмар! Как же до сих пор мы все не передохли?

— Нас защищают изнутри какие-то другие бактерии.

— Биологические ангелы-хранители?

— Да. Впрочем, это мы оцениваем их как злых или добрых, но, в сущности, они — просто иное измерение жизни. Бациллы поступают с человеком или коровой, как конкистадоры — с новым материком, а там их либо выбивают вон местные племена, либо те и другие научаются жить дальше вместе, либо их война заканчивается взаимным полным истреблением...

— А весь материк проваливается в тартараты, как Атлантида... Это разве не притча?

— Именно так всё и происходит!.. А вот человека, способного убить триста тысяч себе подобных, не существует, равно как невозможно умертвить усилием мысли кого-то на другом конце планеты, и уж тем более — разбогатеть на этом!

Тут ниоткуда — как всегда — возник в прихожей Эмиль с весёлым возражением:

— Можно-можно! (Всем привет!) Вот Рафаэль... Он, кстати, цел?

— Целёхонек, — сказал Эжен.

— Вот, значит, Рафаэль — он убеждён, что человек в натуре может развить у себя способность обращать мысль в невидимые ураганы, которые, проникнув в чужую башку, тут же сделают из мозга размазню.

Орас: Чушь!..

Эмиль: Вот он развил у себя такое умение, и вот — не будь дурак — посылает свою тень в сон того же китайского императора (- *завывая* —): «Вышли мне в Париж на абонентский ящик N 25 сто миллионов золотом, или через неделю твой первый министр умрёт!» Конечно, император гордо проигнорирует этот глюк, и тут-то наш чародей воплотит фантазию Руссо — дистанционно порешит мандарина, а его боссу в очередном сне пригрозит: «Гони тыщу миллионов, не то сам окочуришься!», и тут уже скепсис места не возымеет... Вот так вот.

Эжен: Если только так... Ты сам откуда? чем занимался?

Эмиль: А, ерундой всякой. Только что толкнул пацанам из «Фигаро» идею карикатуры на Деплена: стоит он над разъятым трупом — таким, что все кишки наружу — обеими руками, этак вот гостеприимно, указывает на них вон Орасу и говорит: «Добро пожаловать в органы, сынок!»

Орас: А я то-тут при чём!? И что тут вообще смешного!?

Эжен: Такой фразой обычно приветствует новобранца начальник жандармерии.

Орас: Тьфу!!

Эмиль: Да не парься, тебя там даже не узнать. Деплена тоже. Просто хирург и ассистент...

Эжен: Скорей, патологоанатом, и, между прочим, — убийства, трупы, полиция... Ты ни на кого больше ничего не сочинил?

Эмиль: Оф-кос! — Как договаривались... Домой-то собираешься вообще?

Эжен: Пожалуй, надо..... Пока, Орас, спасибо за приют.

Глава СХХV. Золотой песок

— Ну, на четвёртый раз я вас застал, — сказал Даниэль, входя под вечер в эженву квартиру.

— Неплохой результат ввиду того, что здесь я бываю реже, чем где бы то ни было.

— Вы сможете выкроить для меня полчаса из своего времени?

— Времени у меня куда больше, чем пространства.

— То есть вы опять куда-то собираетесь?

— А что ж тут...

— Простите меня ради Бога, господин де Растиньяк, Эжен... У меня к вам такой разговор, что лучше пребывать в неподвижности — чтоб сосредоточиться...

— Ну, ладно, посидим.

— ... Я покинул библиотеку ради вашего приюта, его постояльцами заменил книги, но не извлёк из них ничего такого, что могло бы пригодиться в моей работе. Истории я услышал, но какие? Просто унылые и жалкие. Современный читатель стремится к познанию мира, общества и его законов, нуждается в произведениях изысканных и при этом монументальных, воспитывающих чувства и насыщающих разум. Жизнеописания слабых и глупых людей, ставших жертвами обстоятельств или по своей вине впавших в ничтожество, только разочаруют его... Поверьте, мне было очень трудно прийти к вам. Это всё равно что прейти Рубикон — по пути из Рима... Мне пришлось бороться с моей гордостью, смириться с печальнейшей истиной: я могу составить хороший текст, но не способен создать новую реальность — **сочинить**; подобно тому, как Луна в состоянии дивно озарить земную ночь, но только отражённым светом... Чтоб быть писателем (а я ни на мгновение не усомнился ещё, в том, что именно это — моё призвание), мне нужны чужие истории. И не чьи попало, а именно ваши, Эжен! В них никогда не будет убожества... Пусть человечество навсегда потеряет поэмы Гомера, если бы я заявился к вам так, зная, что вы сами претендуете быть литератором, но вы многократно уверяли меня, что не желаете писать. Возможно, просто из-за чересчур кипучего, неугомонного темперамента вам претит усердный и долгий труд; возможно, какие-то предрассудки и суеверия встали между вами и искусством, но более всего я подозреваю, что именно великая мощь вашего таланта, его бушующая избыточность внушает вам — наперекор вашему бесспорному мужеству — страх — перед самим собой, но, согласитесь, такой дар не должен пропасть для современников и, возможно, потомков! Людям нужно читать, это стало их физической потребностью, поэтому они и платят так щедро хорошим романистам. Ещё позавчера я мечтал о славе и богатстве, которых добьюсь как писатель, а сегодня я хочу только одного: донести до мира свет вашего гения, смягчив и остудив его своими скромными силами...

— ... Я уже могу говорить? — спросил Эжен с потешно наигранной робостью.

— Да-да, конечно! — Даниэль сперва вспыхнул от стыда, потом обиделся: его монолог не вызвал у собеседника никакого отклика, он, Эжен, только ждал своей очереди на речь.

— Всё просто: когда русские войска заняли Париж, молодая вдова наполеоновского лейтенанта Сабина Сапен, ставшая проституткой, зарезала русского офицера, с миром и золотом пришедшего к ней на ложе; вся Франция сочувствовала мстительнице, но король и суд в угоду военным союзникам отправили женщину на гильотину.

— ... Что ж... Да... Спасибо... Одно/два предложения — а мне предстоит превратить

их в роман на тридцать печатных листов.

— В добрый час. Если возникнут загвоздки, ищите меня у Фликото или приходите к полудню на улицу Мучеников: дом 40, квартира 40.

Даниэль легко набросал за четыре дня сто двадцать семь страниц. Он был сам удивлён своей прытью и доволен тем, как вывел характеры, душевные порывы, какие нарисовал портреты. Он, кстати, снова воспользовался «Домом Воке» — там ему во всех красках и со всех точек зрения описали четырнадцатый год, но работа всё-таки застопорилась из-за одной частности, вроде бы и не обязательной, но Даниэль пошёл на принцип и в назначенный час постучал в отремонтированную дверь масковой квартиры. Открыл ему оживший мраморный (Не выходя в свет, Макс не сурьмил бровей, ресниц и усов) Антиной в лёгкой тоге (Анастаси уговорила друга закутаться в простыню). Оба удивились.

— Вы от Эжена? — нашёлся первым Макс.

— Да... Он здесь?

— Нет.

— Ну, значит, он скоро будет. Он назначил мне встречу по этому адресу в полдень. Мне подождать его снаружи?

Макс улыбнулся:

— Заходите.

Даниэль остолбенел в шаге за порог: сколько тут книг! старинных! должно быть редких! Тут из спальни вышла Нази. На ней была мужская рубашка, заправленная в чёрно-зелёный килт, на ногах — какие-то грубые боты, на голове — нечто противоположное причёске.

— Я — граф Максим де Трай. Это — госпожа Анастаси, моя графиня, — сказал Макс гостю через плечо, — А вы, если не ошибаюсь, Даниэль д'Артез, писатель. Присядьте — хоть на диван: так вам будет удобней рассматривать мою библиотеку.

— Спасибо, — еле прошевелил языком Даниэль.

Нази села рядом с ним, положила ногу на ногу.

— Могу сообщить вам плохое и хорошее известия, — продолжил Макс, — Эжен не придёт. Он и не собирался. Он лишь предвидел, какого рода камень претковения возникнет на вашем пути, и направил вас к тому, кто сможет помочь, поскольку для него самого ваша проблема — одна из немногих неразрешимых ввиду его паталогического целомудрия...

— Простите, я не совсем вас понимаю...

— Вам ведь нужно попасть в публичный дом?

— ... Д-да, для работы... Эжен заранее предугадал всё и предупредил вас!?

— Пусть будет так.

— ... Какое же хорошее известие?

— Я согласен вам помочь. Правда, с одним условием: придя в бордель, вы воспользуетесь его услугами; расходы я готов взять на себя.

— Зачем вам это нужно?

— Затем, что там не картинная галерея, куда можно *смотреться чисто поглазеть*, как сказал бы Эмиль Блонде. Данте заработал свою знаменитую экскурсию тем, что женился на нелюбимой женщине и отправил на смерть лучшего друга. А вы собрались осматривать храм насилия и лжи — возвышенно-безучастно? Это бессовестно, сударь.

Даниэль сжался, закусил губы, отвернулся от алмазно острых и холодных глаз Макса.

— Не такая уж это необходимость... Просто было бы неплохо... точно описать место

действия, вернее, одного эпизода... Нет, ваше условия для меня неприемлемо.

— Как угодно. Хотите чаю?

— Вы очень любезны, — Даниэль наконец привык к соседству голых коленей графини и побеседовать с эксцентричным библиофилом был совсем не прочь.

— У вас великолепное собрание книг... А вот Эжен совсем их чуждается... При том что, как мне кажется, у него есть литературные задатки... Но, конечно, это такой труд... Хороший роман нужно писать семь лет, а то и больше... Сейчас популярны обращения к истории, но во Франции пока не появились по-настоящему талантливые произведения этого рода, между тем любое из прошлых царствований, начиная с Карла Великого, требует по меньшей мере одного романа...

— А двести семьдесят лет правления Меровингов вы находите слишком скучными?

— Нет, просто... о тех веках довольно мало известно...

— Зато карлова империя до боли свежа в памяти, — как-то уязвлено усмехнулся Макс.

— Разумеется, нет! Но деспотичное, эгоистичное и братоубийственное господство Меровингов было действительно однообразно и тускло — по сравнению с внезапно расцветшим и просвещенным государством, в котором равно ценились доблесть и мудрость, меч и книга. Карла окружали интереснейшие люди со всех концов Европы, его Академия стала оазисом духовности в пустыне неизжитого варварства. Войны велись не только ради преумножения собственных земель, Карл приходил на помощь притеснённым христианским народам, и это было благородней Крестовых походов, ибо французы не нарушали, а возвращали мир другим странам! — Даниэль хотел лишь показать свою образованность, но распалил воображение, — Если бы я взялся описывать ту потрясающую эпоху, то вывел бы героя, вынужденного выбирать между местом в Академии и военной карьерой.

— И что бы он предпочёл? — Макс присел к столу, наклонился вперёд...

— Второе показалось бы ему более престижным, но трагически ошибочно...

— Такой выбор, — задумчиво кивал Макс, — сделал не один человек, а целое поколение.

— Тем интересней был бы роман!.. Но я должен сперва закончить повесть. Хотя бы ради гонорара: надо же на что-то жить...

Макс взял со стола книгу и подал гостю новинку — мемуары Казановы:

— Вот, почитайте. Не думаю, что за последние сто лет бордели сильно изменились.

На два следующих дня Даниэль вернулся в свои пятнадцать лет и, как настоящий школьник — от надзирателя, прятал в рукописях и белье фривольное чтиво от друзей. На третий он понёс «Сабину» Фино. Издатель выслушал, листнул, вздохнул и сказал:

— Шестьсот.

— Но она почти вдвое объёмней «Роже Обиньяка» и, на мой взгляд, серьёзней.

— В том-то и дело. Публикуя эту, скажем так, политически некорректную вещь, я сильно рискую. Посудите сами, что следует из вашего опуса: что наше возрождённое королевство стоит на костях обездоленных женщин, вдов, принесённых в жертву иноземным оккупантам? Что наш государь пресмыкается перед русскими? Что во всей Франции не нашлось молодца, способного защитить сестру-патриотку?... Надеюсь, вы меня поняли?... Переделайте финал, спасите бедняжку — любой ценой.

Даниэль помчался к своему вдохновителю.

В тот вечер Эжен впервые принимал у себя Макса и Нази. Береника не сразу пустила их разахалась на пороге, что там несусветный бардак, а Эмиль предложил чете повременить в

квартире наверху, многозначительно пообещал полный покой на полчаса.

— Мы постараемся быть аккуратными, — тихо и счастливо обещал Макс, считывая из мыслей приятеля, что тот видит в своей уступке такую же честь для себя, как если бы приютил Ромео и Джульетту.

Макс не планировал ничего необычного, но нашёл на столе остро отточенное перо...

Через сорок минут, то есть в тот момент, когда Даниэль отворил незапертую дверь Эжена, в самой дальней комнате этой квартиры на плотно укрытой кровати Нази слушала, как медленно меркнут на теле звёзды тысячи уколов, окутавших его горячей сетью; её голова лежала на коленях Макса. Береника что-то штопала у окна. Эмиль сидел у её ног. Орас и Эжен — у камина. На втором и последнем стуле стояла ваза с печеньем. Бутылку с вином сразу забрал Эжен, впрочем, все желавшие успели себе налить, а с Орасом, для которого не нашлось кубка, Эжен делился по первому жесту.

— Давайте загадывать загадки, — услышал Даниэль предложение Эмиля.

— Я не знаю ни одной, — этот голос не мог принадлежать никому, кроме Ораса Бьянсона.

— Сочини сам. Смотри: на чёрном лице — белые веснушки.

— Где?

— Ночное небо, — угадал Макс.

— Твоя очередь.

— Один человек полтора года сыт двумя ягодами.

— ... Это грудной ребёнок, — отозвался Эжен.

— Вы лысен ту-ю!

— ... Двадцатипалый скорпион доедает черепаху, расклёванную четырьмя орлами; на хост ему села ночная бабочка, прижав его к земле; в клешнях у скорпиона — два сломанных копья, и два подобных держит бражник; на скорпионьи копья наколото по листу каштана, на бабочкины — по дубовому листу.

— Картина Босха, — буркнул Макс.

— ... Такое безобразие, — заговорил Орас, — может оказаться... человеческим скелетом.

— Вполне.

— Ага. Значит теперь мне загадывать? Что ж, ... как вам одна голова с десятью черепами?

— Яблоко, — почти хором сказали Эжен и Эмиль, — Я знал, что это будет что-то съедобное, — со смехом продолжил последний.

Тут Даниэль постучал по косяку и заглянул в спальню:

— Доброго вечера, господа. Простите, что без приглашения...

— Не беспокойтесь, этих я тоже особо не звал, — ответил Эжен.

— Здравствуй, Даниэль, — Орас вскочил, как солдат перед командиром, — Я тут заглянул... к знакомым...

— Ээээ, — презрительно протянул Эмиль, отворачиваясь к Максусу.

— Ну, что ты, Орас! — Даниэлю тоже стало стыдно за доктора, и не только, — Я был бы последним узколобым ханжой, если бы считал зазорной дружбу с такими людьми, как Эжен...

— Макс и Эмиль, — напористо завершил журналист.

— Это Эмиль Блонде, — пояснил гостю Эжен, — и его невеста Береника, — и

своим, — К нам пришёл Даниэль д'Артез; он принёс либо немножко денег, либо пару вопросов.

— Увы... — начал писатель.

— Да что ж это такое! — возмущённо перебил Береника, — Давайте я схожу к нам за стаканами. Не гоже из горла-то угощаться.

— Я сам сгоняю, — поднялся Эмиль, — Ты сегодня уже набегалась.

Эжен тем временем проворно встал на колени, снял со стула посуду и подвинул сиденье Даниэлю. Тот присел у стены, а Эжен, как нарочно, из шутовства, церемонно-вассальным жестом, словно корону поверженного врага, подал ему вазу с вафлями. Ничего не оставалось, как благодарить и ждать Эмиля. Тот вернулся с двумя бокалами и бутылкой шампанского, которую сразу сунул Эжену; пробка хлопнула, едва успел сказать: «Открывай».

— Вам штрафная — за опоздание, — объявил Эмиль Даниэлю, наливая до краёв.

— Но я не ко времени шёл...

— Значит, для храбрости... Держи, друг Орас.

— А Эжену-то! — суетилась Береника.

— Ему — самая лучшая посуда, — и Эмиль опять вручил соседу бутылку, взамен другой, уже опустошённой. Эжен глотнул и вернул:

— Макс с Нази плесни.

— Ну, как вам у нас? — приватно спросил Эмиль у Макса, цедя шампанское.

— Very nice. Береника, что за изумительные инструменты хранятся в розовой коробке из-под перчаток, продававшихся в комплекте с веером?

— Это чтоб цветы делать из накрахмаленных лоскутов.

— За сколько вы мне их уступите?

— Да так берите, если надо.

— Я оболью их лучшим серебром...

— А где Рафаэль? — шампанское и впрямь загасило даниэлевую робость.

— Ну его к чёртовой бабушке! — вспенился Эмиль, — Нам, видите ли, не нравится, какую работу надыбал Эжен — липовые мемуары троюродной тётки. Я ему говорю: слышь, если знаешь фарси, переведи нам «Книгу Царей». С рифмами олвейс хелпну! Да что ты! не это же уйдёт вся жизнь! Я ему: жизнь — она так и так уйдёт. Лодырь!..

— Да переведу я тебе твоих персов, — унял его Макс.

— Угу. Ласт хоуп.

Даниэль: Вы меня ещё раз простите...

Эмиль: Чего? ещё налить?

Даниэль: Нет, спасибо. Просто я немного тороплюсь...

Эжен: Ну, так говорите скорей.

Даниэль: Издатель требует изменить повесть — оставить героиню в живых. Сослался на политические аспекты, но мне кажется, ему просто по-человечески жаль её...

Эжен: Что ж, давайте спасать. (*- жестом подозвал ближе Эмиля; тот раскрул свой «ноутбук» (записную книжку) и послонявил карандаш —*) Назовём нашу историю «Двенадцать друзей Монкарнака», потому что так звали типа, который сколотил команду их таких же, как он сам, задвинутых парней. Он, Фернан, ходил с Наполеоном в Египет, где нашёл в заброшенной гробнице какие-то апокрифические манускрипты (а в придачу пару амулетов, предположительно фараонский скипетр и ещё что-то такое); принялся он читать

свои папирусы со всех концов, ни черта не разобрал, конечно, только понял, что всё, чему его учили раньше — полная туфта, и больше так жить нельзя. Его первым другом стал Завулон Леви-Бранд, называвший себя мальтийским рыцарем. В молодости он пиратствовал: нападал на работоторговцев, захватывал негров и отвозил их на свой секретный остров, где давал им землю, учил их разным наукам и ремёслам. Один из этих чернокожих освобожденцев, Трештиго Сомбака, так полюбил своего благодетеля, что заделался его телохранителем и вечным спутником; всё свободное время они проводили в дискуссиях, что эффективнее против болезней и для хорошей погоды — написать и выразительно прочесть три-четыре арамейских буквы или зарезать пёстрога петуха. Третьим (точней, четвёртым) в компанию влился Таризель де Балантре, меланхоличный знаток санскрита; последователь брахманистской доктрины, он считал себя воплощением всех когда либо живших Меджнунов. (- Эмиль хихикнул; Макс и Нази вышли из своей законной прострации и многомысленно переглянулись-). К ним примкнули два итальянца — Джанфранческо Тьяцци и Марио Синоби, оба — оголтелые карбонари, преданные делу свободы и друг другу, как чёртовы Пьер и Джафьер. Киприан ван дер Оор седьмым постучался в штаб-квартиру Манкарнака. Он был переодетой женщиной (Одретта фон Ауфмеркзам его звали на самом деле) и хорошо разбирался в нарядах. Восьмым подрядился Улисс де Керкабон по прозвищу Одинокий Вомбат, сын гурона и француженки, от отца взявший тонкий слух и обоняние, а от матери — почтение к энциклопедистам. Девятым пришёл капитан Рамбаль, побывавший в плену у русских и бежавший от них вместе с малолетним Вансаном Май, барабанщиком и пролазой, которого будем считать десятым. Одиннадцатым затесался Люциус Уистлер, англичанин, уверяющий, будто достиг высшего уровня магнетизма и может одним движением руки сдвинуть с места пушку, стоящую в полукилометре от него. Двенадцатого никто не ждал, но русский офицер Митрофан Пужалов не мог смириться с тем, что по вине его народа погибнет незащитная вдова. Последний, тринадцатый компаньон, всех заткнул-таки за пояс: это был грузинский вельможа, родич знаменитого князя Багратиона Амиран Амилахвари. Формально российский подданный, он не любил славян: слишком его родная, горская культура отличалась от долинной, слишком очарован он был преданиями и традициями своих предков, у которых, кстати, в особой чести была месть. О Сабине Сапен он думал, что лучшей жены не сыскать во всём свете и — да — собирался выволить её, чтоб, несмотря на скромную родословную и малопочётную профессию, просить её руки... Ну, вот, в вашем распоряжении неплохой отряд, а что ему делать — решайте сами.

Даниэль (жалобно): Я не запомнил их всех...

Эмиль (протягивая три вырванных листочка): Я вам записал!

Даниэль (убито): Мне пора. Спасибо. До свидания... Господа...

Общее прощание, потом молчание... Вдруг Эмиль вскочил, накинул маково пальто, эженов шарф и помчался догонять Даниэля. Настиг уже на улице:

— Эй! погодите! Мне тут тоже пара мыслишек заскочила. Во-первых, из этих друзей можно забабахать обалденную франшизу! Тринадцать книг, чтоб в каждой рулил кто-то один, а другие — на подхвате. И ещё было бы прикольно, если бы то и дело их таланты висели над лужей, то есть им приходилось делать то, чего они не умеют, там: женщине — драться, магнетезёру — разбирать каракули, негру — тащиться на свидание, ведь грош цена ж книге, в которой не над чем поржать!

— Почему вы так странно говорите?

— Хашеньки! А почему вы так странно пишете? У вас из семи прилагательных — пять в

превосходной степени.

— Видимо, в такой степени пребывали качества описываемых мною людей и вещей. Или я не имею права использовать возможности французской грамматики?

— День деньской у моря синего-пресинего ревмя режут и воем воют чуда чудные и дива дивные.

— Что это?

— Маленькая пародийная стилизация.

— Уж тавтологиями-то я точно не грешу!

— Тавтологии служили для усиления эффекта — до изобретения степеней сравнения и синонимов. Лет через триста ваши нагромождения покажутся такой же неладухой.

— ... Вы считаете меня бездарным?

— Да нет! Сейчас кого ни открой — на второй странице либо увязнешь в сложноподчинённом со вводными конструкциями и причастными оборотами, либо оглохнешь от превосходностей...

— Вы все стремитесь снабдить меня идеями...

— Так вы за этим и пришли.

— По-вашему, я не в состоянии ничего придумать?

— Придумать может любой дурак, а вот написать!..

— ... Тринадцать человек... Не слишком ли много? И число какое-то...

— Очень хорошее и важное число — столько было апостолов вместе с Христом и древних пэров с королями.

— Как жаль, что сам Эжен не захотел дружить с Монкарнаком, — чуть слышно посетовал Даниэль.

— Уж такой уж он гордец. Или скромник...

— ... Я чувствую себя художником, нашедшем модель своей мечты, но не знающим, как уговорить её позировать.

— Значит, остаётся зарисовывать исподтишка. Глядишь, со временем получится и что-нибудь толковое. Кстати, вы, наверное думаете: «Чего это он за мной идёт?». Во-первых, одному на улице небезопасно: в городе рыщет маньяк, для забавы убивающий молодых парней вроде нас. Во-вторых, Макс сказал, что отдал вам моего Казанову... Нет, ну, ведь это надо же! Я неделю валялся у него в ногах, чтоб он согласился посмотреть (ведь он позднее семнадцатого века ничего не читает); надеялся: может, Нази понравится...

Не усмотрев в своих окнах света, Даниэль пригласил спутника подняться. В мансарде он сразу обнаружил следы визита друзей: в топке — головня, на каминной полке мелом начерчены три крестика, на столе записка. Первым схватил её Эмиль.

— Это мне! — возмущился писатель.

— Да ладно. Слушайте: «Дорогой Даниэль! Мне страшно: я уже дважды видел тебя в компании Растиньяка и заключаю, что если ты ещё не продал душу дьяволу, то задаток он явно внёс». Это кто у нас такой умный?

— Фюльжас Ридаль.

— А на камине чьё художество?

— Мишеля Кретьена. Он всегда ставит такие крестики, если кто-то не приходит на собрания.

— У них есть ключи от вашей квартиры?

— Да. У каждого... Вот ваш Казанова, — достал из-под матраса, — Надеюсь, они его не

видели.

— Э! Да чего скисли? Плюньте и разотрите!.. А хотите я вам стих расскажу — сам сочинил. И не просто стих, а гимн для моего будущего собственного журнала. Я назову его «Астерикс», а гимн, соответственно — «Блондеза». Он как раз для вас — как литератора:

Отрекитесь от старых иллюзий,
Сбросьте прочь пелену с ваших глаз,
Прекратите читателя грузить
Чугуном обобщающих фраз.
Вы людей красотой сумеете занять,
Чудеса им нужны, приключения,
А на прочее без исключения
Плевать! Плевать! Плевать!
Каждой книжке с душой и сердцем
Журналист до безумия рад,
Но сожрёт он и с солью, и с перцем
Ерунду, клевету, плагиат.
Пусть писать перо и бумагу берёт
Не корысти, но истины ради.
Тот, кто думает лишь о награде —
Урод! Урод! Урод!
Благородных людей, мастер прозы,
И деяния их опиши.
Пой, поэт, про фиалки и розы,
Ведь и в правду они хороши.
Мы же сделаем всё, чтоб любил вас народ,
Ребята, камон эврибади!
Всем нам есть чем блеснуть на параде.
Вперёд! Вперёд! Вперёд!

Даниэль засмеялся, Эмиль — тоже:

— Здорово, да?

— Да! Особенно «до безумия рад» и... предпредпоследняя строка... А первый куплет — простите — меня не слишком очаровал. Мне даже показалось, что вы адресуете свой манифест не собственно литераторам, а лишь беллетристам, — покосился на записку, обернулся на кресты, — Ох, как же мне всё-таки быть...

— А вы вот чего: прикиньтесь, что ничего не было. Бумажку в огонь, каракули — в воду, а спросят: «Находил ли? видел ли?» — вы: «Нет, ребяташки, ни сном, ни духом!». А станут дальше наезжать, пошлите всех подальше! Пусть в своих квартирах качают права!

— Они — мои друзья!..

— Друзей тоже надо время от времени окорачивать... Ну, бай! Вам ещё того, работать...

После бессонной и бесплодной ночи Даниэль не нашёл ничего лучше, как пойти за советом к Фино. Тот, чуть не до крови расчесав затылок, пригласил следующего посетителя, Рауля Натана, передал ему Сабину Сапен и двенадцатерых друзей Монкарнака с тем, чтоб

тот за неделю сделал из них Белоснежку с гномами, или больше не показывался пред ясные очи издателя. Когда Рауль удалился, Фино, вытер платком сухое лицо и весело сказал:

— Ну, вот и гора с плеч. Берите свою тысячу и творите дальше.

— Тысячу — за недоделанную работу?...

— Щепотка золотого песка ценней, чем готовый кирпич.

Даниэль откланялся, стараясь не рефлексировать по поводу этого афоризма, и направился напрямиком к Фликото. Близился бело-голубой полдень.

В ресторане для нищей молодёжи пришлось продираться сквозь на удивление весёлую гурьбу, особенно тесную у ближайшего к кассе стола.

— Ты мне отказываешь уже седьмой раз! — возмущался в этом эпицентре незнакомый пока Даниэлю Бисиу, — Ты посмотри, какие шобоны (заношенную до неприличия одежду (диалект.)) я на себя напялил! Мне до конца месяца от стыда дома отсиживаться, так дай хоть на подполье свою долбаную сотню!

— У тебя часы в кармане. Заложи их, — играл в неумолимость Эжен.

— А как, скажи на милость, я буду время узнавать? По солнышку?

— У ближних спрашивай.

— Давай я их тебе отдам! — Бисиу со всей злости ахнул свой брегетик о стол — тут бы и конец пришёл им, часам, но Эжен мгновенно и точно подставил ладонь, спасая их поимкой:

— Что ж, пусть будут.

— Гони бабки!

— Слушай, у меня осталось всего триста, а народу глянь ещё сколько. Не будь бараном, переоденься и иди на работу.

— Проваливай, клоун! — закричали из очереди, — Ты зашибаешь полторы косых в месяц!

— Я тебя ещё достану, Растиньяк! Запомни это! — пригрозил, уходя, прилипала, а к Эжену подсел — Даниэль глазам не мог поверить — Жозеф Бридо, художник, член Содружества с улицы Четырёх Ветров:

— Не беспокойтесь, мне не нужны деньги. Я лишь хотел бы испросить разрешения походить на этюды в Дом Воке.

— Этюды — это что?

— Небольшие картины без сюжета, зарисовки...

— А, рисование! Здорово! Приходите в любое время и на любой срок. Хотите часики? — Эжен протянул Жозефу трофей от Бисиу.

— Нет, благодарствуйте.

Художник ушёл, не заметив в толпе друга-Даниэля. Эжен встал:

— Ну, всё, люди, дальше говорю только с теми, кто пришёл пустым. Или, конечно, с теми, кто хочет мне что-нибудь безвозмездно вернуть.

Следующему просителю он отказал за слишком чистые ногти, двум другим дал по сотне, к четвёртому придрался из-за галстука, над пятым и шестым сжалился двумя полтинниками.

— Господа, — сообщил нерасходящейся толпе, — я исчерпался.

Тут Даниэль, превозмогая стеснительность, встал и тише, чем хотел, сказал:

— Я возвращаю вам долг, — и поднял над головой банкноту в пятьсот франков.

Ему тот час дали дорогу к главному столу. Эжен озадаченно взял ценную бумагу:

— Так... И что мне с этим делать?... Народ, никто не разменяет? — все засмеялись, — Ну, может, у кого хоть ножницы завалились? — снова смех, — ... Мэтр, — обратился Эжен к Фликото, наблюдающему за собранием, — хоть вы нам помогите.

— Не могу, — ответил ресторатор, — вчера закупил фасоли и солонины, так что самая большая сумма у меня сейчас в долговой книге.

— И сколько там, если не секрет?

— Шестьсот двадцать три франка.

— Ага, — окружающим, — вот случай возместить нашему кормильцу. Я отдаю эту бумаженцию, а вы скиньтесь по франку, и кредит господина Фликото станет просторен, как прерия... — никто не отозвался, — Эй, я знаю, что у большинства из вас в карманах по сотне, а то и больше!

Но люди, потупившись, пятились, неразборчиво ворча.

— Ах вы шкуры! Гроша жалко — для братьев!? — загремел Эжен, — Убирайтесь вон, чтоб духу вашего здесь не было!!

Бедная молодёжь послушным стадом вывалила на улицу.

— Что за ублюдки! — шёпотом рыдал Эжен, катя из глаз настоящие слёзы.

— Однако, это были не только ваши клиенты, — заметил Фликото.

— У меня есть ещё,... — начал Даниэль.

— Да не рыпайтесь вы! — Эжен подошёл к прилавку, выгреб из кармана полную горсть серебра и золота, присыпал ею купюру, — Считайте, — вернулся к Даниэлю, уже сидящему за его столом, — Простите за грубость... Сглазил меня ваш дружок.

— Который?

— Художник.

— Вы давно с ним общаетесь?

— Впервые видел. Имени-то не знаю...

— А как же?...

— У вас на лице всё было написано.

— Мне казалось, вы на меня не смотрите... Что значит *сглазил*? Опять какое-то... поверье?

— Просто чувство — пакостное такое, словно душу из тебя вытягивают!

— Лишние, — сказал Фликото, отодвигая монеты; Эжен опять снялся с места:

— Я должен убедиться, что записи аннулированы.

— Сделайте это сами, — ресторатор почтительно подал ему перо и раскрыл свой гроссбух; Эжен глянул исподлобья и разом выдрал из книги все хоть мало-мальски замаранные страницы.

— Ну, и правильно, — быстро улыбнулся Фликото — ни дать ни взять, седой бургомистр перед молодым князем, — Выбирайте, что угодно, для себя и друга — угощаю.

Эжен кинул на свой стол папку с меню, ничуть не угрожая Даниэлю, ещё раз посмотрел в лицо хозяину. Тот схватился за фартук, как будто приготовился к побегу, но устоял...

— Не стесняйтесь ради Бога, — тихо сказал Эжен, снова склоняясь над столом и почти упираясь лбом в лоб соседа, — Я удивлюсь, если этот старый хрен нажёт меня меньше, чем на четвертной.

— Возьму треску в кляре, рис, куриную котлету и... абрикосовое варенье. И булку... И чай. Сладкий.

— Мне тоже варенье.

— Жозеф Бридо — так зовут художника. Из всех нас он наименее умеет контролировать свой талант, свои эмоции и воображение. Если он вам показался мрачным, угнетённым, на то есть причины. Совсем недавно он принёс нам свою новую картину. Она была крупнее всех предыдущих, а он с порога назвал её шедевром, но, когда развернул,... наше разочарование граничило с ужасом и очень скоро целиком уходило в него. Мы увидели, как какой-то седой бородач, отрезающий ногу молодой женщины...

— Живой или мёртвой?

— Не только мёртвой, но уже порубленной кусков на десять!.. Жозеф сказал, что это библейский сюжет — расчленение наложницы левита. Ещё говорил, что начал работу в манере Караваджо, но всё же увлёкся цветовой гаммой, может быть, больше, чем следовало. Вдруг он осёкся — увидел наши лица... Сперва допытывался, что нам не нравится, а в конце концов схватил мой перочинный нож, располосовал холст и побросал клочки в огонь.

— Нда, веселуха там у вас...

— Может, вы и правы были насчёт проклятия, тяготевшего над Луи Ламбером... Мишель Кретьен мечтает о создании всеевропейской федерации с единой валютой и общим комитетом управления, но утверждает, что её возникновению должна предшествовать великая война или революция, которая оставит всю Европу и, может быть, часть Азии — цитирую: в руинах, осыпанных пеплом и омытых реками крови... Себастьян Мэро, естествовед, был одержим взаимосвязями инстинктов размножения и самоубийства. Например, оплодотворяемая паучиха пожирает своего паука, а сама потом отдаётся на съедение новорождённым паучатам.

— Он тоже уже с праотцами?

— Да, больше года...

— ... А ваша первая книга — та, которую раскритиковал Люсьен Шардон, — о чём она была?

— О нём, о Луи. Я хотел создать ему памятник, чтоб люди узнали, какой великий человек жил среди них, но страдания художника оказались никому не интересны.

— Опять страдания! Что ж вас так заклинило!?

— ... С другой стороны, не нужно думать, что это... безумие витает только среди моих друзей. Люсьен, никогда не встречавшийся с Луи, привёз в Париж роман о Варфоломеевой ночи, в котором оправдывал её инициаторов. Семнадцатилетний мальчик!..

— Я думал, он только стихи складывал.

— Нет, он мог бы быть неплохим прозаиком. Рукопись его «Лучника Карла IX»...

— Какого к лешему лучника!? В шестнадцатом веке уже во всю палили из аркебуз и мушкетов.

Даниэль не сказал того, о чём подумал, тем более, что его отвлекли шаги и речи новых посетителей Фликото. Эжен доел своё варенье:

— Ну, слава Богу. У вас есть ещё что ко мне? — а то я уйду.

— ... Раз уж вы взялись мне помогать, раз показали дно общества в лицах...

— Ближе к делу!

— Может, покажете теперь... высший свет?... Моя мечта — посетить дом какого-нибудь молодого аристократа, посмотреть, как там всё обставлено, чтоб просто не допустить глупого ляпа, описывая современное богатое жилище. Какая мебель в моде? какие обои? картины?... Нет, я, конечно, мог бы пойти в магазины, мастерские, но это не то. Нужно видеть каждую вещь в контексте обстановки, в ансамбле,... вдохнуть запах каждой

комнаты... В то же время в идеале это должен быть дом типичный, без особенной оригинальности, которая отличает, например, вашу квартиру... Я слишком обнаглел, да?

— Нет. Всё решаемо. Заходите послезавтра.

— Куда? Во сколько?

— Ладно, сам за вами зайду в час, — Эжен уже стоял у выхода и говорил через ползала.

— Дня? Или ночи? — не успел спросить Даниэль.

Глава СХХVI Святые жёны

Спаситель довёл лодку до синего фьорда под синим небом, подплыл под днищем и подтолкнул вперёд. Коса-канат рассыпалась и пропала в воде, только заколка упала к ногам Анны, которая тут же схватила её и трижды поцеловала, а потом скрепила ею свои волосы на затылке и, встав во весь рост, запрокинув голову, всмотрелась в стены залива. Она долго гадала, из чего они сделаны: с виду похоже на лёд — бывают же гигантские ледники на севере — а если это всё же камень, то какой-то невиданный ((не виданный — ею, на самом деле обычный опал)) — голубой и призрачно-прозрачный с зеленоватыми блёстками внутри.

Воздух в ущелье был лёгок и свеж, не холоден и не зноен, он двигался, но не так, чтоб можно было помянуть ветер. Взглянув на себя со стороны, Анна увидела бы хмурую настороженность. Она думала: «Эта земля имеет меньшее отношение к людям, чем все, мной пройденные». При этом, исполненная веры и мужества, она была готова к тому, что придётся скитаться дальше и дольше прежнего.

Вот нос яхты уткнулся меж двух валунов на излучине. Анна храбро смерила глазами кручу, оборвала рукава выше локтей и подол выше колен, ещё раз приладила виски и пустилась штурмовать лазурную скалу, мыслями о Боге, обращениями к Нему отгоняя страх и сберегаясь от неверных движений. Только выпрямившись на такой высоте, что голову просто отрывало от кружения, прикинула расстояние — не менее шестисот метров. Скорее отошла и осмотрелась.

Опаловое плато было облито белым перламутром в полметра толщиной. Из редких трещин тянулись былинки-паутинки с крошками-цветочками.

На небе плавно кружили друг в друге четыре сияющих хоровода. Каждый был непохож на остальные: один правилен и широк, его составляли крупные фигуры, светящиеся холодно и бледно; другой растянут в овал, тонок и розоват; третий, золотистый и чуть сплюснутый, — уже всех; четвёртый — белый, самый высокий и обширный, и в нём светлейшие духи не соприкасались друг с другом. Все они вращались вокруг огромной горы, которая казалась бы соседней планетой, встающей надо горизонтом, если бы её безупречный жемчужный купол не был на четверть снесён как будто бомбой, если бы не эти длинные синие молнии щелей, разбежавшиеся от пробойны...

Анна взошла на небольшой холм, чтоб рассмотреть подножье горы и увидела там целый лес цветущих деревьев. Среди белых, сиреневых, розовых крон мерещились крыши.

Соскользнула вниз и пошла. Под ногами появлялись новые растения. Они напоминали земные, но даже если бы Анна, вместо математики, увлекалась ботаникой, она бы затруднилась опознать их. Ей было странно, что все стебли белесы, а листьев нет; здесь словно невозможен зелёный цвет. Остановилась рассмотреть троицу пышных гладиолусов, расцветкой близких к ирисам и лишённых листьев. В шаге от них прямо из толщи разверзлась белая хризантема величиной с умывальный таз, а над ней с древесно извитого лаково-орехового ствола свисали гроздьями алые герани. Глянув сквозь них, Анна вдруг заметила обособленную хижинку и, бросив любование, поспешила туда.

Ей пришлось миновать заросли каприфоли, пройти мимо яблони, вдоль лобелийного газона, чтоб заглянуть в не застеклённое и не занавешенное окно дома, сложенного в основном из бледной яшмы, только рамы, углы и сильно выдвинутые карнизы его скромно и прямолинейно украшал красный камень.

В пустой сумрачной комнате почти прямо под окном, затылком к Анне сидела на коленях черноволосая женщина в светлом одеянии. Тонкими белыми руками она с трудом подняла с низкого столика небольшой кувшин, который был бы прозрачным, если бы не слишком толстые и гранёные стенки, и стала переливать в родственный ему стаканчик чёрную жидкость. При одном виде злой воды единственный аннин глаз заболел так, словно в него брызнули луковым соком, — в нём всё расплылось от слёз.

Женщина в доме услышала вскрик, тотчас спрятала черноту под фарфоровой крышкой, быстро и без помощи рук руками встала с колен, подошла к окну:

— Кто здесь?

Анна, вслепую отступившая на три шага, наконец проморгалась, но ещё нечётко видела и не знала, куда повернуться с ответом:

— Я... паломница, (- «вот, — подумала, — о чём бы поэму написать!» —) держу путь к Пресвятой Богородице, — после этих слов глаз окончательно прозрел и увидел в окне совсем юную красавицу с благородными и миниатюрными чертами лица, должно быть, самую белокожую из всех азиаток.

— Зайди ко мне.

— Спасибо, — англичанка подошла к окну и с непосредственностью своих тысячелетних предков вскочила боком на подоконник, перекинула полуголые ноги в комнату. Хозяйка отступила, удивлённо приоткрыв раскосые глаза и прикрывая кончиками пальцев без того сдержанную улыбку.

— Меня зовут Анна. Я давно блуждаю по Царству Правды, прошла весь Иден, пересекла весь океан, была на острове ведьм, у Изумрудной Скрижали, на островах всех растений и возвращения духов,... видела Страшный суд... и Саму Свет-Рыбу...

— Присаживайся... Что с тобой? Ах, это! Я сейчас уберу, — девушка подняла стаканчик, словно двухпудовую гирю, и унесла в угол за ширму.

— Мне только показалось, или ты действительно собиралась это пить?

Девушка вернулась, опустилась на пол напротив гостьи, сложила руки на коленях:

— Я не успела представиться, — с поклоном, — Изуми. Да, я хотела выпить чёрной воды.

— Но это... всё равно, что покончить с собой!

— Не для всех. Мы, здешние поселенцы, способны поглощать и разлагать зло внутри себя.

— И безболезненно?

— Нет, так не скажешь. Но ведь другого способа противиться прибытию океана нет. Ты хочешь что-нибудь поесть?

— Едва ли... Спасибо за любезность и гостеприимство, но я спешу. Если знаешь, как найти Мать-Богородицу, подскажи, пожалуйста, и я пойду.

— Тебе прежде всего хочется сбежать из дома, где держат чёрную воду.

— Ни один дух во Вселенной меня за это не осудит!

— Тогда я лучше выброшу её.

Изуми сходила за стаканом и на глазах вновь задрожавшей Анны вылила черноту за окно, после чего показала совершенно чистое доньшко:

— Теперь ты не торопишься?

— Я должна торопиться: моё тело ещё живо; родители и дочь ждут его воскрешения, но чтобы это случилось, я должна помириться с мужем, которого бросила, посчитав

безумным... С другой стороны, я здесь вроде последней деревенщины в столице, и мне стоит узнать, с чем я встречу, как себя вести... С третьей, — ... я успела встретить... другого человека, которого теперь люблю так, что готова навсегда остаться тут... Вот это, — вынула заколку из волос, — его талисман... Только благодаря ему я не погибла в море!.. И Свет-Рыбе, конечно... Разве я смогу теперь вернуться к мужу?

— Странно. Я не знала, что здесь есть люди, способные передавать кому-то свои вещи. Мой супруг (он на войне) однажды дал своё оружие новобранцу — просто подержать, а оно исчезло; пришлось делать новое.

— На войне? То есть, в Валхалле?

— В одном из ранних писем он упоминал подобное название, но так ли оно важно? Здесь же нет второго поля сражений, вот мы и говорим просто *на войне*.

— И вы с ним переписываетесь?

— Ты удивлена?

— Мне казалось, тут все жизненные узы рвутся...

— Только те, что причиняют боль.

— Значит, вы с ним были счастливы...

— Мы провели вместе четыре ночи, потом ему пришлось выступить с войском против враждебного клана — и погибнуть. Я убила себя и решила не возвращаться на землю, пока не кончится его служба и очищение. Он знает, что я его жду. Надеюсь, это его укрепляет. Я шлю ему весточку всякий раз, как выздоравливаю от отравления, а он мне — как оправится от ран, но мы не пишем о страданиях, наоборот: я рисую для него цветы, а он — слагает стихи.

— О! а можно услышать какой-нибудь?

— Пожалуйста:

О скольких зверях
Рассказал мне датчанин,
Не видевший, как
Распускает бутоны
Вишня весенним утром!

— ... Хм... Это такая у вас поэзия? И твой муж общается с европейцами!? Не писал ли он тебе об их генерале?

— Однажды. Вот слушай:

Европейскому
Полководцу чёрную
Воду принесли.

— Это тоже... стихотворение?

— Да. Не очень хорошее, но не взыщи: в том краю так пустынно, горестно и трудно...

— ... У меня не укладывается в голове! Как можно пить **такое**! По сравнению с этой проклятой жижей раствор цианида — клубничный компот!

— Её надо понимать... Она проникает сквозь кожу лишь тогда, когда изнутри тебя её притягивает обида. Если ты не держишь ни на кого зла, она сама тебя боится, потому что в этом случае твоё тело для неё — котёл смерти. Конечно, с ней придётся побороться. Проглоченная, она стремится прямо в голову и превращает тебя в другого человека — в того несчастного, чья память её составляет, помещает тебя в самый миг его бедствия. Если тебе удастся пережить чужой кошмар иначе — примириться или исправить, значит, мозг сделал свою работу, и дело осталось лишь за печенью и почками. Есть показательный рассказ об этом. Хочешь?...

— Конечно!

— Умер лама...

— Американский верблюд?

— Буддийский монах.

— Ой, прости...

— С ним одновременно — кузнец и девушка-крестьянка. Все они были безвинны и не оставили врагов среди живых. Каждому дали по глотку черной воды. Кузнецу стало сниться, что он женщина, которую схватили в лесу какие-то разбойники. Он знал себя смелым и крепким мужчиной, учившимся даже владению оружием, так что он сразу убил двух особенно злостных, остальных же разогнал. Но тут ему стало очень дурно, проснулся он от боли во всём теле, которое распухало и темнело на глазах, ведь вместо уничтожения, он умножил зло; вся его кровь почернела. От отчаяния или от муки он выбрался к морю и утопился. Девушке приснилось, что она — узник в пыточной камере. Увидев палачей и их орудия, она так испугалась, что её стошнило. Чёрная вода мгновенно просочилась сквозь землю и возвратилась в одно из внутрискальных озёр, куда её нагнетают нарочно. Лама же оказался посреди людной площади привязанным к столбу на горе из дров, подожжённых и разгорающихся, но он не чувствовал ни страха, ни гнева, ни жара; он сосчитал глазами головы тех, кто, переселившись в Царство Правды, десятилетиями не смогут простить себе этот час, и расплакался от жалости к ним. И первая же его слеза, соприкоснувшись с огнём, взорвала весь костёр чистым светом. Праведник проснулся изнемогшим, но он победил, он совершил лучшее, что может здесь человек.

— И ты сама?...

— Я слаба и часто треплю ту же неудачу, что крестьянка из рассказа. Мне удаётся уничтожить разве что горе отвергнутой любви.

— Это больше дело! Ох!..

— Что ты?

— Слушаю тебя и думаю: здесь нет для нас счастья. Из горемычных и обиженных выжимают память, как масло из семян, или бросают их на произвол их безумия, отсылая на безвозвратный остров; злодеев истязаниями лечат от угрызений совести, а праведники обречены пить яд чужих грехов!.. Мне ли роптать! Мне столько помогли здесь — без всякой заслуги... Просто... если я останусь,... то что я буду делать?

— Не оставайся, возвращайся к жизни. Она — наш удел. Она — чудо. Здесь я могу сделать бывшее небывшим, но там ты в состоянии предотвратить будущее!

— Если бы его ещё предвидеть!

— Не нужно иметь третий глаз, чтоб не мучить, а радовать других и себя... Я всё же предложу тебе поеть.

Изуми поставила перед Анной чашку, наполненную кубиками льдоподобного желе,

рядом на белую салфетку положила две одинаковых палочки, скреплённых тонкой бумагой вроде газетной — она легко порвалась и превратилась в пар. Долго не думая, британка наколола кусок кушанья и отправила в рот, держа вторую палку про запас. Хозяйка снова засмеялась, прячась за рукавами, потом показала, как можно подцеплять желе двумя, а Анна в ответ описала пинцет.

Когда еда растаяла во рту паломницы, Изуми поколдовала над её одеждой: растянула подол и рукава да приличной длины, вытащила из-за шеи капюшон, а светло-каштановые волосы под пальцами благочестивой отшельницы сами сплелись красиво и прочно. Заколка упала бы на пол, но Изуми поймала её и вложила в ладонь Анне:

— Жажда не позволит мне проводить тебя до конца, а до середины пути — не имеет смысла. В поселение тебя найдёт девушка по имени Дануше. Доверься ей, а мне пора к колодцу.

— Спасибо за всё, милая, но... — Анна застряла у порога.

— Я попробую. Скажи.

— Пошли какой-нибудь рисунок... и моему другу — на войну. Самый простой какой-нибудь цветок.

Изуми улыбнулась и кивнула с поклоном.

По гладкому тёплому льду перламутра Анна быстро дошла до городка у подножья горы. Он больше походил на сад, в котором полупрятались среди разноцветных крон и кустов сказочные домики, выложенные из агата, селенита, яшмы и других благородных камней. Только зелени не было: ни свежих листьев, ни малахитовых кладок — и полная тишина.

Первым человеком, которого встретила здесь Анна, стал седобородый старичок в серебристой рясе. Он нёс на длинной палке свою фляжку — фонарик тьмы.

Паломница подбежала к нему:

— Батюшка, позволь тебе помочь!

Святой с ласковой улыбкой переложил своё коромысло ей на плечо. «Тут не менее двух тодов,» — подумала Анна.

Несколько раз сменив руку и отказавшись снять бремя, она проводила угодника до самого его приюта, там поставила фляжку на яшмовую заваленку, сама упала рядом от усталости, но отодвинулась, чуть отдышавшись. Старик же, ни слова ей не бросив, втащил сосуд в дом и затворил дверь. «Манеры, однако! — раздосадовалась леди, — Впрочем, благодарность может быть в ходу лишь там, где большинство поступков её не заслуживают; ею мы отмечаем редкие жесты, а здесь же никто ничего, кроме добра, и не делает».

Тут она увидела голубую фигурку, спешащую к ней под плакучими ветвями, унизанными сине-сиреневыми цветами, мимо багряной живой изгороди, похожей на осенний барбарис. Подойдя, девушка оказалась очень юной, лет пятнадцати от силы, славянкой или скандинавкой с виду: глаза светлей одежды, льняные волнистые волосы до пояса, на лбу — фиолетовая лента.

— Сестра! — обратилась взволнованно, — Я издали видела эту брошь. Откуда она у тебя?

— Офицер из Валхаллы подарил. Вместе с половиной своих волос,... — ответила Анна, поднявшись.

— Просто так?

— Нет, я обещала раздобыть для него древесное семя на острове Фит.

— А... Куда ты идёшь теперь?

— К Богородице...

— Я провожу.

И они побрели через город.

— Меня зовут Анна, а тебя?

— Дануше... Я умерла, оттого что запуталась, любя двух рыцарей сразу, причём один был врагом и моему отцу, и моему королю, впрочем, если б я успела сказать ему, что полюбила, он бы бросил всё; мы оба стали бы свободны. Но он погиб, и я заморила себя тоской и голодом.

— Ища его, ты добиралась до самой Валхаллы? Или воин, на котором ты видела это украшение, навевался сюда?

— Я была там, но напрасно.

— Его уже выпустили?

— Нет! Он оказался замурован в замке, построенном из ужасов. Бессмертные духи там выглядят так же, как мёртвые в мире живых. Разбудить кого-либо из них можно лишь уколом иглы, засевшей сейчас в твоём платье, или от второй такой же заколки, но это лишь полдела. Чтоб выйти на волю, воскресший и его избавитель должны победить каких-то чудовищ.

— Он, — Анна приложила руку к броши, как к самому сердцу, — не справился?

— Он не захотел и попытаться.

— Почему!?

— Потому что ему не знакома доброта.

— Нет, я не верю, что он безнадёжно зол. Он очень несчастен, и...

— И Святые Силы сжалились над ним однажды, взяли его в Свой мир как мученика, но всей благодати Рая не хватило, чтоб утешить его. Он один своим неукротимым гневом, нестираемой памятью, беспросветной скорбью разрушил Землю ангелов.

— ... Я уже слышала историю о крушении той светлой планеты, но первый рассказчик обмолвился, что любой из нас, людей, мог быть тому виной. Я точно знаю, что таким мятежником в Раю стал бы и мой благоверный... Если вдуматься, не случись этого, тебя с твоим рыцарем сейчас разделяло бы не чёрное море, а чёрное небо... Тогда, когда ты плавала в Валхаллу, наверное, просто время не пришло для спасения твоего друга, зато теперь ты можешь повторить попытку — на то мы и встретились! И тот, кто дал мне талисман, в конечном счёте, дал его тебе. Возьми!

— Нет, — Дануше отвернулась от протянутой броши, — Сначала пусть Пречистая благословит эту вещь, только от Её рук я к ней прикоснусь.

— Хорошо, я попрошу об этом первым делом. Нам ещё долго идти?

— Да. Нужно будет обогнуть гору и взобраться на другую.

— Только-то!..

Глава СХХVII Эжен и Дельфина

«Вечное, многоликое утро», — подумал Эжен, глядя на Дельфину. Она была в сером, с бледно голубыми кружевами на волосах; весь её будуар поблек, в вазе никли засохшие розы.

— Я позвала вас, чтоб задать один вопрос,... и что бы вы ни ответили,... само то, что я хочу... или должна его задать — ... большое горе для меня. Этот вопрос:... Нет, сначала другой. Что вы чувствуете, видя женские слёзы?

— Видя любые слёзы, я обычно жалею и стыжусь, — кротко ответил Эжен, — Страшно быть их причиной, а не быть утешением — совестно... Вам хочется плакать?

— Да, — Дельфина отвернулась, поднося к глазам платок, — Вы... вы разлюбили меня?

— Сударыня (- в конце концов, хоть однажды быть откровенным!!! -), вы не будете против, если я расскажу сейчас кое-что о себе?

— Ах! Ага! Конечно! Наконец! И в вашем прошлом — мрак! И ваша душа опорочена!

— Так получилось. Вы — небо над солнцем, а мы все родились и выросли в долгой ночи.

Они сели на краешки стульев. Эжен взмолился: «Господи, наставь!» и начал:

— В тот день, с которого я начал непрерывно помнить себя, я был с отцом в городе и увидел собачонку, маленькую — с кролика — и большую грыжей: половина её внутренностей вывалилась в кожаный мешок внизу живота, почти между самыми лапами. Я спросил: «Что такое с щенком?». Отец ответил: «Ничего» и потащил меня куда-то, но она всё как будто видел смертельно усталые глаза тот зверька, этот уродливый серый вырост, похожий на огромного собачьего клеща, раздутого от чужой крови, опутанного тусклыми венами... Мне было очень страшно: я чувствовал в себе что-то подобное, и вскоре, дома, оставшись один, я осмотрел себя и нашёл... Я стал приставать к отцу, допытываться, что же это за штука была на брюхе у той собаки. Он сперва отмалчивался, потом разозлился и сказал, что это такая хворь. «Она бывает у людей?» — «Бывает» — «От неё излечивают» — «Не знаю»... Я не находил себе места, несколько раз убежал из дома в город, чтоб посмотреть, не поправилась ли собака, но меня ловили на дороге... Мне ведь было лет пять, не больше. Я не думал о смерти, и ощущал только этот ужас непоправимости, отчаяние и отвращение к собственному телу. Я стеснялся пожаловаться родителям, боялся огорчить их своей болезнью, то есть необходимостью звать врача, которому нужно платить.

— Но то, о чём ты говоришь, это ведь на самом деле не было никакой грыжей? Как ты мог так ошибиться? Разве ты не видел, как выглядят другие мужчины или мальчики?

— Нет. У меня тогда не было ни друзей, ни братьев. Купала меня мать или тётя. Я видел голыми только сестёр... Работа и усталость, голод и холод отвлекали меня от страха, потом меня отдали в коллеж, где я наконец-то смог разобраться с этим недоразумением, причём вышло так, что я напугал кого-то из товарищей, сказав ему, что он тоже болен; он сразу бросился к родителям, те его успокоили, а надо мной все смеялись, и до моего отца это дошло — и он тоже смеялся... Тут мне бы успокоиться, но с моим злосчастным наростом стало твориться что-то новое, тоже непонятное и потому страшное. Мне казалось теперь, что у меня водянка или рак, я скоро умру, и родители зря платят за мою учёбу, но мне не доставало сил хоть с кем-нибудь поговорить об этом...

— А тебе не случалось поглядывать на девушек, думать о них?

— Священник говорил, что это грешно, что моя болезнь — тоже от греха, от похоти... В

шестнадцать я узнал, увидел, как рождаются дети,... потом наконец-то, снова от чужих — как их зачинают, что со мной происходили самые обычные вещи, но мне уже была ненавистна вся эта мерзость!.. Вот, с каким опытом я приехал в Париж.

— С ненавистью к своему естеству? К физическим началам любви?... Но наша встреча...?...

— Ты была и есть красивей всего на свете. Глядя на тебя, забудешь о любой боли, но... она не исчезнет... Только **ОН** стал для меня надеждой на настоящее исцеление, на обретение чего-то... родного...

— Кто?

— Твой Отец... Он указал мне на тебя. Он верил и говорил, что ты лучше Его... А ты позволила Ему умереть в таких мучениях... Ты даже не пришла к Его гробу. Единственный из всех Любивший — и ты Его предала, и меня, оставшегося с Ним...

— Не говори так! — прорыдала Дельфина.

— В день Его похорон на тебе было какое-то пегое платье...

— Самое тёмное, какое нашлось!

— И ты охотно сбросила его ради разврата!

— Ты так же поступил со своим трауром!

— Я сделал это от злобы и горя. Мне хотелось, чтоб ты заболела беременностью и пострадала, как Он страдал! Ради одной этой мести я решился переступить через отвращение и предаться блуду!

Дельфина закричала, как ужаленная скорпионом, ударила губами о сложенные в замок кулаки и словно заживо окоченела. Эжен обеими ладонями стёр с лица маску ярости, перевёл дух.

— Это быстро прошло. Я благодарил потом судьбу за то, что с тобой ничего не случилось. Я верю, понимаю: тебе тоже было горестно, но этот подлый мир так затянул тебя, что ты бы не смогла... Твоя доброта — лишь пасмурно-полуденная тень доброты Отца, но другой у тебя нет, и ты дарила её мне, а я пытался благодарить тебя от этого нелепого, безрадостного убожества, которое ты называешь естеством, ведь больше не от чего...

Он закрыл глаза и устало думал, что можно ко всему этому прибавить и надо ли.

«Извращенец! — подумала Дельфина, — хуже любого де Марсе!.. Но нет, он лучше всех!.. Что же делать?». Ей было трудно подобрать нужные мысли, не говоря уж о словах.

— То есть... никакая другая женщина...?... А ты... хотел бы... чтоб у нас был бы ребёнок?

— Да пойми: из нас двоих я — не тот, кто хочет или нет. Моя жизнь в том, чтоб исполнять твои желания.

— ... Но это для тебя... не добровольно?

— Это не имеет значения.

Одной рукой она взяла его за моментально увядшее запястье, другой повернула к себе его лицо, заглядывая за решётку ресниц:

— Кто я, по-твоему?

— Ты — самое прекрасное и священное существо на земле, — ответил Эжен без нежности, изнурённо, как в конце долгого судебного допроса.

Дельфина разгневалась, наклонилась вперёд, упёрлась в бока тылами ладоней:

— До чего же мне осточертели эти ваши льстивые бредни!: Ангел! Богиня! Я — женщина! Мне нужен не арабский домовой в бутылке, не раб, а любящий мужчина! Знаешь,

что для меня ты? Вот это! — она крепко схватила его за талию, поползла ладонями ниже, но он вывернулся, отшатнулся, ожесточённо всполохнул глазами.

— **Это!!?** А ты **это** хоть видела? Я покажу! — и стал обрывать с себя одежду.

Будь Дельфина начитанной, ей вспомнилась бы сцена из Ариосто, но поскольку любые книжные сравнения были для неё недоступны, она смотрела в первозданном смятении, а когда ей предстал тараканий торс Эжена — застонала от ужаса, неопisanного в сказке про красавицу и чудовище.

— Ну, что? — глухо спросил несчастный, — **Это** ты любишь? **Это** тебе надо?

Не успел он договорить, как Дельфина бросилась к нему, обвила его, зябнущего, тёплыми руками, прижалась грудью, залила плечо слезами.

— Но что с тобой!? Ты не был таким прежде!

— Всегда я был таким — только выглядел иначе...

— Мне всё равно, как ты выглядишь. Я люблю тебя. Пойдём, — потянула его, немого от отчаяния, к кровати, — Не бойся.

Зачем он рассказывал ей о своих детских травмах? Или она идиотка, или самая безжалостная мучительница.

«Ах! Я веду себя, как падшая женщина! Он перестанет меня уважать! — думала Дельфина, но делала то, что делала: снимала с Эжена последние покровы и одновременно — с себя, выпускала на свободу свои волосы, укладывала его на спину и ласкала источник его страданий, уговаривая: «Перестань ненавидеть. Ради меня — прости! Ты дорог мне весь, но весь ты — сам по себе, только вот тут ты создан только для меня; я не требую, чтоб ты принадлежал мне целиком (оно и невозможно), с меня довольно этого...».

Теперь все десять её пальцев сладострастно цеплялись за его рёбра, а он, подмятый, комкал руками углы подушки; тепло оттекало от его конечностей, в нутро вдавливался тяжёлый горячий кулак, бьющийся, как второе сердце; сразу два насильника одолевали Эжена: женщина над ним и мужчина в нём; боли не было, но творилась настоящая пытка: от него чего-то требовалось, он должен что-то сделать или признать, чтоб всё прекратилось; он противился, но уже не понимал, почему: из презрения ли, или из удовольствия, или от незнания. В конце концов он отказался от всех усилий, претерпел ещё два натиска, и ком внизу живота лопнул, растёкся жаром по туннелям рук, ног, туловища; в глазах потемнело, слюна прогоркла.

Через мгновение Эжену показалось, что все его кровеносные жилы пересохли и по ним гуляют сквозняки; всё ещё слепой, он содрогнулся; его ладони упирались во что-то жёсткое и округлое, отталкивали это, вот оттолкнули,... вот он стал опоминаться...

— Что с тобой?

— Не знаю. Такого прежде не было...

Сначала Дельфина не придавала значения этим словам, но встав и пройдясь по комнате до графина и обратно, она заметила стекающую по ногам склизковатую влагу — и так и застыла у края кровати, уставившись на сходное пятнышко на белоснежной простыне, там, где она только что сидела.

— Эжен,... что именно с тобой впервые?

— Какое-то... потрясение, провал,... словно агония...

— Тебе плохо!?

— ... Сейчас — нет.

— А было?

— ... Не знаю... Слишком это... непривычно,... непонятно...

— Но такого быть не может! — Дельфина под села к нему, пряча ноги под пеньюар, — Хочешь сказать, что в течение почти двух лет во время всех наших страстных свиданий ты... оставался девственником!?

— Какая теперь разница,... — Эжен хотел повернуться набок, свернуться в клубок, но недобитая гордость его костенила, и он продолжал лежать на спине, тоскливо глядя в потолок.

Сознание Дельфины прожгла мысль: «Теперь он возненавидит меня!!!». Она сама готова была себя проклясть — таким мучеником выглядел её возлюбленный. Она суетливо укутала его краями одеяла, припала к его едва ощутимому животу.

— О, мой бедный! Не сердись! Я лишь хотела подарить тебе наслаждение, и чтобы ты не думал, что тебя используют;... показать, как ты любим!.. А что получилось!..

— Ты ещё можешь меня порадовать — просто дай чего-нибудь попить.

Дельфина неуклюжей опрометью сбегала к графину и вернулась с мокрым хрустальным стаканом. Эжен глотнул трижды, а она допила за ним и снова прильнула, тихо хныча.

— Не грусти, — сказал обесчещенный, разглаживая кончиками пальцев её волосы на одеяле, — Всегда хочется лучшего... Но раз пришли такие времена, что лавочники называют Бога своим товарищем, и все, кому не лень, злословят на Него; если пали последние ангелы, кто я такой, чтоб оставаться чистым?

— А ты была у Неё?

— Нет. Дух Правды не допускает: я недостойна.

— А если Он и меня не допустит?

— Веяния Его неисповедимы.

— Ну, нет! Я не такая, как вы, я жива, а значит — свободна!

Дануше промолчала.

Странницы подходили ко двору маленького дома с плоской крышей, сложенного из розового агата и окружённого синими кипарисами. От калитки тянулась очередь из сорока с лишним паломников. Светозарный привратник кланялся, говорил что-то, и каждый человек в сизой ризе, сокрушённо качал головой, закрывал лицо, как от стыда, и бежал прочь. Когда предшественников осталось пять, Анна расслышала слова ангела — то был вопрос «Ты достоин?». Ей показалось, что она стоит на настоящем льду, и ноги её примёрзли, но она порывисто вдохнула, словно бросая вызов незримому Властелину, и подняла глаза, готовая скорее умереть, чем отступить.

— Ты хочешь говорить с Благодатной?

— Да.

— Ты этого достойна?

— Да, достойна! — твёрдо ответила жена своего мужа.

— Добро пожаловать.

Всё ещё хмурясь, Анна прошла по голубой дорожке, открыла дверь, переступила порог и сказала сидящей на лавке Женщине:

— Я не боюсь!

Глава СХХІХ Девочка

За окнами снег, мчавшийся вдоль земли, вдруг остановился, помедлил — и полетел вверх...

— Тебе лучше?

— Да... Расскажи мне что-нибудь из твоего детства, что-то хорошее.

Дельфина подсела к Эжену, желая, но не решаясь положить голову ему на плечо.

— У мамы была в богатая сестра в Лионе. Она нас очень любила и то привозила, то присылала нам самые чудесные наряды. Помню, мне было лет шесть,...а Нази — девять, когда она подарила нам два шёлковых платья, почти одинаковых, в узкую бело-голубую полоску сверху вниз, с пышными рукавчиками и кружевной отделкой. На моём всё-таки было чуть больше украшений, и все признавали, что я в своём красивее... Мы поехали на какой-то пикник или на сельскую ярмарку. Я там каталась на качелях, в парке, высоко-высоко, и смотрела, как развеивается моё платье... Ты что, плачешь?

— Нет...

— А я — да!.. Я так люблю счастье! Вот бы жизнь каждого человека состояла лишь из двух занятий: поиска блаженства и избегания страданий. Если бы все разом поверили, что только в этом и есть благочестие. Бог создал нас, чтоб радоваться вместе с нами, чтоб нашими руками умножалась красота земли. Вы говорите *болезни*! Но их же можно лечить! И даже не их самих, а боль! Ведь даже в смерти мы боимся не её самой, а муки умирания. А чем занята ваша мерзкая медицина!? Для кого Господь по всей земле рассадил травы и деревья, сок которых усыпляет чувства!? Вы говорите *голод*! А почему в городских парках не растут яблони, груши, черешни, орехи, смородина, крыжовник и другие съедобные ягоды? Почему живые изгороди делают не из винограда? Разве люди меньше бы любили своих усопших, если бы выращивали на могилах землянику, базилик, укроп или горох? Отчего архитекторы не выровняют крыши, не засыпят их хорошим грунтом и не засеют фасолью, чтоб её стебли свисали вдоль стен, мимо окон и жители с подоконника могли собирать свою часть урожая? Почему из одних фонтанов можно брать воду, а их других нельзя? Фонтан — ведь это ничто иное как водоём, сколько бы статуй в нём ни сидело!.. Вы говорите *труд*. Но и он может быть приятным. Разве сильный мужчина так уж намается, если срубит дерево, расколется камень, выкопает яму или донесёт до мельницы мешок зерна? А, сударь?

— Вообще нет.

— Разве не любая молодая и здоровая женщина в состоянии поднять ведро воды или корзину моркови? разве замесить хлеб сложно или противно?

— Вряд ли.

— Плохо, что одни работают очень много, а другие очень мало: это и само по себе несправедливо, и разобщает людей. Вот и происходят революции... Говорят, скоро новая наступит... Мне страшно!.. Эжен, если это случится, давай сбежим вместе в твой Ангулем. Мне уже даже снилось, как мы там с тобой живём. Вот послушай: у нас — ферма цветов, длинные разноцветные грядки... Мы выращиваем их, чтоб делать краски. Если оборвать свежие лепестки, засыпать их специальным чёрным на вид порошком, потом измельчить и оставить в темноте на три часа, что получится что-то вроде теста, густо-красного или фиолетового, или рыжего. Из него надо будет сделать палочки...

— Наподобие вермишели!

— Или хоть шарики, что угодно, и если бросить этого теста в жидкость, она тотчас окрасится, а главное — наша краска ничуть не ядовита, ею можно придавать цвет молоку, сливочному крему, просто питьевой воде. Он пригодна также для рисования, для тканей опять же; с ней получается превосходная косметика, не вредящая коже!.. Твой замок — он ведь небольшой, правда?

— Просто двухэтажный дом из серого камня.

— А башня есть?

— Нет.

— А ветряная мельница? Они мне так нравятся! И снятся постоянно, то множествами, то по одной. Иногда они делают даже не муку, а... свет и тепло. Сама не понимаю, как это получается...

— В нашем краю больше водяных мельниц: ветры у нас непостоянны, а реки порожисты.

— Пообещай, что заберёшь меня туда, — Дельфина наконец осмелилась обнять друга за талию, поддерживая его, совсем ослабшего от её чарований.

— Поедем, если хочешь, только вдруг там всё на так, как тебе грезилось?

— Именно так — я верю!

— ... Я тоже верил, и поныне в сумерках ума приходит эта мысль, что до революции земля цвела, а люди были счастливы... Но ведь книгах Дидро или Вольтера...

— Книги — выдумка!

— Конечно. Ты права во всём, что говоришь, — иначе быть не может — но что-то у тебя упущено, забыто что-то важное.

Дельфина потрепала его по волосам, как добрая мама — депрессирующего шестиклассника:

— Это всё таракашки в твоей голове мельтешат, — сказала весело, — У меня всё...

— Почему ты разлюбила мужа?

— Ах!.. — резко отсела, плеснула руками по коленям, — ... Это всё из-за дочери. Мало того, что у Анастаси сразу родился мальчик, да ещё и этот изъян — шесть пальцев на ноге!..

— Какой же тут изъян? Тут прибиток. Вот было бы четыре...

— Брось свои шутки! Во всех таких вещах, конечно, виновата мать, а то, что вашей милости стукнуло за шестьдесят!.. Ну, и пожалуйста! Больше у нас ничего не будет: вдруг получится сын с двумя головами!

— А где она? Почему я её никогда не видел? («Не утопили же они малышку из-за второго мизинца!»)

— Обычно гостит у родни, у кого-то из шести тётушек и трёх дядюшек по разным лютеранским городкам. Есть ещё семьи кузенов и кузин, и везде её обожают. Она едва говорит по-французски и всем-то видом — немка. Туда её и замуж, очевидно, отдадут лет через пять-шесть.

Тут постучалась Тереза и предупредила в приоткрытую дверь:

— Сударыня, барон приехал, вас ждут к обеду через двадцать минут.

— Входи, — крикнула ей Дельфина, — Проводи господина Эжена и живо ко мне!.. Ну, иди, мой любимый!..

Добрая камеристка, тридцатишестилетняя наполеоновская вдова, давно уже отказавшаяся от собственной жизни, которую могла бы составить только из любовников и детей, обожала свою хозяйку, и к её неприкаянному кавалеру, за два с половиной года не

подарившему ей ни булавки, была полна симпатии. Взяв под руку, она довела его до чёрной лестницы, опередила, помахала снизу в знак безопасности. Эжен спустился, вышел, и Тереза убежала, он же, постояв на крыльце пред утихающим снегопадом, вернулся, взошёл наверх и направился в другое крыло по анфиладе, видя каждую новую пару дверей в более ярком ореоле. За четвёртой он нашёл своё чудо — ель до потолка, увешанную стеклянными шарами с позолотой, глаже зеркала, хрустальными бусами, бантами из газа с люрексом, снежинками и звёздами из крашеной соломы. К её крупным веткам крепились подсвечники на прищепках. Рождественские огни догорели, лишь кое-где из воскового оплывыша торчал фитилёк, а хвоя осыпалась на пол, но этого Эжен не замечал, обходя дерево и шепча в восторге: «Tanne!..». Вдруг что-то прощуршало у полузанавешенного окна. Эжен заставил своё зрение просочиться сквозь плотную ткань, словно прокалывая её миллионом иголок, и увидел маленький девичий силуэт в углу подоконника. Повернулся к выходу, но самого его заметили гораздо раньше.

— Стойте, потойтите сюта!

Вернулся, забрался за портьеру с другой стороны.

— Простите, что потревожил, мадемуазель.

— А **ф**куста, — представилась девочка лет одиннадцати-двенадцати, — А **ф**ас как **соф**ут?

— Эжен.

На коленях она держала книгу, в руках — деревянный нож. Сероглазая, тёмно-русая, простоликая, она никому бы не показалась миловидной, но эженово сердце провалилось на два ребра: мадемуазель де Нусинген была как никто похожа на своего французского деда. И смотрела так, словно тоже кого-то узнавала в незнакомце.

— А кто **ф**ы?

— Ваш покорный слуга.

Девочка улыбнулась:

— Это не от**ф**ет.

— Что вы читаете?

Подняла и показал обложку:

Karl L. Immermann.

DAS TAL VON RONCEVAL.

— Это роман?

— Нет, трама, тракёття... Это тавня история. Потцци лекента.

— Плохо.

— Што?

— Что есть трагедии.

Глава СXXX Колодец памяти

У Богородицы не было нимба, но прямо над Её головой на низком потолке мерцал блик, от которого бежали кольца отсветов, как волны по воде — от канувшего камушка. Соскользнув по стенам и вполовину потускнев, они стекались к ногам Пречистой, прятались под край Её бедной, тёмной ризы. Когда Она встала, чтоб подойти ближе к гостье, центр лучей-обручей сместился, сохраняя свою связь с Источником. Проходя сквозь Анну, святой свет подсказал о своём предназначении. Понимая теперь, что говорить ничего не нужно, паломница протянула обеими руками брошь.

— Как он? — тихо спросила Благодатная, бережно беря и с нежностью рассматривая талисман.

— Хочет вырастить дерево... Ему ведь удастся?

— Да, пусть...

— Вы встречались с ним... в Раю?

— Нет. В мире спящих, единственном убежище во время великого бедствия, когда всё небо было красным от пожара двух столкнувшихся планет. Никого не скорбел больше него. Увидев меня, он взмолился, чтоб его вернули туда, в огонь.

— Он считал себя виноватым во всём, но был ли таковым?

— Да, в нём оказалось больше гнева и силы, чем в других людях. Но он не хотел того, что случилось. А между тем тогда, на влажных и мягких долинах, вместивших вдруг всё человечество, прорастало что-то лучшее, чем наше разбитое блаженство. Мы, беженцы Царства Радости, признавались себе, что всегда с печалью и жалостью думали о братьях и сёстрах, брошенных в Царство Боли. И вот мы видим их, изумлённых нежданным, досрочным прекращением их терзаний. Многие мученики потом говорили, что обнимая этих несчастных, потерянных и обретённых, они испытывали не меньший восторг и отраду, чем в миг первого вступления в мир вечного света. Те же, грешники, получили утешение, на которое не смели надеяться. Даже ангелы, безвольные, бесчувственные существа, держали за руки своих отпадших родичей, не так уж и обезображенных, нисколько не свирепых. На всё это я указала ему со словами: «Ты можешь осуждать себя или хулить своих властителей, отгонять смирение, гнушаться покоем, но посмотри, как много любви здесь, вокруг».

— А он?

— Его глаза были черны и глухи, отчаяние — обширно до того, что свет уразумения увиденного и услышанного в тот момент должен несколько веков лететь сквозь пустоту и лишь затем достигнуть сердца его духа... Не показалось ли тебе, что утешение его уже близко?

— Нет, но, может, моя провожатая, Дануше, окажется зорче. Ей как раз нужно встретиться с ним.

— Ты много заботишься о других, но у тебя есть и свои дела.

— Они мне кажутся каким-то тупиком...

— Отчего же? Всё довольно просто. Пойдём.

Они вышли во внутренний дворик, замощённый серо-голубым агатом. Посреди привозделся борт колодца, выложенный бульжниками молочного опала. Внутри Анна увидела прозрачную перегородку, делящую водоём на два отсека в форме изогнутых капель, стремящихся затечь друг в дружку. В одном искрилась лазурь, в другом — тошнотворно

чернело. Богоматерь молвила:

— Ко мне приходят только за одним — чтоб избыть свои обиды, уничтожить тёмные воспоминания, — протянула алмазный ковш, — Набери своей рукой, а я выпью, и всё будет прощено.

— ... Нет! Так нельзя!.. Это неправильно! Я не могу так поступить!

— Ты говорила, что достойна. Чего же?

— Что... я заслужила?... Если бы вдруг здесь оказался он, мой муж... Пусть он бы зачерпнул,... и мне поднёс... Не думаю, что он действительно, фактически настолько уж несчастен. Ему это внушило его необъятное самолюбие, да...

— А если нет?

— Тогда... он прав, и я не смею больше осуждать его.

— Но что будет с тобой?

— Ну,... если повезёт,... я аннулирую хотя бы часть его печалей.

— Давай так и поступим. Куратор! — справа от Благодатной возник белый Архангел, — Наша гостья хочет видеть Джорджа Байрона, поэта.

Тот, кивая, растаял в воздухе, а через минуту не его месте так же из пустоты проявился тот, кого Анна не видела уже почти восемь лет. Он мало походил на свою копию из её снов, был очень росл, лицом напоминал отца, а ужаснее всего был его красный, вроде турецкого, но укороченный кафтан.

— О Боже! **Такая** одежда!..

— Не бойся, Джордж, — сказала Богородица особенно ласково.

Вызванный, хромя, бросился к Ней:

— Пресвятая Владычица, позволь мне уйти!

— Джордж, перестань! — крикнула Анна, — Посмотри на меня! Я хочу только попробовать помочь тебе.

Несмело, искоса глянул:

— Ты это говорила сотни раз.

— Ну, значит, я верна себе... и тебе... Пречистая Матушка, дай ему ковшик. Иди сюда, смотри: эта чёрная вода — злопамятность всего человечества; то, что ты почерпнёшь, — будут только твои былые горести. Позволь мне выпить их, растворить в себе.

— Спятила! Ты сама в них растворишься, как в кипятке — крупица соли.

— Какое тебе дело до меня?

— Кем ты меня считаешь!/? Кого другого поищи, чтоб согласился в свете Правды стать счастливым, отдав свои страдания другому!

— Ты уже растоптал все мои радости, наполнил болью каждый мой час, так пусть из этого выйдет какой-то толк.

— Я мог тебя обидеть, но не ради же корысти!

— Лучше с нею!

— Ничего подобного! — звякнул ковшом о край колодца и непреклонно скрестил руки.

— Что мне с ним делать!

— Я хочу уйти!

Богоматерь молча приблизилась к колодцу и выложила второй такой же ковш.

— Ах так,... — проговорил Джордж.

— Так, — Анна гордо тряхнула головой, — или мы стоим друг друга,... или ты не стоишь меня, — окунула черпак в черноту, двумя руками подняла и поставила ближе к мужу.

— Растоптанные радости? Боль каждый час?... Заманчиво звучит.

Он принял вызов — прежде, чем поглотить аннин яд и исчезнуть, набрал для неё своего.

Анна подняла к губам, шепчущим без конца: «Господи, помоги!» посудинку с весом взрослого человека, опрокинула в рот что-то безвкусное; оно даже не стекло в пищевод, а как-то исчезло во рту. Через минуту всё вокруг вдруг стало медленно увеличиваться.

Богородица превратилась в леди Ноэл. Анна, в радости не замечая окаменелости её лица, бросилась к матери, протянула к ней руки, но та вдруг со всего размаху ударила своё дитя по щеке, потом схватила за волосы и швырнула в борт колодца лбом...

Глава СXXXI Сумрачная интерлюдия

Эжен не понимал, который час, едва не заблудился по пути домой, а добредя наконец до своей постели, упал ничком, не разувшись, не стряхнув снега с плеч.

Во сне он спускался к реке по скользкому от осок косогору, уплетённому дикими бобовыми, усыпанному крупными розовыми зевами цветков чины — лепестки в варикозной сетке, белые волоски — из всех складок... Не успев дойти до берега, оказался уже на середине реки по горло в воде, без дна под ногами, но без страха и риска утонуть, только холодно было. Видел вокруг набережную Умо под то ли грозowymi, то ли снежными тучами, пустые плоты для полоскания белья. Затем пейзаж пропал и возник рябиновый ствол с округлым, приморщенным выростом, и вторым, и третьим...

Сел, стирая с глаз сажу забытья, дрожа и задыхаясь. Хватаясь за изголовье кровати, за спинку стула, дошёл до окна, открыл, собрал снег с внешнего подоконника, съел, запил кислородом. Хорошо, что зима. Подставил уличному ветру мокрую спину, осмотрел тёмную комнату.

Что за шорох? — Тараканы сбегаются к камину, прячутся в его кладке. Живые существа.

Эжен понимал их с того раннего июньского утра, когда на двенадцатом году, гостя в поместье своего многоюродного дяди, маркиза де Пимантеля, удрал до солнца в огромный, до неприличия уже английский парк, прошёл насквозь его росистую дебрь и попал в низину, где меж ивняком, березняком и черёмушником вилась узкая тропка к Нуаре, одному из двадцати местных притоков Шаранты. Всюду свежая сильная трава. Через неделю/другую она поднимется выше человеческого роста. А сейчас её обильней, чем жемчужины тумана, облепляют улитки. С ними творится что-то невообразимое: один из рожков раздут, удвоен в длине, в ширине — ушестерён, и по нему от основания до кончика бегут узорные кольца: все оттенки зеленого, белого, серого, палевые промельки, чёрная крапка наверху; второй весь окутан густой прозрачной слизью. Многие из них, таких обычных, и так жутко, на стыке отвратительности с красотой преображённых тварей, слипаются с другими. Изменились ли те, Эжен не запомнил, уже слишком потрясенный, но в своём возрасте, со своим чутьём он решил, что здесь вершился смысл существования этих бедняжек, что-то сильнее самой смерти: на земле он заметил растоптанного моллюска, но и из жалкого месива вздымался, переливаясь, полосчатый рог. И Эжен больше не мог шевелиться, втиснутый в плоть неподвижного сырого воздуха, втянутый во всеобщую оргию: одна и та же похоть — в запахе зелени, в усталых голосах птиц, в столах гнуса. Полсотни комарих впились ему в спину и в руки, в шею и в лицо и выкачивали его кровь, чтоб согреть и насытить свои плодоносные утробы — он даже сдуть их не смел...

— Сам ничего не чувствуешь, так хоть армию свою пожалей! — ворвался голос Эмиля, чиркающего у камина, — ... Блин! Клоуз де-виндов уже плииз!.. Спасибочки! — разгоралось слабо, и сосед всё подкармливал пламя клочками бумаги и щепками; он был навеселе, — Рафаэль заходил, ждал три часа и дольше просидел бы, не всучи я ему свой выходной цилиндр. Он тут ещё с Максом завис (тоже пробовал тебя проведать — а где ты был?); ну, они, разумеется, забазарили: этот опять про силу воли и воображения, про внедрение оной в человеческие полчища, грозовые тучи и самое солнце, а Макс возьми де отчубучь: для меня, говорит, образчиком могучей волевой фантазии был бы онанист, которому не нужны руки. Во даёт, да?

— Наверное.

— А ты чего такой загашенный?

— Только что от Нусингенов...

— Тебя поймали и заставили жениться?

— ... Не гожусь я для этого. Никак.

— У тебя не получилось? — спросил Эмиль серьёзнее.

— Прости, что заговорил с тобой об этом...

— Ничего-ничего, всё нормально! Выкладывай! — любознатель сел к Эжену на кровать.

— ... Я знаю, что покажусь малодушным, отказываясь терпеть то, что терпят все...

— Вэйт-вэйт-вэйт! Добавь конкретики... Получилось или нет?

— Ох, право, лучше тебе отвалить...

Эмиль ограничился тем, что отсел:

— Ведь мы друзья, Эжен! Доверься мне! Только попонятней... Вы что, поссорились?

— Нет! Я хорошо воспитан, знаю свою обязанность, и в жизни ни один мой мускул не перечил мозгу! Но — Господи! — какая это мука! Славно умираешь — умираешь... совершенно напрасно!

— Что значит «напрасно»? Ты доставляешь удовольствие своей даме!

— Чушь! Ей моя судорога, моё истощение как раз ни к чему.

— А самому тебе это не по кайфу? — Эмиль стремительно трезвел.

— Что ты мелешь! — душа от тела отрывается!..

— ... Вообще да... Но и в этом есть свой благой смысл. Никого не забудет курносая, но я верю, что в предсмертных корчах мне даже помимо желаний, чисто в силу привычки вспомнится моя любовь, моё счастье — только так и можно побороть этот немислимый ужас, сохранить себя для иного мира, понимаешь?

— Я и так не боюсь смерти.

— Чего ж ты тогда угибаешься?

— Мне плохо! Я слабею!

— ... А тебе никогда не казалось, что у тебя сил больше, чем нужно человеку?

— Нет. Сила каждого — это сила всех. Вы разбазариваете её чёрти на что!..

— О, жарко стало, — Эмиль кивнул на тараканов, проворно расползающихся по стенам и потолку, — Лук, май френд: по моему опыту, перестараться в постели — это не фатально. Если ты снимешь плащ и сапоги, полежишь ночь в покое и тепле, то к утру у тебя будут все шансы встать готовым на любые подвиги.

— Ладно, посмотрим.

— ... Ты мне совсем не нравишься, брат... Что, вот так прям и плохо?... Может, тебе Орасу показаться? с Максом перетереть?... Если тебя мучит то, что все всегда и везде признавали удовольствием...

— Кто *все*, Эмиль? Каждый знает лишь своё.

— Ну, так послушай, кто что говорит.

— Верить похабной брехне надравшихся неудачников?...

— А книжки ты читал? Не обращал внимания на то, что и поэты, и прозаики, и хохмачи, и зануды волей и неволей подтверждают, что любовь сладка?

— Правильно! Это же всё пропаганда.

— Чего?

— Возобновления человеческих ресурсов. Армия, производство, налоги, обслуживание

— власти нужны люди, и ничего нет странного в многотиражных призывах строгать их...

— Даааа!.. Такого бардака ни в одной голове больше нет!.. Если и есть на свете какая-то зомбёжка свыше, то она скорее про другое — про самоубийство, более известное как героизм.

— Чтоб геройски пасть, сперва надо родиться.

— ... Когда ты начинаешь умничать... — это просто страшно!

— Видишь, чем плоха слабость: вместо того, чтоб что-то делать, говоришь. С обидой. С обычной злобой беззащитных. В отчаянии. Не находя другой опоры,... кроме лжи... Прости меня ещё раз. И позволь попробую заснуть.

Эжен развязал шнуры плаща, чтоб закутаться в него, поджимая босые ступни: один носок ещё на улице забился в нос сапога, второй же только что застрял в голенище.

Эмиль опомнился:

— Это ты извини! Портвейн какой-то палёный попался. И Рафаэля принесла нелёгкая! А главное, Береника весь день и всю ночь в театре: там у них какая-то премьера... Мне так плохо без неё...

— Расскажи о ней. Как вы познакомились?

— Я вроде уж рассказывал.

— Нет.

— ... Это не слишком весёлая история... Она родом из нормандской деревушки; какой-то местный козёл над ней посмеялся, родители были строги, ну, и она сбежала сюда — не за лучшей жизнью, а спрятаться от всех, и поступила разнорабочей в «Жимназ», чтоб иметь доступ к средствам маскировки. Она прилепила ко лбу, подбородку и шее нарошенские бородавки, под глаза — накладные мешки, нарисовала морщины от ноздрей до челюстей, а гладкие руки скрыла под митенки. Всем говорила, что ей тридцать восемь, хотя было только восемнадцать-девятнадцать. Никто не присматривается к уродству, но однажды за кулисами кто-то из ребят особенно популярно пошутил — засмеялись даже уборщицы, и я услышал во общем кабаньем хрюко-визге её синичкин голосок, увидел блеск меж её серых от грима губ и с тех пор наблюдал за ней тайком, а через неделю слежки стал свидетелем чуда: она снимала маску перед сном, у большого зеркала, со двух сторон освещённого. Тут я и влюбился. Но открыться не случилось. Я не то чтобы робел. Мне хотелось получше узнать её жизнь, ну, чтоб не накосячить сразу; ждал какого-то момента... и дождался такого, что никогда себе не прощу: её хозяйка и любимая подруга Корали (ты помнишь) умерла, не скопив денег на гроб и яму; у хахаля её, лоха неувязанного, тоже свистело в кармане. И девушка моей мечты решила подработать в квартале Дю-Тампль. Слава Провидению — я оказался там же. Есть у нас такой фрилансер Жуй; он тогда выслеживал де Люпо, но одному ему было страшно, а я его пожалел. Идём мы, идём, и вдруг вижу возле очередной кучи розовых мочалок — цветастую шаль, у которой я готов был целовать углы и бахрому! Но как-то я опять же не решился подбежать к ней с каким-нибудь благородным воплем, а подкатил сообразно обстановке, отпустил подобающий комплимент и спокойненько предложил свою компанию. Она согласилась. Мы нашли свободную клетушку с койкой и порнообоями. Вот тут я преклонил колена, назвал её по имени с мадемуазелью и вывернул всё своё сердце. Она разревелась в три ручья — именно так, и я яснейше слышал в её взывах: *где же ты был раньше, обормот!* Ведь признайся я сразу, уж вместе мы не дали бы погибнуть Корали! Но в глаза она мне никогда не говорила этого. Сказала только, что ей нужно двести франков, в долг. Угадай, сколько было у меня в кармане?... Четыре. На долбаный фиакр... За всю

остальную ночь мы объездили весь Париж, заняли, наверное, у семидесяти человек. В какой-то момент это стало прикольным. У шести утра любимая задремала на моём плече в районе Лагарпа. В девять мы заплатили за похороны. В три покойницу отпели, в пять — закопали — всё без меня: я покупал цветы, мармелад и золотое кольцо. В шесть я отыскал мою невесту. Она прямо в своих бородавках поцеловала меня у двери, поблагодарила за всё, но сказал, что пока не может уйти ко мне и бросить «несчастливого Люсьена». Но через неделю мы съехались...

— А Люсьен?

— Пропал.

— Вы искали его?

— Нет, мы искали тебя...

Глава СXXXII Всеустроитель

Когда в дверь постучали, Эжен не успел дочистить зубы, и, поскольку он делал это золой, прищельцу пришлось крепко вздрогнуть, тем более что наряд молодого барона составляли только нательный крест и белые атласные кальсоны с лампасами в виде чёрных шелкошитых цепей, в своё время забытые Максом у Эмиля.

— Доброе утро. Заходите, — сказал Эжен бодро, но не слишком внятно, и отступил в квартиру, в левый угол зеркальной комнаты, где начал выполаскивать рот.

— Я придворный курьер, — представился гость.

— Почему же вы не воскликнули: «Именем короля!»?

— Во-первых, это не обязательно; во-вторых, при виде вас на язык просится более высокое имя; в-третьих, я к вам отнюдь не по личному поручению его величества. Господин де Ванденес шлёт вот это господину же Растиньяку.

— Паспорт показать?

— Спасибо, не стоит. Мне описали ваш облик и манеры, а насчёт паспорта предупредили, что вы его проищите сорок минут.

Конверт содержал четыре пятисотфранковых купюры и записочку: «Девушки закончились. Вы обещали!..».

Нда, только васильковая невинность Феликса могла быть столь прямолинейной.

Эжен проглотил остатки золы, закусил разом обе губы и почесал за виском...

— Что ж, понятно... Постараюсь.

Курьер ушёл, отказавшись от чая и сигары, а Эжен принялся за свой никотиновый завтрак. Кружево сегодняшнего маршрута быстро сплеталось в его голове. Докурив и выпив талой воды (ледяная чешуйка приятно обожгла язык), на всякий случай поднялся к Эмилю, но тот вывесил на закрытую дверь лист с крупной помадной надписью «ДОНТ НАУ!» обрамлённой, видимо, для идиотов, жирным сердцем. Без каких бы то ни было дурных мыслей о соседе Эжен вышел на улицу, первым делом дотопал до центрального полицейского управления, чтоб заявить о пропаже без вести Люсьена Шардона.

— С вас сто восемьдесят франков, — ответил ему дежурный.

— За что?

— За поиски господина Шардона. Согласитесь, что всякая работа должна быть оплачена.

— Я думал, полицию содержит государство.

— Сударь, что вы пререкаетесь? Ни один частный сыщик не потребует меньше трёхсот!

Пришлось раскошелиться. Затем намечалась раздача кредитов у Фликото, но Дворец Правосудия и возможность свидеться с Клеманом сбили Эжена с курса. Де Люпо только что вернулся с утреннего совещания и что-то заносил в свой календарь.

— А, — кивнул посетителю, — барон! Вы с известиями или так?

Эжен поймал себя на том, что хочет справиться о том, какую цену можно предложить бедному семейству за их четырнадцатилетнюю дочь, но быстро сообразил, что после подобного вопроса может не выйти отсюда живым.

— Ни то ни сё. Прознал, что в ноябре один журналист искал на вас компромат. Очевидно, кто-то ему это поручил.

— Вы выяснили, кто?

— Не успел. Да и средствами не очень-то располагаю.

Клеман, морщась, вынул из-под стола шестьсот франков бумажками:

— Э-эх!..

— Я ж не себе...

— Да мне не жалко...

— Можно было бы его прижать, но в чём он виноват? Все вертятся, и он как все...

Пусть лишний раз поужинает сытно.

Оба понимали, что до журналиста в лучшем случае дойдёт пара сотен.

— Разумеется. Я просто... Вам должно быть неприятно этим заниматься.

— С одной стороны, да. Но с другой — это очень занимательно. Любопытно... Ну, до встречи.

— Счастливо... О, Эжен! Такой вопрос: вы, говорят, регулярно бываете в одной новой ночлежке в Латинском квартале. Не встречался ли вам там никто по имени Феррагус? Или, может, кто-нибудь упоминал о нём?

— Феррагус? Не припомню. Радамант с Аграмантом заглядывали, а об этом ни слуху ни духу.

— Ну-ну.

По пути к Фликото Эжен твёрдо решил спустить все клемановы деньги на милостыню, а Жюя расколоть как-нибудь нефискально.

За приёмом просителей он вспомнил о Даниэле д'Артезе, которому, наверное, уже неделю назад обещал круиз по богатому дому. В ресторане писателя не было, значит нужно искать его или на Четырёх Ветрах, или в библиотеке Святой Женевьевы. Вторая пространственно ближе.

Войдя в храм букв, Эжен едва не наступил на молосского дога тигровой масти, короткохвостого, но лопоухого, дремавшего без привязи у двери. Вид красивого и кроткого зверя как-то особенно обогрел сердце подпольного жизнелюба.

— Господин, — тихо обратился Эжен к регистратору, — Не подскажете, Даниэль д'Артез тут?

— Да, с самого утра.

— Можно я за ним поднимусь? — распевная ангельская интонация.

— Поднимитесь, сударь.

Стараясь больше ни на что не заглядываться: ни на дубовые шкафы, в которых за древним, оплывшими стёклами злое поплёскивала позолота на коре фолиантов; ни на паутиноподобные своды, отражённые в лощёном полу; ни на аллегорические барельефы, выросшие повсюду в эпоху классицизма, как грибные уши на мёртвой берёзе; ни на окна, высота которых не укладывалась в глаз, — Эжен прошёл полчитальни и нашёл Даниэля.

— Привет. Чем заняты?

— Ничем особенным, — писатель захлопнул какую-то первопечатную поэму.

— Тогда, может, самое время сходить в гости?

— К кому?

— Ну, хоть к графу де Марсе.

— В таком виде?

— Если хотите, переоденьтесь: спешки нет.

— Я о вашем...

— С моим всё в порядке.

Сдав книгу, Даниэль спросил:

— А почему именно к де Марсе?

— Он сейчас выздоравливает от тифа, значит, настроение у него должно быть лучше некуда.

На лестнице их обогнал интеллигент почтенных лет, тот самый, с которым Эжен заговорил, разыскивая шерсть. Он спешил к собаке, уже вскочившей и заплясавшей, завивлявшей больше половиной тела.

— Оксфорд, мальчик! Соскучился! — ласково говорил псу его человек.

— Знаете, кто это? — шепнул Даниэль? — Профессор Изенгрим де Фороньеж, лучший в мире дантист.

— Зубной врач?

— Специалист по Данте Алигьери. Он также автор истории тамплиеров, монографии с Святом Бернаре, нескольких статей о Шекспире.

— Круто... Пойдём или поедем?

— Я так давно не был в карете...

— Понятно.

Через две минуты Эжен закрыл за собой и спутником дверцу фиакра.

— Как быстро испаряются твои спартанские принципы — вы это обо мне думаете?

— Оставим спартанские принципы Спарте. Вам нездоровится?

— О, имея такого друга, как Бьяншон, и при желании не разболеешься! Но вчерашние сутки... начисто вынесли мне мозг, как говорят студенты. И почему *мне*, а не *мой*, *из меня* или *у меня*?

— Если об исчезновении мозга вещать логично и грамотно — кто ж поверит!

— Нда. Ну, так вот. Прошлым утром я встал как обычно, но пошёл, и довольно спешно, к вашему другу, графу де Траю. Зачем? Без понятия! А он как будто меня ждал, при этом собиравшись уходить. Ему хватило, извините, наглости препоручить мне свою даму, спавшую тогда ещё в наряде Евы. «Главное, — сказал, — не позволяйте ей читать». Как вам ситуация!? Проснувшись, графиня долго и тревожно допытывалась, куда делся её возлюбленный; уяснив, что я не располагаю сведениями, поинтересовалась вами, затем, наконец, мной самим, а потом принялась описывать свой вчерашний вечер: Максим заказал побольше еды из ресторана к ужину, чтоб её пришлось нести двоим официантам. Когда молодые люди явились, он, граф, попросил их составить ночную компанию этой экстравагантной чете, объяснил им их обязанности, пообещал награду. И, по словам госпожи Анастаси, лучшую часть ночи она пролежала на столе связанной и с закрытыми глазами, пока наёмники целовали её грудь, а жених усердствовал в своей, главной роли... Ну, вот ответьте, что бы вы чувствовали, если бы с вами так немисливо, жестоко откровенничала не любимая, но всё-таки... привлекательная женщина?

— Едва ли я развождеделся бы...

— Кто говорит о вожделении! Я — о крайнем смущении... Дождавшись графа, я со всей резкостью посоветовал ему в следующий раз кого-нибудь другого пригласить к себе в евнухи!

— А он что?

— Он ничего, но — дальше самое поразительное — выйдя из его квартиры на лестницу, я оказался на пороге его же спальни и увидел на кровати... себя самого, укрытого... и без признаков одежды. Невольно вскрикнув, я разбудил второго себя, и как только он открыл

глаза, моё зрение и вся моя душа перенеслись в него, в меня лежащего, а на месте себя стоящего я обнаружил — вашего Максима!

— И что он?

— Эжен, вас всё это не удивляет?

— Мне очень интересно. Следует ведь знать, как живут твои друзья.

— Надеюсь, это определение охватывает всех персонажей моей повести.

— Конечно. Я уверен, что и официанты были отличными парнями. Ну, так что же Макс?

— Ъх... Он сказал примерно следующее: «Сударь, если недавние события вдохновят вас на новеллу или какое-либо иное произведение, я охотно подскажу два-три издательства, пригодных для его сбыта; платят они скуповато, но, в сущности, тут не за что платить: эротическое искусство — не труд, а род наслаждения». Я попросил его выйти. Надо отдать ему должное: он добросовестно старался не красоваться своим превосходством, позволил мне спокойно одеться и покинуть вертеп.

— А где была Нази?

— Не знаю! Не напоминайте мне об этой... фее!

— Она богиня — нельзя её осуждать.

Даниэль решил было, что Эжен тайно влюблён в чужую наложницу, но его *богиня* прозвучала почти как *больная*, и писатель опять не знал, что думать.

Между тем фиакр остановился...

По всей видимости, лакей уже давно получил приказ принять господина де Растиньяка, если тот постучит, но как быть с другим джентльменом? Гостям пришлось ждать в прихожей. Даниэль сразу бросился осматривать интерьер во всех планах, то прислоняясь затылком к стене, чтоб обозреть противоположную, то утыкаясь носом в какую-нибудь деталь. Едва ли он насытился впечатлениями, когда слуга пригласил пройти в хозяйские покои.

Дом Анри был двухэтажным особняком с четырнадцатью окнами по всему фасаду, симметричным снаружи и контрастным внутри. Правую половину с регулярностью парикмахера обновлял самый модный декоратор; там Анри принимал «общество», и только единицы допускались на левую половину, материализующую собственно хозяйские фантазии об идеальной обстановке.

Болезнь граф де Марсе предпочёл на ординарной половине жилища, очевидно, из-за Шарля де Ванденеса, товарища по несчастью, но не близкого друга. Войдя в спальню, Эжен и Даниэль увидели обоих больных на одной постели; те были одинаково лысы, бледны, худы и веселы; облачённые в пижамы (коричневая у Анри, тёмно-зелёная у Шарля), — они играли в карты на большой подушке.

— О! Вот и наш главный бедокур! — обрадовался граф, — Что вы на этот раз нам принесли? Холеру? Оспу? Или только инфлюэнцу?

— Я принёс вам глубочайшие извинения, — ответил Эжен с искренним поклоном, — Я так хорошо себя чувствовал, что забыл о риске инфекции.

— Чем угрызаться, представьте, что угостили меня — нас — лучшей в мире дурью. Ей Богу, таких глюков не дождёшься от тонны опиума и ста галлонов абсента. Кстати, этот строгий господин за вашим плечом мне — нам — не мерещится?

— Нет. Позвольте вам представить Даниэля д'Артеза, начинающего литератора. Даниэль, это граф де Марсе и барон де Ванденес.

— Благодарю за честь знакомства, — пробормотал писатель.

— И нам приятно. Вы хотите дать нам что-то ваше почитать?

— Ннет, ... — Даниэль уцепился беспомощным взглядом за Эжена.

— Нет, — выступил тот, — То есть это вы тоже можете сделать: нас уже печатают в толстых журналах, но к вам мы пришли по другому поводу...

— А вы чего больше пишете: стихов или прозы? — перебил Шарль, всё ещё замшелый провинциал.

— Прозу, — икнул Даниэль, глядя под кровать.

— А в прозе, — подхватил Эжен, — то и дело приходится что-то описывать, например, место действия, например, чей-то дом. И вот мы здесь в надежде, граф, что вы позволите господину д'Артезу осмотреть образцы современного интерьерного искусства: у вас их больше, чем у кого бы то ни было.

— Вы его к Феодоре сводите.

— Непременно свожу.

Казалось, визит был исчерпан, но Эжен пустил дубовые корни в персидский ковёр и выжидающе смотрел на лысую парочку. Анри капитулировал почти мгновенно и без выраженной внутренней борьбы:

— Вы с ним походите или с нами посидите?

— Да похожу, наверное.

— Правильно. Пообъясните то да это...

— И посмотрите, чтоб не стащил ничего, — вставил сиволапый Шарль.

Даниэль дёрнулся и покраснел...

— А он за мной посмотрит, — сказал Эжен, ловя спутника за руку.

— Вы берите что хотите, — любезничал Анри.

— Долго будете шастать?

— К обеду управимся, — по-деревенски спрогнозировал Эжен с увесистым намёком.

— Раз на то пошло... Паркер, — кликнул Анри камердинера, — принесите шкатулку...

Спасибо. Как вас — Даниэль, подойдите сюда и вытащите не глядя две горошины.

— Зачем?

— Just do it.

На влажной ладони бедного пришельца оказались красная и чёрная бусины.

— Предвкушаю недурной десерт, — сказал Анри, — Ладно, ступайте уже. Только дверей нигде не выламывайте и потрудитесь быть через час в столовой.

— Я хочу уйти, — отрезал Даниэль, как только Паркер оставил экскурсантов в гостевой спальне.

— Что так?

— Не могу находиться под одной крышей с такими хамами. А особенно больно — видеть, как вы перед ними лебезите и расшаркиваетесь!

— По-моему, вы сами готовы были пасть на четыре колена.

— Я не сразу понял, какие они ничтожества, но вы-то знаете их лучше...

— Не на много. Шарля я вижу второй раз в жизни, а с Анри едва успел отделаться от первого впечатления. Не обижайтесь на них: они просто пытаются веселиться. Я давно заметил: в свете этикетничают только с теми, кто не люб, — говоря всё это, Эжен шарил по каминной доске, кидая в карман безделушку за безделушкой.

— Вы что затеяли!? Это грабёж!

— Нет. Мне же разрешили... Занимайтесь своим делом...

Писатель опустил на кресло в углу, зажал руками поникшую голову:

— Я не могу.

Эжен вздохнул, залез на кровать, чтоб быть ближе, и начал рассказывать об Анри: о его полукровстве, о его разбитом сердце и умирающих глазах, о коробке цветных шариков; о братьях Ванденесах, их матушке, их дружбе с несчастным графом. Даниэль воспрянул, как политая лиана, но время осмотра ушло. Вот всё, что он успел понять и сообщить Эжену, следуя за Паркером в столовую:

— Но ведь это (- одним пальцем в люстру, другим — в картину на стене —) не имеет никакого отношения к жизни и правде!

— Ни-ка-ко-го, — подтвердил инициатор, и даже лакей, обернувшись, подкивнул.

Анри явился к обеду во фраке, увенчанный белым фригийским колпаком, на котором место революционной кокарды занимала золотая геральдическая лилия, усыпанная бриллиантками не крупней горчичного зерна. Шарль остался в пижаме, только плешь замотал чёрной барбадосской банданой и имел угрюмый вид: должно быть, получил нагоняй за свои необдуманные реплики.

На столе поджидали: блюдо горячей красной фасоли, карточный веер из ломтиков телятины, переложённый макушками пурпурного базилика; на зависть египтянам — пирамида из свекольных кубиков, окружённая черносливом; томатный соус, ржаные тосты, осетровая икра, бутылка бордо времён фронды.

Пока четверо сотрапезников усаживались и слуги накладывали каждому особую порцию (Даниэлю — гору всего, Эжену — чайную ложку гарнира без мяса и соуса, Шарлю — только мясо и хлеб, Анри — только сухофрукты и икру), хозяин извинился за скромный стол, на что никто не придумал ответа, и разговор ушёл от гастрономии:

Эжен (несерьёзно): Граф, стоило ли так наряжаться? Нам просто неловко...

Анри: Ах, полноте! Я пробыл в гардеробной каких-то тридцать пять минут, а фрак этот заказан в позапрошлом месяце, так что я одет не лучше вас. А что нового в свете?

Эжен: Ваше изобретение — фанты на деньги — стало популярно. Ставки доходят до пяти тысяч, уже есть жертвы: кто-то сиганул со второго этажа, хотя от него, дуралея, требовалось всего лишь выпрыгнуть в окно.

Шарль: И что же, прямо на смерть?

Эжен: Нет, но ногу сломал. Анри, а ваша сестрица уже приехала?

Анри: Да. Отец снял для неё коттедж в Версале. Сейчас там немодно: снег и вообще, но она ведь такая чудачка: считает наш век предпредыдущим, а себя — французской маркизой и фавориткой Луи XIV.

Эжен: А на собственное имя она отзывается?

Анри: Не знаю. Я с ней не встречался никогда. Все сведения — с чужих слов. Кстати, говорят, она блондинка и красавица.

Шарль: Умираю! хочу майонеза!

Анри: Даниэль (простите, не запомнил вашей фамилии), вы с пользой провели время?

Даниэль: Надеюсь...

Анри: Вы — романтик?

Даниэль: Возможно,... отчасти...

Анри: Здорово, что вы зашли. Я никогда не встречался с писателем.

Даниэль: А как же Шатобриан... или господин де Каналис?

Анри: Первого я только издали видел, то есть не видел вообще, а насчёт второго вы должно быть шутите. То есть, конечно, он выпустил на днях уже седьмой сборник... Кстати, Эжен, хотите посмеяться?

Эжен: Всегда.

Анри: Паркер, принесите нам «Молнии и радуги» — это так оно называется. Я почитаю только оглавление — вы сразу всё поймёте. Итак:

Гроза на рассвете...
Чёрный мёд...
Шлак и фарфор...
Напудренное кресло...
Дом из ракушек...
К Эйнаре...
Терситы наших дней...
Новые запонки...
Вампир...
Карман, полный кокосовой стружки...
Ангел и кошка (басня)...
Пир Петра Великого...
Рождение Адониса...
Сон в ночь на масленицу...
Тур...
Химмельтруда...
След червя...
Памяти Сореля...
Апсара и пэри (восточная легенда)...
Последний пивовар...
Любовь медузы...
Лужа в песке...
Новые размышления о мёртвом осле...
Белое знамя...
Оливковое масло на снегу...
Прекрасная белошвейка...
Смерть филина...
Семена чертополоха...

Граф читал, периодически зажимая носом и губами смех; Шарль то хихикал, то всхohатывал, но Эжен слушал вдумчиво, широко раскрыв глаза и подрагивая бровями, а Даниэль вообще, казалось, готов был плакать.

Анри (*бросая раньше времени*): Ну, вы даёте, дорогие гости! Вы где ещё такую лобуду встречали!?

Эжен: А мне понравилось.

Анри: Там ещё будут *Драгоценный изумруд* и *Загнанная птица!*

Шарль: Псссс!.. Страус, наверное!..

Эжен: Конечно, вы больше смыслите в стихах. Я и не берусь утверждать, что они хороши, просто то, что я услышал, показалось мне... значительным,... напоминающим о чём-то...

Даниэль: Например?

Эжен: *Шлак и фарфор...* В детстве, бывая в городе, я то и дело замечал на улицах: в песке, в щебне, в шлаке — осколки дорогой посуды, белой, расписной, позолочённой... Сперва мне это даже нравилось — что и в грязи можно найти нечто красивое. Но в начале школьных лет я как-то вдруг понял, откуда там эти черепки... А вам ясно?... Это следы революционных погромов...

Шарль (*не нервным шелестом в голосе*): Господа, позвольте отлучиться; извините.

Эжен (*Даниэлю, тихо*): Видите — не какой уж чурбан.

Анри (*неловко из-за лорнета листая книжку*): Я уверен, этот стих совершенно о другом.

Эжен: И Бог с ним, со стихом. Не лучше ли было б кому-то из них составить книгу одних заголовков, чтоб каждый читатель мог сам раскрутить любую мысль или картинку? А назывался бы этот перечень не *Оглавление*, а *Содержание*.

После чашки горячего шоколада с гостями категорически простились.

— Ну, как — бобы и мясо позволяют вам пройтись до Латинского квартала? — спросил Эжен и вдруг по одному взгляду на спутника понял истинную причину катания в фиакре: Даниэль боялся быть замеченным в такой компании. Скулы южанина словно покрылись инеем, тогда как ко впалым щеками пикардийца липли маковые лепестки, а карие глаза заволкло слезой.

— Эжен, мне так совестно! Вас, бескорыстно выполняющего мой любой каприз, вас, чьи услуги меня кормят, я стыдился! Подло! Низко! Вы же привели меня в вельможный дом, заставили принять с почётом, не дали в обиду... Правда,... мне так и слышится голос Фюльжаса, говорящего, что всё наоборот, что я вам нужен для забавы и что мной вы потешаете приятелей, как карликом-шутком. (- Эжен зажмурился, словно летучая мышь от солнечного света —) Но нет! Он ничего не знает! Вы искренне мне помогаете! Ведь правда?

— Вроде бы...

— Достоин ли я вашей дружбы? Вам судить. Но впредь я не намерен скрывать наше знакомство, ваши одолжения мне и мою вам благодарность.

Эжен дважды шмыгнул носом, глянул вверх и в сторону, выдернул зубы из изнанки щёк и проговорил:

— Даниэль... Я не стою таких страстей... Это мне введома ваша доброта. Вам достались лишь мои заскоки. Пригождаются? — Отлично. Черпайте семью горстями.

— Вы обижены — я вижу...

— Что ж, тогда мне следует теперь проститься с вами, чтоб потом всю жизнь играть на вашем чувстве неискупленной вины, крутить вами, как вздумается. Только — нет! Не стану! Лучше вы прямо сейчас мне докажете, что не вдали, — прогуляйтесь со мной в Дом Воке! А вот риторику поберегите для Фюльжаса.

В первую секунду Даниэль ужасно испугался, словно всему его привычному существованию пришёл бесповоротный крах; он даже вроде бы готов был жить с любыми угрызениями, только как неделю назад, в своём Содружестве... Но ноги уже мерили улицу, а спутник вёл спокойный разговор:

— Я в курсе, что ваши друзья деспотичны. Мне это тоже знакомо. К примеру, Макс

требует, чтоб я франтил и посещал мою даму раз шесть в сутки, Эмилю интересно, чтоб я больше читал и бывал в свете, а Орас вынуждает объедаться и ближайшим же летом свалить отсюда в Ангулем, типа на природу, поправиться... Но если обращать на всё это внимание, то свихнуться недолго!

Проводив глазами угрюмого и надменного молодого человека с чёрной папкой подмышкой, Эжен вдруг спросил:

— А кто такой Сорель?

— Скорей всего, писатель позапрошлого века, автор «Жизнеописания Франсиона» и «Экстравагантного пастуха». Если не кто-то из родни Аньес Сорель, фаворитки Карла VII знакомой всем в основном по поэме Вольтера.

— Того самого?

— Он такой один...

— Едва ли остальные лучше.

— А он чем плох?

— *Пушки уложили около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Каждую деревню авары спалили согласно законам общественного права. Всюду искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами.*

— Это его философская повесть «Кандид, или Оптимизм».

— Знаю, проходили в седьмом классе. Господин Сен-Пре, учитель, дал нам книжку и вечером в спальне её читали по очереди вслух. После разбрызганных мозгов я попросил её у тещи, взял и разорвал, объявив сволочной и поганой. На меня накинулись разом десять человек, но остальные девять встали на мою сторону; вышла отменная стенка-на-стенку, в которой от книжонки не осталось целой четверти страницы. Когда надзиратель приказал пропеть Те Деум, у меня были разбиты нос, бровь, губа и сломано плечо, другие пацаны выплёвывали зубы, держались за рёбра и головы; с пола можно было насосать стакан крови. Я сразу назывался зачинщиком, объяснил причину и на сей раз не встретил оппозиции: очевидно, что, если, прочитав две с восьмушкой главы, двадцать мальчишек чуть не поубивали друг друга, — эта повесть исполнена зла. Сен-Пре схлопотал выговор от директора, а я — место в коллежском лазарете. Он, словесник, проведаль меня там, стал втирать про прогрессивность Вольтера, про иронию и что-то ещё, но впустую. С тех пор я не читаю художку.

Не дав спутнику набрать в грудь воздуха для нового вопроса, Эжен вдруг начал расспрашивать о катр-ванских подвижниках. Даниэль с энтузиазмом отвечал всю оставшуюся дорогу, забыв смотреть по сторонам и не чувствуя времени. Но, слушая его, неуклонный прагматик только вздыхал украдкой: эти молодые гении не умели создавать ничего, кроме речи; исключение — Жозеф, художник, но что ещё у него за картинки? Даже Рафаэль вроде на пианино играет (музыка — отличнейшая штука!), может поразвлечь насельников Дома Воке, а тут!..

Пришли. Навстречу в окружении встревоженных, полуодетых людей выступил их

избранный старшина, сморщенный, но бодрый ветеран Калё.

— Привет, мой генерал! Чего гудите?

— Там к вам того... конкуренты...

В гостиной, сидя верхом на стуле, грозно зыркал по сторонам респектабельный, хоть и недолощённый господин, буржуазно упитанный, рослый, лет пятидесяти с лишком.

По стенам, на лестницах и открытых галереях второго этажа робковато толпились жители.

— С кем имею удовольствие? — спросил Эжен, представившись.

— Дарберу, содержатель приюта для бездомных у моста Турнель, — объявил пришедший, пристукнув об пол тростью, — Человек, которого вы разорили!.. За последний месяц у меня переночевало всего семьдесят четыре остолопа, из которых треть не вязала лыка и заблёвывала мне всё помещение, четверть устраивала дебоши, так что мне приходилось звать жандармов, а за остальными и без приглашения являлась полиция, никогда не забывающая взять штраф со всякого, кто носит цилиндр и часы на цепочке. Сегодня, просмотрев бухгалтерию, я понял, что у меня не найдётся даже сотни-другой, чтоб заплатить паре мордovorотов за урок вашей милости!..

С четырёх вершин на неудачника пошла лавина брани и угроз, но Эжен остановил её разводом рук.

— Действительно плачевно, я вполне сочувствую, — ответил, — и даже признаю свою ответственность. Согласен выкупить остатки вашего предприятия (- Дарберу вскочил —) по цене, которая устроит нас обоих. Завтра или послезавтра загляну к вам, а сейчас не смею задерживать.

Недружелюбный гомон подтвердил гостю, что ему пора; он умотал, тряся туком.

— Правда что ли купите егонную ночлежку? — спросил Эжена Калё.

— Хотелось бы, но только её надо будет переделать частично в столовую — тогда вы сможете нормально обедать каждый день — частично в баню, благо река рядом. Если у кого найдутся лучшие идеи, я с радостью послушаю минут через десять, а сейчас позвольте показать товарищу здесь кое-что.

Оставив подопечных совещаться внизу, Эжен повёл Даниэля по лестнице:

— Как думаете, сколько спальных мест в этой гостинице?

— Триста? Триста с половиной?

— Затевая всё, я постановил себе костями лечь, но чтоб не меньше тысячи.

— Но как!?

— Да, это был вопрос.

Вошли в комнату, где селились мальчишки от семи до пятнадцати лет, днём рассекавшие по улицам. Обстановка удивляла сразу: потолков почти не видно из-за сплошного дощатого настила, который поддерживали толстые брусья; простенько сколоченные лесенки вели наверх.

— А вот ответ — ролаати — русская фишка. Пара дней столярной возни — и жилая площадь удвоена.

— Невероятно!.. Неужели в Париже столько бесприютных!?!...

Эжен прохаживался, проверяя, все ли форточки открыты.

— Я не говорю, что здесь каждую ночь спит тысяча несчастных. Просто могли бы. При необходимости можно и третий ярус соорудить — развесить между столбами гамаки, как на флоте. Видите крючки? А так в моей картотеке числится 622 лица...

— Тоже немало!

— И день ото дня их на пару-тройку да больше, поэтому и запасаю...

— Как, должно быть, трудно тут поддерживать порядок. Впрочем, вы из тех, кому особенно охотно повинуются...

— Вы представляете себе лес? Ну, или сад? Разве деверья нужно уговаривать расти, плодоносить и осыпаться на зиму? Порядок труден, когда он надуман, навязан ради самого себя, без учёта настоящих нужд. У нас же не казарма, а муравейник, да и то ленивый, с дисциплиной ради развлечения, ведь надо людям чем-то заниматься. Одни топят печки, другие следят за окнами, третьи греют воду; кому хватает сил — выколачивает подстилки, моют или метут полы; многие с утра уходят побираться или подрабатывать, но кто-то, особенно женщины, сидит здесь и рукодельничает; грамотные учат неграмотных... Как они распределяют меж собой дела, я не знаю. Я уж так, послеживаю в целом, даю советы... Ну, пойдёмте что ли.

В прихожем зале тесным, широким каре стояли в ожидании ночлежники, Калё с четырьмя приспешниками — чуть впереди. Даниэль на уровне инстинкта, но очень остро ощутил тревогу в окружении стольких простолюдинов. Да и для Эжена встреча с такой преградой была десертной ложкой адреналина, только ему это и нравилось; не зря он помянул лес.

— Сударь, — начал старшина, — хоть вы никогда не требовали с нас никакой платы, мы уже давно — по честному чтобы — собираем деньжата для вас. Вот, — подтолкнул локтем семнадцатилетнего парня; тот подскочил к Эжену и обеими руками передал увесистый холщёвый мешок, сладкий, звонкий перешелест внутри которого ни с чем нельзя было спутать, — примите с нашей благодарностью. Вклад в предстоящую покупку. Тут ровно триста франков.

— Аэ!.. — подношение чуть не вырвался из пальцев любителя больших масштабов, разочарование высыпало на лице барона с безудержностью диатеза.

— Для вас это, понятно, мало...

— Зато много для вас! — громко и с чувством возразил Даниэль.

— Да, точно, — опомнился Эжен, — Спасибо, это очень трогательно и кстати.

Поклонился, скрежеща зубами, и поспешил прочь.

На ближайшей площади сел на скамейку, грохнул мешок себе на колени ((о, будь там золото, достоинство бы было шестизначным!)), размотал линялый шнур и вытащил пригоршню самых мелких, тусклых, стёртых, гнутых, поседевших медяков.

— Черти полосатые! — горько, болезненно засмеялся, — Куда я это дену!?

— А чего вы ожидали? Сами как-то обмолвились о вдовьей лепте...

— ... Вы спрашивали, не сочинял ли я стихов... Хотите, что-нибудь прочту?

— Своё!?

— Ну, да.

— Конечно!

— Только оно детское. Точней, вообще младенческое.

— Ничего! Ничего!

Покраснев, как полагается поэту на дебюте, помолчав, как будто собираясь с духом, глядя под ноги, Эжен негромко произнёс:

Чёрный злой болотный змей,

Мальшей кусать не смей!
Кто не любит малышей,
Тех прогоним мы взащей.

Посмотрел за Даниэля. Тот дважды хлопнул веками, сделал какой-то недоуменный жест:

— Но оно же... совсем...

— А на основании чего вы ждали сонета, гимна или этой, как её? — элегии? Я прямо вас предупредил...

— Действительно, — литератор прояснил лицом, улыбнулся, — Порой буквальные значения — самые невероятные. Вы сочинили это, будучи ещё ребёнком?

— Да, для сестрёнок и братьев.

— Помните ещё?

— Конечно. Вот обычай хомяков — пожевал и был таков. Нравится?

— Рядом с вами модный поэт: Гюго, де Вини или тот же Каналис, — как пышный барочный фонтан — на берегу озера, обросшего ивами и камышом...

— А вы могли бы рассказать за час всю историю Франции?

— Прямо здесь? Теперь?

— Бог с вами! Нет. В Доме Воке как-нибудь, для просвещения жильцов.

— Пожалуй...

— Это не горит. Как будете готовы, черкните или устно передайте хоть через Ораса.

— Хорошо.

Эжен зачерпнул грошей: «Не побрезгуете?»; Даниэль подставил пригоршни, потом разделил мелочь по карманам.

— Увидимся, — встав, попрощался с ним эксцентричный южанин.

Потешки-самоделки одна за другой вылезали из памяти; иные были так забавны, что Эжен посмеивался на ходу. В конце концов на каком-то перекрёстке его заметил и остановил жандарм:

— Извольте объясниться, сударь.

— Что не так?

— Смех на улице есть нарушение общественного порядка и признак неблагонадёжных умонастроений. Потрудитесь изложить причину немедленно или пройдёмте в участок.

— Я вспомнил один стишок.

— Соблаговолите зачитать, только не громко.

— Жил да был огромный лось — хорошо ему жилось.

— Дальше.

— Это всё.

— Пройдёмте.

За полтора часа в участке Эжен собрал вокруг себя шестнадцать человек, которым перечитал на овации все свои стишата, выложил историю денежного мешка и Дома Воке.

Его выпустили уже в темноте. Он легко шагал, глядя под ноги; ему казалось, что Земля катится под его ступнями, как бочка — под ступнями трюкача.

Дома затолкал ношу под кровать. Говорят, что и после его смерти это сокровище нашли недоисчерпанным.

На табурете посреди спальни лежал на блюде гладкий сердцевидный плод чуть крупнее яблока. В него была воткнута зубочистка с флажком: «Ядовито! Не есть ни в коем случае!».

Сперва обиделся: такая дешёвая провокация! Потом благодушно, любознательно и легкомысленно уступил — надкусил. Тотчас тёмная и нетопленная комната воспламенилась самыми жаркими красками. Морёные доски запьянили корицей, с затоптанного ковра вознеслись лучи всех цветов на свете. Обожженный ощущениями, Эжен попытался вскочить, но его ориентацию вывихнуло из обеих ушей, он бессильно упал спиной на пол, в который превратилась стена у кровати; над ним с нового потолка сквозь каминную кладку прорывалось сияние Млечного пути. А плод висел в воздухе; под его кожей клубился огонь; прозрачно-золотые перья излетали от выемки.

Проглотив кусок, Эжен залился теми же слезами, с которыми чуть не вытекли его глаза в день вступления в это жилище. Вокруг стало меркнуть; плод лёг в ладонь, коробка комнаты медленно закрепила обратно. Казалось, нужно на что-то решиться дальше, но никакого выбора не было: можно пересилить боль, наслаждение же неодолимо. Оттого он с таким лихорадочным ужасом и горючим рабским стыдом снова поднял ко рту сосуд соблазна, отчаянно впился всеми зубами, думая: покончу с этим поскорее. Но второй кусок дался легче. Кровь уже в готовности слилась с райским соком. Воздух, став водянисто мягким, обезвесил тело. Однако всё, что сохранялось от сознания, пульсировало страхом и протестом.

Тогда он, сладостный светоч, посланец Эдема, безустно заговорил, укоряя: «Как ты смеешь отвергать любовь к тебе Бога, Отца радости и блаженства?» — «Как же мне иначе!? Скорби матери! труды сестёр! жертвы тёти! — всё впустую! Я не добился успеха!». Ответа не было. И Эжен почувствовал нежданную свободу, ясность понимания удела. Долг, неоплаченный всеми деньгами мира, вечная тьма раскаяний — это есть и будет, но если Кому-то нужно, чтоб ты познал и другое, почему бы нет?

В восьмом часу Эмиль спохватился об осиротевшем камине соседа и, поцеловав Беренику, словно уходя от неё в море, спустился на нижний этаж, вошёл в эженову квартиру, и голова у его поплыла от влажного, оранжерейного тепла, смеси густых запахов, в которой чуялись какие-то полыни и тины, мускус и кефир. Все зеркала и окна запотели, занавески — проволгли. Свеча в руке Эмиля загорелась розово с переливом в зелень. Что ещё за чертовщина!?

Эжена он нашёл в спальне — тот лежал ногами на подушке, свесив к полу руку. На стуле рядом валялись объединённое сокрестье чашелистиков и россыпь зёрен — шесть их от света разбежались, оказавшись тараканами.

— Эй, ты живой? — в недоумении Эмиль позабывал все английские слова.

— Да, — сонно отозвался Эжен.

— Что с тобой случилось?

— К тебе вопрос. Что ты мне подсунул за фрукт?

— Это-то? Это хурма. Приехала из Средней Азии и продается за пять франков в гастрономе на улице Святого Оноре.

— Тебя надули, — Эжен приподнялся, сел, — Это плод райского дерева жизни, до которого не добрался Адам.

— Да? — Эмиль успокоился, собрал объедки в ладонь и занял стул, — Ну, соболезную

— теперь ты никогда не умрёшь. (- Эжен только засмеялся —)... Знаешь, какой у тебя сейчас вид? Как будто ты с утра огрѐб пятимиллионное наследство, к обеду был произведен в герцоги и кавалеры ордена Трёх Золотых Рун, после выиграл в рулетку ещё восемьсот тысяч, принял сватов от алжирской принцессы, закатил пир, рядом с которым тримальхионов — всё равно что перекус на набережной, и предался утехам с десятком отборных красавиц со всех континентов, а на самом деле ты просто умял что-то вроде персика. Я должен в это поверить?

— Ты сам его пробовал?

— Да. Вкусно — спору нет, но!..

— Растиньяк! — кликнул тут из прихожей Рафаэль.

Эмиль вытращил глаза и прижал палец к губам, но Эжен отозвался:

— Заходи!

После семи шагов и трёх споткновений гость появился в спальне.

— Вы тут пытались устроить хамам? — спросил он уныло.

— Не про твою честь, что бы это ни было! — проворчал Эмиль.

— Чегостряслось? — поздоровался по-своему Эжен.

— Я принял решение. Я отрекаюсь от Феодоры — забирай её себе! Пусть отныне моя жизнь тонет в безумном распутстве, сгорает как факел...

Эжен кусал губы, чтоб не спросить: «Так ты за топливом?» и, притворяясь спокойным, выковыривал из зубов хурмяное волокно.

— Фино заплатил мне за первую часть тёткиных мемуаров, только я... Ах! Эта страсть давно, давно тлела в моей душе. Я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника! Я был на балу у герцога де Наваррена, родственника моего отца. Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал — до того поразил меня этот акт доверия, — он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня...

— Стоял господин де Моленкур, неизлечимый клептоман, — вмешал Эмиль; Рафаэль хотел остановить его, но отвлёкся на Эжена, шарящего по карманам, — при котором дамы прижимают обеими руками колье к груди, а кавалеры прячут в кулаках часы и табакерки. Стоило твоему отцу отвернуться, как этот демон восьмой заповеди ринулся напрямиком на тебя, но ты его сразу раскусил и, ... — под обрыв этого непрошенного продолжения Эжен извлёк три пятисотки, тех самых, феликсовых: у Фликото он не мог ворочать крупными купюрами. Молодые люди уставились на деньги с примерно одинаковым удивлением.

— И что? — это прозвучало то ли как *и что было дальше?*, то ли как *и что мне с этим делать?* Рафаэлева десница походила на клешню богомола в засаде.

— Едва ли, — отвечал Эмиль, опершись на плечо трагического честолюбца, — имел место врез по морде; скорее всего наш друг срулил домой, либо же пошёл в наступление и загрузил врага ведической философией до съезда крыши.

— Да нет! Нет! — пробудился Рафаэль, — Там... шла карточная игра...

— Ну, ясно, — перебил Эжен, — Ты проиграл гонорар.

— Я был уверен, что, как новичку, мне непременно повезёт!

— Везение — сказка. Выигрывает только тот, кто это умеет.

— Эжен, ты дома? — раздался из-за стены голос Бьяншона.

— Кам хиа! — зычно ответил ему Эмиль, — Нас уже много.

Рафаэль сел на стул в углу и, морщась, слушал, как Орас с приятелями обсуждал влажность воздуха и психоделические возможности фруктов. Когда собеседники наконец коснулись азартных игр, пожаловали Макс и Нази.

Эмиль: Макс, ты знаешь, что такое хамум?

Макс: Хамам (добрый вечер, маркиз) — это турецкая баня.

Орас: И скажите им, что если они не затопят камин немедленно, через час здесь всё будет в инее, а через месяц — в плесени.

Макс: С вашего позволения я скажу то, с чем шёл. Эжен.

Эжен: М?

Макс: Я тут пересчитал мои деньги — их оказалось девятьсот сорок один франк. Не сможешь раздобыть ещё два-три нуля?

Эжен: С удовольствием! Давай сдадим тебя за две тысячи де Люпо как одного из Тринадцати?

Макс: Что!?

Эжен: Всё, обязательно сдадим. Ты должен был спросить, что за Тринадцать...

Макс: Я понимаю, как тебе весело кривляться, потешая твоих прихвостней, но лучше припомни, сколько взял у меня, и постарайся в течение суток раздобыть хотя бы десять тысяч.

Эжен (вставая с кровати): Так. А на потолке что? Сколько всего тебе надо?

Макс: Полмиллиона.

Эжен: Хорошо.

Макс: Где и как?...

Эжен: В рулетку выиграю.

Макс: Не валяй дурака!

Эжен (показывая деньги): Что тебе-то? Я свои поставлю. Эмиль, Рафаэль, пойдёте со мной.

Макс: Ещё соседей пригласи полюбоваться на свой позор, когда!..

Орас (ему, тихо): Да ладно. В самом деле, если обожжётся, то только один...

Пока Эмиль бегал к себе за сумками, Эжен с Рафаэлем не спеша спускались по лестнице.

— Тебе нравится, когда на тебя орут? — спросил маркиз.

— Нет, но Макс можно.

— За что такая привилегия?

— ... Ну, он... типа страдает. Из-за меня.

— Я, знаешь ли...

— Это не то.

Поехали в Пале-Рояль с таким разговором:

Эмиль: Кроме шуток, Эжен, а если ты продуешь?

Эжен: Нет. В карты или, там, в лото какое-нибудь — может быть, но рулетка — моя игра.

Эмиль: Если однажды когда-то тебе удалось...

Эжен: Это было не случайно. Потом объясню. Сейчас договоримся о наших

действиях...

У стола, исчерченного клетками, расписанного цифрами и засыпанного деньгами, Эжен минут шесть в горестном исступлении восклицал о последней надежде, а спутники наперебой и ещё громче уговаривали его а) не отчаиваться; б) уйти отсюда, в) поставить хотя бы не сразу всё, что досталось ему от покойного скупердя-деда. Крупье уже запустил колесо и чуть не промахнулся шариком, отвлекаясь на балаганящую троицу. Эжен застыл как бы в раздумье, закрыв рукой половину лица, потом швырнул полторы тысячи на число два. Эмиль покрутил пальцем у виска. Рафаэль кусал губы. Эжен отвернулся.

Через тридцать секунд раздалось многогласное «УУУУ!». Неистовый южанин разжилеся пятьюдесятью четырьмя тысячами и тут же ринулся ва-банк, но его осадили: больше десяти здесь не ставят. Друзья снова подкатили с увещеваниями. Крупье торопил. Эжен назвал число тридцать — и вот у него четыреста четыре тысячи. Публика взвизжала.

— Гоните этого прохиндея! — призвал старик из завсегдатаев, — Я знаю его, шельмеца! У него есть какой-то секрет! Он всех нас обчистит!

Эмиль наскочил на скандалиста бойцовым петухом; служители всех успокаивали; кто-то из наблюдающих пророчил синеглазому счастливцу скорый провал. «Да, надо уходить», — смирился Эжен, но тут настал черёд Рафаэля. Он слёзно выклянчил у друга три тысячи (начав с пяти), поставил на восемнадцать (Эмиль челночно бегал от товарища к товарищу, поочерёдно вися на каждом) и принёс в общую кассу ещё чуть больше сотни тысяч.

Сколько вокруг было горл, столько комьев в них встало. Некто похожий на управляющего прошептал Эжену, сгребаящему богатство в саквояж: «Ради вашей же безопасности умоляю вас покинуть заведение». «Вы видите!? — сипел старик-обличитель, — У них и мешки заготовлены! Это же шайка мошенников! Зовите полицию!».

Но всё ограничилось мысленными проклятиями завистников. Победителям дали уйти. На пороге Эжен всё же вручил вышибалам по луидору, попросив никого не пускать по его следу, и столько же извозчику, чтоб ехал быстрее.

В фиакре:

Эмиль: Вот это было клёво!

Эжен: Да не слишком. Еле уложились...

Рафаэль: Неужели ты отдашь весь куш?

Эжен: Почему весь? У нас девять или восемь кусков сверху.

Эмиль: Не поручусь за себя, но Орас на это сможет прожить двадцать лет.

Эжен (вручая друзьям по тысяче): Спасибо за помощь.

Эмиль: О, биг тэнкс.

Рафаэль: Но как тебе удалось восторжествовать над колесом слепой Фортуны? Что за волшебство тебе подвластно? Ты словно приказывал, а шар — повиновался!

Эжен: Ничего подобного. Я просто предвидел остановку рулетки.

Эмиль: Это как это?

Эжен: Мои глаза могут не только увеличивать или уменьшать, но и ускорять или замедлять, если один из них закрыть, а другим смотреть. Левый тормозит, правый разгоняет картинку. И весь фокус.

Рафаэль: Ты разыгрываешь нас?

Эжен: Я знаю, что это аномалия... Когда я её у себя обнаружил? Лет в восемь. Был

июньский вечер. Я шёл по какой-то опушке и заметил назревшие бутоны таких крупных колокольчиков на высоком стебле. Мне стало жаль, что они ещё не распустились; очень хотелось увидеть их прямо сейчас, но что поделать... Я двинулся дальше, повернулся к цветам правым боком; в левый глаз мне засветило низкое, но ещё яркое солнце. Видимо, я машинально подмигнул деревьям и лугу. Тут мне померещилось что-то зыблящееся, меняющее краски. Было не страшно. Я проморгался и уже нарочно ополовинил взгляд — и, надо думать, обалдел: деревья плясали, облака обогнали бы птиц, солнце упало за горизонт, звёзды поплыли своими дуговыми путями; потом рассвет-скачок, и, наконец, обогнав половину суток, я созерцал мои колокольчики во всей красе!

Эмиль: Итс вандефул!

Рафаэль: Ты настоящее чудо природы!.. А на людях это работает? Ты можешь предсказать чужие поступки?

Эжен: Нет, даже тропу муравья мне не предуследить. Заранее удаётся видеть только неизбежное: недолгосрочный рост ветки, движение светил, моменты баллистики...

Эмиль: Удружил же тебе изобретатель рулетки!

Эжен: Вообще так играть нечестно.

Рафаэль: В мире, где так мало справедливости...

Эмиль: Не парься — не в хамаме.

Макс и Орас ждали со свечой в зеркальной гостиной. Граф курил у окна с видом скорее скучающим, нежели взволнованным.

Орас: Анастаси уснула...

Макс: Как успехи?

Эжен: Как обещали. Орас (*протягивая медуку внушительную пачку банкнот*), возьми Христа ради, на добрые дела.

Эмиль (*хлопая Бьяшинона по спине, как поперхнувшегося*): Бери давай! У нас — побратски. И даже круче. Глянь, что сейчас будет.

Эжен (*водружая на стол две крупных дорожных сумки, расходящихся по швам от золота и серебра; обеими руками указывая на них побратиму*): Можешь пересчитать.

Макс (*отложив окурок, с какой-то английской миной, отодвигая от себя большую часть*): Не забывай себя.

Эжен: Ты говорил, что тебе надо...

Макс: Я — это мы с тобой.

Эжен (*скорее рассерженный, чем растроганный; почти на ухо графу*): Двести тридцать пять тысяч — это я припомнил.

Макс (*бессовестно*): Нда? Я думал, больше. Впрочем, я не вёл учёта. (*мимо*) Он действительно выиграл столько в рулетку.

Рафаэль: Да, как ни поразительно!..

Эмиль: И больше бы сорвал, если бы не ограничения в ставке!..

Рафаэль: Трижды подряд угадал число. Верней... (*Эжену*) Рассказать о твоём даре?

Эжен: Валяй.

Эмиль (*после того, как восторженный и витиеватый свидетель потратил почти полчаса на рассказ о чуде в казино; Макс*): А ты так сможешь?

Макс: Так — нет. Но слегка сосредоточившись за ломберным столом, я сниму рубашки со всех соседских карт.

Рафаэль: Но как!? За счёт чего!?

Макс: Просто взглянув на них глазами других игроков. Я телепат.

Рафаэль: Вы учились, или с этим непременно надо родиться?

Макс: Когда мне ещё не было десяти лет, Париж голодал, как на третьем году осады. По наущению опекуна я каждый вечер выходил на улицу, останавливал какого-нибудь одинокого прохожего и приказывал ему к рассвету принести на это же место еды и денег, и к утру он уже стоял под нашими окнами со свёртком, обычно весь потрепанный, с пятнами крови повсюду. Я снова спускался, забирал дань и либо освобождал этого человека, либо, если он казался мне ещё на что-то годным, повторял распоряжение. Если же бедняга за ночь пропадал, к полудню приходил запасной посланник, так же завербованный в сумерках. Очевидно, что ими руководила вовсе не жалость к сиротливому белокурому ребёнку.

Впечатлительный Эмиль, бросив за спину: «Я сейчас», выскочил из квартиры и, весь дрожа, вцепившись в перила и свесившись над лестницей, прошипел: «Вот сволочь!». После эженовых цветов рассказ Макса его особенно взбесил, но всего большее было то, что он уже записал этого психа себе в друзья, а дружба — незыблема...

— Заметьте, — продолжал тем временем Макс, глядя во тьму прихожей, — я никого не принуждал к грабежу и убийству. Те люди вольны были в выборе средств. Ты же, Эжен, не заставил отечески доверяющего тебе господина де Нусингена — с ножом у его горла — открыть главный сейф, не попытался вымочь деньги у своей дамы или снова обольстить банкирскую дочку.

— Эй!.. — гневно прикрикнул Эжен.

— Вы и его... подвергли внушению!? — допытывался Рафаэль, шныряя глазами между побратимами.

— Зачем? — ответил Макс, — С тем, для кого решение чужих проблем — любимая игра, не нужно колдовства и гипноза.

— Вы, Рафаэль, — заговорил Орас, — на мой взгляд, чересчур увлечены иррациональными теориями власти и обогащения. А в этом направлении, по-моему, любые устремления довольно порочны. Кроме честного труда, возможно, но у вас тут... и в этом усомнишься. Я уверен, для самого себя Эжен не сделал бы денег из воздуха, даже не попробовал бы. Макс же, если я правильно понял, выступил со своим удручающим признанием — в назидание, может быть, именно вам, чтоб вы задумались, как страшны иные средства...

Он слегка замялся. Тут вошёл Эмиль с упаковкой чистой бумаги в пятьсот листов:

— Орас, а это от меня твоему Даниэлю.

— Спасибо, но ведь я теперь легко могу ему это купить.

— И где ж ты это купишь — бесплатно? — усмехнулся журналист.

— Макс, — вспомнил Эжен, — у меня к тебе вертится просьба... Один очень порядочный человек решил купить нескольких девочек-подростков в бедных кварталах — спокойно, Орас — чтобы стать их воспитателем, устроить их будущее. Сам он боится и стесняется, ну, и попросил меня, а я, сам знаешь, в таких делах ни ухом, ни рылом...

— Ага! Это под тему чужих нужд и... как оно по-вашему?

— Халявы, сэр, — подсказал Эмиль.

— Сколько же девственниц я должен пригнать тебе и твоему заказчику, не заплатив за них ни ломаного гроша? Не мелочись. Я надеюсь получить незабываемое удовольствие от общения с их родителями.

— Мелочиться я не привык. Сколько сможешь, столько и обойди домов, и, раз уж ты такой мастер и любить говорить с народом, то всем отцам и матерям, готовым продать дочь, залей, пожалуйста, в мозги, чтоб они никогда не смели этого делать, чтоб ценили и берегли детей больше своей жизни.

— Это уж чёртова епитимья, — расстроился Макс, — Как ты отчитаешься перед тем благотворителем?

— Как есть: верну деньги и скажу, что желающих не нашлось. Только ты уж постарайся.

— Ладно. Час уже поздний. Орас, Рафаэль, поедemте вместе. Собирайтесь, спускайтесь и ждите под ближайшим фонарём, а я разбужу графиню. Кстати, приглашаю всех завтра к шести на новоселье. Знаете улицу Облен, что поднимается от Хлебного рынка? Если войти в гору, то по правую руку будет префектура, потом пожарная часть, швейная фабрика, два-три жилых дома, перекрёсток, а там, в строении N30, над лавкой «Бакалея и кондитерская» — наша с Назии квартира. Запомнили? В шесть.

Друзья разошлись, только Эмиль задержался, чтоб выпалить:

— Охота тебе вожжаться со всякими выродками!

Эжен не ответил и через три секунды остался один. Он погасил свет, засел в спальне. В голове хороводили разные мысли: очень кстати Макс с его уловкой и подарком — вот (чуть не забыл!) стартовая сумма для сделки с Дарберу; но что-то он уходит в тень, не попросил помочь с переездом... Улица Облен, она на холме, а у подножия какое-то аббатство... Соврал Дельфине: никакой это не первый раз: во сне или в бреду случалось, правда, это толком не считается, ну, разве для Ораса... Это он растрепал Максу про Викторину? сам я вроде бы о ней не думаю...

Поймал себя стоящим у окна, разглядел внизу унылую фигуру, знакомый белый воротник. Не долго думая и ничего сверх имеющегося не надев, сбежал на снег:

— Эй, граф! Давно тут бродите? Пойдёмте — погреемся.

— Представьте меня всем своим друзьям? — проскрежетал Франкессини.

— Если набегут за ближайшую минуту, придётся...

— Я поднимаюсь первым; вы — за мной, поодаль.

Так и поступили. Не доходя один марш до квартиры, гость вжался в угол и придушенно велел обогнать его, отпереть дверь и зажечь в квартире как можно больше огня. Эжен всё это выполнил, заодно спрятал сумку с деньгами за занавеску. Наконец они с Джоном Греем оказались наедине в зеркальной комнате.

— Вы безумец из безумцев! Зачем вы меня привели?... Ответьте же!

— Что, если я вам рад... Порой вы нравитесь мне больше всех, кого я знаю. Вам не нужно от меня ни денег, ни еды, ни крова, ни любви; вы не заставляете меня ни сводить вас с меценатами, ни читать свежие романы и придумывать сюжеты для статей и повестей, ни покупать малолеток, ни выслеживать таинственных врагов. Вы просто хотите моей смерти.

— Это, по-вашему — просто!?!...

— Проще всей той дури, которой я маюсь день за днём, а в вашем исполнении — так, наверное, вообще...

— Не обольщайте!..

— Боже упаси! Уверен, вы уже усвоили, что я такое. Насколько бы ни был труден мой прошедший день и как бы ни хотелось мне сдать на вашу немилость, в нужный момент что-то внутри скомандует «к обороне», и уж тогда держитесь... Потом наш договор.

— Он давно нарушен вами. Этот странный приют на улице Женевьевы... Более

полутысячи людей, подчинённых вам...

— Простите за перебой, но, если быть верным неписаной букве, я не должен был **искать** власти — я её и не искал, она просто свалилась на меня...

— Вы обрели её. Она у вас есть. Третий пункт не соблюдён.

— Что ж мне теперь всё бросить и пинать балду, как де Марсе и иже с ним?... Из ваших придирок следует, что не я вам нужен, а убийство само по себе. Как жаль! Прискорбно видеть в вас банального маньяка-потрошителя.

— Сейчас я должен вас разубеждать? Но я действительно маньяк. И, не гонясь за оригинальностью, скажу, что таким меня сделал...

— Я?

— Тот, кого я ищу. И весь мой теперешний ужас в сомнении, действительно ли это вы.

— Приехали!.. Что ж вдруг со мной не так?

— Сам не могу понять, всё лишь интуитивно... Вы... — озираясь, — словно зеркальное отражение человека, которого здесь нет.

— Знаете, на это смахивает? На желание отделаться под благовидным предлогом.

Франкессини глянул на Эжена с истой ненавистью; тот продолжал:

— Но разве должно быть легко? Конечно, в рукопашной я вам не по зубам. Ну, так включите мозги, придумайте какую-нибудь там хитрость.

Убийца смягчил и склонил взор, качнул головой:

— Другу подобает вставать на сторону друга, но мы ведь — не друзья. У нас от этого одна неразбериха. Вы присвоили мою страсть, навязав мне взамен свои табу — и вот мы оба в тупике...

— Неправда. Я и до вас не дорожил своей жизнью, а вы — в вас нет жестокости, вы очень хорошо относитесь к людям. Немало есть таких, кто безобиден на деле, но в помыслах злей ста чертей. Вы наоборот: окровавили свои руки, не запятнав души. Остановитесь сейчас, и Бог...

— Не надо!

— Отвлекитесь. Займитесь чем-нибудь полезным и опасным...

Гость расхохотался, напоминая Мельмота:

— Только вы умудритесь совместить такие качества! Может, приведёте пример подобного занятия?

— Да любая партизанщина. Хоть это ваше карбонарство...

— Раздуть мятежи? Затеять войны? Чтоб счёт смертей шёл не на единицы, не на десятки, а на сотни, тысячи и сотни тысяч?... Нет! Я не ошибся в вас!

— Смертей в мире не больше и не меньше, чем нас самих. Воюющий знает, на что идёт. Он не одинок, не беззащитен, как те ребята, которых вы оставляли в подарок патологоанатому. Их смерть была дурной; нельзя так умирать! Другое дело — Фредерик Тайфер...

Эжен сидел вполоборота у окна, скослапив на полу левую подошву, правой пяткой упираясь в край сидения. Он мысленно облизывался и смотрел туда, где недавно ожидал его Макс.

— С вами даже драться проще, чем говорить.

— Во всяком случае, быстрее...

— Я ухожу.

— Доброго пути.

— ... Кстати, вами интересуется один иностранец, испанский дипломат в священном сане, аббат Карлос Эррера. Слышали о нём?

— Не слышал.

— Он живёт на улице Кассет, строение 19. Приходите в любой день до часу.

— Зачем?

— Это как-то связано... с Домом Воке.

— Понятно. Я зайду к нему.

Франкессини кивнул и вышел. Вышел и содрогнулся от неожиданности: на лестничной площадке стоял молодой человек, мрачный, до зияющих дыр изъеденный какой-то идей-фикс. Обликом он был живое обобщение всех жертв Серого Жана, причём — такой — внушил убийце отвращение. Что это? Только теперь Франкенштейн столкнулся со своим демоном?

— Это вы? — спросил граф на языке змей.

— Это он! — так же, только отчаяннее ответил Тьерри, целясь остро заточенным пальцем в эженову дверь.

На том их слова иссякли; осталось только смотреть друг другу в глаза, мерясь безумием. В конце концов запоздавший отступил. Франкессини выждал минут пять и спустился сам...

Уже в третий раз Макс пытался переехать. Дважды всё проваливалось: Нази с порога ударялась в слёзы, садилась у окна, откуда виден был ей отчий дом, и плакала сутки без утиху; на вторые начинала кашлять...

Утром, в которое Эжена потревожил королевский курьер, графиня обещала держаться изо всех сил, думать о хорошем, о будущем, о другом... Она почти час выстаивала против совести и ностальгии. Масу большего было не надо. Истопив камин, он увёл подругу гулять в парк на параллельной улице, на рынок, на набережную; перед визитом к названному брату они поужинали в приличном ресторане.

Когда, вернувшись с Артуа, они вошли в тёмный альков, у соседей на первом этаже часы неспешно и внушительно били полночь. Этот сигнал успокоил Нази, отогнал её вечное наваждение, будто на всей земле она одна со своим влюблённым палачом.

— Ну, как ты? — спросил Макс.

— ... Хорошо, ... что мы к нему сходили. Его спальня — только для сна... У нас есть что-нибудь шоколадное?

— Едва ли. Но в лавке под нами должно быть.

— Там давно закрыто.

— Значит, я открою. Подождёшь минут пятнадцать/двадцать?

— Ох!.. — не лучшая затея, но ей очень хотелось...

В свете фонаря, висящего над дверью магазина, замок величиной с бычье сердце отслаивал увесистую тень. Макс огляделся, быстро зажал большим пальцем железную скважину, и эта дырявая гиря ожила, заскрипела, залязгала, дужка выскочила из гнезда. Стараясь не шуметь, взломщик проник в лавку. Единственное окно, похожее на половинку лимонного кольца, огромного, грязного и плеслого, было единственным, что он теперь видел, но близкое к феноменальному обоняние быстро привело Макса к нужной полке. И вдруг он провалился умом...

Ровно двадцать лет назад, в эти же минуты, где-то здесь, в одной из парижских нор... Семь рабов только что сложили на полу добычу и по-крысьи разбежались. Воспитатель в сильных чувствах рассматривал новые экспонаты. Там были: длинная курительная трубка с янтарным мундштуком; церковная дароносица пятнадцатого века, полная гвоздей; чётки из детских молочных зубов; разрисованный веер — спаривание белых бабочек на розовом цветке василька; алебастровая камея — профиль лошади с хризантемой за ухом; чернильница в виде черепа; колокольчик сонетки, который кто-то не поленился сплющить кувалдой; несколько серебряных ложек... Старик держал в руках золотую диадему, всю исковерканную и ослеплённую:

— Это только в переплавку! Какие восхитительные произведения отданы на поругание быдлу!.. Тебе нравятся эти вещи?

— Мои вещи — люди.

— Да... Тупые твари... Остолоп со шрамом на лбу вчера раздобыл табакерку, украшенную рубинами, а сегодня — кочергу! Ты заметил, чего они не приносят никогда? Книги.

— Я им это запрещаю.

— Вот как? Почему? Ты... ничего не читаешь?

— Только чужие мысли.

— Фой!.. Ты умница, конечно, но ведь это всё равно что жевать сырые, немые корни в кожуре, вместо того, чтобы вкушать искусно приготовленные яства. Потом ведь книга в дорогой обложке, с эстампами, золочёным или крашеным срезом есть произведение искусства, чья ценность с годами растёт... независимо от её содержания... Пожалуйста, дитя, внуши им, пусть несут и книги.

Книги... Анастази!

Макс схватил с прилавка коробку и банку, ринулся к двери, вернулся, положил на место взятых товаров два экю, выбежал на улицу, наладил замок и поспешил к себе. Его страх был не напрасен — Нази уже сидела со свечой в библиотеке.

— Господи! — воскликнул, припав плечом к косяку, — Ну, сколько мне тебя просить!..

— Я просто хочу понять, почему всё так...

— И какую же версию выдвигает второй том «Дон Кихота»?

После долго взгляда в лицо, она прочла:

В то время как они вели этот разговор, навстречу им, ведя двух мулов, шел какой-то человек, и по скрежету плуга, тащившегося по земле, Дон Кихот и Санчо заключили, что это хлебопашец, который встал до свету и теперь отправляется на свое поле, и так оно и было на самом деле. Хлебопашец шел и пел песню: «Погубила вас, французы, // Ронсевальская охота.»

С одиннадцатого слова цитаты Макс до холода в суставах жалел о своей провокации, но отступить было опять некуда, и, когда подруга умолкла, он подошёл, забрал книгу и твёрдо возразил:

— Не погубила. Живы мы. Пойдём на кухню.

Миновав нечленораздельную спальню и совершенно невразумительную ванную, чета оказалась в самом адекватном помещении, уютном, добротном, ароматном. Уселись за длинным дубовым разделочным столом. Нази распаковала краденое лакомство: вишню в шоколаде и орехово-шоколадную пасту. Макс достал из внутреннего кармана козырь в помятом конверте:

— Смотри, что чуть не утаил от нас этот обормот!

— Какое-то письмо?...

— От Полины. Слушай:

Здравствуй, дорогой Эжен!

Мы устроились хорошо. Твоя кухня оказалась очень доброй, уступчивой женщиной. Особенно повезло Жоржу. Когда в первую же ночь он по своему обыкновению поднял крик, она взяла его к себе в постель. Наутро этого бесёнка было не узнать: он не отходил от Клары (так он начал её называть не смотря на все её протесты и просьбы; я, кстати, тоже не захотела с ней мадамкать: это глупо), мог целый час сидеть, теребя её руку или подол, ел всё подряд — у него опять округлилась мордочка. В общем, он благоденствует.

Я сплю в отдельной комнате, но не боюсь: тут очень красивые цветочные узоры на мебели, коврах и обоях. Со мной Клара много разговаривает, в основном о любви, читает мне стихи Парни, Ронсара и ещё чьи-то.

Нас неплохо нарядили. Жак пригасил из города швею, так что у меня теперь три новых платья и на подходе ещё два.

Я попросила Клару нанять учителя английского языка, но она нашла пока только какого-то старого нудного немца. Что ж, пусть. Английский я и так немного знаю, благодаря папе. Передавай ему и маме привет.

Пусть любят друг друга и будут счастливы.

Тебе тоже всего доброго, обнимаю тебя

Полина, виконтесса де Трай.

P.S. У меня выпал передний верхний зуб, и ещё два шатаются.

Назии вытерла ладонью щёки.

— У нас есть?...

Макс уже ставил перед ней фужер и откупоривал кларет. В молчании налил, посмотрел, как она пьёт, заедает драже...

— Ты слышишь: наша дочь нас просит о любви...

— Я и так тебя люблю, а ты меня!

— ... «День — это ночь любви, день любви — ночь», — так говорила моя учительница. Китайка... Как жизни нужен свет, так любви...

— Что!? Как ты это назовёшь!?... Ещё! — выдвинула бокал, — ... Ты правильно делаешь, что не даёшь мне книг. Я начинаю слишком думать о словах. (- осушила в пять тяжёлых глотков —)... Если бы я согласилась, как бы ты потом сказал о том, что сделал? Что овладел мной — в лучшем случае! Будь в твоей душе хоть молекула чести-совести, тебе это мерзило бы!..

«Как Эжену», — продолжили мысленно оба.

— Да, верно, наш эротический дискурс плоско брутален. Но есть альтернативы. Герой известной персидской поэмы повествует о полноценном свидании в следующих фразах: «И меня в шатёр укромный привела она. // Я поладил с ней, как с нижней — верхняя струна». Лаконично, изящно, даже информативно. Если и можно найти недостаток у этих стихов, то разве лишь в том, что они нисколько не возбуждают.

Нази звонко рассмеялась:

— Ещё! И расскажи-ка, что за китайка?

— Не удобнее ли нам вернуться в спальню? Держись. В коллеже, где я учился, на четвёртом курсе был предмет «Сексуальное мастерство». Преподавали магистранты, разумеется, индивидуально. Наставники обоих полов выбирались из азиатов, европейцы же принимали экзамен.

— И кто оценивал тебя?

— Итальянка.

— Всё было исключительно естественно?

— На том уровне да. Сами магистранты проходили приятнейшую дисциплину вновь по усложнённой программе.

— Мог бы продолжить обучение хоть ради этого.

Нази упала на кровать, растянулась и, раскалённая хмелем, с наслаждением покатила по холодной простыни. Одеяло было уже далеко откинута.

— Меня там не слишком-то держали...

— Где моя одежда?

- На стуле, в объятиях моей.
- ... Я спать хочу!
- Это поможет.

Глава СXXXIV Последний договор

Серый Жан вернулся продрогшим и измученным настолько, что пошёл к сожителям.

— Я скучала по тебе, — сказала ему леди Маргарита.

— А я нет, — втиснул Люсьен перед тем как выбежать.

Граф подался было за ним, но женская рука его удержала.

Через полчаса, под наркозом любви и красоты, он заглянул и к своему злему найдёнышу. Тот сидел без света у окна и вырезал маникюрными ножницами цветы из портьеры. Увидев Жана, он вскочил, замахнулся:

— Только попробуй!..

Англичанин безмолвно отступил, и неистовый французик сам за ним погнался:

— А! Прости! Я и забыл, что уже настолько безразличен тебе, что ты даже не хочешь от меня избавиться!..

Ещё пролёт сдвоенного острия у бесстрастного лица. Граф наконец понял, каким предметом ему грозят.

— Этим ты проковырял подошвы всей моей обуви?

— Ты ещё не видел своих фраков!

— Что ж, Крысёнок при деле...

— Нет! Нет!! Я не смог... их... Рука не поднялась. Они... в моих глазах... — оборванные лепестки жизни, которой больше нет, — моей жизни! моей мечты!.. Я хочу уйти. Но не с пустыми рукам! Всё-таки ты мне обязан... Ладно, пусть, забудем о Растиньяке, то есть я забуду, ты — как хочешь. Но я выберу другую жертву, и ты прикончишь её на моих глазах!

— Назови...

— Я сказал «выберу», а не «выбрал»! Дай мне ещё время.

— Оно всё твоё.

— Не думай, ... долго я уже не продержусь...

Прогнанный сквозь строй всего четыре раза, полководец очнулся почти разочарованным.

Он сидел лицом ко входу за пустым столом: флакон из-под чёрной воды уже исчез.

В чертоге хозяйничали людские подобиya: гномы сгребали лопатами железные кольца, ссыпали в тачки и увозили в кузницу; валькирии раскладывали вдоль стен носилки с только что воскресшими бойцами. Раны уже зашиты, кровь остановлена, но до выздоровления не меньше месяца; все в полузабытьи, бессмысленно шевелятся, то стонут, то хрипят, то кашляют, то будто бы смеются.

Подозвал жестом девушку:

— Скажи своим и нашим, если хоть кто-то ясен умом, что нашёлся безгрешный — он не пропустил врагов.

Она радостно встрепенулась и побежала развеселить подруг. Он же посидел ещё немного и ушёл наверх, в военачальничьи покои, соседствующие с дверью в проклятый мир жизни.

Стены увешаны оружием; на двадцать кольев надето двадцать разных шлемов; доспешных нарядов и того больше. Посреди комнаты — два каменных дивана, повёрнутых друг к другу и разделённых столом — уплощенной серой глыбой, положенной на пять сталагмитов, на первый взгляд, бесформенной и неотёсанной, на самом же деле точно повторяющей рельеф поля боя в уменьшенном масштабе. Сидению повыше, покороче и пошире тронную мяготь заменяет тонкая и примятая насыпка чернозёма.

Полководец снял с себя всю одежду, даже маску, но на лицо набросил волосы, затолкнул кольчужно-цепной ком под стол, угнездился с ногами, как любят азиаты...

Выпитая чёрная вода вышла из него чистой, как из земного родника. Вскоре четыре вьюнных ростка пробили землю и принялись оплетать нагой дух. Бедный грешник не знал, бывают ли цветы на его зелёных узах, хотя бы такие скромные, как у повилики, зато без сомнения и надежды ожидал, когда у самого предкорния начнут отрастать шипы, пропитанные дурманящим соком. Всё-таки без ран и забытья никак не обойтись. Здесь тебе не Эдем...

Живой измерил бы срок этого насильственного и пустого сна девятью днями.

Наконец листья пожухли, стебли стали льняными шнурами, иглы одревенели и к полководцу вернулись чувства. «Вообрази раздетого муравья», — сказал он себе и Богу, но нашёлся и третий слушатель: на длинном диване сидела Дануше.

— Я тебе сочувствую, — произнесла она, — Ты узнаёшь меня?

Он отогнул от глаз переплетённые лианки:

— Да. Я как раз недавно вспоминал о нашей встрече. Будешь снова просить?...

— Да. Именем Анны Байрон (- выложила на стол последнюю из двух брошей —), добывшей для тебя желанное зерно и прорастившего его в собственной крови; именем Пресвятой Матери-Богородицы, утешавшей тебя в мире спящих; именем твоей соратницы Жанны, томящейся на острове Смерти...

— Я согласен!.. Дай только собраться... Выйди. Не заждёшься.

Скоро он явился в полном стальном облачении, опоясанный мечом и в шлеме — не шлеме, а мешке, туго сотканном из проволоки и грубо продырявленном изнутри для глаз и

рта: обрывки железных нитей щетинились наружу; достопамятная брошь красовалась на лбу.

— А это для тебя, попробуй, — протянул Дануше лёгкий шестопер, — Случалось в жизни бить человека?

— Однажды...

— Успешно?

— Сбила с ног...

— Хорошо.

— Так я должна пойти с тобой?

— Во-первых, сам я не найду твоего дружка: я его не видывал; во-вторых, есть условие (не мной оно придумано): из Монсальвата можно выбраться только втроём.

— Что ж, я готова.

Они сошли в нижний зал. Там мало что изменилось, только некоторые воины уже сидели на своих одрах, всё ещё бессильно свесив головы и руки, иные поднимались и валились вновь. Валькирии отмывали мечи зелёной водой. Военачальник попросил у них её, наполнил большую из двух прихваченных им фляжек.

В поле перед цитаделью было пусто и пасмурно.

— Пойдём туда, — безликий указал налево вдоль стены.

— Далеко тут?

— Посуди сама: увидим издали мост, минуем его на полсотни шагов, повернём вверх, заглянем в скотный край, и это будет половина пути. Монсальват стоит с обратной стороны Валхаллы. Он почти так же велик...

— И многолюден?

— Давай сосредоточимся на цели, пока Дух Правды наполняет нас нескучно: там Ему почти нет места. Как зовут того, кого мы ищем?

— Ротгер фон дер Лангенкампф.

— Откуда он?

— Из-под Кёльна.

— Каков собой? Сколько прожил?

— Ему было, наверное, лет двадцать пять — двадцать семь. Ростом высок, волосы цвета дубовой коры, и глаза как молодые жёлуди... Не знаю, что ещё сказать.

— А умер как?

— Секирой зарубили...

— У. Не тужи. Такие ли бывают смерти! К тому же здесь он просто спит, и мы вот-вот его разбудим.

— ... Расскажи о тех, с кем нам придётся драться.

— Это пугала — не люди, не демоны, а так, личины страхов. Три главных: слабость, сиротство, вина. Когда они захватывают дух целиком, он попадает в ту тюрьму и погружается в бессрочный сон.

— Ты часто там бывал?

— Двенадцать раз. Впервые — чтобы вытащить Жанну. Мне помогала воительница с дальнего востока. Потом сама Жанна ходила со мной.

— Участие женщины обязательно?

— Да. Иногда хоть пять, хоть десять мужчин — это всё-таки полчеловека.

— Случались неудачи?

— Нет.

— ... Расскажи о себе? Кто ты родом? каких кровей?

— Зачем это тебе?... Ну, ладно. По отцу я обр, по матери — угро-франк.

— Как же ты управляешься со всей Европой?

— Школа хорошая: боевому искусству меня учил норманн с Арморики, закону Божию

— галл из Реймса, а грамоте — британский сакс.

— И ученик ты был прилежный.

— Даже слишком. К шестнадцати годам читал и писал на четырёх алфавитах и восьми языках, знал наизусть оба Завета, на бой выходил не менее чем против дюжины... Я привык всех понимать, всех побеждать и думать о Боге, вместо людей. И хватит обо мне. Напомни, с какого ты века.

— С пятнадцатого от Пришествия Господня.

— Чудное время: люди были так же сильны, как в седьмом, а боялись куста в темноте.

Пока Дануше, возражая, расхваливала доблесть родичей и знакомцев, показался и остался позади мост. Странники свернули в горы, поднялись на гребень.

— Сейчас, — предупредил полководец, и сквозь его железный мешок просветила улыбка, — мы увидим ЗВЕРЕЙ!

Пройдя ещё немного, они достигли отвесного обрыва, бывшего одной из четырёх сторон громадного загона, в котором бродили, лежали, чесались, чавкали, хрюкали полсотни с лишним вепрей — каждый величиною с мамонта. При них паслись и кабанята, совсем малыши, не крупней взрослой свиньи.

— Ваш будущий пир? — догадалась Дануше.

— Ага.

— Но как... они... попадают на стол?

— В смысле, кто их убивает? Сам Дух Правды без оружия и крови останавливает из сердца, а великанам остаётся лишь разделать туши и доставить к нашим очагам.

— Что за великаны?

— Выглядят как люди, только если встанем рядом, наравне будут моя голова и их колени.

За ближайшим отрогом паслись исполинские козы. Их сторожа — обычные крестьяне, если бы не рост — сидели, прислонившись к склонам, и казались дремлющими, но тот, кто мог обозревать главный хребет, сразу заметил пришельцев и указал товарищам. Один из ближайших поднялся, задрал голову и прогудел обычное приветствие: «Не бойтесь!».

— Мы за молоком, — закричал в ответ полководец, так громко, что у Дануше зазвенело в ушах. Он метнул гиганту вторую фляжку, тот поймал обеими ручищами, зажал в кулак, взял ведро размером с два соборных колокола, побеспокоил одну их коз и вскоре услужливо поднялся по уступам, чтоб вернуть наполненный сосуд, прицепив его к концу своего посоха.

— Прекрасно! — поблагодарил воитель с поклоном и повернул восвояси.

Дануше тревожилась:

— Теперь — прямо туда?

— Да уж пора... Тебе страшно.

— Я ведь не воительница. Объясни, что нужно делать для победы.

— Я всегда говорил так: если бьёшься с кем-то, кроме самого себя, победа неизбежна.

Что для нас чужой страх? Да ничто! Тонкий срез с края капли отваги — и поле наше.

— И эту палицу ты дал мне?...

— Да, для храбрости.

Они шли ещё долго — девушка успела поведать всю историю своих незаконных, но богоугодных чувств, предать все разговоры со влюблённым рыцарем-монахом, рассказать об их уловочных свиданиях, о скромности избранника, другое дело — его младший товарищ, напропалую крутивший роман с сестрой по ордену. Эта парочка нахально выгоняла её, пленницу, из башенной каморки на лестницу, где, впрочем, было не так уж холодно — в плаще брата Ротгера...

Дорога меж тем расплылась в сером тумане, и вдали из него прорвались ввысь чёрные башни, уродливые, как клинки, изъеденные ржой.

Дануше замолчала и ступала медленнее, через силу. Когда же и ворота замка стали различимы, она упала со стоном:

— Я не могу больше идти! Снег залепляет мне глаза! Ноги тонут в сугробах!

Полководец присел над ней, осторожно взял за плечо и сказал:

— А вот я уже давно бы лежал в обмороке от жары и трупного смрада, если бы не знал, что всё это лишь морок, кажимость. Мы пересекаем рубежи своих кошмаров. Или собирайся с силами, или вернёмся — мне без разницы, но Жанна проходила сквозь огонь — вроде достаточный повод устыдиться и встать.

Держась друг за дружку, они добрались до чугунной двери. Едва ли кто-то, кроме первого витязя на своём континенте, смог бы её отворить...

— Ну, как, закончилась метель? — спросил полководец, вводя Дануше за руку в проклятую храмину.

Девушка не отвечала, онемев от зримого: по всему полу лежали трупы, слоя в три-четыре. Все окоченелые и ссохшиеся; пыль замела запёкшиеся раны, рваные мундиры и обезображенные лица.

— Всё ещё снежит? — суровее и громче повторил вопрос герой-проводжатый.

— Нет.

— Шевелись тогда.

— Куда? Как тут можно когда-то найти!?

— С Божьей помощью.

Хрустя стопами по костям, дошли до дальней лестницы; поднявшись, очутились у входов в пять галерей, и в каждой над настилом из тел висели, словно рыбы в коптильне, раздавленные, все в белесых лохмотьях, отмеченных крестами разных форм.

— Что дальше?

— Подумай о нём. Хорошенько.

Дануше закрыла глаза, замерла, вспоминая...

Вдруг из центрального тоннеля послышался сухой и тихий стук — как будто в его глубине щёлкнул пальцами скелет.

— Всё. Вперёд.

Полководец на ходу расталкивал одоспешенные ноги; Дануше пригибалась, чтоб не пораниться о шпоры.

Миновав галерею, спасатели вошли в малый зал. Посреди него над горой мёртвых духов висела в пустоте костяная рука, точно указывая на кого-то одного из всех.

— А вот и знак, — обрадовано молвил полководец, продвигаясь к цели, — Мы оба знаем, чья это останка. Помню, как вся армия дивилась на однорукого мазура, ведь Валхалла не приют для калек, и если б каждый наш обрубок оставался в Царстве Лжи, я был бы с тебя ростом. Когда ты приходила в первый раз, он видел тебя издали, потом спросил меня, кто ты

(здесь ведь память улетучивается; я один такой, незабывающий), ещё спросил, кого ты тут искала...

— И!?

— Как отнёсся? Усмехнулся, почесал в затылке, «Ну и ну,» — сказал и закручинился. Ещё бы: столько упущений! столько глупостей!

Дошли. Дануше робко протянула руку к мёртвой, но та от первого прикосновения разлетелась тающей пылью.

— Всё хорошо, — предупредил плач спутницы безликий, разгребая кучу трупов, — Где бы ни был сейчас твой отец, его десница ожила... Смотри, не это ли наш друг?

На полу, укрытый тевтонским плащом, простирался молодой мужчина, лицом пригожий, даже несмотря на жуткую гримасу. Кудри его были густыми и длинными, а борода — коротенькой и редкой.

Вызволители опустили на колени возле него. «Да, это он», — прошептала Дануше.

Полководец отогнул покров ниже и нашёл причину смерти — глубокий разруб от правой ключицы до третьего ребра.

— Неплохой удар. Хотя довольно типичный, — оценил державный воитель, разрывая плащ на широкие полосы, которые тут же смочил зелёной водой и, аккуратно, но уверенно взломав броню вокруг раны, наложил лечебную повязку; затем он открыл по очереди глаза Ротгера, низко склонился над ними и присвистнул, выпрямившись:

— Вот так встреча.

— Ты был знаком и с ним?

— Да. Очень давно. Знаешь, кого называют боевым крестником? — того, кто, убивая впервые, убивает тебя. Вот, кем я прихожусь этому духу... Град Вормс, семьсот семьдесят... второй год. Молодцу с гордым именем *Хротгар* не понравился цвет моих волос и глаз. Я был уже достаточно отёсан, чтоб предложить ему защищаться, но не успели наши мечи соприкоснуться трижды, как Хротгар превратился в Гренделя, — рассказывая без бахвальства и злорадства, он поглаживал примочку, — Ну, я думаю, спустя четыре жизни, он не хранит обиды... Кто его на этот раз?

— Мой муж. Возможно, и его ты вспомнишь...

— Не теперь, — новым лоскутом, сложенным вчетверо и смоченным в зелени, полководец стёр с лица Ротгера оттенки тлена и трагическую маску, — Пора будить. Ты посиди пока тихо.

Затем он вынул из лба брошь, отогнул иглу и погрузил её в самое сердце убитого — тот шелохнулся, открыл глаза и вскрикнул при виде существа в уродливом железе. Шлем-мешок напомнил Ротегру шапку палача, и он, тевтонец, понимая, что уже не на земле, решил, что за ним пришёл демон. Однако из тёмной колючей прорехи прозвучало весело: «Куст в темноте!»; полководец вернул застёжку на прежнее место.

— Ты кто? — ошарашено спросил его рыцарь.

— Человек.

— А зачем такое страхолюдие напялил?

— Чтоб враги боялись.

— Какие враги?

— Злые духи.

— Ты колдун?

— Нет, я воин.

— А от меня тебе что надо?

— Будь моим соратником?

Ротгер посмотрел на вал из начинённых панцирей и крестоносных накидок:

— Почему именно я?

— По просьбе одной дамочки.

Дануше решила, что настал её час, наклонилась над возлюбленным, промолвила: «Я умерла...», но его глаза, раскрывшись широко, остекленели, весь он вдруг обник и обезжизнел.

— Что с ним!?

Жестом опытного лекаря военачальник сунул пальцы под железный ворот тевтонца:

— Сердце смолкло.

— Боже!

— Ничего. Сейчас перезапустим.

Второй укол сработал лучше первого. Разбуженный попытался сам выдернуть иглу — левой рукой: правая была мертвей зажатой в ней секиры, — и простонал: «Я ничего не понимаю! Где мы? Если это Ад, то почему она здесь? Неужели, чтоб спасти меня, окаянного!?!».

Дануше: Да! С позволения самой Пречистой Девы!..

Ротгер: О, милосердная Заступница!..

Безымянный: Аминь. Давай-ка, братец, поднимись. *(усадил воскресшего, стянул его рану своим поясом через подмышки и с захватом шеи)* Оружие сам выбрал?

Ротгер: А что?

Безымянный: Одобрю. Всегда уважал самоубийц. *(соорудил для холодной десницы держащую петлю из остатка плаща, раскупорил фляжку с молоком)* Глотай.

Ротгер (выпив): Благодарствую.

Безымянный: Сможешь теперь встать и пойти?

Ротгер: Да, кажется... Только куда? И что это вообще за место?

Безымянный: Самый гнусный задворок Валхаллы. Мы тебя проводим в лучший край.

Ротгер (Дануше): Так ты любишь меня?

Дануше: Да! Я хочу, чтоб мы стали супругами. Здесь это невозможно. Ты сначала должен искупить свои грехи, чтоб начать новую жизнь. Там, на земле, мы встретимся и будем вместе навек. Этот человек — вождь всего европейского воинства, твой командир.

Ротгер (без особого доверия, поднимаясь на ноги): Ну, надо же, какая честь... Так, значит, я теперь буду спасать свою душу, воюя, как твоё превосходительство, со злыми духами...

Безымянный: И получая те же смертельные раны, что нанёс другим при жизни.

Ротгер: А несмертельные?

Безымянный: О них и речь молчит.

Ротгер: На вид ты вроде тролля; болтаешь, как схоласт, а руками больше похож на ваятеля, чем на воителя...

Безымянный: Ты о себе бы лучше рассудил.

Ротгер: ... А я ничто. Во мне настолько мало мужества, что я бы предпочёл старый заветный ад крошечный с углями, смолой и серой — новым битвам!.. От любви ж одни только мучения... Где мой щит?

Безымянный: Как он расписан?

Ротгер: Сверху шахматное поле, снизу три льва.

Дануше: Его тут нет.

Ротгер: Наверное, сломался...

Безымянный: Есть о чём! Тупой пережиток эллинов и иже с ними! Ничто так не мешает бойцу, даже шлем. Иные народы даже не знают, что это за штука. Две руки — два оружия. Зачем брать крышку от котла или ящика?

С такими разговорами они беспрепятственно дошли до последних дверей — Дануше и забыла о предстоящей схватке. Но за тяжёлыми воротами их ждал не прежний туманный двор, а темнота, в которой под ноги легли шесть рядов чёрных и белых квадратов, а за ними, за красной чертой — три одинаковых гривастых зверя, словно нарисованных и всё-таки живых.

С уст тевтонца сорвалось корпоративное ругательство: «Вот жмудь!». «Твой щит», — дрожа, заметила Дануше. «Прорвёмся», — отрубил безликий.

Вот правый лев выступил на клетчатое поле и обернулся молодым рыцарем, потрясающим секирой.

— Это Збышек! — вскрикнула дама двух сердец.

— Это оборотень, кукла. Сейчас братец Ротгер поколет его на лучины!

— Я не смогу!

— Чего тут мочь-то? Полный разворот с пригибом — и сбоку в рёбра. Обухом в висок, пожалуй, как-то неучтиво.

— Нет!

— Выйди сам, — вмешалась Дануше, — Ты же силён и храбр, а он ранен и напуган!

— Послушай, Ротгер, их там трое. Все твои враги. И я не знаю, кто из них опаснейший, но очень сомневаюсь в том, что парень, всадивший в тебя топор, — это худшее, что было в твоей жизни. Я только раз могу заменить тебя...

— Ты сомневаешься!? Ты знаешь, каково это — пасть в поединке, когда триста с лишним зрителей в голос молятся о твоём поражении, когда в твоём противнике предстаёт целый ненавидящий народ!?

— А за погодой ты тогда не наблюдал? Тебя не учили замечать в бою только чужое оружие?

— Если тебе не жаль увечного, то смилуйся хоть надо мной: не заставляй смотреть, как они оба!..

— Ты, прекрасная дева, вообще отвернись и закрой уши. А ты, агнец в волчьей шкуре, смотри и слушай внимательней, — с этими словами полководец отдал Ротгеру свой меч и взял себе секиру. Перевооружённый, он подошёл к призраку, кивнул ему:

— Что скажешь, вражок?

— Я призываю в свидетели Бога, вельможного князя и всех достославных рыцарей этой земли и говорю тебе, крестоносец, что ты лжешь, как собака, истине и справедливости вопреки, и я вызываю тебя на бой на ристалище, пешего или конного, на копьях, секирах, коротких или длинных мечах!

Дануше и Ротгер трепетали в обнимку, как потерявшиеся дети. Их защитник отвечал:

— Собаки не лгут. А ты на истину бы не облизывался: не сладка. Что, если нашёлся человек, чья любовь сильнее твоей — сильнее настолько, что ради неё он готов изменить всем обетам, бросить всё, чему прежде служил, ведь вне этой любви для него нет ни закона,

ни Бога. И не нужно ему благословения от дядьки и тестя. И не сохнет по нему ни одна темнокожая резвушка. Хочешь встать у него на пути? — поднял топор на левое плечо — Попробуйся.

Супостат взмахнул секирой, но человек перед ним вдруг превратился в циркулярную пилу, которая со свистом вошла в его поясицу. Призрак испустил метельный визг и разлетелся крупным снегом. Победитель выпрямился и посмотрел на спутников.

Со своего приступка Ротгер видел не того, кого сравнивал с троллем, а самого себя, исправившего смертоносную ошибку. Его подавленность сменило окрыляющее счастье, дух снова исполнился мощи и смелости. Он вынул исцелённую десницу из петли и переложил в неё меч.

— Всё, милая, — сказал он Дануше, уткнувшейся лицом ему в грудь, — Первый враг развеян, а больше мне никто не страшен.

Но только девушка взглянула, как на шахматное поле вышел второй лев. Он принял облик её самой и начал жаловаться, указывая на Ротгера.

— Они сломали мою лютню — разбили об стену!

Тевтонец вновь смутился.

Тут сама Дануше подбежала к двойнице:

— Хватит врать и притворяться! Хватит стыдиться любви! Ты сама разбила лютню о шлем того из них, кто подошёл ближе. Вспомни, как увидела его лицо, когда он рассматривал вмятину на своей железной шапке, — такое простое, человеческое! Вспомни его первые слова к тебе: «Я не тот, кто убил твою мать».

Привидение вздохнуло, развело руками; его бледная плоть и голубое платье вскружились исчезающим снежным вихрем.

— С победой, сестра, — сказал полководец, — Но теперь мы ему не заступники.

Они с Дануше вступили на чёрный порог по ту сторону шахматного поля, а последний лев пошёл в наступление. В глазах Ротгера его друзей огородила чёрная решётка. Из-за неё безликий прокричал ему:

— Угадывай скорее, кто это!

Он и угадал, и обеими руками вцепился в меч, зажмурился, а когда открыл глаза, увидел длиннородого старика в доспехах и орденских знаках.

— Господи! Зигфрид! — всхлипнула Дануше.

— Надо же, — нервно пошутил полководец, — Я знал его куда моложе...

— Нельзя потворствовать своим слабостям, — сурово заговорил призрак, — ибо плоть и дух ваши станут немощны и жестокое это племя со временем так придавит коленом вам грудь, что больше вы уже не восстанете. Отрекитесь от плотских утех и непотребства, укрепите вашу плоть и ваш дух, ибо я вижу в воздухе белые орлиные крылья и когти орла, красные от крови крестоносцев...

— Не робей, друг! Сделай этого хрыча! // Правда с тобой! — зывали помощники.

Ротгер спустился на ристалище, подняв оружие и отвечая:

— Благородный комтур, высокочтимый старший брат! Больше не будет никаких орлов и ран. Я люблю эту девушку, а она — меня, и слава о наших сердцах заглушит всю вражду...

— Ваши грехи умрут вместе с вами — в неизвестности!

— Нет! Вашей власти конец! Я беру на себя управление этим замком, а вам предлагаю уйти подобру-поздорову, или выяснить на деле, кто из нас двоих немощен! — говоря так, он обошёл врага и оказался в шаге от спутников.

— Скорее к нам!!!

Решётка давно пропала. Правой пяткой Ротгер уже переступил границу. Вдруг Зигфрид схватил себя за горло, и подлетел; над его седой головой паутиной блеснула верёвка. Он забился, захрипел, но вскоре обессилел и, прежде чем затихнуть, в последнем усилии протянул руки к отступнику и прошипел: «Сы-нок!». Ротгер ринулся было к нему, но Дануше и безликий вцепились в его плечи и оттянули с шахматного поля. Мгновенно вспыхнул серый свет, и троица оказалась на дворе Монсальвата, по ту сторону его запертой двери.

Безымянный: Ну, вот и выбрались.

Ротгер: Что это значило? Почему он не рассыпался?!

Безымянный: Похоже, он настоящий. Один из тамошних узников.

Ротгер: Зигфрид — там, среди повешенных?!

Безымянный: Они сами повесились.

Дануше: Пойдёмте отсюда.

Ротгер: Куда? Как я могу спастись теперь — когда пропадает тот, кто был мне в жизни как отец, больше отца!? Да, он был жесток и преступен, но меня любил, наверное, одного во всём мире. Как же я брошу его!?

Безымянный: Он намеренно послал тебя на смерть.

Ротгер: Пусть так, но даже это он сделал из любви ко мне, чтоб, как ему казалось, спасти мою душу.

Дануше: А как же я и моя любовь? Я предала родителей, мужа, родину!..

Ротгер: Всякая невеста предаёт родителей. Муж твой тебя не обнимал. А родина — вообще пустое слово. Ты стала праведницей, полюбив врага. А я готов на всё ради спасения моего убийцы! Вернёмся за ним, командир, умоляю!

Безымянный (*забирая у него свой меч и возвращая секиру*): Остынь. Мы уходим.

Дануше: Но, может быть, он прав...

Безымянный (*присаживаясь на порог замка, подавленно*): Вы надоели мне своей ересью. Спасение! Кто его выдумал!?... Ваши стремления и веры никчёмны. Сказать, почему?... Лет через сорок-пятьдесят ты, Ротгер, будешь свободен, ты увидишь Эдем. А знаете, куда отправлюсь я в свой срок? Я перейду на сторону врагов. Не потому, что я желаю этого, а потому что в этом моя правда. Я разнесу Валхаллу и обрушусь в Царство Лжи такой бедой, какой даже оно не ведало, и не уйду, покуда не пресеку последнего человеческого дыхания. А здесь пусть непрерывно идут чёрные ливни, чтоб океан поднялся выше всех плотин и гор и смыл все жизни, весь свет... Только Рыба будет ещё долго собирать свою золотую икру; когда же наконец все души соберутся в Ней, Она опустится на дно, заснёт, и больше — ничего, никого, никогда.

Дануше: В мышинном писке больше смысла и страха, чем в твоих бреднях! Одного не понимаю — как Дух Правды тебя терпит!

Ротгер (*тихо ей*): Оставь, он говорит не от себя. Ему внушает меч...

Дануше: Кусок железа!?

Ротгер: Только что, держа это в руках, я был другим человеком. (*приблизясь к избавителю*) Командир...

Безымянный: Не клевети. Я говорю, как есть. ... Если бы тот, кто мне был как отец — больше отца! — сейчас был так же близко; если бы хоть одна женщина во мне нуждалась!.. У меня есть только это — небьющееся зеркало любой последней сути...

Ротгер: Даже если так — а ты не верь, и всё!

Безымянный: Неплохо сказано, но...

Ротгер: Ещё есть время. Кто-нибудь и за тобой придёт.

Дануше: А женщин я тебе назвала сразу трёх!

Полководец покачал головой, встал и пошёл прочь, грубо, как нищенский костыль, втыкая в камни меч. Он сразу сильно оторвался от спутников, стал для них смутной тенью на стене тумана, но серая мгла рассеивалась вокруг него, от его дыхания, которое в те минуты множило Дух Правды. Древний, былой преступник, он оплакивал морочного Збышка так, как никто не скорбел бы по всему человечеству...

У моста Дануше простилась с воинами — поцеловала в губы жениха: «До встречи!», провожатому вернула шестопер и сказала: «Всё-таки спасибо тебе. Верю, что однажды ты и твоя Жанна тоже...».

— Вот только не это! Пусть она забудет меня: иначе ей не спастись! Пусть забудет, даже если вспомнят все. Никому я не причинил большего зла, чем ей!.. Впрочем,... были ещё двое, но они уже,... — махнул рукой и отвернулся.

Девушка пошла прочь. Ротгер смотрел ей вслед.

— Твоя подруга — просто чудо, — как-то почти сладострастно заметил вдруг ему командир. Влюблённый глянул на него с удивлённым возмущением ревности, а он пояснил:

— Я о секире. До девчонки мне нет дела.

В его голосе теперь слышалось устыжающее ехидство.

— Ты осуждаешь меня? — спросил тевтонец на тринадцатом шаге дальнейшего пути.

— Тебя — нет. Её — пожалуй. И на вас обоих я сердит: ради вас я снова убил человека.

Хоть я не в праве: знал же заранее... — и умолк.

«Блаженный какой-то», — думал Ротгер.

— ... Если ты помнишь обо всех и каждом, то... позволено ли будет мне спросить о Готфриде фон Оберамергау?

— Вы, братцы, правильно делали, что обращались друг к другу только по именам... Твой товарищ мне понравился: без насекомых в черепе, легко умер, быстро освободился, а в промежутке сподвиг меня вытащить из Монсальвата (- жест-подсказка за плечо —) вашего магистра Конрада — не проси выговорить его родовое прозвище. Тот, видишь ли, всегда восхищал нашего друга, казался образцом и всё подобное. Особенно в кончине де-просияла конрадова доблесть. Знаешь, что его сгубило?

— Какая-то хворь.

— Ну, да. По слухам, врач сулил выздоровление, если больной уплатит долг природе с женщиной, достойный же рыцарь остался верен обету целомудрия...

— Каковой обет брат Готфрид попирает не по разу за день — не в обиду ему будет сказано!

— Не в обиду.

— ... Здесь всё с ног на голову опрокинуто, да? Враги сдружаются, а грешники спасают праведных... Это наша цитадель? Вот так громада!..

— Она ещё даже не близко... Не жди встретить там кого-то своего пошиба. Теперешнего воина не отличить от юрода, собирающего опят себе на похлёбку. Люди хиреют. Они делают оружие всё легче и легче, стреляющее дальше и дальше...

— Типа арбалетов?

— Нет. Это металлические трубы со спусковым механизмом на запале. Взгорание

разгоняет снаряд, труба — направляет его. Бойцу почти нечего делать... Здесь воюем, как то подобает, но на рать без слёз не взглянешь.

— А... твои приближённые?...

— Какие??

— ... Неужели ты распоряжаешься совсем один, без подручных?...

— Есть начальники подразделений, носов тридцать. С ними я встречаюсь раз в год на срок, которое заняла бы Нагорная проповедь с небольшими комментариями. Остальное время со мной толком никто не говорит. Разве что нелюди... или иногда иноземцы...

— Я не хочу быть так же одинок.

— Если есть желание, найдёшь и с кем сойтись...

— С тобой — можно?

— Разумеется. Если готов ты под это забыть и девицу, и старого Зигфрида.

— Зачем? Чего ради такое условие?

— Условия нет. Есть опасность... Со стороны я кажусь сумасшедшим. Это не так верно, как то, что каждый, кто ко мне приблизится, свихнётся сам.

— Тья!.. Данушкен моя вроде устояла...

— Да... Либо им в раю дают какую-то вакцину, либо же она успела при жизни помутиться. Дважды ведь с ума не сходят.

— С чего бы ей?...

— Из-за вас со Збышком. За свою жизнь ты выменял у его души всё то, за что она его любила, и когда он её освободил, она как будто бы увидела затянутую сажей пустошь вместо родного города, кости — вместо родни; посмотрела в воду и не нашла своего отражения, как навые духи, ибо, если уж полюбишь, разлюбить — что умереть. Будь иначе, здесь она тебя не вспомнила бы.

— Что значит «я выменял»?

— Убиваемый обычно забирает часть души убийцы, чаще всего очень малую, не больше, чем глотнёшь чужой слюны при поцелуе. Но случаются и крупные хищения... Живя, я мог за день порешить полтысячи и больше, а под вечер только чувствовал себя чище, но безнаказанность не вечна, и вот мне встретился тот, кто за одно мгновение... обескровил... Ну... почти.

Они уже подходили к дверям великой крепости.

Внутри было бездвижно. Все раненые спали. Странные создания, какие-то добрые зверолоды сидели у их изголовий; звучала простая бессловесная песня, очень тихая, но пели все эти диковенные существа. Ротгер вспомнил хоровые молитвы...

— Всё. Тут вот погуляй, — сказал командир и ускорил шаг.

Тут же тевтонцу преградил путь как из-под земли выросший старец с ликом льва, седым, как и вся его грива. Пепельная шерсть от шеи свивалась в трикотаж и одевала его в подобие рясы.

— Не бойся, Ротгер! Я твой куратор. Я ждал тебя триста восемьдесят лет...

Полководец оглянулся с лестницы и ещё быстрее пошёл в свою каменно-железную палату. Там он сел на обычное место и нашёл на столе два подарка. Первой взял пробирку на цепочке, побултыхал побуревшую кровь и рассмотрел семя с проклюнувшимся ростком. Затем нетвёрдой рукой, кусая под маской губы, чтобы не смеяться, приподнял лист бумаги, с которого розовым пуховым фейерверком брызнул во все стороны цветок подорожника

Больше книг на сайте - Knigoed.net